

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования «Витебский государственный
университет имени П.М. Машерова»

А.Н. Пугачёв

**ИСТОКИ И ПЕРВОПРИЧИНЫ
ЕВРОПЕЙСКОГО
КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА**

Монография

*Витебск
ВГУ имени П.М. Машерова
2017*

УДК 34.01:341(09):342.4(09)(4)
ББК 67.3(4)+67.400(4)-1
П88

Печатается по решению научно-методического совета учреждения образования «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова». Протокол № 2 от 28.12.2016 г.

Одобрено научно-техническим советом ВГУ имени П.М. Машерова. Протокол № 6 от 31.05.2017 г.

Автор: доцент кафедры уголовного права и уголовного процесса ВГУ имени П.М. Машерова, кандидат юридических наук **А.Н. Пугачёв**

Рецензенты:

профессор кафедры теории и истории государства и права БГУ,
доктор юридических наук *Т.И. Довнар*;
профессор кафедры теории и истории государства и права БГУ,
доктор юридических наук *Н.В. Сильченко*;
декан исторического факультета ВГУ имени П.М. Машерова,
доктор исторических наук, профессор *В.А. Космач*

Пугачёв, А.Н.

П88 Истоки и первопричины европейского конституционализма : монография / А.Н. Пугачёв. – Витебск : ВГУ имени П.М. Машерова, 2017. – 318 с.

ISBN 978-985-517-611-5.

В научном издании исследуются обстоятельства и причины, повлиявшие на возникновение тех концепций, институтов и практик, которые составили основы конституционного правопорядка. Изложение строится на основе междисциплинарного метода с привлечением знаний из области истории, философии, экономики, финансов, демографии, религиоведения и политологии. Предлагается авторская версия понимания истоков и первопричин европейского конституционализма как явления мировой политико-правовой культуры.

Монография адресуется широкому кругу читателей – научным работникам, студентам и преподавателям, а также всем тем, кто разделяет идеи правового и конституционного государства. Исследование является первой частью трилогии, посвящённой теории и практике конституционализма.

УДК 34.01:341(09):342.4(09)(4)
ББК 67.3(4)+67.400(4)-1

ISBN 978-985-517-611-5

© Пугачёв А.Н., 2017
© ВГУ имени П.М. Машерова, 2017

Дорогим родителям, Николаю Григорьевичу
и Елене Александровне, посвящается

От автора

Идея написания книги вызрела и оформилась спонтанно – как это часто и происходит. Всю свою «сознательную» научную жизнь, начиная с 1995 года, автор решительно и самозабвенно осваивает интереснейшее и, безусловно, важное для белорусской юридической науки направление, связанное с охраной и защитой Основного закона. Проблемы совершенствования судебного конституционного контроля актуальны как никогда для поступательного государственно-правового развития нашей страны. Без этого краеугольного камня в основе конституционного правопорядка невозможно построение правового государства в принципе. Судя по ситуации сегодняшнего дня, сворачивать исследования в этой области не только преждевременно – им необходимо придавать новый импульс.

Однако в определённый момент времени себе был задан вопрос – что обусловило появление конституционной юстиции, отчего объект охраны и защиты вписан самым высоким рангом в систему государственных, политических и общественных ценностей? В чём феномен основного закона и как он зародился, в силу каких причин и обстоятельств? Эти и многие другие вопросы необходимо было выяснить, и поэтому, само собой, начался поиск соответствующей литературы.

К удивлению, за редким исключением, каких-либо предметных и цельных исследований не обнаружилось. Литературы, на первый взгляд, написано достаточно, но не устраивало вот что. Появление конституций и зарождение конституционализма в юридических исследованиях практически не объяснено. Просто констатируется, что «как явление мировой политико-правовой культуры конституционализм сформировался при переходе от традиционного к индустриальному обществу», такой переход «был связан с разрушением феодальных отношений и окончательным формированием капитализма», «английская, американская и французская революции XVII–XVIII веков заложили основы современного конституционализма, провозгласив права человека естественными и неотчуждаемыми, а власть ограниченной и связанной правовыми нормами» и т.д.

Многие исследования уж очень схожи своей концептуальностью, тональностью, стилем, способом подачи материала, источниковой базой. Пожалуй, последнее обстоятельство во многом тому виной. Ссылки на одних и тех же авторов нивелируют оригинальность исследований, обращение лишь к юридическим источникам не позволяет понять глубину и масштаб проблемы. Переиздаётся и копируется очень многое из того, что было ранее озвучено. Чрезмерное теоретизирование и повествовательное изложение материала придают раскрытию проблематики обтекаемые и неопределённые формы.

По мере изучения источников зрело убеждение в том, что при помощи одной только юридической и отчасти исторической литературы освоить данное направление невозможно. В нашем понимании конституционализм мыслится своего рода развитием идеи нового права и ограничения власти, имеющей под собой определённый материальный фундамент и особую ментальность, корни которых следует искать много глубже, чем это принято.

Возникла необходимость обращения к источникам, которые традиционно не используются в академических правовых исследованиях. Привлечение знаний из других наук раскрыло феномен конституционализма в ином, более глубинном и ярком ракурсе, ведь он содержит в себе функциональные элементы, далеко выходящие за рамки права (мораль, обычаи, здравый смысл). Многие ранее непонятные вещи, связанные с его зарождением, развитием и утверждением, сразу встали на свои места. Междисциплинарный подход, исследования на «стыке» наук не являются чем-то новым для правоведения, однако в данном случае предлагается именно авторская версия событий, собственное прочтение ключевых для работы источников.

Не утомляя дальнейшими рассказами о том, что нового и информативно-ценного предлагается в издании (об этом судить читателю), отметим два фактора, которые обусловили его смысловую составляющую.

Во-первых, изучение конституционализма подразумевало более широкое его рассмотрение *в контексте*, включая взаимоотношения с другими объектами и взаимосвязь между ним и контекстом. Показалось важным детальное описание контекста, в котором происходили интересующие нас события. Это позволило описать важнейшие исторические эпизоды в хронологическом порядке, соединяя каждый новый с предшествующим ему. Не остались без внимания ментальные образы многих персонажей, ведь иногда очень важно понять, что думали и чувствовали великие личности. Научиться мыслить в исторических масштабах – важное качество для исследователя. Вопрос «Каким образом?» не менее важен, чем вопрос «Почему?». Значимость контекста, как представляется, позволяет сохранить целостность типа мышления. При раскрытии данной темы это – необходимая составляющая исследования.

Во-вторых, важно было установить факты в том порядке, который диктует обсуждение причинно-следственных факторов, считающихся для раскрытия темы первоочередными. Виделось необходимым предоставить доказательства тех причин и следствий, которые привели к такому историческому итогу, как появление первых конституций. Вопрос «Почему?» столь же важен, как и вопрос «Каким образом?». Здесь признаемся, что раскрытие темы начиналось с результата, а не с начальных событий, которые послужили катализатором дальнейших перипетий. Иначе говоря, хронологический порядок был выстроен обратным путём. Сказалась и абберрация исторического мышления.

Естественно, автору сложно в одной книге подробно рассказать обо всех общих и конкретных особенностях становления европейского конституционализма. Однако смеем надеяться, намечены контуры, которые позволят составить цельное представление о проблеме: конституционализм как идея и реальность анализируется сквозь призму внутренних европейских процессов и их распространения на всей территории западной цивилизации. На протяжении исследования не подвергается сомнению факт принадлежности белорусских земель к Европе, их близость в разные периоды с её политическими и правовыми институтами, культурой и общественной жизнью. Однако эпицентр событий находился, конечно же, в иных регионах Европы. Поэтому должны быть понятны акценты, расставленные в книге.

Для «наведения резкости» необходимо пояснить следующее. С конституционализмом у автора примерно такие же отношения, как у Св. Августина с Богом: «не могу дать Ему определение, но знаю, что такое безбожие». Дать точное определение конституционному правопорядку не под силу никому, но понимать, где начинаются беззаконие и узурпация власти, должен каждый уважающий себя юрист.

Надеюсь, издание не утомит читателя: по ходу дела ему встретится множество новых лиц и спорных вопросов, важных для понимания и современных проблем. Необходимо отчётливо представлять, как возникали первые ростки европейского конституционного самосознания, почему идея основного закона оказала мощнейшее воздействие на пути развития западной цивилизации. Исследование имеет уже написанное продолжение, но подробнее на этом остановимся в конце повествования.

Задача этой книги – кратко проследить путь, который прошла Европа, зарождая и претворяя идею нового права, оформившуюся концепцией конституционализма: выявить причины, по которым это произошло, обозначить исторический процесс, в ходе которого развивались эти отношения, показать многообразие аспектов, теорий, институтов и практик, то есть всего того, что обусловило становление конституционного правопорядка. Амбициозных целей не ставилось. Второй важнейшей её задачей являлось приобщение к курсу по проблемам конституционализма тех авторов, которые никогда ранее не появлялись на страницах юридических специализированных изданий. Всем приятного чтения.

ПРЕЛЮДИЯ: ЭТИМОЛОГИЯ И ЗНАЧЕНИЕ ТЕРМИНА «КОНСТИТУЦИЯ»

Выясняется этимология слова «конституция». Объясняются причины многозначности данного понятия. Показана роль императорских конституций в Древнем Риме. Отмечается, что термин «конституция» использовался в эпоху Средних веков. Современное значение «конституции» связывается с периодом Нового времени. Уточняется, где впервые термин «конституция» означал основной закон государства. Дается краткий обзор истоков американского конституционализма и соответствующей традиции на Европейском континенте. Подчеркивается, что в суверенной истории Беларуси действующий акт высшей юридической силы имеет двойное наименование: «конституция» и «основной закон». Показаны причины устойчивых мифологических представлений относительно спора о первенстве по использованию термина «конституция».

Если мы хотим, как объявлено в заглавии книги, говорить о Конституции, то следует прояснить историю самого термина *конституция*, поскольку принято считать, что явление определяется своим названием. Однако нельзя не заметить, что многие из тех, которые казались незыблемыми и общепринятыми, со временем меняли своё значение и даже выходили из употребления. Из этого следует, что явления и реалии, которыми они обозначались, тоже в каком-то смысле были преходящими. Слово «конституция» не является исключением.

Термин «конституция» вошёл в юридический лексикон всерьёз и надолго. Современное правовое и демократическое государство не может развиваться вне конституционных рамок, причём не имеет значения, какого рода конституция действует в конкретной стране: «писаная» либо «неписаная», «кодифицированная» или «некодифицированная». В любом случае речь идёт о неких правовых актах, имеющих основополагающее юридическое значение. Но так было не всегда. Конституция в её современном понимании существует немногим более 200 лет, в то время как сам термин активно используется более двух тысячелетий, однако в самых разных значениях.

Как ни удивительно, выяснению происхождения и эволюции данного термина авторы практически не уделяют внимания. Упускается очень важный момент, связанный с проблемой трансформации явления в рамках устойчивой и очень консервативной дефиниции, что приводит к терминологической путанице и подмене понятий. Наше видение вопроса освещается в нетрадиционном для современной науки ракурсе на основе исторического и сравнительно-правового анализа.

Слово «конституция» многозначно. С помощью этого термина обозначаются разные явления. В лингвистике способность слов иметь несколько значений называется *полисемией*. Многозначные слова широко распространены в языке права (см. Н.Н. Ивакину [1, с. 101]), и это в полной мере относится к термину «конституция». Во-первых, с его помощью в настоящее время обозначают основной закон государства. Во-вторых, под нею понимают «телосложение, обусловленное определённым соотношением в развитии органов и тканей», т.е. слово обладает биологическим смыслом (построение). В-третьих, имели место в истории и явные курьёзы. Например, во время восстания декабристов 1825 г. возбуждённый люд Санкт-Петербурга всерьёз полагал, что конституцией зовут жену Великого князя Константина [2, с. 275].

Во втором значении этот термин используется в судебной медицине, криминалистике (конституция человека), но сейчас говорим о конкретной форме юридического акта. И в первом, и во втором случае мы имеем дело с языковым заимствованием. Ла-

тинизм «constitutio» (установление, учреждение) [3, с. 325] проникает в славянские языки через польский и французский с XVI по XIX в. наряду со многими другими (референдум, диктатура, резолюция, меморандум, революция, экстрадиция и пр.). Это естественный процесс в любом современном языке, т.к. отражает политические, торговые, культурные, военные связи народа с другими государствами.

В юридической фразеологии периода Великого Княжества Литовского данный термин проявляет себя с XVI в. Этот факт, а также иные политические и правовые аспекты дают основание В.Н. Бибило считать, например, что «Статут 1529 г. – конституция феодального государства» [4, с. 90]. В основе термина «конституция» лежит латинский корень *const*, что означает устойчивость, стабильность. Таким – устойчивым и стабильным – задумывалось и новообразованное государство – Речь Посполитая, созданное в середине XVI века, когда в условиях угрозы со стороны Московии Польская Корона и Великое Княжество Литовское заключили Люблинскую унию. Польский историк Анджей Сулима Каминский пишет о том, что «по конституции Король Речи Посполитой должен быть католиком» [5, с. 31]. Автор здесь же объясняет значение термина: «Все законы, одобренные парламентом, назывались “конституциями”. Таким образом, “конституции” принимались по широкому кругу вопросов – от налогообложения и войн до предоставления финансовых привилегий некоторым магнатам и определения обязанностей для тех, кто владел крестьянами» (перевод наш. – А.П.) [5, с. 31]. Изучение официальных документов той эпохи свидетельствует, что в конституционном пространстве Речи Посполитой употребление латинизмов было обычным делом: *Pakta conventa*; *Senatus Consilia*; *Rex solus*; *Homines novi*; *Forma mixta*; *Liberum veto*; *Magnus* и др.

Происхождение термина «конституция» научно не определено. Е.И. Козлова [6, с. 72] придерживается мнения, что он взят из юридико-технического оборота «*Rem publicam constituit*», которым начинались акты римских императоров. Интересно отметить и тот факт, что наряду с термином «конституция» применялось на первоначальных этапах её становления и наименование «основной закон» (*lex fundamentales*). Многие современные государства (Беларусь в том числе) воспроизводят оба этих термина, которые считаются равнозначными. Но в ФРГ, например, нормативное значение «конституции» и «основного закона» принято различать с 1949 года, хотя доктрина это зачастую игнорирует, отождествляя указанные категории.

В Древнем Риме императорские конституции играли роль важнейших источников публичного и частного права. Во многом это было «собирательное» название. В эпоху принципата конституции издавались в четырёх основных формах: а) *эдикты* – общие распоряжения; б) *декреты* – решения по судебным делам; в) *рескрипты* – ответы на поступившие к императорам вопросы; г) *мандаты* – инструкции чиновникам по административным и судебным вопросам.

Перед нами – типичный пример несогласованного законодательства, и «если раньше императорское законодательство по своему объёму стало совершенно непостижимым, настолько оно оказалось запутанным», – пишет Э. Аннерс [76, с. 114]. Попытки преодолеть возникшую проблему имели место [8, с. 152]. Например, римский юрист Квинт Муций Сцевола поставил перед собой в качестве задачи дать «дефиниции», как он их называл, т.е. точное изложение правовых понятий и терминов. Однако более-менее это удалось намного позже, когда была создана достаточно удачная кодификация правовых норм через Кодекс Юстиниана и свод специальных правоведческих текстов – Дигесты. Эти противоречия, доказывает Г.Дж. Берман [9, с. 196], не были решены и в дальнейшем, при формировании западной традиции права.

Как полагает В.А. Краснокутский [10, с. 36], поскольку в период домината мандаты выходят из употребления, а декреты и рескрипты имеют силу только по конкретным делам, то основной формой конституции являлся императорский эдикт. Впоследствии

выдвигались инициативы по кодификации конституций, которые, однако, были произведены не властью, а частными лицами: Кодекс Грегориана (295 г.); Кодекс Гермогениана (как дополнение к предыдущему); Кодекс Феодосия (438 г.).

В правовой системе Древнего Рима периода принципата термин «конституция» не был созвучен его нынешнему значению, поскольку через этот акт выражалась воля нового суверена и происходило постепенное замещение закона как формы позитивного права. Более того, по концепции Помпония принципс как воплощение нового режима конституируется («constituto principe») независимо от воли римлян: «...quod ipse princeps constituit pro lege servetur» («...то, что принципс постановит сам, соблюдается вместо закона») [11, с. 114]. Императорская конституция возвышается над любыми формами позитивного права, становится критерием сама для себя. Отсюда Ульпиан и вывел свою знаменитую максиму – «Принципс свободен от законов». Поскольку римская императорская власть рассматривала себя как последнее и даже божественное основание всякой власти, что, по мнению В.М. Розина [8, с. 153], было логическим завершением аристотелевской идеи Разума и претензий Александра Македонского, она стремилась придать римскому праву через т.н. «метанормы» абсолютный характер. Отсюда и попытки вывести императора за рамки права: проблема «максим» и «универсалий» изрядно будоражила ведущих мыслителей Средневековья – Иоганна Солсберийского, Абельяра, Грациана, Бурхарда, Ивона, Ансельма.

Можно говорить о том, что конституции императоров превращаются в важнейший источник права, и они, в отличие от многих актов магистратов, действовали на всей территории римского государства, а не были ограничены пределами города. Как отмечает О.А. Жидков [12, с. 205], первоначально конституции императоров касались лишь вопросов публичного порядка (организации администрации, преступлений и т.п.), но постепенно они всё более охватывали все сферы правового регулирования. Важно и то, что многие выработанные в императорскую эпоху формы конституций оказали впоследствии большое влияние на законодательную технику средневековых монархий.

По нашему мнению, между рассмотренным значением термина и нынешним его пониманием существует принципиальная разница. Во-первых, в Древнем Риме о конституциях говорится во множественном числе, количество их исчисляется сотнями. В настоящее время данный термин подразумевает, как правило, основной закон как акт высшей юридической силы, существующий в единственном числе. Во-вторых, и это представляется более важным, современная конституция как «Основной Закон» предполагает известное ограничение для публичной власти, в то время как императорские «конституции» являли собой акты абсолютного единовластия. Поэтому нельзя переносить современную терминологию на древнюю действительность, и наоборот.

В современном понимании этого слова конституций не было и в Средние века, хотя сам термин использовался многократно. Например, когда крестоносцы во время походов для «освобождения Иерусалима от неверных» завоёвывали территории на Ближнем Востоке, они иногда принимали для своих поселений документы, называвшиеся конституциями («установлениями»). Это были главным образом акты религиозного и военно-феодалного характера. В Средние века в Европе, поясняют Т.Я. Хабриева и В.Е. Чиркин [13, с. 9], принимались документы, иногда официально или неофициально именуемые конституциями (об устройстве монашеских орденов, городских республик), а также правовые акты, содержавшие положения, которые теперь считаются имеющими конституционное значение (Великая Хартия вольностей 1215 г. в Англии, Золотая булла 1222 г. в Венгрии, Великий мартовский ордонанс 1357 г. во Франции). Справедливости ради отметим, что эти акты конституциями не назывались, да и их содержание было далёким от содержания современных конституций.

Но есть примеры и иного рода. Термин «конституция» был использован в уложении законов и обычаев (*Constitutia legis et usus*) г. Пизы 1161 г. [14, с. 309]. В данном случае запись обычного права совмещается с королевскими законодательными установлениями, положениями канонического права и заимствованиями из римского правоведения и законов (откуда и появляется термин «конституция»). В знаменитой «*Каролине*», уголовно-судебном уложении Священной Римской империи, которое было принято в 1532 г. и получило своё название от имени императора Карла V, в латинском варианте документ называется «*Constitutio Criminalis Carolina*», но в немецком переводе слово «*constitutio*» отсутствует. Поскольку латынь занимала ведущие языковые позиции в Западной Европе, многие термины были широко распространены и в иных, помимо юридической, сферах: науке, католическом богослужении, анатомии («конституция» как строение человека). В учредительном смысле, для установления определённой организованности наряду со словом «конституция» глоссаторами и постглоссаторами по отношению к особенно важным правовым актам стало использоваться словосочетание «основной закон» [15, с. 13]. В.Е. Чиркин пишет, что и поныне «в некоторых англоязычных и испаноязычных странах [конституциями] называются уставы крупных профсоюзных объединений» [16, с. 15].

В своей работе К.В. Арановский [17, с. 111] призывает с большой осторожностью использовать термин «конституция» современным авторам, занимающимся древней историей. К примеру, учёный критикует позицию К.А. Попова, назвавшего в своей работе «Законодательные акты средневековой Японии» (1984) Конституцией акт Сетоку, принятый японским принцем ещё в VI веке, нравственно-политическое содержание которого состояло в идее патерналистского (покровительствующего), но никак не конституционного государства. Верно замечание К.В. Арановского и касательно того, что Япония не имела собственной конституционной традиции, а перенимала её у западных стран уже в Новейшую эпоху.

Но в таком случае аналогичное требование можно переадресовать и Ш.Л. Монтескьё, который в своём фундаментальном труде «*О духе законов*» пишет следующее: «Согласно конституциям Московии, царь волен избрать себе в преемники кого хочет или в своём семействе, или вне его» [18, с. 61]. Ясно, что в преломлении на деспотический уклад Московского государства язык не поворачивается произносить само слово «конституция». Но в том то и дело, что французский просветитель использует терминологию сообразно римской традиции, по которой «конституциями» назывались акты, символизирующие абсолютный характер власти суверена – императора. Ещё раз подчеркнём, что ни рабовладельческое, ни феодальное общество не знало конституции как основного закона государства, хотя сам термин имел широкое распространение, но отражал он совершенно иные явления. Ростки конституционализма уже пробивались, а «конституции» ещё не было.

В современном значении (или близком к нему) термин «конституция» начинает употребляться в эпоху Нового времени, и связано это было с появлением английских колоний на Североамериканском континенте: «Идеи о необходимости основного закона, ограничивающего абсолютистский произвол, взяли с собой в Америку бежавшие от притеснений во время революции и после неё различные волны британских эмигрантов. С их деятельностью и связан первый конституционный опыт», – такое объяснение дают Т.Я. Хабриева и В.Е. Чиркин [13, с. 10]. Этому же мнению придерживается и Б.С. Эбзеев, когда пишет о том, что «отцы-пилигримы, отправившиеся в 1620 г. в Америку, ещё во время путешествия составили так называемый “*Plantation Covenant*” (колониальный договор), который нередко называют первой писаной конституцией. Этот договор начинался таким образом: “Во имя Бога, аминь! Мы, нижеподписавшиеся, поданные Его Величества, нашего суверенного государя Якова, Божьей милостью

короля Англии и пр., предприняли во имя Бога, распространения христианской веры, ради чести нашего короля и отечества путешествие, чтобы учредить первую колонию на севере Вирджинии, и взаимно соединяемся настоящим торжественным договором перед Богом и в присутствии всех нас для доброго порядка, общего блага преследования вышеназванных целей. В силу этого договора мы издадим, установим и учредим такие справедливые Законы, такие постановления, распоряжения, **конституции** (выделено нами. – *А.П.*), такие должности, которые окажутся желательными для общего блага колонии, и обещаем всем должное послушание и подчинение. В свидетельство чего мы подписали свои имена 11 ноября, в лето от Рождества Христова 1620-ое» [19, с. 93]. Но поскольку, как можно убедиться, конституции идут лишь в долгом ряду перечислений вместе с другими актами, мнение Б.С. Эбзеева не вполне соответствует фактам. Скорее, этот Ковенант (Соглашение) следует рассматривать как важнейший первоисточник идей американской конституции.

С этих событий начинается построение первого демократического политического сообщества на территории Новой Англии. Дореволюционный российский юрист Ю. Гачек отмечал, что первыми ввели у себя конституции Коннектикут, Провиданс и Нью-Гавен 11 января 1639 г. [19, с. 93], но всё же их нельзя рассматривать в значении термина «основной закон». Впервые «конституция» как заглавный юридический акт зазвучала в январе 1776 г. в Нью-Гемпшире при принятии одноимённого документа. Эта первая в мире конституция (в современном значении слова) представляла собой небольшой по объёму акт, призывавший к скорейшему прекращению войны, время действия которого было рассчитано на период «несчастливой и неестественной борьбы с Великобританией» [20, с. 8]. В марте 1776 года была принята Конституция Южной Каролины, а всего, по свидетельству знатока американского конституционализма В.И. Лафитского [20, с. 7], до принятия федеральной Конституции 1787 г. в штатах действовало 16 конституций. Таким образом, принято считать, что обобщённое название конституций имели акты штатов-колоний до провозглашения независимости США.

Положения федеральной Конституции 1787 г. были написаны с учётом конституционного законодательства штатов. Именно в США впервые облекли конституцию в форму единого основного закона, действующего для суверенного государства, и с этой поры слово «конституция» стало политическим термином с конкретным значением. Поправки к Конституции, 10 из которых вступили в силу 15 декабря 1791 года, составили так называемый Билль о правах, но они не были инкорпорированы в текст Конституции. Однако сами американцы всегда рассматривали Билль о правах как органическую часть Конституции. (Всего было принято 27 поправок, последняя – в 1992 г.)

А что же Англия – родина конституционного государства? Конечно, обсуждение вопроса зависит во многом от того, что следует считать конституцией – наличие письменного текста основного закона, поставленного выше других по авторитетности и юридической силе, либо наличие неких актов (или даже учреждений), в которых фиксируются важнейшие принципы общественного и государственного строя, обладающие характерными признаками конституции. В Англии с этим делом запутанная история, что обусловлено некодифицированным и даже отчасти неписанным форматом того, что принято называть английской конституцией. Но латинское слово «конституция» в описании государственного устройства встречается очень давно.

Со времени Кларендонских конституций 1164 г., изданных Генрихом II, в которых перераспределялись духовная и светская юрисдикции, термин «конституция», по наблюдению В.Г. Графского [14, с. 412], стал использоваться гораздо реже, вместо него предпочитали употреблять слова «ассиза», «хартия», а позднее «статут», «билль» или «ордонанс». Все они обозначали вводимый в действие закон и сборник законов. И только начиная с XVIII в. слово «конституция» стало употребляться в единственном

числе для обозначения всей политической структуры общества, его законодательных и административных органов с их функциями и правами, а также обязанностями подданных в отношении этих органов. Видный общественный деятель XVIII столетия лорд Честерфильд сказал однажды, что Англия является единственной страной, которая имеет конституцию. Так считали и за пределами страны. Авторитетнейший ум эпохи Просвещения Ш.Л. Монтескьё, большой почитатель английской политической традиции, многократно в своём труде [18] обыгрывает тему конституции Англии. Не только юристы, но и законодатели не отказываются от употребления термина «конституция».

Например, в Акте «Об обеспечении свободы парламентов путём дальнейшего установления условий членства для заседания в палате общин» от 1710 г. говорится: «Для лучшей охраны конституции и свободы парламента постановлено и объявлено...» [14, с. 413]. В иных источниках английского права – союзных актах, общеправовых соглашениях, биллях – данный термин не встречается. Вообще, природа и пределы этого права чрезвычайно затруднены для понимания и изучения.

Наиболее обстоятельной и авторитетной интерпретацией английской конституции стала концепция А. Дайси, который устанавливает, как бы мы сейчас сказали, отрасль конституционного права через «законы, соглашения, обычаи, традиции и принципы [...], определяющие состав верховной власти» [22, с. 27, 28]. В цитируемом нами его фундаментальном труде «*Основы государственного права Англии*» А. Дайси постоянно использует термин «конституция», заостряет на нём внимание в работах Бёрка, Фримена, Пэли, Галлама, Гёрна, Гадинера, Бэджота. В книге В. Энсона «*Английский Парламент, его конституционные законы и обычаи*» на основе учения А. Дайси даётся анализ конституции через акты Парламента [23, с. V], а Билль о правах учёный элегантно именуется «Новой Конституцией» и «Конституционным Кодексом» [23, с. 24]. Большой успех в 1771 г. имело сочинение Ж.Л. Делольма «*Конституция Англии*», переведённое почти на все европейские языки [15, с. 87]. Из последних работ – «*Эволюция британской конституции*» П. Бромхеда [24].

Как известно, в послевоенный период конца XX в. неоднократно британским Парламентом предпринимались попытки разработать Основной Закон под названием «конституция», но дело стопорилось на самых ранних стадиях обсуждения проекта. Сейчас же, в 2017 году, по начавшейся процедуре «Brexit» о выходе Великобритании из Европейского Союза, можно утверждать, что процесс принятия такого документа «заморожен намертво». Возможны выход Шотландии из состава Королевства и принятие ею республиканской конституции.

На Европейском континенте первая конституция, как принято считать, была провозглашена в Речи Посполитой 3 мая 1791 г., однако с использованием этой дефиниции не всё однозначно. Дело в том, что акт, принятый 3 мая и утверждённый 5 мая, не назывался Конституцией (название было *Ustawa Rządowa*), но в самом тексте термин употребляется неоднократно. Например, было сказано, что «для общей пользы, для укрепления свободы, для спасения Отчизны нашей и её границ с великой твёрдостью духа эту Конституцию утверждаем» [25, с. 173]. Исторически данный акт действовал недолго – до мая 1792 года. Вслед за «Конституцией» Речи Посполитой 3 сентября 1791 г. была утверждена Конституция Франции, которая просуществовала до 1793 года, а уже с первой половины XIX в. конституционное правотворчество охватило почти всю Европу. С тех пор латинский термин «*constitutio*» укоренился всерьёз и надолго, и не только в связи с правовыми явлениями.

Использование слова «конституция» напрямую связано с «масонскими манускриптами», которые представляют собой определённый пласт исторических документов, имеющих важное значение для понимания развития как реального, так и спекулятивного масонства. Под ними, как правило, подразумевают масонские *конституции*, регламенты,

катехизисы, уложения, наставления, требования, статуты. Первым считается *Холлиуэллский Манускрипт*, также известный как Поэма Региус (Regius Poem), вторым – «*Готические конституции масонства*» Мэтью Кука. Самыми известными являются «*Масонские конституции*» Джеймса Андерсона, написанные им в 1723 и 1738 годах (полное название: «*Конституции масонов, содержащие историю, уложения, правила, предписания и т.д. самого Древнего и весьма достопочтенного братства, для использования в ложах*») [26].

Издание конституций было отредактировано и опубликовано Бенджамином Франклином в Филадельфии в 1734 году, став первой масонской книгой, напечатанной в США, о чём пишет отец-основатель в своей «*Автобиографии*» [27]. Наверное, именно Франклину и принадлежала идея назвать впоследствии Основной Закон США «Конституцией», вписав туда столь значимые для масонов положения о свободе слова, религиозной толерантности, межнациональной терпимости, общественном достоинии, неприятии деспотизма. Франклин всегда свои размышления сосредотачивал на преодолении греховности человека, а это – типично масонское мировоззрение. Г.Дж. Берман пишет о том, что «в злую сторону человеческой природы твёрдо верили творцы Конституции Соединённых Штатов – более того, именно ради обуздания присущей человеку алчности и властолюбия и было создано правление законов, система сдержек и противовесов» [28, с. 396]. Между «Масонскими конституциями» и «Конституцией США» связь более чем очевидна.

Справедливости ради отметим, что с первенством по использованию термина «конституция» в качестве основного закона страны на Европейском континенте не всё ясно. Например, украинские авторы А.И. Забейворота [29, с. 45–48] и А.В. Кресин [237, с. 197] исследуют документ, который долго замалчивался в российской и украинской историко-правовой науке. Речь идёт о написанной в апреле 1710 г. т.н. «*Конституции Орлика*» (полное название: «*Пакты и конституции законов и вольностей войска Запорожского*»), которая предусматривала установление национального суверенитета и определение границ Украинского государства. Можно по-разному оценивать заявленный подход: «Написанная в апреле 1710 г., она действительно претендует на “пальму первенства”, ибо появилась на 90 лет раньше польской и на 70 лет раньше американской Конституции», однако признаем и следующее. Достоинством этого правового акта, полагает учёный, является то, что в нём содержатся элементы теории естественного права, разделения властей, независимости судебной власти, местного самоуправления, антикоррупционной политики. Это действительно уникальный исторический документ, который ещё ждёт своих исследователей. Но внимательное его изучение позволяет нам делать выводы не столь оптимистического свойства.

Дело в том, что слова «конституция» нет в оригинале на украинском, на котором был составлен документ. Заглавие звучит так: «*Договоры и постановления правъ и вольностей войсковыхъ...*». Только в латинской версии встречается слово «constitutio». Но это не главное. Будучи преемником Мазепы, Филипп Орлик подписал этот документ в изгнании, власть на Украине ему никак не принадлежала (на полтора года раньше Гетманом избрали Ивана Скоропадского на «законной» территории). По содержанию этот договор – типичная «избирательная конституция», т.е. подписывающий его ещё не имеет власти, поскольку всё произошло до выборов. Нет там разделения властей и элементов естественного права, зато признаётся протекторат шведского короля Карла XII над Украиной. Ни по названию, ни по содержанию назвать этот документ «конституцией» не представляется возможным. Налицо исторический миф, где желаемое выдаётся за действительное.

Таких примеров в современных исследованиях – великое множество. Автор уникального и глубокого труда «*Христианские корни современного права*» Р.А. Папаян

пишет о том, что «крупнейший армянский общественный и политический деятель Шаамирян в 1773 г. начал и в 1788 г. завершил работу над *первой Конституцией Армении*, в которой удивительным образом представлен почти весь спектр тех правовых норм, вся та гамма прав человека и соответствующие им механизмы устройства государства с разделением властей – все те правовые ценности, которые сегодня исповедует Европа» (курсив наш. – *А.П.*) [30, с. 9]. Понятно, что не было такого документа под названием «Конституция», а сказано для того, чтобы хронологически опередить все американские конституции. Тот же случай, что и с «Конституцией Пилипа Орлика» 1710 года, «Конституцией Речи Посполитой» 3 мая 1791 года и многими другими документами, не имевшими в названии латинского термина «constitutio». Но уж лучше такие проявления патриотизма, чем забвение собственной истории.

Манипуляции с термином «конституция» свойственны не только патриотическим (без иронии) историкам и юристам, но и политикам самого высокого уровня. Например, после оглашения Европейской конституции 28 мая 2003 года её авторы – среди них самым авторитетным был экс-президент Франции Жискард д'Эстен – задумали осенить этот документ знаком классической Греции и предварили преамбулу цитатой из эпитафии, которую Фукидид приписал Периклу (430 г. до н.э.): «Наша *Конституция* утверждает демократию, поскольку власть не находится в руках меньшинства, а принадлежит всему народу» (курсив наш. – *А.П.*). Правда, эти слова исчезли из окончательной редакции, но нас в данном случае интересует другое.

По мнению Лучано Канфора [31, с. 16], помимо того, что это – ложное толкование, фальсификация реально сказанного Периклом, имеет место и филологический «подлог». Дело в том, пишет автор, что при обозначении государственного строя Афин «передавать *politéia*» как «конституция» означает впасть в модернизацию, в заблуждение [31, с. 16]. На тот момент Республиканский Рим уже существовал, но первые «конституции» появились там четыре века спустя, в императорский период. К тому же, греки никогда не перенимали римскую терминологию, это последние во всём копировали афинские политические институты. Однако ясно то, что при переводе определенных каждое слово в нём должно быть выверено и взвешено, не подменяться более поздними и привычными терминами, о чём прекрасно доводит Умберто Эко в своей книге «*Сказать почти то же самое. Опыты о переводе*» [32].

Возвращаясь в век XX-й, напомним, что советские конституции воспроизводили два термина – «конституция» и «основной закон». Эта традиция была сохранена в суверенной истории Беларуси, и ныне действующий акт высшей юридической силы имеет двойное наименование. В самом же тексте белорусского Основного Закона «конституция» употребляется 81 раз, что во многом объясняется объёмным («развёрнутым») характером документа.

Как можно убедиться, проблематика исследования во многом осложнена многозначностью дефиниции «конституция». Зародившись в Древнем Риме, конституции играли роль правовых актов суверена, воля которого была абсолютизирована и не имела в принципе никаких юридических ограничений. Влияние латыни и римского права на развитие Европы объясняет «живучесть» данного термина, его широкую применимость во многих сферах общественной жизни. Однако важно иметь в виду следующее. Как утверждает М.Н. Марченко [33, с. 15], в целях получения объективного знания в процессе сравнительного анализа различных конституционных актов методологически верным представляется в максимальной степени соблюдать следующие, предопределённые самой логикой научного познания исследуемой материи, условия. Рассуждения автора сопроводим своими комментариями.

Во-первых, исходить если не из одинакового, то, по крайней мере, сходного, непротиворечивого понимания того, что именуется конституцией. (Как мы убедились,

многие отечественные и зарубежные авторы вкладывают в этот термин и понятие неодинаковый смысл. Хорошо сказано у Г. Еллинека: «Конституция свойственна даже тирании в античном смысле, – так называемым деспотиям, равно как и такому строю, где правление находится в руках демократического комитета общественного спасения в роде французского 1793 года» [34, с. 371].)

Во-вторых, нельзя допускать смешения одних сторон и аспектов конституционных актов с другими. (Зачастую конституции одновременно рассматриваются, и это объяснимо, не только как юридический документ, но и как политический и идеологический акт. Это становится очевидным при анализе функций конституции.)

В-третьих, необходимо проводить чёткое различие между разнообразными, далеко не всегда совпадающими друг с другом формами выражения и проявления конституционных актов во вне, в частности, между формальными, точнее – формально-юридическими и реальными, «материальными», фактическими конституциями. («Основоположниками» выявления этих различий следует считать Ф. Лассаля и Г. Еллинека, которые предлагали «реальный порядок осуществления государственной власти отличать от порядка, предписанного юридической конституцией». Такой подход последовательно отстаивают многие современные конституционалисты.)

В-четвёртых, при проведении сравнительного анализа различных конституционных актов и их всесторонней оценке следует руководствоваться одинаковыми социально-политическими, экономическими и иными критериями. (Вряд ли это теоретически правильное замечание достижимо в конкретных исследованиях. Характерные «нестыковки» по данному вопросу обнаруживаются при изучении т.н. «конституционных моделей» [13, с. 7].) Но, как говорил Рене Декарт, давайте всё же договоримся о терминах.

В современном значении термин «конституция» следует понимать в привязке к эпохе Нового времени и, прежде всего, в связи с известными событиями на Североамериканском континенте во второй половине XVIII века. Возникшие Соединённые Штаты Америки с течением времени становятся для других стран примером для подражания, своеобразным «законодателем мод» в плане политического развития. Поэтому неслучайно уже в XIX веке по всей Европе прокатилась волна конституционных преобразований, и многие государства «обзавелись» основным законом под названием «конституция». Именно тогда этот термин в сфере публичных отношений стал пониматься в смысле основополагающего акта политического, юридического и идеологического свойства. Беларусь не является исключением. Основной Закон нашей страны именуется конституцией, причём такое двойное наименование вполне допустимо ввиду её кодифицированного характера, что вполне соответствует европейской теории и практике современного конституционализма. Разница между «основным законом» и «конституцией», конечно же, существует, но данный вопрос заслуживает самостоятельного исследования на иной методологической основе.

ГЛАВА 1

ОТ ЦИВИЛИЗАЦИИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ К НОВОМУ ВРЕМЕНИ: ЧТО ПРЕДШЕСТВОВАЛО КОНСТИТУЦИОННОМУ ПРАВОПОРЯДКУ

1.1 Как были потрясены основы феодально-клерикального уклада

Изучаются социально-политические, экономические, религиозные и психологические факторы, обусловившие формирование нового для Европы цивилизационного уклада. Объясняются причины феодально-церковного господства над социумом в условиях взаимовыгодной договорённости. Выясняется, почему торговые отношения изменили психологию европейцев, серьёзно переменили отношение к собственности. Показаны возрастающая роль договора во взаимодействии между людьми, значение урбанизации и самоуправляющихся городов, науки и образования. Исследуются причины устойчивой взаимосвязи капитализма, протестантства и зарождающегося конституционализма. Доказывается, почему индивидуализм и рационализм содействуют зарождению и поддержанию конституционных отношений – методов взаимодействия индивидов. Делается предположение, что именно в рассматриваемый исторический период в Европе формируются основы гражданского общества, а конституция, олицетворяющая идею нового права, выступила своевременным, действенным и достаточно эффективным инструментом имевших место преобразований.

Конституция как общественное явление в современном её понимании получила философское, политическое и юридическое обоснование в эпоху Нового времени. В изменившихся исторических условиях она предстала очевидным достижением европейской цивилизации, явилась своевременным ответом на глубинные потребности социально-экономического и политического прогресса. Ким Лейн Шеппели главной причиной этого видит следующее: «История конституционализма начинается с того момента, когда общество, с интересами которого правитель не желает считаться, начинает оказывать сопротивление. Правителя можно заставить перейти в правовое поле, если это сопротивление институционализировать. Однако если общество организовано таким образом, что противодействие со стороны его различных сегментов никаких результатов не приносит, то правитель продолжает поступать так, как ему заблагорассудится. Конституционализм же является на свет как итог оказанного произволу противодействия» [35, с. 7]. Это верное по сути замечание не может считаться исчерпывающим по обозначенной проблеме, что и предстоит доказать.

Конституционная идея формируется в качестве политико-юридического учения на рубеже эпох в результате борьбы между не сумевшим ответить на вызов своего времени феодализмом и приходящим ему на смену новым общественным строем. Где и когда возникла эта идея? Правильнее будет сказать, что ею являются не отдельные страны, а все те, где уже в XIII–XV вв. в недрах феодальной системы вызревал капитализм, требующий для развития права собственности и свободы предпринимательства принципиально новых правил взаимодействия людей. Изменение экономических условий жизни социума повлекло за собой совершенно иную расстановку политических и социальных сил в обществе, ломку религиозных стереотипов и формирование человека нового типа.

Капиталистический уклад является элементом общественного строя, при котором социум управляется на договорной основе, а для заключения договора необходим диалог. В Средние века было иначе, власть над социумом имели две структуры: военно-административная (светская) и духовная (церковная) элиты. *«Всякая профессия склонна замыкаться в касту, и всякая каста склонна утверждать, что именно её интересы являются высшими интересами человечества»* [36, с. 4], поэтому феодалы и клерикалы жёстко удерживали массы под своим контролем. Взаимодействие между ними легко объяснимо, так как огосударствленное христианство прививало подчинённым полную покорность перед властями (описание ситуации намеренно огрубляется, более детально см. Г. Дж. Бермана [9, с. 96]), а благодаря коронованию Карла папой Львом III, которое произошло в Рождество 800 года, «папство закрепило за собой право ставить и снимать императоров, и христианский мир, несмотря на межгосударственные границы, стал единым» [37, с. 82].

Не только клерикалы вмешивались в политику, с такой же активностью государственные деятели влияли на дела церковные. Эта закономерность отчётливо проявляется с начала VI века, после хаоса варварских нашествий: «Церковь пыталась руководить государством, а государство – управлять церковью. Епископы выдвигались в разряд королевских советников и наставников во всех сферах деятельности, силясь преобразовать церковные каноны в гражданские законы, а короли, став католиками, назначали епископов и председательствовали на соборах» [38, с. 49]. Вместе они контролировали экономику, искусство, науку. Любые попытки независимого поведения в этих сферах пресекались, чему способствовало стремление правящей элиты не допустить разграничения жизни социума на политическую, экономическую, духовную сферы.

О том, что государственное управление и тщательное сохранение религии идут рука об руку, а без содействия духовенства никакая власть не могла быть «легитимной», сказано у Ф. Ницше. «Пока государство, – пишет “философ неприятных истин”, – рассматривает себя как опекуна несовершеннолетней толпы и в её интересах обсуждает вопрос, нужно ли сохранить или устранить религию, – до тех пор он будет всегда решаться в пользу сохранения религии. Ибо религия удовлетворяет душу отдельной личности в случае потери, нужды, ужаса, недоверия, т.е. там, где власть чувствует себя бессильной сделать что-либо непосредственно для облегчения душевных страданий частного лица; и даже при общих, неизбежных и ближайшим образом неустраняемых бедствиях (при голоде, денежных кризисах, войнах) религия внушает толпе спокойное, выжидательное, доверчивое поведение. Всюду, где необходимые и случайные недостатки государственного управления или опасные последствия династических интересов будут обнаруживаться проницательным людям и приводить их в строптивное настроение, – непроницательные будут видеть перст Божий и покорно подчиняться велениям *свыше* (понятие, в котором обыкновенно сливаются божественные и человеческие порядки управления); и этим обеспечивается внутренний гражданский мир и непрерывность развития. Сила, которая лежит в единстве народного сознания, в одинаковых мнениях и общих целях, охраняется и скрепляется религией, за исключением тех редких случаев, когда духовенство не может сойтись в цене с государственной властью и вступает в борьбу с ней» [39, с. 443]. Таких эпизодов в мировой истории насчитывается великое множество, и имеют они одинаковую природу.

Вера в загробную жизнь насаждалась насильственными способами и такими же жестокими методами поддерживалась в умах паствы. За послушание, непосильный труд и земные лишения обещалась райская загробная жизнь. Иными словами, материальные издержки в настоящем предполагалось возместить в будущем мнимыми благами в загробном мире. Если кто-то не подчинялся церкви и не отвечал на её вымогательства, на помощь приходило государство и молниеносно карало строптивных (понадоби-

лось учреждение «святой» инквизиции). Как пишет Жак Ле Гофф, «церковь, часто поддерживаемая государями, охотно предлагавшими ей свою “светскую руку”, реагировала быстро и решительно. И в 1022 г. в Орлеане запылали первые костры с еретиками» [38, с. 109]. Целые группы людей подвергались тотальному преследованию: «Король кастильский Фердинанд сам носил дрова для костров, на которых инквизиция жгла еретиков и нехристианских подданных. [...] Он полагал, что святая инквизиция будет очень полезным орудием королевской власти» [40, с. 299]. В Европе инквизиция просуществовала до 1852 года (Тоскана), а затем была сметена движением Гарибальди за объединение Италии.

К слову, инквизиция – это Средневековье либо Новое время? А.Л. Ястребицкая права в том, что «уже само название “средние века” содержит в себе элемент пренебрежительности. Оно подразумевает, что в истории Европы были два “светлых” периода – античность и новое время, между которыми лежит провал, “ненастоящее” или “тёмное” время, средние века. Давным-давно укоренилось представление, что средние века – период застоя, и термин “средневековье” стал синонимом мрачного и реакционного. Но справедливо ли такое суждение?» [41, с. 5]. В конце концов, именно в Новое время начинается массовая охота на ведьм. Поэтому прав У. Эко [42, с. 13], когда пишет о том, что само понятие «средневековье» определить довольно трудно. Такого же мнения и Кэрролл Куигли [43, с. 493].

В чём был интерес у светской власти в отношении церкви? Последняя оправдывала режим монархической власти, нарекая государей помазанниками Божьими и облекая их земную власть в форму божественной санкции. Клирики освящали королевскую власть и провозглашали необходимость того, чтобы все подданные слепо ей подчинялись, поскольку «тот, кто противится сей власти, противится порядку, угодному Богу» [38, с. 331]. Но если король отклонялся от этой программы и переставал подчиняться (как то было с Фридрихом II, отлучённым от церкви и низложенным на Лионском Соборе 1245 г.), церковь быстро напоминала ему о его ничтожестве, лишая власть столь желанного священного характера. Ещё в 829 г. на Парижском Соборе было определено, что если король не почитает церковь, то становится не монархом, но тираном. Как сказал Рудольф Безбородый, «Европа облачается в белое одеяние церковей» [42, с. 302].

В это время утверждается ключевая доктрина римской католической церкви, которая нам известна теорией «двух мечей». Она была выдвинута папой Бонифацием VIII и, согласно ей, один меч символизирует власть в этом, материальном мире, и она может принадлежать государям. Второй, более важный меч, находится в руках церкви и символизирует власть в духовном мире. Доктрина не предполагала разделение власти двух мечей, каждый из них поддерживал другой и шёл за ним, т.е. политическая и духовная власть не могла быть разделена. Именно это и определяет миссионерский дух церкви: «Со всех точек зрения – духовной, пасторской, политической – это была эпоха вершины могущества католической церкви» [44, с. 79], а Ватикан высокомерно и спесиво игнорировал католические государства того времени.

Где царил феодальная раздробленность (Германия, Скандинавия, Италия), «мини-монархами» для своих подданных выступали князья, герцоги, графы, бароны, курфюрсты и прочие властители. Для населения это был наихудший вариант, т.к. родовые распри и всеобщее распространение грубого насилия, жестокое уголовное право и беспредел «доблестных» рыцарей приводили к разрушению культурных и экономических ценностей. Например, особый урон экономической жизни наносил принятый у рыцарей обычай брать в заложники жителей богатых городов и требовать за них большой выкуп. Против такого разрушительного явления выступала как церковь, так и государственная власть. Им не нужны были неподконтрольные и незаконные распри и насилие. Поэтому совместными усилиями приходилось выработать правопорядок, обеспечи-

вающий более эффективную защиту внутренней социальной безопасности. Как говорится, не от хорошей жизни.

Между светской и религиозной властью закрепились взаимовыгодная связь. Фактически церковь и государственная власть образовывали единую элиту, основным управляющим принципом системы выступает легитимность применения насилия или угрозы применения такового (по сути, угроза мук в аду есть ни что иное, как угроза применения насилия, хоть и с «отсроченным» исполнением). В отношении сомневающихся для пушей наглядности акты устрашения церковь и государство учиняли в реальной жизни. Еретиков (в основном богоборцев и учёных) сжигали на кострах «святой» инквизиции, а восстания крестьян и горожан подавляли с невероятной жестокостью (например, в период Крестьянской войны 1525 года в Германии погибло более 100 тысяч человек [45, с. 789], большие бедствия крестьянство познало лишь в XX в. при коллективизации в СССР, где в топку социального эксперимента было брошено 105 миллионов человек [46, с. 313]). На восставших крестьян обрушилась не только традиционная католическая церковь, но и зарождающееся протестантство в лице Лютера: «Непокорных он осудил и назвал “бешеными псами” за захват поместий, пояснив, что Евангелия не призывают обращать чужую собственность в общую, сохраняя при этом своё имущество, а учат христиан по доброй воле расставаться с тем, что они имеют», – пишет Р. Пайпс [47, с. 34]. В качестве врагов второй очереди Лютер утвердил евреев.

Между светской и церковной властью возникали неизбежные конфликты, когда приходилось кардинально решать вопросы власти и собственности. К обычным феодальным войнам прибавлялись распри между императорами и папами, между гвельфами и гибеллинами, баронами и епископами. Общеизвестный факт, что «в Западной Европе трения между набирающей силу Римской католической церковью и расширяющими свои полномочиями королями вылились в широкомасштабный конфликт в конце XI века – “кризис инвеституры”, когда Папа Римский и короли одновременно претендовали на право назначать клир низшего звена. Конфликт удалось погасить благодаря достигнутой договорённости о разделе сфер влияния, которая до сих пор служит моделью распределения обязанностей между гражданским обществом и государством в большинстве стран Европы. Однако в раннее средневековье институциональная проблема была решена лишь частично. Столкновения интересов и пересечение компетенций церкви и государства не раз грозили перерасти в открытый конфликт между ними» [35, с. 7].

Такие случаи имели место. Например, конфликт могущественного короля Франции Филиппа Красивого с папой Бонифацием VIII завершился оскорблением понтифика, получившего пощёчину в Ананьи (1303 г.), и ссылкой, «пленением» папства в Авиньоне (1305–1367 гг.). Большой резонанс получило столкновение папы Иоанна XXII и императора Людовика Баварского, что подвигло Марсилия Падуанского в его «*Защитнике мира*» (1324 г.) определить черты нового христианского мира, где светская и духовная власть чётко разделены. На волне этих событий секуляризация охватила и политическую идеологию, а «последний великий поборник совмещения двух властей, последний великий человек средневековья, подведший своим гениальным трудом черту под былой эпохой, Данте умер в 1321 г., обратив свой взор к прошлому» [38, с. 471].

Западное христианство, сначала католицизм, а затем католицизм и протестантство составляют важную историческую особенность западной цивилизации. Европейцы уже в VIII–IX вв. осознавали свои отличия от арабов, византийцев, восточных славян и других народов. Крестовые походы показали, что в орбите западного христианства существовало хорошо развитое чувство единства. В течение всей западной истории сначала церковь вообще, затем многие конфессии существовали отдельно от государства, несмотря на указанные выше взаимозависимости. Как пишет С. Хантингтон, «Бог и царь, церковь и государство, духовные и светские власти – таков был преобладающий

дуализм в западной культуре. [...] *Это разделение и неоднократные столкновения между церковью и государством, столь типичные для западной цивилизации, ни в одной другой из цивилизаций не имели место. Это разделение властей внесло неоценимый вклад в развитие свободы на Западе»* (курсив наш. – А.П.) [43, с. 96]. Государство было вынуждено считаться и с иными силами, поскольку исторически западное общество было в высшей степени плюралистичным.

Кроме вызова, который светскому государству бросила церковь, на свою долю властных полномочий претендовало дворянство – оно вынудило монархов идти на уступки. Не везде, как в Англии 1215 г. и Венгрии 1222 г., это происходило мирным путём. Но эти «разборки» наверху не имели никакого отношения и не несли ощутимого позитива подавляющей массе населения, кроме гнёта, реакции и карательных экспедиций. В ответ повсеместно вспыхивали бунты, восстания, революции. Это заставило феодалов, епископов и других представителей знати уступать под нажимом «низов». Но такая «спайка» клерикалов и феодалов не могла быть вечной, и вот почему.

В сфере экономики господствовало примитивное нетоварное натуральное хозяйство. Некоторое разнообразие вносили ярмарки (наиболее известные: Труа, Шалон, Провин, Ланьи), которые были призваны обеспечить средневековое общество продуктами, не производимыми в своей местности. Но их организация носила спонтанный сезонный характер, продавцами чаще всего выступали сами производители либо их агенты. Всё необходимое, как правило, производилось внутри одного геосоциального организма. Ментально культивировалось отвращение к «новшествам», нововведения представлялись чудовищным грехом, поскольку подвергали опасности экономическое, социальное и духовное равновесие.

Как отмечает Ж. Ле Гофф [38, с. 243], в течение долгого времени на средневековом Западе не было написано ни одного трактата по технике; эти вещи казались недостойными пера, или же они раскрывали бы некий секрет, который не следовало передавать. Слабость технического оснащения в Средние века проявилась, прежде всего, в самих его основах. Это преобладание ручных орудий над механизмами, малая эффективность оборудования, убогое состояние сельскохозяйственного инвентаря и агротехники, результатом чего были низкие урожаи (лишь в XIV в. появился первый трактат *«О выгодах сельского хозяйства»* болонца Пьетро ди Крещенци), скудность энергетического обеспечения, слабое развитие средств транспорта, техники финансовых и коммерческих операций. Торговля была неразвита и касалась в основном элиты, отличалась монополизированностью и замыкалась на ёмкости её рынка. Суверенами являлись светские и духовные иерархи, которые фактически выступали собственниками производимого продукта. Любое сопротивление и инакомыслие подавлялось.

Выражаясь словами Э. Тоффлера [48], насилие как инструмент власти господствовало во всех сферах: политической, духовной, экономической. Управление осуществлялось «напрямую» – через жёсткие вертикальные структуры в достаточно локальных пространствах. Идея «микропорядка», разработанная Аристотелем, была органично воспринята учением Фомы Аквинского в XIII веке. Следствием этого «стало провозглашение аристотелевской этики фактически официальным учением римско-католической церкви. Негативная оценка торговли церковью в Средние века и в начале Нового времени, осуждение взимания процентов как лихоимства, церковное учение о справедливой цене и презрительное отношение к прибыли насквозь пропитаны духом аристотелизма» [49, с. 84]. Католицизм способствовал формированию устойчивой антикапиталистической традиции.

Её духовно-интеллектуальные истоки – в Античной Греции. Аристотель в своей *«Политике»* обвинял ростовщиков в извращении сути денег, а взимание процентов полагал самым противным природе занятием. По его мнению, ссудные деньги – уже ни в ко-

ем случае не средство обмена. Они приобретают принципиально новое свойство размножаться, порождая новые деньги из старых денег. Те же, в чьих руках они сосредоточены, богатеют, пальцем о палец не ударив, в то время как все остальные нищают, затягиваясь в безнадежную финансовую кабалу. Вторая немаловажная особенность ссудных денег, замечают аристотелевские апологеты, состоит в их способности порождать безнадежные долги, отработать которые честно и в долгосрочной перспективе не представляется возможным. Здесь сказалась философия учителя Аристотеля Платона, говорившего о неудержимой потребности в деньгах, приводящей людей в лапы ростовщиков.

Церковь осуждала процентные займы и без конца напоминала, что деньги не должны делать деньги. Об этом говорили Фолькет Марсельский, епископ Тулузский в 1220-е гг., затем сам Фома Аквинский в 1260-е гг., а потом Лионский Собор в 1274 г. и Вьеннский в 1311 г. Король Людовик Святой в 1230 г. категорически запретил христианам заниматься ростовщичеством, а в 1250 г. – евреям, но те препоны с лёгкостью обходили. Но, например, во Флоренции благодаря семейству Медичи глава клана Козимо сумел добиться, чтобы богословы и церковники допускали или хотя бы терпели способ зарабатывания денег путём ростовщичества, если ростовщик скромнен и сравнительно сдержан, а не дерёт грабительские проценты. В итоге в 1302 г. во Флоренции уже 274 меняны-ростовщика держали в общем 93 стола на городских площадях, и это не считая «подпольных» ссудодателей.

В среде не только духовенства осуждалось «гнутое» ростовщичество. Многие выдающиеся люди той эпохи высказывали негативное к нему отношение. Не избежал этого и великий Данте, поместивший в «Божественной комедии» [50] ростовщиков в самую чёрную из бездн для проклятых и, не называя их по фамилиям, описавший несколько гербов, стянутых тесёмками их кошельков. Жак Эрс в этой связи замечает: «Но следует иметь в виду, что Данте, изгнанный из Флоренции, сводил счёты и тем “грандам”, которых считал виновными в своём скорбном изгнании, приписывал все грехи. К тому же он писал эти строки в период (с 1308 г.), когда купцы и финансисты ещё не приобрели уважения духовенства и не убедили его, что идут на риск и оказывают полезные услуги. Для него любой, кто ворочал деньгами, чтобы извлекать из них доход, был паразитом, жиреющим за счёт несчастных» [51, с. 93]. Такой способ обогащения, получается, очень часто был противозаконным, всегда греховным и откровенно постыдным.

Эти взгляды являются характерными не только для античности и средневековья, они продуцируются и в наше время. Популярность их, полагает Нил Фергюсон [52, с. 9], имеет три причины. Отчасти дело в том, что должники всегда превосходили кредиторов своей численностью и редко относились к ним с теплотой (вспомните Шейлока из «Венецианского купца», Гарпагона из «Скупого», Гобсека из одноимённого произведения О. де Бальзака и других «негативных» персонажей мировой литературы). Кризисы и сопутствующие им скандалы случаются достаточно часто, чтобы в общественном возмущении финансы отождествлялись с нищетой и неустойчивостью, а не с процветанием и спокойствием (Джон Ло [52, с. 163], разрушивший финансовую систему Франции накануне Революции, чего стоит). Наконец, нельзя не отметить, что издавна во всех частях света услуги финансового характера предоставлялись в основном членами религиозных или этнических меньшинств, лишённых возможности владеть землёй или занимать государственные посты, но преуспевших в финансовом деле благодаря доверию и поддержке, зачастую родственной, со стороны своей общины.

И действительно, как могут смириться самые ярые ненавистники «презренного металла» с тем, что чистая выручка «Goldman Sachs» за 2007 год оказалась равна 46 миллиардам долларов, в то время как миллиард людей по всему миру пытается свести концы с концами, тратя менее одного доллара в день. Что уж тут говорить про «мракобесное» средневековье? В Новое время отношение к ростовщичеству меняется,

что убедительно показал Ф. Бэкон в своих *«Наставлениях нравственных и политических»* [53, с. 442–445]. Он предлагает удержать его в должных границах, устранить наносимый им ущерб (расписано семь дурных сторон ростовщичества) и сохранить выгоды (таковых указано три). В общем, «лучше умерить ростовщичество, признав его открыто, нежели дать ему полную волю, потворствуя ему втайне» [53, с. 445]. В ранний период истории всё обстояло иначе.

Сама церковь преследовала «преимущественно собственные интересы, не заботясь более об интересе варварских государств, чего не было при Римской империи. Она скапливала земли, доходы, привилегии, добываясь их в качестве даров от королей, магнатов, даже бедняков, и это в тех условиях, когда накопление ещё более обескровливало хозяйственную жизнь, серьёзно подрывало производство» [38, с. 48]. На словах же в качестве образцов для подражания понтифика в своих духовных наставлениях проповедовали аскезу и монашеское отрешение от мира. Церковь стремилась к установлению клерикальной власти, которая господствовала бы над христианским миром ради того, чтобы отвратить его от мирских забот. В тех социально-экономических условиях это лишь приводило к обоюдному параличу церковной и королевской элит.

Однако в недрах феодального строя зарождаются экономические отношения, основой которых выступила торговля как решающий фактор нового миропорядка. «Почему же всё-таки люди соглашаются рисковать жизнью, здоровьем или имуществом ради путешествия, которое на годы отрывало их от родных и любимых?», – вопрошает Уильям Бернстайн [54, с. 15]. Ответ прост. Тяжёлая жизнь торговца (риски, разбойники, изменчивость рынка) была лучше, чем беспросветная жизнь крестьянина, а на полях в те времена трудилось до 90% населения. Торговец мог стать богачом, ремесленник и уж тем более крестьянин – никогда. Не стоит забывать и о природной склонности людей к «торговле и обмену», в результате которых растёт количество и разнообразие приобретаемых человеком вещей, что убедительно доказал Адам Смит в *«Исследованиях о природе и причинах богатства народов»* [55]. Но это было возможно только в городской среде. Если в раннем Средневековье функции городов сводились к военной, административной и религиозной составляющим, а сам он был укреплённым, огороженным, весьма ограниченным пространством, резиденцией графа или епископа, то начиная с XI в. оживление торговли реанимировало его коммерческую функцию.

В основе торговли лежат горизонтальные связи. Это приводит к тому, что меняется психология социума. В этой связи Р. Пайпс приводит пример, связанный с торговой этикой: «Она учит, что от любой сделки обе стороны, участвующие в ней, должны выиграть, обе стороны должны получить выгоду. [...] Но в понимании аграрной культуры выигрыш одного – это потеря другого, сделка как игра с нулевой суммой» [56, с. 16]. Вместо привычного насилия и увещеваний со стороны феодалов и церковников обществу предлагается диалог, без которого торговля невозможна. Экономическая монополия феодальных элит постепенно сходит на нет, власть суверена в этой сфере ограничивается взиманием таможенной пошлины в денежном или натуральном виде.

Между разными регионами Европы налаживаются контакты, стремительно расширяется информационное пространство. Уклад, при котором большая часть людей лишь производила продукт и примитивно его потребляла, постепенно уходит в прошлое. Уже не только элита, но и социум выступает массовым потребителем. Это даёт стимул для экономического роста, формируются зачатки рыночной экономики со всеми её атрибутами: банками, векселями, биржами, бухгалтерией, контрактами. И всё благодаря торговле, а ведь ещё недавно купцов причисляли к маргиналам, всячески третировали. Торговля расширяет рынки и тем самым стимулирует индустриализацию, что приводит к повышению производительности труда и внедрению поточного производ-

ства. Поэтому часть серийной продукции мануфактур рано или поздно оказалась доступной широким массам.

Решающие перемены в экономике и финансах не замедлили сказаться на юридическом уровне. С XII в. формируются зачатки западного торгового права, которое «впервые стало рассматриваться как интегрированная, развивающаяся система, *корпус*, организм права» [9, с. 315]. Оно было разработано для удовлетворения потребностей прежде всего нового купеческого сословия, что было связано с естественным подъёмом городов и развитием городского права. Однако, как замечает Г. Берман [9, с. 316], расширение торговли в сельской местности было первоначально результатом «сельскохозяйственной революции», а не «городской», т.е. рост сельского хозяйства был сам по себе предпосылкой роста городов. Новая система торгового права существовала на Западе одновременно с системами феодального и манориального права. Революция в аграрном секторе и расцвет торговли привели к появлению излишков сельскохозяйственной продукции, которые надо было реализовать. Это повлекло за собой резкий скачок роста населения, избыток рабочей силы привёл к тому, что бывшие крестьяне становились либо бродячими коробейниками, либо отправлялись в растущие города, чтобы стать ремесленниками или купцами. Истинный масштаб миграции определить трудно, но, по некоторым подсчётам [9, с. 317], в период 1050–1200 гг. количество городского населения выросло с 1 до 10%, т.е. из общего населения Европы примерно в 40 миллионов человек несколько миллионов жили в условиях городских общин. Эти изменения породили качественный и количественный рост экономических показателей.

Технологическая революция, развернувшаяся на Западе в XV–XVI веках, рост внутреннего рынка и формирование буржуазного типа производства, «революция цен» (когда золото утратило прежнюю покупательную способность, а резко возрос спрос на товары) совпали с Великими географическими открытиями.

Проясним ситуацию. К XV веку Средиземное море превратилось в тупик, из которого не было выхода вплоть до открытия Суэцкого канала, к тому же его всё больше контролировали воинственные турки, захватившие к тому времени Константинополь и перекрывшие сухопутные торговые пути на восток. В результате Венеция, Генуя и Флоренция приходят в упадок. А страны с береговой линией по Атлантическому океану – Испания и Португалия, которые были в стороне от главного хода истории, – заняли очень выгодные геополитические и коммерческие позиции. Это повлекло за собой глобальные изменения всего ландшафта Европы.

Спустя несколько недель после возвращения Колумба римский папа издаёт буллу, согласно которой западная часть земного полушария отходила Испании, а восточная – Португалии. Северные страны – Англия, Голландия, Скандинавия и Ганзейский союз – были таким образом обречены на дальнейшее прозябание. И здесь огласим смелую версию Ю.Н. Голубчикова и Р.А. Мнацаканяна: «Только не подчиняясь папскому эдикту, Англия и Голландия могли принять участие в разделе богатств Индии и Америки. И вот в середине XVI века они порывают с Римом и становятся протестантскими странами. Могущество папы было значительным, но он не в силах был изменить географические условия и их влияние на человеческое сознание» [57, с. 47].

После долгих войн, пиратских захватов и торговых экспансий наступил период мирового разделения труда. Доминирование «северных» колониальных систем во главе с протестантскими Англией и Голландией привело к индустриализации Европы. Сельское хозяйство стало играть побочную роль, на первый же план выступили промышленность и торговля. Так были заложены основы общества всё расширяющегося потребления, между всеми континентами земного шара были установлены долговечные связи, что обусловило новое Великое переселение народов по сценарию европейцев. Не случайно в исторической хронологизации этот период считается отсчётом Нового времени.

Для Европы это была принципиально новая, уже третья по счёту, модель экономики. «Сначала была позднеантичная, отличавшаяся развитым разделением труда, высоким уровнем жизни и такой производительностью труда, которой человечество потом достигло только к XIX веку. Но для такой производительности просто не было столько потребителей: в рабовладельческом обществе невозможно создать необходимый спрос. В итоге эта модель пришла в противоречие и разрушилась. Ей на смену пришла статичная цеховая модель, которая просуществовала тысячу лет. А в XVI веке её заменила модель научно-технического прогресса, *которая требует постоянного расширения рынков*» [58, с. 36]. И хотя капитализм вызревал внутри феодализма естественным образом, «именно географическая экспансия западного мира сделала *возможность* буржуазной эволюции в Западной Европе *реальностью*» [59, с. 24]. Непосредственной причиной успешной экспансии Запада С. Хантингтон считает технологию, т.е. «изобретение средств океанской навигации для достижения далёких стран и развития военного потенциала для покорения их народов» [43, с. 64]. Так возникла международная система с доминированием Запада.

Однозначно сложно сказать, что обеспечило начало новой европейской эры. Одними из первых, актуализировавших этот вопрос, были марксистские исследователи, пытавшиеся разобраться в происхождении капитализма, усилении роли городов и формировании политико-правового ландшафта. Диспут завязался по двум направлениям, которые, как показано Б.Ю. Кагарлицким [59, с. 22], оказались вполне совместимы.

В первом случае внимание акцентируется на технологической революции, развернувшейся на Западе в XV–XVI веках, росте внутреннего рынка и формировании буржуазного типа производства. Города предъявляют повышенный спрос на сельхозпродукцию, натуральное хозяйство сменяется товарным, перестраивается вся экономическая организация, стремительно развивается торговля со всеми сопутствующими институтами. Во втором случае обосновывается версия, что этот бурный рост был вызван не только и не столько внутренней динамикой системы, сколько внешними факторами. Например, в XV веке к ним можно отнести эпидемию чумы, падение Константинополя и Великие географические открытия. Поясним на примерах.

Чума, уничтожив $\frac{1}{3}$ европейского населения, породила спрос на наёмную рабочую силу, в том числе и в деревне. Падение Византии и господство турок на Средиземном море вызвало торговый кризис и поиски новых морских путей, что привело к открытию Америки и путешествиям на Восток. Поток золота из Нового Света повлёк за собой «революцию цен», утратилась его прежняя покупательная способность, зато резко возрос спрос на товары (так впервые инфляция проявила себя как стимул экономического роста). Колонизация Америки создала трансатлантическую экономику, обеспечив благоприятные условия для накопления капитала.

Таким образом, реальный капитализм исторически сложился на макроэкономическом уровне, глобальные открытия сделали возможным превращение торгового капитала в промышленный. Именно с того времени Московия и Речь Посполитая обозначились конкурентами на мировом рынке, борясь за своё место под солнцем в качестве периферийных придатков европейской мировой системы, что приводило к бесконечным вооружённым конфликтам. Та же Ливонская война имела в своей основе исключительно экономическую подоплёку. Оба государства всё больше отстают от быстро развивающегося Запада, т.к. вывозят преимущественно сырьё и ввозят технологии. Они оказались не готовы к торговым, дипломатическим и политическим войнам. Излишне говорить, что они ничего не решали в морской торговле, которая обеспечивала расцвет даже небольших европейских стран – Португалии, Голландии, Швеции.

Относительно Западной Европы можно сказать, что, скорее всего, «внутреннее» развитие торгово-промышленных городов и «внешний» толчок дополнили друг друга.

Показательно, что в «Манифесте коммунизма» Маркс и Энгельс недвусмысленно подчёркивают связь между формированием нового мира экономики и становлением капитализма: «Открытие Америки и морского пути вокруг Африки создало для подымающейся буржуазии новое поле деятельности. Ост-индский и китайский рынки, колонизация Америки, обмен с колониями, увеличение количества средств обмена и товаров вообще дали неслыханный до тех пор толчок торговле, мореплаванию, промышленности и тем самым вызвали в распадавшемся феодальном обществе быстрое развитие революционного элемента» [59, с. 425]. Переворот XV–XVI веков позволил высвободиться как созидательным, так и разрушительным силам общества, он дал реальный шанс Западу успешно реализовать уникальные социокультурные возможности, открывшиеся на рубеже Средневековья и Нового времени.

Расширение экономического мира способствовало инвестированию торгового капитала в промышленный, стимулировало появление новых технологий, резко изменило соотношение социальных сил. Так, с открытием Нового Света кукуруза и картофель не только позволили перенаселённой Европе избежать голодной «мальтузианской» западни, но и прямо стимулировали торговлю [89]. На заре промышленной революции эти культуры обеспечили Европе излишек продуктов для обмена на продукцию мануфактур и освободили многих крестьян для работы на фабриках. В свою очередь, растущие урожаи требовали удобрений, которые поставлялись с островов Латинской Америки и Тихого океана, покрытых птичьим помётом (гуано). Оскудевшие пастбища Южной Европы, от Португалии до Украины, в эпоху Нового времени стали крупнейшими в мире зернопроизводящими регионами. С первыми европейскими переселенцами в Америку процессы глобализации и мировой торговли ускорились неимоверно. Это привело к повышению общего благосостояния человечества, его интеграции и более сложной стратификации.

Кризис, в котором пребывала Европа накануне XVI века, был преодолён. Технический и экономический прогресс вкупе с политико-социальными и психологическими трансформациями обеспечил цивилизационный прорыв. Касаемо первых двух факторов, отметим следующие причины выхода из цепочки кризисов. Первая – смена сельскохозяйственной модели. От мелкого феодального крестьянствования постепенно перешли к «капиталистической фермерской» модели – товарной и ориентированной не на натуральное потребление, а на рынок. Вторая причина – формирование расширенного товарного производства на основе максимизации прибыли, то есть работа на себя с извлечением прибыли – объективно работаешь на спрос социума. Третья причина – появление массовых товаров, что знаменовало наступление эпохи Потребителя, то есть простого человека.

Именно с XVI века, полагает А.П. Никонов [58, с. 252], возникло то, что специалисты по математической истории сегодня называют «мир-системой», единым (глобальным) человечеством, живущим по неким единым законам, несмотря на разность культур, национальностей и религий. И возникла эта единая система во многом благодаря появлению товаров массового спроса, которые стали перемещаться на огромные расстояния. Торговые сообщения, купцы, появление массового потребителя, географические открытия, международное разделение труда, демографический рост, технический прогресс – вот характерные черты Новой Европы. Это подстегнуло рост городов, а с ним – развитие науки и технологий, поскольку во все времена прогресс делается в городе, а не в деревне. Именно рост городов повышает спрос на продукты питания, стимулирует их производство и одновременно – через прогресс науки – повышает эффективность самого сельского хозяйства.

Вслед за экономикой менялись психология людей, их сознание и повседневный опыт. В конечном счёте, «возрождение европейской культуры [...], социальный плюра-

лизм, расширяющаяся торговля и технологические достижения заложили основу для новой эры глобальной политики», – замечает С. Хантингтон [43, с. 63]. Вера в индивидуализм, рыночную экономику и политическую демократию не заставила себя долго ждать, она получала широкое распространение среди людей западной цивилизации. И всё это наложилось на демографический рост населения: «Протестантская Реформация – это пример одного из самых выдающихся молодёжных движений в истории» [43, с. 176]. Давно известно, что большая доля молодого населения – олицетворение протеста, нестабильности, реформ и революции. В книге М. Баччи [60] об этом пишется очень убедительно.

Появление предпринимателей-собственников (которых не жаловала церковь, обзывая плутами и хитрецами), торгующих на основании договора, а в дальнейшем – на основании писаных торговых законов и правил, привело к глобальным не только экономическим, но и общественно-политическим потрясениям. Средневековье не знало и не признавало капитализма, и, в отличие от демократии и плюрализма, он казался не столько духовным и общественным, сколько нарушающим единство социума и традиции. Но религиозный мистицизм и грубое насилие вынуждены были отступить перед материализмом и прагматизмом надвигающейся эпохи: «Новый мир был совсем не похож на Средневековье, и благородным рыцарям было трудно смириться с этими внезапными переменами: когда-то презренные менялы, которых любой дворянин мог приказать высечь, вдруг приходили к ним с расписками и векселями – и за спинами этих ростовщиков стояла королевская стража» [61, с. 232]. На хорошо известном геральдистам «*Диптихе Гренвилла*» [52, с. 320, 1-я ил.] – 719 гербов благородного семейства, собранных воедино по велению второго герцога Букингемского. Но всё, что унаследовал этот вельможа высшего ранга, не смогло уберечь его от последствий жизни в долг. Отныне деньги правят миром.

Прислушаемся к И.Л. Солоневичу: «Частное хозяйство требует инициативы. Бюрократия отрицает инициативу по самому существу. В лестнице бюрократической таблицы о рангах – удачная инициатива не даёт почти ничего, и неудачная не грозит почти ничем. [...] Однако никакая бюрократия мира не может допустить миллионных вознаграждений таланта, изобретательности, инициативы и прочего – ибо это подорвало бы самый корень её существования: выслугу лет. В совершенно такой же степени средневековый феодал НЕ МОГ признать прав таланта, изобретения и инициативы – ибо если бы он их признал, чему тогда будут равняться его семь поколений рыцарских предков, дающих ему – по праву рождения – право на подобающее ему количество колбасы, замков, почёта и власти?» [36, с. 6]. Как указал Джордж Фридман [44, с. 90], традиционалистское общество до сих пор предполагало, что высший слой общества в европейских странах – это наследственная аристократия. С древних времён было принято считать, что благородство и добродетель передаются по наследству, поэтому власть на всех её уровнях должна наследоваться. Конечно, мы признаём, что таланты могут рождаться и в аристократических поколениях (семейства Питтов, Сапегов, Медичи, Борджиа), но порочно предопределять общественное положение человека, всю его судьбу ещё до рождения. Влиятельность личности в обществе должна обуславливаться не знатностью рода, а талантом, который, в свою очередь, проявляется в способностях ко всему из того, что так точно отмечено И.Л. Солоневичем.

Высшие слои, вследствие развития феодальной ренты, всё больше превращались в «земельных рантье» и всё меньше занимались непосредственно ведением хозяйства. Деньги, которые они при этом могли извлечь, не вкладывались в экономический прогресс (такая же история была со шляхтой и магнатерией Речи Посполитой, пропившей и прокутившей в конечном счёте своё Отечество. Веком позже помещики Малороссии, имевшие невероятные барыши от экспорта пшеницы, ничего не инвестируя в собствен-

ные хозяйства, спускали свои состояния на самых дорогих курортах и в игорных домах за границей). Существовавший в большинстве стран институт джоржеанции [38, с. 309] (утрата дворянского статуса при занятии «неблагородным» делом) мешал земельной аристократии делать дело, и средства, которые могли бы быть по меньшей мере вложены в землю и подпитать прогресс сельского хозяйства, бесследно исчезали во всё более растущих и всепожирающих расходах на престиж и роскошь. Дальше – долги, кабала, разорение и «позорные» мезальянские браки дочерей с представителями «третьего сословия».

Особенно пострадали страны, где долгое время сохраняли господство рыцарски-религиозные идеалы. Например, когда многие народы Европы обратили своё внимание к новым проблемам духовного и хозяйственного порядка, для Испании всё христианское население имело перед собой только одну задачу в жизни: изгнать ислам. Все войны за независимость были религиозными войнами, «будто бы 3700 битв было дано против мавров, пока они не были изгнаны» [62, с. 275]. Феодализм (рыцарство) и фанатизм (церковники) по совершенно объективным причинам сплелись в такое жизнепонимание, которому в новом мире не было места. (Не случайно национальным героем Испании становится, без сомнения, наименее капиталистический тип в мировой истории – последний странствующий рыцарь, привлекательный и симпатичный Дон Кихот в одноимённом произведении Сервантеса.) Когда Испания ступила в Европу капиталистическую, она к этому оказалась совершенно неготовой. Преследование мавров и евреев, наплыв колониального золота окончательно добило экономику страны. В XVI веке изгнание евреев, мавров и даже крещёных мавров, составлявших более 3 млн населения, и притом самого образованного, трудолюбивого и богатого, повлекло за собой неисчислимы потери для испанского земледелия, промышленности и торговли. В течение 70 лет цифра испанского населения упала с 10 млн до 6 [63, с. 153], к тому же продолжался отток пассионариев в колонии.

Поразительным образом рассматриваемая ситуация XVI века имеет отношение к действительности. Описание характерного умонастроения даёт Ниал Фергюсон: «Что же до изобиловавшей серебром Испании, то она, как и Саудовская Аравия, Нигерия, Иран, Россия и Венесуэла в наши дни, стала типичной жертвой “ресурсного проклятия”: во всех перечисленных странах исчезли стимулы к развитию иных отраслей экономики и одновременно усилились позиции жаждущих моментальной прибыли авторитаров, упал авторитет органов представительного правления (в случае Испании – Кортесов. Георг Вебер выяснил [40, с. 453], что богатства, доставляемые Америкой, дали испанским королям возможность не просить субсидий у Кортесов; потому Кортесы не были созываемы, и таким образом погибли последние остатки прав испанского народа; а с падением свободы упало и благосостояние, потому что деспотизм подавил энергию мысли и труда). Испанцы никак не могли осознать простую истину: ценность драгоценных металлов – какая примечательная тавтология! – не абсолютна. Деньги стоят ровно столько, сколько другой человек согласен на них обменять. Увеличение их предложения, хотя и может принести выгоду монополизировавшему производству денег правительству, не обогатит всё общество. При прочих равных расширение денежных средств приведёт лишь к росту цен» [52, с. 36]. Если с «сырьевой халявой» всё ясно, то об «изгнании евреев» пишется мало. Конечно, в государствах с сырьевой экономикой речь не о них, но дело вот в чём. Во всех этих странах наблюдается отток наиболее талантливых, инициативных, творческих людей, их выдавливают существующие режимы с неумолимой методичностью. Они востребованы в развитых странах – но не нужны в своих отечествах. История и здесь ничему не учит.

В противовес этому создаётся система, основанная на договорах и писаных законах, принятых по согласию разных сил общества. Зарождающееся право формировалось и исполнялось добровольно: «Взаимные обязательства, принятые на частной ос-

нове, со временем приобрели общественное измерение и послужили основой конституционного правления в Европе и странах, заселённых европейцами, поскольку конституция тоже представляет собой контракт, в котором расписываются права и обязанности правительства и граждан» [47, с. 69]. На смену старой элите (феодалам, чиновникам феодального государства и церковникам) приходит новая – деловые, торгово-промышленные круги, учёные. Создаются объективные предпосылки для политических реформ, хотя какое-то время королевская власть смогла балансировать на противоречиях старой и новой элит. Наиболее ярко такая тенденция проявилась в возникших абсолютистских монархиях: Франция времён «короля-солнца» Людовика XIV, Австрия Габсбургов, Российская империя при Екатерине II. Для католической церкви, которая не приняла этих порядков, всё сложилось ещё печальнее.

Майкл Новак в потрясающей книге *«Дух демократического капитализма»* (1982 г.) [64] доказал, что наиболее глубокой трагедией церкви оказалась её неспособность понять моральные ценности, лежащие в основе новой экономики. Оставаясь в стороне, она не испытала на себе их влияния. Доходило до анекдотического, о чём пишет Ж. Ле Гофф [38, с. 101]. Когда епископ или аббат желал расширить, перестроить собор или монастырь, он сразу же находил чудесный клад, который позволял ему приступить к постройке. Так под видом чуда церковь извлекала накопленные ею сокровища и пускала их в оборот. Но успешное развитие городов отодвинуло на второй план и сделало анахроническим монашеское и отшельническое движение, даже к нищенствующим орденам менялось отношение: коль скоро труд становился базовой ценностью нового общества, допустить, что можно жить нищенством, было непросто. В глазах горожан доминиканцы и францисканцы были символом лицемерия, а первые к тому же вызывали ненависть тем, что возглавляли репрессивную инквизицию. Связанная с прошлым, церковь не смогла соединить в своём отношении к новому порядку ту критичность и доброжелательность, которые были характерны для её отношения к феодальному строю и общественной жизни средневековой Европы (Св. Августин, Ф. Аквинский). Размышления отцов церкви о политике и истории стали малополезными, но, «ни об одной важной сфере человеческой деятельности теологическая традиция не имела столь устаревших представлений, как об экономике» [64, с. 25]. Почему так произошло?

Ответ – в области психологии, считает И.Л. Солоневич: «Служитель религии не вправе выдумывать ничего нового: он должен придерживаться тех “вечных истин”, которые изложены в Библии, Коране или Ведах. Не следует иронизировать над вечностью этих истин: в каждой из этих книг вечная истина отредактирована в той её форме, какая наиболее соответствует эпохе и расе. И, во всяком случае, ни одна из этих книг ничему злему не учит. Священнослужитель каждой религии обязан соблюдать обряд, выработанный веками и веками. “Личная инициатива” тут отсутствует полностью» [36, с. 5]. Протестанты, как убедимся, смотрели на всё иначе.

Весь креатив, интеллект и экономический расчёт новых структур были направлены на дезориентированный социум, который в это время делал выбор между старыми порядками и буржуазным строем. Если в первом случае со стороны феодала было лишь насилие либо угроза его применения, то во втором – взаимовыгодные отношения, построенные на диалоге. Паразитирующие феодалы взымали с общества дань, не давая ему практически ничего взамен. Вконец дискредитировавшая себя католическая церковь (оргии римских пап, «порнократия», неприкрытая борьба за власть и богатства, лицемерие и ложь, чёрные мессы во славу дьявола, индульгенции, инквизиция, отрицание науки и светского искусства) утратила всякий моральный авторитет, а Реформация в экономически развитой Северной Европе расчистила дорогу к духовному оздоровлению общества.

Иного пути просто не было: «...из трогательных светлых идей всеобщей любви и благоденствия выросла одна из самых страшных машин выхолащивания мозгов калёным железом: христианская церковь, имевшая под рукой целые армии наушников и пыточные застенки, дыбы и клещи для выдирания ногтей, “испанские сапоги” и прочие прелести. Организация, скопившая столько золота и драгоценных камней, что за его горами стало не видно Христа в его простой холщёвой плащанице...» [61, с. 312]. Праздность и жадность католических бонз переполняют чашу терпения. Это были «худшие времена в истории церкви, когда она перед Реформацией погрязла в коррупции. Тогда слова о преданности и чистоте [...] использовались для того, чтобы поддерживать мир неверия, физических удовольствий и извлечения прибыли» [65, с. 290]. Времена, когда папство являло собой «сильную наднациональную монархию» [38, с. 124], остались в прошлом. И наоборот, мотивация к труду на основе нравственного долга, исповедуемая протестантизмом, приводит к зарождению нового мышления. Экономически самостоятельный, независимый индивид и политически мыслит иначе. О себе заявляет свободная и грамотная личность, осознающая свои права.

Это очень важный момент, объясняющий зарождение конституционализма. Протестанты, полагающиеся не на коллективное, а на личное суждение, формируют принципиально новое европейское мировоззрение – индивидуализм: «На человеческое общество стали всё больше и больше смотреть как на абстрактное понятие, образуемое сложением индивидуумов, а общественное благополучие считать суммой процветания отдельных личностей» [47, с. 43]. Возвращаясь к истокам христианства, протестанты исповедуют основной догмат о спасении «личной верой», что делает их независимыми от церкви или братств верующих. Мистика и культовые отправления, длительные и дорогостоящие, больше не нужны. Поскольку протестантизм даёт не созерцательную, а деятельную веру, в почёте труд и преуспевание (можно назвать это и стяжательством), успех в реальных делах, умение создать и обеспечить благополучную семью. Личное процветание, в свою очередь, стало считаться вознаграждением за разумную жизнь. Добродетель равнозначна экономической эффективности; вести добродетельную жизнь – значит управлять своим телом и душой. Отсюда необходимость воздержанности. Именно такой образ жизни, по протестантскому учению, угоден Богу.

Не подлежит сомнению, уверен Ф.А. фон Хайек, «что, особенно среди тех, кто добился большого успеха при рыночном порядке, развилась вера в намного большую нравственную оправданность индивидуального успеха. Спустя долгое время после того, как основные принципы такого порядка были полностью разработаны и одобрены католическими учителями этики, они получили в англосаксонском мире сильную поддержку со стороны кальвинистских учений. В рыночном порядке [...] безусловно важно, чтобы люди верили в то, что их благополучие в первую очередь зависит от их собственных усилий и решений» [66, с. 243].

Речь идёт о человеке нового, современного типа, а до этого всё было принципиально иначе. «В церкви, администрации и армии, где человек входит в веками сколоченный аппарат, его личные качества перестают играть решающую роль. Его деятельность направляется традицией, законом, преданием, навыками – всей инерцией векового аппарата. Попадёт ли он на генеральское или епископское место по личным заслугам, по выслуге лет, по протекции тётушки – и это особого значения не имеет: его пути заранее предусмотрены инерцией. И никогда нельзя доказать, что на месте одного генерала другой был бы лучше или, по крайней мере, намного лучше. В этой среде существует вполне законное недоверие ко всякого рода новаторам, изобретателям, литераторам и прочим беспокойным элементам страны» [36, с. 6]. И вот в эту так плотно налаженную и веками устоявшуюся жизнь врывается беспокойный элемент таланта, риска, предприимчивости, новизны – и ниспровергает казавшийся незыблемым порядок.

В противоположность этосу, порождённому традиционными, аграрными, феодальными и впоследствии социалистическими обществами, *экономическая* система капитализма требует от индивида высокой моральной дисциплины, заключённой в обычаях и ценностях, внутренне присущих и одновременно обязательных для его развития. Среди них не только трудолюбие, предприимчивость, здоровые трудовые привычки и желание жить по закону, но также стремление к сотрудничеству, совершенствованию, внимательность к контрагентам, открытость по отношению к незнакомым людям. Любой народ, движимый капитализмом, сталкивается с необходимостью усвоить высокие и строгие моральные требования, хотя переживает этот момент по-своему.

Капитализм нельзя воспринимать только из материальных соображений, но основу его при любых раскладах составляет личный экономический интерес человека, встроенного в систему рыночных отношений. Безусловно, система разделения труда, знаний и умений, на которой зиждется европейская цивилизация, обязана своим существованием именно развитию духа индивидуализма. На кого рассчитана эта глобальная система? Честный ответ будет таков: как раз-таки поглощённый погоней за прибылью «презренный обыватель» и сделал возможным современный порядок передовых технологий и качество жизни человека, что бы там не говорили интеллектуалы-социалисты. «Хозяйственная же жизнь, как спорт и искусство, – есть область, где конкуренция, и только она одна, определяет собою наиболее приспособленных людей», – пишет И.Л. Солоневич [36, с. 5]. Десятилетием позже Милтон Фридман сформулировал азбучную истину либерализма: «В принципе существует лишь два способа координации экономической деятельности миллионов. Первый – это централизованное руководство, сопряжённое с принуждением; таковы методы армии и современного тоталитарного государства. Второй – это добровольное сотрудничество индивидов; таков метод, которым пользуется рынок» [67, с. 36]. В Европе это осознали и начали практиковать с XVI века.

Рационализм и практичность во всём, постоянное профессиональное совершенствование обусловили высокую степень самоуправления и ответственности личности, однако для этого должны быть созданы соответствующие правовые условия. Не случайно, пишет К.В. Арановский, «появилась и либеральная формула *laissez faire* («дайте действовать», «свобода рук»), положенная в основание конституционной государственности и невмешательства власти в экономическую деятельность. Нужны также правопорядок и законность, которым очень кстати отвечает педантичная честность протестантов» [68, с. 213]. В 1818 г. английский учёный Галлам констатировал, что «ни в одной стране благотворное влияние политических учреждений не распространилось на такое обширное население, ни один народ так удачно не примерил столь разнородных элементов, как *богатство, порядок и свобода*. Этими преимуществами мы обязаны, конечно, не почве и не географической широте нашего острова, а духу его законов, благодаря которому развились независимость и трудолюбие, отличающие нашу нацию» (курсив наш. – А.П.) [22, с. 2]. Б.С. Эбзеев созвучно развивает мысль: «В новых исторических условиях первичным естественным состоянием человека была объявлена его независимость, которая, как полагали сторонники естественно-правовой доктрины, только в части была ограничена вступлением в общественный договор и образованием государства. И права, присущие этому естественному состоянию, – суть права человека; что же касается сочленства в государстве – оно характеризуется правами гражданина» [19, с. 28].

Ограничение деспотической власти, соблюдение правовых принципов, социальный плюрализм, появление представительных органов, религиозное обновление способствовали возникновению чувства индивидуализма и традиции личных прав и свобод, не имеющих аналогов в других сообществах. Принятие права на индивидуальный выбор доминировало на Западе уже к XVII веку, превалирование его над коллективиз-

мом составляет отличительную черту европейского мировоззрения, практик и общественных институтов. Во всех остальных цивилизациях (мусульманской, китайской, японской, православной, индуистской, африканской) индивидуализм как признанная ценность не обнаруживается в религии, социальной структуре, общественном устройстве. Отсюда, кстати, и причина утопичности универсалистских претензий Запада.

Индивидуализм как мировоззрение послужил краеугольным камнем в обосновании естественных прав человека. Именно у людей, полагающих индивидуализм неотъемлемой частью религиозного и общественного порядка, мог получить поддержку такой уклад, в основу которого положены права человека, концептуально «увязанные» на идею свободы (понятно, не в интерпретации Руссо и иных основоположников социализма). Как сформулировал Ф.А. фон Хайек, «свобода как политический институт возникла не из *стремления людей к свободе* в смысле избавления от ограничений, но из их стремления отгородить какую-то безопасную сферу индивидуальной жизни» [49, с. 88]. Такая химера, как «воля народа», неизменно оборачивалась против концепции прав человека. Это актуально и поныне.

Следует особо подчеркнуть опасность коллективного видения свободы вообще и процесса волеобразования народа в частности. Носителем свободы является не коллектив или народ, а отдельно взятый гражданин. Демократия, согласно современной конституции, – это не демократия народа, а демократия граждан, носителей индивидуальной, осознанной свободы. Вот что пишет по этому поводу У. Эко: «На самом же деле “народа” как выражения единой воли и чувства, как натуральной живой силы, воплощающей мораль и историю, не существует. Существуют граждане, и в демократическом режиме (который не идеален, но и другие режимы ещё менее идеальны) принято передавать власть тем, кто получил согласие от большинства сограждан. Не от “народа”, а от большинства, и часто не в силу количественного перевеса, а вследствие особого расклада сил по одномандатной избирательной системе. [...] Воля народа – фикция; поскольку народа как такового не существует, популисты фабрикуют иллюзию народной воли. [...] Кто-то для создания иллюзии народного консенсуса подделывает данные опросов, кто-то адресует к фантомному “народу”. Действуя таким образом, популист приравнивает собственный замысел к народному волеизъявлению, после чего, в случае успеха (что нередко) – преобразует в этот выдуманный им “народ” немалую часть сограждан, очарованных иллюзией и стремящихся с этой иллюзией отождествляться» [69, с. 229–231].

Протестантская литература XVI–XVII вв. даёт много примеров безоговорочной поддержки тех, кто заботится о личном благе. Но об этом писал и Спиноза в своей «*Этике*», а до него – итальянские гуманисты эпохи Ренессанса: Леонардо Бруни (ок. 1370–1444), Леон Батиста Альберти (1404–1472). А сколь значимо возвращение идеи стоиков о естественном праве! Как заметил Р. Пайпс [47, с. 45], с нею никогда не расставались и в Средние века, но тогда её отождествляли с волей Божьей, как она выражена в Священном Писании. В поисках более рационального обоснования земной власти теоретики времени Ренессанса, не довольствуясь ссылками на Библию, обратились к римским литературным и юридическим текстам. Они вернули к жизни начинённую революционной взрывчаткой идею о том, что естественное право возникло прежде действующих законов и что все люди обладают врождёнными правами, которые правительства не могут у них отбирать, ибо и само государство создавалось для защиты этих прав. О сопротивлении тирании убедительно писал Дж. Локк в своих трактатах, а конституционное законодательство США и Франции восприняло эту установку как незыблемый постулат.

В самом деле, связь капитализма, протестантства и зарождающегося конституционализма очевидна, когда обращаешься к историческим подтверждениям: «Если представить карту распространения конституционной традиции, то наиболее убедительно

тельны её успехи в странах, где протестантизм составил господствующее или хотя бы представительное христианское вероисповедание» [68, с. 208]. Вряд ли такое соответствие может быть объяснено как случайное совпадение. Если права и свободы личности составляют суть конкретной идеи, то совершенно очевидно то участие, которое индивидуализм принял в её формировании. О.И. Омельчук отмечает: «Реформация стала реакцией на девальвацию однозначности теоцентризма, важнейшей идеей которой стала необходимость личной ответственности человека перед Богом за своё поведение. При этом отбрасывалась необходимость посредничества церкви. Так соединяется сильное влияние религии с гуманизмом Возрождения, который отстаивал самостоятельность, исключительность и ценность человека» [70, с. 107]. Создание целостной концепции правового поведения нашло отражение в трудах М. Лютера [71], У. Цвингли [72], Т. Мюнцера [73], Ф. Меланхтона [74], Ж. Кальвина [75].

Противоречия и разрыв между церковным учением и реальной жизнью в период позднего Средневековья становились всё более и более ощутимыми, что, в свою очередь, стремительно подрывало некогда высокий авторитет церкви. Этим исподволь был подготовлен путь к состоявшейся в XVI веке протестантской Реформации. Такова основная версия [76, с. 158]. Но великое реформаторское движение не было только протестом против злоупотреблений католической церкви. Помимо необходимости обретения экономической свободы оно обладало огромным творческим потенциалом, и часто идеалом была жизнь в свободных, братских общинах. Но поскольку это предполагало передел собственности, «старые» католические и «молодые» протестантские государства решительно обрушились на существование любых социально-политических союзов между гражданами. Подавление с невероятной жестокостью народных движений, развязанная опустошительная тридцатилетняя война за делёж власти и собственности – это тоже Реформация.

И здесь прав П.А. Кропоткин [77, с. 238], когда говорит о том, что в условиях хаоса поглощения государством всех социальных функций по необходимости благоприятствовало необузданному, узко понимаемому индивидуализму. По мере того как обязанности к государству возрастали численно, граждане явно освобождались от своих обязанностей по отношению друг к другу, как это было раньше в гильдиях и братствах. Но ничего не попишешь, «религией» капитализма является конкуренция и самовыживаемость, поэтому традиционно-общинные отношения стремительно угасают, сохранившись преимущественно в сельской местности.

Концепция индивидуализма не вызревает исключительно «благодаря» погоне человека за наживой или желанию высвободиться из пут патриархальной семьи. Джордж Фридман убедительно доказал [44, с. 81], что истоки персонификации европейской личности имели ярко выраженный религиозный характер, когда Лютер бросил вызов существовавшим представлениям и авторитетам, выдвинув во главу угла совесть и разум индивидуума. Попытаемся понять суть проблемы.

Католическая церковь всегда учила, что человек может прийти к познанию Бога только через учение церкви, её таинства и священнодействия иерархов. Не случайно такое внимание уделялось внешним проявлениям в виде грандиозных и завораживающих ритуалов. Но когда на Вормском рейхстаге Мартин Лютер заявил о том, что его совесть только Словом Божиим связана, он тем самым верующего христианина поставил в центр мира. Это высказывание, содержащее концепцию индивидуальной ответственности, совести и сомнения, положило начало коренной перестройке всей структуры христианства и подготовило почву для социальных потрясений. В католической доктрине никто не может истинно толковать догматы христианской веры, будучи вне церковной системы. Лютер же ввёл понятие совести и личных убеждений индивидуума, которые дают каждому человеку право самостоятельно изучать Слово Божие через Библию и интерпретировать его таким образом, как велит личная совесть.

С появлением книгопечатания Библия перестала быть рукописной редкостью, христиане получили возможность читать её каждый день вне церковных стен, понимать и толковать сообразно индивидуальной совести. В духовном плане – это самый резкий разрыв с прошлым. Ввиду того, что было необходимо зарабатывать на хлеб насущный, протестанты самое пристальное внимание обратили на вопросы труда, собственности, накопительства, личного преуспеяния в мирских делах. Раньше было проще, поскольку католическая церковь навязывала своим последователям единые догмы и побуждала поступать единообразно. Да, новый религиозный уклад привносил неопределённость и неуверенность в отсутствие заведомых авторитетов, но теперь каждому человеку следовало оценивать любое явление или идею, руководствуясь лишь своей верой и совестью. Причём у людей появилась не только свобода в такой оценке, но и обязанность, диктуемая совестью, поступать именно так – и никак иначе. Высвободились не только умы, но и развязывались руки.

Засучив рукава в условиях конкуренции, протестант с искренностью веры и чистотой совести, мучаемый скептицизмом в восприятии любых попыток установить какие-то авторитеты, сообразуясь не со сверхъестественными, а с естественными сущностями, открывал неведомую эпоху. Индивидуум, общество взглянули на себя абсолютно по-новому. Сначала интеллектуально, потом – экономически, а затем и политически. Конечно, ничто не подлежит идеализации. Впоследствии с «разжижением» этических императивов и развитием атеистических воззрений эпоха Просвещения дала дорогу радикальному индивидуализму, не поставив никаких барьеров для индивидуальной глупости или злого умысла. Но в XVI веке индивидуализм ещё не был абстрактной концепцией, он органично совмещался с идеей разумного, справедливого и прогрессивного общества, о чём пишет А. Гуревич [78].

События тех времён наглядно продемонстрировали, что протестантская вера удачно осуществила себя в капиталистическом укладе, а капитализм получил религиозные обоснования в протестантстве. Что из этого следует в отношении конституции? Вот что пишет К.В. Арановский: «Кроме того, что индивидуализм и рационализм содействуют поддержанию конституционных отношений, протестантская вера, если ставить её в связь с капитализмом, даёт конституционному праву экономическую среду, в которой оно только и может быть развёрнуто. Капитализм с его правилами свободного рынка требует формального равенства, правового обособления индивидов, а также частной собственности. Протестантское учение назвало знаком благодати приобретаемость. Однако охота за сокровищами или обогащение в завоеваниях – не главный способ стяжательства. Приобретения должны быть законной собственностью. Она отличается от собственности, зависимой от места лица в государстве, во власти, иерархии, родовых или кланово-сословных отношениях» [68, с. 217].

Влияние церкви на экономическую жизнь общества характеризовалось, как отмечает Э. Аннерс [76, с. 157], в весьма значительной степени выраженным принципиальным противоречием между церковным учением и самой жизнью. Согласно догматам церкви, спасение человеческой души через послушание воле Господа – это единственное и самое существенное в земном бытии человека. Позиция, занятая церковью по отношению к экономике, в самой основе являлась антиматериалистической, ведь одно из основных монастырских правил требовало от человека, чтобы он всю свою жизнь оставался бедным. С другой стороны, уже с XII в. церковь располагала огромными финансовыми накоплениями, собирала несметные богатства, использовала право владения имуществом исключительно лишь своими служителями, хотя формально оно оставалось за всем сообществом верующих. И всё это делалось из жажды обладания политической властью. Создавалось стойкое убеждение, что церковь владела всем этим не по праву, и поэтому такой порядок должен быть пересмотрен.

Становится очевидным, что формальное равенство и частная собственность в равной мере востребованы и протестантизмом, и капитализмом, и конституцией, в которой равноправие и собственность выражают едва ли не главный её смысл. Поэтому ещё раз подчеркнём хронологические наложения развития капитализма, Реформации и формирующегося идейного конституционализма. Конечно, впоследствии эта триада не была столь единой. Капиталистические отношения получили самодовлеющее значение, а первые писанные конституции носили характер светских документов. Но изначально протестантизм, капитализм и конституционализм образовывали монолитный субстрат. Не случайно, по мнению М. Новака [64, с. 23], 1776 год ознаменовался двумя важнейшими событиями: Адам Смит опубликовал своё «Исследование о природе и причинах богатства народов» [55] (этот шотландский профессор входил в руководство Ост-Индской компании, а работа была написана по заказу Джеффри Стейнберга – руководителя Палаты лордов и куратора внешней разведки Британии); а в Северной Америке возникла первая демократическая республика – США (государство, созданное протестантами-англосаксами на основе писаной конституции).

Все эти наблюдения не являются чем-то принципиально новым в освещении конституционной истории. В эпоху Просвещения многие мыслители понимали рассмотренные закономерности. В работе «О духе законов» Ш.Л. Монтескьё отмечал тот факт, что «католическая религия более согласуется с монархическим образом правления, а протестантская – с республиканским. [...] Этот народ (английский. – А.П.) лучше всех народов мира сумел воспользоваться тремя элементами, имеющими великое значение: религией, торговлей и свободой» [18, с. 381, 285]. Он отмечал закономерности возникновения конституционного строя в странах с передовой экономикой и протестантской религиозной историей. Именно там были основные признаки эволюционного процесса в сфере материального производства, торговли и финансов. Ниал Фергюсон [52, с. 66] в качестве таковых видит: непрерывные мутации (в виде технологических прорывов), умножение видов (создание фирм всё новых типов) и «проколотые» равновесия (кризисы, отделявшие выживающие фирмы от вымирающих). Но это было возможно при условии признания передовых на тот момент политических, правовых и религиозных воззрений.

Эта эпоха удивительным образом объединяет разнящиеся между собой периоды, что отмечено У. Эко [42, с. 14]. С одной стороны, Европа переживает самые ужасные за всю свою историю политические и религиозные, демографические и аграрные, урбанистические и лингвистические кризисы (список можно было бы продолжить). С другой стороны – блистательный период, то есть время первой промышленной революции; время, когда начинают формироваться национальные языки и современные нации; зарождается демократия коммуны; появляются банки, векселя и система двойного учета; подлинную революцию переживают системы наземных и морских перевозок, способы обработки земли и ремесленные приёмы; изобретаются огнестрельное оружие, компас и книгопечатание; развивается медицина и представления об элементарной гигиене; не прекращаются Великие географические открытия.

Чем-то это напоминает античное Средиземноморье; ведь именно там были заложены основы современной цивилизации. В качестве таковых Ф.А. фон Хайек [49, с. 53] указывает следующие факторы: возможность торговых связей между достаточно отдалёнными друг от друга регионами; признание за членами общины свободного применения индивидуальных знаний; право личности самостоятельно распоряжаться в узаконенной сфере частной жизни; децентрализацию в системе управления; наконец, формирование незыблемого института индивидуализированной собственности. Но когда Возрождение распространилось на север, перебравшись через Альпы, оно столкнулось, по верной оценке Дж. Франкла [37, с. 98], с иными социально-экономическими условиями и приобрело новую форму. Церковь там всё ещё сохраняла свою власть,

а феодализм был господствующим общественным строем. Во многом благодаря немецким учёным великие идеи Ренессанса проникли в этот регион, где превратились в идеи Реформации и Просвещения. Знакомство североевропейских учёных и теологов с итальянской гуманистической мыслью оказало значительное влияние на развитие европейской культуры: «Горожане и учёные северных стран стали освобождаться от традиционной схоластической культуры и искать новый тип образования, которое было бы одновременно гуманистическим и религиозным» [37, с. 101]. Во многом благодаря учениям Эразма Роттердамского и Мартина Лютера началось движение Реформации.

Ментальное потрясение, которое испытало европейское самосознание от деятельности Мартина Лютера, было революционным по своей сути. До XVI в. европейская культура базировалась на догме о том, что центром Европы была церковь. Но когда Лютер вывесил свои знаменитые 95 тезисов на двери Замковой церкви в Виттенберге, это дало старт протестантской Реформации, которая поставила под сомнение постулат о Риме как о центре Европы. Главная идея такова: папа не обладает уникальной связью с Богом, недоступной для других людей, каждый может прийти к Нему самостоятельно, своей дорогой, без посредничества священнослужителей. Любой человек, изучая Библию, ведом к Богу своим сознанием и благословением Господа и может делать собственные заключения и выводы. Если раньше утверждение о Риме как о центре христианской религии всегда оспаривалось восточной ветвью христианства, то теперь эта догма была поставлена под сомнение в самом центре европейского католичества. Поэтому, резюмирует Джордж Фридман [44, с. 82], новое учение возносило в центр религиозного восприятия мира личность христианина, низвергая из этого центра Рим и коренным образом меняя религиозный и духовный ландшафт Европы.

Ещё одно событие имело далеко идущие последствия. Поскольку Лютер высказывал свои идеи на немецком и перевёл на него Библию, то лютеранство явилось истоком движения, которое породило такое явление, как германский национализм. Немцы, несмотря на лоскутную раздробленность Священной Римской империи, вдруг осознали свою историческую общность. Как и любая другая нация, они сформировались вокруг определённой территории и одного языка, отсюда вытекала идея единого государства со своей церковью, языком, национальностью. Апогея этот ментальный прорыв достиг в XIX веке.

Справедливости ради отметим следующий факт. Макс Вебер в своём произведении «*Протестантская этика и дух капитализма*» [79] доказывал, что протестантизм обеспечивает лучшую базу для экономического развития, чем католичество. В целом как закономерность – так и есть. Аргументы были приведены весомые, но одновременно был проигнорирован тот факт, что Бавария и Рейнская область, регионы с доминированием католичества, были очень развитой частью Германии. В общем, как пишет Дж. Фридман [44, с. 310], существует много соображений на этот счёт, причём большинство из них носит вполне логичный и здравый характер, объясняет ту или иную особенность развития страны, но нет ни одной «теории», которая бы учитывала все факторы. Но некорректно оставлять вопрос без ответа.

Наша версия такова. Протестантизм способствовал сплочению и единству германской нации, и даже католические регионы при выборе между ценностями папства и своей возрождающейся нации при формальном религиозном подчинении Ватикану во всём остальном хотели быть как большинство немецких земель. И это не стало препятствием для германского сообщества, к тому же, немецкий католицизм уж очень специфичен в плане не скрываемого секулярного образа жизни. Кровь этноса и политический смысл оказались сильнее религиозных умонастроений и догмата о неизменности веры. Это подтвердилось и впоследствии, когда во время двух мировых войн, развязанных Германией, немцы, как католики, так и протестанты, забыв о христианских заповедях,

стояли насмерть за могущество Империи и избранность арийской расы. Однако вернёмся в эпоху Реформации.

В своём конечном варианте доктрина Лютера полностью соответствовала интересам политической власти того времени: он предлагал Германии перестать быть страной священников, а ведь рыцари и князья давно ждали возможности захватить церковные земли. Экономический вопрос расколол феодалов и церковников на два противоположных лагеря. Потакая немецкой правящей элите, Лютер не одобрял социальные революции. Перейдя на сторону князей, он способствовал возникновению союза церкви и государства, где первая занимала бы подчинённое положение по отношению к последнему. Да и юрисдикция над самой церковью, отмечает Г.Дж. Берман, «перешла от церковных властей к властям гражданским. Протестантский князь стал главой церкви в своём княжестве. Теперь он нес ответственность за разработку секулярного церковного права для решения “мирских” проблем церкви» [9, с. 122]. Тем самым, отрицая доктрину ватиканского папизма, лютеранство сделало человека полностью подконтрольным государству. Но и это было шагом вперёд, т.к. власть в новом обличье признавала те стимулы и мотивы (скромность, самодисциплина, трудолюбие, расчётливость), которые способствовали становлению капиталистического общества. Несмотря на конфликты и парадоксы, которые Ренессанс и Реформация пробудили в религиозной и политической жизни Европы, косность католического мистического догматизма, доминировавшего на протяжении средних веков, была преодолена.

Дальше М. Лютера пошёл Ж. Кальвин, горячо поддержавший идею собственности, увязав её с трудом, который он считал христианским долгом. Кальвин одобрительно отзывался о промышленности, торговле и больших прибылях, которые они приносят отдельным людям; он отвергал средневековые запреты на ростовщичество и признавал благотворность денег и кредита. Р. Пайпс [47, с. 34] уверен, что именно кальвинизм наиболее сильно способствовал подъёму капиталистического духа. Но и там всё было неоднозначно. Смягчение суровой точки зрения Кальвина в отношении процентных капиталов произошло не сразу, а лишь благодаря Салмазию, борьба против USURARIA PRAVITAS (ростовщичества) проходит через всю историю гугенотской и нидерландской церкви XVI в., а банкиры часто не допускались к причастию. Экономика вполне себе мыслилась без финансовой составляющей, но это было глубочайшим заблуждением. В значительной мере прогресс человечества был достигнут именно благодаря развитию финансовой сферы, и с этим всё никак не могут смириться ярые ненавистники «презренного металла» и рынка ценных бумаг. Эволюцию кредитных отношений без всякого преувеличения можно поставить рядом с наиболее важными технологическими прорывами.

Как убедительно доказал Ниал Фергюсон, «ненависть к финансам и финансистам, часто тлеющая, но довольно регулярно и легко воспламеняющаяся, – неотъемлемый атрибут истории западной цивилизации. Её корни следует искать в распространённом взгляде на ростовщиков как на паразитов, высасывающих кровь из “настоящих” видов экономической деятельности вроде сельского хозяйства или промышленности» [52, с. 9]. Несмотря на запреты и преследования, в наиболее «продвинутых регионах» Европы (итальянские города и северные страны) всегда думали над тем, как решать финансовые проблемы и не вызвать гнев церкви. Прежняя парадигма христианского мира «любовь к деньгам – корень зла» была постепенно разрушена.

Финансовые новшества послужили надёжной материальной основой, на которую опиралось могущество двух великих империй – Голландской и Британской – в эпоху Нового времени. Где этого не понимали (Франция, Испания, Португалия, Московия, Речь Посполитая), результат одинаков – деловая жизнь общества со скрежетом останавливается, затем деградирует само государство: «С финансовой точки зрения, обладание первой современной фондовой биржей оказалось предпочтительнее владения

крупнейшими в мире серебряными рудниками – и Голландская республика одолела Габсбургскую империю» [52, с. 11]. В конце концов Голландия, первая из европейских стран преодолевшая финансовую безграмотность населения и провозгласившая религиозную терпимость, создала такой тип общества, где от каждого индивида ожидается ответственное распоряжение собственными расходами и доходами. И Бог, и дьявол здесь ни при чём.

Финансовая активность была ключом не в деревне с её аграрным хозяйством, а в городах с их мануфактурами, торговлей и мореплаванием. Где финансы – там и торговля. Поэтому неслучайно в городском праве так противодействовали выгодным для церкви правилам завещания, выработанным каноническим правом, ведь церковная собственность не включалась в торговую жизнь и тем самым сдерживала экономическую экспансию. Юридическое качество городских законов носило секулярный характер, не имело ничего общего с поместным, а по своему уровню было разработано даже на более высоком уровне, чем римское. Главное, установившийся правопорядок устраивал большинство членов социума, создались все необходимые предпосылки для естественно-научного и технического прогресса в начале Нового времени.

Мы остановились на понимании того факта, что европейское общество по объяснимой логике предпочло буржуазные ценности взамен тех, которые тысячелетиями культивировала феодально-клерикальная элита. Различные исследователи, расходясь в деталях, сходятся в определении ключевых институтов, обычаев и убеждений, которые можно по праву называть стержневыми для западной цивилизации. К ним принято относить [43, с. 95–99]: античное (классическое) наследие; католицизм и протестантизм; европейские языки; разделение духовной и светской власти; господство закона; социальный плюрализм; индивидуализм. Возникает очередной в истории человечества конфликт систем управления, где побеждает более совершенная и эффективная модель.

Это и есть эпоха буржуазных революций, где Французской традиционно отводится заглавная роль и принятие Конституции рассматривается символическим актом для всей европейской истории. Известно, что исторически первым договорным актом конституционного значения была Великая Хартия вольностей в Англии 1215 г., а Конституция США «вызревала» и принималась до начала событий во Франции, но по-настоящему слово «конституция» зазвучало лишь после Французской революции. В конечном счёте именно во Франции решался наиглавнейший вопрос о том, создаёт ли Революция новый порядок или она только разрушает старый, ничего нового взамен не предложив.

К тому же в XVIII веке США воспринимались не столько государством, сколько малознакомым регионом на отдалённом континенте, и тому, что там происходило, изначально не придавали особого значения. Более того, в течение длительного периода своей истории американцы определяли себя как общество, противостоящее Европе: «Америка была страной свободы, равенства возможностей, будущего; Европа олицетворяла угнетение, классовый конфликт, иерархию, отсталость», – пишет С. Хантингтон [43, с. 56]. Об этом в XIX в. рассказал европейцам А. де Токвиль блестящим исследованием «*Демократия в Америке*» [80]. Лишь в XX столетии, когда Соединённые Штаты вышли на мировую арену, у них появилось стремление к большему отождествлению своей идентичности с европейской. Однако по вопросу о концепции конституционализма у европейцев с американцами было много общего.

Если видеть в конституции писанный свод законов и правил, на основании которых строилось взаимодействие людей, верным представляется утверждение о том, что, «по сути, Конституция оговаривает, как люди должны договариваться, какие у них есть права и обязанности. Конституция – это метод взаимодействия людей» [81, с. 73]. Замысел революции изначально состоял в том, чтобы конституцией закрепить основы такого общественного строя, где власть будет носить договорной регламентированный характер, а

гражданин обязан выполнять лишь те договорённости, которые принял на себя добровольно. При феодализме, как известно, законы спускались сверху и мнение социума никого из власть имущих не интересовало. Это означало всякое отсутствие механизма обратной связи и постоянно подталкивало подвластных к бунтам и войнам. Инициаторы Французской революции задумывали такое общество, где власть будет опираться не на насилие, а на добровольное согласие граждан признавать над собой конституцию, обязательную и для власти. Но на практике первый блин вышел комом. Это заслуживает отдельного разговора, что автор доказывал в своих публикациях [82–84].

Постоянный акцент на договорном характере высшего государственного права не подразумевает упрощения в понимании проблемы либо признания его как реальной юридической конструкции. Власть государства – не договорное право, поскольку гражданам никогда не обещали подчиняться государству и не договаривались об этом, концепцию общественного договора следует рассматривать теоретическим постулатом, а не имевшим место историческим фактом. Ясно, что люди рождаются на территории того или иного национального государства и вскоре сталкиваются с необходимостью подчинения, не зависящего от их желания. Здесь ведётся речь о своеобразной «философии» конституции, воспринимаемой в качестве исторической закономерности.

Современные исследователи И. Бощенко и М. Калашников [81, с. 79] чётко подметили тонкость в изменении ситуации. Несколько перефразировав авторов, укажем на главный тезис: если при феодализме человек подчиняется человеку, то в буржуазном обществе человек подчиняется неодушевлённому закону (прежде всего конституции). Социум отчуждается от биологического носителя властных полномочий, а «правила игры» отныне фиксируются в своде законов, записанных на внешних носителях. Это и есть то, что называется властью закона, конституции. Поэтому «можно совместить свободу и порядок, никакого противоречия здесь нет», – доказывает Р. Пайпс [56, с. 90]. Уточним – легальный правовой порядок.

При таком праве «общество могло провести свой новый идеал справедливости и утвердить необходимость для власти получить санкцию на управление со стороны общества», – пишет В.М. Розин [85, с. 225]. С этого момента формируется качественно новое политико-правовое пространство и то, что сейчас принято называть гражданским обществом. Была создана важнейшая предпосылка для предотвращения такого развития государственной власти, когда последняя работает только на себя, а не на общество и человека. По нашему убеждению, если общество управляется посредством всевозможных указаний, директив, поручений, распоряжений, то это есть не что иное, как возвращение к примитивным феодальным порядкам.

В своём труде *«Капитализм и свобода»* Милтон Фридман доказывает порочность системы, которая наделяет небольшое количество людей широкой властью и таким образом ставит важные политические решения в слишком большую зависимость от случайных черт человеческого характера. Поэтому он и говорит: «Правила вместо властных органов» [67, с. 77]. Современное государство не приспособлено для режима «ручного управления», что хорошо усвоили страны европейской демократии. Конституция выступила своевременным, действенным и достаточно эффективным инструментом политических, религиозных и социально-экономических преобразований. Через неё оказалось возможным отразить логику регулирования отношений по линии «личность–общество–государство», создать достаточно жёстко координированную систему, способствующую социальному прогрессу. Категории демократического и правового государства немыслимы иначе чем через призму конституционализма.

Рассматривая вопрос о его истоках и первопричинах, зафиксируем, что это явление находится в русле традиции западной правовой культуры, восходящей к временам античности. Запад унаследовал от античной цивилизации многое, включая греческую философию.

фию и рационализм, римское право, латынь и христианство. Однако собственно «история европейского конституционализма уходит корнями в средние века. Идеи и события этого периода оказали значительно большее влияние на политических авторов, определивших развитие конституционализма в последующем, чем эпоха античности» [35, с. 7]. Действительно, концепции и категории конституционной теории, которые имеют огромное значение для современной практики, Европа унаследовала с тех далёких времён.

Этот исторический этап был достаточно продолжительным, однако характеризуется стремительным развитием новой государственной и общественной жизни. Формы средневекового уклада были потрясены или переделаны. Идея о всемирном духовном владычестве папы и о Римской империи утратила силу. Западные государства приобрели независимость, народы сближались между собой, привыкали жить в отношениях, определённых договорами. Вырабатывалась, вслед за экономикой и культурой, система политического равновесия, были заложены основы международного права. «Международный закон, – пишет С. Хантингтон, – был западным международным законом, основанным на традициях Древней Греции. Международная система была западной Вестфальской системой суверенных, но «цивилизованных» национальных государств и подконтрольных им колониальных территорий» [43, с. 65]. Во многих европейских государствах (Англия, Речь Посполитая, Франция, Испания, Нидерланды, Венгрия, Швеция) формируются органы национальной воли – представительные учреждения, и весомость их возрастает. Требовался новый юридический порядок. Однако главное значение, как сказал бы К. Поппер [86, с. 479], имела не смена имеющихся институтов, а изменение мировоззрения человека.

Среди духовных ценностей и общественных институтов Запада наиболее яркими являются западное христианство, плюрализм, индивидуализм и верховенство закона. О последнем факторе следует сказать отдельно, что блестяще удалось С. Хантингтону: «Концепция центрального места закона в цивилизованном бытии была унаследована от римлян. Средневековые мыслители развили идею о природном законе, согласно которому монархи должны были применять свою власть, и в Англии появилась традиция общего права. Во время фазы абсолютизма (шестнадцатый-семнадцатый века) торжество права наблюдалось скорее в *нарушении* закона, чем в соблюдении его, но продолжала существовать идея о подчинении власти человеческой неким внешним ограничениям: *Non sub homine sed sub Deo et lege* (лат. – Не под человеком, но под Господом и законом). Эта традиция господства закона лежала в основе конституционализма и защиты прав человека, включая право собственности, против применения деспотической власти. В большинстве других цивилизаций закон был куда менее важным фактором, обуславливающим мышление и поведение» [43, с. 97]. На этом принципе развились представления об индивидуальной свободе и политической демократии, правах и свободах человека. После эпохи Средневековья распространение западных идеалов обрело «второе дыхание», и юриспруденция на это чутко и своевременно отреагировала.

В XVI–XVII вв. в Западной Европе получает развитие и закрепление идея нового права, договорного по своей сути, а также приоритета неких фундаментальных правовых принципов, которые ещё не назывались конституцией в современном смысле этого термина. Но эти хартии, буллы, статуты, кодексы, ковенанты, соглашения питали и вдохновляли первые конституции. Безусловно, философско-правовая мысль и юридические преобразования являются не движущими факторами, а всего лишь отражением сложнейших процессов, протекавших на переломном этапе европейской цивилизации, видоизменивших её до неузнаваемости. Но не подлежит сомнению тот факт, что «рост экономической свободы шёл рука об руку с ростом политической и гражданской свободы» [67, с. 15]. Показать их взаимопереплетение, причинно-следственные связи между ними составляло для автора одну из важнейших задач исследования.

1.2 Город – оплот средневековой демократии

Анализируется преемственность между Средневековьем и Новым временем и очагами античной цивилизации, где общины-поселения породили торговлю, специализацию труда и зачатки политической свободы. Показано, что именно в городах возможны индивидуализация личности и формирование права в современном его понимании; отмечен договорной характер нового для Европы права, обретающего чёткие юридические формы. Рассмотрены особенности типичных образцов городской жизни, противопоставившей себя феодально-клерикальному укладу. Выявлены причины заката городов-общин и возвышения централизованных государств. Сделан вывод, что именно в городской среде были созданы предпосылки для развития европейской цивилизации, в основе которой необходимым условием является создание конституционного правопорядка.

Появление городов как торговых и промышленных центров знаменует закат Средневековья и наступление Нового времени. В жизни европейцев позднего Средневековья возникает новая специфика: взаимодействие между людьми осуществляется не через насилие или угрозу его применения, а на основании договора. Бурный рост городов, развитие обмена привели к формированию торговых союзов, которые можно рассматривать как первые транснациональные корпорации. Когда в конце Средневековья Ганзейский союз достиг зенита своего могущества, он располагал сетью учебных заведений в Северной Европе и стал заметной политической силой, с которой приходилось считаться феодалам.

Как пишет А.М. Буровский, «вольные самоуправляющиеся города, воздух которых делал человека свободным, стали рассадниками идеи личной свободы, рыночных и правовых отношений [87, с. 497]. Именно с XV века, по мнению Ф. Броделя [88, с. 29], происходит общий экономический подъём, от которого выигрывают города, чему способствует рост цен на ремесленные товары, в то время как цены на сельскохозяйственную продукцию остаются прежними или даже снижаются. В результате развитие городов начинается раньше, чем сельских районов, и именно образованный город начинает диктовать свои законы. Дальше – больше: «Дрожжами цивилизационного роста в Европе стала свобода. И именно потому цивилизация вылезла из европейской кастрюли и наполнила тестом прогресса весь мир» [90, с. 510]. Но так было и раньше, что доказал В. Зомбарт: «Современный капиталистический дух есть новое явление для нашего европейского мира [...], что, однако, не исключает того, что подобный же хозяйственный дух развился уже когда-то раньше в культурах старого мира» [62, с. 17]. Откуда всё началось, и в силу каких причин?

Отсчёт ведётся с тех времен, когда в древних небольших общинах получили развитие специализация и обмен, а управление делами зависело исключительно от согласия их членов. Потребность в предметах первой необходимости (еда, орудия труда, оружие) превратила торговлю в незаменимый институт. В Европе обнаружены свидетельства торговли даже в эпоху палеолита, т.е. более 30 тысяч лет назад. Распространение торговли и основание колоний сделали возможным быстрый рост античной цивилизации (даже во времена Гомера, как повествует «Одиссея», Афина является Телемаху под видом хозяина корабля, везущего груз железа для обмена на медь). Это приводит к стремительному росту населения и возникновению греческих и финикийских центров – очагов античной культуры, которая сложилась вокруг Средиземного моря, в то время как Чёрное море стало периферией средиземноморской экономики.

Археологические данные свидетельствуют о том [59, с. 48], что уже в античные времена между населением Прибалтики и Причерноморья существовали контакты, которые осуществлялись главным образом по речным путям (именно так попадал в Рим-

скую империю экзотический балтийский янтарь). В VII–X веках торговое мореплавание распространилось на Балтике, где экономика была детищем викингов. Наряду с путём «из варягов в греки» существовал волжский торговый путь. Так и на Западной Двине возник варяжский укрепленный торговый форпост Полоцк, где и родился автор этих строк.

Организация морских перевозок и караванов, концессий и соглашений, развитие представлений о чужих народах и обычаях далёких стран – всё это раздвигало границы социального восприятия, способствовало, выражаясь современным языком, «интернационализации» и «унификации» стиля, технологий, психологических установок. Торговцы выступили в роли своеобразных дипломатов-разведчиков, заложили основы международных сношений: *«Именно купцы, руководствуясь любовью к деньгам и предлагая товары на обмен, приносили с собой культуру и цивилизацию в самые отдалённые окраины. Торговля породила деньги – величайшее изобретение человечества. Они появились в результате меновых отношений, посредниками в оценке потребительской стоимости товара»* [91, с. 63].

Возросший спрос на выгодные для торговли товары сделал возможным появление оседлых занятий и, следовательно, специализации на новых местах. «Колонии, – отметил Ф. Бэкон, – принадлежат к числу предприятий древних, изначальных и героических» [92, с. 427]. Это вызвало дополнительный рост населения и уровня жизни, а массовые перемещения людей сопровождались существенными невольными нарушениями жизненного уклада древних племён. Индивиды вырываются из-под власти своих групп, будучи всё менее связанными этикой солидарности, общих целей и коллективизма. Устраиваются новые общины-поселения, закладываются основы для создания сети взаимосвязей с членами других общин, что ведёт к созданию более сложного и всеохватывающего порядка.

Растущее признание индивидуализированной собственности сделало возможным применение личной инициативы, без чего немислимы торговля и узкая специализация. Но для такого социума требовался иной порядок взаимоотношений и нормативного регулирования, основанный на нововведениях, терпимости и толерантности. Спонтанная координация усилий индивидов меньше всего предполагала централизованную власть. Из истории известно, что некоторые правительства древности, зная об опыте торговой деятельности индивидов, сами старались в административном порядке обеспечить ввоз и вывоз определённых видов товаров, постепенно захватить имеющиеся ресурсы, чтобы затем организовать военные и колонизаторские экспедиции (этим особенно славились Византия и Китай).

Но правительственные договоры и торговля по твёрдым ценам неминуемо вели процесс экономической и культурной эволюции к краху, ведь если торговля и производство более не коррелируют с личной выгодой индивидов, продуктивность их деятельности стремительно снижается, а зародившиеся очаги новой культуры (назовём её пра-городской) стремительно затухают. Там же, где не происходило «закручивания гаек», а люди жили по модели самоорганизующейся структуры, возникает товарищество индивидов, которое и заложило основы того, что мы называем городом. Но городом в западном, а не в восточном смысле. В неевропейских городах «слишком медленно развивалось то гражданское самосознание, которое в Европе являлось продуктом городской жизни и буржуазных понятий о гражданских правах» [46, с. 213].

Здесь необходимо понимание целого комплекса сопутствующих факторов, определяющих конкретный поведенческий тип. Как пишет Ричард Нисбетт [93, с. 56], свобода в западном понимании берёт своё начало в исключительном чувстве свободы волеизъявления, которым дорожили ещё древние греки, но чего не было в восточных цивилизациях. В другой своей книге [94] указанный автор выдвигает предположение, что

у различных социальных установок были экономические предпосылки. Быт древних греков был основан на занятиях, которые можно было осуществлять в одиночку: торговля, рыболовство, животноводство, а также уход за огородом и оливковой рощей. Быт же китайцев, например, тоже зависел от сельского хозяйства, но такого, в котором требовался совместный труд многих людей, как, например, выращивание риса. Возможно, сильная автократия (иногда милосердная, иногда нет) была эффективным способом управления обществом, в котором человек не выжил бы вне коллектива. Таким образом, тем же китайцам и персам было необходимо развивать общество совсем в другом направлении, чем это делали греки.

Результаты этого развития можно увидеть на примере десятков экспериментов, проведённых среди западных наследников древнегреческой демократии и восточных наследников византийских, конфуцианских и прочих традиций. Иными словами, люди, воспитанные в западной культурной среде, как правило, стремятся к широте взглядов и независимости от окружающих. Они действительно преследуют личную выгоду, не заботясь об интересах других (пресловутый европейский индивидуализм и эгоцентризм). В других культурах мира люди живут в более тесных рамках, и их коллективистский ментальный психотип вполне объясним.

Поэтому именно в античном Средиземноморье отдельная личность впервые получила право самостоятельно распоряжаться в узаконенной сфере частной жизни. «Индивидуализированная собственность, – пишет Ф.А. фон Хайек, – составляет ядро моральных норм любой развитой цивилизации; а древние греки, по-видимому, первыми поняли, что она к тому же неотделима от свободы индивида» [49, с. 54]. В одном из трудов В. Зомбарта говорится: «Мы должны считать античный дух [...] одним из источников капиталистического духа» [62, с. 257]. Ни больше, ни меньше. Это предполагает функционирование права в смысле совокупности абстрактных правил (law), позволяющих всякому индивиду в любое время удостовериться, кто правомочен владеть и распоряжаться той или иной конкретной вещью. Не случайно в самой Греции спартанцы, не признававшие частной собственности и разрешающие воровство, являлись прототипом дикого воинственного народа, отвергающего цивилизацию.

Конечно, занимавшиеся торговлей крупные общины, расплодившиеся в Средиземноморье, были слабо защищены от мародёрства более агрессивных конкурентов – тех же римлян в первые годы существования республики. Однако постепенно Рим, управляемый сенаторами, интересы которых были зачастую тесно связаны с коммерческой деятельностью, явил миру прообраз частного права, основанного на понятии индивидуализированной собственности в её абсолютной форме. Но как только центральная власть начинала вытеснять и подавлять свободную инициативу, навязывать социуму якобы большую мудрость (о которой так пеклись Платон и Аристотель), рано или поздно появляется тенденция злоупотребления этой властью, что приводит к упадку цивилизации и утрате городами своей роли. Появление сильного государства и подавление городской самоорганизации, разрушение системы договорного частного права – это не кульминация культурной эволюции, это – признак её конца.

В эпоху Античности облик городов был разнообразен. Например, отмечает Г. Дж. Берман [9, с. 336], в период с I века до н.э. по IV–V века н.э. Римская империя состояла из тысяч городов, но эти города служили главным образом центрами административного контроля римской императорской власти и управлялись императорскими чиновниками (что напоминает Московию и Российскую империю, о чём убедительно пишет Р. Пайпс [95, с. 268]). Города Древней Греции, напротив, были самодостаточными, независимыми городами-государствами. В противоположность Греции и Риму, те города, которые возникли в Европе в XI–XII века, не были ни административными постами центральной власти, ни самостоятельными республиками. Они были нечто среднее. За редкими ис-

ключениями, одним из которых был сам город Рим, не существовало никакой политической преемственности между бывшими римскими городами и теми европейскими городами, которые очень часто возникали на месте латинских поселений.

Нужно очень хорошо напрячь воображение, чтобы представить себе картину того, что осталось от античных городов после падения Империи. Одно из описаний звучит так: «Знаменитые в древности города, в которых ряды домов стоят пустыми и постепенно рушатся, между тем как на форуме и в гимнасии пасутся стада коров, а в амфитеатре растёт пшеница, из которой всё ещё выступают статуи и гермы. В V ст. Рим был по населению равен деревне, однако в императорских дворцах ещё можно было жить», «в амфитеатрах Нима и Арля приютились городки, появившиеся вместо античных городов: внешние стены амфитеатров стали городскими стенами» [96, с. 110, 551]. А ведь в I веке население Рима достигало 2 млн человек (!). Такой демографический порог в европейских городах будет превзойдён только в XX столетии.

Даже если средневековый город оставался на том же месте, что и древний, его облик, а главное, его функции коренным образом меняются. Средневековый город лишь во вторую очередь выполняет военную функцию, поскольку главными военными центрами остаются сеньориальные замки. Зато город становится крупным центром потребления, туда перемещаются рынки и ярмарки, появление многочисленных лавок ремесленников усиливает производственную функцию города, зарождение городской ментальности как важной части самосознания новой Европы способствует укреплению самобытности и могущества городов. Там, как выразился Жак Россио, создаётся «особая система ценностей, из которой рождается упорный и созидательный труд, вкус к сделке и к деньгам, пристрастие к роскоши, чувство прекрасного» [97, с. 171]. В конце концов, формируется основной и самый прогрессивный тип «средневекового человека» – горожанин. Но путь к европейскому городу был долог и мучителен.

В указанный период, «когда казалось, что даже последние следы свободы, оставшиеся от эпохи варварства, исчезли, и Европа под владычеством тысяч мелких правителей шла к установлению таких теократий и деспотических государств, какие выдвинулись вслед за варварским обществом, и в то время, когда цивилизация делала свои предварительные шаги, жизнь приняла иное направление. Движение её пошло по тем линиям, по которым когда-то оно совершалось в городах Древней Греции. С единодушием, для нас почти непонятным и долгое время не оценённым историками, городские агломераты вплоть до мельчайших городов начали свергать иго своих светских и духовных властителей. Укреплённые деревни поднялись против рыцарских замков, не захотели признавать их сначала, напали на них затем и, наконец, разрушили их. Движение распространялось от одного места к другому, захватывая каждый город на поверхности Европы. Менее чем за столетие свободные города появились на берегах Средиземного, Немецкого, Балтийского морей, Атлантического океана, у фьордов Скандинавии, у подошвы Апеннин, Альп, Шварцвальда и Карпатских гор, в равнинах России, Франции, Венгрии и Италии. [...] Всюду, где люди находили или надеялись найти какую-нибудь защиту за своими городскими стенами, они учреждали “братства”, “дружества”, связывая их членов клятвами и объединяя одной общей идеей, смело шли к новой жизни взаимной помощи и свободы. За три-четыре века они добились таких успехов, что изменили всю “физиономию” Европы» (курсив наш. – А.П.) [77, с. 169]. Именно так развивалась новая свободная жизнь и родился средневековый город.

Начиная с XIII века становится всё больше малых и средних городов, увеличивается население крупных. По свидетельству Ж. Ле Гоффа [97, с. 159], в Средние века большой Западный город насчитывает от десяти до двадцати тысяч жителей. На общем фоне выделялись Палермо и Барселона (около пятидесяти тысяч жителей), Лондон, Гент, Генуя, а на мусульманской территории – Кордова (приблизительно шестьдесят

тысяч). В Болонье насчитывалось, по-видимому, от шестидесяти до семидесяти тысяч жителей, в Милане – семьдесят пять тысяч. И только Флоренция и Венеция насчитывали сто тысяч жителей, а самым крупным городом был Париж, его население достигало к 1300 г. двести тысяч человек. К 1500 г. наибольшая доля городского населения была в Бельгии (21,1%), Голландии (15,8%), Италии (12,4%), Испании (6,1%), Франции (4,2%), Германии (3,2%), Англии и Уэльсе (3,1%), Португалии (3%) [60, с. 56]. Основная масса населения жила вне городских стен.

Средневековье – время господства феодального способа производства, когда античный город пришёл в упадок, а жизнь исходила из деревни: «Аграрная стихия господствует повсеместно и лишь кое-где существуют скудные, полуразрушенные подобию городских центров» [41, с. 5]. Но с X–XI веков в этот аграрный мир вторгается новый элемент – город: «на первых порах город остаётся в административном и политическом подчинении у деревни – поместья, в идеологическом – у монастыря; хозяйственная и социальная жизнь раннесредневекового города пронизана феодальными принципами, и господствующая верхушка горожан стремится подражать сеньорам. И всё-таки город постепенно подтачивает основы средневековья, сам мало-помалу преобразуясь и преобразуя своих “противников” – феодальных сеньоров. В ожесточённой борьбе между крестьянами и феодалами, между городами и сеньорами, между различными группировками внутри феодальной знати, между носителями централизма и сепаратизма надвигался конец средневековья» [41, с. 6].

Города различались не только по демографическим характеристикам; они выстраивались в особую иерархию, исходя из их политического значения [97, с. 161]. Первым типом города был епископский город, а поскольку население состояло из верующих христиан, епископ нес ответственность за церковный порядок, ритуалы, организацию «поселений усопших» (с тех пор в городах появились кладбища). Особый статус имели столицы – резиденции высшей политической и теократической власти: Париж, Лондон, Рим. Но самый распространённый тип представляет собой город, разросшийся до того, что превратился в государство. Их население пополнялось крестьянами, перебиравшимися из деревень, а развитие ремёсел и экономики подпитывалось изначально за счёт земледелия. Именно город-государство, создавший новые структуры общества и управления, противопоставил себя феодальному укладу. Поэтому он и оказался в центре нашего исследования как пример успешной эволюции и прогресса.

Взлёт произошёл достаточно рано – между X и XIII веками. Именно тогда кардинально изменился образ западных городов. Жак Ле Гофф [38, с. 357] связывает это с тем, что в них возобладали одна функция, оживлявшая старые города и создававшая новые, – функция экономическая, торговая, а чуть позже и ремесленная. В Германии, например, «адраджаліся старыя, пабудаваныя яшчэ рымлянамі, гарады. Спачатку яны ствараліся са стратэгічнай мэтай. З X стагоддзя пачалося будаўніцтва новых гарадоў. Паступова, дзякуючы развіццю гандлю, нямецкія гарады сталі губляць свой ваенны характар» [98, с. 25]. Город стал очагом того, что было столь ненавистно феодальным сеньорам: «постыдной» хозяйственной деятельности. Вернер Зомбарт доказал, почему «деньги сеньор презирает, почему они грязны, так же как грязна и всякая приобретательская деятельность» [62, с. 19].

На город обрушили и церковные анафемы. По наблюдению Ж. Ле Гоффа [38, с. 358], тому есть своё объяснение. Если внимательно вчитаться в Ветхий Завет, то в нём показана антигородская история человечества. Основателем первого города был Каин, которому подражали все злодеи и тираны, враги Господни. Напротив, клирики, справедливые, бескорыстные и богобоязненные, жили в пустыне. Обосноваться в городе означало выбрать иной мир. Действительно, возникновение городов вместе с оседлостью, установлением собственности и развитием инстинкта собственника способство-

вало становлению нового менталитета, заключавшегося в выборе жизни деятельной и рациональной, а не созерцательно-мистической. В действительности, как известно, всё было иначе, «достаточно ознакомиться с точной картиной сеньориального образа жизни духовенства в период кватроченто» [62, с. 19], которую можно считать вполне типичной для всего образа жизни церковных иерархов в рассматриваемое время.

Расцвету городского менталитета благоприятствовало появление городского патриотизма. Город порождает у жителей гордость и восхищение, это сообщество сумело создать ценности, в известной мере общие для всех горожан, – эстетические, культурные, духовные. В то же время корпоративный уклад и разделение труда долгое время сохраняли плюралистический облик города, обусловленный жизнедеятельностью многочисленных гильдий, цехов и иных социальных структур. Умберто Эко обратил внимание на тот факт, что в городах стирались языки разных этнических групп, но стремительно «размножались *технические наречия* (зодчие говорят на языке зодчих, перевозчики камня – на своём собственном)» [99, с. 351]. Это – проявление культурного плюрализма, но в политическом и экономическом отношении спайка всех жителей городской общины в отстаивании своих прав и свобод была очень сильна.

Хронисты зафиксировали сотни восстаний в городах, которые возглавлялись бюргерами. Они добивались политической власти, чтобы обеспечить себе свободу профессиональной деятельности, основы их богатства, и добиться престижа, равного их экономическому могуществу. Одним из первых волнений, сопровождавшихся насилием, был мятеж в Ланне в 1112 г., когда горожане убили графа-епископа, но ещё в 1069 г. было восстание в Ле-Мане, что знаменовало «начало коммунального движения во Франции» [97, с. 313].

Возрождение европейской цивилизации в период позднего Средневековья своим происхождением «обязано “политической анархии”, царившей в городах итальянского Возрождения, Южной Германии, Нидерландов, Англии с их “мягкими” системами правления, где заглавную роль играли торговцы, финансисты и мастеровые, но никак не воины» [49, с. 60]. Во всех урбанизированных регионах существовали ограничения на вмешательство в дела собственности, налагаемые на правительственную власть.

Это дало мгновенный эффект. Как показывает П.А. Кропоткин [77, с. 174] (тот самый князь-бунтарь, но и геолог, историк, географ, социолог с мировым именем учёного), уже с IX века торговые города в Италии, особенно Амальфи (где избирали консулов с 844 г.), выработали обычное морское право и торговые законы, которые впоследствии стали образцом для всей Европы. Равенна создала ремесленную организацию, а Милан с 980 года пользовался полной независимостью. Затем – Франция и Бельгия, Германия и Фландрия. Этот период смело можно назвать предтечей возрождения, рационализма, реформации. На местном уровне стали возникать органы самоуправления, «заставляя епископов, местных баронов и других представителей знати делиться властью с гражданами и в конце концов уступать им» [43, с. 98]. Зародившаяся на местах идея представительства вскоре дополнилась появлением на национальном уровне первых парламентов, которые во время модернизации развились в институты современной демократии. Это, в свою очередь, способствовало социальному плюрализму, основанному на диалоге и толерантности. Уместно воспроизвести следующий эпизод.

Важную роль в Европе в «тёмную эпоху» играли евреи, они «всегда находились в авангарде интеллектуального, технологического и экономического прогресса Запада» [101, с. 85]. На том месте, где организовывалась городская община, рано или поздно возникала или возрождалась еврейская община. По мнению Пола Джонсона [100, с. 196], их расселение в городах имело место в глубокой древности – первая книга Маккавеев приводит список еврейских колоний, разбросанных по всему Средиземноморью. Городские евреи были поголовно грамотными и владевшими счётом, что позволяло им реализовывать свои способности, если только этому не препятствовали

жестокие карательные законы или физическое насилие. Например, согласно Кодексу Юстиниана и последующим установлениям, евреи Византии, в отличие от язычников и еретиков, имели узаконенный статус, запрещались акты антисемитизма (тем не менее они были подданными второго сорта, пока не обращались в христианство). Однако «во многих отношениях евреи явились единственным связующим звеном между античными городами Рима и городскими коммунами раннего Средневековья. Есть мнение, что само слово *коммуна* есть не что иное, как перевод еврейского слова *кагал*» [100, с. 197].

В адаптации к городской экономической жизни огромную помощь оказывала религия, ведь раввинистский иудаизм – настоящая проповедь работы, поскольку он требует, чтобы евреи максимально использовали способности, дарованные им Богом. В книге «*Евреи, конфуцианцы и протестанты: культурный капитал и конец мультикультурализма*» Лоуренс Харрисон резюмирует: «Иудаизм воспитывает рациональность и стремление к достижениям; стимулирует преследование материальных целей; сосредоточенность на посюстороннем мире; прагматизм. [Это] находится в резком контрасте с другими религиями, такими как ислам и католицизм, которые сосредоточены на загробной жизни и доктрины которых более жестки и утопичны» [101, с. 97].

Многие противоречия между католическими христианами и иудеями оказались неразрешимы. Как ни парадоксально, наиболее удачным местом для еврейского расселения в Европе с VIII по XI столетие была завоёванная мусульманами Испания, где к ним относились с необычайным почтением и терпимостью. В христианской Европе было иначе. Евреям приходилось мириться со своей второсортностью, бесправием и шатким имущественным положением. Но их участие в экономическом развитии на основе рационализации, привитие европейцам почтения к книге и учёности не подлежат сомнению.

Вслед за евреями христиане-европейцы приходят к пониманию, что необходимые условия прогресса – свобода, закон, собственность. Но эти ценности приходилось отстаивать не только потом, но и кровью. Характерный исторический эпизод приводит Ж. Ле Гофф [38, с. 127]. 1 августа 1291 года жители долины Ури, вольная община из долины Швиц и объединившиеся люди из долины Унтервальден перед лицом габсбургской угрозы, поклявшись, создали вечный союз, как это часто делали члены городских и горных общин. Тогда было трудно предвидеть, что этот союз станет ядром новой своеобразной политической организации – Гельветической конфедерации. 15 ноября 1315 года была одержана блестящая победа над Леопольдом Габсбургом у Моргартена. Военная мощь швейцарцев заявила о себе одновременно с их политическим будущим. Уже тогда в конфедерации формировалась экономика нового типа, впоследствии органично воспринявшая идеологию кальвинизма.

Это произошло, стоит заметить, до появления протестантизма, с которым и принято связывать зарождение классического капитализма в Европе. Макс Вебер, стремясь обнаружить «дух капитализма» как нечто новое [79], чьи истоки следует искать в XVI столетии, сильно упрощает проблему. Например, Хью Р. Тревор-Роупер [64, с. 295] выяснил, что большинство выдающихся предпринимателей XVI–XVII веков объединяло между собой не то обстоятельство, что они были протестантами, а то, что почти все они были эмигрантами. Откуда же они взялись, что заставило их эмигрировать? Тревор-Роупер установил ряд поразительных фактов. Он обнаружил, что первоначальными центрами капитализма как системы производства и технологии финансирования были города, где преобладали католики (Антверпен, Льеж, Лиссабон, Аугсбург, Милан, Лукка). Так было в начале XVI века, но между 1550 и 1620 годами эти центры уже переживали агонию, и секреты технологии капитализма были перенесены в другие города, чтобы быть применёнными в других странах.

Почему так происходит? Причина всё та же, о которой не устаём повторять. Решающим фактором стал новый союз между церковью и государством, которые с каж-

дым годом становились всё нетерпимее, и это приводило к отлучению предпринимателей-католиков от церкви, а чаще – к изгнанию за пределы страны. Поэтому они стремились в города, свободные от контроля со стороны князей и епископов, т.е. в самоуправляющиеся города, города-республики. Феодализация и клерикализм, с одной стороны, городское движение – с другой – антагонистические миры. Проиллюстрируем сказанное на примере, детально рассмотренном Уильямом Бернштейном [54, с. 254]. К середине XVI века Антверпен был торговым центром мирового значения. В 1585 году герцог Пармский захватил его, но не с характерной для той эпохи любезностью позволил протестантам спокойно уйти из города (иудеи потянулись за ними, а купцы-католики выжидали). Но почти в то же время его дядя Филипп II наложил на Соединённые провинции эмбарго и захватил суда эмигрантов, стоявшие в испанских и португальских портах. Это была колоссальная ошибка короны. Одним махом Филипп создал сеть самых трудолюбивых, самых предприимчивых торговцев в мире – протестантов, бежавших из Антверпена, которые прилагали все силы, чтобы вести дела, не заходя в иберийские порты.

В итоге большинство беженцев осело в соседнем Амстердаме, который хоть и являлся голландской столицей, но никак не мог сравниться с богатейшим Антверпеном. С 1585 по 1622 год в Амстердаме становилось всё больше протестантских (и не только) переселенцев, их число увеличилось с 30 000 до 105 000 [54, с. 255], более 10 000 составляла активная еврейская община, а город превратился в один из крупнейших в Европе. Всего же население Амстердама в период с 1550 по 1700 г. выросло с 30 до 200 тыс. человек [60, с. 170]. К 1650 году Голландия стала торговым центром Европы, Амстердам – финансовой столицей мира.

Амстердамская биржа держала в руках международную торговлю, определяла динамику цен. Решающим моментом стало создание в 1621 году голландской Вест-Индской компании – первой в мире международной торговой корпорации в форме акционерного общества. В ходе восстания против Испании повстанцы-протестанты и вообще блокировали Антверпен, значение которого сошло на нет. После обретения независимости протестанты нанесли ещё один удар по Испании – Голландия и другие европейские потребители перестали покупать испанскую соль, необходимую для заготовки мяса и рыбы, поскольку нашли иные рынки. Была разрушена одна из основных королевских монополий, что ещё больше подорвало бюджет страны, не осознающей перемен в мировой политике и экономике.

И уже «к началу XVII века все дороги вели в Нидерланды. Эта страна, размером меньше Португалии и лишь слегка больше её по населению (1,5 млн в 1600 г.), основала первую по-настоящему глобальную торговую систему. [...] Экономическая история утверждает, что в 1600 году валовой внутренний продукт составлял в Голландии 2175 современных долларов на душу населения, в Англии, Испании, Португалии – 1440, 1370 и 1175 соответственно. [...] Самые выгодные европейские кредиты – 4%. [...] Стартовый капитал голландской Ост-Индской компании – 6,5 миллионов гульденов (около 100 миллионов долларов по сегодняшним расценкам)» [54, с. 261–262]. В сельском хозяйстве процветало фермерство (крестьяне старались для себя, а не для монарха или землевладельца-феодала), горожане активно вкладывали личные средства в различные коммерческие проекты, выступая при этом вкладчиками и компаньонами.

Вот что пишет Жак Ле Гофф: «Ментальность горожан [...] отличалась эгалитаризмом, основанным на горизонтальной солидарности, объединявшей людей благодаря клятве в сообщество равных; феодальная же ментальность, тяготеющая к иерархии, выражалась в вертикальной солидарности, цементируемой клятвой верности, которую низшие приносили высшим» [38, с. 111]. Это хорошо видно на примере Испанской им-

перии, где возникло серьёзное противоречие между развитыми городами и близорукой в религиозном и экономическом плане властью. Рассмотрим ситуацию внимательнее.

Во время Великих географических открытий (особенно открытия Америки) Испания и Португалия были могущественными и активными мировыми империями. Разбогатев за счёт американского ценного металла, правящие круги Испании, олицетворявшие господствующее католическое государство, оказались неспособными осознать истинные причины своего экономического могущества. Быстро росла и паразитировала государственная и церковная бюрократия. Не имея непосредственного отношения к производству и торговле, она своими бесчисленными попытками регулировать деятельность предпринимателей вынудила последних эмигрировать.

Поэтому прежде могущественные центры Контрреформации пережили упадок, а очаги ведения бизнеса в Северной Европе (Амстердам, Антверпен, Лондон, Стокгольм) стали доминировать в масштабах мировой экономики. Зарождается новая европейская, т.е. городская цивилизация. В развитых регионах Европы к началу Нового времени проживало уже более 10% населения – и всё равно для экономики требовался ещё больший поток переселенцев [60, с. 170]. Как выразился С. Хантингтон, «цивилизованное общество отличается от примитивного тем, что оно оседлое, городское и грамотное» [43, с. 45]. И прежде всего такие критерии «цивилизованности» сработали в финансово-экономической плоскости.

Ситуацию описал Ниал Фергюсон: «Пока новые центры на севере континента усиленно перенимали и улучшали разработанные итальянцами приёмы ведения дел, одна страна выглядела совершенно чужой на празднике финансовой жизни. Изобилие драгоценных металлов сыграло с прежде грозной Испанией злую шутку. Она не построила отвечающую запросам времени финансовую систему и в поисках наличности обращалась к купцам из Антверпена, обещая расплатиться по приходе следующей партии серебра. Мадрид так толком и не понял, что настоящие деньги – там, где кончается металл и начинается кредит: с 1557 по 1696 год испанская монархия по меньшей мере четырнадцать раз полностью или частично отказывалась рассчитываться со своими кредиторами. В новом мире власть принадлежала банкирам, а не банкротам» [52, с. 65].

Испания, поддержавшая Контрреформацию, не понимала значения коммерции. (Как в любом деле, есть и обратная сторона медали. Пол Джонсон [8, с. 389] замечает, что поскольку Испания в XV и XVI веках последовательно выдворила огромное число мавров, евреев и протестантов, то путём таких массовых изгнаний она избежала Реформации и ужасов религиозных войн.) Да, отдельным предпринимателям выдавались лицензии, чтобы те своей деятельностью укрепляли монополию государства в определённой сфере, но это классический случай государственного меркантилизма, процветающего и поныне во многих странах.

Точно так же происходил закат Великой португальской империи. С XV века при королях Иоанне II и Эммануэле начались жестокие преследования евреев и мавров, в результате изгнания которых государство лишилось массы богатых и образованных людей. Ещё одну существенную внутреннюю проблему представляло устранение всех остатков прежней независимости городов; были пересмотрены уставные грамоты, ликвидировано самоуправление с введением прямого подчинения городов надзору королевских чиновников, отныне обладавших монополией на налоги и пошлины. Становлению абсолютизма способствовала «реализация» Юстинианова кодекса, создание королевских трибуналов вместо городских судов. Мавры-земледельцы, финансисты-евреи и горожане (торговцы и промышленники) были изгнаны, большинство активных людей оседало в заморских колониях. Страна опустела и превратилась в захолустную провинцию Европы.

Получается, что предприниматели Северной Европы, принадлежавшие к протестантам и иудеям, не были чем-то новым, они оказались давно известным явлением, лишь пересаженным на новую почву. Новостью XVI столетия были не предприниматели как таковые, а обстоятельства, вынудившие их к эмиграции. Реформация, таким образом, лишь придала поступательную динамику развитию финансово-экономической системы Европы. Торговля, финансовое дело, отношения собственности, роль права – всё это оказалось возможным лишь в «городской среде» ментально нового социума, и вот почему.

Становлению частной собственности и развитию связанных с ней прав на Западе, доказывает Р. Пайпс [47, с. 145], ничто не поспособствовало так сильно, как появление в позднем Средневековье городских общин, ибо то, что в сельских землях складывалось постепенно и без закрепления в законах, в городах приняло чёткие правовые формы. Значение частной собственности для рыночной экономики, образующей «мускулатуру» городской жизни, определяется следующим образом. Если землёй владеть и пользоваться можно, даже не имея на неё чётко подтверждаемых прав и располагая возможностью её продать, то с товарами или деньгами дело обстоит иначе: они лишь в том случае обретают какую-то хозяйственную роль, когда могут быть пущены в оборот или инвестированы, а пущены в оборот или вложены в дело могут быть, только являясь предметом бесспорной собственности своего владельца. Таким образом, если распространение земледелия сделало возможным соблюдать права собственности более строго, чем во времена охотников и собирателей, то в «городской экономике», основанной на торговле и промышленности, собственность стала по существу господствовать в отношениях людей к имуществу и между собой.

Свободы, завоёванные горожанами, можно представить в привычной нам разбивке: 1) политические (свобода самоуправления); 2) личные (вступление в брак, завещания, передвижения); 3) экономические (освобождение от негородских налогов и уплаты пошлин, содержание рынков, свобода от постоя); 4) правовые (уголовно-процессуальные гарантии неприкосновенности, защита прав в городских судах, свобода от обязательной службы). Эти оазисы свободы с подведённой под неё правовой основой породили современную демократию и предпринимательскую деятельность, а идеалы, выдвинутые городами, и учреждения, ими созданные, составили неотъемлемую часть западной политической традиции. Как убедительно доказал М. Вебер [102], эти институты существовали только в Европе, нигде за пределами Запада не было городов в виде единых общин.

Рассмотрим одно из многих стереотипных заблуждений, связанное с нашей историей. Например, в научной литературе отмечается, что «для IX–X веков летописи упоминают 24 русских города, в XI веке – 88 городов, вокруг которых объединились и располагались многочисленные сельскохозяйственные поселения» [63, с. 165]. Действительно, на Руси было множество городских центров, внешне похожих на образования, появившиеся в Западной Европе несколько ранее. В реальности это были крепости, которые обеспечивали безопасность правящей элиты, норманнов и их дружин, а также места складирования товаров; у крепостных стен размещались мастерские ремесленников и лавки торговцев.

Но если в Европе с XI века такие примитивные крепости-города преобразуются в коммуны, добиваются самоуправления и права самостоятельно вершить суд над своими гражданами, то на Руси, если не считать Новгорода и Пскова, не происходило ничего подобного. Монголо-татары и владевшие ярлыком русские князья уничтожили в зародыше всю самостоятельность городов, подавили их коммерческую роль и включили в свою вотчину. С расширением Московского государства города физически разрушались, недвижимость изымали, а самих жителей либо отправляли в ссылку, либо переводили в разряд служивых людей, а то и простолюдинов. Города подлежали налого-

обложению, их статус определялся правительственным чиновником-воеводой, своего суда и самоуправления не было.

По сути, город в Московском государстве, как и во многих регионах мира, не затронутых западной культурой, был подобием большой деревни (см. также [95]). Даже к середине XIX века Россия по-прежнему оставалась сельской страной, численность городского населения составляла примерно 8%, и только потребности промышленного развития страны обусловили приток крестьян в города [263, с. 479]. В соседнем Княжестве Литовском всё было иначе. Большинство городов имело Магдебургское право, экономические и политические привилегии, самоуправляющиеся общины и независимые суды. После покорения их Москвой они низводились до того же положения, в каком находились все остальные города. С Европой – ничего общего.

Существующая капиталистическая система, укоренившаяся в обществах, основанных на принципах плюрализма и конкуренции, прежде всего, в частной сфере (неконтролируемой ни государством, ни церковью), зародилась в первую очередь в «вольных городах». Именно они способствовали зарождению и развитию буржуазии, которая методично и последовательно «восстанавливает и развивает города как знак и фундамент собственной власти» [103, с. 38]. Такая система могла развиваться лишь на почве строго определённых ценностей, благоприятствующих моральным и интеллектуальным добродетелям, необходимым для её роста и процветания. Так на европейской арене появляется сила, исторически воплотившаяся в форме демократической республики и питаемая энергией иудаизма, гуманизма и протестного христианства. Менее чем за два столетия мир преобразился до неузнаваемости.

Следуя объективным истинам, истоки современной европейской цивилизации обнаруживаются много глубже, чем в реформационном XVI веке. «Задолго до Кальвина, – пишет Ф.А. фон Хайек, – итальянские и голландские торговые города практиковали правила, сделавшие возможной современную рыночную экономику» [66, с. 606]. Безусловно, капиталистическая этика образовала функциональные основы протестантизма, но как таковой «капиталистический дух» проявился раньше, о чём – небольшое отступление.

Более тысячи лет (после исчезновения античного мира) усилиями клириков и феодалов стремление человека к зрелости, свободе и самоуважению подавлялось тотально. Лишь в XV веке благодаря иудейским и арабским схоластам стало возможным возрождение концепции гуманизма. Повторное открытие греческой философии и священных иерусалимских текстов (во многом благодаря Пико делла Мирандола (1463–1494) с его «Речью о достоинстве человека» [104, с. 248–265]) обычно считается основой [37, с. 92], на которой развивался итальянский Ренессанс. Максимально применяя свой разум и силу воли, человек Возрождения чувствует, что не только сам чего-то достиг, но и, делая это, выполнил волю Бога. Главное – люди перестали бояться своей собственной индивидуальности. Немецкий гуманист Ульрих Гуттен восклицал: «Науки процветают, умы пробуждаются; счастье жить в такое время!» [40, с. 611]. Именно в это время в Италии стали писать о хозяйственных вещах (Альберти, Руччеллаи) и впервые систематически развили передовые капиталистические взгляды. Умственное движение, охватившее Италию, перекинулось за Альпы.

Индивидуализм и культ свободной личности можно считать результатом политических и экономических обстоятельств жизни Италии, отрицания любых доктрин и догматов. В Италии, как нигде в Европе, индивидуализм проявился во власти кондотьеров, мелких князьков и правителей, поскольку власть на Апеннинских полуостровов эпохи Ренессанса концентрировалась в городах-государствах, не находившихся под властью церкви. Отношения государств друг с другом больше не регулировались церковью и феодальной властью. В те времена, доказывает Георг Вебер [40, с. 600], Италия была центром сношений между народами Западной Европы; в нее ходили с севера завоеватели, ездили церковные санов-

ники, дипломаты и торговцы, стремились юноши, желавшие учиться, и любознательные люди средних и даже пожилых лет. Они разносили из неё новые научные понятия по своим землям. Вспомним Ш.Л. Монтескьё [18] с его известным суждением о том, что именно торговля способствовала распространению цивилизации и смягчению нравов среди варваров Северной Европы, но здесь следует учитывать географические и климатические условия Средиземноморья.

Принято считать [105, с. 487], что в XIV и XV веках итальянцы были ведущим этносом католической Европы. Нажившиеся на крестовых походах, ограблении Византии, торговле с Востоком и ростовщичестве, они одновременно поставляли всем дворам Европы юристов, дипломатов, богословов, поэтов, художников, архитекторов, учёных, мореплавателей. Когда страны Европы переживали тяжёлые времена (Столетняя война, гуситские войны, турецкая агрессия, реконкиста и прочее), Италия переживала расцвет городских республик. Не войны, а торговля и дипломатическое разрешение сложнейших проблем были взяты итальянцами на «вооружение».

С появлением искусства дипломатии возникают концепция баланса властей и современное представление о межгосударственных отношениях. Возвышающееся сословие торговцев стояло по важности сразу за аристократией, а города-государства добились процветания по целому ряду причин: местоположение, финансирование правителей, изменение психологического отношения к зарабатыванию денег. Однако не следует забывать, что «итальянский прорыв» состоялся в эпоху самого «мрачного» Средневековья. Л.Н. Гумилёв [106, с. 230] связывает это с мощным импортным пассионарным генофондом, рассеянным по стране многочисленными завоевателями: греками, арабами и берберами, нормандцами, германцами, французами и испанцами, т.е. в XII и XIII века. Ссылаясь на многочисленные исследования, В. Зомбарт [62, с. 248] доказывает, что дух флорентийцев во многом объясняется тем, что в их жилах текла этруская, греческая, азиатская и германская кровь. Именно в это время итальянцы продемонстрировали совершенно головокружительные наклонности.

Жители небольших городов, по тем временам очень маленьких и слабых, – Венеции, Генуи, Пизы, Ливорно, Флоренции – бросились вдруг в отчаянные финансовые операции, занялись торговлей на Средиземном море, обслуживанием королей Европы, благодаря чему у них развились юриспруденция и наука о дипломатии. В результате эти города быстро превратились в исключительно богатые центры с большим скоплением всякого рода имущества и людей. Меркантилизм их жителей органично сочетался с любовью к искусству и наукам. Важнейшим центром североитальянского конгломерата была Флоренция. Как пишет Георг Вебер [40, с. 595], многочисленные итальянские государства и республиканские правительства соперничали между собою в покровительстве гуманистам. Но особенно это развилось во Флоренции; возрождению наук в ней благоприятствовали энергичная, умственная деятельность, возбуждаемая политической борьбой, многочисленность образованных богатых людей, благосостояние массы населения, сближение сословий торговыми и промышленными занятиями. Всё это делало Флоренцию похожей на греческие республики в лучшие времена. Тосканцы были даровитым племенем: из него вышли гениальные правители, финансисты, торговцы, учёные, писатели. Наречие этой области сделалось литературным языком всей Италии.

У флорентийцев была особая манера вести торговлю и основывать предприятия, в связи с чем Вернер Зомбарт отнёс их к тем трём народностям (наряду с шотландцами и евреями), в которых «купеческий» дух «расцвёл раньше всего и в наиболее чистом виде» [62, с. 117]. Начиная приблизительно с XIII столетия Флоренция занималась торговлей, в то время как другие города Италии воевали. Будучи сухопутной, она никогда не обладала ни военным флотом, ни даже сколько-нибудь значительным торговым. Своих успехов они достигали самыми что ни на есть цивилизованными спо-

собами: 1) деньгами (в конце концов, государями этой страны стала семья менап – Медичи [52, с. 53]); 2) договорами; 3) знанием дела. «Знаменитая флорентийская су-конная промышленность, быть может, первая действительно капиталистически органи-зованная промышленность, есть дитя торговли шерстью, следовательно, порождена чисто купеческим духом. *Общественная жизнь в этом городе – только отражение этого торгошеского духа*», – делает вывод В. Зомбарт [62, с. 120]. Умелость в торговле, экономность и прилежное ведение учёта в хозяйстве – таковы его основы.

Могуществу Флоренции способствовало и её государственное устройство – чрез-вычайно многосложное, но очень продуманное [40, с. 484]. Так сложилось во многом благодаря исторической случайности [62, с. 394]: вражде между императорской и анти-императорской партиями – цехи во Флоренции уже в XII веке достигли участия в управлении городом. В 1193 году были расчищены пути для политического могуще-ства общественного строя. Получается, что цеховое устройство – не смертельный враг зарождающегося капитализма. Мещанские и христианские добродетели удачно сочета-лись с предпринимательским духом и передовым политическим устройством.

По форме правление было демократическое: собрание граждан, созываемое зво-ном колокола и сходившееся на площади перед Palazzo Vecchio, имело верховную за-конодательную власть и выбирало правителей. Но в действительности оно лишь ут-верждало законы, предлагаемые господствующей партией, и назначало её кандидатов на должности, распределённые заранее. Когда господствующая партия считала необхо-димым взять в свои руки произвольную власть, по её предложению, собрание граждан назначало комиссию с неограниченными полномочиями, называвшуюся *балией*. Пол-номочия давались на месяцы, даже на целые годы; балия в это время назначала всех сановников. Высшим правительственным учреждением была синьория, состоявшая из 8 приоров цехов под председательством гонфалониера юстиции. Синьории были под-чинены комитеты, заведовавшие разными отраслями администрации, а также трибуна-лы; члены их назначались по жребию из списка граждан, составляемого синьорией. Для внесения в список нужно было одобрение $\frac{2}{3}$ членов синьории. Имена внесённых в спи-сок опускались в урну, и путём жребия решалось, кто из них будет членом того или иного комитета или трибунала. Срок этих должностей был четырёхмесячный; члены синьо-рии избирались только на два месяца. Более того, чтобы подавить сильное сеньориаль-ное самосознание, «уже в 1292 году *popolani*, т.е. люди с кровью торговцев, добились того, чтобы никакой *grande* не мог попасть в члены городского управления» [62, с. 252]. С пози-ций сегодняшнего дня такое устройство не очень понятно и представляется чрезмерно ус-ложнённым, но всё-таки очевидно и то, что быстрая смена сановников и своеобразная сис-тема «сдержек и противовесов» имели целью предотвратить деспотизм и нелегитимный захват власти во флорентийской республике. Интересен и тот факт, что Тоскана была настоящей твердыней католического клерикализма.

В романе «*Имя розы*» Умберто Эко через диалог героев романа препарировал ситуа-цию с абсолютной точностью: «Город в Италии – это что-то совсем другое, чем у меня на родине. Не только место обитания. Это место принятия решений. Тут вечно все на площади. Городские магистраты значат больше, чем император или папа. Они ... как некие царства. [...] А цари тут купцы. А сила их в деньгах. И деньги здесь, в Италии, ходят не так, как у тебя в стране. Или у меня. То есть, конечно, деньги везде деньги, но у нас в значительной степени жизнь определяется и управляется обменом товаров. Мы вымениваем или покупаем петуха, куль зерна, мотыгу, повозку: деньги нам служат для приобретения товаров. В итальянских же городах, как ты, может быть, заметил, всё об-стоит наоборот: товары служат для приобретения денег. Священнослужители, еписко-пы, даже религиозные ордена вынуждены пересчитывать жизнь на деньги. И именно по этой причине восстание против власти здесь оборачивается восстанием против денег;

те, кто выключен из денежного обихода, борются против правительства; всякий призыв к бедности встречает сильнейший отпор, и целые города, от епископа до магистрата, воспринимают как личного врага всякого, кто слишком ратует за бедность» [107, с. 152–153]. В долгосрочной перспективе у Савонаролы, как известно, не было никаких шансов на успех.

Дело в том, что зародившийся в каролингские времена феодализм обрёл наиболее законченные формы во Франции и Германии, но не достиг завершённости в Италии, где прочность античных традиций и раннее участие сеньоров в городской жизни связывали его развитие. Феодализм имел аграрную основу – это, прежде всего, система землевладения. Если для Франции и Германии неизменной и главенствующей была организация сельского пространства, где обмен был слабым и нерегулярным, монета разной, а наёмный труд почти неизвестным, то для Северной Италии характерны интенсивная торговля, распространение денежного хозяйства и растущее превосходство купца над производителем. Не случайно в развитых феодальных системах растущая дистанция между экономическим могуществом и социально-политической слабостью высших городских слоёв привела к буржуазным революциям XVII и XVIII веков.

Феодализм всегда противопоставлялся городскому движению. Как пишет Ж. Ле Гофф [38, с. 111], своей политической организацией, коммуной, оно действительно было нередко направлено против сеньоров, особенно церковных; немало епископов стало жертвой восставших горожан, как, например, во французском Лане в 1112 году. Городская жизнь питалась ремесленной и торговой активностью, тогда как феодализм жил за счёт поместья, земли. Ментальность горожан отличалась эгалитаризмом, основанным на горизонтальной солидарности, объединявшей людей благодаря клятве в сообщество равных; феодальная же ментальность, тяготеющая к иерархии, выражалась в вертикальной солидарности (вассальный договор), цементируемой клятвой верности, которую низшие приносили высшим. К тому же феодальная система хоть и приблизилась к праву собственности, не достигла его. Денежное хозяйство и вообще система городской собственности (с правом пользования и распоряжения) оказались противостоящими феодальной экономической организации.

Эпоха Ренессанса ознаменовалась рождением современного капитализма, который можно определить «как систему, в которой индивид сознательно и рационально, с помощью экономических средств ищет возможности получить финансовую прибыль. Именно тогда появились рациональные методы ведения счетов и банковские операции» [37, с. 98]. Поэтому достаточно неожиданно было прочитать у Ричарда Пайпса, известного апологета либерализма и проницательного историка, слова о том, что «хотя местом, где впервые широко развернулась торговля, была Италия, итальянские города-государства не родили никакой экономической доктрины в пользу капитализма» [47, с. 20]. По нашему мнению, масштаб города-государства ознаменовал становление новой эпохи. Говорят, «городской воздух делает людей свободными». Откуда появилось это изречение, ставшее классическим афоризмом? Авторство не стоит приписывать М. Веберу. Французский историк Жак Ле Гофф связывает его с урбанизацией средневековой Европы: «...городское влияние было благоприятным для населения деревень. Крестьянин-переселенец обретал там свободу: или, обосновавшись в городе, он автоматически становился свободным – зависимое состояние не признавалось на городской земле, – или же город, завладев своей округой, спешил освободить сервов. Отсюда знаменитая немецкая правовая норма: “Городской воздух делает свободным” (“*Stadtluft macht frei*”). Она имела уточнение: “*Городской воздух делает свободным через год и один день*”, то есть после того, как человек пробудет столько времени в городе» [38, с. 359]. Но между городами и их сельским окружением были сложные отношения. Именно город породил университеты и юристов, разработавших на исходе средневековья право, обращённое против крестьян.

В присущем ему блестящем стиле О. Шпенглер запечатлел, что «городская душа, которая вначале отделяется от души земли, затем с нею уравнивается и в конце концов пытается её подавить и изничтожить. [...] Стоит появиться городской *жизни* как таковой, а с ней возникнуть духу общности среды, обитателей этих небольших поселений, духу, воспринимающему собственную жизнь в качестве чего-то особого, непохожего на жизнь снаружи, как начинает действовать волшебство *личностной свободы*, вовлекающая внутрь городских стен всё новые потоки существования. [...] Крепы, пронизывающие всю деревенскую жизнь, оказываются разорваны» [96]. Вне городских стен укоренялась крепостная зависимость, принявшая в Западной Европе совершенные формы в 1000–1400 годах. Обитатели деревень удерживались в прикрепленном состоянии, чтобы обеспечить тем самым взнос налогов.

Комплекс противоречий и взаимодополнений между городом и деревней – ещё один фактор европейской истории, унаследованный от Древнего Рима: «Эта оппозиция, в том числе и её культурная составляющая – противопоставление “учтивости” и “неотесанности”, проявляется и в других областях» [97, с. 26]. Как известно, Европа вначале была преимущественно сельской и лишь впоследствии урбанизировалась. В своём последнем исследовании Ж. Ле Гофф настойчиво проводит мысль о том, что «воины и крестьяне, а также знать, которая почти всюду, кроме Италии, жила в укрепленных замках в сельской местности, испытывали к изнеженным городским жителям смешанные чувства – отчасти зависть, но в основном враждебность; а горожане, в свою очередь, с презрением относились к грубым селянам, тем более что распространение христианства началось с городов, а деревни несколько дольше оставались языческими, поэтому во французском “языческий” (*раен*, от *лат.* *paganus*) и “крестьянский” (*раузан*) – это по сути одно и то же слово» [97, с. 26]. В соответствии с трёхфункциональной схемой («молящиеся», «воюющие», «работающие») роль производящего неноваторского труда, коим и рассматривалась деятельность аграриев, была очень невысокой.

Во французском языке, как и в латыни, противопоставление хороших манер горожан грубости крестьянских нравов особенно заметно. Два французских слова, означающих вежливость, учтивость – *urbanité*, *politesse*, происходят от *urbs* («город» на латыни) и *polis* («город» по-гречески), а их противоположность – *rusticité* (грубость, неотёсанность) восходит к слову *rus*, то есть «сельская местность». Это различие на языковом уровне сохранилось и поныне. Это было следствием того, что внутреннее пространство города – в территориальном, социальном и духовном смысле – было привилегированным по отношению к пространству внешнему, исповедующему иные традиции и ценности.

Отношения между всеми сословиями предельно обострились и усложнились. Крестьяне не могли преобразовать общественный строй; они – консервативный элемент социума, а мятежи были мимолетными порывами, производившими разрушение, но не создававшими нового порядка. Другое дело – сословие горожан. Да, они произошли от селян, и в их число непрерывно вливались люди крестьянского происхождения, но «когда говорят о горожанине, тем самым противопоставляют его селянину» (перевод наш. – А.П.) [108, с. 12]. А ведь изначально появление городской структуры было связано с наличием густонаселённой сельской местности, производящей прибавочный продукт, достаточный для обмена с городом и позволяющий последнему перейти к производственной и профессиональной специализации.

Горожане окрепли в осознанной и неустанной борьбе с дворянами и местными правителями; новая цивилизация развивалась в их среде. Если государи в конце средних веков давали пиры и вели войны, дворянство истощало свои последние силы на поддержку пустых сословных притязаний, духовенство находилось в нравственном упадке, жизнь горожан – единственная светлая сторона общественного быта тех времен. Слияние представи-

телей разных сословий, происходившее в свободных городах, создавало такие отношения между людьми, результатом которых было устранение узких условных понятий средневекового общества, и установленные им разграничения сословий исчезали. Были созданы психологические предпосылки для построения социума нового типа.

Более того, «город людей дифференцирует, делает более разнообразными – по специальности, по мироощущению, по знаниям, по приверженности к религии и философии, по социальному положению. Но главное, у горожан вместе с деньгами появляется свободное время» [298, с. 225], которое можно тратить не только на отдых и развлечения, но и на науку, культуру, технику, строительство инфраструктуры. Городские «патриции» «стали практиковать меценатство, а обычные горожане ударились в “народный капитализм” – даже самые малоимущие вносили свой вклад в торговые и финансовые компании через покупку акций и паев. Создавались сберегательные кассы для поддержки простолудинов, основывались благотворительные учреждения, богатые люди погашали муниципальные долги и настаивали на отмене налогов, обременяющих большинство жителей» [51, с. 305]. Через всё это стало возможным Возрождение и, собственно, взлёт цивилизации.

Городская культура в Европе развивалась по пути модернизации, которая включает в себя индустриализацию, растущий уровень грамотности и образованности, благосостояния и социальной заботы, прогресс в сфере научных и инженерных знаний, религиозную и этническую толерантность (лишь евреи составляли по объяснимым причинам редкое исключение). Именно в городской среде были созданы сложные многосторонние профессиональные структуры – гильдии, братства, цехи, корпорации. Город как современный облик цивилизации всё более отличался от традиционных культур. В условиях городской цивилизации, отмечает С. Хантингтон [43, с. 93], возросшее взаимодействие может не порождать общую культуру, но оно облегчает передачу технологий, изобретений и структур из одного общества в другое со скоростью и в степени, которые были невозможны в традиционном мире. Если последний основан на сельском хозяйстве, то город немыслим без промышленности, которая может эволюционировать от ремёсел до наукоёмких технологий и производств. Для традиционной культуры велика зависимость от естественной окружающей среды, для индустриальной модели местные природные условия – это не главный фактор.

С появлением городов современная культура Запада обретает всё более универсальный характер, Европа превращается в конгломерат, именуемый в настоящее время цивилизацией. Это можно объяснить тем, что «различия в организации промышленности вытекают, скорее, из различий в культуре и социальной структуре, а не в географии, причём различия в первой, вероятно, могут сгладиться, а в традиционной – нет» [43, с. 94]. Триада «город–модернизация–универсализация» выглядит вполне логичной конструкцией, и отделение её от аграрной культуры имело твёрдую правовую основу. На примере Швеции Раймон Леже [109, с. 181] показывает, что уже с середины XVI века были приняты национальные кодексы: но один – для деревень, а другой – для городов, которые будут применяться до 1734 года. Правосудие, основываясь на дуализме городских и деревенских судов, стало унифицированным лишь во второй половине XX века.

Западноевропейский город, по мнению Р. Пайпса [47, с. 236], способствовал образованию трёх институтов: 1) абсолютной частной собственности в виде капитала и городской недвижимости в то самое время, когда основное производственное имущество, земля находились в условном владении; 2) самоуправления и независимого судопроизводства; 3) общего гражданства в том смысле, что жители городов были свободными людьми, которые обладали гражданскими правами в силу места их проживания, а не в соответствии с их общественным положением. Подобные города с Магдебургским правом в Великом Княжестве Литовском появились с XIV века, о чём пишет Н.В. Мисаре-

вич [98, с. 26]. Это не было простым заимствованием зарубежных правовых образцов, считает Н.В. Сильченко [110, с. 4], так как право на самоуправление было традицией предков и произрастало из вечевого строя. Несколько столетий развитие на белорусских землях происходило так, как и в остальной Европе. В настоящее время Беларусь – единственная из европейских стран, где местное самоуправление носит номинальный характер, фактически оно отсутствует полностью. Такова судьба любого вотчинного государства, пусть и на современный лад.

Изучая город как историческую общность, уделим необходимое внимание той поразительной и заметной его черте, которую принято называть городским правом. Наряду с другими системами светского права – феодальным, манориальным и торговым – оно представляло собой некий новый феномен. Эта система права рассматривается Г.Дж. Берманом в категориях её коммунитарного характера (1), светского характера (2), конституционного характера (3), способности к росту (4), ценности как системы (5) [9, с. 367]. Указанные особенности учёный связывает со спецификой социальных и экономических отношений внутри города, которая обусловила его органический рост и способствовала великим историческим переменам. Рассмотренные Г.Дж. Берманом характеристики городского права представим со своими комментариями.

Коммунитарный характер имел первостепенное значение в системе городского права, которое функционировало во взаимосвязанном и интегрированном сообществе – коммуне, которая основывалась на выраженном или подразумеваемом договоре. Такую роль играли городские хартии. Это обуславливало партиципаторность, коллективность отношений, что проявлялось в правовых требованиях взаимной помощи граждан и защиты против врагов. Поскольку городское право, признавая определённое правовое равенство всех граждан, и богатых, и бедных, не допускало последних к выборам руководителей, оно до постфеодального периода имело сословный характер.

В отличие от городов Греции и Рима, городские общины Запада не несли ответственность за поддержание религиозного культа, богослужение и вера не входили в городскую юрисдикцию. Иными словами, право, относящееся к соблюдению норм и доктрин религии в пределах города, было не городским (или императорским) правом, а каноническим сводом католической церкви. Конечно, городское сообщество не было безразлично к вере, но задача его была *светская*, состоявшая преимущественно в обуздании насилия и регулировании политических и экономических отношений, отправлении правосудия. Значение имели мирские, преходящие ценности, которые горожане рассматривали как предписанные Богом.

Несмотря на то, что термин «конституционализм» вошёл в обиход на стыке XVIII–XIX веков, его реальность как таковая проявила себя в городских правовых системах Западной Европы много ранее. *Конституционный* характер городского права обусловлен тем, что полномочия и власть городов были подчинены ограничениям. Городское право в большинстве случаев основывалось на писаных хартиях; система организации управления подобно современным системам конституционного правления подразделялась на законодательную, исполнительную и судебную отрасли; гражданские права (рациональная судебная процедура, недопущение произвольных арестов и заключений, право на ношение оружия, уважение прав иностранцев) неуклонно соблюдались. Гражданские свободы обычно включали освобождение от многих феодальных повинностей и строгие ограничения королевских прерогатив. Горожане всегда оговаривали права и свободы, относящиеся к участию в управлении публичными делами. Например, жители Лондона добились права избирать себе мэра в 1231 году.

Процесс урбанизации ввиду усложнения общественных связей был невозможен без соответствующей юридизации. Проявляется это, по мнению Роберта Бартлетта и Жака Ле Гоффа [97, с. 103], в стремительном увеличении числа хартий – письменных

документов. Использование письменных документов как инструмента коммуникации и власти сыграло существенную роль в процессе введения единого порядка на территории Европы, создания сети взаимодействующих городов. Изготовление и введение в оборот хартий обрело важное значение. Эти тексты, имеющие юридическую силу и фиксирующие права на земли, строения, людей и доходы, составлялись и циркулировали по всему христианскому универсуму. Конечно, главными потребителями и авторами хартий были клирики, но подъём городов и появление нотариусов подключили к этому процессу и мирян. В городах и при королевских дворах возникают канцелярии, хартии выверяются и упорядочиваются в сборники – картулярии. Отныне письменные документы не окружены неким сакральным ореолом, начинается эпоха их активного практического использования, они выводятся из-под церковного влияния.

Для городского права характерна его *способность к росту*, то есть тенденция не только к изменению, но и к осознанному органичному развитию. «Процесс роста западного города невозможно объяснить без упоминания его исторического самосознания, ощущения им собственной исторической непрерывности и развития, осознания им собственной стабильности как сообщества, собственного движения из прошлого в будущее» [28, с. 286]. Эта тенденция находила отражение в проводившихся время от времени сборе и систематизации обычаев города вместе с присягами различных должностных лиц. Она отразилась также в регулярном издании и периодической систематизации постановлений органов городского управления и уставов гильдий в его пределах. Даже римское право, специально принятое некоторыми городами, было всего лишь составным источником осознанного роста городского права.

Способность и тенденция городского права к росту отчасти вдохновлялись *системным характером* римского и канонического права. В городском праве, как и в каноническом, и других правовых системах того времени, в случае коллизии между источниками права обычай уступал статуту, а тот – закону. Статуты гильдий подлежали одобрению городских властей, которые налагали на последних обязанность периодически пересматривать свои статуты. Процесс этого роста нельзя объяснить без обращения к «правовому измерению Папской революции, и особенно с убеждением, что реформирование и спасение светского порядка должны происходить путём постоянного прогрессивного развития правовых институтов и периодического пересмотра законов во имя победы над силами хаоса и несправедливости» [9, с. 374]. Самой поразительной и заметной чертой западного города можно назвать его историческое сознание и осознание своего развития, веру в своё движение из прошлого в будущее, его понимание собственного поступательного, развивающего характера.

У этой модели достижения проявились в четырёх основных сферах. *Во-первых*, на смену деревенской Европе приходит Европа городская. Именно в городах будет перемещаться население, в них возникнут новые государственные учреждения, центры экономического и интеллектуального развития. *Во-вторых*, развитие торговли вызовет к жизни проблемы, сопряжённые с распространением товарно-денежной системы в экономике и в социуме. *В-третьих*, всё большее число христиан вовлекается в сферу знания: создаются городские школы и университеты как центры высшего образования. *В-четвёртых*, это появление и распространение новой разновидности монашества, представители которой живут и действуют главным образом в городах: это монахи нищенствующих орденов, которые участвуют в создании нового общества и вносят серьёзные изменения в христианскую доктрину, которую это общество исповедует. *В-пятых*, эпоха равенства горожан породила новый тип правовых отношений, развитие самоуправления заложило основы конституционного правления.

Средневековые города оказали огромную услугу европейской цивилизации. Говоря словами П.А. Кропоткина [77, с. 225], они не дали ей превратиться в теократиче-

ские и деспотические государства древнего мира; они придали ей разнообразие, уверенность в себе, силу инициативы и ту огромную интеллектуальную и материальную энергию, которая наполнила глубокие нужды человеческой природы и создала максимально возможную полноту жизни. Как заметил Умберто Эко, если «крестовые походы будоражат провинциальную жизнь средневекового человека, [то] борьба коммуны сообщает ему новое гражданское сознание» [42, с. 302].

Самоуправление горожан повлекло за собой два серьёзных последствия, оставивших глубокий след в развитии европейских городов, – оба имеют правовое значение по обоснованию Ж. Ле Гоффа [97, с. 164]. *Во-первых*, это обычай прибегать к услугам юристов, законников, которые первоначальную теоретическую и практическую подготовку получали в городских школах, находившихся в гуще повседневных проблем горожан. Их юридическая культура ещё более возросла с появлением классических университетов. На этой основе состоялись рецепция римского права и адаптирование канонического права, и кроме того, будут письменно зафиксированы феодальные обычаи и вольности, существовавшие до того лишь в устной форме. *Во-вторых*, самоуправляющиеся города начинают оказывать яростное сопротивление налогам, которых требовали с них утверждавшиеся в те времена монархи. В свою очередь, устанавливаются поборы, собиравшиеся городами, – подати. Отсюда начинается история финансирования, как мы сказали бы сегодня, общественных нужд. Феодальные поборы касались крестьян, но не горожан.

Но почему с конца XVI века городские общины приходят в упадок? Основная причина – появление в Европе могущественных государств, построенных по древнеримскому образцу, отсюда начинается становление «государства, наций и национализма в Европейской истории» [265, с. 3]. Их цель – объединить и упорядочить страну, но, как отмечает Б. Кагарлицкий [59, с. 131], это было невозможно, не покончив с остатками средневековых вольностей. Поражение Новгородской республики, развивавшейся «лицом к морю», но «спиной к стране», – классический пример. После того как христианская церковь потерпела неудачу в попытке создать теократическую империю, наиболее умные и честолюбивые епископы пошли на службу государям. В конце концов, крестьяне, которых города не сумели или отказались освободить, возложили свои надежды на короля, Императора и великого князя. Не стоит забывать, что централизованная власть успешно противостояла нашествиям внешних врагов – арабов, монголов и турок.

Но всё же главный фактор – раздоры внутри самих городов, появление привилегированных сословий, что неизбежно приводило к нарушению принципов равенства и феодализировало обычаи и привычки самого города. Это можно проследить по Южной Италии, где «уже с конца XV столетия, а в остальных частях страны с XVI столетия радость от наживы и деловое трудолюбие уступают место спокойному, полусеньориальному, полурантье́рному образу жизни. [...] Во Флоренции очевидно презрение к работе и жажда дворянских титулов, [...] стремление богатых к рыцарскому достоинству. [...] Теперь видишь только шпоры, стремяна и золочёные пояса, когда каждый стремится стать доктором права или медицины, нотариусом, офицером или рыцарем, [но] пришла горькая нищета» [62, с. 159].

Эпоха равенства горожан, связанных между собой присягой, которую приносили равные равным, продлилась недолго, – так считает и Ж. Ле Гофф [97, с. 165]. Это многократно подтверждённая закономерность, согласно которой в каждом более или менее автономном городском обществе мгновенно возникало неравенство, более или менее значительное. Образовывалась городская элита, или слой нотаблей, именитых горожан. Помимо того, что члены этой элиты отличались от остальных размерами состояний, городская иерархия учитывала также «древность» именитого семейства, вследствие чего складывались генеалогии городских родов. Это очень напоминало историю с сеньориальными родами, против чего когда-то выступали основатели коммун. Как было сказано выше, ос-

нованием для отличия в городском обществе служила честь профессии, и уважение обеспечивалось независимо от средств, которые зарабатывались с её помощью. Так формируется своеобразный «патрициат» – могущественная городская верхушка.

Наконец, торговая политика вовлекала города в предприятия с другими регионами, ставка делалась на колониализм, но это бремя становится для города непосильным. Верхушка городов стремительно обогащалась, расслоение усиливалось, начинались бесконечные городские восстания против «тиранов», но призванные «спасители» (тот же Савонарола) оказывались ещё хуже. Горожане разувериваются в себе, они не способны к новой жизни, и государству остаётся сделать лишь один шаг, чтобы сокрушить их последние вольности.

Реанимация городов состоялась спустя несколько столетий, в эпоху научно-технического подъёма, немыслимого без масштабной урбанизации. Она, по мнению Наима Мойзеса [111, с. 110], из всех аспектов любой революции действует наиболее интенсивно и мобильно. Многие из факторов, способствовавших удерживанию централизованной власти, утрачивают прежнюю эффективность – когда образованных и сплочённых людей становится больше и они живут более полноценной жизнью, их труднее разбивать на группы и контролировать, навязывать им свою волю. Поэтому город и был мерилем исторического прогресса во всей Европе, движущей силой её развития, первым эскизом демократической конституционной модели.

1.3 Корпоративизм в европейской истории: сочетание интересов отдельной личности и ассоциаций людей

Корпоративизм рассматривается в качестве важнейшего элемента городского уклада Средневековья. Появление гильдий, корпораций, братств решало проблему баланса интересов государства, личности и общества. Корпоративизм как форма социальной организации имеет давние корни в европейской истории. Указываются основные признаки корпоративного устройства, проводится разграничение понятий «гильдия», «братство», «корпорация». Выясняются причины противопоставления корпораций архаичным формам экономической деятельности и элитарной традиции. Явление корпоративизма анализируется с позиций наших дней в практике тоталитарных и демократических государств. Западные демократии по способу принятия решений разделены на корпоративные и плюралистические, рассмотрены позитивные и негативные проявления таких устройств. Показано сходство корпоративизма и конституционной идеи в историческом и современном контексте.

Корпоративизм как форма социальной организации имеет глубокие корни в европейской истории. В наш век индивидуализма непросто представить, что ранее индивиды полностью были подчинены группам, к которым принадлежали. Участие в них не было добровольным, чаще всего они формировались по профессиональному признаку (могли быть и религиозные объединения), но наибольшее значение обрели те, существование которых было обусловлено экономическими причинами, – цехи и гильдии. Все эти объединения принимали активное участие в жизни города. Корпоративный уклад конституируется как «община» с собственными органами управления, избранным советом для принятия решений, автономным судом и городским правом. Сеньоры, епископы, знатные роды и богатейшие кланы вынуждены с этим считаться, открытая узурпация власти становится невозможной. Здесь зарождается жизнь нового типа.

В Европе складывается кризисная ситуация, которую описывает В.М. Розин [8, с. 180]. Если в Средние века государство, за редким исключением, как социальный институт ещё не сложилось, начиная с XVI в. оно не просто вступает в силу, но начинает определять основные социальные процессы (церковь отходит на второй план), в значительной мере подавляя личность и общество. Следующий этап, как реакция общества и личности на подавление государством свободы, – формирование демократических и правовых механизмов, позволяющих установить баланс интересов государства, личности и общества. Право начинает выполнять важную роль – согласовывать и разграничивать жизнь указанных субъектов (образований), и строится оно на основе рациональных соображений, удовлетворяя новым социальным и хозяйственным требованиям. Ответом на них стало появление невиданного субъекта – корпорации как юридического лица. А.Л. Рогачевский [112, с. 38] пишет о чрезвычайной плотности «социальной ткани» в Средние века (приход, община, гильдия, корпорация, братство, ложа) и невозможности существования вне группы; «неестественном» и подозрительном характере индивида, не включённого в сеть социальных связей.

За авторитетное возмём мнение М. Вебера из труда *«Протестантская этика и дух капитализма»* (писался в 1904–1905 гг.) [79]. Смысл его рассуждений сводится к тому, что расчёт, организация производства, инвестиции и обмен на протяжении долгого времени были невозможны, ибо отсутствовали *необходимые правовые условия*. Особое значение имело постепенное развитие той области права, которая регулирует деятельность юридических лиц. Различение в правовой системе корпорации и семьи сделало возможными учёт результатов экономической деятельности и новые формы её организации. Корпоративное право дало жизнь и бесприбыльным организациям, и предприятиям, созданным ради получения прибыли. Главным нам представляется тот факт, что оно породило практически бесконечное разнообразие форм свободного объединения людей. Корпорация – главное действующее лицо нового экономического порядка. Возможности корпорации намного превосходят возможности отдельной личности, ведь как «юридическое лицо» она существует по закону. Торговля и инвестирование требуют стабильности и мирного разрешения конфликтов, поэтому, хотя закон во всех странах и ограничивает права юридических лиц, корпорация напрямую заинтересована в совершенствовании законодательства. Следовательно, такой экономической уклад неизбежно породит новые политические и юридические порядки, в основе которых – традиция демократического капитализма.

Корпорации олицетворяли новую форму социальной организации, но правовую основу имели в римском праве. Типичным примером является *«Книга правосудия»* из Орлеана (ок. 1260 г.), где изложены правила образования корпораций, прописанные в *«Дигестах»* Ульпиана. Так, *«Книга правосудия»* в § 2 гласит: «Корпорация может быть создана только на основе чёткого соглашения, и ей принадлежит только то, что в нём оговорено. Корпорация может создаваться и иметь юридическую силу и в случае имущественного неравенства сторон. Тогда бедный вносит своим трудом и умственными способностями такую же долю, как богатый деньгами и земельными владениями» [76, с. 192]. Конечно, это не было юридическим лицом в современном понимании (тогда использовали термины: фиктивное, надуманное, воображаемое лицо), но исходное понятие об обществе (*universitas*) отличалось от имевшего тогда распространение обыкновенного товарищества (*societas*). В любом случае корпорация – отдельное лицо как единое целое.

Возникновение корпораций невозможно понять без их предшественников – гильдий и представительских ассамблей, что и привело к созреванию идеи меритократии (от лат. *meritus* – достойный и греч. *krotos* – власть; букв.: власть наиболее одарённых). Концепция демократии и прав свободного человека стала формироваться в привычном

нам пониманию лишь с признанием идеи заслуженности, но этот посыл на основе здравого смысла в эпоху Нового времени стал подменяться тенденцией элитарности внутри рациональных элит. Из всего этого, полагает Джордж Фридман [44, с. 91], история вывела две дороги: одна – к демократическим революциям, другая – к принципу меритократии – власти людей, обладающих выдающимся умом (увы, зачастую верх стали брать не более разумные и рациональные личности, а те, кто лучше остальных научился убеждать или даже навязывать свои идеи и концепции). В историческом контексте события развивались следующим образом.

После падения Западной Римской империи за образец можно взять те времена, когда свободные люди племён Северной Европы жили большими семьями. С самого начала развитие демократии несло в себе идею союза равноправных. Как полагает Дж. Ролстон Сол [65, с. 346], именно тогда самые ранние попытки достичь равенства привели к созданию гильдий в Скандинавии и Германии (германское слово *гильдия* эквивалентно латинской *корпорации*). На этих собраниях произносились клятвы и заверения, поэтому неудивительно их быстрое превращение в общества самообороны и взаимопомощи. К VIII веку они широко распространились по всей Англии, но много раньше на континенте общее собрание свободных воинов-германцев (тинг, гемот, фольксмот, альтинг) выступило прообразом западноевропейских сословно-представительских учреждений.

Считается, что образование первой известной гильдии относится к началу XI века. Члены Кембриджской гильдии клялись друг другу в братской преданности: «Если один из нас поступает неправильно, пусть все несут за это ответственность» [65, с. 346]. О такой круговой поруке говорится в подписанной ими Хартии. Но ещё ранее возникли представительские ассамблеи, формируемые из делегатов (донормандская Англия, Арагон, Кастилия). Свободные ассоциации представляли собой серьёзную силу ещё до появления королевских династий в Европе, а когда постепенно крепнущие монархии принялись прибирать к рукам всю власть, то и концепция свободного человека в составе свободного объединения стала подвергаться постоянным атакам со стороны королевской власти. Карл Великий предпринял попытки контролировать гильдии, но в той же Англии их базовые структуры не тронули. Даже в Великой Хартии вольностей 1215 года определялся статус не только короля и баронов, но и «всех свободных людей» [113, с. 133]. В документе подробно оговариваются эти права.

Массовое появление гильдий, полагает П.А. Кропоткин [77, с. 176], стало возможным после того, как разнообразились занятия, ремёсла и искусства, увеличивалась торговля с отдалёнными странами, т.е. потребовались новые формы единения. Подобные организации образовывались всюду, где только появлялась группа людей, занимавшихся общим делом. Две руководящие черты характерны для гильдий: равенство всех и обладание собственностью. По мере того, как задачи жизни всё более усложнялись, соответственно разрасталось разнообразие гильдий, были даже гильдии «рабов, нищих, палачей, проституток» [77, с. 181]. Все они были организованы на двойном принципе собственной юрисдикции и взаимной помощи, вводился человеческий, братский элемент, а не формальный, что составляет существенную особенность государственного вмешательства. Первые гильдии являлись не только военными, но и религиозными братствами. Несмотря на то, что «с возникновением городов в последние десятилетия XI столетия распространились купеческие, благотворительные, ремесленные и иные гильдии светского характера, они, однако, сохранили сильные религиозные черты, в целом беря на себя заботу о духовных, а не только материальных сторонах жизни своих членов» [9, с. 366]. Внутри коммуны гильдии были присяжными братствами, члены которых были связаны клятвами защищать друг друга и служить друг другу. Можно сказать, что и город организовывался как ассоциация маленьких общин и гильдий, а это было всегда не по нраву суверену.

Исторически западное общество было в высшей степени плюралистичным. Очень рано там возникли разнообразные автономные группы, не основанные на кровном родстве или узах брака. Как пишет С. Хантингтон [43, с. 97], начиная с VII–VIII веков эти группы сначала включали в себя монастыри, монашеские ордена и гильдии, затем они расширились и к ним во многих регионах Европы присоединилось множество союзов и сообществ. В конечном счёте свободные общины, сильная и автономная аристократия, независимая церковь сыграли свою роль в сдерживании тех пределов, в которых смог прочно укорениться среди европейских народов абсолютизм. Гильдии в данном случае мы бы отождествили с гражданским обществом, которое всегда выступало оппонентом централизованным бюрократическим государствам. В других незападных обществах всё было иначе.

Конфликты между свободными людьми и королями начались задолго до того, как гильдии стали объединениями ремесленников по профессиональному признаку. Профессиональные гильдии не отказались от принципов старых гильдий. Они также опирались на идею объединения свободных людей в добровольные союзы, но дополнили её системой обязательств. В языческой Северной Европе союзы гильдий с самого начала были связаны клятвами или контрактами, которые перекалифицировали индивидуальные обязательства в групповые. В то время как права свободного человека постепенно расширялись, росло и число обязательств. В этом и заключается «идея заслуженности». Свободный человек должен был оправдать своё место в ассоциации, заслужить его. Если кого-то избирали представителем, теоретически это был лучший из всех возможных, а не просто старейший или имевший самый высокий унаследованный статус. Ремесленник в своей гильдии занимал соответствующее место благодаря мастерству и профессиональным навыкам.

Когда началась христианизация Северной Европы, гильдии уже давно существовали (слово *Gilde* немецкого происхождения дословно означает объединение, союз [3, с. 163]). Христианство хорошо сочеталось с идеей свободного человека в добровольном союзе, ведь главной идеей церкви было равенство всех людей перед Богом. В данном случае это «германское» понимание корпорации, которое отражает представление о ней как товариществе, имеющем групповую личность и групповую волю. В таком случае как сообщество христиан рассматривалась церковь. Но параллельно существовало и «римское» понимание корпорации [9, с. 213], которое основывалось на «учреждении», создаваемом вышестоящей политической властью. Например, церковь (мыслимая как структура) представляла корпоративную организацию – «консолидированного субъекта» [85, с. 204]. Средневековое понимание сочетало в себе оба понятия, но конфликты между такими сущностями были неизбежны.

Конечно, церковь, так же, как и монархии, развивалась, усложнялись и её пирамидальные структуры, призванные контролировать население. Но отправной христианский тезис не менялся, а в эпоху Реформации он был прочтён заново, с акцентом на равенство всех людей перед Богом вследствие своих моральных и общественных обязательств. Такое обновлённое прочтение стало играть главную роль в утверждении принципов демократических свобод.

Демократия возникла в разных частях западного мира «как продукт развития здравого смысла, что к развитию интеллекта вряд ли вообще имело отношение» [65, с. 348]. Эта оригинальная мысль подтверждает старый тезис о том, что демократия была и остаётся органическим продуктом развития общества, связанного с человеческим чувством нравственности. Ни то, ни другое не имеет структуры и не является продуктом развития разума. Поясним на примере. Когда в XVIII веке многие французские философы (Монтескьё и Вольтер в том числе) обратили внимание на Англию и обнаружили там «справедливое общество», они толковали это как достижение упорядоченной государственности. Но то, что они приняли за упорядоченную государственность, на

самом деле было совершенным проявлением высокоразвитого племенного вождизма, которому по причине островного положения Англии не могли мешать внешние силы.

Только с течением времени становится видно, что врождённое чувство нравственности и естественная меритократия каким-то образом противоречат действенным рациональным структурам. Идея о свободном человеке или идея гильдий была лишь примитивной версией участия гражданина во власти через гражданское общество. Концепция разумного состояла в том, что такое участие реализуется членством в элите. Но это к свободному объединению имело отдалённое отношение.

В городе корпорации, братства и гильдии, обеспечивающие экономическую, физическую и духовную защиту своих членов, не были теми эгалитарными институтами, какие следует идеализировать. Об этом хорошо сказано у Ж. Ле Гоффа [38, с. 353]. Он пишет о том, что, контролируя труд, корпорации более или менее эффективно боролись с обманом, браком и подделками, регламентируя производство и сбыт, но устраняли конкуренцию, будучи по сути протекционистскими картелями. Однако под видом «справедливой цены», которая была не чем иным, как рыночной ценой, корпорации позволяли функционировать естественному механизму спроса и предложения. Протекционистская в локальном плане, корпоративная система была свободной в более широком контексте, в который вписывался город. Из этой свободы проистекало социальное неравенство, которое корпоративная система лишь усиливала.

Но и на локальном уровне протекционизм действовал в интересах меньшинства. Корпорации имели иерархическую структуру: если ученик рассматривался как потенциальный мастер, то работник, подмастерье, оставался низшим без всякой надежды на продвижение. Но все эти гильдии, братства, коммун, корпорации, общины как «горизонтальные» сообщества противопоставляли себя феодальной вертикальной иерархии, выступали как новая реальность, вызов безнадежно устаревшему социально-политическому строю. Демократизм гильдий подчеркивает и тот факт, что в них обычно входили и женщины, в соответствии со своими занятиями. Парижский прево Этьен Буало [38, с. 484] в конце правления Людовика Святого регламентировал (впервые в Европе) парижские корпорации *«Книгой ремёсел»*, составленной в 1260–1270 гг. и содержащей статуты парижских корпораций для лучшего наблюдения за их применением.

Средневековая Европа знала и некорпоративные, внецеховые структуры, где элементы свободы и самоуправления были предельно развиты. В этой связи И.И. Маханьков [96, с. 551] пишет о сообществах «вольных каменщиков», создававшихся для работы над сооружениями крупного средневекового собора. Члены ложи подчинялись определённому уставу, который всякий раз бывал уставом сразу нескольких лож, поскольку головной ложе подчинялись младшие. Такими головными ложами в Германии были Страсбургская (превосходившая рангом все прочие), Кёльнская, Венская, Бернская (позже Цюрихская). Внутри лож передавались технический опыт, приёмы, строительные и архитектурные знания, хранившиеся, как секреты ложи, в строгой тайне. Занимались здесь также и созданием скульптуры. Как правило, строительная ложа продолжала существовать и после завершения строительства данного собора. Первые ложи возникли в XIII веке, расцвет их относится к XIV столетию, а в XV-м обострилась конкуренция с ними со стороны цехов. В XVI в. строительство больших соборов идёт на спад и часть уставов лож перешла в цеховые уставы. Уцелели лишь небольшие фрагменты книг строительных лож, отдельные из них просуществовали вплоть до XIX века.

Принадлежность человека к конкретной профессиональной структуре не всегда можно было определить. Одно дело – ремесленники, другое – люди искусства, свободных занятий. Например, Умберто Эко пишет, что «если миниатюрист обычно монах, а каменщик – связанный со своим цехом ремесленник, то ... поэт – это почти всегда придворный художник, связанный с аристократией и весьма уважаемый своим госпо-

дином» [42, с. 241]. Для людей творческих профессий радость быстрого успеха и личной известности очень важна, поэтому они пребывали вне корпораций, братств и гильдий, где оцениваются коллективные усилия и результаты труда носят анонимный характер. Как истовые христиане люди Средневековья считали, что оригинальность – грех гордыни, «религиозные, социальные и психологические обстоятельства способствовали выработке смирения и ... тяге к анонимности» [42, с. 239].

Любое творчество всегда связано с осознанием проблемы собственного достоинства. Как только архитектор или скульптор притязает на личную славу, он желает оставлять на своей продукции именные клейма, подписи, аббревиатуры. Иными словами, незаурядный творец (пусть даже и ремесленник) обретает новый статус, он уже не принадлежит Средневековью, зарождаются иные тенденции, на горизонте – Новое время. Однако его наступление означает упадок корпоративизма, не допускающего и мысли о личном достоинстве индивида. Таким образом, естественное различие между ремесленными и свободными искусствами, возвышение последних (даже если они и не сообщали научных и религиозных истин) означает выход за рамки системы, начинает отчётливо осознаваться наличие новых ценностей. До откровения Декарта оставалось совсем немного.

Важную роль в жизни корпоративного города играли юристы (нотариусы), которые «не только занимались обслуживанием отдельных компаний внутри гильдии, оформляя титулы и контракты и выступая (в качестве адвокатов) представителями в судебных процессах и других формах разбирательства споров, но и непосредственно помогали в управлении гильдиями и городом» [9, с. 367]. Г.Дж. Берман пишет о том, что юристы часто сопровождали муниципальных должностных лиц (купеческих консулов, подест, мэров), когда те отправлялись разбирать споры. Они составляли официальные документы, проекты местных статутов, организовывали выборы, писали письма в соседние города или сеньорам, толковали городские хартии. Иными словами, с самого раннего этапа развития городов как автономных политических образований юристы играли важную роль в решении каждодневных проблем. Юристы относились к корпорации лиц свободных профессий, как врачи и судьи.

Корпоративный уклад, стоящий на защите частных или профессиональных требований, противопоставляет себя не только архаичным формам экономической деятельности, но и, что представляется более важным, – этактистской традиции. Не случайно все правительства так ненавидят корпоративные организации. Корпоративизм, подорвавший средневековую феодальную экономику, оказался неугоден и в эпоху Нового времени. Анализируя исторический процесс во Франции, Ги Сорман так отследил цепочку событий: «В 1776 году корпоративные организации были ликвидированы Тюрго во имя свободы личности и экономической эффективности. Реакция оказалась настолько сильной, что Людовик XVI был вынужден их восстанавливать. В свою очередь Великая французская революция запретила их ещё раз 4 августа 1789 года. Но они возродились в XIX веке в виде профессиональных товариществ. Наконец, Петен вновь дал им жизнь с целью свести на нет классовую борьбу и уничтожить саму память о французской революции. Этот исторический факт нанёс корпоративизму удар, от которого он не может оправиться и поныне. В глазах общественности корпоративизм до сих пор ассоциируется с фашизмом» [114, с. 29].

Италия и Германия, принято считать, характерные примеры, но последняя – в гораздо меньшей степени. Дело в том, что немецкий нацизм включал в основу своей цельной политической программы расовую и арийскую теории, философию державности и «ницшеанский» культ сверхчеловека, к тому же он имел чёткую антихристианскую и неоязыческую окраску. Немецкий нацизм был уникален, элементы корпоративизма в нём угадываются с трудом. В практике тоталитаризма «сфера профессиональной и хозяйственной деятельности почти целиком подчиняется государству и тем са-

мым делается частью самого государства» [108, с. 134]. Однако и фашизм, и нацизм в зародыше умело душили демократию.

Не подлежит сомнению, что современное «прочтение» демократии говорит о том, что главным содержанием слова «народ» в конституции являются граждане, организованные в разнообразные группировки. Конституция, которая защищает и способствует созданию различных общественных ассоциаций и общей децентрализации государства, становится главным препятствием на пути объединения и сплочения народа под руководством очередного политического вождя. Помимо того, что существуют юридически закреплённые препятствия, люди, которые имеют тесные контакты с определёнными социальными группами, никогда не будут всецело благосклонными в отношении кого бы то ни было. Поэтому оторвать индивидов от необходимых им институтов и «растворить» их личные корпоративные интересы – такова задача любых узурпаторов. Здесь и появляется извращённое понимание корпоративизма.

В 20-е гг. XX в., накануне установления многочисленных диктаторских режимов, во многих западных государствах демократические функции были сведены до некоего процесса, что привело к нарастанию разочарования, если не негодования, и среди избираемых, и среди избирателей. «Это разочарование, – пишет Дж. Ролстон Сол, – всё чаще эксплуатируют группы организованных интересов – то, что во времена Муссолини называлось корпоративными интересами. Суть корпоративности в том, что каждая группа имеет собственную цель, организацию и финансовые ресурсы. Такие групповые интересы отрицают демократию, которая зависит от того, какой вклад в неё вносит каждый отдельный гражданин» [65, с. 336]. Этому есть объяснения, на которые указывает Юрг Штайнер [115, с. 123], изучая историю корпоративного движения.

Волею исторического процесса понятие демократии, основанной на индивидуализме и соперничестве, привело Европу в XIX веке к многочисленным волнениям, столкновениям и кровавым революциям. В результате она была откинута назад, что сопровождалось ностальгией по старым порядкам, в основе которых – гармония и сотрудничество. Демократия, соответственно, представлялась явлением, разделяющим людей и противоречащим законам природы. В 1922 г. Муссолини, вооружённый такими взглядами (Умберто Эко [116, с. 58] доказал, что у итальянского фашизма не имелось собственной философии), сбросил хилую итальянскую демократию и установил фашизм, основанный на корпоративной форме управления. Теоретическая база, безусловно, имела место: «Претендуя на историческое обоснование своих взглядов, идеологи итальянского фашизма ссылались на теорию сильной власти Н. Макиавелли, концепцию общества-государства Т. Гоббса, сакрализацию государственной идеи у Г. Гегеля» [117, с. 453]. Но здесь больше мифологии, чем политической теории, чего Б. Муссолини никогда и не скрывал, а когда дуче «попытался навязать милитаристскую идеологию Италии, как оказалось, его фашистская партия была построена на песке» [44, с. 241].

Идея была такова: воля народа должна редуцироваться не политическими партиями, а естественными экономическими силами общества (фермерами, бизнесменами, рабочими), и с этой целью должна быть созвана общенациональная ассамблея. Поскольку к экономическому сектору так или иначе принадлежит каждый человек, то представленными будут интересы каждого человека. Эти интересы не антагонистичны, они служат на благо всей страны. Необходимо только, чтобы дуче – сам Муссолини – дал чёткие ориентиры, по которым должно жить общество. Здесь и начал использоваться древнеримский термин *Fasces*, означавший единство и силу. Фашистское корпоративное государство отрицало партийные принципы управления, что отличало его от иных политических режимов.

Предполагалось, что «разнообразные корпорации исполняют столь же взаимно необходимые функции в обществе, как органы единого живого организма. Теоретики

фашизма верили, что путём выделения таких естественных структур и осознания их членами взаимной пользы удаётся преодолеть классовые антагонизмы и социальную несправедливость» [117, с. 340]. Своеобразие феномена итальянского устройства состоит и в том, что возможными становились корпорации различных отраслей хозяйства вне зависимости от конкретных профессий работников, они включали в себя как руководящий персонал, так и рядовых тружеников – т.е. всех людей, которые были задействованы в их структурах. Но отказ от признания партийного устройства не подтвердился на практике, поскольку корпорации создавали не сами трудящиеся, а правящие партии, что лишало их элементов самоуправления. В этом их отличие от городских корпораций Средневековья.

Фашистская Италия разрешала частную собственность, точнее сказать, мирилась с её существованием. Однако это была собственность в особом и ограниченном смысле слова. Она напоминает условное владение, оставлявшее государству возможность вмешиваться в дела собственника. Этот государственный социализм, как и в гитлеровской Германии, имел в виду, что частные предприятия будут работать на государство. Так оно и произошло, что доказывает пример с экономическими корпорациями. Последние, как пишет Р. Пайпс, «показали себя податливыми, готовыми подчиняться любому контролю и регулированию, если сохраняются их прибыли» [47, с. 282]. Но по мере милитаризации Италии и раздувания угрозы внешнего врага провластные идеологи закономерно пришли к выводу, что все частные интересы должны быть подчинены государственным потребностям.

Уже в 1920-е годы Муссолини вмешивается в дела корпораций, «поправляет» уровень прибылей и принуждает частные фирмы признавать профсоюзы своими равными партнёрами, а «итальянское профсоюзное движение полностью регламентируется и подчиняется государству, оно утратило всякую самостоятельность» [108, с. 569]. В реальности «корпоративная система, введённая законом в 1926 году и “хартией труда” 1927 года, не соответствовала представлениям фашистских синдикалистов о “гармоническом” равноправном сотрудничестве работодателей и работников» [117, с. 337]. Все организации при тоталитаризме создавались с заранее определённой целью по спущенному сверху директивному плану, о чём блистательно изложено в работе Ф.А. фон Хайека «Дорога к рабству» [118]. В ряде случаев были заменены правления частных корпораций, т.е. государство регулировало деятельность корпораций так же, как и рабочих. В условиях непризнания частной собственности право не работает, государственный закон – всего лишь орудие власти. Упразднение этого дуализма фактов и норм является проявлением гегелевской *философии тождества* – тождества идеального и реального, права и силы, что отмечено К. Поппером [86, с. 472]. Можно сказать, что муссолиниевский идеал корпоративного устройства общества таковым оставался лишь в риторике дуче, на деле же осуществлялся проект тоталитарного государства с плановой экономикой и неуклонным подавлением частной инициативы, в том числе и со стороны корпораций.

Концепция корпоративизма после Второй мировой войны пришла в упадок, поскольку отождествлялась с фашизмом и антигуманизмом, монополизмом и расправами со всеми недовольными. Корпоративный тоталитаризм – прямая противоположность демократии, с его помощью общество раздробляется, и поэтому над ним легче установить контроль, не считаясь с какими бы то ни было желаниями индивидов или социальных групп. Не случайно важнейшим проявлением такого извращённого корпоративизма «выступал отказ от атомизации индивидов, образующих нацию в условиях либеральной демократии» [117, с. 341]. Для фашистского устройства индивид мыслим лишь в рамках государства, которое никогда не было сообществом независимых и свободных граждан. Это претит европейской традиции, ведь индивидуализм – отличительная черта Запада.

В дезориентированной Веймарской республике корпоративизм, патернализм и привлекательная идея социального государства способствовали укреплению концепции государства «как надзирателя, наблюдающего с твёрдой, но добронамеренной заботой, за жизнью своих граждан» [119, с. 145]. Это была философия Платона, а результат был корпоративный. В конечном итоге всё закончилось тоталитарным нацизмом с картельным монополизмом и разрушением частных корпораций. Но превратности истории не должны затемнять главное.

Корпоративизм средневековья и развитого капитализма – разные явления. И дело здесь не только в социально-экономических изменениях, полагает Михаил Хазин [58, с. 30]. На протяжении многих столетий средневековья в Европе было корпоративное цеховое производство, которое очень жёстко ограничивало производство товаров – как по номенклатуре, так и по качеству. В таких условиях перепроизводство просто невозможно. И только с XVI века, когда на севере Европы началась катастрофа, связанная с климатическими изменениями (массовые голодные смерти, эпидемии, социальные бунты), цеховая система была трансформирована в капиталистическую. Тогда наступил так называемый Малый ледниковый период, резко упала урожайность, и стало понятно, что нужно резко увеличивать выпуск товаров, чтобы выжить. В первую очередь это касалось северных стран, где урожаи упали сильнее всего. Излишки товаров можно было менять на продовольствие в южных регионах. Отсюда – промышленный рост Севера и отсталость Юга. Но для того чтобы резко увеличить производительность труда, стали активно использовать ссудный процент, который ранее применялся только для торговых операций. До XVI века ссудный процент не был основой жизни, а после XVI века – стал. В результате Реформации произошла ценностная революция, которая коренным образом изменила взгляды людей на жизнь и весь облик цивилизации. Корпорации обрели новое экономическое дыхание, они вынуждены были играть по законам рынка и конкуренции. Очевидно, что зарождающийся в недрах феодального строя корпоративизм поспособствовал зарождению элементов демократии, однако и сам претерпел серьёзные изменения.

Дело в том, что, согласно этатистской теории между государством и его подданными, не должно существовать никаких промежуточных структур, и такая «социальная распыленность» ему очень выгодна. Режим ручного управления при полном отсутствии, как бы мы сейчас сказали, элементов гражданского общества. Но усложняющаяся экономика требует своей стратификации и порождает различные гильдии, товарищества, корпорации, союзы и братства. Финансово-экономическая состоятельность вызывает к новым социальным взаимодействиям и их юридическому упорядочиванию. С этими субъектами власть имущие вынуждены считаться, вскоре они становятся промежуточными структурами между государством и индивидом. Такова история зарождения лоббизма, который не является ни тайным, ни позорным. Этот институт призван способствовать соблюдению непосредственных интересов граждан и служить противовесом политической власти, выступает немаловажным фактором, обеспечивающим жизнеспособность демократии. Не случайно развитие корпоративизма, лоббизма достигло апогея в республиках Северной Италии, Нидерландах, Англии, Ганзейском союзе. Рост корпоративизма, помимо обеспечения динамики экономического роста, способствовал поиску новых способов пробуждения молчаливого большинства, обострению интеллектуальной активности либеральных институтов и индивидуализации общества. Постепенно процесс охватил весь западный мир, но он имел начало и конец.

Гильдии и корпорации неразрывно связаны с городской жизнью не только в связи с необходимостью развивать промышленность и торговлю, но и в политико-правовом смысле. В отличие от восточных городов в Европе очень рано формируются особое имущественное и процессуальное право, автономно установленные горожанами суды и органы

управления. Для европейского города в политическом смысле характерно наличие обособленного *сословия* горожан в качестве обладателей этих привилегий. Горожане, жившие особой «общиной», подчёркнуто дистанцировали себя от крестьян, хотя сами в своё время вышли из сельских поселений. Но теперь между ними – пропасть. Как пишет О. Шпенглер, «село ведёт безнадежную оборону против единоличного господства города: в плане духовном – против рационализма, политическом – против демократии, экономическом – против денег. [...] Ясно также, что дело здесь не в числе обитателей, но и в духе» [96, с. 100]. На всё, что выдумывается в городах в смысле государственных форм и экономических отношений, знаний и искусства, недоверчиво взирает сельский житель, продолжающий свой род из поколения в поколение, ограниченный примитивными профессиями и потребностями. Общинное управление у крестьян носило простой и естественный характер, чего не скажешь о городах с их гильдиями, корпорациями, цехами.

Корпорации играли важную роль в управлении средневекового города, они осуществляли общественные дела вместе с городскими официальными лицами. Принятию решений были свойственны поиски взаимных договорённостей, ведь идеологическим фундаментом была гармоничная модель общества. Каждая корпорация рассматривалась как часть живого организма, и все части должны были сотрудничать, чтобы сохранить весь организм здоровым. Поэтому главная функция индивида с точки зрения такого органичного подхода заключалась в его вкладе в общее благо. Но городские жители, отмечает М. Вебер [102, с. 14], были эвентуально членами местных профессиональных союзов, гильдий и цехов, и в этом качестве входили в округа управления: районы, кварталы, улицы. Часть города или улицы могла нести коллективную ответственность за гарантированную безопасность жителей или за выполнение других полицейских мер, и уже на этом основании представители разных гильдий могли объединяться в территориальные общины с выборными должностными лицами. Таким образом, все эти слои вынуждены были думать о чём-то более важном, чем просто об узкопрофессиональных интересах своих корпораций: выстраивании отношений со знатью, священниками и крупными купцами, заботиться об отведении внешней угрозы.

Форма управления гильдией, как отмечено Г. Дж. Берманом [9, с. 367], была в целом построена по образцу управления городом. Во главе гильдии стояли обычно два или больше представителя; они часто назывались консулами и избирались ежегодно, а иногда каждые полгода и, как правило, без участия городских должностных лиц. Обычно имелось общее собрание гильдии с совещательными полномочиями, а также малый совет для поддержки консулов и других главных исполнительных должностных лиц. Руководящие лица гильдии образовывали третейский суд, в который членам гильдии полагалось обратиться, прежде чем переносить свой спор в суд города. Большую роль играл суд «купеческих консулов», который постепенно распространил свою юрисдикцию на все торговые дела в пределах города. Таким образом, корпоративное и городское право частично пересекались, взаимодополняя друг друга.

Закат средневековых корпораций начинается тогда, когда философы Века Разума и Просвещения начали ставить личность в центр событий. Они объявили, что индивиды имеют естественные права независимо от групп, к которым они принадлежат, – несвойственная Средневековью идея. Декартовское «Я мыслю, следовательно, существую» отразило важнейший элемент человеческой природы. Способность мыслить даёт личности свободу и неотъемлемые права – среди них и право свободного участия в ассоциациях. Индивид должен иметь возможность свободно выбирать группы, к которым он хотел бы принадлежать.

Это послужило основой создания политических партий, в которые объединялись люди близких идеологических ориентаций. Начало такой современной демократии было положено в США и во Франции. Политические партии вели соперничество за своих

членов и голоса избирателей, но такое соперничество разрушило старую гармоничную модель. Составными частичками социума становятся не органичные группы, а индивиды, способные сами сделать свой выбор. Корпоративизм как мавр, сделавший своё дело, вынужден уходить.

Философия корпоративизма способствовала устройству западного общества Нового типа. Как известно, перед любым государством стоит неразрешимая задача: сохранить стабильность и порядок и одновременно, строя планы на будущее, динамично развиваться. Политико-бюрократическая каста с армией, полицией, чиновниками отвечает за первую часть проблемы. А силой, взявшейся за строительство планов на будущее, решение вопросов развития и эффективного руководства, должен стать кто-то другой. Иначе и быть не может, ибо «всякий чиновник обязан придерживаться закона. Он сидит на своём месте не для проявления инициативы, а для поддержания порядка: в уличном движении, в мобилизации земельной собственности, в пересылке срочных телеграмм и бракоразводном судопроизводстве. Никакой инициативы от него не требуется. Всякий генерал является составной частью соответствующей военной традиции, и никакая армия в мире не может позволить любому подпоручику менять полковые традиции или устав полевой службы» [36, с. 5]. Статика и динамика – явления разного порядка, но у государства они имманентно присутствуют как две стороны одной медали.

Поэтому возникает осязаемая потребность, чтобы в социуме для налаживания необходимых государству процессов существовали параллельные структуры. Как порождение корпоративизма на Западе в этой роли выступило масонство – сетевая структура, обладающая технологиями воздействия на ход событий. Но начиналось всё как экономический проект – товарищество вольных каменщиков (!). Корпоративное масонство составило важнейшее звено в матрице индустриального капитализма и строило его, используя для этого войны и революции. В феномене корпоративизма есть и обратная, «нехорошая» сторона – двойная мораль. Формально стерев перегородки между феодальными сословиями, Западный мир никогда не отказывался поделить людей на сорта и касты. В разговорах об общечеловеческом единении, политкорректности и правах человека зародилось мощное сетевое сообщество: «Малый Народ как социальный феномен», – пишет О. Кошен [120, с. 253]. С появлением народного представительства уже само государство становится легкоуправляемым, подчиняясь находящемуся в тени обществу реальных вершителей человеческой истории. Отсюда понятно, что феодально-католический мир – главное препятствие для зарождающихся структур. Он рухнул стремительно – как безнадежно устаревший и не предложивший никаких перспективных альтернатив ни в материальной, ни в духовной сфере.

Средневековье отошло в историю, но дух корпоративизма оказался живуч. В XX веке он проявил себя не только в тоталитарном устройстве муссолиниевской Италии, но и много позже, когда европейская цивилизация окунулась в волну коллективизма конца 60-х и середины 70-х годов. В основе его угадывается фундаментальное заблуждение марксизма о том, что людей следует рассматривать не как индивидов, а как представителей классов, организаций, групп. На международной арене развитие глобализирующейся экономики привело к появлению ругательного термина: «транснациональная корпорация». Она подверглась оплевыванию даже на Генеральной Ассамблее ООН в апреле-мае 1974 г., хотя было понятно, что это ещё один повод для нападок на Америку. Причиной тому американизм как концепция, в основе которой принцип индивидуализма как антитезис коллективизма, свободной воли, противопоставленной детерминизму. Но если в глобальном мире «транснациональные корпорации» олицетворяли собой эффективную экономическую модель с элементами политического влияния, то природу корпоративизма, коллективизма и детерминизма на уровне социальных структур объяснить довольно сложно.

Как полагает Пол Джонсон [121, с. 306], истоки её обусловлены господствовавшими тогда европейскими интеллектуальными течениями. Все авторитеты, завладевшие умами Запада (Серван-Шрейбер, Леви-Стросс, Лакан, Барт, Хомски), находились под различной степенью влияния марксистского детерминизма, отрицавшего какое бы то ни было значение личности или свободной воли, морального сознания при формировании мира. В отличие от своих ортодоксальных предшественников, они не рассматривали экономические силы, действовавшие посредством классов, как единственные двигатели человеческой истории. Выдвигались альтернативные или дополнительные объяснения, но все они сводились к мысли о том, что человек – пленник структур, т.е. события определяются не человеческой волей, а скрытыми структурами общества.

Появление этой формы интеллектуального утопизма совпало, случайно либо нет, с ростом экстремизма, извращением правосудия, чрезмерным влиянием коррумпированных профсоюзов и неприкрытой «грязной» политикой, что неминуемо приводило к общественной конфронтации в стабильных до этого странах. Расцвет структурализма деморализовал США – колыбель совершенно других ценностей. Для лучшего понимания рассмотрим проблему в юридическом ракурсе. Структурализм и мнимый эгалитаризм оказались опасными для правовой системы. Например, в 70-е годы XX в. американские судьи, расширяя идею о гражданских правах, вооружились принципом «положительного действия» [121, с. 270], осуществляя дискриминацию в пользу «обеспеченных групп». Всё началось с введения «расовых квот», но это было лишь начало: права женщин, гомосексуалистов, инвалидов и многих других общностей толковались судами как обязательные для наделённых властью институций, таких как бизнес или правительство. Корпоративный дух этих социальных групп закалился в судебных баталиях, они заимели своё лобби во влиятельных инстанциях, отвратительным образом взывая к ложным «гуманистическим» ценностям.

О симптомах негативной концептуальной трансформации роли и значения права пишет Клэйс Г. Рин: «То особенное достоинство, которое когда-то было свойственно праву и создало из него непредвзятого судью по защите общего блага, теперь утрачено. Закон всё более воспринимается как средство достижения экономическими, этически-ми и идеологическими группировками своих открыто своекорыстных целей.

В то самое время, как суды и юристы начинают обслуживать всё новые и новые сферы общественной жизни, правовую систему разрушает непредсказуемость и произвольность, множество примеров чему можно обнаружить в решениях Верховного Суда, которые открыто противоречат духу Конституции. Упадок законности является чуть ли не главной причиной более или менее ясного понимания гражданами того, что ими просто манипулируют» [122, с. 238]. И сегодня, надо признать, всё более очевидным становится отклонение американского конституционализма от надежд и ожиданий отцов-основателей. Как показали последние события, связанные с президентскими выборами 2016 г. и избранием на должность Главы государства Дональда Трампа, с «самой давней конституционной демократией в новейшей истории мира» [123, с. 15] не всё ладно, и неполадки в системе проявились ещё в 70-е гг. XX в. со всей очевидностью.

С этого момента правовые принципы и юридическая практика, вытекавшая из них, стали изменяться отнюдь не в сторону конституционных ценностей. Структурализм и обманчивая аура коллективизма в конечном итоге обеспечили серьёзный нажим на демократию и верховенство закона, девальвировали значение самостоятельного разума и интеллектуальной свободы. Извращённый дух «корпоративизма» и социальной сплочённости новообразованных структур сыграл плохую роль, он усилился в наши дни. Это не имеет ничего общего с тем периодом человеческой истории, когда общины, приходы, гильдии, корпорации, братства и ложи противопоставляли себя реакционным

элитам в лице феодалов, королевских чиновников и клерикалов, здраво требуя новых политических, экономических и юридических порядков.

Рассмотренные примеры охарактеризованы с неприглядной стороны, поскольку такой «корпоративизм» подавляет человеческую свободу, чувство индивидуальности и личной ответственности гражданина. Подчёркнутая общественная активность, зачастую перерастающая в агрессивность, не способствует гражданскому компромиссу. Выбивание себе дополнительных квот и привилегий за счёт других социальных групп вызывает обратную негативную реакцию, а демонстративное избавление от различного рода комплексов становится источником индивидуальных и массовых неврозов, ведущих к вражде и нетерпимости. Но есть примеры обратного толка, где корпоративизму есть разумное объяснение.

После того как в 70-е годы XX века в обиход социальных наук снова вошёл термин *корпоративизм*, его использовали очень осторожно, чтобы отграничиться от корпоративных идей Муссолини. Это было обусловлено необходимостью объяснить устойчивые корпоративные традиции в некоторых европейских демократиях: Австрии, Норвегии, Швеции, Голландии, Дании. Причём речь идёт о проявлении корпоративизма в тех сферах, откуда он и начинался в эпоху Средневековья: экономике и управлении, социальном партнёрстве. Корпоративные модели о «гармоничном устройстве» прижились не только в Европе. Британский автор Джон Кампфнер, изучая феномен процветания Сингапура, обнаружил там черты успешной реализации корпоративной идеи: «Потребности индивида подчинены интересам коллектива, но тем не менее индивид свободен в большинстве аспектов жизни, а любой талантливый в чём-либо человек вписывается в систему» [124, с. 46]. Однако, доказывается далее [124, с. 48], демократии такого толка превращаются из представительства в опекунов, от прав личности поворачиваясь в сторону коллективного благоденствия. Но эта азиатская модель авторитарного благополучия (добровольный отказ социума от свободы взамен на социально-экономический прогресс) не характерна для Запада, что убедительно доказал печальный опыт Италии и Германии времён фашизма и нацизма.

По своей сути корпоративизм в современной европейской демократии выражается во взаимодействии между организациями бизнеса, рабочих и правительства. Эти трёхсторонние соглашения направлены на то, чтобы экономически заинтересованные группы не просто консультировались, но и принимали активное участие в разработке решений. Цель – принятие оптимального решения с пользой для большинства членов общества. Однако из-за такой практики неизбежно падает роль политических партий и парламента, поэтому партийные лидеры должны думать о своём признании в рабочих и коммерческих организациях, что способствует сближению партии с реальной жизнью. Нередки ситуации, когда в парламенте обсуждаются предложения, которые уже одобрены корпоративным путём. В последнее время к классическому трёхстороннему корпоративизму «подключаются» и другие заинтересованные субъекты: фермеры, банкиры, потребители, медики, работники общественной сферы.

В качестве примера можно привести Австрию [115, с. 123], где в соответствии с федеральным законом созданы палаты бизнеса, труда и сельского хозяйства. Участие в этих палатах является обязательным, их представители регулярно встречаются с федеральным канцлером, чтобы прийти к согласию по важнейшим экономическим вопросам. Замечено, что корпоративизм наиболее развит в небольших странах, которые сильно зависят от импорта и экспорта. Например, во внешнеторговом балансе Нидерландов импорт составляет более 60%, но высочайшее качество экспорта (часто не имеющего аналогов) позволяет не видеть в этом угрозы экономической безопасности.

Такая ситуация развивается не в силу внутреннего соперничества между бизнесом и рабочей силой, а из-за необходимости выживания на мировом рынке без протекционизма.

Объясняется это следующим образом. В таких условиях рабочие силы осознают, что продукция страны должна быть конкурентоспособной на международном рынке, чтобы не допустить роста безработицы. Кроме того, бизнес-элиты понимают, что им нужны квалифицированные трудовые ресурсы, чтобы экспорт был востребован. Поскольку существует зависимость друг от друга, стороны в большей степени готовы к корпоративному стилю принятия решений. За скобки выведена сфера неквалифицированного труда, доходы там снижаются, в то время как у высококвалифицированных работников – повышаются. Однако тем самым «размывается» корпоративная гармония социума, поскольку «экономическое расслоение приводит к социальной и политической нестабильности, а это, в свою очередь, оборачивается снижением инвестирования и экономического развития» [54, с. 449]. И вот здесь включается третья сторона корпоративизма в лице правительства. Ему приходится стимулировать производительность посредством улучшения человеческого и физического капитала и принимать меры по сохранению стабильности. Не случайно в странах Северной Европы, склонных к такой модели, большая половина ВВП идёт на оплату социальных программ, многие из которых попросту вредны и неэффективны.

Есть ещё одна проблема, связанная с корпоративизмом. Как было сказано, воздействие корпоративизма на положение страны можно охарактеризовать как положительное, поскольку позволяет гибко реагировать на внешние изменения, прививать чувство солидарности социуму за счёт тесных и частых контактов на уровне национальной элиты. Но чрезмерное участие государства претит правилам свободного рынка, а монополия профсоюзов возрождает протекционизм и связанную с ним коррупцию, о чём предостерегает Ф.А. Хайек [66, с. 404]. Внутри самих профсоюзов всё меньше внутренней демократии и свободы для его членов, а их лидеры всё чаще уподобляются лидерам бизнеса и откровенно им подкупаются. В то же время социал-демократии Северной Европы заправляют в национальных парламентах и участвуют в принятии корпоративных решений, что является, казалось бы, питательной средой для политической коррупции. Но этого нет, о чём следует вести отдельный разговор.

Западные демократии неоднородны, некоторые из них – корпоративные (Австрия, Норвегия, Швеция, Голландия, Швейцария, Германия, Япония), некоторые – плюралистические (США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Великобритания). При плюралистической системе управления экономически заинтересованные группы остаются за границами государственных структур. Их представители не занимают официальных публичных должностей, не выступают в роли тех, кто принимает решения, как это наблюдается при корпоративизме. Поэтому понятен переполох в высших политических кругах США накануне президентских выборов 2016 г., когда одним из лидеров предвыборной гонки стал миллиардер Дональд Трамп, по сути не связанный с элитой республиканской партии. До этого он был бизнесменом, лоббистом, спонсором, но не политическим деятелем какого-либо ранга. В плюралистической системе воздействие на государственную власть осуществляется главным образом через лоббирование, создание групп влияния (нефте-газовый и военно-промышленный комплексы, банки и др.). Вопрос о том, какая система – корпоративная либо плюралистическая, является более эффективной, остаётся открытым. Например, средний ВВП в Швеции и США соразмерен, но там действуют совершенно разные модели управления, типы экономического мышления и правовые инструменты.

Изучение феномена корпоративизма начинается не в политико-правовой, а в экономической плоскости. Вырос он оттуда, затем проявился политически и, наконец, юридически оформился. Политолог М.Л. Крепац [115, с. 131] задался вопросом, как влияет корпоративизм на такие ключевые показатели современной экономики, как безработица, инфляция, забастовки и экономический рост. Результаты следующие. Корпоративные страны имеют невысокий уровень безработицы, не допускают инфляции, предотвращают забастовки, но корпоративный уклад не имеет ощутимого влияния на

экономический рост. Более того, видимая социально-экономическая стабильность нередко оборачивается стагнацией, не способствует конкуренции и инновациям, плодит иждивенческие структуры.

Во многом ситуация такая же, как и в эпоху зарождения корпоративизма. Получается, что как институт он с течением времени не пережил конкретных изменений, всё ещё востребован для решения важных социально-политических проблем в целом ряде развитых стран. Если ранее корпорации, создавая гармоничную модель общества, принимали решения вместе с городскими властями и религиозными сановниками, то теперь трёхсторонний вариант сохранён следующим образом: организации бизнеса, ассоциации трудящихся, парламентские и правительственные структуры. Поэтому разговоры о забвении идеи корпоративизма представляются преждевременными. Консенсус и диалог, лежащие в его основе, очень созвучны теории конституционализма. На вопрос о том, при какой системе принятие решений является более эффективным – корпоративной либо плюралистической, нельзя дать однозначный ответ: он остаётся открытым для эмпирических исследований.

Не подлежит сомнению лишь тот факт, что самыми антиконституционными и коррупционными, неэффективными и бесперспективными являются авторитарные, олигархические и клановые системы, не способные обеспечить человеку три важнейшие жизненные опоры: личную безопасность, материальный достаток и духовную свободу. Они удивительно похожи. Общество поглощается государством, которое строится по модели корпорации-вотчины, управляемой незыблемым и несменяемым лидером-вождём. И первое, что подлежит стремительному разрушению, – конституционный правопорядок. В его отсутствие продолжаются разложение государства и деградация социума. И пути выхода из такой ситуации наиболее тягостны и мучительны. Законов общественного развития никто не отменял, иных примеров история не знает.

1.4 Идея собственности, возрождение римского права и значение ограничения власти монарха

Объясняются причины перемены отношения к институту собственности в европейский период позднего Средневековья. Доказывается органичность триады «собственность–свобода–закон». Идея собственности рассматривается как материальная и психологическая реальность Нового времени, а право собственности – необходимое условие демократических изменений. Показана связь между укреплением института собственности и возрождением в университетах концепции римского права. Объясняется, почему европейские монархи не могли заявить право собственности на своих подданных и их имущество. В качестве обратного примера приводится опыт Московии.

Серьёзный момент знакового рубежа европейской истории заключается в перемене отношения к собственности: «Это было следствие существенного расширения торговли, которое началось в позднем средневековье и было ускорено открытием Нового света. До того “собственность” означала в основном владение землёй; а поскольку земля была неотделима от прав суверенной власти, обсуждение вопроса о собственности поднимало вопросы о королевской (или папской) власти. С подъёмом торговли, однако, собственность в некоторых частях Европы стала также означать капитал; а капитал с политикой не связывали, его воспринимали как личное имущество и в качестве такового безоговорочно считали достоянием собственника» [47, с. 43]. Состоялся пересмотр традиционных взглядов. «Право собственности не панацея, но оно при этом – краеугольный камень всей системы, –

писал Эрнандо де Сото, – без права собственности никакие другие реформы не могут быть доведены до конца» [52, с. 297].

Весь ход последующей истории показал, что страны, лишённые избирателей-собственников, с большей вероятностью сворачивают на недемократические пути развития. В западной традиции институт частной собственности рассматривается как своеобразная граница для государства: «Вы можете идти далеко, но тут не можете – потому что это наше всё. Это сказал ещё Сенека, римский философ, он сказал две с половиной тысячи лет тому назад, – что царям принадлежит власть, а гражданам принадлежит собственность» [56, с. 102]. Собственность – не неизбежное зло, она может рассматриваться как положительное благо, а её верный спутник – свобода. Как блистательно сказал П. Джонсон [46, с. 26], у личной свободы и частной собственности существует тенденция и держаться, и падать вместе.

По мнению Н.С. Бондаря [125, с. 327], взаимосвязь собственности и свободы определяется теми глубинными явлениями, которые не только раскрывают значение собственности для освобождения (или порабощения) личности, но и позволяют характеризовать саму свободу как атрибут и основу отношений собственности. Принято считать, что одним из первых, кто на философском уровне обозначил подобный подход к собственности и свободе, был Джон Локк. Он предположил, что собственность не сводится к сумме материальных благ, а есть целостность, охватывающая собой жизнь, свободу и имущество человека. Эти категории образуют единую систему, органично взаимодействуют одна другую.

Вывод Локка о том, что только свободный человек составляет «великую основу собственности», актуален и поныне, не случайно современный бестселлер Р. Пайпса так и называется: «Собственность и свобода» [47]. Люди становятся собственниками, полагал Джон Локк, не потому, что овладевают вещественными предметами природы, а в силу более глубоких причин, – на тот момент такая концепция была абсолютно новаторской. Он объяснял, что индивиды в состоянии присваивать общественные результаты труда, ибо изначально свободны (обладают свободой воли) и уже в силу этого – собственники своей жизни и своей индивидуальности.

В правовой сфере свобода как основа собственности проявляется через совокупность субъективных прав и свобод, обеспечивающая возможность владеть, пользоваться и распоряжаться материальными и духовными благами: «Этот срез свободы “замыкает” локковскую триаду собственности, выводя личность в том числе и на уровень вещных отношений собственности» [125, с. 328]. В рассматриваемую эпоху человек как деятельный субъект выступает уже не только собственником самого себя и характеризуется статутной автономией в системе отношений присвоения, но он проявляет себя как активная личность, действует по своему усмотрению, выбирая наиболее приемлемые для себя варианты поведения. Характерно, что само слово «собственность» (*proprietas*) стало произноситься только в XIII веке. В Европе идея собственности вызревала наряду с идеями закона и свободы, до этого собственность как материальная и психологическая реальность была почти неизвестна.

Такое совпадение не было случайным, к тому же следует учитывать и новую парадигму христианской церкви, разработанную Фомой Аквинским. С его трудами исчезло последнее препятствие на пути возрождения изучения римского права, в основу которого положена идея, что общество должно управляться законом и подчиняться требованиям разума. Без этого немислим институт собственности, антиподом которого всегда выступали анархия либо властный произвол. Сделаем важное отступление.

Рецепция частного права составляет явление, более распространённое в истории, чем рецепция норм публичного права, о чём пишет В.А. Томсинов [126, с. 297]. И это вполне закономерно. Правовые нормы, закрепляющие систему государственной власти

в каком-либо обществе, оформляющие функции действующих в нём государственных органов, более прочно связаны с традиционными устоями данного общества, с конкретным соотношением классовых сил, с особенностями доминирующего типа политического сознания. Оторванные от своей родной почвы и перенесённые в условия чужого общества, нормы публичного права приобретают, как правило, другое значение, принципиально отличное от прежнего. Поэтому рецепция публичного права обыкновенно выливается на практике в заимствование лишь некоего символа или формы, нежели содержания какой-либо нормы. Данное заимствование, столь характерное для Священной Римской империи, вряд ли заслуживает наименования «рецепция права».

Закономерностью любой рецепции права, подчёркивает В.А. Томсинов [126, с. 298], является определённая трансформация воспринятых правовых норм и институтов. Правило поведения, перенесённое из одного общества в другое, должно быть приспособлено к социально-экономическим и политическим условиям воспринявшего её общества. Рецепция права является поэтому не отдельным актом заимствования элементов чужого права, но сложным и длительным процессом усвоения каким-либо обществом правовых норм, юридической терминологии, правовых идей, выработанных в рамках другого общества. Простой перенос каких-то правовых норм, терминов, идей из одного общества в другое не есть рецепция права. Перенесённые элементы чужого права могут и не привиться на новой почве, государственный механизм при внешней лояльности может их отторгнуть, и, следовательно, рецепции права как таковой не произойдёт.

В качестве современного примера такого отторжения элементов чужой правовой культуры, то есть несостоявшейся рецепции правовых норм, можно привести предпринятую в Беларуси попытку введения института судебного конституционного контроля по австро-европейской (кельзеновской) модели. Декрет Президента Беларуси № 14 от 26.06.2008 года фактически нивелировал значение Конституционного Суда вопреки его полномочиям, прописанным в Основном Законе Республики Беларусь. Исторический опыт показывает, что рецепция права становится свершившимся фактом лишь при определённых условиях. К таким условиям относится наличие в социально-экономической жизни общества, заимствующего элементы чужого права, и общества, выработавшего их, определённого набора общих свойств. Очевидно, что система договорного права может сформироваться только в обществе с развитой рыночной экономикой, т.е. рецепция элементов такой правовой системы предполагает подобную экономику и в обществе-рецепторе. Немаловажным оказалось и сходство правовой культуры Европы с римской юридической традицией. В то время как восприятие Московией христианской религии в её православном византийском варианте предопределило в русском обществе рецепцию юридических церковных и моральных норм по модели императорского второго Рима. А теперь сравним с западной традицией.

Вот что пишет Рене Давид: «Новое общество вновь осознало необходимость права; оно начало понимать, что только право может обеспечить порядок и безопасность, которых требует божественный замысел и которые необходимы для прогресса. Идеал христианского общества, основанного на милосердии, был отброшен, равно как и идея создания на Западе Града Божьего. Сама церковь стала более отчётливо различать религиозное общество верующих и светское общество, суд совести и правосудие и создала в эту эпоху каноническое частное право. В XIII веке уже перестали смешивать религию и мораль с гражданским порядком и правом; за правом вновь была принята его собственная роль и автономия, которые отныне стали характерными для западных образцов мысли и цивилизации» [127, с. 33]. Лучшие умы того времени осуждали произвол и отвергали обращение в гражданских отношениях к сверхъестественному, т.е. культивировали нормы, выражающие естественные права человека и гарантирующие свободу человеческой личности.

Свобода стала главным принципом организации экономики и социальных изменений, что привело к политическим потрясениям. «Право собственности, в конечном итоге, ведёт к демократии, потому что без неё невозможно поддерживать рыночную систему собственности – это единственный сценарий, при котором инвесторы не волнуются» [52, с. 298]. Без инвестиций экономика нового типа немыслима, но эффективное инвестирование может быть только частным, – на свой страх и риск с условием юридических гарантий и мер защиты от всех тех, кто вздумает нарушать «правила игры». Ничего не изменилось концептуально и в наши дни. Во всём этом находят проявление глубинные, сущностные начала конституционной природы экономического развития общества и модернизации рыночной экономики. В историческом же аспекте путь к пониманию таких истин был мучителен и долог.

На Западе после крушения Римской империи понимание разделения власти и собственности тоже на какое-то время было утрачено. Несмотря на то, что в средневековой Европе гуляла поговорка «вассал моего вассала – не мой вассал», «Пол Виноградофф в книге “Римское право в Средневековой Европе” приводит сохранившийся эпизод беседы Фридриха II с правоведами. Фридрих спрашивает их, не является ли император полновластным “хозяином дома” (в римском понимании) для всей своей империи, в том числе хозяином имущества своих подданных. На что правоведы отвечают ему: нет, он повелитель *только в политическом смысле, но не в смысле собственника*» [90, с. 86]. Р. Пайпс замечает [47, с. 211], что теоретически на Западе некоторые монархи обладали «вотчинной» властью. Так, завоевав Англию, Вильгельм I предъявил права собственности на всю покорённую им страну. Изабелла Кастильская при её восшествии на престол в 1474 г. была провозглашена *Reina proprietaria* – королевой-собственницей своего королевства. Людовик XIV в 1666 г. учил своего сына и наследника, что французский король является «абсолютным господином» богатств страны.

Но всё это были пустые формулы, как явствует из того факта, что по всей Европе короли через парламенты выпрашивали у своих подданных налоги, чего им не пришлось бы делать, будь они настоящими вотчинниками. Абсолютное слияние верховной власти и собственности в режиме правления, известном как «вотчинное», произошло в Московском княжестве, что убедительно доказано в книге то же Р. Пайпса «*Россия при старом режиме*» [95].

В европейских монархиях всё было иначе, на что обращает внимание Ж. Ле Гофф [97, с. 11]. Черты, свойственные средневековому королю, важны не только для понимания той эпохи, но и потому, что правители государств с республиканским устройством или демократической формой правления зачастую будут выполнять те же функции или представлять тот же образ. Средневековые короли воплощали в себе религиозную функцию, а поэтому вершили правосудие и имели привилегию на помилование. Они являлись верховными правителями и в смысле военной функции, поскольку были благородного происхождения и относились к категории воинов. Наконец, король воплощал в себе и третью функцию, подразумевающую заботу о преуспевании государства. То есть он *отвечал* за экономику и процветание своей страны, но никак не мог заявить право собственности на своих подданных и их имущество. Кроме того, европейский монарх должен был обладать авторитетом в области знания и культуры, иначе подпадал бы под категорию тех, о ком Иоанн Солсберийский, епископ Шартрский, говорил: «Неграмотный король – не что иное, как коронованный осёл». Но и это не всё.

От римского права и соответствующей политической традиции королю досталось в наследство разделение власти на две категории: авторитет и власть, определяющие природу королевской власти и средства, позволяющие монарху выполнять свою роль. Христианство добавило ещё одну составляющую, характеризующую определённые права в церковной сфере и защиту от оскорбления величества. Казалось бы, какой ещё

власти здесь не достаёт. Тем не менее средневековый король не являлся абсолютным монархом и собственником своего королевства.

Конечно, большим преувеличением будет говорить о монархе конституционном, поскольку в эту эпоху не существовало никакого текста, который можно было бы рассматривать в качестве конституции. Ближе всего к ней стояла Великая Хартия вольностей (*Magna Carta*), документ, который английское дворянство и церковная верхушка навязали в 1215 г. королю Иоанну Безземельному. Именно этот текст остаётся важной вехой на пути к установлению в Европе конституционных режимов. Сами же британские исследователи предпочитают обращать внимание на более поздние события – время правления короля Генриха III (1216–1272 гг.). Всё оно было заполнено выступлениями баронов против короля, время от времени переходившими в гражданскую войну. Напряжение достигло высшей точки в так называемых Оксфордских провизиях – плане реформы, принятом советом магнатов (Великим советом) Англии 10 июня 1258 г. Генрих III был вынужден его принять в обмен на данное баронами обещание денежной поддержки. Именно поэтому Ч.Ф. Аткинсон и пишет о том, что «оксфордские провизии принято считать первой писаной английской конституцией» [96, с. 548]. Учреждение английского парламента навсегда размежевало собственность королевской семьи, казённую собственность и собственность подданных короны.

Парламент стремился подчинить своему контролю государственное управление. Неоднократно возникали попытки ограничить право короля лично избирать советников, «ведавших теми или иными отраслями государственного управления. Попытки подчинить королевских советников окончились неудачей. Тогда парламент выработал другой способ влиять на направление королевской политики. С конца XIV в. устанавливается процедура так называемого *импичмента*» [128, с. 268].

Сущность этой процедуры состояла в возбуждении палатой общин перед палатой лордов как высшим судом страны обвинения против тех или иных советников короля в злоупотреблении ими своими обязанностями. Палата общин выполняла в этом случае функции большого (обвинительного) жюри присяжных заседателей как представительница всех графств. В английском государственном праве сложился взгляд, что «король не может поступать плохо», смысл которого заключался в том, что ответственность за действия короля возлагалась на его советников, без содействия которых распоряжения короля не могли быть приведены в исполнение. Необходимо отметить, по мнению профессора В.А. Космача, «что уже с первых случаев возбуждение палатой общин указанного выше уголовного преследования советникам короля ставилось в вину не только незакономерность совершенных ими действий, но и их нецелесообразность» [129, с. 208]. Помимо судебных приговоров английская практика знает и «билли об опале», которые являют собой законодательные акты.

Точнее всего сформулировать важнейшую черту средневековой королевской власти можно таким образом: быть королём означало принять на себя конкретные договорные обязательства. Во время ритуала помазания и коронации монарх приносил клятвы Богу, Церкви и народу. Два первых «договора» по ходу исторического процесса утратили своё значение, а вот третья, новаторская формулировка, станет своего рода этапом на пути подотчётности власти народу или институтам, которые его представляют. Так или иначе, с феодальными монархиями Европы христианский мир встаёт на пути к тому, что мы сегодня называем конституционным правовым государством. Ситуация не изменилась и с наступлением эпохи абсолютных монархий: «В 1699 г. французский епископ Ф. Фенелон в романе *“Les aventures des Te'le'mague”* доказывает, что и короли должны подчиняться закону» [305, с. 25].

В общеевропейском проекте нашли свою нишу Великое Княжество Литовское и позднеобразованная Речь Посполитая. С момента своего образования ВКЛ ускоренны-

ми темпами сближалось с Европой, её политическими установками и системой, культурой и общественной мыслью. Молодое и динамичное государство стремилось к взаимодействию с Западом в культурно-историческом и династическом плане, воспринимало многие атрибуты европейской жизни того времени, политические и социальные идеи и представления. Пусть окраина – но всё же европейского мира. Средневековые учёные в большинстве своём переняли взгляды древнегреческих географов, которые границу между Европой и Азией проводили по реке Танаис (Дон), который впадает в Азовское море; таким образом, в состав Европы попадали территории нынешних Беларуси и Украины, а от Московии – лишь небольшая часть. Ни о какой Европе, простирающейся от Атлантики до Урала, в Средние века и речи не было! Но главное не это.

Ментально ВКЛ было готово и способно жить по европейской модели, и великие князья литовские, а затем и короли Речи Посполитой видели себя в латинском мире, поэтому были вынуждены сохранять и внедрять элементы демократической модели управления: вече и магдебургское право в городах, раду при князе, соймы и соймаки, религиозную и этническую толерантность. Но восточными соседями ВКЛ были земли, где культивировались иные ценности, и на примере «высшего политического руководства» контраст наиболее заметен.

В этой связи апофеозом деспотического правления был режим Ивана IV, основные положения политической доктрины которого жёстко противопоставлены европейской монархической идеологии. К тому времени «присоединение к Руси остатков Золотой орды, а позже – Сибирского ханства – стало знаменем наследства Чингисхана в руки первого венчаного на царство Московского государя. Иван Грозный становится не только русским царём, но и истинным евразийским императором» [130, с. 23]. Началось переустройство общества и государства на основе идеологии, представляющей собой неудачную попытку синтеза святорусского и третьеримского проектов. Верх взял второй.

Российский автор Н.М. Золотухина полагает, что «его содержание заключалось в утверждении правомерности неограниченной верховной власти, обеспечивающей реализацию полнейшего самовластья её носителем. Политическая доктрина Ивана IV складывалась в обстановке развязанного им террора и ставила перед собой задачу оправдания наиболее жестоких методов деспотического правления, [...] а единственным законным основанием занятия царского престола он считал право наследования» [131, с. 216]. Значение царской власти он поднял на недостижимую для европейских монархов высоту. Его совершенно не интересовала проблема нравственности царской особы, он пренебрегал элементарными христианскими установками.

Характерна интерпретация московского деспота ответственности властителя перед подданными, согласно которой царь не может быть преступен по самой своей природе, он бывает только грешен, а наказание греха – прерогативы Высшего Суда. Он утверждал своё право «жаловать холопов», равно как и казнить по своему усмотрению, смешав здесь неравнозначные категории, ибо для наказания нужен закон и суд, а для пожалования действительно достаточно одной царской воли. Причём, как особо отмечает Н.М. Азаркин, «Иван IV обосновывает своё право судить и наказывать не только за дела, но и за мысли» [132, с. 142]. Впоследствии сталинские «особые совещания», так называемые «тройки», успешно реанимируют эту дикую установку при вынесении приговоров за «антисоветские настроения».

При Иване IV потеряли всякое значение Земские соборы и боярская Рада, духовный авторитет Церкви он полностью отрицал, подвергая репрессиями в том числе и православных иерархов. Вся система отношений собственности была разрушена. Государство, подданных и их имущество он считал исключительно своей вотчиной, коллективное начало в организации верховной власти даже не рассматривалось. Таким образом, вся доктрина Ивана IV под лозунгом укрепления и централизации государства бы-

ла направлена на идеологическое оправдание террора, «царя интересовали не формы правления и не государственное устройство, а придание легитимности опричным грабёжам и насилиям» [131, с. 219]. Режим Ивана IV стал идеалом для многих российских самодержцев: Алексея Михайловича, Петра I, Иосифа Сталина. К европейской модели организации государственной власти такие правления не имели никакого отношения, хотя каждый из них оправдывал проводимую им политику террора и беззакония соображениями «общего блага» и «пользы государства».

Здесь необходимо пояснить следующее. В 1462 г. оформляется Русское централизованное государство, которое после падения Константинополя под натиском османов заявляет о своих претензиях на имперское величие. Но некстати в Православии вспыхивает спор двух течений. Одно, принявшее имя нестяжательства, требует от церкви отказа от земных богатств и сосредоточения на духовном служении. Это были продолжатели дела Сергия Радонежского. Не постами, воздержанием или дисциплинарными мерами достигается подлинная близость к Богу, а тем, чтобы умом блюсти сердце, чтобы в богоугодной деятельности проявлять свою веру.

В противоположность им иосифляне (по имени монаха Иосифа Волоцкого) исходили из понимания церкви как института власти, а не деятельного способа жизни. (Впоследствии эта установка будет реализована в XVII в. патриархом Никоном с ужасающими для страны последствиями [360, с. 220].) Они рассматривали церковь как важнейшую и высшую ступень власти, превращали её в способ достижения мирских целей. Сначала власть поддерживала нестяжателей, но затем перешла на сторону иосифлян. Церковь стала орудием власти, орудием принуждения и присвоения. Дух творчества и созидания времён Сергия Радонежского уступил место совсем другим ценностям.

Но в небольшом отступлении немного об известном. Открытие в конце XV века Колумбом Америки превратило одно из набирающих силу государств – Московию – в глухую европейскую окраину, поскольку на Запад хлынули все материальные и финансовые ресурсы. Находясь в глубине Европейского континента, Москва не имела прямого доступа к новым торговым путям, а разорение Новгорода закрыло пути и в балтийский регион. Она неизбежно оказывалась на периферии мирового экономического развития, фактически выпадая из формирующейся мировой экономической системы. По мнению Б. Кагарлицкого [59, с. 121], именно конец XV – начало XVI в. стали решающим рубежом, предопределившим дальнейшую судьбу России – борьбу с отсталостью и изоляцией. Многолетнее климатическое похолодание привело к буквальному вымиранию населения от голода и прочих невзгод. Постоянные войны с ВКЛ истощали и без того скудные ресурсы государства.

Перед лицом тотального проигрыша тогдашняя московская элита решила компенсировать катастрофически складывающиеся внешние обстоятельства «пороговым увеличением мощности преобразующего контура. Это она осуществила за счёт максимального усиления власти, через её концентрацию в одних руках – руках царя. Эта концентрация нуждалась в религиозном одобрении, без этого власть не получала нужной эффективности. А раз так, то веру превратили в служанку власти, а церковь – в инструмент политики» [134, с. 80]. Тогда впервые и была сформулирована иноком Филофеем около 1523–1524 гг. в сочинении эпистолярного жанра концепция национального проекта «Третий Рим». Затем она была официально изложена в 1589 г. в Уложенной грамоте Московского Освящённого Собора с участием Константинопольского патриарха и греческого духовенства. Она провозглашала московского правителя «единственным христианским царём во всей вселенной для всех христиан». Ни много ни мало.

В чём идея «Третьего Рима»? В том, что Москва есть последний оплот истинной веры. Сначала светоч её горел в Древнем Риме, потом в Риме Втором – Константинополе, но, пойдя на сговор с Западом по Флорентийской унии 1439 г., утратил истинную

веру и в наказание в 1453-м пал под ударами турок-османов. Русские-московиты – единственные подлинные христиане, а все остальные – еретики, поганые и враги.

Отныне Русь – крепость Божия, но главный авторитет – светская власть, а не духовная. Инок Филофей, доказывая всё это, сделал чаемый элитой поворот. Носителем духа становится государство. Это не был вариант теократии, где церковь сливается с государством. Политику «Третьего Рима» должен был проводить царь, это в корне меняло ценности. Отныне главным для Москвы становится не налаживание богоугодной жизни, а борьба с мечом в руках за победу истинной веры, насущнее деятельной веры – вооружённая борьба за неё. А Европа к тому времени уже давно «отболела» крестовыми походами, вступила в Реформацию и новую индустриально-торговую фазу экономического роста. В итоге концепция «Третьего Рима» осветила гибельный курс Ивана Грозного, сплела воедино светскую и церковную власти, настроила против Московии европейские государства. Всё это и привело к Смуте – национальной катастрофе, церковному расколу и прозябанию в оппозиции остальной Европе. Отсюда корни московского самодержавного деспотизма, не имеющего аналогов в западной цивилизации.

В Европе в период феодальной раздробленности император или король власть имел священную, номинальную, юридическую, а фактически хозяевами были феодалы на местах и конечно же – церковники. Таким образом, отмечает А.Н. Никонов [90, с. 88], в Европе мелкий феодал мог пойти на службу к крупному, то есть стать его вассалом; при этом стороны брали на себя взаимные обязательства – один нанимается и служит, другой опекает и платит за услуги. Распространённость таких отношений плюс рост городов, породивший свободное и экономически самостоятельное население, историческая память о правовом римском обществе возродили в Европе институт права.

Движение за возрождение римского права развернулось в университетах, которые проповедовали новую систему общественной организации и учили тому, что гражданское общество должно управляться правом, где римское являлось лучшим образцом. По мнению Р. Давида [127, с. 39], идея о том, что общество должно управляться правом, была признана в XIII веке. Очень важное событие со всей ясностью продемонстрировало испытываемую обществом той эпохи нужду в возврате идеи права: решение IV Вселенского Собора в Латране 1215 г. запретило церковникам принимать участие в судебных процессах, где применялись ордалии, или так называемый божий суд.

Это запрещение наметило решительный поворот, что Р. Давид объясняет следующим образом: «Гражданское общество не могло управляться правом до тех пор, пока исход судебного процесса зависел от обращения к сверхъестественным силам. Само изучение права было лишено всякого практического интереса, пока при разрешении спора использовалась инквизиционная система доказательств. В результате принятого IV Собором в Латране решения, отвергшего эту систему доказательств, в континентальной Европе был введён новый, рациональный процесс по образцу канонического права. Это открыло путь к господству права» [127, с. 34].

Раймон Леже возрождение связывает с XII веком, когда западные университеты начинают преподавать римское право и «происходит осознание выгоды надлежащей организации социальных отношений» [109, с. 32]. Общеизвестный факт [12, с. 259], что ключевую роль в «открытии» римского права для средневекового общества сыграли университеты Северной Италии (в Равенне, Падуе, Болонье и других городах). После обнаружения в Пизе в середине XI в. рукописи юстиниановых Дигест (копии VI или VII вв.), получившей впоследствии название Флорентийской рукописи, в университетах начинается систематическое изучение и преподавание римского права.

Особую известность приобрёл юридический факультет Болонского университета, который к XIII в. насчитывал около 10 тыс. студентов практически из всех стран Западной Европы, а его основателем был один из крупнейших знатоков римского права

Ирнерий (1055–1130 гг.). Созданная им школа римского права получила название школы глоссаторов (по тексту римских источников делались пояснения и уточнения в виде глосс, то есть комментариев на полях или между строчек). Создавались как компилятивные, так и самостоятельные труды по вопросам права.

Например, посредством суммирования суждений римских юристов по отдельным видам сделок профессора-глоссаторы выработали общее понятие договора. В то же время «право собственности, существовавшее в римском праве как *proprietas est plena in re protestas* (полная власть над вещами), было сужено рядом существенных ограничений для собственников. В таком виде отношения собственности регулируются в романских системах и сегодня» [136, с. 46]. Поскольку римское право не признавало как таковых конституционных и административных отраслей, в европейских университетах рассматриваемого периода публичные дисциплины также не преподавались.

Доминирование римского права при его изучении в европейских университетах во многом объясняется и тем, что оно считалось идеальным по своей структуре, понятийному аппарату и терминологии. Хотя рабство, правовой регламентации которого посвящены многие нормы, уже исчезло, а каноническое право распространило свою юрисдикцию на такую традиционную сферу классического римского права, как наследственные и брачно-семейные отношения, тем не менее университетские профессора настойчиво пытались доказать, что римское право приспособливо к новым отношениям. До преподавания национального права было ещё полтысячелетия.

Первоначально академическая деятельность глоссаторов не оказала непосредственного воздействия на практику феодальных судов, но по мере утверждения римского права глоссы приобретали всё больший авторитет – даже за пределами Италии, в том числе в Оксфордском университете. Среди последователей и учеников Ирнерия наибольшую известность получили Булгар, Мартин, Уго, Яков, Рогедо, Бургундио, Родже, Ацо, Унголин, Вакарий, Аккурций [12, с. 260]. На смену им приходит новое поколение итальянских профессоров римского права, которых принято называть постглоссаторами: Синус де Пистойя, Барто де Сассферрато, Балдус де Убалдис. Пытаясь вывести так называемое общее мнение учёных, обрабатывая свод Юстиниана и работы глоссаторов, это поколение учёных способствовало превращению римского права в теоретическую базу формирующихся национальных правовых систем (даже в Англии, которая не знала рецепции римского права как таковой). Была проведена огромная работа по согласованию римских юридических конструкций и категорий с нормами канонического, городского и обычного права.

Изучение римского права было подхвачено во всех европейских университетах и поддержано правящими церковными и государственными элитами. Например, немецкие авторы «подчёркивают колоссальную роль рецепции в развитии национального права, т.е. заимствование вначале римского права, иногда противопоставляющегося собственному германскому, затем итальянского, французского права» [305, с. 24], т.е. романского по сути. И если «многие европейские государства осторожно относились к рецепции римского права, то Германия восприняла его не в виде отдельных институтов и норм, а полностью и без принципиальной предварительной переработки» [304, с. 97]. С тех пор и по сегодняшний день «особенностью немецкого права является стремление сочетать высокую степень детализации правовых предписаний и системные начала (пандектный подход), т.е. опору на принципы права, общие юридические конструкции, развитый понятийный аппарат» [305, с. 27]. Это гарантирует, как говорят немецкие юристы, «ресурсное обеспечение закона».

Становление глоссаторской школы было связано с экономическим и культурным подъёмом в Италии и ряде других стран Западной Европы, который породил острую потребность в преодолении феодального правового партикуляризма, в распространении

вневременного и абстрактного права. Благодаря деятельности глоссаторов и постглоссаторов римское право стало восприниматься как «писанный разум», оно вышло за рамки «права учёных» и было воспринято судебной практикой в большинстве европейских стран, наиболее развитых в хозяйственном отношении регионах. Дело в том, что зарождающиеся буржуазные отношения не могли пробиться сквозь гущу допотопных обычаев и ригидного феодального права, рассчитанного на замкнутое общество, в то время как римское право содержало в себе точные и готовые формулы закрепления института частной собственности и торгового оборота.

Как верно указал О.А. Жидков [12, с. 258], рецепция римского права была вызвана не только экономическим фактором, но и социальными и духовными потребностями общества, которое остро нуждалось в правовом порядке и стабильности, а соответственно и в распространении юридического образования и мышления. Немаловажно, что рецепцию римского права поддержала католическая церковь, увидевшая в нём средство, способное поддержать католическое право и притязания пап на господство в христианском мире. Кстати, в догматической теологии Ватикана категория *Конституции* распространена повсеместно [137, с. 57], хотя и имеет значение, отличное от того, какое она принимает в юридическом устройстве государства. Римское и каноническое право нашли много общих точек соприкосновения, во многом тому способствовало составление монахом Грацианом в 1140 г. своего знаменитого декрета, что привело к созданию западноевропейской науки церковного права: «Теперь новокатолическое христианство нащупало форму выражения своего существования в правовых средствах» [96, с. 80]. В 1234 г. получила своё завершение основная часть «*Corpus juris canonici*».

Рецепцию римского права в конечном счёте санкционировала и королевская власть, стремившаяся к централизации, а следовательно, и к юридикации всей общественной и государственной жизни. Именно римское право в это время проявило себя как наиболее разработанное, универсальное и рациональное право, содержащее регуляторы, необходимые для общества в целом и основных его элементов. Наряду с христианством и развивающейся экономически-торговой сферой римское право способствовало преодолению государственных и иных территориальных границ, созданию унифицированной европейской правовой культуры, юридической науки и образования. Роль университетов оказалась первостепенной. Но их не следует рассматривать в качестве учебных заведений, представлявших собой некое усовершенствование или обновление высших школ античного периода, появившихся во времена правления последних императоров.

Само слово «университет» отражает представление о корпорации преподавателей и студентов, «они стали подлинными рассадниками знаний, а изучение наследия Аристотеля предопределило поворот во всей интеллектуальной жизни Средневековья» [76, с. 152]. Папа Григорий IX повелел запретить его натурфилософские сочинения, но все попытки отлучить студентов от этих штудий потерпели фиаско.

Однако, как и все идейные движения, этот путь был подвержен одной опасности – остаться академическим. В отличие от Англии, где возобладало прецедентное право, практическое по своей сути, на континенте возрождение римского права не решало бы глобальных проблем. Ответ был подсказан жизнью – появлением самоуправляющихся городов, развитием торговли и промышленной революцией. А вопрос о том, насколько ощутимым было влияние *практической римской юриспруденции* на правовое развитие Западной Европы, нами будет рассмотрен в следующем разделе.

1.5 Об отсутствии практической юриспруденции в концепции возрождённого римского права

Изучается история развития института судебной практики и её влияние на развитие европейского права. Указаны особенности римской античной юриспруденции как самостоятельного источника права. Рассмотрены такие формы римского позитивного права, как судебный прецедент, законные иски, эдикты магистратов и деятельность преторов. Объясняются различия между древнеримским и западноевропейским правом Средневековья, причины утраты своих позиций правом практической юриспруденции. Ставится под сомнение безоговорочный тезис о состоявшейся рецепции римского права. Поддерживается позиция тех учёных, которые сходство между древнеримской и западноевропейской континентальной юридической традицией видят чисто внешним. Делается вывод о том, что представители школы глоссаторов и постглоссаторов в большей степени изучали и толковали латинские тексты, но не обращали внимания на их фактическое значение в правовой жизни Древнего Рима.

Изучение судебной практики в системе романо-германского права предполагает рассмотрение данного вопроса на первоначальном уровне – римской античной юриспруденции, которая оказала значимое влияние на развитие европейского права. Проблема признания судебной практики и судебного прецедента неоднозначно решалась как в римской правовой системе, так и современными учеными, которые занимаются изучением исторических судеб римского права.

Так, например, авторы классического курса по «Римскому частному праву» [10, с. 22] И.С. Перетерский, В.А. Краснокутский дают такое перечисление видов источников древнеримского права: обычаи (1), законы (2), сенатусконсульты (3), конституции императоров (4), эдикты магистров (5), ответы юристов (6). В свою очередь, автор фундаментального труда по римскому праву Д.В. Дождев этот перечень дополняет следующими источниками (по его терминологии – «формами позитивного права»): решения плебейских собраний (*plebescitum*) (7); законные иски (*legis actiones*) (8); судебный прецедент (*iudicatum*) (9). Однако сам учёный признаёт незначительность роли судебного прецедента в развитии римского права и обуславливает это, прежде всего, интенсивным правотворчеством юрисконсультов [11, с. 90]. В качестве подтверждения существования такого источника права Д.В. Дождев приводит Фрагмент Каллистрата (*Callist. 1 quaest., D. 1, 3, 38*): «*ибо наш император Север предписал, что в случае сомнений, возникающих из законов, обычай или авторитет дел, постоянно решаемых судами сходным образом, должен иметь силу закона*», но здесь же оговаривает, что «это единственный в римской юридической литературе текст, в котором говорится об обязательной силе судебного прецедента, ...приписывавший силу закона авторитетному судебному решению в сходных случаях. Из текста следует, что практика принятия судебных решений по примеру (*ad exempla*) предыдущих решений по сходным вопросам была достаточно распространена и не зависела от императорского предписания. Уже в риторских сочинениях эпохи Республики *судебный прецедент называется, наряду с другими источниками права, среди средств доказательства, которыми пользовались адвокаты в судах*». *Cic., de orat., 2, 27, 116: «Для доказательства у оратора есть в распоряжении два рода материалов: один состоит из тех, которые не изымаются самим адвокатом, но представляют основание для рассуждений в наличных вещах, каковы записи, свидетельства, консультации, соглашения, законы, постановления сената, судебные решения (выделено нами. – А.П.), декреты и прочие, если имеются...»* [11, с. 90].

Таким образом, ораторы надеялись – в отсутствие других решающих обстоятельств – убедить суд вынести решение по аналогии с предыдущим: «...в тех делах, по которым когда-либо выносились судебные решения на одинаковом основании и которые более правильно называются прецедентами» (Quint., Inst., 5, 2, 1). Но следует сказать, что решение суда по нестандартному вопросу не связывало другие суды на будущее. Например, автор риторики «Ad Herennium» («К Гереннию») I в. до н.э. сетует, что решения судов при одинаковом составе дела часто различаются, и, приводя соответствующие примеры, он заключает (Ibid., §20): «Итак, поскольку по сходным по составу делам могут выноситься сходные решения, чтобы извлечь пользу из судебных решений, мы сопоставляем судью с судьёй, эпоху с эпохой, число решений за и против» [11, с. 103].

Как считает Д.В. Дождев, «налицо поиски юридически значимых случаев и факторов, необходимые именно из-за отсутствия у судебного прецедента (должной) юридической силы» [11, с. 103]. Отметим, что обращение к предыдущим судебным решениям было характерно, прежде всего, для провинциальной судебной практики, где отсутствовали развитая правовая мысль и традиция интерпретации юридических текстов. Начало публичному преподаванию практической юриспруденции, как считает В.С. Нерсисянц [139, с. 88], положил первый верховный понтифик из плебеев Тиберий Корунканий, который в 253 году до нашей эры стал в присутствии учеников разбирать юридические вопросы и открыто высказывать по ним своё мнение. Веком ранее развитию практических начал способствовало опубликование Гнеем Флавием сборника процессуально-правовых формул (*legis action*), совокупность которых и стала называться гражданским правом.

Одной из форм римского позитивного права выступали законные иски (*legis actiones*), являющиеся, по нашему мнению, своеобразным порождением судебной практики. Самостоятельное значение процессуальных средств как источников римского права определялось тем, что по содержанию они могли отличаться от той нормы закона, на которой были основаны, предусматривая защиту специфических отношений, в законе прямо не упомянутых. Свобода толкования позволяла понтификам расширять сферу защиты, не меняя слов в законных исках. Это явление показывает также, считает Д.В. Дождев, что «понятие позитивной формы права не сводится к форме, в которой фиксируется норма: слова иска, оставаясь прежними, получили новое содержание, и отношение, прежде безразличное для законодателя, получило законное признание» [11, с. 104]. Такая согласованность материального и процессуального аспектов правовой формы обеспечивала определённость прав и обязанностей, гарантируя одинаковую защиту всех сходных отношений. Составленные в IV в. до н.э. *законные иски* стали восприниматься наравне с законами как составная часть гражданского права (D. 1, 2, 2, 6: «*pars juris*»). Отсюда и практика обнародования формул исков, подобно законам, однако, если последние имели значение как таковые, то иски – только когда их применяли, что подчёркивает их прикладное значение.

Практику отправления правосудия в Античном Риме невозможно представить без эдиктов магистратов (*edicta magistratum*), которые послужили источником образования особой системы преторского права. На основе своих высших властных полномочий претор мог предусмотреть и специфические средства защиты, не предусмотренные действующим правом. Устойчивая практика публикации процессуальных формул решающим образом сказалась на деятельности претора, который в целях информирования граждан и упорядочивания собственной судебной активности выставлял на форуме на специальных досках модельные формулы исков и экстраординарных средств, а отмена процесса посредством *legis actiones* в 17 г. до н.э. поставила такие эдикты в почти монопольное положение в плане создания гражданских процессуальных средств. Так сформировалась особая нормативная система преторского права, стабильность которой

во многом объяснялась тем, что каждый новый претор по обычаю воспроизводил в своём эдикте большинство положений эдикта предшественника.

Рассматривая судебную практику времён древнеримской юриспруденции во всех упомянутых проявлениях, следует подчеркнуть её особую значимость в сравнении с последующими периодами развития западного права. Решающим для римского права оказалось то обстоятельство, что оно создавалось на основе непосредственного общественного опыта, причём не профессионального опыта судьи, но общепрактического опыта людей, занимавших видные места в политико-экономической жизни вообще. Напомним, что тот, кто вступал в Риме на служебную лестницу, неизбежно становился юристом, полководцем, главой администрации, казначеем. И, лишь приобретая весьма значительный опыт в столь разных отраслях, такое лицо могло осуществлять судопроизводство в качестве претора. Ведь античности неведомы были судьи как сословие, получающее для этой деятельности профессиональную и даже теоретическую подготовку. Весь дух римского правоведения классического периода определялся этим.

По замечанию О. Шпенглера, «римляне не были здесь ни систематиками, ни историками, ни теоретиками, а исключительно блестящими практиками (подчёркнуто нами. – А.П.). Их юриспруденция – это опытная наука единичных случаев, одухотворённая техника, а вовсе не какое-то абстрактное построение» [96, с. 62]. Действительно, римляне скрупулёзно рассматривали исключительно частные случаи и их проявления, но они никогда не предпринимали анализа фундаментальных понятий. Подлинно античная форма, в которой медленно собирался законодательный материал, – это происходящее почти что само собой суммирование отдельных правовых норм, и нигде нет речи о системе, намерении установить правило на длительное время.

История западного права говорит об обратном, поскольку оно всегда следовало тенденции сводить с самого начала весь правовой материал в навсегда упорядоченный и исчерпывающе обобщающий кодекс, в котором всякий вообще мыслимый в будущем случай будет решён заранее. Даже английское право лишь внешне напоминает античную практику. Британский исследователь Ч. Аткинсон подчёркивает, что «согласно теории английского права, судья не “создаёт закон”, но его “провозглашает”, т.е. в явном виде обнаруживает то, что содержалось в законе уже изначально, хотя повода для его выявления не возникало» [96, с. 546].

Роль закона велика, но связь с его правовой нормой также очевидна. В англосаксонской системе судебной практике всё же отводилась несоизмеримо бóльшая роль, чем в романо-германских правовых системах. Уже со времён правления короля Эдуарда I (1272–1307 гг.) началась трёхвековая традиция издания «Ежегодников судебных решений», где давалось описание казусов по предметам исков [268, с. 14]. Основной целью их создателей – компиляторов было облегчение профессиональной деятельности судей ориентацией на возможное рассмотрение определённых категорий дел по аналогии. Составители «Ежегодников судебных решений» приводили и личные мнения судей, и даже эпиграммы отдельных юристов. К 1535 г. компиляции прекратились, но появились более профессиональные и унифицированные труды. Из наиболее известных и популярных отметим «Краткие книги решений судов общих тяжб», появившиеся в период между 1724 и 1753 гг. [268, с. 14]. В этом, пожалуй, можно обнаружить отблеск античной юридической традиции в её истинном значении.

Таким образом, древнеримское право формируется исключительно в опытной порядке, это право – порождение юриспруденции, основанной, прежде всего, на судебной практике, а преторское сословие оказывается средоточием как законодательства, так и правовой практики. Вспомним, что лишь около 100 г. до н.э. Муций Сцевола написал первый систематический курс частного права.

По существу, между древнеримским и западноевропейским правом – пропасть. Латинские тексты периода античного «классического правоведения» попали в средневековье в качестве научной литературы, и представители школы глоссаторов меньше всего задавали себе вопрос о том, какой практической значимостью могла обладать латинская письменная часть. Для университетских профессоров, вооружённых филологическим методом, дошедшие тексты представлялись просто как право, доставшееся в качестве римского культурного наследия, и задачу свою такие истолкователи и собиратели права видели исключительно в том, чтобы исследовать историю этих текстов, а не их фактическое значение в жизни Древнего Рима. Для средневековья текст выступал, прежде всего, в качестве формы, носителя неких идей, понятий, норм, но не более того. «Правовой текст, – пишет В.А. Томсинов, – имел значение не как текст сам по себе, а как выражение определённых принципов, мнений» [140, с. 11]. Зачатки столь трепетного отношения правоведов к юридическому тексту стали заметны ещё с VI в. в конституциях византийского императора Юстиниана. Одновременно это означало отход от права, основанного на судебной практике! Ещё раньше, по мере угасания прецедентного права в постклассический период, судьи, решая споры, всё чаще и чаще обращались к мнению знатоков права.

Таким образом, право практической юриспруденции постепенно уступает позиции школам, развивающим правовую материю посредством теоретических заключений. Апогеем можно считать средневековую «университетскую» традицию римского права, когда глоссаторы придавали юридическому тексту как таковому высший авторитет, а в их подходе к тексту «нашёл своё яркое выражение так называемый схоластический метод мышления, согласно которому мысль, воплощённая в тексте, истинна сама по себе и не может быть опровергнута реальной жизнью» [140, с. 13]. Постглоссаторы ещё более усилили догматическую и систематическую обработку позитивного права. Равалис, Луллий и иные представители этой школы, «опираясь на идеи схоластической философии, стремились дать логическую разработку такой системы общих юридических принципов, категорий и понятий, из которых можно дедуктивным способом вывести более частные правоположения, нормы и понятия» [139, с. 96].

Прав З.М. Черниловский, когда пишет о том, что «на основе более чем “свободного” толкования права расцветают казуистика, “схоластические”, оторванные от реальных условий толкования закона, увлечения формально-логическими толкованиями, часто ложными и надуманными» [141, с. 181]. О какой же «рецепции» римского права может вообще идти речь, если схоластическая (университетская) традиция имеет сугубо средневековое происхождение? Как много римского, да и вообще античного, сохранилось в современном западном континентальном праве, которое традиционно рассматривают в контексте древнеримской правовой культуры?

Следует понимать, что интересующая нас судебная практика западного права по своей сути не была таковой, поскольку черпала опыт не из окружавшей жизни, но из сформулированных университетскими учёными филологических понятий и сложных логико-схоластических построений новокатолических образов! Как остроумно заметил О. Шпенглер, «западноевропейский юрист становится филологом, а практический опыт подменяется основанным всецело на себе самом опытом чисто логического разложения и соединения правовых понятий» [96, с. 546]. Да, постглоссаторы вновь обращаются к идеям естественного права и соответствующим учениям римских юристов и других своих предшественников, но такая юриспруденция оказывается насквозь пронизанной идеями и представлениями схоластической философии и теологии. Более того, постглоссаторы всячески избегали критического противопоставления естественного и позитивного права. Акценты расставляются на филологическом анализе источников рим-

ского права, их историческом понимании и абстрактном теоретизировании. Здесь не было места для практической юриспруденции.

Можно с уверенностью говорить о том, что западноевропейское правовое мышление, переняв многие античные слова, усвоило лишь поверхностное их значение. Большой период своей истории римское право являло собой право судебной практики во всевозможных его проявлениях, в то время как корни западного романо-германского права следует искать в книжных университетских схемах и церковных сборниках, которые лишь поверхностно и, по большому счёту, теоретизированно соприкасались с окружающей действительностью. Поэтому правы те учёные, которые сходство между древнеримской и западноевропейской традицией видят чисто внешним. Образно выражаясь, римская судебная практика – краеугольный камень античного права, действительный источник развития права, породивший самые разнообразные формы его позитивации. Если понимать юриспруденцию как деятельность, обслуживающую механизм функционирования и развития права, то римское право, указывает В.А. Томсинов, «как совокупность юридических норм есть в огромной мере создание римской юриспруденции» [142, с. 34].

Возможно, что нынешнее западное право, по прошествии почти двух тысячелетий, возвращается к античной древнеримской традиции, вновь придавая судебной практике творческий характер, что позволяет минимизировать разрыв между теорией и реальной жизнью, эффективно учитывать идеологические воззрения, экономические измерения и политический расклад сил современного общества.

1.6 Двусмысленность в реанимации функции труда и активизации финансовой деятельности

Показано влияние специфических условий городской экономики на фактор трудовой деятельности. Объясняются причины разного отношения к труду в средневековой Европе и в эпоху Нового времени. Рассмотрена гипотеза о двусмысленном статусе труда в системе европейских ценностей с точки зрения христианской морали. Реанимация функции труда как достойного и почётного занятия связывается с экономическим подъёмом Европы и урбанизацией общественной жизни. Анализируется «теория собственности» Джона Локка и её влияние на поведенческо-психологические установки нового европейского человека. Выясняются причины неразрывности трёх важнейших факторов экономического роста – труда, собственности и капитала, связи промышленной и финансовой революции.

Невозможно отрицать, что достоинства простой христианской жизни, оформившейся благодаря мирскому аскетизму, изменились под влиянием специфических условий городской экономики Нового времени, превратившись в прилежный труд, бережливость, сбережения, расчётливые инвестиции, короче говоря, в качества, приводящие к успеху в земных делах. Основой различия являлись не только и не столько деньги. Отныне социальная иерархия определялась и другой ценностью – трудом.

Возможно, даже покажется естественным, что лень, разврат, обжорство, неумеренность, гордыня, зависть и другие пороки стали довольно накладны не только из-за того, что за них приходилось платить, но также из-за ущерба, который они наносили возможным инвестициям. М. Новак свидетельствует, что «...и сегодня руководители корпораций утверждают, что тот, кто разместит свои предприятия в городах, населённых мормонами – людьми наиболее близкими по своему поведению тем здоровым людям, которых описал

М. Вебер, будут располагать одними из самых надёжных, достойных, прилежных и полагающихся на собственные силы работников во всей стране» [64, с. 369].

Надо отдать должное Дж. Локку, который в своём сочинении *«Два трактата об управлении»* (1690 г. – анонимное издание) обосновал идею, что источником материального богатства является труд. Как заметил Р. Пайпс [47, с. 55], эта мысль очень понравилась стране, в которой значительную часть жителей составляли самостоятельные фермеры, ремесленники и лавочники. По правде говоря, Локк не был первым, кто выдвинул это соображение; на полвека ранее оно появилось у левеллера Ричарда Овертона. А ещё до того, двумя тысячелетиями раньше, Перикл говорил, что каждый афинянин способен «сам по себе ... проявить свою личность».

В средневековой Европе отношение к труду было иным. Он не имел целью экономический прогресс – ни индивидуальный, ни коллективный. Обеспечить минимум, создавать необходимое – такова была трудовая этика. Всякий экономический расчёт, который пошёл бы дальше предвидения необходимого, сурово осуждался. Обеспечить средства существования – дальше этого экономика не шла. В меньшей степени это касалось высших слоёв, которым нельзя было опуститься ниже определённого ранга. Практиковались потребительские займы, но производственного почти не существовало. Что касается трудовой деятельности, она предполагала [38, с. 271], помимо религиозных и моральных устремлений (избежать праздности, которая прямым ведёт к дьяволу; искупить, трудясь в поте лица, первородный грех; смирить плоть), в качестве экономических целей обеспечить как своё собственное существование, так и поддержать тех бедняков, которые не способны сами позаботиться о себе.

Ещё св. Фома Аквинский (вышедший из мелкого земельного дворянства и проникнутый идеями автаркической экономики Аристотеля) сформулировал эту мысль в трактате *«О правлении государей»* [143]: «труд имеет четыре цели. Прежде всего и главным образом он должен дать пропитание; во-вторых, должен изгонять праздность, источник многих зол; в-третьих, должен обуздывать похоть, умерщвляя плоть; в-четвёртых, он позволяет творить милостыни». Естественно, что это безразличие и даже враждебность по отношению к производительному труду и экономическому росту отражались в сфере денежного хозяйства и оказывали серьёзное сопротивление развитию в обществе духа наживы и накопительства.

Не случайно в условиях такой примитивной экономики средневековый Запад постоянно терзал страх голода, а средняя продолжительность жизни человека составляла 30 лет. Невыносимость материальных условий существования породила новую философию трудовых отношений. Нельзя сказать, что в Европе её не было вовсе. Культ труда явно обозначен в иудаизме. Пол Джонсон [100, с. 197] отмечает, что раввинистский иудаизм требовал, чтобы те, кто способен и одарён, были ещё трудолюбивыми и результативными. С его помощью древние законы приспособлялись к изменяющимся условиям посредством рационализации. Позднее Реформация реанимировала функцию труда в христианстве, и не случайно протестанты с евреями были самыми удачливыми новаторами в финансово-экономической сфере.

Но до этого очень длительный период труд в системе европейских ценностей обладал двусмысленным статусом. Перемену отношения людей к основной сфере человеческой деятельности лучше всего, считает Ж. Ле Гофф [97, с. 224], отследить на примере монастырской жизни. Как известно, монастырские уставы налагали на монахов двойное бремя: интеллектуальный труд по переписке рукописей (что блестяще отражено в романе Умберто Эко *«Имя розы»* [107]) и экономический, сельскохозяйственный труд ради пропитания. Эта обязанность трудиться была для монахов актом покаяния, к тому же книга Бытия говорит, что Бог обрёк Адама и Еву на труд в наказание за первородный грех. Но Ветхий Завет содержит и иной сюжет, по которому образ Божий

в человеке недвусмысленно выражен в человеческой способности созидать. Человек сразу же после его сотворения помещается Богом «по подобию своему» в процесс созидания, и ему предоставляется пространство для созидательной деятельности – Эдемский сад, причём Бог однозначно фиксирует, что сад даётся не просто так, а для реализации Богом данной человеку созидательной способности – чтобы «возделывать его и хранить его» (Быт. 2, 15) [144]. Так, вместе с семьёй и домом – садом человеку было дано, как бы мы сейчас сказали, и право на труд. Однако двусмысленность в оценке труда не оставляет сомнений, о чём ещё несколько слов.

Монастырский труд, являясь покаянием, был также и искуплением, и вот таким образом возникло понятие о труде как ценности. Поскольку такие почётные люди, как монахи, трудятся, то это уж как минимум богоугодное христианское дело. А вот так называемые монахи «созерцательных» орденов, а также воины, рыцари и дворяне были вынуждены считаться с возрастанием значения труда в обществе и в умах. Отсюда и принято считать, что ремесло военного также полезный ратный труд в защиту слабых. И проповеди клириков стали считаться похвальным делом, что говорит о том, какой неопределённостью и неполнотой страдало представление о труде в Средние века.

Если же говорить о труде в его современном понимании, то зачатки следует искать в период экономического подъёма Европы, а это никак не раньше XIII века. Именно тогда «технологический прогресс в области сельскохозяйственных работ, развитие ремесленного труда в городах, стремление к богатству и более высокому социальному статусу, достижимым с помощью труда, наложились на образ труда как такового» [97, с. 225]. В это время торговцы и университетские профессора получили признание в обществе, поскольку их деятельность стала считаться полноценным трудом.

С другой стороны, моментально возникло и закрепилось различие, даже противопоставление между ручным и интеллектуальным – творческим трудом. Оказывается, труд может быть одновременно и достойным, и недостойным. Этой двусмысленности способствовало также и то, что «церковь, богатые и обладающие властью воспевали труд, кажется, только для того, чтобы держать тружеников в рабстве у хозяев» [97, с. 226]. Но когда по мере секуляризации Европы, развития индивидуальности – частного сознания и совершенствования экономических форм и практик человек захочет работать на себя, это вызовет гнев традиционных феодально-клерикальных структур. В новаторстве, изобретениях и различных проявлениях научно-технического прогресса они запоздало разглядят реальную угрозу своему могуществу, которое сотни лет казалось им незыблемым.

Если прогрессивные взгляды и методы в сфере материального производства вызывали такое отторжение, то что говорить про финансовую составляющую? А ведь без этих инноваций человечество не смогло бы проделать путь от унижительного существования на грани голодной смерти до поистине головокружительных высот материального благополучия, так хорошо знакомых немалому числу обитателей Земли. Эволюция кредитных отношений занимает своё законное место наряду с важными достижениями человечества. В рассматриваемую нами эпоху именно банки с рынком облигаций послужили надёжной материальной основой, на которую опиралась экономика нового типа. Но в массовом сознании и во взглядах церковных бонз финансовые новшества всегда представлялись коварными происками проклятых кровопийц, которые стремятся выпить все жизненные соки из тружеников и залезших в долги семей. Всего хватало – денежной кабалы, афер, разорений состояний, финансовых кризисов и всякого рода мошенников, но отрицать роль финансовой системы в жизни человечества просто глупо.

Как выясняется, специалисты по истории вопроса расходятся в оценке влияния взрывного развития финансов начиная с XVII века на ускорение роста всей экономики,

начавшегося в Англии, а затем распространившегося на Западную Европу и крупные европейские поселения в Северной Америке и Австралии. Например, Ниал Фергюсон [52, с. 65] убеждён, что ни один человек в здравом уме не будет спорить с тем, что финансовая революция предшествовала революции промышленной. Что правда, решающие шаги в текстильной промышленности и металлургии – а именно эти отрасли находились в авангарде революции – были сделаны практически без помощи банков, но их роль в развитии событий на континенте была гораздо больше, чем в Англии. Не стоит расходовать время на тщетный поиск железной причинно-следственной связи, вроде «усложнение кредитных отношений подтолкнуло к росту» или «экономический рост повлёк за собой скачок в финансовом мастерстве». Скорее всего, процессы развивались независимо друг от друга и черпали силы из своих внутренних источников.

Адам Смит отзывался о финансистах с одобрением: «Благоразумные банковские операции, заменяя бумажными деньгами значительную часть этого золота и серебра... [создают], если позволено употребить такую метафору, своего рода воздушный путь, дают стране возможность как бы превращать большую часть её дорог в хорошие пастбища и хлебные поля и таким образом весьма значительно увеличивать годовой продукт её земли и труда» [52, с. 66]. Как видно, великий экономист в 1776 г. зафиксировал и доказал связь финансов, собственности и труда, но веком ранее Дж. Локку пришлось доказывать саму «трудовую теорию собственности».

По Локку, собственность образуется тогда, когда человек прилагает свой труд к ничейному предмету. И дело обстоит именно так, потому что мы, конечно же, «обладаем собственностью» на самих себя и, в расширительном смысле, на всё, что мы производим: «Хотя земля и все низшие существа принадлежат сообща всем людям, всё же каждый человек обладает некоторой *собственностью*, заключающейся в его собственной *личности*, на которую никто, кроме него самого, не имеет никаких прав. Мы можем сказать, что труд его тела и *работа* его рук по самому строгому счёту принадлежат ему. Что бы человек не извлекал из того состояния, в котором природа этот предмет создала и сохранила, он сочетает его со своим *трудом* и присоединяет к нему нечто, принадлежащее лично ему, и тем самым делает его своей *собственностью*. Так как он выводит этот предмет из того состояния общего владения, в которое его поместила природа, то благодаря своему *труду* он присоединяет к нему что-то такое, что исключает общее право других людей. Ведь, поскольку этот труд является исключительной собственностью трудящегося, ни один человек, кроме него, не может иметь права на то, к чему он однажды его присоединил, по крайней мере в тех случаях, когда достаточное количество и того же самого качества (предмета труда) остаётся для общего пользования других» [145, с. 142].

Комментируя сказанное, Р. Пайпс умозаключил [47, с. 56], что к словам Рене Декарта «мыслю, следовательно, существую» Джон Локк, по сути дела, добавил «существую, следовательно, имею собственность»: я обладаю собственностью на самого себя, то есть на всё, что создаю. Более того, представление, что простейший вид нашей собственности – это мы сами, то есть наша личность, наше тело, означает, что собственность по необходимости предполагает свободу. Ибо сказать, что мы «принадлежим себе», то есть являемся своей «собственностью», равносильно утверждению, что мы вольны располагать собой, в чём и состоит смысл свободы.

Лично нам импонируют антисоциалистические взгляды Локка по вопросам труда и собственности, согласно которым неравенство в собственности и даже отсутствие собственности у части людей обосновывается неодинаковой разумностью и неодинаковым прилежанием людей. Так, он утверждает, что, хотя мир и дан всем людям для их блага, но не для того, чтобы оставаться в общем владении, а для того, «чтобы им пользовались прилежные и рассудительные» [187, с. 280]. Вначале Локк допускает ограни-

чение размеров частной собственности: «Человек имеет право обратить своим трудом в свою собственность столько, сколько он может употребить на какие-нибудь нужды своей жизни... А то, что выходит за эти пределы, превышает его долю и принадлежит другим» [187, с. 279]. Однако далее он утверждает, что с развитием средств обмена люди по добровольному согласию пришли к решению, что «человек может честно иметь гораздо большее количество земли, нежели то, с которого он может использовать продукт» [187, с. 290]. Государство, одной из основных функций которого Локк считает охрану частной собственности, представляется ему гарантом равных свобод и равных возможностей для всех людей.

Такая «*трудовая теория собственности*» очевидна и привлекательна, но её использовали и для нападков на собственность. Как и все теории, она имеет уязвимые места. Ведь через неё, согласитесь, никак не оправдать унаследованное богатство, к созданию которого не были приложены никакие личные усилия. Те же, кто создаёт продукцию на фабриках и заводах, в собственность её отнюдь не получает. По Д. Рикардо, такому фактору производства, как труд, соответствует не прибыль, а заработная плата (в отличие от коммерческой предприимчивости).

Не случайно в XIX веке антисобственнические идеи были использованы социалистами и анархистами, утверждавшими, что при «капиталистическом» способе производства трудящимся массам не достаются плоды их труда, и поэтому средства производства подлежат национализации. Но в XVII столетии в Англии и её владениях принцип неприкосновенности частной собственности стал общепринятым.

Позднее он был подкреплён утилитаристскими доводами ввиду непреодолимых трудностей с нравственным оправданием собственности (первым с таким взглядом на вещи выступил шотландский философ Дэвид Юм, а из чего именно складывается «интерес и счастье человеческого общества», разъяснил самый влиятельный экономист того времени Адам Смит). Концепция Локка имела ясный и однозначный политический смысл: король не должен нарушать ни одно из прав собственности своих подданных; если он такое допускает, то оказывается в «состоянии войны» с ними и повиноваться ему не следует. Он первым обосновал идею о праве народа на восстание: «...когда ... законодатели пытаются отнять и уничтожить собственность народа или повергнуть его в рабство деспотической власти, то они ставят себя в состояние войны с народом, который вследствие этого освобождается от обязанности какого-либо дальнейшего повиновения... В подобных случаях, пишет Локк, «самым подходящим *третьим судьёй* должен являться *народ* в целом» [187, с. 390; 404]. В такой форме Локк теоретически обосновал необходимость свержения монархии Стюартов.

Как бы то ни было, в отличие от Франции, где было развёрнуто широкое наступление интеллектуалов на частную собственность, в Англии взгляды радикал-левеллеров об «одинаковых правах на собственность» успеха не имели, распространение получили иные взгляды. Не случайно современные исследователи сходятся во мнении, что «Локк в своём философском провидении шагнул в XX век, и сегодня он – мудрый союзник сил мира, гуманизма и прогресса» [146, с. 169]. Его могучая поступь всегда привлекала и будет привлекать пытливую мысль потомков, а нижеследующая фраза – квинтэссенция его изысканий.

Неравенство результатов – закономерное явление при честных правилах игры и абсолютной ответственности человека. Поведенческо-психологическую установку нового европейского человека можно сформулировать так: те, кому многое дано, могут не использовать свои таланты, растратить их напрасно; другие добиваются даже большего в сравнении с тем, что им было дано.

Лучше всего об этом сказал И. Губерман: «Человек вознаграждается чувством счастья не за то, что создал что-нибудь великое и величественное, а за то, что изо всех

сил к собственному потолку приближался, к пределу своих способностей» [147, с. 28]. В конце концов, иудейское и христианское видение признаёт, что Бог не обещал равенства результатов, а религиозное сострадание не означает абсолютного равенства. Главное – при капитализме индивид много свободнее, чем при какой-либо иной известной человечеству системе организации экономики. Но его демократический облик сформировался через неизбежные страдания и лишения, для этого понадобился целый комплекс политических и культурных институтов, череда войн, смут и революций.

1.7 Инновации, наука, образование как факторы необратимых изменений

В системе формирующегося миропорядка инновации, наука, образование предполагаются необходимыми факторами осуществляемых преобразований. Объясняется, почему столь важны для капиталистической революции ум, интеллект и склонность к изобретательству. Показаны особенности умственной деятельности, хозяйственно-активных элементов в изменяющихся экономических условиях. Учёба и преподавание наук невозможны без городских школ и университетов. Появление книгопечатания видится важнейшим этапом в формировании новой западной ментальности. Сопоставляется роль латыни и народных языков в развитии наций, образования и общего самосознания европейцев. Делается вывод о том, что не только экономические, но и социокультурные факторы серьёзно поспособствовали необратимым изменениям.

Формирующийся в эпоху позднего Средневековья новый европейский миропорядок был порождён множеством причин. Колоссальные изменения касались всех сторон жизни. Рост городского самосознания, упадок католической церкви и власти феодалов, возрождение античных идеалов, индивидуализация человека, бурное развитие торговли и промышленности на фоне начавшейся технической революции, европейская экспансия и Великие географические открытия, обретение новых чётких политических и юридических форм – всё это и многое другое изменили облик Европы. Среди разнообразных факторов самыми весомыми полагают экономические, но были и иные, без которых финансово-экономическая система никогда не обрела бы законченных форм.

Капитализм невозможно понять через привычные нам экономические показатели. Например, три «классических» элемента капитализма (те самые, которые выделял К. Маркс, – частная собственность, рынки, накопление капитала) не позволяют отличить капитализм от меркантилизма и других традиционных систем экономики. Всё дело в частной инициативе, определяемой мотивом получения прибыли, т.е. в специфическом экономическом поведении. Но для того, чтобы уловить действительную разницу между экономическими системами с традиционной концепцией частной собственности и капитализмом, обратим внимание и на другие вещи (инициативу с древних времен демонстрировали многие землевладельцы и все торговцы). Речь идёт об изобретательности и инновациях, науке и образовании.

Важнейший сдвиг, который отличает капитализм от всех предшествующих экономических систем, равно как и от социализма, есть его общественная организация, основанная на том принципе, что первейшим источником богатства являются, грубо говоря, мозги (разум) человека. Небольшое отступление из XXI века: «Если подсчитать всё имущество “Майкрософта”, то оно будет стоить только 6% от стоимости всей компании. Что же стоит остальные 94% денег? Мозги. Люди. Идеи. Билл Гейтс (человек без высшего образования. – А.П.) говорил, что если его компанию покинут 20 человек, она перестанет существовать» [91, с. 44]. «Майкрософт» прекрасно иллюстрирует мощь

интеллектуально-информационной экономики. Если в корпорации работает 20 тысяч человек, а её рыночная стоимость примерно 500 миллиардов, то получается, что удельная стоимость компании составляет 25 миллионов долларов на одного работающего. Этот принцип и связанная с ним форма социальной организации переносит акцент деятельности, направленной на поиски богатства, с земли, золота и других материальных объектов на поиски общественно полезных идей, которые (коммерческий интерес!) могут быть запатентованы.

«Капиталистическая революция – это революция в сфере интеллекта, изменяющая мир повседневной деятельности, обесценивающая материальные вещи как простые объекты», – доказывает Майкл Новак [64, с. 447]. Именно благодаря этому изменению акцента возникают новые технологии. Капитализм – не только рынок, частная собственность и прибыль, но куда более разнообразная и сложная социальная реальность, включающая в себя политические, религиозные, моральные и психологические факторы.

Это помогает понять многое и в наши дни. Авторитарная власть под видом «сильного государства» откровенно показывает, что для неё население ресурсом не является, ресурсом являются, например, нефть и газ. Поэтому столь ущербны страны с т.н. «сырьевой экономикой». Обеспечив избыточное финансирование силовикам и штатным пропагандистам, крохи с барского стола от «нефтяного пирога» сбрасываются электорату незаработанными зарплатами и социальными пособиями: «Авторитаризм весьма способствует загниванию и коррупции. Особенно наш (т.е. российский. – А.П.). [...] Властям проще кинуть электорату кость, чем скрупулёзно договариваться с обществом по тысяче вопросов. Мы вам, плебсу, кидаем подачки, а вы нам не мешаете спокойно управлять и делить нефтегазовые деньги. Подачки плебсу – это и есть социальная политика. Чем больше подачек – тем больше народная поддержка» [148, с. 530]. Однако любой мировой финансовый и сырьевой кризис – и вся конструкция примитивного государства трещит по швам, как в XVI, так и в XXI веке. Социальный взрыв становится неминуем. Особенно заметно их отставание от передовых стран в сфере науки и образования, что явно обозначилось с наступлением Нового времени.

Бурный рост экономики предполагает стремительное повышение образовательно-интеллектуального уровня социума (давать расписки, заключать сделки, вести бухгалтерию). В предшествующий период, как пишет Вернер Зомбарт [62, с. 23], несовершенство мышления, недостаток умственной энергии, недостаток духовной дисциплины встречаются у людей того времени не только в деревне, но и в городах, которые в течение долгих столетий являлись разросшимися деревнями. Более того, аналогичное этому явление проявилось в хозяйственной сфере, где был очень слабо развит навык к числовому учёту, к точному измерению величин, к правильному орудованию цифрами. Это объяснимо, ведь в докапиталистический период производили ещё не меновые ценности, но исключительно потребительские блага, т.е. качественно различаемые вещи. Однако для такой умственной и волевой энергии требовалось иное информационное поле.

Индивиды получают доступ к самой разной информации, тем самым разрушается монополия феодалов и особенно церкви на её владение. Уже к XIII в. городские школы решительно опередили монастырские, эти новые центры благодаря своим программам и методикам, благодаря собственному набору преподавателей и учеников стали самостоятельными. Учёба и преподавание наук стали ремеслом, одним из многочисленных видов деятельности, которые были специализированы в городской жизни, «грамматика как самостоятельная наука окончательно сформировалась в XIII веке» [76, с. 151]. Книга из объекта почитания превратилась в инструмент познания, она «передавала накопленные человечеством знания, служа как бы общественной, коллективной памятью» [41, с. 29].

Более того, книга становится массовым продуктом потребления, так как начиная с XII века благодаря усилиям бюргерства создаётся система «начальных» и «средних»

школ, заложивших основную базу европейского образования. На смену неудобным в обращении свиткам пришёл codex – манускрипт, разбитый на страницы, и спрос на них возрастал с увеличением числа городских школ. Эволюция приёмов торговли и возрастающая роль делопроизводства в ремесле купцов и банкиров развивалась в определённую интеллектуальную культуру. Именно деловые запросы купцов привели, по мнению Ж. Ле Гоффа, к появлению первой городской школы в Генте в 1179 году: «Распространение письма, счёта, географии, преподавание живых языков и повышение их значения в обществе дали толчок постепенному обмирщению культуры» [97, с. 181]. В области счёта создаётся замечательное произведение «Книга абака», опубликованное в 1202 году Леонардо Фибоначчи [52]. Он вводит в употребление арабские цифры, ноль, позиционную форму записи чисел, действия над дробями, предлагает пропорциональный ряд. Так укреплялся союз между деньгами и образованием.

Если ранее продуктивность умственной деятельности казалась средневековому человечеству такой же низкой, как и продуктивность его сельскохозяйственной деятельности, то теперь ментальность, эмоции, поведение настраивались на новый лад. Эволюция проявлялась и в том, что в противовес аргументированию ссылками на авторитет всё большее значение приобретала практика логического обоснования аргумента. Грамотность как необходимое условие участия в новых отношениях становится важнейшим фактором развития образования и науки.

В рассматриваемый период такое понимание становится общим местом, ранее об этом говорили и писали единицы. Поэтому несколько слов о тех, кого называют основоположниками европейской культуры. Например, Ж. Ле Гофф [97, с. 34] сюда относит Боэция (484–520), переведшего и прокомментировавшего все сочинения Аристотеля, которые были известны до середины XII века («*Старая логика*» и «*Категории*»). Кроме того, он дал определение личности как «индивидуальной субстанции разумной природы», написал популярный трактат «*Утешение философией*», обосновал многие понятия и словесные категории. Кассиодор (490–580) – не менее важная фигура, он организовал систематическую работу по переводу греческих текстов, стоял у истоков книжной и библиотечной культуры, впервые рассмотрел интеллектуальный труд как божественное служение, объяснил значимость энциклопедии как основной формы распространения образования и культуры. Однако самым учёным из людей той эпохи называли Исидора Севильского (570–636). В основе его «*Этимологий*» лежит несколько важных идей: 1) названия – ключ к сути вещей, 2) чтобы как следует понять Священное Писание, необходима светская культура (!). В этой книге проявилось его намерение собрать воедино накопленные человечеством знания, и эта идея нашла блестящее воплощение в трудах англосакса Беды (673–736), за что он получил почётное прозвание «Достопочтенный» и считался последним из Отцов Церкви. Его «*Церковная история народа англов*» (731 г.), написанная на латыни, стала первой попыткой воссоздать национальную историю, а в конце IX века король Альфред перевёл её на английский язык. В трактате «*О времени*» он предлагает научный способ измерения времени и вообще многое из того, что мы бы отнесли к «багажу» светской энциклопедической культуры. Его опыты в исследовательской лаборатории сродни тому, что будут проделывать в средневековых университетах. Именно поэтому деятельность указанных новаторов проложила мостик к новому пути Европы.

Всё сказанное свидетельствует о вызревании не только церковного, но и светского знания, однако к организационно-правовым формам неединичных случаев можно было перейти только с вызреванием соответствующих условий. И они настали. Европейский XIII век, век городов и торговли, наконец породил впечатляющее достижение человечества – университеты как «высшие» школы, где происходит обучение энциклопедического типа. Университеты очень поспособствовали интернационализации Евро-

пы, поскольку профессора и студенты путешествовали повсюду и охотно перебирались из страны в страну с целью распространения и поиска знаний. Наряду с торговцами и проповедующими монахами они «соткали» то, что можно назвать общеевропейским ландшафтом. Не зря Ж. Ле Гофф [97, с. 186] обронил, что в Европе XIII века университетский преподаватель возникает одновременно с купцом. Далее мы просто воспроизведём поразительный фрагмент текста из книги указанного автора, который иллюстрирует изменения ментального образа европейца.

«Купец, которого сначала обвиняли в том, что он продаёт время, принадлежащее одному Богу (барыш приходит к купцу, даже когда он спит), а потом оправдали в XIII веке за его труд и за полезность этого труда, – фигура, близкая к университетскому преподавателю, которого тоже обвиняли в XII веке в том, что он продаёт благо, принадлежащее одному Богу, – знание, и который тоже был впоследствии оправдан за то, что трудится, преподавая студентам, и, значит, может получать плату за свой труд. Европа интеллектуального труда рождалась бок о бок с Европой труда торгового» [97, с. 186–187]. Так и появился университетский труд, связанный с размышлением, письмом и исследовательской деятельностью.

С XIII века в Европе работали университеты, первый – Болонский, откуда берёт начало рецепция римского права в Западной Европе [140, с. 6]. К XIV веку их – 12, к XV – больше 40. В XVI–XVII веках зародилась полноценная наука, в 1400 году Краковский университет полностью перестраивается по образцу парижской Сорбонны, а инициатором выступил Владислав Ягелло – русин на три четвёртых. Ничего подобного нет в Московии, а вот в ганзейском Новгороде жители грамотны поголовно, для них мистические способы богопознания неприемлемы.

Болонский университет, в котором уже с 1154 года Фридрих Барбаросса предоставил профессорам и студентам привилегии (от Папы свой статус он получил только в 1252 году), специализировался главным образом на юриспруденции. Основанный королём Альфонсом IX Леонским в 1218 году университет в Саламанке также имел правовую направленность, там была создана кафедра гражданского права и три кафедры канонического права. Большие успехи в юриспруденции были достигнуты в Тулузском университете, основанном как следствие Парижского договора, который в 1229 году положил конец крестовому походу против альбигойцев. Знаменитая Сорбонна, получившая привилегии от Папы Целестина III в 1174 году, помимо богословия (там преподавал сам Фома Аквинский) известна и тем, что готовила «легистов» для государственного управления. Юридические факультеты, надо сказать, представлялись для студентов наиболее привлекательными наряду с медицинскими, хотя выше всех в иерархии располагался факультет богословский.

В Западной Европе благодаря университетам реализуется идея о том, что «общество должно управляться правом и подчиняться нормам разума. [...] Философы и юристы требовали, чтобы общественные отношения были основаны на праве и чтобы был положен конец режиму анархии и произвола, царившему в течение веков» [127, с. 33]. Поэтому, как полагает Рене Давид [127, с. 34], в университетах не акцентировали внимания на «практическом» праве, а рассматривали его как модель социальной организации. Не случайно национальное право начинает преподаваться лишь с XVII века (впервые в шведской Упсале с 1620 года), а до этого бесспорно первостепенное значение имело изучение римского права. Преподавание римского права было в чести в университетах [109, с. 31], поскольку использовался схоластический метод, столь почитаемый в Средневековье.

Образование превратилось в необходимо-элементарную базу для карьеры и материального достатка, дальнейшего творческого и интеллектуального роста. Непригодная для реальной экономики латынь заменяется живыми языками, что стимулирует рост

национального самосознания народов Европы. Данте Алигьери, написав в 1320 г. «*Божественную комедию*» на народном итальянском, вызвал тем самым гнев католических клерикалов. Ещё ранее, в своём трактате 1305 г. «*De vulgari eloquentia*» («О народном красноречии») Данте осмелился констатировать очевидный факт: «Существует множество народных языков, и народный язык как язык естественный противостоит латыни, которая является примером универсальной, но искусственной грамматики» [99, с. 43]. Что интересно, отмечает Умберто Эко [99, с. 44], будучи апологией народного языка, этот трактат написан на латинском. Данте – поэт, творивший на народном языке, но Данте – мыслитель, воспитанный на схоластической философии, и Данте – политик, питающий надежду на возвращение наднациональной империи, знает и использует язык, общий как для философии, так и для политики и международного права. Но пресловутый «вульгарный» (т.е. народный) язык – это язык горожан, торговцев, ремесленников, претендующих на свое место под солнцем.

Позиции латыни объяснимо были сильны: на ней преподавали в университетах и служили христианские литургии, осуществлялась дипломатическая переписка и писались научные трактаты. Однако расширение Европы за счёт народов, говоривших на других языках, приводило к тому, что латынь всё более становилась уделом клириков и элит. Причём речь идёт о достаточно искусственной схоластической латыни: «Она ещё долгое время оставалась пригодной для академических трудов, для богословия, философии, рассуждения; этот, по выражению Кристины Морманн (Mohrman), “технический язык внутри абстрактного языка” служил основным инструментом европейской мысли. Но это был язык Европы элитарной» [97, с. 206].

Суверенизация государств, особенно в период Реформации, способствовала развитию письменности на национальных языках, созданию на них литературы и юридических документов. Билингвизм по всей Европе оставался, при этом социальной и политической элите приходилось улучшать своё знание местных языков и всё чаще ими пользоваться. Статуты Великого Княжества Литовского – тому яркий пример.

Светский и экономически прогрессивный зарождающийся строй лишает феодалов и церковников возможности полностью контролировать информационные потоки и владеть монополией на сознание людей. Книгопечатание перевернуло всё окончательно: «...изобретение печатного станка, без всякого сомнения, представляет собой настоящую демократическую революцию. Невозможно представить Реформацию и распространение Библии без печатного пресса» [150, с. 115]. До 1500 года было напечатано более 1000 книг в немецких типографиях, но к 1500 году в Европе было уже более 1000 печатных станков.

Изобретение книгопечатания – результат заметного повышения интереса к чтению, торжества письменности и авторитета книги. Лидерами в книгопечатании были Антверпен и Венеция – крупные экономические центры, в типографиях этих городов выходит всё меньше религиозных текстов, но всё больше книг, обращённых к различным областям человеческих знаний. Удешевление книгоиздания и создававшаяся конкуренция породили массового читателя, о чём будет сказано далее.

Книга становится важнейшим атрибутом «нового ментального оснащения» [38, с. 417]. Возникают новые категории читателей, кроме преподавателей и студентов к грамоте приобщается всё больше мирян; «следовательно, можно говорить о том, что посредством эволюции книги происходила секуляризация христианского мира» [97, с. 196]. Чтобы через «среднюю» школу попасть в «высшую», необходимо было освоить изрядное количество книг.

Как пишет А.М. Буровский [87 с. 502], через образование в университетах проходит всё более значительное число молодых людей. Рациональное знание, рациональный подход к явлениям природы и жизни становится всё более обычным. Но это было

возможно в контексте городской культуры: «Городской дух реформирует великую религию раннего времени и устанавливает рядом со старинной сословной новую буржуазную религию – *свободную науку*» [96, с. 99]. В глазах же религиозного мистицизма, говорит К. Поппер [86, с. 281], наука представляет собой нечто вроде преступления, поскольку мистицизм избегает практики, заменяя её созданием мифов.

Наука как новая форма общественного сознания обретает всё больший авторитет, поэтому знание, ум, книжное учение – это очень важно. Даже Бога надо познать, как познаётся объект изучения в науке. Учёный, который изучает священные книги, – уважаемый и значительный человек. Учёный, который исследует материальный мир, постигает Господне творение, проникается пониманием его гармонии. Он тоже совершает богоугодное дело, познает Бога через одну из сторон его творения. Поэтому накапливать, систематизировать, передавать знание, работать с информацией, использовать её во всё новых сферах жизни – дело благое и священное. Да и раньше учёные-монахи занимались наукой в монастырях (тот же Роджер Бэкон), но такая деятельность не носила публичного характера, знание оставалось уделом особо посвящённых, не работало на социум.

Это хорошо иллюстрируется на примере книги, которая приобретала утилитарное значение и перестала быть предметом сакральным. Надо очень хорошо себе представлять, что «университетская книга и книга монастырская – весьма отличны друг от друга. Нельзя, конечно, отрицать, что и в монастырях книга была инструментом культуры. Но монастырская книга, в том числе и в своей духовно-интеллектуальной функции, играла прежде всего роль сокровища. В отличие от этого университетская книга была инструментом познания» [38, с. 418].

Как полагает Жан-Клод Карьер, «XVI и даже уже XV век были в Европе временами весьма беспокойными, когда те, кого мы назвали бы сейчас интеллектуалами, поддерживали между собой постоянные эпистолярные отношения. Они переписывались на латыни. А книга в эти непростые времена – это предмет, который имеет хождение повсюду, без преград. Она является одним из средств сохранения знаний» [150, с. 116]. Благодаря венецианскому печатнику Альду Мануцио в XVI веке придумали книгу карманного формата, и более эффективного способа перемещения информации с тех пор так и не было изобретено.

До появления книгопечатания книга была очень дорогой, что плохо воспринималось членами странствующих орденов, проповедовавших практику бедности во всём. Всё изменилось в связи с настоящим бумом, который вызвало книгопечатание во всех цивилизованных землях Европы: «Оно удешевило книги; цена их сделалась ещё доступнее небогатым людям, когда вместо пергамента стала употребляться для печатания бумага из льняных тряпок или из хлопка. Дешевизна книг распространила просвещение в небогатых сословиях, остававшихся прежде чуждыми ему. Духовная цензура, учреждённая в Кёльне, Майнце, других городах и через некоторое время, по распоряжению папы, введённая везде, не могла остановить распространение знаний, производимое книгопечатанием. Почта, учреждённая в Германии Максимилианом, во Франции Людовиком XI, тоже помогала возникновению нового времени, облегчая письменный и личный обмен идей», – объясняет Георг Вебер [40, с. 204]. Что было ранее? По мнению А.Л. Ястребицкой [41, с. 19], единый язык средневекового богослужения и средневековой науки – латынь – облегчал перемещения богословов и священнослужителей, так же как единство обычаев господствующего класса способствовало передвижению рыцарей от одного феодального двора к другому.

Распространению грамотности предшествовало завоевание мира европейцами, это была эпоха Великих географических открытий. Как выяснили колонизаторы, «грамотность была излишней и ненужной для подавляющей части населения земного шара

во все времена, так как книги были редкостью, сосредоточенной в немногих физически удалённых от большинства людей местах. [...] После европейской экспансии неграмотность и невежество стали не естественным (и часто вынужденным) состоянием большинства, а делом индивидуального выбора» [44, с. 8]. Изолированные друг от друга цивилизации были сметены под европейским натиском.

Помимо вооружённых экспедиций важнейшую роль играло христианское миссионерство. Поэтому с XVI века даже католическая церковь осознала необходимость адаптации к новым условиям и уже крупными учёными своего времени были многие епископы и функционеры церкви, а практически все основатели духовных орденов и любых движений – тем более (например, иезуиты). Учёных-монахов, преподававших в университетах, быстро дополнили учёные-миряне, чьи занятия наукой уж по крайней мере не осуждались, а часто и поддерживались. Здесь уместен Ф. Ницше: «Современная наука имеет своей целью минимум страдания и максимум продолжительности жизни – т.е. своего рода вечное блаженство, правда весьма скромное по сравнению с обетованиями религий» [151, с. 310]. С XVI в. нерелигиозность перестаёт быть предосудительной.

В культурной среде латинского средневековья происходят необратимые изменения: «В какой-то момент схоластика, будучи учением универсального католического государства (конституцией которого являются богословские суммы, энциклопедией – соборы, а столицей – Парижский университет), начинает понимать, что ей приходится считаться с народными языками; с формированием новых ересей; с новой экспериментальной и количественной наукой; с другими представлениями об индивиде и обществе, о дозволенном и недозволенном, о счастье и грехе, об уверенности и тревоге, с новыми представлениями о прекрасном, безобразном и искусстве» [42, с. 303]. Вместо богословия с его ангелами, дьяволами и Страшными судами формируется новое христианское мировоззрение, приближенное к земной реальности.

В православной Московии было иначе. Рациональное знание не священно, не осмысленно. Можно учиться – а можно и не учиться. Знание не священно, не свято. Учёность даже лишнее, потому что будит грех гордыни и мешает смирению духа. Философские труды не писались, опыты не ставились, идеи не оформлялись. Не люди были такие второсортные, система была мракобесной. Сколько русских людей прожили жизнь и умерли, даже не узнав, что они талантливые учёные? Всегда жаль бывает тех, кто имел шанс, но не воспользовался им. Но особенно жаль тех, у кого и не было шанса, кому его не дали. Не случайно из 16-ти дворянских детей, отправленных Борисом Годуновым учиться в Европу, не вернулся ни один. В непросвещённом обществе какие уж передовые политические и правовые взгляды, дикий деспотизм – облик общественного устройства. Но и в эпоху «мрачного» средневековья передовым людям Европы было не легче.

Отсюда понятны гонения на науку и ограничения распространения грамотности среди населения. Чем темнее и забитее народ, тем легче им управлять и манипулировать. Умышленное торможение научно-технического развития помогало правящим классам сохранять власть. Достаточно вспомнить, как по наущению феодалов церковники пытались запретить огнестрельное оружие, но впоследствии вооружённые им горожане уничтожали рыцарские замки, тем самым положив конец военной монополии феодальной элиты. В городах (оазисах передовой экономики) развиваются новейшие технологии и их неизменная спутница – фундаментальная наука. Все эти факторы в совокупности (торговля, урбанизация, пушки, ружья, книгопечатание, компас, морские суда новой конструкции, наука) уничтожили феодализм и засилье католической церкви. Политически и экономически свободная личность выходит на первый план.

Ментально всё перевернулось. Смиранный перед Богом человек постепенно осознаётся как созданный по образу Божьему и по мере медленного овладения природой как микрокосм, отличный от животных: первым средневековым гуманизмом был романский, связанный с подъёмом XI–XII вв. А ведь до этого слово «человек» часто имело значение «раб». Политический и теологический порядок подтачивается со всех сторон, на это потребовались целые века упорных усилий и вера в гуманизм вневременных ценностей.

Средневековая цивилизация исчерпала себя в связи с пробуждением национального сознания, использованием новых технологий, проявлением нового мистического чувства, социальными волнениями, теоретическим сомнением. «Появление книгопечатания заключалось в легитимизации национальных европейских языков. Они очень быстро превратились из вульгарного средства общения людей друг с другом в средство общения с Богом. [...] люди стали думать на национальных языках, записывая свои мысли при помощи латинских букв, но не используя латынь» [44, с. 83]. Социальные связи приобретают новую окраску. Особенно это заметно в сфере практических начинаний и усилий, где схоластика и «голое» теоретическое систематизирование не пригодны, а значение имеют упорный труд, талант, инициатива, риск и простое желание жить лучше.

ГЛАВА 2

О ТЕХ, КТО РАЗРУШАЛ СТАРУЮ И СОЗДАВАЛ НОВУЮ ЕВРОПУ

2.1 Ганзейский союз – крупнейшая торговая организация, или Почему право возможно без государства

Изучается феномен средневековой Европы – торговая купеческая ассоциация, образованная без государственного вмешательства. Объясняются причины возможности осуществления «торговой революции» только в контексте роста городов. Ганзейский союз рассматривается как нетипичный пример того, как право может существовать без государства. Указаны причины экономического взлёта, политического новаторства и юридического совершенства тех проектов, где социум строится и функционирует на договорной основе. Делается вывод о том, что свободная торговля является надёжной базой для экономической и личной свободы. Урбанизация Европы показана необходимым фактором прогрессивных преобразований во всех сферах человеческой жизни: культуры, экономики, политики, знаний и технологий. Отмечены особенности ганзейского менталитета как общественного стереотипа, не укладывающегося в привычные рамки средневекового человека.

Средиземноморье издавна считалось наиболее благоприятным для морской торговли регионом – ещё с античных времён. В Средние века там вовсю активничали итальянцы, особенно преуспевали генуэзцы и венецианцы. Это был мощный полюс международной торговли, ориентированный на Византию и мусульманский мир. Менее влиятельный располагался в Провансе и Испании. Но с XIII века европейская коммерческая деятельность всё больше концентрируется на севере Европы.

Если в Средиземноморье была постоянная угроза от турок и пиратов-мавров – врагов христианства, то в северных акваториях всё интенсивнее развивается торговля, в том числе из-за соображений безопасности, проблемы которой решили сами купцы. Ранее малолюдный северо-балтийский регион демографически «разбухает» за счёт немецких земель. Однако важно и то, что на северо-западе Европы (Фландрия, Нормандия, долины Мозеля и нижнего Рейна) помимо торговли процветает промышленность, здесь основаны гигантские центры сукноделия. Два народа с XIII века господствуют в купеческом мире: итальянцы на юге, а немцы на севере. Причём торговая экспансия последних становится всё заметнее. Они действуют гораздо динамичнее и оперируют бóльшим количеством товаров.

Жак Ле Гофф [97, с. 182] отмечает особую успешность купцов из Кёльна, которые даже в Англии в 1130 году получили монопольное право на торговлю в Лондоне и создали там свою гильдию. Торговля же на северо-востоке, в балтийском регионе, была в руках купцов с острова Готланд. Однако весь торговый «пейзаж» напрямую зависит и меняется от успехов городов, что прекрасно объяснил Филипп Доллингер (Dollinger) [97, с. 183], и мы попытаемся представить эту сложную схему.

Вначале осуществляется прирост населения за счёт притока сельских ремесленников из-за того, что купцы обосновываются на постоянном месте; происходит объединение торгового квартала с более старым административным центром под прикрытием крепостных стен; возникает необходимость установления единых законов, распространяющихся именно на этот город, специализирующийся на вопросах торговли и землепользования; создаётся бюргерская община, сплочённая с помощью присяги; объединённые в гильдии купцы ввиду своей сплочённости и экономического влияния на-

чинают доминировать в этой общине; наиболее состоятельные купеческие династии приходят к управлению городом; местный сеньор либо епископ вынужден признать влияние и автономность новообразованной структуры; всё больше реальной власти перетекает к административным органам, находящимся в руках бюргеров; так происходит возвышение городских советов, реально управляющих торговыми городами; в этом процессе следует подчеркнуть важность складывания городского законодательства, закрепляющего основы локальной демократии.

Среди юридических образцов, имевших наибольшее влияние [97, с. 184], отметим Дортмундское право, положения которого главенствовали над всеми прочими в судопроизводстве и апелляциях в вестфальских городах, Госларское право в Саксонии и особенно Магдебургское право, «отпочковавшееся» от Ганзейского. Это «германское право» для всей Восточной Европы имело исключительное значение для развития городов и торговли, оно как никакое другое обусловило цивилизационный взлёт для Великого Княжества Литовского наряду с легендарными Статутами. Новая ступень экономического роста вкупе с политическим влиянием и юридической защищённостью формируют ментально новую для Европы ситуацию.

Чем примечателен Ганзейский союз? – вопрошает А.П. Никонов [90, с. 117]. А тем, сам же и отвечает, что это было первое столь мощное негосударственное, а правильнее сказать, надгосударственное интеграционное образование, созданное не для того, чтобы политически покорять территории, а для того, чтобы расширить зону свободной торговли в мире. Это было не властно-горизонтальное, а «сетевое» образование без единого центра и бюрократии.

Для социума становится очевидно, что взаимодействие между людьми можно организовать не только при помощи грубой силы (феодалы) или страха перед загробной расплатой (церковники). Эффективность показал новый способ: взаимодействие на основе договоров и писаных правил. Так на севере Европы возникла большая торговая конфедерация, быстро приобретающая политическое могущество и начавшая господствовать на обширных торговых пространствах – Ганза. Её появление связывают с заключением в 1161 г. под эгидой Генриха Льва мира между немцами и жителями Готланда, по которому создавалась община немецких купцов. К концу XIII века её влияние распространялось от Фландрии и Англии до Северной Руси (Новгород) и языческих земель (Рига, с 1201 г.), а немецкий купец методично вытеснил скандинавских торговцев в прибалтийских и славянских странах.

В XIV в. Любек возглавил союз северогерманских торговых городов, который с 1356 г. стал называться «Немецкой Ганзой». Есть и другая версия [97, с. 185]. Король Англии Генрих III признал в 1266 году за гамбургскими купцами, а в 1267 г. – за любекскими право образовать ассоциацию (*hanse*) по образцу кёльнской. Так впервые возникло понятие «Ганза».

Главным нам представляется тот факт, что Ганзейский союз возник из купеческих нужд как осязаемая, осознанная и непреклонная инициатива снизу самоорганизующихся субъектов. И до Ганзы купцы веками плавали по Северному морю и Балтике, но плавание было сопряжено с риском – на море промышляли норманнские пираты, а торговле мешали разнокалиберные стандарты, существовавшие в средневековых городах. Нарушение какого-нибудь бюрократического пункта, например, несоблюдение стандарта по ширине продаваемого полотна могло привести к крупному денежному штрафу и даже разорению. Так постепенно начал формироваться «интернациональный» купеческий союз [90, с. 118], вступая в который купцы обязались следовать определённым правилам, совместно действовать против пиратов, нанимать вооружённую охрану или карательные отряды, целью которых были поиск и уничтожение разбойничьих баз. Основное и главное правило союза – свободная торговля без препон и ограничений,

а в обязанности городских властей, зависимых теперь от купцов, входили оборона города от пиратов и охрана торговых путей. Эта «спайка» городской администрации и торгового капитала была выгодной для всех.

В зависимости от Любека находилось более 100 «дочерних» городов. Преимущество немцев объясняется отменными конструкциями судов, союзничеством с феодалами и обладанием большими финансовыми ресурсами. «Экспансия купцов, – описывает положение Ж. Ле Гофф, – ускорила продвижение на восток немецких колонистов, горожан и крестьян; то мирно, а то с оружием в руках они добивались привилегий, которые, помимо экономических выгод, обеспечивали настоящее этническое превосходство» [38, с. 99]. Осваивали они и другие направления. Любекцы и другие северонемецкие купцы способствовали основанию в Швеции Стокгольма и Кальмара, а в Норвегии – Бергена.

Торговая форма колонизации давала Западу первые навыки колониализма, играла существеннейшую роль в экспансии денежного хозяйства, каковое было ещё одним феноменом, связанным с развитием городов. Как центры потребления и обмена, города вынуждены были прибегать к использованию монеты в торговых операциях. Жители городов Ганзейского союза имели в Европе самый высокий уровень жизни и чёткие стандарты личной безопасности вкупе с духовной свободой. Ганза явила совершенно новый образец социума, причём следует заметить, что строилась и функционировала она на договорной основе. Это не имело ничего общего с феодальным, каноническим и примитивно-крестьянским обычным правом Средневековья. По сути, в те далёкие времена была создана крупнейшая международная торговая организация, тогдашний аналог ВТО. Человечество издревле тяготело к свободной торговле, и именно она, свобода обмена плодами своего труда, явилась надёжной базой для экономической и личной свободы.

Концентрация капитала в руках владельцев купеческих компаний Ганзы имела большое политическое значение, а с экономической точки зрения, что было отмечено ранее, «она была движущей силой дальнейшей экспансии, поскольку компании могли вкладывать крупные инвестиции в нуждавшиеся в наличном капитале экономические структуры, например, в горнодобывающие и судовладельческие предприятия. Это, в свою очередь, привело к необходимости обновления правовых структур как в области права, относившегося к горнорудной отрасли, так и в области морского права» [76, с. 143]. Технические новшества, введение новых методов передачи механических усилий, защита в области имущественного права и многое другое явилось предпосылкой или привело к созданию неведомых ранее конструкций в юридической технике.

Денежный оборот Ганзейского союза превышал бюджеты крупных европейских стран, и постепенно была введена единая расчётная валюта – гульден. Это было важнейшее нововведение. Дело в том, замечает Жак Эрс [51, с. 15], что в 1252 г. Генуя и Флоренция начали чеканить почти одинаковую золотую монету – дженовино, вскоре названную в Генуе дукатом, а во Флоренции – флорином, весом около 3,6 г. из почти чистого золота. Таков приблизительно был вес и гульдена. Новые монеты – дукаты, флорины, гульдены – положили конец продолжавшейся несколько веков монетной анархии, когда на христианском Западе бесчисленные монетные мастерские королей, князей, крупных и мелких сеньоров, архиепископов, епископов и аббатов отливали серебряные монеты всё худшего качества, всё меньшего веса и со всё большим содержанием примесей. Именно тогда родилась идея о единой европейской валюте, что поневоле скрепляло западный христианский мир.

Совокупный торговый флот (исключая военные корабли конвоя) превышал полторы тысячи судов. Языком «межнационального» общения становится немецкий с примесью латинского, а технической стандартизации способствовала единая система мер и весов. Возникают страховые компании и торговые терминалы во всех значимых городах Ганзы – Любеке, Гамбурге, Лондоне, Брюгге, Бергене, Кёльне, Пскове, Новгороде. Обра-

зуется совершенный рынок ценных бумаг. Впервые в истории Ганзейский союз предпринял меры международной экономической блокады против властей Бергена, когда те попытались нарушить торговые соглашения повышением пошлин на ввозимые товары. Но, пожалуй, главным является формирование в этом общеевропейском союзе единого миропонимания – ганзейский менталитет воспринимался как некий общественный стереотип, набор недвусмысленных этических принципов делового и честного человека.

На важное обстоятельство обращает внимание А.П. Никонов [90, с. 119], объясняя своеобразие психотипа ганзейского купца. Современники рисовали ганзейца как человека нерелигиозного, но придерживающегося твёрдых правил поведения. Купцы были достаточно консервативными, чтобы не выставлять напоказ и не шокировать других своим свободомыслием. Они могли исправно посещать церковь, но вопросы религии их волновали мало. Место божьих запретов в психике ганзейцев занимала светская этика, точнее, этика деловая, купеческая, которая работала в общем случае лучше «потусторонней» мифологической, поскольку зиждется на конкретных делах и выгодах, о чём убедительно написано у В. Зомбарта [62, с. 315]. Ганзейцы не кичились богатством, не культивировали роскошь, не одобряли вызывающего и разгульного поведения своих коллег, осуждали злоупотребление алкоголем, ценили образованность и учёность. Они высоко ставили себя, им было с чем сравнивать свой статус, ибо вокруг обретались безграмотные полунищие крестьяне, зависимые от своих сумасбродных баронов. Но больше всего эти люди ценили свободу как главное достояние городского человека.

На примере Ганзы едва ли ещё найдётся в европейской истории Средневековья период, в котором с такой отчётливостью можно было бы проследить взаимосвязь между экономическими и юридическими успехами. В обычных городах не было такого подъёма, ведь многие из них находились под властью феодалов и епископов, ущемлявших частнопровольные интересы членов городской общины.

Ганзейцы были и великими дипломатами. Любеку всегда удавалось успешно согласовывать свою деятельность с воинственными устремлениями ордена тевтонских рыцарей, который в балтийском регионе играл заметную роль. Что интересно, закат Ганзы и Тевтонского ордена произошёл практически одновременно. Даже в Венеции Ганза открывает своё торговое представительство, что даёт возможность выйти в Средиземное море и составить конкуренцию итальянцам.

Закат Ганзы начался тогда, когда деспотическая Москва в своём неистовом «собирании» русских земель разгромила Новгород при Иване III, который в 1494 г. навсегда закрыл там огромные склады Ганзы, что повлекло резкое сокращение международной торговли. Новгород был огромным перевалочным пунктом оптовой торговли, он поставлял на Запад эксклюзивный товар: соль, пеньку, мёд, воск, пушнину, чёрные металлы. В 1570 г. Иван IV добил этот славный город окончательно, устроив со своими подручными садистами-опричниками жуткий по своим масштабам и зверствам геноцид. Дело в том, что московские деспоты на дух не переносили никакой свободы, а Ганзейский союз в результате получил удар, от которого, по мнению историков, так и не смог оправиться.

Были тому и сугубо экономические причины. Правдоподобной представляется и версия профессора В.А. Космача: «С середины XV в. начинается упадок Ганзы, вызванный как раздорами внутри союза (не все города пользовались одинаковыми правами), так и в особенности иностранной конкуренцией. Окончательный удар Ганзе был нанесён открытием морских путей в Америку и Индию» [129, с. 315]. Не сбросим со счетов и ожесточённую классовую борьбу между патрициатом, в руках которого находилось управление, и рядовыми торговцами и ремесленниками. Любой проект имеет свой предел во времени и ресурсах, но главным представляется вот что.

Ганзейский союз является нетипичным примером того, как право может существовать без государства: «Не все законы, следовательно, могут быть продуктом законо-

дательного процесса; напротив, власть принимать законы предполагает признание некоторых общих правил; и те правила, которые лежат в основе власти принимать законы, также могут ограничивать эту власть» [66, с. 114]. Торговые соглашения и обычное право коммерсантов – такого Европа ещё не знала. Знала она совсем другое – недоверие, страх и враждебность по отношению к торговле и коммерции, и о причинах такого остракизма убедительно пишет Ф.А. фон Хайек [49, с. 156–183]. Не случайно эти суеверия во все времена питали различного рода социализмы, но каждый раз тоталитарные проекты заканчивались крахом.

В насилии и религиозной ортодоксальной идеологии для человека нового типа нет нужды, свободный обмен предметами потребления и товарами явился предтечей нынешней глобализации. Развитие тех регионов Европы, которые оказались вовлечены в новый макропорядок, наглядно показал, что увеличение экономической открытости значительно поднимает общий жизненный уровень социума, несмотря на то, что всегда будут и проигравшие (в числе таковых оказались ранее привилегированные или защищённые социальные группы). Движение товаров, капитала и трудовых ресурсов повлекло за собой движение знаний, культуры и распространение социальных институтов.

Здесь, безусловно, не стоит поддаваться крайним взглядам. Ниал Фергюсон убедительно доказал на примере Британской империи [152], что и свободной экономике нужна политическая опора. Поэтому растёт оценка важности для свободного рынка таких правовых, финансовых и административных институтов, как верховенство закона, надёжные кредитно-денежные режимы, прозрачные финансовые системы и некоррупционная бюрократия. Без государственной политики такие долгосрочные проекты невозможны, не случайно и Ганзейский союз, и могущественная Ост-Индская компания скатились к упадку.

Но начало было положено не благодаря, а вопреки централизованной автократической власти. Просто новый уровень развития потребовал иного ресурсного обеспечения. И ещё. Необходимо различать роль торговли в локальных пространствах и в рамках макроэкономики, возникшей с конца XV века. Верно отмечено [43, с. 342], что постоянно расширяющаяся торговая сеть не гарантирует мир и гармонию среди государств, а экономический рост порождает политическую нестабильность внутри стран и в отношениях между ними, изменяя сложившийся между странами и регионами баланс сил. Иными словами, экономический обмен приводит к взаимным контактам народов, но далеко не всегда способствует согласию, ведь торговля, как и прибыль, имманентно является источником конфликта. Но в рамках одной цивилизации противоречия не столь ощутимы.

Роль Ганзы в становлении новой Европы несомненна, эта предтеча Евросоюза своим процветанием и благополучием более четырёхсот лет демонстрировала, что бывает там, где все решают города и их свободное население, которое является реальным сувереном союза равных. Именно в таких условиях складывается тот класс свободно работающих и зарабатывающих людей, который в XX веке получил название среднего и который является основой современной западной цивилизации.

2.2 Орден тамплиеров как банковско-финансовый картель

Уделяется внимание малоизученному фрагменту финансово-экономической истории средневековой Европы – деятельности Ордена тамплиеров. Показана та сторона хозяйственной жизни, которую отличал взгляд на новую экономику рыцарей Храма Соломона. Возникновение ордена рассмотрено в контексте истории крестовых походов. Выясняются причины и иные сопутствующие обстоятельства, позволившие

предстать тамплиерам первой в Европе транснациональной военно-торгово-финансовой корпорацией. Особое внимание уделяется тем новшествам, которые привнесли тамплиеры в развитие логистики, банковского дела и финансовых операций. Рассмотрены особенности взаимодействия Ордена Храма с папским престолом и светскими властями, объяснены причины его подавления централизованной монархией. Делается вывод о том, что тамплиеры с явным хронологическим опережением показали прообраз будущей новой экономики, проложившей дорогу к революционным изменениям во всех сферах жизни.

Предвосхищая эпоху Возрождения и Реформации, в истории католической средневековой Европы зафиксировано явление, абсолютно ей не характерное, особенно – в финансово-экономическом отношении. Та сторона хозяйственной жизни, которая отличала взгляд на новую экономику протестантов и евреев, ранее уже имела место. Речь идёт о деятельности Ордена тамплиеров – рыцарей Храма Соломона (название получено по прописке: первая резиденция располагалась у руин знаменитого Иерусалимского храма). Его военно-политические мероприятия нас интересуют в меньшей степени, чем то, что собой являла первая в истории Европы транснациональная корпорация и почему её можно считать предвестником зрелых, передовых по своей сути финансово-экономических институтов, составивших впоследствии основу капиталистического уклада.

Как и другие ордена, тамплиеры появились во времена крестовых походов. Цель их – организация военных действий христиан в Палестине, направленных на то, чтобы отобрать у мусульман Гроб Господень, то есть Гробницу Христа в Иерусалиме, а также Святую землю. Крестовые походы воспринимались в Европе как отвоёвывание назад своей собственности, наподобие Реконквисты на Пиренейском полуострове. На самом же деле, что верно отмечает Жак Ле Гофф, «ни в какой момент не существовало особого христианского института власти, управлявшего Святой Землёй» [97, с. 147]. Но суть дела в другом. Реальные причины крестовых походов не в «христианском» Иерусалиме (он, к тому же, святое место также для иудеев и мусульман), а в чём-то более серьёзном.

Кстати сказать, неудача крестовых походов способствовала упрочению европейского единства, положив конец иллюзии, что столицей европейского христианского мира является Иерусалим. С тех пор и закрепилось представление о тождественности территории Европы и христианского мира. Однако походы не поспособствовали более тесному союзу между христианскими государствами внутри самой Европы, усилив между ними соперничество. И торговая деятельность постепенно переносилась на Восток, лишая Запад связанных с ней выгод. А сколько было поглощено энергии, человеческих жизней и средств? Поэтому следует коротко остановиться на действительных причинах этого грандиозного мероприятия, длившегося несколько веков.

Во-первых, вопреки Евангелию после обретения христианством государственного статуса оно становится воинственным. Например, в Древнем Риме все граждане империи – отныне христиане – были обязаны её защищать. Но поскольку практически всем церковникам обладать оружием не полагалось, были созданы духовно-рыцарские ордена для защиты христианских святынь. Однако самым важным этапом этой милитаризации Ж. Ле Гофф считает «появление теории справедливой войны», основы которой разработал Св. Августин [97, с. 148]. С христианской точки зрения так выглядела война против язычников или мусульман.

Через некоторое время отношение к ней не было столь однозначным. В период турецкой экспансии Эразм Роттердамский с своей *«Похвале глупости»* [361] любую войну, включая войну против неверных, поместил в разряд «глупости». В его *«Жалобе мира»* (1517 г.) Мир сокрушается по поводу несчастий, которые человек навлекает сам на себя по глупости: «разве не постыдно, что христиане убивают друг друга и тем не

менее с презрением называют турок «врагами Христа», словно они сами, христиане, ведут себя лучше турок? Говорят, что турки приносят жертвы дьяволу, – а разве христианин, убивающий другого христианина, не делает то же самое? Турки, конечно, представляют собой угрозу, но это ещё одно доказательство глупости христиан, которые воюют друг с другом, несмотря на опасность вокруг них, и при этом сами иногда заключают соглашение с теми же турками» [296, с. 201]. Главная мысль Эразма – насилие со стороны других никогда не следует использовать для оправдания своего собственного. Христиане должны защищаться от мусульман, если те нападают; бессмысленно говорить о мире, продолжая войну.

Во-вторых, чтобы справедливая война была священной, недоставало ещё одного важного фактора – благословения папского престола. Поскольку тот становится духовным центром Европы, имел от этого все выгоды, Ватикан всё больше воодушевлял жителей христианского мира на борьбу с неверными. К тому же была необходимость защищать папские владения от нападения других империй. В этой связи создание и покровительство духовно-рыцарских орденов – удачный шаг католической церкви, долго обеспечивавший её реальное могущество. В 1145 г. появляется первая редакция энциклики «*Столькие предшественники*», изданная Папой Евгением III и упорядочивающая правовые основания крестовых походов.

В-третьих, в XI веке в Европе начался заметный демографический и экономический подъём, о чём прекрасно сказано в книге Массимо Ливи Баччи «*Демографическая история Европы*» [60]. В результате образовался существенный пласт молодёжи, в том числе и выходцев из рыцарской среды, не имеющих ни земель, ни собственной семьи. Правило майората (всё наследует только старший сын, даже титул) не оставляло никаких шансов на решение проблем дворянских отпрысков внутри семьи, поэтому и правители государств умело перенаправляли военные амбиции молодёжи на агрессивные действия за пределами своих территорий. Как сказал бы в таком случае Л.Н. Гумилёв: «Случился пассионарный перегрев» [105, с. 456]. Хочешь богатства, земель, титулов – иди вой с врагами христианского мира. Мечи получили крещение и исполняли свою прямую функцию уже с благословения церкви. Повторим ещё раз: «Папскому престолу представлялась возможность встать во главе всего христианского мира, поскольку вести войну, в которой религия столь тесно сплетается с политикой, надлежало лишь верховному властителю религиозного мира, которым и мечтал быть Папа» [97, с. 150]. Не случайно символом Священной войны стал матерчатый крест, который нашивали на грудь участникам крестовых походов. Здесь христианство уподобилось исламу, в котором согласно Корану (сура «Хадж», аят 40–41) [248] ведение Священной войны (джихада и газавата) считалось главной обязанностью верующих (об этом см. Н.В. Жданова) [149, с. 75]. На самом деле понятие «джихад» имеет более широкое и противоречивое толкование в мусульманском мире [153, с. 12]. Любые договоры с мусульманами считались позорными.

В-четвёртых, имел место и чисто психологический аспект крестовых походов: «В средние века люди воевали много и часто, но, как правило, они твёрдо знали не за что, а против чего воюют – отрицательная доминанта действовала эффективнее положительной. И когда папа Урбан II произнёс роковые слова: “Так хочет Бог!”, массы простых крестьян и рыцарей бросились в отчаянную битву с мусульманами и, потеряв $\frac{9}{10}$ воинов, взяли Иерусалим в 1099 г. и создали там королевство [...], но когда организовались второй и третий крестовые походы, имевшие целью выступить за своих земляков, они закончились неудачей» [106, с. 252]. Профессор Франко Кардини [296] о перипетиях этих противоборств повествует ярко и убедительно.

В-пятых, крестовые походы для некоторых субъектов оказались экономически выгодными предприятиями. Рыцарские ордена с XI в. развили бурную хозяйственную

деятельность [38, с. 103], пользуясь различными поблажками и привилегиями. В самих походах процветали грабёж и разбой – и не только на землях мусульман. Так, «четвёртый поход превратился в коммерческую операцию по приобретению колоний на Востоке под руководством венецианского дожа слепого Дандоло» [106, с. 252], но всё закончилось завоеванием и разграблением в 1204 году православного Константинополя. Очень сомнительная добыча и слава с точки зрения христианской морали. Кстати, латинские государства в Палестине нельзя назвать колониями в смысле экономической эксплуатации или заселения выходцами из Европы.

Как доказывает Ж. Ле Гофф [97, с. 154], экономический подъём христианских городов Средиземноморья был вызван не крестовыми походами, а относительно мирным перетоком в эти города византийских и мусульманских богатств. В целом, полагает Ниал Фергюсон, «крестовые походы были удовольствием недешёвым, а приносимая ими чистая прибыль – в лучшем случае небольшая» [52, с. 35]. Заткнуть дыру в доходах никому из европейских королей не удалось, а вот Папа и ордена нажились на прямых и косвенных дивидендах от крестовых походов очень прилично. Более того, отмечает Жан Флори, во время их «церковь, точнее, папская власть вела войну не только против внешних врагов, но и против еретиков, раскольников и политических противников внутри христианского мира» [154]. Следует признать, что крестовые походы оказали отрицательное влияние на контакты с мусульманским Востоком, с Византией и на отношения в самом Западном мире. Они аукиваются серьёзно и поныне: «Сегодня мусульмане, не отстававшие, к слову сказать, от христиан по части Священной войны, возрождают память об агрессии, которую представляли собой крестовые походы, и выдвигают мысль об исторической вине христианства» [97, с. 153]. Помимо Ватикана наибольшую выгоду поимели тамплиеры, их влияние на формирование новой Европы несомненно, что мы попытаемся показать.

Этот духовно-рыцарский союз появился на свет в 1119 г. стараниями рыцарей Гуго де Пайена и Готфрида де Сент-Омера, которые вместе с семьёю товарищами поклялись жизнь положить «безвозмездно», защищая паломников в Святую землю. На первых порах так оно и было – в войнах за веру сложили головы более 20 000 храмовников (по подсчётам французского историка Ж.-Ф. Мишо, автора *«Истории крестовых походов»* [155]). Поскольку орден создавали рыцари, он сразу же стал военной организацией, которой командовал избравшийся пожизненно специальной коллегией великий магистр. Роскоши не было и в помине, но нищенствующие рыцари Христа (ещё одно название Ордена Храма) владели бедное существование недолго.

Сопровождение и вооружённая охрана делегаций и грузов, следующих из Европы в Святую землю и обратно, оказались столь выгодными занятиями, что казна ордена стремительно наполнилась золотом. Этому потворствовал Ватикан, рассчитывавший использовать мощь тамплиеров по своему усмотрению, а также крупные феодалы, отписывая Ордену щедрые дарения и пожалования. Постепенно военные операции сходят на нет, рыцари становятся бизнесменами. Под занавес крестовых походов они так много времени уделяли торговле, логистике и ростовщичеству, что сражаться с «неверными» стало просто некогда.

К тому же понтифик очередным указом разрешил тамплиерам давать деньги под ссудный процент, что в ту пору строжайше запрещалось католической церковью, однако для храмовников сделали исключение. Уставы Ордена Храма были предъявлены в Риме в 1128 г. и окончательно одобрены в 1139 г. папой Иннокентием III, который подчинил орден непосредственно Святому престолу.

На Кипре была их перевалочная база (оттуда история знаменитых оффшоров?), но финансово-экономическая активность перенеслась на всю Западную Европу. Этому способствовали неслыханные политические привилегии и налоговые льготы, десятки

тысяч приоратов, складов, верфей, земель и банков. Орден не подпадал под юрисдикцию местных феодалов, не платил местные церковные налоги, не подчинялся епископам и был подсуден лишь Папской курии. Все другие, созданные практически одновременно духовно-рыцарские ордена (госпитальеры, тевтоны, калатавры, меченосцы) ничего подобного не имели. Уже к 1130 г. по всей Западной Европе, в первую очередь в Испании, Франции, Англии, Шотландии и Фландрии, где влияние храмовников было особенно велико, насчитывалось более 10 000 приоратов (с замками, землями и монастырями), а число одних рыцарей (без, так сказать, вольнонаёмных работников) перевалило за 20 000 братьев.

За счёт даров и завещаний, которые делали семьи, среди чьих сыновей был рыцарь, благодаря строгому управлению патримонием, покупкам, продажам и обменам тамплиеры стали крупными земельными собственниками. Во Франции, пишет Жак Эрс [51, с. 255], они вошли в число богатейших в королевстве, им принадлежало более сотни командорств – имений. Например, в Париже к 1292 г. тамплиерам принадлежал огромный квартал – новый Тампль. Филипп III предоставил им право суда высшей и низшей инстанции, а также освободил тех, кто пожелал бы перебраться туда, от всех видов повинностей. Участвовавшие в христианской Реконкисте на Пиренейском полуострове храмовники получили от португальского и арагонского королей стратегически важные в военном и торговом отношении территории, которые тотчас застраивались замками. Это было платой за участие и финансовую помощь в «справедливых» и «благих» войнах с неверными.

В XIII в. приораты Ордена Храма обосновались в Германии и Италии, Венгрии и Австрии, и повсюду тамплиеры оказывали услуги, связанные с логистикой, сопровождали делегации и грузы, охраняли и перевозили ценности, взимали долги, обеспечивали права на наследство, как адвокаты, и так далее. Пользуясь разрешением Святого престола, ссужали деньгами королевских особ и крупных феодалов. Уже в 1147 г. Орден Храма дал королю Людовику VII ссуду для похода в Святую землю. Порой деньги были не своими, тамплиеры подобно банку посредничали, оперируя заемными средствами еврейских общин, которые вели в силу понятных причин более изощрённое ростовщичество. Но если евреям никто не гарантировал возвращения долгов, с тамплиерами шутки были плохи.

Это был могущественный трест со своими военными и торговыми флотами, вышколенной профессиональной армией, службой безопасности и целой сетью банков по всей Европе и Передней Азии. Они внедрили безналичный перевод денег, когда требуемые суммы выдавались по предъявлению писем из одного приората в другой, даже если те находились на противоположных концах Европы (не нужно тащить мешки с монетами и бояться разбойников). Жак Эрс описывает это новшество так: «Христиане, достаточно обеспеченные, чтобы не нищенствовать по дороге, очень скоро перестали брать в паломничество [...] набитый монетами кошелёк. В Париже и в нескольких портах Средиземного моря тамплиеры выписывали им, как и воинам, нечто вроде переводных векселей – пока примитивные платёжные поручения, которые, едва сойдя на берег, они предъявляли к оплате» [51, с. 254]. Впоследствии Орден стал выдавать ссуды под залог ценных предметов, драгоценностей или земельных владений.

Одно это новшество сделало банковские услуги тамплиеров вне конкуренции, но они пошли дальше, впервые в европейской истории разделив банковское дело и торговлю, изобрели чеки и аккредитивы, ввели в обиход понятие «текущий счёт». Возможно, в данном конкретном случае имеет право на жизнь версия В. Зомбарта [62, с. 334] о соотношении между военным делом и развитием капиталистического духа, если брать в расчёт такие доблести и склонности, как дисциплина, организация, рационализм. Однако хватило бы этого для успешного предприятия без привилегий и монополизма?

Постепенно главным источником доходов сделалось ростовничество с гигантскими суммами. Ссуды выдавались под заклад имущества, официально именовавшийся передачей на хранение. Что это было за имущество? Например, коронные драгоценности английских королей (1204), большая королевская печать Плантагенетов (1220), даже королевская корона (1261). Куда более интересен вопрос, кто научил нищенствующих пилигримов совершенному банковскому делу и великому искусству манипулировать политиками, умению создать закрытую структуру со множеством степеней посвящения на принципах государства в государстве? Историки сходятся во мнении, что, как и многое другое, это знание получено на Востоке, в частности, от ассасинов и исмаэлитов.

Вот лишь несколько штрихов успешности финансовых операций, отмеченных Ж. Эрсом [51, с. 254]. Тамплиеры стали папскими банкирами, обеспечив себе раньше, чем ломбардцы и прочие итальянцы, нечто вроде монополии. В 1212 г. Иннокентий III велел сборщикам десятины для Апостолической палаты на юге Франции помещать выроченные деньги в дома Ордена Храма в Монпелье, Арле и Сен-Жиле. Гонорий III распорядился в 1216 и 1219 гг. собирать двадцатину на альбигойский крестовый поход, и, судя по счетам, аббат Клюни и епископы Нуайон и Мо положили значительные суммы в парижский Тампль; 15 июня 1219 г. брат Эймар переслал эти деньги, то есть около 20 000 марок, в Италию. В следующем 1220 г. папский легат переправил деньги святого Петра в Париж, чтобы поместить в Тампль. По счетам Симона де Монфора, а потом Альфонса Пуатевинского, брата Людовика Святого, которые велись без перерывов с 1245 по 1269 г., видно, что суммы, переводившиеся в Тампль, более чем втрое превосходили суммы, поступавшие непосредственно в их Тулузский отель. Благодаря этим денежным вкладам, собранным во Французском и Английском королевствах, Париж, который прежде не был крупным монетным рынком, стал одним из главных финансовых центров Запада. Такое богатство вызывало зависть и ускорило падение Ордена Храма.

Завершилась эпоха тамплиеров трагично. После того, как они отказали Филиппу Железному самому возглавить Орден, тот, зная о несметных богатствах храмовников, отдал секретный приказ о подготовке масштабной операции по уничтожению последних. Во Франции и других европейских монархиях состоялись повальные аресты рыцарей-тамплиеров во главе с Великим магистром Жаком де Моле, и чего им только не инкриминировали королевские чиновники с инквизиторами. Памфлеты и слухи были рассчитаны на дискредитацию тамплиеров, чтобы убедить население в их порочных нравах. Заговорили о всевозможных сексуальных извращениях, содомии [97, с. 141], об отречении от Христа и поклонении Бафомету (искажённое «Магомет»). Исторически достоверно всё это воспроизведено в талантливой серии «Проклятые короли» французского писателя Мориса Дрюона [156]. Филипп Красивый отказал храмовникам в церковном суде, как того требовали папа Климент V и поддержавший его Парижский университет, и узники предстали перед королевским трибуналом. Храмовников жгли на площадях. Важнейшую роль сыграла экономическая составляющая, поскольку обанкротившаяся власть стремилась завладеть активами поверженной корпорации.

Но светской и церковной власти мало что досталось. По версии учёных, одну часть сокровищ доставили заблаговременно в Шотландию – родину наиболее могущественного и почитаемого масонства, другую – финансовой империи Барди и Перуцци, т.н. «Золотой сети» флорентийских ростовщиков. На востоке многие храмовники влились в ряды Тевтонского ордена; «тамплиеры по-прежнему играли важную роль в Арагоне и в Португалии, где упразднение ордена было, скорее, юридической фикцией» [296, с. 104]. Именно тамплиеры создали первый в средневековой Европе международный банковско-финансовый картель. Орден уничтожили, но не его деньги. Они ведь бесследно никуда никогда не исчезают, как и энергия, с которой у денег поразительно много общего. По сути, на конкретном примере с явным хронологическим опережени-

ем тамплиеры показали прообраз будущей новой экономики, проложившей дорогу к революционным изменениям во всех сферах жизни. К слову сказать, эта история – редчайший пример победы монархии-государства над могущественным международным картелем, обосновавшимся в данной конкретной стране.

Несомненно, король хотел падения Ордена Храма, чтобы конфисковать его имущество, но ещё больше он хотел укрепить свою власть и подвести более прочную основу под своё правление. Военные ордены определённо стали препятствием для развития централизованной монархии. Парламент и Счётная палата ещё не были хорошо организованы, но уже осознавали свою значимость и ориентировались на абсолютизм, а поэтому не могли потерпеть существования других центров власти. Главное – казна должна находиться не у монахов либо ломбардцев, а в руках повелителя государства и его советников. Правда, финансовые проблемы двора так и не разрешились. Но эта эпоха завершилась, и с наступлением Нового времени на авансцену европейской жизни вышли другие силы, в отличие от тамплиеров не встраивавшиеся, но ломающие существующий строй.

2.3 Евреи: взгляд назад и взгляд в будущее

Показана роль еврейского фактора в формировании устоев складывающегося капитализма и разрушении феодально-клерикального строя, прослеживается влияние иудаизма на образование новых экономических практик. Рассматривается феномен ростовщичества и его расцвет в неблагоприятных условиях феодальной Европы. Объясняется, почему историческое рассеяние евреев способствовало денационализации хозяйственной жизни. Выясняются причины и возможности финансово-экономической активности еврейских общин, зарождение института «придворных факторов». На конкретных примерах доказывается, в чём состоит специфический вклад евреев в дух экономических нововведений и предприимчивости. Изучается опыт религиозной толерантности (ВКЛ, Голландия, США) и вызревания антисемитских настроений. Проводятся исторические параллели между протестантизмом и еврейством как двумя важнейшими силами, в равной степени заинтересованными в пересмотре средневекового миропорядка и установлении новых юридических правил. Показано и принципиальное различие между ними по экономическим, мировоззренческим и духовно-культурным параметрам.

Эпоха зарождающегося капитализма, подорвавшего феодально-клерикальные устои средневековой Европы, будет неполной в своём изображении без упоминания той роли, которую сыграл в ней еврейский фактор. Его экономическая составляющая просто ошеломляет, особенно с учётом того, что евреи демонстративно самоустранились и формально изолировались ото всех европейских дел: политических, юридических, религиозных, духовно-культурных. Однако они заложили долговременную основу для подчинения хозяйственной жизни торговым операциям, что является главной особенностью развитого капитализма. Попытаемся в самых общих чертах понять, за счёт чего евреям удалось «расшатать» привычный (т.е. средневековый) экономический и социальный уклад, занять «своё место под солнцем».

Справедлива ли гипотеза [62, с. 250] о несомненности факта, что у евреев есть особое предрасположение к торговле и финансам, обозначившееся именно в тот момент, когда они начинают оказывать решающее влияние на развитие капиталистического духа с XVI столетия?

Капитализм немыслим без капитала, а он в позднее Средневековье и в начале Нового времени в значительной степени был в руках евреев. Как писал об умонастроениях Ф. Бэкон, «ростовщику подобает жёлтый колпак, ибо он жидовствует» [92, с. 443]. Но без них – никак. Давно отмечено, что привлечение евреев способствует росту экономики в эпоху складывающегося капитализма (Англия, Венеция, Голландия), их изгнание – ведёт к упадку (Испания, Португалия). Именно они создали вексель и биржу, внедрение которых в хозяйственную жизнь порождает необходимость тайны и анонимности в финансовых операциях. В этом они находили точки соприкосновения с рыцарями Храма – тамплиерами, причём последние охотно «прокручивали» еврейские капиталы. Это разрушает систему обычаев и морали в христианском обществе, и вот почему. Если раньше, например, долг имел характер отношения двух конкретных людей и кроме денежной стороны включал в себя чувство благодарности, то в форме векселя он отрывается от человеческих отношений, полностью теряет личный характер. Биржа и рынок ценных бумаг подчиняют этому новому духу всю хозяйственную жизнь в национальном и мировом масштабе.

Последнее заслуживает особого внимания. Евреи способствовали денационализации хозяйственной жизни благодаря своим интернациональным связям: интересы не только конкретных людей, но и государств стали подчиняться интересам банковских домов. Этому способствовало историческое рассеяние евреев, а их изоляция внутри страны, в которой они проживали, делала для них чуждыми и непонятными моральные нормы традиционного общества, что облегчало их разрушение.

Основная причина изоляции евреев крылась в экономической эволюции, сформировавшей как феодальный мир, так и городское общество, полагает Ж. Ле Гофф [38, с. 386]. Евреев невозможно было включить в систему вассальных связей, сделать членами коммуны. Им нельзя было приносить вассальную клятву, от них нельзя было требовать присяги на верность коммуне. Мало-помалу они были отлучены от владений землёй или от пожалований, от ремесла и торговли. Поэтому им, образованным и активным элементам, оставались лишь маргинальные или незаконные виды ростовщичества и финансовых спекуляций. Лоуренс Харрисон отмечает: «Находясь в условиях запрета на владение землёй и отсутствия защищённости, которую оно давало, но при этом получая прибыль от городских занятий – а также вследствие большого значения, традиционного придававшегося образованию, сбережениям и внутреннему доверию, – евреи нередко становились богатыми» [101, с. 87]. Но только кредитом, ценными бумагами и торговлей рационализацию еврейями экономического процесса не объяснить.

Сыграл свою роль и религиозный фактор. Один из основоположников современной западной социологии немецкий профессор Вернер Зомбарт (1863–1941) убеждён, что «если мы хотим проследить влияние религии на образование капиталистического духа, то является само собой понятным, что мы подвергаем влияние еврейской религии особому рассмотрению и здесь прежде всего устанавливаем, что в раннюю эпоху капитализма религия имела выдающееся значение также и у евреев и тем самым сделалась руководящей для всего порядка жизни. Также и у евреев, – *прежде всего у евреев*, можно с уверенностью сказать» [62, с. 271]. Здесь следует уточнить, что *jude* по-немецки значит и «еврей», и «иудей»; *jüdisch* – и «еврейский», и «иудейский», а поскольку большинство авторов в еврействе усматривают прежде всего религиозную общность, речь не идёт о физическом, расовом типе [96, с. 543]. В настоящее время, к слову, в самом Израиле «настоящим» евреем считается лишь тот, кто исповедует иудаизм.

Чрезмерно строгая религиозность была распространена не только в широких массах еврейского народа, ортодоксальными иудеями оставались интеллигентные и богатые слои: те, следовательно, в среде которых рождался капиталистический дух. Не только частная жизнь евреев, но и хозяйственный образ их мыслей были подвержены

еврейской религии, что позволило, замечает С. Хантингтон [43, с. 59], на протяжении многих веков сохранять свою культурную идентичность, живя в западной, православной и исламской цивилизациях. Можно говорить о неких концепциях, принятых практиках и усвоенных институтах.

Рассмотрим это на примере ростовщичества. В нём устраняется всякий конкретный элемент, вся деятельность принимает чисто коммерческий характер. Это физическая и не духовная, осмысленная сама по себе деятельность, её смысл перенесён на конечный результат – деньги. Но католическая церковь яростно боролась с ростовщичеством, даже существовал особый суд, ведавший ростовщичеством, причём уличённый священник лишался сана, а мирянин не допускался к причастию. Канву событий отследил Ниал Фергюсон: «На третьем Латеранском Соборе в 1179 году всех ростовщиков отлучили от церкви. Ну а отказавшихся считать ростовщичество греховным просто-напросто объявили еретиками на Венском Соборе 1311–1312 годов. Редкие ростовщики-христиане могли быть похоронены на освящённом кладбище лишь после списания своих доходов в пользу церкви. Особенно рьяно преследовали ростовщиков монахи францисканского и доминиканского орденов, основанных в 1206–1216 годах соответственно» [52, с. 46].

Но это не вся правда. В своём исследовании Ж. Ле Гофф показывает [38, с. 102], что ещё в XI в., когда недостаточно было евреев в роли заимодавцев, которую они преимущественно брали на себя, и когда христианские купцы ещё не перехватили её у них, функцию «кредитных касс» активно выполняли католические монастыри (!). Но уже веком позже всякого рода ростовщичество оказалось под запретом. Следует уточнить, что под ростовщичеством в те времена понималось не только предоставление денег под проценты. Это и дача денег под залог, и их обмен, и реинвестиции посредством займа [97, с. 178]. Однако это касалось христиан, а среди евреев такая деятельность процветала, поскольку многие другие сферы для них были закрыты. Есть и ещё одна сторона проблемы.

Запреты на ростовщичество никогда не носили абсолютного характера даже в католическом мире (тамплиеры, венецианцы, флорентийцы), но они обозначали границы морали. Одно дело – совершать какой-то поступок и понимать его неправильность, аморальность, неодобряемость обществом, осознавать в глубине души собственную порочность, и совсем другое – совершать нечто открыто, вопреки общепринятой морали. Именно поэтому отождествляемые с «грязным» ростовщичеством евреи были племенем неуважаемым, их деятельность противоречила христианским заповедям средневекового мира. Церковь запрещала христианам давать деньги под процент, но Библия и Талмуд смотрят на это иначе: со своих (единоверцев) брать нельзя, с других – можно. Откровенно «деловая» мораль имела больше шансов на выживание, чем христианские представления о личном характере обязательств и «справедливой цене». По правде сказать, евреям тоже не рекомендовалось ссужать деньги под процент, но тут, как отмечено выше, пригодилась ветхозаветная книга Второзакония: «...иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост» (23:20). Процветало ростовщичество и в Древней Руси. Например, в «Уставе» Мономаха есть указания, что киевские евреи брали до 50% годовых. Отсюда и известный Киевский погром 1113 года.

Цена вопроса оказалась высока – евреи становились изгоями. По степени опасности для общества евреи шли в одном ряду с еретиками и прокажёнными. Средневековый город был объединением культового характера, его «христианская община была по своей глубочайшей сущности конфессиональным союзом отдельных верующих, а не ритуальным союзом родов» [102, с. 28]. Она была ритуально необходимой. Этим во многом объясняется особое, нелегитимное положение евреев. Их единению с местными жителями, пишет М. Вебер, препятствовали «чуждый Западу ритуальный запрет браков с неевреями и совершения совместной трапезы и в первую очередь отказ от участия

в таинстве евхаристии, от братства» [102, с. 28]. Евреи с самого начала оставались вне союза горожан, считались «пришлым племенем», жили в гетто и управлялись теократически. Очевидно, что в средневековом христианском обществе закладывались основы европейского антисемитизма.

Ментально это мироощущение сохранилось и позднее, в эпоху централизованной государственности. С. Хантингтон так и пишет о западной структуре политической лояльности: «Все частные проявления преданности и верности подчинены чувству лояльности по отношению к национальному государству и уже включены в него. *Группы, выходящие за рамки национального государства – языковые или религиозные сообщества, или цивилизации, – вызывают к себе не такое сильное доверие и преданность*» (курсив наш. – А.П.) [43, с. 269]. В иудейском мире структура лояльности, как известно, представляет собой зеркальное отражение еврейской модели. На протяжении тысячелетий фундаментальными, изначальными и вечными структурами для евреев были семья, племя, культура, религия, поэтому преданность выказывалась им, но не государству. Так было и в средневековом городе, где подобная самоидентификация оказалась «неперевариваемой».

Тому немало «способствовал» и языковой фактор, на чём акцентирует внимание Джордж Фридман [44, с. 21]. Большинство евреев использовали идиш, который являл собою причудливый сплав нескольких языков с немецкой основой, и при этом для написания основой был еврейский алфавит вместо латиницы, что всё только усложняло. Евреи, которые считали идиш родным языком, не отождествляли себя со страной, в которой они жили; причём титульные нации, составлявшие большинство населения данных государств, обычно воспринимали это с пониманием. Проживание в какой-либо стране было связано, как правило, с повседневным удобством, а не с чувством внутренней сопричастности к её культуре и экономике. Поэтому использование идиша в качестве родного языка лишь демонстрировало слабую связь еврейских диаспор с окружающим обществом. Такое положение вызывало со стороны титульных народов как возмущение и презрение по отношению к диаспорам, так и подчёркнутое поощрение сохранения этого состояния разделённости и нежелания интегрировать евреев в общество.

Корпоративный характер города евреев не касался, в правовом смысле нахождение иудаистских общин в городах было случайным. Много позже Артур Кестлер чётко сформулирует: «Отличительной чертой еврея ... является не его принадлежность к той или иной расе, культуре или языку, а религия» [157, с. 99]. Можно сказать, что еврейская самоидентификация возможна только в религиозном образе жизни. Отсюда и противопоставление городских христианских общин и обособленных еврейских анклавов. Знакомясь с историей европейского антисемитизма, можно утверждать, что по своему характеру он – феномен религиозной, а не расовой неприязни. (Всё-таки на тот момент не было понятия расы и не разрабатывались псевдонаучные утверждения.) И в его насаждении особенно преуспела католическая церковь, например, объявляя еврейские книги полными кощунственного колдовства. В XX веке всё сложилось иначе, как в пещерной до-истории – евреев убивали не за религию, а за расу, за «дефектную» кровь.

Вождь Третьего Рейха А. Гитлер не был первым, кто додумался обязать всех евреев нашивать на одежду жёлтую звезду Давида. Ещё в 1215 г. Четвёртый Латеранский Собор обязал иудеев носить опознавательный знак-кружок, вместе с жонглёрами и бродягами они составили «семью дьявола». Е. Костюкович замечает: «...это упростило развитие событий в любом уличном конфликте и в полицейском его улаживании» [158, с. 13]. В эпоху Контрреформации на Тридентском Соборе было принято решение об одобрении и повсеместном учреждении гетто, имевших двойную функцию – защиты и изоляции.

Этимологию самого слова выяснил французский учёный Жак Эрс [51, с. 32]. Он связывает его с работой на рудниках Сербии, Чехии и Саксонии, где выплавлялись металлы и

чеканились монеты. Опасаясь пожаров, мастерские по литью металлов устраивали в кварталах, удалённых от центра, которые называли *getto*. Этим термином обозначалась особо деликатная операция, состоявшая в заливке расплавленного металла в формы. В этих *getto*, от которых происходит слово «гетто», жили в том числе и евреи, и с тех пор этим словом стали называться кварталы, где жили еврейские общины, также в других городах. Территориальная обособленность ещё больше дистанцировала евреев от жителей города, и это обострило и без того существующие проблемы во взаимоотношениях.

Евреев подавляли, поскольку они представляли во многом необъяснимо беспричинную опасность, но одновременно не выпускали из поля зрения. В этой мнимой заботе чувствовалось почти осознанное стремление мистически перенести на них всё то зло, от которого общество пыталось в себе избавиться. В коллективном бессознательном неграмотного народа еврей персонифицировал собой квинтэссенцию абстрактного зла. Несколько слов и об этом.

Долгое время христиане не видели в евреях серьёзной проблемы, а церковь разрабатывала теоретические и практические принципы взаимодействия христиан и евреев, но, когда в Европе установился феодальный строй, евреи по статусу приравниваются к сервам. Тем самым они попадают под власть señоров, а значит – нуждаются в их покровительстве. Ввиду их учёности правители иногда приглашают евреев справиться с некоторыми экономическими проблемами либо заняться врачеванием, вследствие чего те могли получить особые привилегии. К тому же евреи были единственным народом, чью религию христиане признавали легитимной, а в среде учёных клириков нередко затевались диспуты с раввинами для обмена взглядами по вопросам толкования Библии. Строились школы и синагоги, процветали купеческие общины. Всем этим и был обусловлен приток евреев в христианские страны. Но вскоре начались и гонения.

По мнению Ж. Ле Гоффа [97, с. 138], это связано с первым крестовым походом и взятием Иерусалима в 1099 г. Связанный с этим городом образ распятого Христа – жертвы евреев – породил по отношению к ним волну враждебности и ненависти. Тут сыграло свою роль одно важное обстоятельство: уже доказано, что христиане XI в. не вполне представляли себе протяжённость исторического времени и считали, что Христа распяли в современную им эпоху. А значит, те, кого они собирались наказать, и были его непосредственными палачами. Отправившиеся на Ближний Восток участники похода по дороге встречали многочисленные еврейские общины, в отношении которых чинились расправы. Это и была первая большая волна погромов в Европе, растянувшаяся более чем на тысячелетие.

Евреев в Европе «терпели», пока их некому было заменить. Политика средневековых государств по отношению к ним была и подлой, и откровенно глупой. Как пишет А.М. Буровский [159, с. 14], если раньше евреев звали приехать в страну потому, что там не хватало своих горожан, и короли опекали этих беспокойных, но полезных людей, то теперь их только терпят и к тому же нахально используют для выжимания денег. Например, в Англии казна всё время вводит новые и новые налоги – специально для евреев. Был налог на холостяков, но если еврей хотел жениться – должен был платить другой налог, на брак. На каждую сделку, заключённую евреем, – также налог. После смерти еврея $\frac{1}{3}$ его имущества отходила казне.

Во Франции король Филипп Красивый внаглую вымогал деньги путём арестов и шантажа, попросту отбирая нужные суммы у богатых людей. Затем начались откровенные погромы, гонения, репрессии. В 1290 году английский король Эдуард I дал евреям срок полгода, чтобы те покинули остров (более 20 000 человек, большинство – во Францию). Но и во Франции всё повторилось. В 1306 году евреев оттуда изгнали, при Людовике X в 1315 году позволили вернуться, но финансовая система пострадала, да и конфискованное ранее имущество не вернули. В 1394 году произошло окончательное из-

гнание евреев из Франции и более 100 000 человек покинуло страну, в основном – в Италию. В германских землях погромы шли постоянно. После короткого изгнания евреев из Литвы (1495) начинается их оседлая общинная жизнь на белорусских землях.

Но больше всего евреев было в Испании (называют разные цифры: от 600 000 до 1 500 000 человек). С 1391 года там начались нападения на них и насильственные крещения. Этому есть своё объяснение, полагает Георг Вебер [40, с. 298–299]. Дело в том, что войны с мусульманами, именуемые Реконкистой, оказали сильное влияние на характер испанского народа; они развили в нём храбрость, но вместе с тем и фанатизм, пользуясь которым властолюбивое духовенство подвергло свирепому преследованию евреев, мусульман и всех людей, подозреваемых в ереси. Так возник инквизиционный Доминиканский орден (по имени основателя – Доминго), деятельности которого благоприятствовал фанатизм населения, а кастильские короли всячески это поощряли. Почему так?

В своё время евреи, подвергшиеся нападению и разграблению вестготов (Ж. Ле Гофф так и пишет: «Антиеврейские постановления вестготских королей и церковных соборов могут рассматриваться в числе истоков европейского антисемитизма» [97, с. 41]), помогали арабам завоёвывать и осваивать Пиренейский полуостров и за это пользовались их покровительством. А поскольку евреи занимали видные места в социуме (учёные, врачи, финансисты) и были очень богатыми людьми, по мере расширения христианских владений враждебное отношение к ним только нарастало (что интересно, главные испанские инквизиторы Томас Торквемада и Диего Деза были выкрещенными чистокровными евреями). Завершающим актом стало принятие в 1492 году королями Фердинандом и Изабеллой Гранадского эдикта, или «Эдикта об изгнании». Согласно ему все евреи Испании должны в трёхмесячный срок креститься или навсегда покинуть пределы страны. Ж. Ле Гофф доказывает [97, с. 140], что именно испанские «католические короли» впервые заговорили о чистоте крови.

Таких широкомасштабных конфискаций и изгнаний Западная Европа не знала ни в какие времена. Подобным образом, утверждает Р. Пайпс [47, с. 230], обходились только с евреями, на которых смотрели как на чужестранцев. Всё это весьма напоминало действия древних монархий Ближнего Востока, вроде Вавилона, Египта, Ассирии. К слову сказать, в другой части «географической Европы» – Московии – имели место такие же трагические события. При завоевании Великого Новгорода Иваном III и Иваном Грозным состоялись грандиозные массовые казни, конфискации и депортации, закрытие в 1494 г. в городе Ганзейского двора и утрата Новгородом демократического устройства городской жизни. На завоёванных территориях московские цари проявили себя отменными антисемитами, достаточно вспомнить еврейский погром при взятии Полоцка в 1563 г., когда более 300 человек утопили в Двине. Но вернёмся в Испанию.

Сотни тысяч людей бежали к мусульманам, в Португалию и Италию, позже – в Голландию. Переселенцы ехали туда, где можно было возвратиться к своей вере, и несли с собой свои деньги, знания и связи. Жизнь в условиях запретов побуждает людей вырабатывать соответствующие привычки, так и «запрет на владение землёй и постоянная гонимость евреев выработали у них готовность к переселениям, лёгкость в овладении языками и традицию вкладывать сбережения в единственную форму, легко перемещаемую (хотя и легко отнимаемую), – драгоценности» [158, с. 13]. Они основывали торговые филиалы во всех морских портах, развивали производство и прокладывали новые торговые пути, создавали знаменитые банкирские конторы, активно заселяли новые континенты и, конечно же, занимались любимым делом – финансовыми махинациями и ростовщичеством, что особенно не нравилось ревностным приверженцам христианской веры.

Сводить активность евреев лишь к финансово-экономической составляющей было бы неправильно. Например, после испанских событий 1492 г. в изгнании оказыва-

ются и великие каббалисты Иберийского полуострова, рассеявшиеся по всей Европе и особенно по Италии (Соломон Ибн Верга, Иосиф Каро, Иосиф ибн Яхья, Авраам Фариссоль, Исаак Абрабанель). Так гуманисты получают возможность познакомиться с неизвестными ранее текстами и доктринами, отмечает Умберто Эко [42, с. 273]. Многие из них имели восточное и античное происхождение: «*Орфические гимны*», «*Халдейские прорицания*», «*Герметический корпус*», «*Диалоги*» Платона, «*Эннеады*» Плотина. Можно сказать, что в эпоху Ренессанса они обеспечили необходимую связь между религией и философией, возродили древнюю мудрость, заставили гуманистов заново изучать историю и страны, учиться веротерпимости. Знание и образование для евреев всегда имели огромное значение, «они внесли непропорционально большой вклад в науку и эволюцию научного метода» [101, с. 98].

Беженцев встречали по-разному. Показательна история семейства Рикардо [54, с. 358], откуда впоследствии вышел Давид, теоретик свободной торговли и автор знаменитых «*Начал политической экономии и налогового обложения*», опубликованных в 1817 г. Его предки в XVI в. бежали от террора в Португалии и нашли убежище в порту Ливорно, который среди итальянских городов-государств был единственным, где евреев не заставляли креститься, жить в гетто и выслушивать нотации священников. Одного из членов семьи – Самуэля Израэля – пригласили в 1680 г. в Амстердам, где он развил свой бизнес. Отец Давида, Абрахам Израэль Рикардо, обосновался в Лондоне, где добился успехов брокером на бирже, а сам Давид, будучи членом Парламента, влиял на английскую политику. Но это было уже в XIX веке, разительно отличавшемся от предыдущих.

Процесс еврейского влияния на жизнь общества шёл болезненно, особое ожесточение он встречал со стороны церкви и простого народа. Складывалась противоречивая ситуация. Христиане в течение всего Средневековья вели диалог с евреями (нередко между священниками и раввинами были публичные и частные споры по поводу Библии), прерывая его преследованиями и погромами. Крестовые походы усилили антисемитизм, а с XI века начались первые грандиозные погромы – в Майнце перебили 900 евреев, не пощадив ни женщин, ни детей.

Реакция еврейских сообществ на выталкивание их из цивилизации Европы была адекватной: «На фоне гигантской коллективной травмы абсолютизировалась идея собственной культурной ни-на-что-не-похожести, чего последствия всем известны: обособление языковое, поведенческое, территориальное (иврит, идиш, кошер, гетто)» [158, с. 14]. Время гонений и притеснений пришлось на кризисный и во многом катастрофичный период жизни Европы: Столетняя война, крестьянские восстания, голод 1315–1317 гг., чума 1347–1348 гг. Гибель и болезни выбили треть населения. Кто в этом виноват и на кого обратить праведный гнев? Ясно, что на эту роль лучше всего подходили евреи с их непонятным языком, стилем жизни и «колдовскими» книгами. К тому же, активно распускались слухи о ритуальных убийствах, возведённые в ранг истины: якобы евреи убивают христианских младенцев, чтобы использовать их кровь для своих обрядов. Также утверждалось, что евреи оскверняют освящённые просфоры. Обвинений более чем достаточно. С тех пор церковники и народные массы получили возможность удобного выхода из любого тупикового процесса.

В Испании и Португалии вопрос был решён наиболее радикально, когда евреям предоставили «выбор»: отъезд, крещение или смерть. С тех пор, можно предположить, было взято правило истолковывать любую историческую катастрофу как козни закулисного агента, злоумышленно переводящего стрелки истории (затем на эту роль сгодились и масоны, что на научном уровне доказывал О. Кошен [120]). А ведь были ещё тамплиеры, розенкрейцеры, иезуиты, иллюминаты и прочие «губители» рода человеческого. И поныне версия об оккультной регулировке истории имеет немалую популярность: ничто само не происходит, за всем стоит что-нибудь тайное и дьявольское. В то

же время, пишет Ж. Ле Гофф, «еврей-ростовщик был необходим обществу как кредитор – ненавидимый, но полезный и незаменимый» [38, с. 384].

Следует учитывать, что большинство королей, феодалов, правящих династий рассматривали богатых евреев в качестве кредиторов, полностью доверяя им ведение финансовых дел. Например, при дворах многочисленных немецких князей, начиная с XV в., существовал институт «придворных факторов». Эти финансисты «исполняли для своих титулованных, спесивых и зачастую недалёких хозяев кучу полезных и неотложных дел» [61, с. 262]. В их руках – управление имуществом и финансами вплоть до чеканки монет, снабжение господ всем необходимым, от предметов роскоши до продуктов питания к столу или, скажем, породистых лошадей. Ссужали деньгами в обмен на право сбора налогов или всевозможные торговые привилегии. Такое «комплексное обслуживание» позволяло евреям сколачивать огромные капиталы и обрести разветвлёнными связями по всей Европе и за её пределами.

Конкретных примеров великое множество [100]. Первым влиятельным фактором при дворе императора Священной Римской империи и испанского короля Карла V Габсбурга был Иаков Фуггер (1459–1525), прозванный Богачом и делателем коронованных особ. Все вопросы снабжения Баварии продовольствием находились в руках единственного поставщика-монополиста, банкира Арона Элиаса Зелингмана. На свадьбу баварского принца Карла Альбрехта с императорской дочерью Марией-Амалией (1722) было истрачено более трех миллионов флоринов при пустом бюджете и огромном государственном долге. Деньги дали Ной Самуэл Исаак и Вольф Верттеймер под залог всех государственных рент и доходов.

Подобные операции проводились и позднее, в эпоху наполеоновских войн. Например, первый фактор австрийского двора Самуэль Оппенгейм брал в залог все доходы империи. Саксонский курфюрст Август I заполучил корону Речи Посполитой стараниями банкира Беренда Лемана, а финансист Йост Либман поспособствовал коронации бранденбургского курфюрста Фридриха III из династии Гогенцоллернов, ставшего первым прусским королём. Майер Амшель (так звали молодого Ротшильда) спонсировал поставку в Америку во времена Войны за независимость США около 30 000 гессенских наёмников, выступивших на стороне Британии. Операция обошлась более чем в восемь миллионов фунтов стерлингов. С другой стороны, партнёр по бизнесу известный американский банкир Хаим Соломон субсидировал американских повстанцев-республиканцев. Как писал Марио Пьюзо в «Крёстном отце», «бизнес – ничего личного».

Финансово-экономическая активность евреев не обминула Польшу и Великое Княжество Литовское. Этому были свои причины. Во-первых, всё XVI столетие знаменовалось ростом мировой экономики и Великими географическими открытиями. Тот же Колумб, крещёный генуэзский еврей, опирался на финансы и технику, принадлежавшие евреям и марранос (принявшим христианство, но продолжавшим тайно соблюдать еврейские законы). Однако с учётом их изгнания с Пиренейского полуострова и отношения к ним в Европе в эпоху Реформации и контрреформации у евреев не было выбора, кроме как раздвигать границы диаспоры и искать новых приложений своим деловым навыкам. Поэтому часть переселенцев (преимущественно – сефарды) отправилась в Америку и основала там первые фактории, а другие – на восток, где были достаточно толерантные религиозные законы и не так сильна конкуренция. Во-вторых, на востоке евреи действовали активно еще со времен эллинов, да и обращение Хазарского царства (тюркского по крови) в иудаизм в первой половине VIII века много значило для этого огромного благодатного региона [350, с. 355].

Лишь «уткнувшись» в Московское государство, еврейские торговцы и миссионеры были вынуждены остановиться (иудеи официально не допускались на территорию России вплоть до разделов Речи Посполитой конца XVIII века. Например, императрица

Елизавета в 1742 г. издаёт указ о запрете для евреев проживания в империи и даже высылке их [160, с. 27]). Но московский барьер, препятствовавший проникновению евреев на восток, привёл к интенсивному их оседанию в Польше, Беларуси, Литве, Украине. Это серьёзный третий фактор. Евреи служили ключевым элементом в мощном процессе колонизации, с его быстрым подъёмом сельскохозяйственного производства и торговли, а также с феноменальным ростом населения. В итоге получилось следующее.

В 1503 году польский король назначил равви Якова Поляка раввином Польши, и «возникновение главного раввината, поддержанного короной, способствовало формированию такой системы самоуправления, какой евреи не знали со времён экзархата (у них был очень широкий круг полномочий в вопросах юстиции и финансов, назначения судей и других чиновников)» [100, с. 287]. Разумеется, передавая часть власти евреям, монархия преследовала свои собственные интересы. Но следовало учитывать довольно сильную враждебность поляков-католиков по отношению к евреям, а также тот факт, что последние обычно не допускались в крупные города, где существовала сильная торговая прослойка немцев-лютеран и шотландцев-пресвитериан. Большинство же торговых операций на Балтике было в руках голландцев-кальвинистов. Но вся остальная экономика и финансы были освоены евреями.

Никто не остался в обиде, за исключением основной массы населения – полурабских нещадно эксплуатируемых крестьян. Короли обнаружили, что могли бы зарабатывать на евреях, продавая городам привилегию «о толерантности к евреям». Но они могли зарабатывать ещё больше, разрешая рост еврейских общин и за это получая постоянные доходы. Раввинат и местный еврейский совет при этом превращались, по существу, в налоговую инспекцию. Лишь 30% их сборов шли на социальное обеспечение и заработки официальных лиц; всё остальное передавалось короне в обмен на покровительство.

Как отмечается в литературе [160, с. 31], евреи брались под княжескую и корпоративную защиту и получали привилегии не раз (в XIII в. от Болеслава Благочестивого, в XVI в. от Сигизмунда I и от Стефана Батория), хотя это иногда перемежалось с притеснениями (в XV ст. при Владиславе Ягелло и при Александре Казимировиче, в том веке было и два еврейских погрома в Кракове). Для правителей Речи Посполитой социальный мир был очень важен. Например, они всячески содействовали заключению соглашений между городскими и еврейскими общинами. В письме короля Стефана Батория 1576 г. отмечено, что многие города Великого Княжества Литовского имели специальные «пакты, условия и постановления» с еврейскими общинами. Сигизмунд III своей грамотой 1578 г. наказывал магистратам всех городов рассматривать судебные споры между горожанами и евреями на основе земских уставов [161, с. 116].

В XVI веке в ряде польских городов было введено гетто, отчасти и для безопасности самих евреев. Для религиозного и национального сохранения создавались кагалы, выросшие из самых недр еврейской жизни, где всем заправляли старейшины и раввины. Эта организация не давала евреям ассимилироваться, но из-за своей заскорузлой консервативности не давала еврейской диаспоре нормально развиваться. Будучи связанным с властью, кагальное устройство застыло в средневековом обличье, далеко отстало от Европы.

Союз раввината с общинными финансами, а также с деловой активностью тех, кто их пополнял, привёл восточных евреев-ашкенази к тому, что они пошли ещё дальше итальянцев начала XVI века, дав галахическое благословление новым кредитно-финансовым методам. Польские евреи, жившие и работавшие вблизи границ цивилизации, имели крепкие связи с семейными еврейскими фирмами в Нидерландах и Германии. В 1607 году еврейские общины Польши и Литвы получили право использовать гетер-исках – систему выдачи ссуд одними евреями другим под процент. Имея легкий

доступ к кредитам, евреи начинают играть ведущую роль в развитии экономики Восточной Европы (особенно после Брест-Литовской унии 1569 года, которая сделала возможным польское заселение Украины – самого пригодного для земледелия региона Европы). К тому времени успешно завершилась для Польши Ливонская война, что означало устранение конкурента на этих землях – Московского государства.

Дело в том, что население Западной Европы быстро увеличивалось и ему требовался возрастающий импорт зерна. Амбициозные польские помещики, рвавшие в ответ на эти запросы осваивать новые районы возделывания пшеницы и направить потоки зерна через балтийские порты (Чёрное море – под турками) на Запад, стали вступать в партнёрские отношения с евреями-предпринимателями. Те же, в свою очередь, вели коммерцию с протестантами-горожанами-немцами портовых городов и мореплавателями-торговцами-голландцами. Польские и литовские магнаты – Радзивиллы, Собеские, Замоиские, Острожские, Любомирские – либо владели соответствующими землями, либо завоёвывали их. Евреи у них не только управляли имениями, но и в ряде случаев организовывали их аренду или заклад под оборотные средства, взимали арендную плату. Они строили и эксплуатировали мельницы и винокурни, владели рыночными судами, на которых вывозили пшеницу, привозя обратным рейсом вина, ткани и предметы роскоши, которыми торговали в своих лавках. Под их полным контролем находилось мыловаренное, керамическое, кожевенное и пушно-меховое производство.

Евреи выступали в качестве посредников между шляхтой и крестьянами. Чтобы принять участие в прибыльной колонизации, на эти территории съезжались евреи со всей Европы. Во многих населённых пунктах они стали составлять большинство населения, тем самым играя важную роль не только в экономике, но и в общественной жизни и культуре. Вне городских стен у каждого польского либо литовского магната был свой еврей-советник, который вёл бухгалтерские книги, писал деловые письма и вообще занимался экономикой. «Благодаря» контрреформации в Речи Посполитой устраняется важнейший конкурент в сфере производства и торговли – протестанты.

Статуты ВКЛ закрепили и утвердили относительно безопасный статус евреев, лишь в казацких районах они подвергались гонениям и резне, там всюду свирепствовали погромы. Особенно это касалось территорий Польской Короны, где основным населением было православное крестьянство, долго имевшее вольности и свободное от податей. На землях современной Украины католики-помещики при содействии евреев выжимали из «православных хлопов» все соки, но в случае страшных казацких восстаний ни те, ни другие не могли рассчитывать на пощаду. Когда в 1648 г. была развязана война под предводительством Богдана Хмельницкого, наравне с поляками погибли десятки тысяч евреев. Однако после военных действий по Белоцерковскому договору 1651 г. евреям было возвращено право водворяться по всей Украине, и они, конечно же, взяли за старое. Умение выживать в любых условиях сохраняло их доминирующее положение во всех финансово-торговых сферах. Вспомним, каким рискованным описал еврейский бизнес в самой Запорожской Сечи Н.В. Гоголь в «Тарасе Бульбе» [162, с. 96], но и там он приносил немалый доход.

Позволим себе маленькое отступление. Кем были запорожцы в интерпретации того же великого писателя: «Турок пограбим, татарву посечём, ляхам кишки выпустим...». И среди таких «миролюбивых» христиан настойчиво и с риском для жизни деловито снуют евреи. И в этом нет ничего нового. Удивительная параллель обнаруживается в античной истории, и её точно подметил В. Зомбарт: «Когда *Марциан* в своих объяснениях Езекиеля о евреях в Римской империи замечает: “До сегодняшнего дня в сирийцах (евреях) живёт такое врождённое рвение к делам, что они из-за наживы исходят все земли; и так велика их страсть торговать, что они повсюду внутри Римской империи среди войн, резни и убийств стремятся нажить богатство”, – то это попадает

в самую точку и характеризует с эпиграмматической краткостью положение евреев в хозяйственной жизни народов: «*среди войны, резни и убийств*» стараются они нажить богатства, в то время, как другие народы стремятся нажить их *путём войны, резни и убийств*» [62, с. 125]. Что благовиднее – насилие либо нажива – вопрос ещё тот. Но продолжим основную тему.

События в Речи Посполитой конца XVI века мало чем отличались от общеевропейского контекста. К этому времени идеологический нажим контрреформации иссяк, светские властители проводили линию католицизма (или протестантизма) исходя из собственных интересов, влияние и власть Ватикана стремительно убывали, а авторитет государства рос. Признанные авторы трудов по юридическим и политическим проблемам – Монтень, Бодэн, Липсий, Ф. Бэкон – придерживались светских взглядов на жизнь. Религия не должна разделять народы, и поэтому задача государства – добиваться мирного урегулирования, единства и процветания.

В этой новой атмосфере терпимости и политики реализма учёность евреев и их коммерческие таланты оценили по достоинству. Города и княжества, изгонявшие евреев в начале века, стали вновь принимать их. Любопытный эпизод из истории Великого Княжества Литовского обнаружил Т. Снайдер [163, с. 37]. Общеизвестно, что Ф. Скорина напечатал значительную часть Библии в белорусском варианте церковнославянского языка. Но можно найти библейские переводы начала XVI в. на местную «русинскую» (старобелорусскую), которые в отличие от Скориновского варианта, делались непосредственно с иврита. Это постарались литовские евреи, которые знали иврит и разговаривали на русинском. Переводы могли предназначаться либо для христиан, либо для евреев, либо для тех и других. Не случайно ещё в 1524 г. указом короля польского и великого князя литовского евреям были подтверждены их привелеи. Не забудем, что книгопечатание и всё с ним связанное – коммерчески прибыльный проект.

Великая сила евреев состояла в их способности быстро извлекать выгоду из новых возможностей, чувствовать возникновение беспрецедентной ситуации при её появлении и разрабатывать методы, позволяющие к ней приспособиться. Христиане же долго учились справляться с обычными финансовыми проблемами, были консервативны и медленно реагировали на новые обстоятельства. Например, к концу XVI века главным из этих обстоятельств стал рост масштабов войн и военных расходов. Король торговли Австрии Мариус Майзель [100, с. 290] снабжал императора Рудольфа II (видного коллекционера) произведениями искусства и научными приборами, но главной его задачей было финансирование войны с Турцией. Взамен представитель династии Габсбургов разрешал ему займы не только под такой реальный залог, как драгоценности, но и под векселя и землю.

Когда в 1618 году разразилась Тридцатилетняя война и династия Габсбургов была близка к гибели, огромные средства в её поддержку выделил пражский финансист, который разорил и обезлюдил Германию, вывел евреев в самый центр европейской экономики. Приходилось годами, в том числе и в зимний период, держать в поле огромные армии, но обеспечить их провиантом и фуражом удавалось только благодаря сети продовольственных поставок, организованной евреями в Восточной Европе. Они строили литейные и пороховые заводы и, самое главное, добывали наличные деньги, изобретая новые способы активизации имперских авуаров. Тот же Бассефи в 1622 году организовал консорциум, который взял в аренду имперский монетный двор (!). Фердинанд II издал приказ, чтобы евреев не подвергали принудительным займам, не помещали к ним войск на постой, не призывали на воинскую службу.

На заключительном этапе войны евреи владели контрактами на поставку провианта всех армий, а некоторые из них (Гомперцы, Беренды, Леманы, Фюрсты, Гольдшмиты, Абензуры) фактически играли роль главных министров при европейских мо-

нархах, помогая им концентрировать в своём дворце политическую и экономическую власть, выгоду от чего имели и евреи, и суверены. Дальше – больше. Во второй половине XVII века денежные ресурсы семьи Оппенгеймеров способствовали успешному сопротивлению продвижению Турции в Европу и пресечению доминирования Людовика XIV на европейском континенте. Все контракты заключал Самуил Оппенгеймер, а его семейные связи в Германии и Нидерландах делали европейскую систему добычи и переборки крупных сумм очень эффективной.

Апогеем еврейского финансового могущества можно считать появление финансовой системы Ротшильдов, раскинувшейся по всей Европе в эпоху кровопролитных наполеоновских войн. Только вдумайтесь. Амшель Майер, как старший сын, унаследовал от отца финансовое сердце клана – Франкфурт-на-Майне. Натан Майер и Джеймс Майер ещё при жизни отца перебрались в Англию и Францию, между которыми шла война. Соломон Майер обосновался в Вене при дворе императоров, а Кальман Майер убыл в Италию, где его клиентом стал сам римский папа. В Берлине интересы братьев представляли дружественные банки Мендельсона и Блейхрёдера, финансировавшие династию Гогенцоллернов: «При Бисмарке его финансовый советник Герман фон Блейхрёдер [...] помог Ротшильду и другим банковским домам получить право финансирования германских военных действий» [46, с. 137]. В упрямую царскую Россию Ротшильдов не пустили. После смуты во Франции и наполеоновских войн Ротшильды занимают лидирующие мировые позиции в мире банков и финансов – особенно после проникновения в США. Но у этих событий – своя предыстория, многое объясняющая.

Трудно сказать, что же в наибольшей степени придало импульс экономике Северной Америки – фактор переселения либо религиозные (прежде всего сектантские) верования. Современный капитализм сложился в США не только благодаря кальвинистам, гугенотам, лютеранам, сектантам и католикам из Северной Италии, но и не в последнюю очередь – евреям. Дело в том, что реформация, контрреформация и религиозные войны настолько разворошили «европейский муравейник», что маленькие предприимчивые еврейские общины оказались разбросаны по всем направлениям. Иногда, чтобы избежать беспокойства и преследований, они переселялись по два или три раза, прежде чем осесть окончательно. И почти всегда это приводило к процветанию их последнего пристанища.

Такое было возможно при выполнении двух условий, отмеченных С. Хантингтоном: «*Первое*: если приоритет отдаётся способным, квалифицированным, энергичным людям с талантами и знаниями, в которых нуждается принимающая сторона. *Второе*: если новые мигранты и их дети ассимилировались в культуру конкретной страны и Запада вообще» [43, с. 496]. Как оказалось, еврейская иммиграция в США явилась потенциальным источником новой энергии и человеческого капитала, чему способствовала грамотная и деликатная политика правительства в области скорейшей ассимиляции. Всё было подчинено национальному девизу: «E pluribus unum» («Из многих – единое»), выбранному комитетом Континентального конгресса, состоявшим из Б. Франклина, Т. Джефферсона и Дж. Адамса, известных отцов-основателей американского государства.

Конечно, общим у переселенцев не могла выступить теология, поэтому американский буржуазный конституционализм нельзя считать исключительно продуктом «чисто христианских» религиозных принципов, будь то «протестантская этика» либо «кальвинистская стезя спасения» (в обоих случаях имеется в виду дух упорного труда и накопления). Даже авторитетные учёные по этой проблеме несколько её упрощают, отбрасывая в своих исследованиях неудобные факты. Попытка М. Вебера [79] приписать дух капитализма исключительно кальвинистской этике – из этого разряда. Ближе к истине подошёл В. Зомбарт [62], который показал, почему у еврейских торговцев и промышленников, не допускавшихся в гильдии, выработалась разрушительная антипатия к ос-

новам средневековой коммерции. Последняя носила примитивный и непрогрессивный характер: стремление к «справедливым» (и фиксированным) заработкам и ценам, к уравниловке, при которой доли на рынках согласованы и не меняются, прибыли и средства к существованию – скромные, но гарантированные, а производство ограничено. Поэтому, будучи исключёнными из этой системы, евреи «взорвали» её, заменив современным капитализмом с его конкуренцией и удовлетворением потребителя как единственным законом.

Однако, как представляется, В. Зомбарт неоправданно игнорировал мистический элемент иудаизма. Он, как и его оппонент М. Вебер, отказывался признать, что там, где религиозные системы, включая иудаизм, были наиболее могущественными и авторитетными, коммерция не процветала. Еврейские бизнесмены, как и кальвинистские, добивались наибольших успехов тогда, когда покидали свою традиционную религиозную среду и устремлялись осваивать новые территории.

Объединяла эти общины не теология, а упорное нежелание жить в условиях жёсткой государственной регламентации религиозных и моральных идей в соответствии с установками церковной власти. Все они (иудеи и пуритане, в России – раскольники и сектанты) отказывались признавать церковную иерархию, отдавая предпочтение религиозному управлению при помощи конгрегации и индивидуального сознания.

Что касается заселения Северной Америки, во всех этих отношениях евреи были самыми характерными из различных категорий эмигрантов, ведь они отвергали клерикализм ещё со времён разрушения Второго Храма («эпохи фарисеев», которая совпала с римским управлением завоеванной Иудеей, закончившись вторым разрушением Иерусалима и рассеянием по миру последних иудеев» [164, с. 684]). Евреи восприняли конгрегационализм задолго до всех протестантских сект. Их общины выбирали себе раввинов, и эта специфическая форма руководства оказалась работоспособной благодаря отсутствию догматической теологии и выработанному духу интеллектуальной терпимости.

Говорить же о том, что они были большими специалистами по переселению, – излишне. Вся свою историю, с тех пор как 4000 лет тому назад они были изгнаны из пределов шумерской цивилизации Халдеи – города Ур (Быт., 11; 31), они только и делали, что перебирались с места на место. Будучи с самого своего появления «пришельцами и поселенцами», евреи на протяжении многих поколений и в бесконечно разнообразных ситуациях отработывали столь важные для иммигрантов способности, как умение концентрировать своё состояние, чтобы его можно было перебросить из опасного района в новое место жительства. В этой мобильности им помогали их профессии и ремёсла, народная культура и иудейские законы. Это было одной из причин, почему переселенцы-евреи, несмотря на все свои неприятности, всегда имели оборотный капитал. Поэтому те из республик, которые допускали евреев (Италия, Голландия, Фландрия, США), финансово процветали и расширяли торговлю.

После катастрофических событий в Испании (1492) и Португалии (1497) большинство евреев осело в городах Италии, что исторически объяснимо. Например, при Тиберии в одном Риме проживало 50–60 тысяч евреев плюс сорок других еврейских поселений в Италии. Но если во времена Христа их было 8 миллионов, в X веке – 1,5 миллиона, а в 1638 г. общее количество в Италии не превышало 25 000 – всего 0,2% населения [100, с. 196]. Эти «потери» лишь частично объясняются общеэкономическими и демографическими факторами. Дело в том, что достаточно свободные порядки итальянских городов-государств способствовали тому, чтобы евреи ассимилировались и смешивались с окружающим населением. Политика была разумной, так как евреи обладали рядом очень важных навыков и возможностей: способностью рассчитывать обменный курс денег, написать и доставить деловое письмо, предоставить кредит. Кроме того, евреи писали труды по математике, астрономии, экономике, врачеванию.

нию, были искусными ювелирами, стеклодувами, ткачами, кожевниками, красильщиками, переводчиками. Об их способностях в розничной и оптовой торговле и говорить не приходится.

О том, что первейшим источником богатства есть *carut* (разум), частная инициатива, изобретательность и инновации, хорошо написал М. Новак [64, с. 447]. Так вот, в дополнение к общим наклонностям, евреи внесли свой специфический вклад в дух экономических нововведений и предприимчивости. В Средние века их торговые и финансовые способности были постепенно заимствованы окружающими христианскими общинами; когда же их социальная и экономическая полезность была уже не нужна, евреев очень часто просили удалиться или подвергали дискриминации. Случалось, что после этого они перебирались в менее развитые регионы (Польша, Украина, Литва), где на их навыки сохранялся спрос. Но возможен был и альтернативный вариант – разработка новых подходов, и здесь евреи также оказывались на высоте. Они шли на шаг впереди других, либо повышая эффективность существующих методов и тем самым снижая затраты, либо внедряя новые методы. Рационализации их научила религия, к тому же мужское население на 100% было грамотным – такого в Европе никогда не было. Капитализм во все времена развивался благодаря рациональному подходу, упорядочивая многообразие существующих методов и механизмов.

Именно евреи были в состоянии решить эту задачу, поскольку, будучи довольно консервативными в пределах своего ограниченного и изолированного мира, они не подвергались, в том числе и эмоционально, давлению проблем общества в целом, и могли, таким образом, без особой паники и сожаления наблюдать за утратой старых традиций, методов и институтов власти. Как показал ход истории, они могли играть и ведущую роль в процессе их разрушения, следуя при этом рациональной логике. Именно евреи заставили европейскую культуру примириться с деньгами и их властью, а «всеобщая зависимость от денежной системы ... трансформировала все властные взаимоотношения», – пишет Э. Тоффлер [48, с. 65]. Нарастание сложности социума вынудило использовать более сложный инструмент – деньги, а за ним следует крайне эффективное не силовое, но экономическое принуждение, считает И. Бощенко [81, с. 178]. После того, как в деньги перестали вкладывать определённый моральный оттенок, а стали рассматривать лишь как средство – произошёл переворот в мышлении европейского человека. Но с каким трудом он давался (!), ведь образ денег, их мистический ореол всегда ассоциировался прежде всего с евреями.

И эти ассоциации возникали не на пустом месте, поскольку, как говорилось ранее, иудаизм являет собой учение, благоприятное для хозяйственной деятельности. Это не удивительно, «так как ведь для еврея авторитетами являются мудрецы *Ветхого* Завета, воззрения которых в девяносто девяти случаях из ста были благоприятными богатству и зажиточности, тогда как христианские моралисты-богословы всё же должны были всегда предварительно раскланиваться с евангельским идеалом бедности. В еврейской же религии *вообще* никогда не существовало идеала бедности, который бы пользовался исключительным признанием» [62, с. 307]. Развитие рационализма в иудаизме очень напоминает черты пуританизма и, конечно же, является более строгим и всеобъемлющим, чем в католической религии.

Иными словами, оценка, даваемая еврейскими религиозными учениями богатству, без сомнения, на несколько оттенков благоприятнее, чем любые оценки христианских правоверных доктрин. Вследствие этого мы и видим, что в течение раннекапиталистической эпохи евреи смело ломают рамки старых хозяйственных нравов и лицетворяют поэтому в глазах христиан тех, кто нацелен на безграничную и беспощадную наживу. Но ирония судьбы в том, что эти идеи сделались потом общим достоянием капиталистического духа в эпоху высшего развития капитализма, когда – особенно в про-

тестантских странах – сила религиозного чувства бесспорно пошла на убыль и когда в то же время влияние еврейства было уже непреодолимым и доминирующим. Вот что значит верно и своевременно понять функцию величайшего изобретения человечества, коим являются деньги.

Ну хорошо, в своё время Св. Павел заявил, а бесчисленные миллионы и по сей день бездумно повторяют: «Любовь к деньгам есть корень всего зла». Это мнение историков христиан, «а для генералов деньги – связующая ткань “войн”, революционеры видят в них оковы пролетариата» [52, с. 7]. Нет никакой логичной причины, почему именно к деньгам следует относиться с подобным осуждением. Более того, моральные различия между деньгами и прочими предметами чрезвычайно затрудняют этическое обоснование накопления капитала и экономического развития. Этому заблуждению предавались и поддавались на протяжении многих столетий, как бы мы сейчас сказали, владельцы человеческих душ. Праведные христиане и атеисты, поэты и композиторы, гуманисты и просветители, промышленники и политики, философы и учёные – кого здесь только нет. Кому интересно: Аквинский, Мирандолла, Рейхлин, Мюнстер, Меланхтон, Лютер, Бруно, Э. Роттердамский, Паскаль, Шекспир, Дидро, Вольтер, Дефо, Гольбах, Франклин, Вашингтон, Гёте, Шопенгауэр, Кант, Фихте, Вагнер, Чайковский, Г. Форд и многие другие известны своими антисемитскими настроениями, где «денежный» вопрос занимал центральное место. Готовность прямо подойти к проблеме денег и рассматривать её честно и рационально имеет глубокие корни в еврейской культуре, и её стандарты оказались в пору Европе Нового времени. Совпадение пуританских и еврейских интересов имело огромное значение для развития европейской цивилизации, и даже можно предположить, когда всё началось.

Поражение английских роялистов и казнь короля в 1649 году дают евреям уникальную возможность получить право въезда на острова, поскольку пуритане, правившие теперь страной, всегда были настроены просемитски. С тех пор как Эдуард I выслал евреев из Англии в 1290 году, официально считалось, что страна для них закрыта. Пуританские же фундаменталисты, постоянно ссылаясь на Библию, были уверены, что если Англия («край земли» по средневековым представлениям) примет евреев в их рассеянии, то это ускорит пришествие мессии. В 1655 году Кромвель назначил подкомитет, чтобы изучить вопрос о праве евреев на въезд в Англию. К удивлению всех было объявлено, что нет никакого закона, который запрещал бы это евреям, поскольку высылка их Эдуардом в 1290 году была административным актом короля, действие которого распространялось лишь на конкретных лиц. Однако ввиду того, что в Английской республике у евреев были как враги, так и друзья, в подкомитете ни о чём не договорились и после четырёх сессий Кромвель его распустил.

После восстановления монархии в 1660 году вопрос был решён прагматически, без широкого обсуждения, которое могло бы привести к антисемитским настроениям. Дело в том, пишет Пол Джонсон [100, с. 317], что в 1656 году в Лондоне слушалось дело некоего Антонио Родригеса Роблеса, который официально считался марраном, но в действительности был настоящим евреем: его обвиняли в том, что он – враждебный иностранец, испанский подданный (Англия и Испания находились в состоянии войны). В марте 1656 года около двух десятков семей марранов решили покончить с этой проблемой, открыто признавшись в своей приверженности иудаизму, объявив себя беженцами от испанской инквизиции и испросив у Совета разрешения на то, чтобы практиковать свою религию в частном порядке. 16 мая дело против Роблеса было прекращено, а 25 июня было принято положительное решение по петиции марранос. Таким образом, вопрос об особом статусе (понятное дело, второстепенном) евреев был опущен, а поскольку никакого законодательного акта, который запрещал бы их въезд, не было, они стали въезжать и практиковать свою религию.

Таким образом, евреи в результате умолчания стали полноправными подданными с ограничениями не больше тех, которые вытекали бы из их собственного нежелания (подобно католикам и неконформистам) принадлежать к англиканской церкви или принести христианскую присягу. Да, подобно другим неангликанцам, им был закрыт доступ во многие учреждения и парламент, но на их экономическую деятельность не было наложено никаких официальных ограничений. Немаловажно, что рядом юридических решений было установлено право евреев присягать и давать свидетельские показания в суде с учётом их религиозной специфики. В английских судах евреи с самого начала находили справедливость и защиту; как правило, английские судьи хорошо относились к этим трудолюбивым и законопослушным подданным, которые не нарушали спокойствия королевства. В 1732 году суды обеспечивают евреям юридическую защиту от обвинений по национальному признаку, ставивших под угрозу их жизнь.

Вот так, почти случайно, Англия оказалась первым местом, где появилась возможность для возникновения современной еврейской общины. Что интересно, определённая дискриминация имела место, но главным образом внутри еврейской общины. Например, преобладавшие сефарды сопротивлялись приёму в общину бедных ашкенази («немецких евреев»), особенно если предстояло содержать последних. В 1678 г. было принято постановление, что «немецкие евреи» не могут держать контору, голосовать на собраниях и зачитывать священные рукописи. В юридическом порядке оно было отменено, ещё больше усилив доверие евреев к публичной власти. Однако приходилось обращаться в христианство, «т.к. до 1858 г. евреи не могли быть членами Парламента» [101, с. 87]. Но то, что происходило с евреями в Америке в период колонизации, было ещё более значительным.

Голландский колониальный город Амстердам в 1654 году принял первых беженцев-евреев из города Ресифи в Бразилии, но положение их было неопределённым; кальвинисты, хотя и менее враждебные, чем лютеране, больших симпатий к ним не испытывали. (Как пишет У. Бернштейн [54, с. 479], позднее было установлено, что те двадцать три бразильских еврея были не первыми, т.к. их встретили евреи-ашкенази.) Остаться разрешили, но притеснения (особенно религиозные) имели место. Лишь когда в 1664 году город перешёл к англичанам и стал Нью-Йорком, евреи стали пользоваться не только преимуществами английского подданства, но и дополнительными религиозными свободами, которые завоевали колонисты Нового Света. Ричард Николс, первый английский губернатор Нью-Йорка, подчёркивая право на свободу совести, в 1665 году объявил: «Никто не может быть подвергнут порицанию, штрафу или замечанию за особое суждение в вопросах религии со стороны тех, кто исповедует христианство» [100, с. 319].

Вопрос принадлежности к евреям не поднимался. Англичанам были нужны колонисты, особенно те, кто способен торговать и налаживать связи. К тому же в Америке основывались т.н. «либертарианские колонии», где не существовало никаких религиозных запретов (Делавер, Род-Айленд). Согласно английским Актам о мореплавании, торговля между колониями и метрополией была исключительной прерогативой английских подданных; когда же парламент принял Акт о натурализации для североамериканских колоний, евреям было разрешено принять подданство наравне с поселенцами-христианами. С XVIII века евреи в США пользовались теми же правами, что и другие жители-переселенцы. Так зародилось американское еврейство, с самого начала отличавшееся от любого другого. В то же время оно не утрачивало связи с теми местами, где жили их соотечественники. И это – немалая масса населения: «Около 1900 г. еврейские общины одной только Восточной Европы вместе с выходцами из них, эмигрировавшими за море, насчитывали около 7,5 млн человек» [60, с. 145].

В Европе, Африке, Азии религиозные барьеры в той или иной форме были распространены повсеместно и евреям всегда приходилось договариваться об особом ста-

тусе, если только не навязывали его силой. Это вынуждало их образовывать специальные и обычно юридически ограниченные общины, где они и селились. В Речи Посполитой евреи имели право на самоуправление, которое осуществлялось Советом, избираемым наиболее обеспеченными членами общины. Там были своя юрисдикция и система наказаний. Так, в ст. 7 Раздела XII Статута ВКЛ 1588 г. говорится о штрафах по преступлениям между евреями, в ст. 8 – об ограничениях по ношению ими украшений, а в ст. 9 этого же Раздела – о невозможности «жидов, татар и других басурман занимать должности и держать христиан в неволе» [165, с. 184]. Однако правильно следует понимать – евреями считать иудеев, в то время как «если бы еврей или еврейка приняли христианскую веру, тогда каждый из них и их потомки шляхтичами могут быть признаны» (ст. 7 Раздела XII Статута) [165, с. 184]. Значение имела вера, а не этническое происхождение.

При Сигизмунде II Августе права еврейских общин в их самоуправлении расширились. В кагалах «раввины и старосты могли судить непослушных или совершивших преступления по законам Моисея и Талмуда и приговаривать виновных к очень строгим наказаниям, кроме разве что смертной казни» [159, с. 375]. Выйти за пределы кагала нельзя, на его стороне – религиозная власть. Если еврей проиграл еврейский суд и обратится в литовский – его предавали анафеме и изгоняли из общины. Иными словами, кагальная система консервировала общественную психологию, не давала возможности еврею стать гражданином, горожанином.

В Речи Посполитой сложилось фактически еврейское государство – без территории, границ и армии, но со своими законами, культурой и организацией. В масштабах страны был создан постоянно действующий еврейский сейм (ВХАД) – своего рода еврейское правительство. Такой глобальной организации не было ни в какой другой стране. Поэтому так мучительно в XIX веке происходила ассимиляция евреев в Российской империи. После разделов Речи Посполитой на территориях, оказавшихся в составе России, сразу же были введены значительные ограничения для евреев [161, с. 195]. Указом Екатерины II 1791 г. им было запрещено записываться в купеческое сословие, предписано проживать только в границах белорусских земель и Таврической области. В 1794 г. была введена «черта еврейской оседлости», а в 1795 г. евреям-купцам и мещанам запрещалось перемещаться из губернии в губернию. Лишь в 1835 г. начались некоторые законодательные послабления. Сохранение общинности, религии и языка ассимиляции никак не способствовало.

В Западной Европе евреям было намного проще адаптироваться к меняющейся жизни. Там, где развивается экономика и население стремительно урбанизируется, на расовые, религиозные, языковые, традиционные вопросы смотрят намного лояльнее и прагматичнее. Развитие капитализма, отмечает М. Фридман [67, с. 133], сопровождалось значительным сокращением особых ограничений, которые испытывали в своей экономической деятельности различные религиозные, расовые и социальные группы (то есть, как принято говорить, подвергались дискриминации). Замена отношений, построенных на статусе, системой контрактов была первым шагом к освобождению крепостных в Средние века. Евреи пережили Средневековье благодаря существованию рыночного сектора, в котором они могли действовать и кормиться, несмотря на официальное преследование. Пуритане и квакеры смогли эмигрировать в Новый Свет, потому что сумели с помощью рынка накопить необходимые средства, несмотря на ограничения, которым они подвергались в других сферах жизни. И вообще, наименьшая дискриминация групп встречается в тех областях, где свобода конкуренции выше. Поэтому столь важен вопрос экономических возможностей.

В Северной Америке всё было совсем по-другому ещё до того, как США обрели независимость. При принципиальном отсутствии закона о религии не было никакого

повода, чтобы у евреев действовала своя отдельная система, кроме разве что вопросов, касающихся собственно внутренней религиозной дисциплины. Поскольку все религиозные группы изначально имели равные права, не имело смысла выделяться в отдельную общину и все могли принимать участие в жизни единого общества. Поэтому, полагает П. Джонсон [100, с. 321], с самого начала евреи в Америке были организованы не по коммунальному, а по конгрегационному принципу, как и другие церкви. Американские евреи не принадлежали к «еврейской общине» как в Европе, они имели отношение к определённой синагоге. Она могла быть сефардовской или ашкеназийской; если говорить о последних, то они могли быть немецкого, английского, голландского или польского происхождения, с небольшими ритуальными различиями. Похожим образом различались и протестантские группировки. В итоге еврей ходил в «свою» синагогу, подобно тому, как протестант ходил в «свою» церковь. В других же отношениях и евреи, и протестанты были составной частью гражданской общности, в которую они были «впаяны» как светские элементы. Таким образом, евреи впервые, никоим образом не отказываясь от своей религии, включились в процесс интеграции. Именно поэтому американское еврейство радикальнейшим образом отличалось от любой иной части диаспоры и оказалось в итоге той силой, которая сделала возможным возникновение сионистского государства.

Такой толерантности поневоле напрашивается аналогия, связанная с событиями нашей истории – периода БССР 20-х гг. XX в. В Декларации о восстановлении БССР 1920 г. идиш наравне с белорусским, русским и польским языками обрёл официальный статус (по переписи населения 1926 г. в БССР проживало 8,2% евреев [166, с. 14]). По подсчётам Т.И. Довнар [161, с. 277], из 22 республиканских газет и журналов 4 выходило на идише. В этот же период образовано 23 еврейских местечковых совета. Удельный процент евреев в государственных учреждениях был непропорционально высок. Но уже с 1929 г. «проявлениям белорусского национализма, еврейского и польского шовинизма» был положен конец. На тот момент нигде в мире у евреев не было столь значимого официального статуса.

Это было позже, но даже в самом начале новой истории восприятие евреев в регионе, где доминировали англосаксы, стало всё сильнее влиять на роль, которую евреи играли в экономике, придавая ей характер постоянства и стабильности, которыми она никогда ранее не обладала. Во все времена евреи были прекрасными торговцами, финансистами и предпринимателями. Но еврейская экономическая мощь была крайне уязвима, ибо закон её почти не защищал. И в христианском, и в мусульманском мире имущество евреев всегда находилось под угрозой изъятия. Можно сказать, что разгром нацистами еврейского бизнеса в 1933–1939 гг. и конфискация еврейской собственности арабами в 1948–1950 гг. явились последними и самыми ощутимыми атаками на евреев.

Именно из-за такой уязвимости вплоть до середины XVI столетия состояния евреев носили преходящий, в лучшем случае мигрирующий характер, а вклад евреев в рост мировой предпринимательской экономики был соответственно ограничен. Да, евреи всегда умели использовать и перемещать капитал, но лишь тогда, когда они закрепились в англосаксонском обществе, безопасность, гарантированная им законом, позволила им накапливать капитал. Уверенность в своих правах привела евреев к расширению пределов их деятельности. Торговля, особенно мелкими и ценными товарами, которые легко спрятать и перевезти с места на место, перестала быть почти единственным видом экономической деятельности евреев, где бы они чувствовали себя в безопасности.

В силу этих и некоторых других причин ситуация кардинально стала меняться в Америке XVIII века, и вот как это объясняется [100, с. 322]. Ещё в начале этого столетия евреи в основном концентрировались в секторе международной торговли, специализируясь на ювелирных изделиях, кораллах, текстиле, рабах, какао и имбире.

В 1701 году в Нью-Йорке, составляя всего 1% населения, их было 12% среди тех, кто занимается заморской торговлей. Но к 1776 году эта доля упала до 1%, поскольку евреи, чувствуя себя более уверенно (с точки зрения оседлости, безопасности и приемлемости для окружающих), стали утрачивать интерес к морю, через которое ранее традиционно пролегали маршруты их бегства, и обращать свой взор на внутренние районы страны, на развитие континента. Они сами становились поселенцами, торговали ружьями, ромом, вином, изделиями из железа и стекла, мехами и провиантом.

После коронации Вильгельма Оранского Англия стала самой надёжной базой, опираясь на которую можно было действовать евреям. Именно они в конце XVII века основали финансовый рынок Сити, благодаря покровительству правительства избежали столь характерных конфискаций состояний и кабального юридического преследования. В то время как в континентальной Европе всё это допускалось, лондонские евреи, уверенные в том, что их собственности ничто не угрожает, всячески способствовали государству, не допуская финансового кризиса. Некий бессознательный коллективный инстинкт заставил евреев обезличить финансы и рационализировать всеобщий экономический процесс. Любая собственность, считавшаяся еврейской, всегда была в опасности, даже при оформлении международных сделок и страховании морских грузов использовались фиктивные христианские имена, а затем были разработаны безличные формулировки для документов. Придумав аккредитив, евреи изобрели затем и другой способ безналичного перемещения денег – чек на предъявителя. Для непривилегированной общины, чья собственность постоянно находилась под угрозой и кого постоянно могли в кратчайший срок заставить переселиться, появление надёжного безличного платежного средства, которым стали бумажные деньги, будь то векселя, а ещё лучше – полноценные банкноты, было чрезвычайно ценным.

В итоге в начале Нового времени евреи приложили огромные усилия для усовершенствования финансовых средств и их повсеместного использования. Они оказывали большую поддержку появлению и становлению институтов, способствующих укреплению статуса ценных бумаг: центральных банков, во главе которых был Английский банк с его правом выпуска банковских билетов, и фондовых бирж. Как образно выразился В. Зомбарт, биржа была создана еврейским духом: «Только соединение современной техники с современной биржей дают внешние формы, в которых могло осуществиться стремление к безграничности капиталистической наживы» [62, с. 416]. Евреи доминировали на Амстердамской бирже, где держали основные акции Вест-Индской и Ост-Индской компании, и были первыми, кто занялся в мировом масштабе ценными бумагами. В 1792 году еврейские брокеры создали Нью-Йоркскую биржу. Вслед за развитием кредита как такового, изобретение и популяризация ценных бумаг стали самым ощутимым вкладом евреев в процесс накопления. Евреи форсировали использование ценных бумаг как в тех областях, где чувствовали себя в безопасности, так и там, где находились под угрозой, поскольку считали весь мир единым рынком.

Чем больше расширялся рынок, тем шире становились возможности. Глобальная перспектива, которую предлагала им диаспора, не поддаётся описанию. Ещё более важными были усилия евреев по созданию мирового рынка таких ключевых товаров современной коммерции, как пшеница, шерсть, лён, текстиль, спиртные напитки, сахар, табак. Внедряясь в новые отрасли, евреи сильно рисковали, поскольку имели дело с разнообразнейшими товарами. Еврейская финансовая и торговая деятельность в XVIII веке стала настолько широкой, что без этой движущей силы трудно представить себе создание современной капиталистической системы.

Её функционирование немислимо без ссудного капитала, который «ведёт свою славную родословную от ростовщичества, широко распространённого в условиях простого товарного производства и характеризовавшегося весьма большими размерами

ссудного процента, доходившего до 42% в месяц, или более 570% в год. В условиях капиталистического общества ссудный капитал приобрёл человеческое лицо тем, что максимальные проценты за денежные ссуды были снижены до уровня средней нормы прибыли» [167, с. 156]. Конечно, благодаря еврейскому ссудному капиталу деньги приобретают способность приносить высокую прибыль их владельцам и обеспечивать им высокий жизненный уровень. Но без него немыслим процесс производства материальных благ. Да и в настоящее время, как убедительно доказал Н. Фергюсон [52], не финансы обслуживают производство, но именно они стимулируют экономические процессы. Еврейский фактор оказал своё влияние по *пяти* главным направлениям, считает Пол Джонсон [100, с. 326].

Во-первых, они знали толк в нововведениях (фондовые биржи, ценные бумаги, кредиты, банковские операции). Многие были удачно заимствованы от итальянцев и тамплиеров.

Во-вторых, евреи всегда отстаивали значение активной торговли, они придумали рекламу и механизмы продвижения товаров на рынок.

В-третьих, они стремились к максимально широкому рынку, так как понимали значение крупномасштабной экономики. Евреи охотно инвестировали в солидные предприятия, рисковали и, как правило, оставались в выигрыше.

Стремление к большому обороту при готовности к невысокой норме прибыли привело, *в-четвёртых*, к снижению цен. Они всегда способствовали продвижению на широкий рынок дешёвых товаров. Способность евреев «сбивать» цены была причиной ярости и обвинений в том, что они либо жульничают, либо торгуют ворованными или конфискованными товарами. (В Российской империи, к слову, весь воровской жаргон появился из идиша, т.е. языка, на котором разговаривали барыги – скупщики краденого.) Фактически же речь идёт ещё об одном примере рационализации. Евреи были готовы к распродаже остатков, они думали о возможности применения отходов. Закупая дешёвое сырьё, приобретая заменители, евреи продавали беднякам – основной массе населения – товары пониженного качества. Претворяя в жизнь масштабную экономику, они додумались открыть универсальные магазины, где под одной крышей продавалось великое разнообразие товаров. Это нарушило традиционную европейскую специализированную торговлю. Наконец, евреи всецело следовали принципу, что главным арбитром в торговле является потребитель и для процветания необходимо следовать его интересам, а не интересам гильдии. «Покупатель всегда прав» – отсюда известная формула. Окончательный приговор выносит рынок, и эти аксиомы не обязательно были изобретены евреями или соблюдались исключительно ими, но евреи претворяли их в жизнь быстрее, чем остальные.

В-пятых, евреи очень серьёзно относились к сбору и использованию данных, как бы сейчас сказали, коммерческого шпионажа. По мере того как рынок становился доминирующим фактором во всякого рода торговле и расширялся, превращаясь в ряд глобальных систем, информация приобретала первостепенное значение. Информированность стала важнейшим фактором, определяющим успех евреев в торговле и финансах. К началу Промышленной революции они управляли семейными торговыми сетями, раскинутыми по всё расширяющейся территории. Они приводили в действие чувствительную и оперативную систему, позволяющую быстро откликаться на политические и военные события, изменяющиеся требования регионального, национального и мирового рынков. Евреи доказали, что в действительности цена зависит от места и времени: чем больше рынок, чем длиннее расстояния, тем больше разброс. Залог коммерческого успеха – «Доставить нужные товары в нужное место и в нужное время» – придал этому принципу определяющее значение. Тем самым повысилась важность

принимаемых в бизнесе стратегических решений. Они основывались на качестве информации, которой располагали в момент их приёма.

Таким образом, благодаря совместному действию всех перечисленных выше факторов евреи внесли в создание современного капитализма вклад, совершенно не пропорциональный их численности. Он бы, конечно, сложился и без них (евреи играли весьма умеренную роль на ранних стадиях Промышленной революции в Англии), но в целом они привнесли в экономическую систему Нового времени мощный дух рационализации, веру в то, что имеющиеся способы вести дело никогда не бывают идеальными и могут быть заменены на лучшие, более лёгкие, дешёвые и быстрые. Вопреки всем предубеждениям истовых христиан можно сказать, что в еврейской коммерции не было ничего мистического и бесчестного – всего лишь здравый смысл и высокая степень адаптивности к меняющимся реалиям. Можно сказать, что евреи, живущие в толерантной среде, придерживались номинального иудаизма и стремились полностью идентифицироваться со всеми по правилам открытой ассимиляции.

Не случайно страна, которая ближе всего подходила бы перечисленным еврейским идеалам, – это Соединённые Штаты, где идеи Просвещения опирались на прочный фундамент английского парламентаризма, плюрализма, религиозной терпимости. Томас Джефферсон, знаковая фигура американской истории, в своих *«Заметках о штате Вирджиния»* (1782) доказывал, что существование набора из нескольких разумных и этических религий – лучшая гарантия материального и духовного прогресса, а также свободы человека. Закономерно, что большинство американских евреев поддерживало движение за независимость. Примечательный эпизод: «На публичном обеде, который давался в Филадельфии в 1789 году в ознаменование Конституции, был специальный стол, еда на котором соответствовала еврейским [кошерным] законам» [100, с. 347].

Им действительно было что праздновать. С учётом их во многом трагической истории, они получили от американской Конституции больше другой группы: разделение церкви и государства, всеобщую свободу совести (1-я поправка к Конституции) и не в последнюю очередь – конец всех религиозных проверок при назначении на службу. В США еврей чувствовал себя свободным; более того, он чувствовал и понимал, что его ценят. Не все «отцы» американской революции разделяли эти чувства. Бенджамин Франклин, будучи крупным масоном, не скрывал своего антисемитизма, о чём откровенно пишет в *«Автобиографии»* [27, с. 106]. Но личные восприятия он не переносил на государственные дела. А через полвека еврей Авраам Линкольн станет президентом США и одной из культовых фигур американской истории.

Очувтившись в открытом обществе с защитой против антисемитизма и беспрецедентными возможностями, евреи стремительно ассимилируются, чему способствуют смешанные браки и свободный доступ к любым видам деятельности. В огромном «плавильном тигле» национальные и религиозные предрассудки выглядят архаикой, в цене – личные и профессиональные качества. Как с сожалением заметил в 1995 г. главный ашкеназийский раввин Израиля 58-летний Исраэль Меир Лау, «если говорить об Америке в демографическом смысле, её еврейское население должно было бы составлять сегодня не менее 30 миллионов. Пять лет назад здесь официально числилось 5,5 миллиона, а ныне лишь три миллиона человек признают себя евреями, несмотря на иммиграцию в Штаты евреев со всего света, включая Израиль» [168, с. 324].

Поэтому неспроста сотни лет Америку называют «Золотой Мединой» евреев – идеальным и безопасным убежищем для них, страной безграничных возможностей. Стойкая приверженность евреев к труду, инвестициям и творчеству, вера в способность изменить свою судьбу к лучшему, пунктуальность и прагматизм – таковы слагаемые успеха. В Европе всё складывалось иначе. Вместо старинного «законного» бесправия они получили современный антисемитизм. Но много раньше евреи, как было показано,

оказались вовлечёнными в процесс распада средневековой Европы. Подводя некоторые итоги, отметим главное.

Много столетий существовавший союз светской и духовной власти распадается, католическая церковь без политической поддержки теряет влияние и сдаёт позиции протестантам Северной Европы, где бурно развивается экономика во многом благодаря коммерческим талантам, связям и финансам еврейских общин. Конечно, было множество и других причин. Католическая церковь, давно превратившаяся в могущественный институт, становилась весьма заманчивой мишенью для захвата. Под влиянием идей Возрождения человечество стало взрослее и просвещённое, церковные догмы не давали ответов на поставленные злободневные вопросы. Европейские монархи желали отделаться от понтифика, который мешал во многих делах. Всё громче раздавались призывы сократить расходы за счёт церковной десятины и поживиться имуществом монастырей, церковными землями и прочими богатствами. Скандалы Ватикана с приходом ко власти семейства Борджиа только усугубили ситуацию. Наступление Реформации было абсолютно закономерным.

Получается, что, ломая сопротивление, в мир входили две силы – капитализм протестантский и капитализм еврейский. В чём отличие? Протестанты сразу же обозначили себя как мощная политическая и религиозная сила, доминирующий духовно-культурный этос. Они были крайне заинтересованы в пересмотре правопорядка и установлении новых юридических правил. О евреях этого не скажешь. Они и не собирались ассимилироваться, их не прельщало вхождение в формальные политические структуры и решение юридических вопросов.

Важное соображение высказал Норманн Подгорец, многолетний редактор американского еврейского консервативного журнала «Комментари» (в изложении М. Вартбург): «Евреи в чужих культурах всегда “стояли на плечах” коренных народов, освободив благодаря этому свой интеллект от экономических, военных, политических и прочих “обычных” забот, которыми занята любая нормальная нация и которые отвлекают столь значительную часть её собственного коллективного гения» [169, с. 220]. Да, несомненно – так. «В конце-то концов, евреи и выжили не в своей стране, а в диаспоре, в рассеянии» [121, с. 15], что предполагало их умение адаптироваться и приспособливаться.

Попутно развенчаем миф о перманентной революционности евреев. В Английской и Американской революциях их не было вообще, а во Французской был единственный еврей (Юниус Фрей, он же Моисей Добрушка), игравший активную, но второстепенную роль. Если, конечно, не считать якобинца Исаака Рене Ги Ле Шапелье (1754–1794), именем которого назвали закон о запрете стачек и рабочих коалиций, принятый Учредительным собранием в июне 1791 г. Однако всё это были единичные случаи.

Иного мнения придерживается историк Пол Джонсон. Он полагает, что именно в это время «из тени начинает выходить новый тип, который всегда существовал в эмбриональной форме – еврей-революционер. Итальянские клерикалы клялись в своей ненависти к “галлам, якобинцам и евреям”. В 1793–1794 годах еврей-якобинцы установили революционный режим в Сент-Эсири, еврейском пригороде Байона. И снова, как во времена Реформации, традиционалисты разглядели связь между Торой и подрывной деятельностью. Подрывные элементы – евреи – возникали в различных обликах, часто как грубая карикатура, иногда в виде фарса» [100, с. 351]. Можно вспомнить о том, что 27 сентября 1791 г., преодолев сильнейшее сопротивление, Национальное собрание Франции принимает Декрет о полной эмансипации евреев. Более того, преодоление дискриминации происходило везде, куда французы смогли принести революционный дух на своих штыках. Так, в 1796–1798 годах Наполеон Бонапарт ликвидировал итальянские гетто, в 1807 году заменил старую общинную структуру общеврейской организацией, где евреи назывались «французскими гражданами моисеевой веры». В 1812 го-

ду Пруссия признаёт евреев полноправными гражданами, ликвидировав всяческую дискриминацию и специальные налоги.

Так поступали во многих европейских странах, но в итоге, когда пали стены гетто и евреи вышли на свободу, они обнаружили, что вступают на территорию нового, менее заметного, но не менее враждебного гетто из подозрений (теория всемирного заговора, «Протоколы сионских мудрецов» и пр.). Вместо старинного бесправия, повторим ещё раз, они получили современный антисемитизм. Обо всём этом – в захватывающем романе Умберто Эко *«Пражское кладбище»* [158], где читателям предлагается поразмышлять над многими животрепещущими вопросами. Политическая, общественная, культурная, юридическая активность евреев начинается лишь в XIX веке, именно здесь раскрывается их революционный потенциал, достигший апогея в эпоху русских революций начала XX в., но в рассматриваемый период (XVI–XVIII вв.) их влияние ограничивалось экономической и финансовой жизнью, где значимо проявился и протестантский фактор.

Проводя исторические параллели между протестантизмом и еврейством в их влиянии на экономическую жизнь Европы, не упустим из виду мировоззренческую, духовно-культурную составляющую. Следует понимать, что непосредственное по своей сущности восприятие жизни иудеями в целом резко отличалось от своеобразной этики пуритан. Об этом хорошо сказал М. Вебер: «...чужда пуританизму [...] хозяйственная этика евреев средневекового и нового времени, причём различие это распространялось, в частности, на те черты, которые имели решающее значение при определении роли обоих религиозных учений в развитии капиталистического этоса. Еврейство находилось в сфере политически или спекулятивно ориентированного «авантюристического» капитализма: его этос был, если попытаться характеризовать его, этосом капиталистических париев: пуританизм же был носителем этоса рационального буржуазного предпринимательства и рациональной организации труда» [79, с. 192]. И ещё: «Для английских пуритан современные им евреи были представителями того ориентированного на войну, государственные поставки, государственные монополии, грюндерство, финансовые и строительные проекты капитализма, который вызывал у них ужас и отвращение» [79, с. 260]. Моральный аспект о необходимости различия между «благочестивым» и «неблагочестивым» нам представляется чрезвычайно интересным.

Интенсивная склонность к наживе в раннем пуританизме осуждалась как никогда строго. В Нидерландах Южноголландский синод 1574 г. [79, с. 249] ответил на поставленный ему вопрос следующим образом: «Ломбардцев не следует допускать к причастию, несмотря на то, что их деятельность разрешена законом». Провинциальный синод Девентера от 1598 г. распространил это на всех служащих у «ломбардцев»; синод в Гори-хеме 1606 г. установил строгие и унижительные условия, при которых жены «ростовщиков» могут быть допущены к причастию. Подобным же образом относились к этому гугенотские синоды. Излишне говорить, что «ростовщический» капитал Ломбардии и Пьемонта был преимущественно еврейского происхождения. Таким образом, этическую основу противоречия между пуританами и евреями составляет противопоставление мирской аскезы с упором на труд одних, алчность и «мамонизм» других.

Истоки непреодолимых противоречий можно обнаружить в учении самой знаковой фигуры протестантизма – Мартина Лютера (1483–1546). Именно он сформулировал те религиозно-политические лозунги, которые вначале вдохновили и сплотили в Германии практически всех поборников Реформации. Однако уделим внимание лишь интересующей нас проблеме. Глубинное изменение его личности и трансформация характера особенно очевидны на примере отношения к евреям. Будучи молодым человеком, Лютер постоянно заявлял о своей дружбе с евреями как с народом Христовым, а «затем стал их жесточайшим врагом, выразившим свою ненависть в самых ярких и свирепых

нападках как в устных, так и в письменных проповедях. [...] Особенно это касается книги *“Против иудеев и их лжеучения”* [37, с. 109].

Мы же обратимся к трактату *«О торговле и ростовщичестве»* (1524), где говорится: «Приложи радение к тому, чтобы не искать в [...] торговле ничего большего, чем только пропитание, и чтобы, сообразуясь с затратами, хлопотами, трудом и риском, ты сам мог устанавливать, повышать и понижать цены именно настолько, насколько это необходимо, чтобы ты получил воздаяние за свой труд и хлопоты» [79, с. 133]. Реформатор не выбирал слов, называя дающих под процент оборотнями, «маскирующимися под личиной сограждан, чтобы наносить вред, и не снисвший никаким открытым супостатам». Размышляя об экономической жизни с примитивных позиций традиционалистски-мирской нравственности, Лютер неизбежно был вынужден столкнуться с таинственным миром денег иудаизма.

Агрессивные устремления М. Лютера постоянно требовали внешнего врага. Вначале это была католическая церковь, затем – евреи. Внутренний конфликт оказался для Лютера непреодолим. Самым важным его заявлением о капитализме было утверждение, что деньги являются словом дьявола, посредством которого тот совершает своё творение, подобно тому как Бог творил с помощью истинного слова. Он договорился до того, что истинные христиане, признавая свою греховность, влечат бремя зарабатывания денег. Ничего подобного не было в английской пуританской доктрине. Осуждение денег как царства дьявола, с одной стороны, и организованное стремление к богатству и выгоде, с другой, стали противоречивым наследием лютеранской философии.

«Благодаря» М. Лютеру в германской культуре образ еврея приобрёл бесконечное число отталкивающих форм. К золотому тельцу, сове, скорпиону добавился самый оскорбительный – свиньи, а с «появлением печатного станка он быстро распространился и стал вездесущ в Германии» [100, с. 266]. Его бесконечное повторение способствовало процессу дегуманизации евреев, что впоследствии приобрело огромное и трагическое значение. Антисемитизм как католического, так и лютеранского толка на протяжении многих столетий вносил свою лепту в формирование ненависти к евреям, кульминацией которой явился гитлеризм.

Антисемитские книги Лютера были напечатаны в Третьем Рейхе огромными тиражами, и нацисты использовали их как готовую программу и обоснование для решения «еврейского вопроса». Надо признать, что А. Гитлер побаивался и уважал евреев как «отрицательных сверхлюдей» [46, с. 393]. Антисемитизм Гитлера (несмотря на его еврейские корни) находил отражение как в спонтанно-эмоциональном, неконтролируемом насилии погрома, так и в холодном, систематическом «легальном» и регулируемом государством насилии. Евреи, в отличие от христиан, не верили, что дьявол может принимать человеческий облик. Мотивы ненависти к евреям лучше всего понять из *«Майн Кампф»*, но ужаснее всего то, что Холокост планировался, он был бездушно осмысленным проектом. «Избранная раса» и «избранный народ» – для одного человечества слишком много, дремучие предрассудки оказались губительными для тех и других.

Противоречие протестантизма и еврейства – лишь один из многочисленных эпизодов мировой истории, но желание в корне изменить ситуацию привело их к осознанию необходимости противостояния общему врагу и неблагоприятным обстоятельствам. Так закончилось Средневековье с его укладом, казавшимся незыблемым для феодально-клерикальных элит. Высвободившаяся энергия протестантизма и еврейства стремительно заполняет образовавшийся вакуум, формируя для Европы новый тип общественного устройства, психологии и морали.

Успехи протестантов и евреев имеют общие корни, что убедительно доказывают Л. Харрисон и С. Силбигер [101, с. 100]. Близкие параллели обнаруживаются в умении: 1) ставить долгосрочные цели; 2) упорно трудиться над задачами, требующими умст-

венных операций; 3) принимать на себя разумный риск; 4) трудиться ради материального вознаграждения; 5) брать на себя ответственность за принятые решения и достижение результатов; 6) брать пример с других успешных людей; 7) верить в свою самостоятельность и самоопределение. Кстати сказать, такому «кодексу» удивительным образом соответствуют ценности конфуцианской культуры. Эти страны (Япония, Сингапур, Корея, Тайвань) и в наше время наряду с протестантскими и государством Израиль лидируют по любым рейтингам, индексам, факторам. Здесь определённо имеет место не случайное совпадение, а историческая закономерность.

Уникальность еврейского влияния несомненна, вдумчивые люди её видят. Поэтому выносить универсальные суждения наиболее затруднительно: «Редко какой народ являет собой такой богатый спектр типов, характеров и мнений, от светлейших умов человечества до тёмных дельцов. И какое бы правило вы не составили о евреях, какую бы суммарную характеристику вы не пытались бы им дать, – тотчас же вам справедливо представят самые яркие и убедительные исключения из того» [169, с. 16]. По приведённым историческим примерам, по общему живому ощущению, надо признать: картина рассмотренной эпохи не будет полна без упоминания той роли, которую играл в ней еврейский народ.

ГЛАВА 3

ФИЛОСОФСКОЕ, ПОЛИТИЧЕСКОЕ И ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ КОНСТИТУЦИОННОЙ ДОКТРИНЫ

3.1 Эпоха Возрождения и Век Разума накануне великих событий

Рассматривается проблема истоков европейской гуманитарной мысли, положившей начало эпохе Просвещения. Отсчёт предлагается вести от гуманистической концепции Возрождения и её самых ярких представителей: Данте, Мирандолы, Монтеня, Эразма Роттердамского. Показано, каким образом духовная культура позднего Ренессанса повлияла на движение Реформации в Северной Европе. Век Разума, связавший Возрождение и Просвещение, представлен мировоззренческими подходами Ф. Бэкона, Р. Декарта, Дж. Локка. Раскрываются особенности рационалистической философии в преломлении на общественно-политическую и государственно-правовую культуру Нового времени. Особое внимание уделено политической философии и религиозной толерантности Локка, чьи идеи впоследствии нашли воплощение в американском и французском Просвещении, конституционных документах той эпохи. Предметно анализируются события, серьёзно пошатнувшие моральные и политические основы Европы: принятие Конституции Корсики и Лиссабонское землетрясение. Показан масштаб личности Паскаля Паоли – первого европейского конституционалиста.

Комплекс идей и представлений, воплотившийся во Французской революции, несомненно берёт начало от того европейского идеологического течения, которое принято называть «Просвещением». Это – влиятельное общекультурное движение эпохи перехода от феодализма к капитализму, если выражаться марксистской терминологией. Верно отмечено, что «специфику содержания Просвещения более всего характеризуют два момента. *Во-первых*, его социальный и нравственный идеал. *Во-вторых*, план осуществления этого идеала. Деятели Просвещения желали утвердить на земле “царство разума”, в котором люди будут совершенными во всех отношениях, восторжествует гармония интересов свободного индивида и справедливого общества. Очень многие из них основные свои надежды на пришествие “царства разума” связывали с вытеснением из массового сознания обскурантистских клерикальных идей, с ликвидацией реакционных феодально-аристократических установлений, нравов, традиций.

Главная ставка делалась на энергичное распространение рационального знания, преодоление темноты и невежества масс, на внедрение в общественную жизнь ценностей, базирующихся на уважении человеческого достоинства. Исключительно важная роль отводилась процессу политического, морального, эстетического воспитания индивида, привития ему потребностей в добре, истине, красоте качеств истинного человека и гражданина. В разных формах, пропорциях, отражая национальные и общественно-исторические особенности соответствующих государств, взаимодействуя с иными идеологическими факторами, отмеченные моменты присутствовали в Просвещении Франции, Италии, Германии, Англии, России и Польши, Северной Америки и других стран» [131, с. 277].

Но где его начало и кого следует считать родоначальниками этого течения? Здесь нет однозначного ответа. Если называть Просвещением «атаку на темноту и на представления о сакральности абсолютной власти монархов» [65, с. 57], то классическим представителем этого типа мыслителей, которых в начале XVII века называли «интел-

лектуалистами», был Мишель Монтень (1533–1592). Он, как и другие интеллектуалы в качестве довольно отчётливой группы, стал возможен в Европе в XVI веке в связи с рождением секулярного общества и достижениями науки.

Монтень – самый значительный автор эпохи кризиса ренессансного сознания, он завершает и доводит до высшей точки традицию учёного скептицизма. В своих «Опытах» [170] ничего не принимая на веру, подвергая всё анализу разума – хотя и несовершенного, но единственного орудия познания вещей, которыми располагает человек, – он стремится тем самым приблизиться к истине. В независимости суждений он видит средство сохранить внутреннюю свободу личности, а любому обычаю, религии и государству придаёт относительный характер. Поиски высшей мудрости на основе гуманистического эпикурейства приводят его к природе как источнику мудрости и простоты. Монтень оказал огромное влияние на развитие материализма во Франции, а его здравый смысл, человеколюбие и скептицизм были средством критики католической морали и средневекового догматизма.

Но если всмотреться пристальнее к европейской истории, то отчётливое стремление к зрелости, свободе и самоуважению берёт истоки в возрождённой концепции гуманизма, а это – более ранний период. Стремление человека реабилитировать своё тело, чувства, сердце и разум, пробудить интерес к природе стало возможным в эпоху Возрождения, оно «снова открыло союз человека и природы и увидело в природе людей нечто такое, что сам Бог избрал для своих целей» [171, с. 92]. Гуманистическая концепция была провозглашена Пико делла Мирандола (1463–1494) в его «*Речи о достоинстве человека*» [104] – блестящем творении этой великой эпохи. В произведении утверждалось не больше не меньше, что человек стоит в центре мира, где в Средние века стоял Бог, и что он по собственному желанию может уподобиться если не самому Творцу, то уж во всяком случае херувимам (ангелам), чтобы стать столь же прекрасным и совершенным, как они.

На основе этих тенденций в Новое время складывается, с одной стороны, новоевропейская личность, с другой – рациональное понимание мира и природы. В.М. Розин [85, с. 224] говорит о формировании самостоятельных типов новоевропейской нормативности: религиозного (всё более вытесняемого в специальную нишу); мыслительного (философия науки); правового (регулятивный инструмент); художественного (литература, живопись, театр). Поэтому неслучайно столь важную роль начинают играть институты государства, экономики и образования. Не удивительно, что «новое» открытие греческой философии, литературы, драмы и искусства, Ветхого Завета и философии монотеизма создало культуру, основанную на принципах свободного творчества, которая впоследствии стала примером для подражания всей Европы. Главное – люди перестали бояться своей собственной индивидуальности, освободились от догмата виновности, в созидании видели исполнение воли Бога.

И присутствие дьявола также ими ощущалось постоянно, иначе не были бы созданы «Божественная комедия» и росписи сводов Сикстинской капеллы. Это сказано к тому, чтобы современный человек трезво понимал дух той эпохи. Её выдающиеся представители творили для церкви, причём творили убеждённо. Непокколебимая вера в существование дьявола и в избавление от него с помощью святых лежала в основе всего искусства и литературы. Сочиняя гуманистические трактаты, те же Марсилио Фичино и Франческо делла Мирандола рассматривали костры, на которых повсюду сжигали ведьм, как что-то вполне естественное и носили амулеты от дьявола. На вершине Возрождения, в то самое время как Леонардо работал над своей «Мадонной», в Риме на изысканной латыни составлялся «*Молот ведьм*» (1487 г.) [190]. Право на свободную волю в интерпретации Петра Ломбардского и Фомы Аквинского было мыслимо лишь в состоянии, когда люди ощущали дьявола вокруг себя, ибо предать себя

дьяволу значит именно передать свою волю в распоряжение его воли. Так была заложена идея личности на основе синтеза античности и христианства.

Через Возрождение и Реформацию вследствие тесной интеграции с Европой проходит Великое Княжество Литовское. В экономическом, политическом, военном и культурном отношении наше государство проходило те же, что и западные страны, цивилизационно-исторические этапы. Если обратиться к трудам отечественных мыслителей той эпохи [259], можно убедиться, что их живо интересовали те же проблемы, какие занимали великие умы эпохи Ренессанса и Реформации в Европе: религиозной толерантности, личной свободы, соотношения общего и индивидуального блага, экономического прогресса, роли права в жизни общества, совершенствования существующих социально-политических форм, этики и эстетики.

Несмотря на общее сходство с европейским наследием, А.А. Козел считает необходимым выделить следующие специфические черты [172, с. 64]. *Первой* особенностью является то, что в отличие от западноевропейской философии Возрождения здесь не получили решающего развития принципы индивидуальной свободы. Человек должен служить общему благу – таков основной лейтмотив отечественных мыслителей. *Вторая* заключается в доминировании идеи права как одного из основных институтов государственного управления. *Третьей* является тесная связь белорусской гуманистической философии с идеями и практикой Реформации. Однако от себя сразу отметим, что нигде так успешно не состоялась Контрреформация, как во второй половине XVI века на наших землях, что предельно обострило межконфессиональные и межэтнические отношения.

В зависимости от отношения отечественной гуманистической мысли к античной и средневековой философии, предлагаемых путей общественных преобразований и религиозно-теологической традиции, А.А. Козел предлагает различать три основных направления: 1) *гуманистическое* – наиболее видные представители – Франциск Скорина, Николай Гусовский, Михалон Литвин, Андрей Волан, Лев Сапега; 2) *умеренное реформационно-гуманистическое*, проповедуемое Сымоном Будным, Фаустом Социным, Василием Тяпинским; 3) *радикальное реформационно-гуманистическое*, представленное Петром из Гонендза, Якубом из Калиновки и Мартином Чаховицом. Картина будет неполной без упоминания об эклектической философии Антона Скорульского, Станислава Шадурского и Бенедикта Добшевича, а также гуманитарной мысли Предпросвещения, развиваемой Казимиром Нарбутом, Анелом Довгирдом, Мартином Почёбутом, Яном Снядецким. Их главная заслуга – преодоление теологической схоластики, стремление к истине и философской свободе. Эта палитра мыслей в Речи Посполитой проявила себя с более чем двухсотлетним опозданием от рационалистических и просветительских воззрений на Западе. Главное подчеркнуть, что отечественные мыслители жили и творили в контексте европейской культурной истории. Но вернёмся в эпицентр событий.

Вопреки догматизму официальной церкви главным научным устремлением Мирандоллы было отыскание единой истины, источником которой могли служить различные философские системы и разные религии, за что некоторые его произведения по решению Папы были признаны еретическими. Разрушая детерминизм Средневековья, Пико высвобождал волю человека, награждал её свободой, а путь окончательного формирования человеческой сущности видел через познание. Восхвалению науки у него посвящено немало страниц и заметное смещение акцента с теологии на философию оказывается закономерным завершением рационалистических тенденций в итальянской гуманистической мысли конца XV века. Философ-гуманист глубоко верит в величие разума человека, силу его созидательных способностей.

Однако и Мирандолла возник не на пустом месте. Он во многом и состоялся благодаря тесной дружбе с Верниа дель Медиго, Фичино, Полициано, Бенивьени, Лоренцо Медичи (это в основном «философы падуанской школы аввероизма и участники плато-

новской Академии») [171, с. 243]. Поразительно, что это было в ту самую эпоху, когда Францию сжигала столетняя война, когда Испания, завершая Реконквисту, выживала последние остатки мусульман, а в Германии господствовало «кулачное право»! Пережившая схожие невзгоды веком ранее городская Италия, «остывшая, оставляла великолепные кристаллы, которые мы называем искусством раннего Возрождения или гуманизмом. Но сколько было гуманистов?» – задаётся вопросом Л.Н. Гумилёв [106, с. 231]. Знаменитый историк Огюст Минье подсчитал, что за 100 лет Кватроченто, т.е. на протяжении XV в., в Италии было пятнадцать гуманистов (!) и примерно столько же хороших художников, а населения было свыше 10 миллионов. В XVI веке положение и вообще изменилось, они главным образом занимались подготовкой к изданию (тогда уже появилось книгопечатание) тех рукописей, которые им удалось собрать в Византии, разгромленной турками. Людей искусства стало ещё меньше, но именно к этому времени относятся такие имена, как Леонардо да Винчи, Бенвенуто Челлини. Но всё это – угасающий, поздний Ренессанс, как сказал бы Л.Н. Гумилёв, «пассионарный спад».

Кто же стоял у его истоков и благодаря кому состоялась цивилизация Возрождения? Вне всякого сомнения, это – Данте Алигьери (1265–1321). Хотя, казалось бы, какое нам дело до автора *«Божественной комедии»* (1320) и первой романизированной автобиографии *«Новая жизнь»* (1292)? Но обратим внимание на его произведение, имеющее прямое отношение к рассматриваемой теме.

Речь идёт о трактате *«Монархия»* (1312) [173], где Данте впервые провозгласил принцип разделения духовной и светской власти, настаивая при этом на суверенитете последней. Конечно, во многом здесь сказалось влияние Иоанна Солсберийского с его *«Poliraticus»*, написанным ещё в 1159 г., хотя и ранее появлялись произведения, где «защищалась сакральность королевской власти от притязаний партии Папы» [9, с. 264]. Но Данте пошёл дальше. Его беспокоило падение авторитета церкви и размах коррупции в этой могущественной системе. Но церковь в те времена никакой критики не воспринимала, поэтому трактат был незамедлительно осуждён и подлежал сожжению: «Всё оставалось без изменений. Колокольчика Данте никто не услышал, и через два столетия Мартину Лютеру пришлось ударить в набат» [174, с. 172]. Ещё раньше, в 1302 г., Флоренция (где он родился и пытался активно участвовать в общественно-политической жизни города) лишила Данте гражданских прав и приговорила к смертной казни, вследствие чего ему пришлось обратиться в изгнание.

Данте вошёл в политическую историю не только знаменитым выражением «Государь, которого можно назвать слугой всех» (позднейшая перефразировка – «Государь есть первый слуга и первый чиновник государства»). В *«Божественной комедии»* [50] звучит вызов старой системе и философия новой исторической эпохи: «Многие должны были оказаться в аду. Кто-то должен был пройти чистилище и попасть в рай. Данте вполне добросовестно представил ещё живым читателям имеющиеся у них альтернативы. Каждый мог выстроить собственную жизненную траекторию и попытаться определить свою судьбу. Ведь не случайно род людской назван homo sapiens. В соответствии с духом античности, который Данте вместе с первыми немногими открыл для себя, человек есть demiург, творец всего сущего, и от самого человека зависит то место, куда он попадёт после смерти. Человек не песчинка и не ничтожество, а создатель этого мира. В этом смысл того, что со временем стали называть гуманизмом, того, что и создало современную цивилизацию» [174, с. 174]. По словам Ж. Дюломо [175], Данте обращается к каждому думающему человеку с предложением думать ещё больше, острее, направленнее. Именно поэтому столь весомо, на наш взгляд, это слово и имя – Данте Алигьери. Но практическое воплощение идей Возрождения происходит в позднем Ренессансе.

Во времени он совпал с движением Реформации в Северной Европе. Эти явления обычно считают отдалённо связанными между собой и обладающими различными ха-

рактеристиками, но между ними всё же существует очень важная связь, к которой привлекает наше внимание Дж. Франкл: «Речь идёт о дружбе между Пико делла Мирандола и Иоганном Рейхлиным. Молодой итальянский философ стал учителем немецкого схоласта, его вдохновителем и образцом для подражания, и именно благодаря Рейхлину великие идеи Ренессанса проникли в Германию, где *они в конце концов превратились в идеи Просвещения*» (курсив наш. – А.П.) [37, с. 99]. Рейхлина поддержала профессура германских университетов, однако волнения в рядах немецких учёных вызвали не только новые идеи, которые он излагал, но и фанатичное противодействие им церкви и его преследование инквизицией.

Следует помнить, что во второй половине XVI века немецкая светская культура достигла такой стадии развития, что никакой компромисс с традиционным схоластическим образованием больше не был возможен. Знакомство североευропейских учёных с итальянской гуманистической мыслью оказало решающее влияние на развитие европейской культуры. Человек нового типа хотел заменить прежние догматы вины, которые церковь наложила на сознание европейцев и которые доминировали веками, набожностью, которая не противоречила бы свободе разума и уважению к личности человека. Так, флорентийский неоплатонизм и иудейская концепция святости человека – как индивидуума, так и всего рода человеческого – стали источником вдохновения распространившейся по всей Европе культуры гуманизма.

Наступление Возрождения Ф.Ф. Зелинский описал так: «Древние боги воскресли во Флоренции, их власть распространилась по Италии, завоевала Рим, проникла за Альпы. Неудержимо развивалось новое движение, всюду пробуждая умы, освобождая личность, закрепляя за ней гордое право собственными силами стремиться к совершенству – к истине, добру и красоте. Таков был лозунг гуманизма XVI века. Реакция не замедлила последовать со стороны строго древнехристианского духа: собственными силами стремиться к совершенству, к истине, добру, красоте? Причём же тогда благодать, отпущение грехов? Произошёл новый, ожесточённый бой; реформация сразилась с гуманизмом и поборола его [...]. Дух реформационной реакции – дух строгий и нетерпимый, в его раю нет места для Сверхчеловека» [176, с. 157]. Дух возрождения не был убит реформацией. На примере создания американского государства мы увидим, как античность и христианство вступили в союз между собою.

Нельзя не упомянуть человека, которого можно считать выразителем различных тенденций и идеалов североευропейского гуманизма – Эразма Роттердамского (1469–1536), голландского философа и писателя, проведшего жизнь в скитаниях. Его сочинения были внесены в «Индекс запрещённых книг», а сам он осуждён Тридентским Собором как нечестивый еретик. Как пишет Д. Быков, «Эразм с его одиннадцатью томами дружеской переписки был кем-то вроде начштаба европейской гуманитарной интеллигенции, сравнение его с Вольтером стало общим местом (и Вольтер недвусмысленно подражал его стилистике в «*Философских повестях*») [...] книжная премудрость представлялась [ему] вещью неважной, разумеющейся, не принципиальной» [177, с. 576]. Он принадлежал к просвещеннейшим европейцам всех времён, одним из первых отказался от схоластики, ибо последняя исключает компромиссы. Во многом благодаря интеллектуальным усилиям Э. Роттердамского «расшаталось» церковное всемогущество и средневековые перетекло в новые времена. Решающим следует считать конфликт Эразма с не менее знаковой фигурой эпохи – Мартином Лютером.

Он открыто осуждал германский национализм, антисемитизм, фанатизм и распутный нрав Лютера, его нетерпимость и, самое главное, убеждённость в беспомощности человека перед лицом божественной воли, из-за чего теряла смысл гуманистическая концепция изначальной сущности человека как воплощения добра. Люди, подобные Эразму, хотели освободить своих современников от церковных предрассудков, сувер-

ных страхов и показать им возможности разума и рациональной морали в деле изменения души и жизни. Он призывал следовать простейшим правилам поведения, которые верней всего назвать не католическими, не реформаторскими, а попросту христианскими.

Вот как охарактеризовал складывающуюся ситуацию О. Шпенглер: «Духовная творческая сила возникает не с Реформации, но после неё. Подлинным её созданием была свободная наука. Ещё для Лютера учёность была всецело *aucilla theologiae* (служанка теологии. – *А.П.*), а Кальвин сжёг на костре свободомыслящего Сервета. [...] Знание было оправданной, а не опровергнутой религией. Однако теперь критическая мощь городского духа сделалась так велика, что она уже больше не удостоверяет, но проверяет. [Поэтому] чистым объектом анализирующей духовной деятельности была сумма истин веры, причём воспринимаемых рассудком, а не сердцем. [...] Рационализм означает веру исключительно в результаты критического понимания, т.е. в «рассудок» [96, с. 312, 318]. Математическое и экспериментальное направление в познавательной деятельности, опора на практическую механику – так наука навсегда высвободилась из-под теологии.

В начале XVII в. европейская мысль принимает, таким образом, новое направление, чему способствовали ошеломляющие открытия астрономии и других наук. Чего стоит один переворот, произведённый Коперником, в результате которого человек и его мир сместился из центра вселенной: «с одной стороны, это роняло человека в собственных глазах, с другой – возвышало на недостижимую высоту. Познание законов, управляющих движением небесных тел, возвышало человека в ранг созданий, способных проникать в глубочайшие тайны природы: те самые научные знания, которые вытолкнули его из центра мироздания, позволяли ему стать властелином природы» [178, с. 71]. Это было абсолютно новым мировоззренческим подходом в сознании европейца, ведь до XVII века неизменность человеческого бытия была непреложным постулатом философской мысли.

Светская учёность и вера в разум очень многим обязаны развитию и учреждению в Европе протестантизма. Созвучно протестантской религиозной доктрине формулируются основные постулаты Века Разума. По мнению М. Вебера, решающей становится следующая точка зрения: «...подобно тому как христианина узнают по плодам его веры, так и познание Бога и его намерений может быть углублено посредством познания его творений. В соответствии с этим все пуританские, баптистские и пиетистские вероисповедания проявляли особую склонность к физике и другим, пользующимся теми же методами математическим и естественным наукам. В основе лежала вера в то, что посредством эмпирического исследования установленных Богом законов природы можно приблизиться к пониманию смысла мироздания, который вследствие фрагментарного характера божественного откровения (чисто кальвинистская идея) не может быть понят путём спекулятивного оперирования понятиями. Эмпиризм XVII в. служил аскезе средством искать “Бога в природе”. Предполагалось, что эмпиризм приближает к Богу, а философская спекуляция уводит от него» [79, с. 239]. Парадоксально, но факт, что этот подход нашёл фактическое воплощение в том числе у сторонников официальной англиканской церкви и ревностных католиков. О них и пойдёт речь.

Именно Фрэнсис Бэкон (1561–1626) был первым мыслителем, который осознал, что несёт в себе научный метод, и воспринял знания, обретенные научными наблюдениями и прозрениями, – не только как путь к пониманию мира, но и как средство воздействия на него. Как писатель, он считал своим учителем Мишеля Монтеня, но как учёный доказывал вещи, которые столетием ранее обличили бы его как явного сумасшедшего. Бэкон доказывал, что, разрабатывая новые методы, которыми достигается истинное знание, т.е. заменив классические и схоластические модели эмпирической и индуктивной методологией, применяемой в естественных науках, он закладывает осно-

вы господства человека над природой и самим собой. Подзаголовок его трактата о научной методологии – («О царстве человека» [92, с. 80]) – показывает: Бэкон сознавал, что заключено в развиваемой им теории. Учёный поставил под сомнение теорию «врождённых идей», т.к. она не согласовывалась с эмпирической методологией, и утверждал, что знания обретаются через ощущения.

Теория познания, основанная на концепции «врождённых идей» (её истоки в учении Сократа и писаниях Святого Августина), подразумевает заложенные в человеке от рождения представления о Боге, добре и зле, чувство времени и пространства и даже начала логики. Понятно, что политическое содержание этой теории носило отчётливо консервативный характер: неизменность человеческой природы обуславливала неизменность человеческого поведения и постоянство политико-социальных установлений. Новое же мировоззрение характеризуется оптимистическим отношением человека к своей способности узнавать истину и получать знание, поэтому Бэкон так последовательно, по выражению К. Поппера [86, с. 346], выступает против «метафизической чепухи». Вера в силу человеческого разума напрямую связана с доктриной достоинства человека и верой в близкого человеку Бога, который хочет сделать его разумным, ответственным и творческим существом. Здесь упомянем предшественника – однофамильца Фрэнсиса – Роджера Бэкона (1220–1292), который в своём сочинении «*Doctor mirabilis*» [179] выступил в качестве одного из первых сторонников единой мудрости. Выступая против установления границ, за которые не должен выходить ни один мыслитель, он предполагал, что частью разума является «деятельный интеллект», объединяющий всё возможное знание и, таким образом, сходный с Божественным разумом.

В поисках нового мировоззрения Ф. Бэкон выступал на «стыке» великого Возрождения и надвигающегося Просвещения, не зря он пользовался безусловным авторитетом у французских энциклопедистов. Приверженность Бэкона к рациональной методологии выражалась в пропаганде науки, на указание её первостепенного значения в жизни человечества, на выработку нового ценностного взгляда на её строение, классификацию, цели и методы исследования. Наука – не цель сама по себе, знания ради знания, мудрость ради мудрости. Конечная цель науки – усовершенствования, изобретения и открытия. Цель последних – человеческая польза, удовлетворение потребностей и улучшение жизни людей.

Именно по этому основанию чаще всего упрекают Ф. Бэкона в утилитаризме и прагматизме, но именно в разработке «философии индустриальной науки» (по выражению Б. Фаррингтона) коренится одна из причин столь продолжительной популярности его взглядов, не случайно из античных философов учёный высоко ценил лишь древнегреческих материалистов и натурфилософов. Это не был мыслитель кабинетного (кантовского) стиля. Достигнув карьерных вершин верховного канцлера и пэра Англии, Бэкон повсеместно внедрял научные методы, разрабатывал общую стратегию науки, определял генеральные маршруты её продвижения и принципы организации в будущем обществе.

Однако как политический деятель Ф. Бэкон оценивается, мягко говоря, неоднозначно. Его цинизм порой превышал все допустимые пределы. Он не верил в общество и институты представительной демократии, отвергал существование общественной нравственности, т.к. по его разумению, самый простой способ общения с народом – это обращение к самым низким чувствам людей. Тот факт, что это зачастую приводит к нужным для элиты результатам, усиливает его презрение к массам, недостойным ничего лучшего (не правда ли, «Бонапартизм» в чистом виде?). Бэкон не признавал верховенства права, а следовательно, и парламента. Он считал естественный закон и разум более высокими категориями.

Сделав карьеру при дворе, со взлётами и падениями, он удивительно напоминает своего незаурядного предшественника – Н. Макиавелли [180], которого яростно нена-

видели гуманисты Ренессанса, а впоследствии – французские энциклопедисты. Как и флорентинец, Бэкон неоднократно предавал своих покровителей, корыстно использовал своё высокое положение, обвинялся в коррупции и полностью признавал свою вину. Не брезговал он и откровенным плагиатом. «Как появился на свет британский эмпиризм? – спрашивает в своей работе Дж. Стейнберг. – Он был переписан Ф. Бэконом из трактата итальянца Паоло Сарпи *«Arte della ben Pensare»*, где утверждается, будто человеческое познание происходит исключительно через органы чувств» [61]. Постоянное пребывание при дворе выработало у него безусловное признание абсолютной монархии, но самого себя Бэкон видел в качестве мудрого советника.

Лишь знание и власть имели для него ценность, поэтому тайна и целомудрие становятся частью его натуры. Как пишет современный культуролог П.С. Гуревич, «Бэкон оценивает эрос как безумие. Но что может противостоять любви? Только кристально ясный ум...» [181, с. 148]. В этом установка Бэкона противопоставлена культуре Возрождения, но впоследствии будет подхвачена Просвещением, где плотская любовь всё чаще будет трактоваться как чистое безумие, недостойное разумного человека. В рассматриваемую «стыковую» эпоху это было нормальным явлением. Асексуальность исповедовали И. Лойола, Ришельё, Декарт, Паскаль. Этот, казалось бы, необязательный штришок наглядно характеризует рационалистическую философию. В чём же феномен этого выдающегося учёного, государственного деятеля и политического интригана?

Пожалуй, исходным можно считать тот бэконовский постулат, что элиты должны состоять из людей, которые специально отобраны и обучены, чтобы способствовать дальнейшему развитию Века Разума. Идеалом служило общество, основанное на структуре и логике. Бэкон, по сути, узнаваемый человек наших дней: честолюбивая личность, умеренный националист, постоянно пребывающий в поиске серьёзного работодателя. Он, как и Макиавелли, был пророком политической безнравственности, равнодушным к моральным вопросам. Кстати, Бэкон держался за абсолютизм вовсе не из-за почтения и благоговения перед монархом. Он не был наивным человеком, а поэтому король был только необходимым прикладным центром политического метода, продиктованного временем и местом. Приверженность к секретности, стремление использовать властные структуры для достижения собственных целей и склонность к коварной интриге – вот далеко не полный перечень методов управления, которые применял Бэкон.

Когда в своём произведении *«Новая Атлантида»* [92, с. 483] Бэкон представил идеальное общество, то фактически описал диктатуру технократов, которые стремились к знанию и правде, при этом скрываясь от людей. Нетрудно заметить, что создание в Европе национальных государств происходило на основе методов рациональной технократии. Например, Кардинал Ришельё (1585–1642) в своей управленческой деятельности заимствовал практически все идеи как Бэкона, так и Декарта. Он цинично считал, что силой своего интеллекта и ума можно воздействовать на ход истории и изменять его направление. У Бэкона много поклонников и последователей. Здесь на ум приходит прежде всего Генри Сент-Джон Болингброк (1678–1751), политический деятель, философ – деист, представитель английского Просвещения и друг Вольтера. Приверженец элитарного стиля, эмпирик и человек Века Разума, он, например, писал о том, что высшие слои общества могут пользоваться правом свободы мышления, низшие же слои, народ, должны руководствоваться религией. Болингброк, как и его идейные предшественники, признавал необходимой высшую разумную силу, создавшую мир и установившую его законы. Государство он видел как прочный национальный союз во главе с мудрым и справедливым королём.

Многие знаковые личности эпохи Просвещения внимательно изучали и следовали принципам рационалистической философии, но то же можно сказать о Ф. Бэконе в отношении его предшественников. Ф. Бэкон точно чувствовал концепцию преемственно-

сти в развитии человеческой мысли и очень чтит своих духовных наставников, что дало основание А.Л. Субботину точно сформулировать: «Именно идейное течение Возрождения наряду с крепкой, идущей от Уильяма Оккама и Роджера Бэкона традицией английского номинализма и эмпиризма подготовило почву и явилось предтечей бэконовской философской реформации» [53, с. 16]. Но картина, раскрывающая истоки европейского Просвещения, будет неполной без акцентированного упоминания ещё двух ключевых фигур – Рене Декарта и Джона Локка.

Французский учёный Рене Декарт (1596–1650) (на самом деле – Де Карт, отсюда и невразумительность русского термина «картезианство» в приложении к носителю искажённой фамилии) наряду с Ф. Бэконом – столпы современной европейской науки, основоположники рациональной философии. Рене Декарт [182] учил, что для получения истины нет никакой необходимости прибегать к авторитету, потому что внутри каждого человека есть семена знания: они кроются как в его способности к чувственному восприятию, которую он может использовать для наблюдения над природой, так и в интеллектуальной интуиции, с помощью которой следует отличать истину от лжи, отказываясь признавать смутные и туманные идеи.

Декарт выступал против догматического учения о порочности человека, изначальной греховности и недостойности его природы. Нет надобности и в наличии власти или авторитета, который бы думал за человека, спасая его от совершения ошибок: «Если Бог замыслил нас как греховных и низменных существ, то он не ждёт, что мы когда-нибудь поймём его, то есть у нас не будет инструментов знания, и мы останемся в зависимости от догмы. Но если Бог хочет, чтобы мы знали и понимали, он наделяет нас инструментами знания – ощущениями и чувствами, при помощи которых мы можем познавать его творения, и интеллектом, благодаря которому мы понимаем их смысл» [37, с. 124].

Декарт был глубоко верующим христианином, но он был убеждён, что этот новый образ отца Вселенной поощряет людей развивать свой моральный и интеллектуальный потенциал. Мыслящий разум служит источником человеческого опыта и основой его существования. Фраза «Я мыслю, следовательно, я существую» составляет сердцевину декартовской философии познания и раскрывает её основные черты (об этом см. глубокое исследование М. Хайдеггера [183, с. 173]). Эта максима делает разум более определённым, чем материю, и предоставляет интеллекту приоритет, равного которому не существовало никогда прежде.

В познании истины, считал Декарт, универсальное сомнение должно служить первым шагом и условием для отыскания несомненных основ знания. Критицизм для него означал прежде всего высвобождение человеческого ума из всех тех схоластических пут и предрассудков, которыми он обременён. Однако сомнение – не самоцель, а средство выработать плодотворный метод познания. Игнорируя суеверия, догматические теологии и мифические предания, опираясь прежде всего на приёмы и способы математического знания, Декарт упускал из виду, что «разум – это такая система, переходящая в идеологию, а со временем и при наличии силы, он становится догмой без ориентиров, скрываясь под маской объективного исследования» [65, с. 9]. Вне всякого сомнения, большинство деятелей эпохи Просвещения со своим лозунгом абсолютного разума и использованием чистой, холодной логики при разработке любого ответа на действительно чрезвычайно сложные вопросы восприняли самую поверхностную сторону учения Декарта, поэтому было бы недальновидным критиковать Декарта и других его современников за ту страсть, с которой они боготворили разум. В конце концов, любой из них мог оказаться за решёткой и даже поплатиться жизнью за высказывание своих взглядов.

Эти гениальные люди действительно полагали, что зарождается интеллектуальная элита, способная создать новую цивилизацию. Каким образом их наследие будет использовано столетием позже для радикальных реформаторских проектов, они и не по-

мышляли. Но произойдёт потрясение всех основ жизни Европы: демонстрация силы и выпячивание абсолютного разума без сдерживающегося воздействия со стороны этических структур приведёт к появлению религии новых элит и узакониванию государственного насилия. В борьбе между гуманистическими и рациональными методами и принципами перевес окажется на стороне последних.

Рене Декарт был тем великим мыслителем, который с наибольшей полнотой развил базовые идеи течения, которое принято именовать конструктивистским рационализмом. Хотя он воздержался от распространения своих идей на область социальной и моральной философии, за него это сделали такие влиятельные фигуры, как Гоббс, Вольтер, Руссо. Поскольку Декарт определял разум как логический вывод из явно сформулированных посылок, рациональным стало считаться только действие, обусловленное исключительно известной и доказуемой истиной. Отсюда как раз и напрашивается вывод о том, что решительно всё, чему человек обязан своими достижениями, является продуктом его умозаключений.

Изучая этот «рационалистический» подход, Ф.А. фон Хайек уловил его «червоточину»: «Институты и обычаи, которые не были сделаны в соответствии с этой процедурой, могут быть благотворны только случайным образом. Это стало характерной установкой картезианского конструктивизма с его презрением к традициям, обычаям и истории вообще. Человек способен сконструировать общество заново при помощи одного только разума» [66, с. 29]. Трудно переоценить степень влияния этого заблуждения на взгляды самых независимых и смелых мыслителей эпохи Просвещения. Для иллюстрации ограничимся наиболее известными примерами. Вольтер восклицал: «Если вам нужны хорошие законы, сожгите имеющиеся и создайте новые», а не менее влиятельный Руссо доказывал, что «общество может быть справедливым только как мыслящее существо».

Когда были отвергнуты аргументы о необходимости традиционных правил морали и права, религиозной христианской этики, следом были отброшены и все правила, которым не удавалось найти рационального обоснования. Хотя сам Декарт заботился только об установлении критериев истинности утверждений, его последователи применили их к оценке уместности и оправданности действий. Бессмысленные абстракции и свободные от человеческих, моральных, эстетических ценностей рациональные методологии не могли не привести к тем потрясениям, которые испытала Европа конца XVIII – начала XIX века.

Идейным последователем Ф. Бэкона выступил Джон Локк (1632–1704), подвергший принципиальной критике теорию «врождённых идей» в своём *«Опыте о человеческом разумении»* [184]. Как пишет Р. Пайпс [178, с. 72], Локк целиком отверг предпосылки этой теории и утверждал, что все без исключения идеи рождаются из чувственного опыта. Человеческий разум он уподобил тёмной комнате, свет в которую проникает единственно через восприятие – органы зрения, обоняния, осязания, вкуса и слуха. Перерабатывая эти ощущения, разум порождает идеи. Согласно Локку, мышление совершенно произвольный процесс: человеку так же невозможно отвергнуть или изменить мысли, порождённые в его рассудке ощущениями, как зеркалу «не отразить или изменить, или стереть образа или идеи, которые предметы, перед ним расположенные, в нём вызывают». Отрицание свободной воли, вытекающее из теории познания Локка, было основной её притягательной силой, ибо лишь таким путём можно превратить человека в предмет научного исследования.

Неоценим вклад Локка в становление политической философии. Он выступает последовательным защитником неотчуждаемых (естественных) прав человека и суверенитета народа. Смысл его учения состоит в том, что во имя прав граждан и интересов общества необходимо установить пределы деятельности государства и связать его определёнными правилами. Его труды оказали значительное влияние на творцов амери-

канской конституции, однако нет единого мнения по поводу того, был ли сам Локк сторонником демократических идей, но в разрезе исследуемой темы нас интересует иное.

В отношении роли разума он был сторонником эволюционного подхода, а не конструктивистского рационализма: «Разум не столько устанавливает и предписывает законы природы, сколько ищет и открывает их... Разум не столько создатель этого закона, но его истолкователь» [66, с. 506]. Слово «разум» обозначало, таким образом, лишь способность ума различать между добром и злом, т.е. между тем, что соответствует и что не соответствует признанным правилам, для Локка оно никогда не означало способности «сочинять» такие правила, которые выводятся из явно сформулированных посылок. Это уже в XVIII в. термины «разум» и «естественный закон» приобрели совершенно другой смысл. Именно «благодаря» французским просветителям концепция естественного закона превратилась в концепцию «закона разума», т.е. приобрела смысл, почти противоположный тому, что означала прежде.

У Локка было ясное понимание того, что концепция изначально и окончательно развитого ума, который создаёт институты, делающие возможной жизнь в обществе, противоречит всему, что было известно об эволюции человека. Это принципиальным образом отличает Локка от гуманистов Просвещения, которые были прежде всего озабочены тем, чтобы освободить человека и его способности к рациональному от зависимости Бога, и провозгласили человека мерой всех вещей, источником знания и творцом Вселенной. «В основе либеральной теории Локка лежала его философия с культом эмпирических исследований как основы формирования человеческих идей, с протестом против отвлечённых спекуляций, с почтительным отношением к фактам и толерантности в сфере мысли и чувств, а также религиозных воззрений» (перевод наш. – А.П.) [185, с. 87]. На последнем – подробнее.

Локк жил в эпоху, когда для Европы предельно обострилась конфессиональная проблема. Период Реформации и Контрреформации ознаменовался кровавым насилием религиозных и гражданских войн. Если восстановить «чистоту» веры в целом невозможно, значит необходимо установить конфессиональную гомогенность (от *греч. Homogenes* – однородный [3, с. 172]) в конкретных государствах. «*Cuius regio, eius religio*» (чья страна, того и вера) – краткая формулировка принципа, положенного в основу Аугсбургского религиозного мира (1555). Имелось в виду, что подданные принимают веру своих правителей. (К. Душенко [186, с. 567] считает, что она восходит к высказыванию Цицерона: «В каждом государстве своя религия; у нас – своя».) Во Франции в 1685 году упраздняют Нантский эдикт, который играл на руку протестантам-гугенотам. В Англии все те, кто не воспринял идею единой церкви, массово эмигрируют на американский континент, основывая там религиозные секты. История наглядно продемонстрировала, что навязывание гомогенности неизбежно приводит к явному либо скрытому насилию. На повестку дня выходит новый элемент политической и религиозной культуры – толерантность.

Не случайно в Нидерландах, где толерантность впервые проявила себя повседневной практикой, находящийся в изгнании Джон Локк написал свои «Письма о толерантности» (*Epistola de Tolerantia*) [187], которые – вначале анонимно – были опубликованы в 1689 году, и тогда же на английском языке «*A Letter Concerning Toleration*» – «один из великих манифестов свободы», – пишет Христиан Г. фон Кроков [188, с. 441]. (Судя по всему, Локк хорошо знал работу Роджера Вильямса «Кровавая суть преследования за свободу совести» (1644 г.) [189, с. 32].) В сочинениях Локка, посвящённых проблеме веротерпимости, «отстаивалось поистине бесценное завоевание человеческой цивилизации и культуры – свобода совести, освобождение личности от духовной диктатуры той или иной церкви» [146, с. 173].

В этом произведении Локк в довольно иносказательной манере объясняет необходимость разделения церкви и государства. Церковь не должна вмешиваться в свет-

ские дела и требовать для своих верующих привилегий. И даже если церковь за неисполнение внутреннего церковного порядка отлучает своих прихожан, изгнанные не должны претерпевать от этого как граждане государства. Со своей стороны, государство также не должно вмешиваться в дела религиозные; как внешней организационной силе государству нечего делать и что-то доказывать в вопросах веры.

Для Локка, однако, свобода веры всегда лимитируется соображениями морали и порядка, поэтому он не доводит свободу веры до свободы совести: «Терпимость не распространяется не только на атеистов, но и на магометан и католиков (последнее – реакция на заигрывание короля Якова II с католической церковью)» [132, с. 187]. Уже только из-за этого Локка не следует идеализировать по вопросам веротерпимости, но такая позиция определённо предвосхищает идею «светского государства», обстоятельно развитую в буржуазной политико-юридической литературе XVIII–XIX вв. Но самое главное, взгляды Локка нашли воплощение в конституционном законодательстве Франции и США, радикально – в первом случае, умеренно – во втором.

В отличие от оголтелых атеистов – демистификаторов французского Просвещения (Гольбах, Гельвеция) Локк широко пользуется теологической аргументацией, но умело вплетает её в общую канву рационалистических умозаключений. Хотя от Локка и пошло английское свободомыслие XVIII в., его мировоззрение нельзя назвать антирелигиозным, «но не подлежит сомнению, что, не бросая вызов религиозному сознанию, он сужал его сферу, вытесняя его рационализмом. Философские взгляды Локка готовили почву для деизма, согласно которому Бог создал мир, но с той поры больше не вмешивался в его дела» [132, с. 185].

Полемизируя со сторонниками абсолютной монархии, он тем самым вступил в конфликт с Робертом Филмером, автором патриархальной теории и сочинения *«Патриарх, или о неестественной свободе народа и естественной власти королей»*. Но все его высказывания и аргументы были предельно корректны и максимально научны. В конце концов, он всегда ратовал за компромисс при разрешении любых конфликтов. Но пришёл век XVIII, перевернувший сознание и общественно-политическую жизнь европейцев. Наступила эра Просвещения, подготовившая духовную и интеллектуальную почву для Французской революции.

Напомним ситуацию того времени. Франция в XVIII в. была крупнейшим государством в Европе с населением около 25 миллионов – в три раза больше, чем в Англии. Провинции управлялись в основном патрицианской олигархией – высшим духовенством, родовой знатью или теми и другими вместе. Однако кроме духовенства и аристократии, определяемых как первое и второе сословие соответственно, существовало более массовое и весьма процветающее третье сословие – торговцы, чиновники, юристы, учителя, врачи, ремесленники, журналисты, преуспевающие фермеры. В этой абсолютной монархии все должностные лица, местные и центральные, пользовались своими полномочиями от имени короля как его представители.

Было лишь два формальных ограничения королевской власти, да и то носивших символический характер, – апелляционные суды и Генеральные штаты (короли не созывали их с 1614 года). Церковь не облагалась налогом, а аристократы имели многочисленные привилегии и послабления. Всё это процветало на фоне голодных бунтов и крестьянских восстаний, в то время как моральное разложение центральной власти превысило мыслимые пределы: «Цинизм, амбициозность, краснбайство и преклонение перед силой – вот наиболее распространённая характеристика королевских дворов и придворных XVIII века» – пишет Джон Ролстон Сол [65, с. 54]. В судебной системе были разрешены пытки, а в качестве наказания осуждённых подвергали жесточайшим экзекуциям.

Как инструмент грубой силы и мракобесия продолжала зверствовать инквизиция. Это учреждение было создано в XIII в. по инициативе папы Григория IX на основе буллы, закрепляющей эту функцию за орденом доминиканцев. Инквизиция пустила более или менее глубокие корни только в странах, населённых романским племенем, где католицизм оказывал глубокое влияние на умы и формирование характера. В Германии она первоначально была направлена против племени стедингов, отстаивавших свою независимость от бременского архиепископа [63, с. 155], но в целом не получила развития. Из славянских стран только в Чехии и Польше существовала инквизиция, и то недолго. Но во Франции она была до 1772 г., в Португалии – до 1826 г., в Испании – до 1834 г., в Сардинии – до 1840 г., в Тоскане – до 1852 г. Счёт подвергшимся преследованиям идёт на миллионы, сожжённым – на сотни тысяч. Она имела своё философское и политико-правовое обоснование.

Например, для оправдания второй инквизиции, действовавшей в XVI–XVIII вв., инквизиторы для регламентации своих злодеяний создали теорию, опиравшуюся на идеи Блаженного Августина. По этой теории «Бог настолько сострадателен, что не допустил бы зла в своих творениях, если бы не был столь всемогущим и добрым, чтобы превращать зло в добро» [190, с. 147]. Из этого вытекало, что «преследованиями тиранов укреплялось терпение мучеников, а чародействами ведьм – совершенствование веры праведников. Поэтому Богу не нужно предупреждать зло» [190, с. 147]. Больше того, Бог желает чёрту добра, а бедный «чёрт весьма мучится, видя, как зло, творимое через ведьм, переходит в добро». Да и вообще чёрт не виноват, так как он «ничего не может без Божьего попущения», а «Бог не может хотеть зла, но может допускать зло» [190, с. 161].

Эта теория является апологией не только инквизиторов, но и дьявола, с которым они якобы вели борьбу. Во всех злодействах истории, по их мнению, повинен только Бог, и хуже того – злодейства надо приветствовать, ибо из зла получается добро. «Эта дьявольская диалектика – по существу обывательское подхалимство, возведённое на уровень метафизики» [105, с. 574]. А на самом деле? «Ведьмы на процессах признавались в общении с дьяволом. Кровь закипает в жилах, когда узнаешь об этом! Как можно было принуждать к таким признаниям, когда дьявола не существует?! Но голос рассудка взывает: “Ложь, ложь!” – дьявол существует, он то и был инквизитором!» [359, с. 262]. И подумать только, сколько крови пролилось из-за этого шизофренического бреда!

Учение о предопределении отняло у своих адептов только одну свободу – свободу выбора между Добром и Злом, но за это подарило им право на безответственность по отношению к собственной совести. И в таком состоянии пребывала Франция даже во второй половине XVIII века, пытаясь с выгодой для себя участвовать в серьёзнейших геополитических играх!

В то время когда экономика трещала по швам, финансирование американской революции в пике Англии осуществлялось в основном за счёт крупных займов, а выплата королевских долгов привела страну на грань банкротства. И тут, почти одновременно, в Европе произошли два события, серьёзно пошатнувшие моральные и политические основы существующей власти. Речь идёт о событиях на Корсике и Лиссабонском землетрясении, нарушивших внутреннюю стабильность церкви и абсолютной монархии.

На принадлежащей Генуе Корсике сложилась ситуация, которая позволила тем же Руссо и Босуэлли предположить, что разум не только абстрактная идея, но и орудие управления обществом. Философские идеи, которые глава корсиканской Республики Паскаль Паоли использовал при создании своей конституции, имели в значительной степени французское происхождение. Восстание против генуэзцев привело к тому, что те обратились за военной помощью к Франции, и Людовик XV отправил на остров военную экспедицию.

По стечению обстоятельств среди французских офицеров оказался будущий революционер Мирабо. Он принимал самое активное участие в военных операциях на Корсике, сумел быстро отличиться, дослужился до звания капитана драгунов. Но как пишет А. Манфред [191, с. 173], в ходе войны против возглавляемых Паоли корсиканцев Мирабо постепенно созрел до понимания, что справедливость и право на стороне корсиканского народа. Позже он признал, что участие в войне против корсиканцев было грубой политической ошибкой. Мирабо даже посвятил своё первое литературное произведение Корсике и её храброму и талантливому народу, пытаясь заглазить свою вину. Однако оно так и осталось при жизни графа Мирабо ненапечатанным. Много позже, в 1789 году, Оноре-Габриэль Рикетти де Мирабо имел личную встречу с Паскалем Паоли, но аристократ и простолюдин в своей беседе обнаружили больше недопонимания, чем точек соприкосновения.

После неудавшейся первой была и вторая кампания, приведшая к разгрому Республики. Изгнаннику Паоли был обеспечен восторженный приём в Англии (извечный враг Франции), но парадокс состоял в том, что это было время начала американской революции, а Корсика играла ключевую роль в распространении республиканского идеала среди населения английских колоний.

После лондонского изгнания, уже в ходе Французской революции, Паоли пригласили в Париж, где его восторженно приветствовало Учредительное собрание во главе с Мирабо, Дантоном, Робеспьером. Корсиканский лидер предстал как первый человек, который поднялся на борьбу с королями и начал управлять страной под лозунгом разума. Все революционеры боготворили Руссо, а тот ещё в 1762 году написал в своём труде *«Об общественном договоре»*: «Есть ещё в Европе страна, способная к восприятию законов: это остров Корсика. Мужеством и стойкостью, с каким этот славный народ вернул и отстоял свою свободу, он, безусловно, заслужил, чтобы какой-нибудь мудрый муж научил его, как её сохранить» [192, с. 240]. Многие философы представляли себя в этой роли, но обстоятельства вынудили Паоли принять её на себя. Не будучи идеологом, он ощущал себя носителем разума и здравого смысла, что позволило ему на основе принципов Просвещения разработать и принять в 1762 г. Конституцию Корсики (на итальянском языке), многие положения которой были учтены Конституцией Франции 1791 года. Что интересно, «даже когда шла подготовка к четвертованию Пугачёва, Екатерина продолжала переписываться с корсиканским революционером Паоли, а другой беспокойный корсиканец, тогда ещё безвестный Наполеон Бонапарт, собирался поступить к ней на службу» [2, с. 323].

Какие же ценности отстаивал и претворял в жизнь Паскаль Паоли, пытавшийся провести свою страну непосредственно из Средневековья в Век Разума? Он создал систему школьного образования и основал университет, поощрял децентрализацию и местное самоуправление, создал справедливую судебную систему, выступал против рабства, поощрял передовые хозяйственные методы, в военном деле разработал тактику партизанской войны. Хотя сам он был верующим человеком, Паоли серьёзно ослабил политическую власть церкви. Именно этот деятель первым написал, что свободные граждане готовы принять только «свободу или смерть». Отстаивая интересы своего народа, Паоли заслужил восхищение Пенна, Босуэлла, Джефферсона, Вашингтона, Бёрка. В то же время это был очень независимый, самостоятельный и ответственный за свои суждения и поведение человек. Он нашёл в себе мужество полностью отклонить *«Проект Конституции для Корсики»*, подготовленный Ж.-Ж. Руссо, который всегда восхищался Паоли и выражал надежду стать его духовным покровителем. Что же предлагал Руссо?

Положив в основу свой труд *«Об общественном договоре»*, он утверждал в новом политическом проекте [193, с. 30]: необходимость сохранения первоначального (дикого) образа жизни народа; обоснование закрытого государства с патриархальной демо-

кратической формой правления; отрицательное отношение к торговле и финансам при культе земледелия; создание сильной национальной армии. По сути, эта система является закрытой (отрицание заимствований во всех формах), неподвижной (отрицание торговли и финансов), аграрной (преобладание земледельческого производства над всеми прочими), основанной на коллективизме и полной интеграции индивида в традиционные социальные структуры.

Вывернутый наизнанку общественный договор в трактовке Руссо – основа его философии – оказался для Паоли неприемлем. Вот что было отражено в клятве в предложенной Руссо Конституции для Корсики: «Полностью соединяюсь я телом, имуществом, волей и всеми моими силами с корсиканской нацией, чтобы принадлежал ей безраздельно я сам и всё, что от меня зависит» [189, с. 48]. Имеет смысл подчеркнуть, что западная демократическая концепция «правительство народа, управляемое народом и существующее для народа», категорически противостоит руссоистской доктрине. Не зря Карл Поппер относит Руссо [86, с. 7] наряду с Гегелем и Марксом и другими «оракулами» ко «времени лжепророков».

Паоли придерживался иных, прогрессивных взглядов, он был очень далёк от натурфилософской архаики и нелепых идеалистических проектов. Чуть забегаая вперёд, с удивлением будем вынуждены признать, что если рассматривать написанное Руссо не как план преобразований, а в качестве долгосрочного политического прогноза, то здесь он не ошибся ни на йоту. В наше время Корсика – самый захолустный регион Франции: кланово – традиционные устои; аграрная экономика; аполитичность и низкая социальная активность; сепаратизм и отвлечённость от национальных проблем. А ведь при Паоли всё могло быть иначе.

После Парижских событий его послали на Корсику, где он получил все заслуженные почести национального спасителя. Но не поддавшись искушению слыть героем, Паоли продолжал свои реформы в духе общественного служения и самопожертвования. Нарастающий в это время вал смуты и беспорядков в Париже, рост шовинистических настроений приводят к тому, что Собрание в лице крайних радикалов объявляет Паоли преступником и угрожает вторжением на Корсику. В ответ он созывает корсиканскую консульту: 1000 членов конституционного собрания, и во второй раз за сорок лет остров объявляется независимой республикой. Но угрозы Парижа вынуждают корсиканцев искать противовес Франции и республика переходит под британский протекторат. Дальнейший уход англичан с острова предопределил судьбу республики. Политический, военный и финансовый авантюрист, известный в истории под именем Бонапарта, развернул активную пропагандистскую и мифотворческую кампанию с целью дискредитации Паоли и его деятельности, впоследствии он интегрировал Корсику в структуры французского государства (будучи сам корсиканцем, а отец Наполеона когда-то сражался на стороне Паоли).

Паскаля Паоли следует считать первым в XVIII веке крупным рационально ориентированным государственным деятелем – конституционалистом, радевшим за идеалы республики и демократии. Этот человек ненавидел тщеславие, заговоры и лесть, почести и безудержные амбиции. Он был исключительно честен, умер в бедности, до конца своих дней горячо любил родину. Французские революционеры в непрерывной грызне предали идеалы корсиканской Республики, Наполеон её окончательно растоптал, но пример этой героической республики с успехом был подхвачен в американских колониях. Не случайно в ряду выдающихся людей XVIII века были два человека, которые пришли на смену Паоли в международной мифологии идеала республиканца, – Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон.

К сожалению, история избирательна в своём стремлении сохранить память о событиях, поэтому прав Дж.Р. Сол, когда пишет о том, что «фиксация в истории того или иного события требует длительного существования достаточно многочисленного со-

общества людей – племени или народа, которое бы могло включить это событие в свою мифологию и сохранять его в течение столетий» [65, с. 80]. Ничего этого не произошло с корсиканской Республикой, она «выветрилась» из общей памяти, потому что никто, кроме жителей этого средиземноморского острова, не был заинтересован в сохранении её истории. Парадоксально, но факт – возникнув на ниве французского Просвещения, республика была разрушена именно французами: сначала Людовик XV, затем Революция и окончательно – Бонапарт, появившийся на европейской сцене благодаря предательству как своего наставника, так и своей родины.

В 1755 году помимо событий на Корсике произошло землетрясение в Лиссабоне – трагедия, унёсшая жизни многих тысяч людей. Погибли все: взрослые и дети, мужчины и женщины, бедные и богатые. Почти Апокалипсис. Европа задалась вопросом: за что? Требовалось какое-нибудь объяснение произошедшему, а церковь и официальные власти не нашли другого ответа (устами иезуита Габриеле Малагрида), кроме того, что Бог наказал грешников. Люди признали такой ответ нелепым и циничным. Лиссабон вовсе не был уж таким Содомом и Гоморрой, никаких особенно страшных грехов за ним не числилось. Поэтому заявление о божественном возмездии было настолько кощунственным и одиозным, что люди эпохи Просвещения вдруг почувствовали себя свободными от всякой обязанности верить высказываниям властей. Был сильно подорван моральный авторитет католической церкви с её претензиями на роль духовного ориентира в жизни людей.

Из всего населения также «пострадала» и аристократия. В течение столетий она непоколебимо верила в законность своих прав. Более того, она извлекала дивиденды из того, что невежественный народ так долго верил и преклонялся перед властью и церковью. Не удивительно, что философы Просвещения со своим едким остроумием, сарказмом и скептицизмом отторгли официальную трактовку лиссабонской трагедии, значительно подорвав тем самым позиции аристократии. До краха было ещё полстолетия, но первый удар был нанесён. Деспотическая власть церкви, государства и аристократии стала вдруг выглядеть хрупкой, существующей лишь до первого серьёзного кризиса, коим и явилась Французская революция.

В этом разделе мы достаточно бегло и, возможно, несколько беспорядочно пронесли сквозь четыре века. Начав от повторного открытия природы и человечности в эпоху Возрождения, перекинули мостик в Век Разума и остановились на европейском Просвещении. Как показал ход событий, непримиримая и настойчивая сосредоточенность на рациональности дала неожиданный результат. Постепенно разум начал дистанцироваться и отделять себя от других – так или иначе признанных – характеристик человека: духа, инстинктивных потребностей, веры и эмоций, а также интуиции, воли и, самое главное, опыта. Мифическая важность разума затмила все другие категории, «чистая» логика и скептицизм завершили дело. Этические проблемы, сущность здравого смысла и моральные самоограничения отступили под напором Разума. Гуманизм показал свою неспособность уравновесить его. Но чтобы понять свои ошибки, Европе пришлось пережить трагические события, отсчёт которых начинается с французской революции.

3.2 Просвещение, права человека, конституционализм

Возникновение первых конституционных государств рассматривается в контексте идей Просвещения и концепции естественного права. Подчёркивается деистический и рационалистический характер господствующего мировоззрения новых элит. Показана роль самых знаковых фигур французского Просвещения: Монтескьё, Вольтера, Дидро, Гельвеция, Руссо. Особый акцент сделан на их государственно-правовых воззрениях.

Проводится различие между французскими и североамериканскими реформаторами. Обращается внимание на принципиальную разницу между собственно теорией и её практическим воплощением. Идейной основой Просвещения послужила концепция естественных прав, рассматриваемая в контексте учения о правах человека. Дается содержательная характеристика первых конституционных документов, подвергшихся влиянию английской общественно-политической мысли, а также теории естественного права и естественных прав.

Французская и Американская революции с их конституционным законодательством состоялись на идейно-политической почве Просвещения и доктрины естественного права. Такова общепринятая научная позиция. Это сильное огрубление, но основные акценты в оценке эпохи вырисовываются со всей очевидностью. Как отмечает О.В. Мартышин [132, с. 148], в философско-методологическом плане западная политическая мысль XVII–XVIII веков развивала традиции эпохи Возрождения. Продолжались подрыв церковной монополии на умы и души людей, секуляризация культуры и политической мысли. Господствовала вера в разум, в просвещение и возможность рационального переустройства общества. Таков был идейный климат века Просвещения. Самонадеянный разум диктовал свои правила, подчас пренебрегая историческими закономерностями, природой человека. Конституционное реформаторство явилось зеркальным отражением всех перипетий и бурных потрясений этого исторического периода.

Просвещение как европейское идеологическое течение XVIII века по своей сути являло *деистическое* мировоззрение (Бог был важной частью деистической системы веры), но основывалось она на разуме человека, т.е. системе рациональных предпосылок. «...это была первая в Европе система веры, – пишет Г.Дж. Берман, – созданная и разработанная вне организованной церкви людьми, которые в большинстве своём не были христианами в привычном смысле, а часто даже были яростными антихристианами. [...] Деизм был христианской ересью» [28, с. 56]. Деистическое мировоззрение подразумевало следующее: «Под верой в Бога понимается “интуитивное суждение”, согласно которому, помимо природы, всего окружающего нас мира, существует ещё что-то. Это может быть какой-то абсолютный разум, не вмешивающийся ни во что земное, но создавший Вселенную» [194, с. 550].

Самое главное, индивидуалистический и рационалистический характер деизма неизбежно доказывал возможность социальных потрясений на основе политической программы революции. Но не стоит и упрощать проблему. Рамки деизма невозможно точно определить, поскольку сама концепция не предполагает жёстких канонов. Соответственно, и среди поклонников деизма обнаруживается множество самых разных, но примечательных личностей, от, скажем, Жан-Жака Руссо до руководителя иллюминатов Адама Вейсгаупта, от Людвиг ван Бетховена до Джереми Бентама. Исповедовал деизм и Максимилиан Робеспьер, а как иначе, если он формировался как личность под влиянием идей Просвещения. Его известные слова: «если бы Бога не существовало, его надо было бы выдумать» – воплотились на практике.

Обыкновенно пишут, что Культ Верховного Существа, «раскручивавшийся» революционными властями начиная с 1789 года (когда он был включён в Декларацию прав человека и гражданина, бравшую Верховное Существо в свидетели, Робеспьер ещё конвентом не заправлял), был некоей программой по ограничению влияния католицизма, остававшегося на то время религией большинства французов. Атеизм Робеспьер на дух не переносил, он любил повторять, что государству важно, чтобы каждый гражданин имел религию, которая заставила бы его любить свои обязанности.

Робеспьер тут ничего не выдумывал, культ этот вырос из мировоззренческих представлений Вольтера и других французских просветителей, исповедовавших деизм. То

есть полагавших: Бог есть, при этом любая религия – узда для народа, инструмент для промывания мозгов, в то время как разум и логика единственные средства, чтобы понять, чего Он от нас, грешников, хочет. Кто подразумевался под этим Верховным Существом, не знает никто, достоверно лишь известно, что Робеспьер лично возглавил новый культ в условиях официальной и торжественной церемонии на Марсовом поле. Но начинался европейский деизм отнюдь не радикально.

Не бросая, как правило, открытого вызова религии, просветители полагали, что ход истории определяется взглядами людей: «мнение правит миром». Отсюда просвещение – это средство или путь преобразования. Стоит доказать правильность, благотворность каких-то принципов, как люди начнут им следовать. Мир неблагоприятен, полон страданий и конфликтов не из-за божественного предопределения, не из-за врождённого несовершенства человека, не из-за того, что кто-то заинтересован в таком устройстве, а всего лишь потому, что люди не поняли, что хорошо, а что плохо. Ценностью обладает лишь критически удостоверенное понимание: «тайны – не более, чем свидетельство незнания» [96, с. 318].

Важная задача заключалась в воспитании правителей, что получило название *просвещённого абсолютизма*. (Как полагает шведский историк права Э. Аннерс [76, с. 215], первыми среди европейских монархов «философами на троне» были сторонники картезианства – английский король Яков I и шведская королева Кристина, правившие в XVII веке. В следующем столетии у них было несколько последователей: Фридрих II в Пруссии, Йозеф II Австрийский, Густав III в Швеции и Екатерина II в России.) Но эта идея была лишь первой и сравнительно безобидной с точки зрения старых режимов формой политической мысли эпохи Просвещения.

На смену ей пришли более смелые и радикальные концепции *естественных прав человека, общественного договора, разделения властей*. В данном случае брались на вооружение уже устоявшиеся теории, но из них делались новаторские выводы, ставшие программой буржуазных революций и позволившие обновить мир. Конечно, не все страны Запада пережили в ту эпоху буржуазные революции, но ни одна из них не избежала влияния просветительских идей. Поэтому неслучайно Французская революция служила для одних источником вдохновения, у других вызывала ненависть и отторжение.

Европейское общество и стоящая за ним новоевропейская личность в целом по логике повторили античный ход, состоящий сначала в проектировании государства, работающего на общество и человека, а затем и реализации такого проекта. Но, конечно, содержание проекта было другим. Как подчёркивает В.М. Розин [85, с. 225], в соответствии с новым мироощущением монархической власти, её более профессионализирующемуся аппарату управления была противопоставлена не менее внушительная сила – *народ и человек*, действующие исходя из *естественных природных законов* и к тому же действующие в *своём праве* (идея общественного договора). Постепенно выясняется, что общество может реализовать свои планы, лишь создав институты, соразмерные государству с его аппаратом. Ими выступили политическая система и гражданское общество, стремительно формирующиеся в этот период.

Политические, экономические и социальные мотивы индивидуализма и рационализма неизбежно вели к мысли о необходимости реформирования существующих условий в пользу большинства людей, живущих в данном обществе. Идеологию французского Просвещения невозможно понять без ознакомления со взглядами мыслителей XVIII века, занявшихся поисками свободного и справедливого общества, когда старые догмы и убеждения потеряли свою ценность. Конечно, предрассудки, утвердившиеся мнения и традиции, защитники существующих порядков, а также заинтересованность многих людей в сохранении прежнего общественного устройства мешали новаторам укреплять свои позиции. Однако развитие нового духа, интеллектуализация челове-

ского ума стремительно способствовали созданию нового общества. Многие, как будет сказано, считали возможным изменение человечества. Эти «властители душ» привлекали внимание своих современников тем, что удовлетворяли их глубинное желание получить верное знание о природе, которое позволяло бы господствовать над ней и лучше понимать самих себя. Но это предполагает, что разум человека должен был исследовать свои способности, условия и ограничения своей рациональности.

Именно тогда у мыслителей пробудился новый интерес к миру политических и правовых реалий, особенно к высшей общественной организации – государству. Не считаясь божественным, оно стало объектом рациональных исследований. Для философов Просвещения не было ни «духовного меча», ни «небесного царства». Земное царство – мир времени – было создано много лет назад Высшим Существом, предназначенным план развития и предназначения. Просветители воспользовались предоставленной свободой, чтобы самостоятельно решить, в каком мире они хотят жить. Среди самых знаковых фигур французского Просвещения можно назвать Монтескьё, Вольтера, Дидро, Гельвеция и Руссо.

Блистательный трактат *«О духе законов»* [18] Шарля Луи Монтескьё (1689–1755) был одновременно итогом целой жизни, отданной изощрённым размышлениям, и первым залпом «войны идей» [2, с. 271], обращённой против старого порядка во Франции. За 18 месяцев после первой публикации в 1748 году это сочинение Монтескьё перепечатывалось 22 (!) раза и пробудило в дотоле недостижимых социальных сферах неукротимую политическую любознательность, вкус к описательности и сравнительному анализу, подспудную решимость всячески препятствовать произволу и деспотии. Не случайно его главное произведение было включено римским папой в «Индекс запрещённых книг». Достижения философа во многом определяются его методами познания, отвергающими теологическую картину мира. В то же время он не соглашался с воззрениями материалистов, указывая на более сложную организацию социального мира по сравнению с миром природы.

Признавая общественный договор, Монтескьё вместе с тем рассматривал его как необходимое естественно-историческое явление, определяемое объективными факторами общественного развития. Но самое главное, он обосновывал идею правления законов, а не людей, выступал приверженцем конституционного правления на основе разделения властей. Монтескьё можно считать первым, кто стал разрабатывать во Франции систему правовых взглядов, светских по своему характеру и имеющих в основе идеалы Просвещения. Он был сторонником духа умеренности и компромисса, отрицал умозрительный и произвольный характер правотворчества. Его вера в человеческий разум поражает своей осторожностью и взвешенностью суждений.

Иное дело – Вольтер (1694–1778), безудержный вдохновитель и идейный лидер европейского Просвещения, кстати, не оставивший после себя специальных политико-юридических трудов, подобно Локку, Монтескьё либо Руссо. В нём удивительным образом сочетались острый критический настрой, осмеяние и отрицание устоев тогдашнего феодального общества с пронизывающим духом свободы, гуманизма и терпимости. Хотя он не был ни философом, ни создателем цельной философской школы, именно ему было суждено определить направление гуманитарного европейского развития.

Не только духовная, но и реальная жизнь Вольтера была полна противоречий и авантюры, «будучи выходцем из среднего класса, он потратил значительную часть своей жизни на достижение признания среди аристократии и на попытки приблизиться ко двору. ... состояние же сколотил на мануфактурном производстве и финансовых спекуляциях» [65, с. 10]. Дважды был заключён в Бастилию, был другом Джонатана Свифта (не случайно памфлеты и повести, написанные им впоследствии, были полны иронии и насмешек – этот стиль был превращён в мощное пропагандистское оружие), ис-

пытал неудачу карьеры придворного сначала в Версале, а затем при дворе Фридриха Великого, был самым издающимся автором в России и личным другом Екатерины II. В конце концов, поселился в целях безопасности у самой границы со Швейцарией и целиком посвятил себя литературному творчеству.

Потерпев очевидную неудачу в попытке напрямую воздействовать на правителей, Вольтер обратился к гражданскому обществу и стал ведущим защитником прав человека и самым изобретательным поборником конкретных реформ. Он буквально наводнил Европу политическими памфлетами, романами, поэмами, письмами. Как пишет Джеймс Биллингтон [2, с. 270], в 1756 году «*Философия истории*» Вольтера только в Санкт-Петербурге была распродана за несколько дней в баснословном количестве трёх тысяч экземпляров, а всего на русский язык в последнюю треть XVIII века было переведено более 60 произведений. Он к тому же стал официальным историком Российской империи. И это при том, что профессиональные философы единодушно критиковали Вольтера за отсутствие у него великих и цельных идей!

Но великие и цельные идеи не всегда изменяют общество. Вольтер же сконцентрировал своё внимание на шести основных свободах – *личности (от рабства), слова и прессы, совести, гражданских свободах, неприкосновенности частной собственности и праве на труд*. Обращаясь к третьему сословию (откуда и сам был родом), а не к правителям и другим мыслителям, он стал создателем современного общественного мнения. Даже власть имущие признавали таланты и влияние Вольтера, а сам он настолько купался в лучах славы, что, вернувшись в 1778 году в Париж, от всемерной лести и обожания настолько изнурился, что, будучи очень здоровым человеком, скоропостижно скончался.

Вольтер, важно понять, возвышая разум, тем не менее, полагал, что его нельзя использовать неразборчиво, тем более – беспринципными людьми. Овладеть разумом необходимо, чтобы применить знания для торжества морали и здравого смысла. Он считал, что ничто не провоцирует насилие в такой степени, как страх, а страх порождается невежеством, предрассудками, суевериями. Причём главным оплотом и виновником человеческих страданий Вольтер видел не монархический престол (сам он был апологетом «просвещённой монархии»), а церковь и католическое учение. Становится понятно, почему беспощадная борьба с ними занимает большое место в его творчестве. Не отвергая религиозность как таковую, Вольтер осуждает религиозный фанатизм и священнослужителей. Более того, он полагает, что религия должна оставаться необходимой уздой для народных масс, а поэтому его очень трудно заподозрить в демократизме. Не предлагая переустройства общества на демократических началах, Вольтер разрабатывал идеи естественного права, свободы, равенства. Он превозносил английскую политико-правовую систему, понимал достоинства конституционной монархии, никогда не критиковал республиканские устои.

Верно отмечено [131, с. 281], что Вольтер относится к тем мыслителям, которые первостепенное значение придают не формам управления государством, конкретным институтам и процедурам власти, а принципам, реализуемым с помощью этих институтов и процедур. Для него такими социально-политическими и правовыми принципами являлись свобода, собственность, законность, гуманность. Он был противником революционных потрясений и любого кровопролития, и, вероятно, перенесшись в дни революционного террора, до неузнаваемости исказившие его идеалы, за которые он боролся, вступил бы с якобинцами в борьбу с той же яростью, с какой противостоял аристократам и священникам десятилетиями ранее.

Взгляды Вольтера полностью разделял другой человек эпохи – Дени Дидро. Человек универсальных знаний, как в своё время величали Дидро (1713–1784), он сумел собрать воедино идеи Просвещения в многотомном издании «*Энциклопедия*». Мыслитель полагал (хотя и ошибался), что мораль и здравый смысл являются естественными

союзниками разума, рассматривал эти три категории в контексте власти. Как и Вольтер, идеалом видел сильного, но просвещённого и справедливого короля. Они думали, что разум сделает власть справедливой, но это было их самым большим заблуждением. Возможно, здесь сказались их иезуитское воспитание и увлечение масонством, личный жизненный опыт.

Дидро выступил организатором интеллектуальной французской оппозиции, которая выросла в настоящую армию учёных во всех областях знаний: философии, сельском хозяйстве, науке, военном деле и, разумеется, литературе. Как образно описал Дж. Ролстон Сол, «литераторы действовали подобно группам спецназа, атакующим там, где их меньше всего ожидают. Благодаря тому, что Дидро руководил изданием “Энциклопедии”, он возглавил штаб этой армии. Всемирную поддержку ему оказывали верные офицеры штаба, типа д’Аламбера. Вольтер был стратегом и лучшим бойцом. Он всегда находился на передней линии общественных дебатов, постоянно изобретая фразы, которые становились оружием в этой борьбе» [65, с. 57]. Дидро был последователен – отрицал власть церкви и обличал аристократию, верил во власть природы и разума, боготворил науку и понимал значение образованного общества, презирал метафизику, но с гордостью нёс имя философа.

Авторское наследие его невелико, но никто не мог сравниться с Дидро в организаторских способностях, а в сфере научного знания он был просто выдающимся систематизатором. Дидро был выходцем из народа – сыном ножовщика из городка Лангра, на пропитание зарабатывал переводами с английского, что и сформировало его идейные позиции. Известность приобрёл в передовых литературных кругах Парижа «философическими письмами», но за не понравившееся властям *«Письмо о слепых в назидание зрячим»* был заключён в Венсенский замок [191, с. 121]. Дидро с Д’Аламбером познакомил Руссо, непререкаемый авторитет для обоих молодых людей, вдохновивший их на издание *«Энциклопедии наук и ремёсел»* – универсального свода передовых знаний своего века. Как пишет А. Манфред, она «способствовала созданию единого фронта всех представителей просветительской мысли против феодализма, его институтов и установлений, морали и догм. В идеологической подготовке Французской буржуазной революции роль “Энциклопедии” была огромной» [191, с. 124]. Что интересно, сам Руссо участвовал в *«Энциклопедии»* как автор разделов по теории музыки.

«След» Дидро обнаруживается в российской истории. Всё началось с того, что «Энциклопедия» как образ рационально упорядоченного знания привела в восторг и восхищение Екатерину II. Завязалась активная переписка, «но д’Аламбер отклонил приглашение Екатерины стать воспитателем её сына, зато Дидро планировал печатать “Энциклопедию” в Риге, согласился продать Екатерине свою библиотеку и совершил путешествие в Санкт-Петербург. Три тома “Энциклопедии” были почти немедленно переведены на русский язык под контролем ректора Московского университета» [2, с. 272]. Но впоследствии потрясения, вызванные восстанием Пугачёва, положили конец широкому просвещению публики на основе «Энциклопедии»: перевод застрял на букве «К»... Клод Гельвеций – о нём и пойдёт речь далее.

Интеллектуальные корни радикального крыла европейского Просвещения и их политическое перевоплощение невозможно понять без творческого наследия французского философа Клода Адриана Гельвеция (1715–1771), антирелигиозные и социальные взгляды которого способствовали созданию идейной основы революционных преобразований. Это одна из самых противоречивых и загадочных фигур эпохи. Всё началось с того, что Гельвеций в опубликованной анонимно работе *«Об уме»* (1758) первым извлёк политические выводы из теории познания Джона Локка, последствия чего до сих пор не были по достоинству оценены. Известно, что Гельвеций внимательно изучал философские труды Локка, которые произвели на него большое впечатление. Отрица-

ние свободной воли, вытекающее из теории познания английского сенсуалиста, было основной её притягательной силой.

По мнению Р. Пайпса [178, с. 72], он воспринял как непреложную истину убеждения Локка, что все идеи – производные от ощущений и все знания – производные от человеческой способности должны реагировать на сообщения чувств, улавливать сходства и отличия, как основу мысли. Гельвеций столь же категорично, как и Локк, отрицал способность человека направлять свои мысли и действия, мысленно порождённые. Нравственные же представления происходят исключительно из человеческого ощущения боли и наслаждения. Люди тем самым не «плохи» или «хороши» – они просто действуют непроизвольно и механически, преследуя свои интересы, продиктованные стремлением избежать боли и вкусить наслаждение.

В общем плане эти рассуждения не несут ничего нового, что не было бы уже сказано Локком и его французскими последователями. Но именно Гельвеций делает поразительный скачок от философии к политике. Из предпосылки, что все знания и все ценности есть производное чувственного опыта человека, он приходит к умозаключению, что, контролируя сообщения, которыми наше восприятие питает наш рассудок, т.е. соответствующим образом изменяя окружение человека, можно управлять образом его мыслей и поведением. Можно предположить, что если человек находится под воздействием благотворных впечатлений, он сам становится добродетельным, не напрягая собственной воли. Здесь, таким образом, ключ к сотворению совершенного добродетельного человека – для этого требовались лишь соответствующие внешние влияния. Поэтому процессу облагораживания человека через воспитание он придавал важнейшее значение. Под воспитанием он понимал всё, что окружает индивида и задевает его рассудок, всё, что питает его разум ощущениями и порождает идеи. В первую очередь, это относится к законодательству, поскольку «только благими законами можно создать добродетельного человека», из чего следует, что нравственность и законодательство – «одна и та же наука».

И здесь мы не видим ничего принципиально нового. Представление о том, что задачей политики является воспитание добродетели, что добродетель достигается законами и образованием, так же старо, как вообще политическая теория, восходящая ещё к Платону, который в работе «Законы» писал: «Людям необходимо установить законы и жить по законам, иначе они не будут отличаться от диких зверей. Причина здесь та, что природные свойства человека далеко не достаточны, чтобы распознать всё полезное для человеческого общения или, даже распознав это, всегда быть в состоянии осуществлять высшее благо и стремиться к нему... *Ни закон, ни какой бы то ни было распорядок не стоят выше знания. Не может разум быть чьим-либо послушным рабом; нет, он должен править всем, если только по своей природе подлинно свободен*» (курсив наш. – А.П.) [195, с. 484]. Новация Гельвеция состоит в том, что для него политика путём создания благоприятной обстановки не только даёт возможность человеку поступать добродетельно, но и вынуждает его к этому, совершенствуя его личность.

Эта радикальная установка привела впоследствии к знаменательным практическим последствиям. Задача политики – сделать человека «добродетельным», а средства достижения этого состоят в переделке социального и политического окружения человека главным образом путём законодательным, т.е. государственным. Отсюда законодатель – верховный нравоучитель. Зная антиклерикализм Гельвеция, в его доктрине человек уже не творение Божье, а продукт собственного производства; общество тоже «продукт», а не «данность»; хорошие правительства не только обеспечивают «величайшее счастье для наибольшего числа» (формула, по всей видимости, изобретённая Гельвецием), но и преобразуют людей. Логика рассуждений мыслителя неизбежно

приводит к выводу, что в ходе изучения человеческой природы индивид обретает неограниченную власть преобразовывать и переделывать других людей.

Всё это легло в основу либеральной и радикальной идеологии новейшего времени и даёт оправдание применению политических методов в создании «нового порядка». Традиционное и «стихийное» бытие, таким образом, как предельно нерациональное, может и должно быть сметено «сознательным» вмешательством в ход событий. Интеллектуалы (они же – революционеры) как хранители рациональных знаний становятся естественными руководителями человечества. Именно они, просвещённые, знают дорогу к добродетели и счастью, только интеллектуалы могут претендовать на знание «всеобщего» порядка вещей.

Эти новые научные знания (бесчисленные «политологии», «политэкономии» и пр.) дают им право требовать, чтобы существующий порядок предался забвению и был установлен новый. Кошмары многих последующих «политических» революций осуществились под этими лозунгами. Достаточно вспомнить, как Дж. Бентам предлагал французским революционерам своё новаторское изобретение – идею «*Паноптикума*» (1787) [196, с. 65], которая объясняла необходимость устройства концентрационных лагерей. Правда, у якобинцев это ноу-хау не нашло практического воплощения, так как вместо перевоспитания врагов революции по методикам Бентама вследствие дефицита времени и средств их довелось просто истреблять, используя усовершенствованное технически орудие убийства – гильотину. Тем не менее концлагерные изыски знаменитого английского философа были оценены по достоинству, и в Париже его встречали с распростёртыми объятиями. «Рационализаторские предложения» Бентама оказались кстати в XX веке у нацистов и коммунистов.

Сам Гельвеций излагает свои взгляды неоднозначно, и приложение его теории может быть двояким: либо все перемены в политическом и социальном окружении человека должны производиться мирными средствами и постепенно, путём реформ действующих институтов и секулярного просвещения; либо можно сделать и иной вывод: к той же цели быстрее и прямее всего ведёт насильственное разрушение существующего порядка. Второй путь привлекательнее – век человека короток, а новоявленной элите невтерпёж самой стать радетелями народа в водовороте политических событий, повлиять на ход мировой истории. Она же преподаёт хороший урок: нет хуже руководства, чем абстрактное мышление, проистекающее из «спесивого» разума. Но даже молчаливая предпосылка, что человека можно и должно переделать, привела к разрушительным результатам. Теории и программы радикальных реформаторов-просветителей оценивались не сообразно реальной жизни, а по отношению к другим теориям и программам, критериями их ценности были логичность и согласованность. Во всех последующих революциях у них находились идейные эпигоны. Так, поэт № 1 большевистского переворота Владимир Маяковский призывал: «Товарищи, и в быту необходимо взяться – за перековку человеческого материала» [297, с. 451], а то, что «единица – вздор, единица – ноль», провозгласили и практиковали с маниакальной одержимостью последователи радикальных просвещенцев.

Для Гельвеция, Д'Аламбера, Гольбаха и прочих представителей революционной интеллигенции всё то, что органически выросло в течение веков, все корни духовной жизни народа, его религия, традиционное государственное устройство, нравственные принципы, уклад жизни, представлялось враждебным, смешными и грязными предрасудками, требующими бескомпромиссного искоренения. Будучи начисто отрезанными от духовной связи с народом, они смотрели на него лишь как на материал, а на его обработку – как на чисто техническую проблему, так что решение её не ограничено никакими нравственными нормами, состраданием или жалостью.

Фальшивую салонную «расслабленность» этих экспериментаторов О. Шпенглер уподобил «второй религиозности», основанной на наивной вере в некое мифическое устройство действительности, «вера, для которой все доказательства начинают представляться игрой в слова, чем-то скудным и тоскливым, и в то же самое время – наивная потребность сердца покорно ответить мифу каким-то культом» [96, с. 325]. Объяснение звучит так: «Всякое Просвещение переходит от безудержного рассудочного оптимизма [...] к безусловному скепсису. Суверенное бодрствование, отгороженное стенами и делами рук человеческих от живой природы вокруг и от земли у себя под ногами, не признаёт ничего помимо себя. Оно практикует критику на своём умозрительном мире, абстрагированном от повседневной чувственной жизни, причём до тех пор, пока не найдёт самое окончательное и утончённое, форму форм – себя самого, т.е. ничто» [96, с. 324]. Утомлённость миром и интеллектуальное отвращение к живым формам бытия этих «выдающихся умов» дорого обошлись тем, о ком они так радели.

Один из самых интересных исследователей Французской революции (как по свежести его идей, так и по его удивительной эрудиции) Огюстен Кошен в своих работах обратил особое внимание на некий социальный и духовный слой, который он назвал «*Малым Народом*» [120]. По его мнению, решающую роль во Французской революции играл круг людей, сложившийся в философских обществах и академиях, масонских ложах, клубах и секциях. Специфика этого круга заключалась в том, что он жил в своём собственном интеллектуальном и духовном мире: «Малый Народ» среди «Большого Народа».

Именно здесь вырабатывается необходимый для переворота тип человека, которому было враждебно и отвратительно то, что составляло корни нации, её духовный костяк: католическая вера, дворянская честь, верность королю, гордость своей историей, привязанность к особенностям и привилегиям родной провинции, своего сословия или гильдии. Эти общества создавали для своих членов как бы искусственный мир, в котором полностью протекала их жизнь. Если в обычном мире всё проверяется опытом (например, историческим), то здесь главным является мнение единомышленников. Реально то, что считают другие, истинно то, что они говорят, хорошо то, что они одобряют. Обычный порядок вещей извращается: доктрина становится причиной, а не следствием жизни.

Даже вожди Революции, тот же Робеспьер, день ото дня отчётливее, яснее понимали: всё идёт не так, как ожидали, как хотели, как рассчитывали. Они всё явственнее сознавали своё бессилие, «незримые, скрытые в тени более могущественные силы направляют ход вещей. Где они? Кто они? Их нигде не видно, но они повсюду. [...] Блок всех враждебных революции сил определили как лигу всех клик» [161, с. 748]. Очень многое в ходе этих переломных событий остаётся противоречивым, неясным, загадочным. Но факт остаётся фактом – в реальной действительности, на практике, всё пошло вопреки «идеалам» революции.

В своём исследовании на близкую тему И.С. Шафаревич [197, с. 332] верно замечает, что представителя такой социальной группы, если он прошёл весь путь воспитания, ожидает поистине чудесное существование: все трудности, противоречия реальной жизни для него исчезают, он как бы освобождается от её целей, всё упрощается, представляется доступным и понятным. По выражению О. Кошена, «Большой Народ» становится угрозой существованию «Малого Народа», и начинается их борьба – она занимает годы, предшествовавшие Французской революции, и революционный период. Действительно, только себя «Малый Народ» называл нацией, только свои права формулировал в конституционных актах. Этим объясняется парадоксальная ситуация, когда «победивший народ» оказался в меньшинстве, а «враги народа» – в большинстве.

Эта проницательная «кошеновская» концепция применима не только к эпохе французской революции, она проливает свет на гораздо более широкий круг исторических явлений. Не является случайным то, что рассмотренное мировоззрение ярко вы-

ражено в фундаментальном символе масонского движения, игравшего такую роль в подготовке французской революции – в образе построения Храма, где отдельные люди выступают в роли камней, механически прикладываемых друг к другу по чертежам «архитекторов». Общеизвестный факт, что накануне революции Франция буквально была насыщена масонскими ложами, куда входили ведущие реформаторы-просветители. Такая же ситуация наблюдалась и в Америке.

Не случайно в этом отношении французский опыт XVIII века применим к России начала XX века: предвзятые теории и область идей, которые наименее подвержены воздействию конкретных исторических условий, чем политическая и социальная обстановка, не могут заменить знание реальной жизни и уж тем более задвинуть на дальний план здравый смысл, гуманистическое отношение к индивиду и складывающуюся столетиями этику человеческих отношений.

Простой пример. Так сложилось в российской истории (об этом сказано у Р. Пайпса [95, с. 188]), что важнейшей чертой крестьянской жизни была общинность. Традиции связывались в сознании с сохранением духовных и этических норм, сформированных не только православием, но и уходящих корнями в языческий период. Сельский мир хранил старину – крестьянство не было склонно к переменам. А для либеральной интеллигенции верность селян традициям, с которыми они только и выживали на протяжении столетий, служила лишь доказательством «отсталости, реакционности и косности» русского крестьянина. Поэтому среди революционеров были распространены идеи о «реорганизации человеческого материала», – подразумевалось, что главным объектом этих «переделок» должна стать самая многочисленная часть населения страны – крестьянская масса. Карательные парижские отряды в Вандее ничем не отличались от большевистских продразвёрток.

Вот что главное. Такое повторение на протяжении сотен лет и в разных странах столь чёткого комплекса идей не может быть случайным – очевидно, мы имеем дело с каким-то определённым социальным явлением, возникающим всегда в устойчивой, стандартной форме. Но вернёмся к нашему «просветителю».

С Россией Гельвеция связывает не только идеологическое будущее (проект коммунистов о «перековке» человека и создании человека нового типа), но и фрагменты его личной жизни. Всем известна оживлённая переписка царствующей Екатерины II с Дидро, Д'Аламбером, Вольтером. Последний же, избегая сугубо христианской терминологии, именовал Екатерину «священнослужителем нашего храма» и возвещал (как всегда, ёрничая и с сарказмом), что «нет Бога, кроме Аллаха, и Екатерина – пророк Аллаха». Лишь такому более последовательному материалисту, как Гельвеций, удалось воздержаться от религиозных выражений: он посвятил свой последний капитальный труд «*О человеке, его умственных способностях и его воспитании*» Екатерине, названной «оплотом в борьбе против азиатского деспотизма, по силе разума достойной судить иные нации, как достойна она править своей» [2, с. 309]. Здесь Гельвеций (и не он один) глубоко заблуждается (сознательно?).

Ведь именно стараниями просветителей (хорошо подкормленных ею) захолустная немецкая княжна, незаконно воцарившаяся на престоле через убийство мужа-императора, была преобразена в «северную богиню»; и в этом случае впечатление производила не действительность, а фигура на пьедестале. Все без исключения внутривнутриполитические прожекты Екатерины представляются всего-навсего ещё одним примером повышенных ожиданий и минимальных свершений. Человек, делающий в слове из трёх букв («ещё») четыре ошибки, – что уж тут Великого?

Гельвеций же, проведя многие годы в долгом идеологическом изгнании из Франции, поддерживал связь с Дмитрием Голицыным, посланником Екатерины в Гааге и главным посредником в её отношениях с энциклопедистами. Именно Голицын пытал-

ся уговорить Екатерину опубликовать «О человеке...» в России, что представляется вполне сообразным с пожеланиями французского философа. Как ни парадоксально, горячим поклонником Гельвеция [95, с. 337] был заклятый враг императрицы – А.Н. Радищев, арестованный ею в разгар паники, охватившей Петербург после начала Французской революции, и приговорённый к пожизненной ссылке. Плоды Просвещения падали на разную почву...

При рассмотрении мировоззренческой составляющей французских событий следует учитывать, что идейными вдохновителями революции были представители так называемого радикального направления эпохи Просвещения, а реализуемая на практике политическая платформа вобрала в себя преимущественно взгляды Ж.-Ж. Руссо (1712–1778) [14], который намеревался найти рациональную основу обществу и призвал людей заново перестроить государство, свободно и разумно выбрав его оптимальную форму. Руссо хотел освободить людей от постоянной опоры на власть и отбросить прежние системы власти ради новой модели. Именно в таком смысле его можно считать революционером. (Условно, конечно: никто из рассматриваемых нами мыслителей французского Просвещения не дожил до известных событий.) Тем не менее якобинцы провозгласили его своим учителем и оправдывали свою диктатуру учением Руссо о народном суверенитете и общей воле.

Совсем иначе влияние Просвещения и естественного права сказалось на преобразованиях в Северной Америке. Идеи гуманитарного, а не радикального Просвещения получили признание на американском континенте. Во многом это объясняется отчётливым влиянием английской политической мысли: «американцы были внимательными читателями Локка, Сиднея, Болингброка и Эдисона. Они знали и ценили произведения Ш.Л. Монтескьё» (перевод наш. – А.П.) [185, с. 10]. Формирующаяся политико-правовая мысль сумела сохранить известную дистанцию в отношении европейских идей, старательно из них выбирала, с уважением относилась к местным условиям. Конечно, взгляды Вашингтона, Гамильтона, Джея, Медисона, Франклина отличались от воззрений Пейна и Джефферсона, но в главном их позиции сходились: признание прав личности на идейной платформе естественного права. В отличие от Франции, это учение было реализовано в конституционной практике.

Согласно ему выстраивалась соответствующая концепция государства. Её главная идея состояла в том, что государство – это продукт общественного договора, оно создаётся людьми для максимально полной реализации своих неотъемлемых прав. Учредив государство, народ остаётся единственным носителем суверенитета, и поэтому только ему принадлежит право на смену власти. Более того, если власть творит насилие и произвол над людьми, они не только вправе, но обязаны свергнуть эту власть и установить ту, которая будет отвечать их интересам. Так это звучит в Декларации независимости 1776 года [198]. В этой конструкции, безусловно, просматривается идея Ж.-Ж. Руссо о народном суверенитете, однако радикальная её составляющая не нашла своего признания и никогда (в отличие от Франции) не воплотилась на практике. Взгляды американских реформаторов отражали и исторический опыт североамериканских колоний, и их собственные демократические традиции. Как бы им не нравились теоретические построения мыслителей Старого Света, «архитекторы» будущих преобразований всё рассматривали применительно к конкретным нуждам американского общества.

Даже радикальные реформаторы проявили необходимый такт и осторожность в определении политических перспектив (тем более речь не шла о каком-либо терроре, уничтожении религии, развязывании гражданской войны и прочих прожектах французского толка). Например, ведущий идеолог Американской революции Т. Джефферсон (сторонник не только политической, но и социальной демократии) изначально пребывал под сильным воздействием взглядов Ж.-Ж. Руссо, однако опыт классовой борьбы

в самих США и наблюдения за эксцессами якобинского террора во Франции подтолкнули его к существенному пересмотру своих воззрений. Но, как полагает Клэйс Г. Рин [122, с. 186], Джефферсону так и не удалось окончательно расстаться с «плебисцитарными склонностями», что неизменно приводило его в столкновение с идеей представительства, «которая противоречит принципу прямого и непосредственного народного контроля» [122, с. 187]. Но в конечном счёте симпатии Т. Джефферсона склонились к регулярным и весьма глубоким политическим реформам, приводящим государство в соответствие с потребностями каждого нового поколения американцев.

Судьба наиболее радикального идеолога Т. Пейна оказалась и вовсе трагичной [131, с. 381]. Его революционная деятельность как нельзя лучше характеризует происходящее на двух континентах, вернее сказать – разницу в событиях. Будучи уроженцем Англии, Т. Пейн в период американской войны за независимость стал ярким публицистом (в 1776 г. издал популярный памфлет под названием «*Здравый смысл*»), работал над проектом Конституции Пенсильвании 1776 года, выступал за отмену рабства, впоследствии активно участвовал в политической жизни революционной Франции, был избран депутатом Конвента. За критику якобинского террора был заключён в тюрьму, где стал соседом Дантона, но по счастливой случайности избежал гибели под ножом гильотины.

Там он пишет антицерковный памфлет «*Век разума*», но после падения Робеспьера освобождается из тюрьмы и восстанавливается в депутатских правах. Его антирелигиозная риторика приходится очень кстати (борьба французских революционеров против католицизма как оплота реакции по своей жестокости будет превзойдена лишь в 1917 году в России), но по возвращении в Америку он сталкивается с совершенно иным. За антирелигиозную критику Т. Пейн был подвергнут остракизму и гонениям и умер в забвении (в отличие от героя нации – Томаса Джефферсона). Но сейчас Т. Пейн – в ряду великих американцев.

Наибольшую известность получила работа Т. Пейна «*Права человека*» [301], которая была ответом на написанные Э. Бёрком «*Размышления о Французской революции*» (по одной из оценок, за два года было продано 250 000 экземпляров разных изданий «*Прав человека*»). Апологет толерантности, Пейн в своём произведении показывает, что же делает права человека такой неуничтожимой концепцией: «Когда я вижу естественное достоинство человека, когда я переживаю (поскольку природа не была достаточно доброй ко мне, чтобы притупить мои чувства) состояние чести и счастья, с ними связанное, меня раздражает любая попытка управлять человечеством при помощи насилия и обмана, как будто бы все люди являются негодьями и дураками, а я с трудом могу избавиться от отвращения к тем, кого нам навязывают сверху» [199, с. 9]. Здесь, без сомнения, истоки движения за права человека – сочувствие к чужим бедам, острое восприятие несправедливости, желание отстаивать естественные права людей.

И всё-таки большинство отцов-основателей американской Конституции не было сторонниками радикальных политических преобразований. Достаточно вспомнить, как мучительно долго склонялся Дж. Вашингтон к принятию решения о разрыве отношений с Англией. Осторожность и большой дипломатический такт сопутствовали обстановке принятия и ратификации Конституции США. Инициаторы продуманных политических ходов, как оказалось впоследствии, были правы. Например, Б. Франклин [131, с. 380] при известии о начале революционных действий во Франции выказывал большое беспокойство в связи с тем, что «огонь свободы может не только очищать, но и разрушать» (вообще, притчи и афоризмы Франклина на социально-политические темы мгновенно разносились по миру). В шуме толпы, размышлял он, вряд ли будет услышан голос философии, но каким образом в этих условиях разумные люди будут призывать нацию к вступлению в новую эпоху?

Подобные вопросы и недоумения возникали и у других отцов-основателей, что характеризует их скорее как сторонников социальной эволюции и реформ, нежели как радикалов. Они, точнее сказать, не были ни простодушными демократами, ни тем более – демагогами с набором красивых, но пустопорожних лозунгов. В этом их главное отличие от французских конституционалистов. Вероятно, здесь решающее значение сыграла английская политическая культура, в основе которой – аристократизм, традиция и понимание эволюции общественных институтов.

Итак, мы выяснили, что в формирующемся конституционализме доминирующей является идея естественных прав человека, правда, в сильно отличающихся друг от друга интерпретациях. Ещё раз подчеркнём, что в своих идеологических пристрастиях представители Просвещения часто прибегали к аргументам гуманитарного плана, а часто – к эмоциям. Поэтому нередко так трудно понять ход теоретических дискуссий о реформах эпохи Просвещения. К тому же даже самое добросовестное изучение трудов тех или иных мыслителей далеко не всегда в состоянии дать ясное представление об их практических результатах. Следует учитывать и тот факт, что между собственно теорией и её претворением в жизнь может лежать громадная пропасть. Проиллюстрируем сказанное на конкретном примере.

Общеизвестно, что теория Ж.-Ж. Руссо послужила идеологической основой для якобинского террора времён Французской революции, а концепция народного суверенитета была радикализована в самых разных проявлениях. Учение Руссо составило впоследствии основательную платформу для тоталитарной идеологии. Какой вывод из всего напрашивается? Ровно такой, какой современные исследователи зачастую делают в отношении Ф. Ницше как идейного вдохновителя германского нацизма времён Третьего Рейха. Но это упрощенчество.

Во-первых, Ж.-Ж. Руссо умер задолго до революционных событий, то есть не имел к ним никакого отношения. Как написал А. Манфред, «это заря революции, её предшествование: она ещё не настала, лишь брезжит рассвет» [191, с. 8]. Можно сказать, что во времена смуты Руссо действует как бы за сценой, все чувствуют его косвенное посмертное влияние.

Во-вторых, образом жизни Ж.-Ж. Руссо были отшельничество и близость к природе, а сам он не был человеком действия и, может быть, вовсе не помышлял об осуществлении идей. Парадоксы биографии Руссо труднообъяснимы. Ни одно другое имя не было окружено таким ореолом славы, он был самым знаменитым писателем Франции, Европы, Мира. Его переводили на все языки, все искали с ним знакомства, «быть может, только Вольтер мог бы оспорить у Руссо лавровый венец славы, [...] его с любовью называли наш Жан-Жак» [191, с. 13]. Бернарден де Сен-Пьер запечатлел его как убелённого сединай мятежного скитальца, отягощённого мировой славой, не имеющей для него никакой цели, аскета и отшельника, лишённого по собственному выбору близких людей и друзей, которым мог бы довериться. И ведь не скажешь, что он был не понят современниками. Причины его конфликта с обществом до сих пор не выяснены.

В-третьих, Французскую революцию называют буржуазной, но что буржуазного во взглядах Руссо? Ничего. Он всегда подчёркивал, что частная собственность побуждает людей жить за счёт других, и оправдана она лишь при соблюдении равенства и допустима в размерах, необходимых труженику. Значит, Руссо – эгалитарист, он за равное, справедливое распределение частной собственности, а такие мысли носят явно антибуржуазный характер. Постановка им проблемы не только юридического, но и социального равенства говорит о том, что в этом вопросе Руссо шёл не в ногу с просветителями и со временем. Близилась эпоха торжества капитализма, разрабатывались и утверждались принципы экономического либерализма, а Руссо отстаивал антикапиталистические позиции имущественной уравниловки.

В-четвёртых, Французская революция имела нескрываемый антирелигиозный характер, а Конституция 1791 года предполагала светский характер государства. Но Руссо, в отличие от большинства энциклопедистов эпохи Просвещения (Гольбаха, Вольтера, Гельвеция), обладал глубоким религиозным чувством. Материализму, скептицизму и откровенному атеизму многих французских просветителей он противопоставил веру в верховное существо (здесь не будем углубляться в особенности религиозного мировоззрения Руссо, отметим лишь направленность против религиозного формализма и догматики, его идеал – вдохновенная религия под государственным покровительством).

В-пятых, общеизвестный факт, что решающее значение на ход Французской революции оказало так называемое «третье сословие» («Я говорю о том, что во всех цивилизациях совершенно однотипно обозначается как «подонки», «сброд» или «чернь» – О. Шпенглер [96, с. 423]). Руссо отдаёт предпочтение аристократической форме правительства, при которой сильные и мудрые управляют народом, но народ их выбирает, демонстрируя при этом свою мудрость, то есть форма правительства – аристократическая, а форма государства – демократическая (такое сочетание противоположностей представляется Руссо удачным, и взял он эту идею из опыта Женевской республики). Не секрет, что для многих знаменитых французских просветителей (Ларошфуко, Монтескьё, Вольтера, Мабли) «народ» всегда был понятием книжным, отвлечённым.

В отличие от них, Руссо всегда говорил о народе как части его собственной жизни, он хорошо понимал социальные и нравственные контрасты бедности и богатства. Причём эти простые истины пришли к нему не со стороны, не из книг, а из собственного жизненного опыта. Познав горести и стремления простолюдинов, Руссо стремился стать их выразителем, но чтобы осмыслить и понять происходящее, нужно было найти подходящие литературные формы, заставить себя слушать, но ведь для этого нужна была высокая степень образованности и начитанности, а получить её можно только в аристократических кругах через близкие знакомства. Такой вот парадокс: жить среди «клики придворной», а замыслы и надежды связывать со счастьем народа.

В-шестых, Французская революция имела свою не только идейно-философскую базу, но и учитывала имеющийся опыт. На её программных документах сказались английская политическая традиция и революционные события в Северной Америке. В то же время Руссо всегда иронизировал по поводу английской конституции, которая представлялась Монтескьё воплощением свободы. Ему была неприемлема идея парламентаризма, а препятствием для выявления общей воли он считал любые организации и объединения, стоящие между гражданами и государством. Он отвергал привилегии и традиции, настаивал на полном и безраздельном суверенитете народа в условиях прямой демократии, не признавал концепции разделения властей. Уточним одну деталь. Для Руссо понятие «народ» охватывало не какую-то часть третьего сословия: это и тёмное забитое крестьянство, и городская беднота, и мелкие ремесленники, и кустари. Как мы знаем, идеологи Американской революции стояли на совершенно иной социально-политической платформе.

Получается, что деятели Французской революции из всего многослойного и сложного политико-философского наследия Ж.-Ж. Руссо изъяли одну-единственную идею о приоритете целого над частным, господстве народа как суверена над правами человека, над личностью. Но именно этот постулат затмил всё остальное, «от Руссо эстафета абсолютизации общей воли переходит к якобинцам и к Марксу в революционном варианте» (перевод наш. – *А.П.*) [108, с. 175], а к Гегелю – в консервативном. Таким образом, пишет Д. Ллойд, «по иронии судьбы философия Руссо, возникшая из веры в демократию и свободу, превратилась в институт тоталитаризма» [200, с. 97]. Воистину, не знал Руссо, чем слово его отзовется...

Нам важно подчеркнуть и тот факт, что учение Руссо для него самого представлялось противоречивым и недосказанным. Даже в зрелые годы, запутавшись в теоретиче-

ских антиномиях, Руссо так и не заметил проблемы глубинной связи между «принадлежностью» к народу и ролью «вождя», примерами власти которых в Древней Греции были так называемые «тирании». Путаница в мыслях у этого творца политической теории была очевидной, что в наиболее чётких формах показал современный итальянский исследователь Лучано Канфора. Ему удалось «докопаться» до письма Руссо от 26 июля 1756 года к маркизу Мирабо (отцу оратора и героя революции). Чтобы лучше понять сказанное, приведём из него несколько цитат.

Они свидетельствуют о том, что Руссо предвидел неизбежное сползание к деспотической власти: величайшая политическая проблема, – отмечает он, – эквивалентная проблеме квадратуры круга, заключается в том, чтобы «найти такую форму правления, которая поставила бы закон над людьми», а если не получится (Руссо был уверен, что это невозможно), «нужно перейти к другой крайности» и «установить самый что ни есть неограниченный деспотизм: хотелось бы мне, чтобы деспот стал Богом!», ибо «между самой строгой демократией и самым совершенным обществом по образцу Гоббса» не существует «приемлемой середины», после чего, однако, со своей обычной патетикой он сулит человечеству новых презренных тиранов и впадает в отчаяние: «Калигулы, Нероны, Тибериусы... Боже мой... я катаюсь по земле и стенаю: отчего я человек?» [31, с. 13]. Отношения «вождь–масса» остались для Руссо неразрешимым вопросом.

Но если бы руссоистская философия не имела своего продолжения и воплощения..., «Новая теология без Бога» явилась респектабельной формой наиболее диких и уродливых политических проектов. Пол Джонсон уверен: «Жан-Жак Руссо был тем, кто первый объявил, что политические процессы могут сделать человека лучше, и что инструментом изменения, создателем так называемого нового человека станет государство и самозванные благодетели, которые будут управлять им для всеобщего блага» [121, с. 408]. В этом вопросе мы бы отдали «пальму первенства» Клоду Гельвецию, но суть не в этом: «два сапога – пара».

Великая трагедия человечества проявилась в том, что в XX веке теория Руссо была апробирована на практике в огромных масштабах и испытана на людях. Для архетипичных представителей новой плеяды вождей, таких как Ленин, Гитлер и Мао Цзэ-Дун, политика, которую они представляли себе как перестройку общества с благими целями, стала единственно возможной формой моральной активности, единственным эффективным средством улучшения человеческой природы. Этот взгляд, который в более ранние «христианские» века показался бы фантастикой или даже сумасшествием, стал в некоторой степени ортодоксальным повсеместно: в виде нацизма и фашизма на Западе, в особо опасной форме в коммунистических странах и в большей части третьего мира.

Эти фанатики и шарлатаны, харизматические и экзальтированные субъекты, мирские «святые» и массовые убийцы, объединённые верой, что политика является панацеей от всех проблем: Сунь Ятсен и Ататюрк, Сталин и Муссолини, Хрущёв, Хо Ши Мин, Ким Ир Сен, Пол Пот, Кастро и Че Гевара, Неру, Сукарто, Перон, Пиночет и Альенде, Насер и Садат, шах Пехлеви, Каддафи и Саддам Хусейн, Хонекер и Чаушеску, Хафез и Башар Ассад, Чавес и Мадуро, Хомейни и Эрдоган – несть им числа, список так и хочется продолжить. Большинство из них, и живые и мёртвые, прокляты в своих собственных странах, но вовсе нет уверенности в том, что зло, сделавшее возможным эти катастрофические ошибки и трагедии, будет преодолено. Для начала научиться хотя бы усваивать важнейшие уроки этой ужасной эпохи. Всем понятно, что проблема не в Руссо, но всегда находится камешек, приводящий в движение лавину.

На исторических примерах мы пытались показать всю сложность осмысления идейной составляющей эпохи Просвещения и концепции естественного права, необходимость видения дистанции между мыслителями и спродуцированными ими теориями, которые, оторвавшись от своих создателей, начинают жить своей жизнью и принимать

самые диковинные очертания. История с Ж.-Ж. Руссо из этого разряда. По этому поводу замечательно пишет Т.Дж. Берман: «Философы не проповедовали революции. Они были реформаторами, а не революционерами. Они критиковали существующий режим и предлагали произвести в нём определённые перемены, а не устранять его в целом. Их критика и философия, лежавшая в её основе, стала частью системы веры тех, кто впоследствии опрокинул режим и установил новый. Главное, что индивидуализм Просвещения и его рационализм – два основных элемента, из сочетания которых происходили его утилитаризм и превознесение свободы и равенства, – стали фундаментальными принципами революций» [28, с. 159]. Внимательно изучая труды французских просветителей, мы действительно не найдём ни у кого из них призывов к такой революции, какая разразилась в 1789 году, никто не ратовал за свержение монархии. Но всех их объединяла идея естественных прав человека. Её пониманию и правильной трактовке предшествовала долгая история, на которой следует остановиться более подробно.

Необходимо придерживаться установки, согласно которой права человека представляют собой одно из важнейших направлений традиционной концепции принципа верховенства права. Этот принцип всегда подразумевает обязательное ограничение абсолютной власти суверена, что проистекает из теорий естественного права и религиозных доктрин. В связи с этим некоторые авторы утверждают, что ранние религиозные тексты, содержавшие процессуальные нормы и положения, определяющие правила поведения в обществе, являются основой прав человека (см., например, Р.А. Папаян, М. Новак [30, с. 51–71; 64, с. 63–65]).

Действительно, основные догматы всех вероисповеданий устанавливают границы человеческого поведения. Как отмечает Рона К.М. Смит, «несмотря на то, что такие источники имеют тенденцию придавать особое значение обязанностям, ряд политических и религиозных традиций декларировали определённые “права” для народов: право ожидать того, что их правители будут честными и справедливыми, с ограниченными полномочиями в отношении частной жизни и собственности подданных» [201, с. 5]. Примеров можно найти множество.

Даже употребление слова «свобода», утверждают исследователи [202, с. 7], появилось ещё в XXIV веке до н.э., когда монарх Шумера установил «свободу» для своих подданных путём применения санкций к бессовестным сборщикам налогов, защиты вдов и сирот от несправедливых действий людей, обладавших властью, и прекращения практики закабаления храмовых слуг первосвященниками. Намёки на признание необходимости защищать человеческую свободу и достоинство присутствуют в некоторых самых ранних кодексах (например, в судебнике Хаммурапи XVIII века до н.э.). А вот что говорится в Законах Ману: «[царю] надо относиться с полным уважением к обычаям, существующим в народе, и поступать с людьми, как отец» (п. 80); «царь, который по неразумению беспечно мучает свою страну, немедленно лишается вместе с родственниками страны и жизни (п. III)» [203, с. 29]. Но все эти ранние правовые системы были основаны преимущественно на методах насилия, принуждения, применявшихся носителями верховной власти по отношению к большинству общества. Уровень свободы был минимальный и охватывал правящую верхушку. Притязания индивидов были нереальны. Господствующие теологические концепции видели в правителях ставленников Бога на земле, требовавших беспрекословного подчинения. На Западе иначе трактовали проблему традиции естественного права, которая основывалась на правовых представлениях греческих стоиков и римлян о «*jus gentium*» (праве для всех народов).

Античная Греция явила миру полисную демократию, «она породила первые ростки явления, которые могут быть названы правами человека. Это связано с возникновением определённого пространства свободы, которое создало условия для появления равных политических прав у лиц, являющихся гражданами», – отмечает Е.А. Лукашёва

[202, с. 6]. Этому способствовали реформы Солона, Клисфена, Перикла. Например, в VI веке до н.э. архонт Солон разработал закон, закрепивший некоторые элементы демократии и предусматривающий возможность привлечения к ответственности должностных лиц. Именно в древних полисах благодаря возникновению института гражданства появляются важнейшие политические и личные права.

Античный Рим во многом копировал афинские новшества, но и сам принёс в разработку естественных прав много оригинальных идей. Во многом благодаря римским юристам (Цицерону, Ульпиану) разрабатывалась проблематика взаимосвязей права и государства, правовой характеристики полномочий государственных органов, их взаимоотношений с гражданином как субъектом права. Достаточно сказать, что Цицерон стоял у истоков теории юридизации понятия государства, которая в последующем имела много приверженцев – сторонников идеи правового государства и конституционализма.

В эпоху Средневековья получает развитие христианская доктрина естественного права, в которой формулируются элементы прав человека в отношении к правителям того времени. Благодаря Ф. Аквинскому, М. Падуанскому, В. Оккамскому начинает формироваться новая индивидуалистическая логика, подразумевающая религиозное сообщество не органичным (тотальным) коллективом, а добровольным объединением мужчин и женщин. Концепция естественных прав «как политический продукт индивидуализма, [...] взращённая Европой в эпоху Возрождения, была созвучна свободе, прогрессу, инициативе, творчеству» (перевод наш. – А.П.) [204, с. 37]. В светской жизни государств средневековой Европы происходят события, оказавшие впоследствии огромное влияние на идеи конституционализма и прав человека.

В Англии противостояние монарха, баронов, рыцарства завершилось принятием Великой Хартии вольностей 1215 года. Этот документ [205] закрепил ряд принципов, которые соответствуют широкому диапазону понятия прав человека сегодня: равенство перед законом, право собственности и элементы религиозной свободы (указанные права распространялись только на аристократию). В отличие от Хартии, Шотландская Арбротская декларация 1320 года упоминала о широком праве на свободу, ставя его выше славы, чести и богатства [201, с. 6]. Саксонское зеркало, написанное в XIII веке, утверждало, что «человек должен противиться своему королю и судье, если тот поступает незаконно, и должен препятствовать ему во всяком беззаконии, даже если он его родственник или феодальный сеньор. И этим он не нарушает свою присягу на верность» [205]. Сходным образом, по мнению Г.Дж. Бермана [9, с. 279], знаменитая юридическая формула Арагона устанавливала, что подданные должны повиноваться королю только до тех пор, пока он исполняет свои обязанности, «а если нет, то нет».

Аналогичным образом в Золотой булле 1222 года [205] венгерский король Андраш II Арпад принял конкретные ограничения на власть короны в пользу «высших и низших благородных людей» (т.е. свободных людей), обязав себя и своих преемников творить суд ежегодно в определённом месте и в определённое время. В документе оговариваются вопросы судебной процедуры и недопущения самоуправства, права подданных и иностранцев. Особенно выделим слова, которыми заканчивается Золотая булла: «Мы также постановляем, что если Мы или кто-либо из наших преемников когда-либо нарушит условия этого статута, то епископы и высшие, и низшие благородные люди Нашего королевства, поодиночке и все вместе, нынешние и будущие, в силу этих условий имеют неограниченное право сопротивляться словом и делом, не навлекая на себя обвинений в измене» [205, с. 711]. Очевидно, что эти привилегии напоминают правила подобного рода из Великой Хартии вольностей, утверждённой в Англии на несколько лет раньше в исторически сходной обстановке.

Петиция о праве 1628 года, относящаяся уже к периоду формирования буржуазного строя в Англии, возлагала определённые обязанности на короля, что позволило бы

защищать подданных от произвола администрации. Дальнейшим шагом на пути обеспечения прав человека явился Хабеас корпус – акт 1679 года, который ввёл понятие «надлежащей процедуры», установил гарантии неприкосновенности личности, принцип презумпции невиновности. На основе Декларации прав 1688 года утверждается Билль о правах 1689 года – своеобразное политическое соглашение между парламентом и королём, который нарушил права протестантов. Наряду с этим Билль внёс неоценимый вклад в развитие прав человека, установив свободу слова и прений в парламенте, свободу выборов, право обращения подданных с петицией к королю. Акт об устройении 1701 года учредил принцип несменяемости судей, запрет совмещения выборных и назначаемых должностей.

Все эти документы, преимущественно английского происхождения, послужили прочным фундаментом для конституционных преобразований во многих странах. Но, по большому счёту, речь там не идёт о правах человека в современном понимании. Как верно замечает Э. Клэпгем [199, с. 6], правильнее говорить не о правах человека, а о политических договорённостях, ведь права человека принадлежат всем, и поэтому их нельзя дать только избранному кругу привилегированных особ. Прав В.С. Нерсесянц, когда говорит: «Возникшая в древности идея всеобщего равенства людей (а вместе с тем и идея прав человека как человека) не была реализована в Средние века. [...] Практическое выражение этой идеи в правовых актах того времени неизбежно носило сословно-ограниченный характер и представляло собой закрепление сословных прав и свобод (вольностей)» (перевод наш. – *А.П.*) [206, с. 144]. Разработка основного свода прав человека имеет отношение к XVIII веку, когда в США и Франции были приняты нормы о правах человека, в первом случае – когда была провозглашена независимость бывших английских колоний Северной Америки, во втором – с принятием в 1789 году Французской декларации прав человека и гражданина (она, в свою очередь, была «вдохновлена» американской Декларацией независимости 1776 г.). Именно эти документы стали своего рода ориентиром для конституций стран Европы и бывших колоний.

Первопричины и факторы американских и французских событий мы постоянно «увязываем» с наследием английской общественно-политической мысли, однако их взаимопереплетение не всегда даёт ясный ответ о возможности хронологически точно воспроизведения государственно-правового развития идеи прав личности (сейчас это называется концепцией прав человека, что далеко не одно и то же). Именно этот вопрос являлся заглавным в эпоху конституционных преобразований. В нём попытался разобраться Б.С. Эбзеев [19, с. 32] в контексте более широкой проблематики об индивидуальном и коллективном в организации социума. В общих чертах выстраивается следующая цепочка событий.

Идея прав личности восходит к семидесятым годам XVIII столетия и связана с борьбой английских колоний в Америке против метрополии. Но колонисты были преимущественно англосаксами и закономерно, что традиционные английские гражданские права послужили основой для формирования концепции прав личности. Большинство конституций бывших английских колоний, добивавшихся независимости, содержало декларации прав. В 1776 году Томасом Джефферсоном была составлена Декларация независимости США, которую иногда называют первой декларацией прав человека. Она оказала несомненное идейное и нормативно-юридическое воздействие на содержание знаменитой Французской Декларации 1789 года, с которой в Европе обычно связывают возникновение прав человека. Этой версии придерживается большинство исследователей.

Немецкий государствовед Георг Еллинек писал, что принципы 1789 года – это на самом деле принципы 1776 года, имея в виду влияние североамериканских конституционных актов на воззрение составителей Декларации прав человека и гражданина

1789 года, и русский учёный Н.М. Коркунов полагал, что «американская декларация послужила образцом для Французской Декларации прав человека и гражданина 1789 года» [цит. по: 19, с. 32]. Тем не менее генетические корни идей естественных прав человека находятся всё же в Старом Свете, и именно отсюда они были перенесены на американскую почву (можно вспомнить и тот факт, что многие «отцы-основатели» получили образование в лучших европейских традициях).

Строго говоря, идея прав человека явилась детищем революции пуритан в Англии. Левеллеры во главе с Джоном Лильберном сформулировали так называемый «Agreement of the People», который был передан парламенту в январе 1649 года. В результате противодействия Оливера Кромвеля этот первый в Англии проект писаной конституции так и не был принят, но именно в нём были сформулированы цели конституционного строя государства: конституция должна быть договором между членами народа, чтобы в обязательной форме создать ограничения верховной власти государства и тем обеспечить свободу народу. Идеи левеллеров заняли важное место в дальнейшей идейно-политической борьбе с феодальным строем, а затем были перенесены на американскую почву. Об этом наглядно свидетельствует содержание Декларации независимости США 1776 года.

Следует при этом понимать различную социальную направленность североамериканских и французских конституционных актов, относящихся к рассматриваемой эпохе. Американская декларация прав была направлена не против феодальных порядков, которые так и не сложились на американском континенте, а против колониального гнёта Англии. Таким образом, права личности «по-американски» на первом этапе их развития – это гарантия свободы от колониального господства. Во Франции документы революционной эпохи были направлены своим остриём против феодального государства, и права человека в такой интерпретации – это определённая гарантия от произвола феодального государства по отношению к новым общественным классам и сословиям. Революция, явившаяся законным основанием прав народа, легитимировала и идею прав человека. Французская Декларация прав человека и гражданина 1789 года должна была выступить своеобразным «знаменем», где начертаны слова, призывающие смести старые феодальные порядки, юридически утвердить новые буржуазные отношения. Именно с учётом этой специфики необходимо оценивать права человека, провозглашённые Декларацией 1789 года, в числе которых – свобода, неприкосновенность собственности, безопасность и сопротивление угнетению.

Как во Франции, так и в США юридическим фундаментом провозглашенных прав и свобод выступало равенство. Здесь делаем поправку на эпоху, так как идеологи обеих революций так и не разрешили проблему рабства. Более того, «пять из первых семи [американских] президентов, исключая лишь Адамсов, были рабовладельцами. Джефферсон, несмотря на громкие слова о “равенстве всех людей” в Декларации независимости, владел рабами до конца своих дней» [207, с. 216]. Не удалось это ранее и Дж. Локку, по учению которого свобода составляла как бы сущность человека, однако в конституции, составленной им для Северной Каролины, санкционировалось как рабство, так и крепостное право. «Лишь в «Декларации прав Вермонта периода войны за независимость была инкорпорирована норма, запретившая институт рабства», – отмечает А.А. Клишас [208, с. 34].

Обе декларации базировались ещё на одной идее – самоценности индивида, и в таком случае права личности выступали гарантией от вмешательства государства в некоторые сферы жизни человека. Права гражданина предполагают достоинство, присущее человеческой личности, и являются существенными для её свободного и полного развития.

Впоследствии декларационные положения об основных правах и свободах человека и гражданина получили конституционное закрепление (американский Билль о правах является частью Конституции США), то есть достаточно абстрактные отвлечённые формулы («стремление к счастью», «источник справедливой власти», «гибельная формула правления» и т.п.) были выражены в виде достаточно чётких юридических норм. Как отмечал дореволюционный правовед А.К. Дживилегов, «с нравственной точки зрения преимущество нужно отдать декларации, особенно при переходе от абсолютизма к конституционализму, с практической – гарантиям» [цит. по: 19, с. 37]. Здесь важно понимать следующее.

Естественное право как идеологическая база революций и оформлявшегося конституционализма предлагало новый моральный взгляд на человека, его жизнь и на общество. Но с этой своеобразной общественной философией не было никакой ясности в XVIII веке, да и в веке XXI споры не стихают. Напомним, что во втором из «Двух трактатов о правлении» Дж. Локк излагает в общих чертах теорию естественных прав. Он утверждает, что имеются три естественных права – право на жизнь, право на свободу и право на собственность. Достаточно ясная конструкция. Но вот уже Томас Джефферсон в 1776 году заменил третье естественное право Локка правом на счастье. Трактаты Дж. Локка и Декларация независимости оказали, как известно, решающее влияние на американских и французских конституционалистов.

Ко второй половине XVIII века, по мнению Роны К.М. Смит [201, с. 6], сформировались две основные группы теорий о происхождении прав человека: теория, основанная на свободах и превалирующая в системах общего права, и теория прав в гражданской правовой системе. Обе теории сводятся к вопросу о взаимоотношении между индивидом и государством, пытаясь регулировать процесс вмешательства государства в частную жизнь индивида. По существу, теория свобод требует, чтобы индивид находился вне произвольного вмешательства государства, в то время как теории прав основаны на наследственных правах людей, которые государство в свою очередь должно уважать. Принципы свободы и равноправия явились основным фоном развития идеи прав человека.

Хотя теория естественных прав имела серьёзнейшие кратковременные (эпоха буржуазных революций) и долгосрочные (появление правовых государств) последствия для этической и политической мысли, необходимо признать, что она не лишена недостатков. Один из её дефектов – очевидная неясность. Что значит естественное право? Конечно, не то же, что естественные инстинкты. Обычно значение слова «естественное» остаётся более или менее неразъяснённым. Можно также заметить, что утверждение о естественном праве на свободу не объясняет, в чём состоит это право и как его защищать. История XVIII и XIX столетий показывает, что риторика вокруг естественных прав вполне может сосуществовать с рабством, жёстким ограничением политических и социальных прав.

Однако не подвергается сомнению, что «история прав человека – это история очеловечивания людей, история прогрессирующего расширения правового признания в качестве человека тех или иных людей для того или иного круга отношений» [206, с. 44]. При всех её практических заслугах и достоинствах, теория естественных прав не вполне определена и не может заменить другие идеи о свободе (прежде всего в контексте гражданских прав). Но как бы то ни было, именно теория естественных прав, оформившаяся в период буржуазных революций, в последующем получила всеобщее признание и закрепление, предопределила смысл и сущность первых конституций.

3.3 Метаморфозы естественного права как идейной основы конституционализма

Учение о «естественном праве» рассматривается с античного периода до наших дней. Выясняется этимология понятия «естественный», его терминологическое значение для разных исторических эпох. «Доантичное» естественное право представлено как закон добродетели для правителя и подчинённых. Актуализируется проблема о соотношении и различении естественного и позитивного права. Показаны особенности восприятия естественного права во времена Средневековья на примере ведущих христианских теологов: Св. Августина и Ф. Аквинского. Эпоха Гуманизма и Реформации, раннего Просвещения представлена воззрениями Г. Гроция, Х. Томмазия, Х. Вольфа. Концепция естественного права рассмотрена во взаимосвязи с теорией естественных прав – основой учения о правах человека. В контексте буржуазно-политических преобразований даётся интерпретация взглядов на естественное право Дж. Локка и Ж.-Ж. Руссо, показано принципиальное отличие между ними. Указаны критические замечания в отношении естественного права и естественных прав с позиций дореволюционной и современной юриспруденции. В контексте естественно-правовой теории поставлена проблема реализации белорусской Конституции.

Естественное право в его идеологических основах стало исходным пунктом в радикальном преобразовании западноевропейского и правового порядка при помощи законодательства как основного метода. В рамках Просвещения это приобрело форму политико-идеологического движения, поскольку требование «свобода, равенство и братство» было направлено против феодальной системы, сословного общества и сословных привилегий. Вся триада имеет корни в античном мышлении: идея свобод и равенства восходит к афинской философской школе, а братства – к стоикам. Новый взгляд на право был, таким образом, оживлением традиции естественного права, которую европейцы получили как часть культурного наследия эллинизма. Она была освоена и развита на новом уровне.

Именно в Греции зародилось представление о том, что всё право, которым мы пользуемся, можно подразделить на *естественное* и *искусственное* и что закон правителя или народного собрания «также подлежит проверке на его соответствие природным или разумным человеческим законам, а потому законодательство предстаёт делом творческим и обязывающим его творцов к соблюдению определённых требований и правил» [14, с. 46]. Право античности тесно увязывалось с представлениями людей о справедливости, но эта справедливость соотносилась с демократическим требованием равенства в пользовании политическими правами, что соответствовало естественной природе свободного человека.

Таким образом, человек наделялся разумом, свободой выбора и способностью принимать решение. «Поэтому, – констатирует Сурия П. Синха, – он жил для самого себя, а не для того, чтобы служить какому-нибудь высокопоставленному человеческому существу или сверхъестественной силе» [209, с. 13]. Но это означало появление индивидуализма. Политическим его последствием была независимость полисного общества, граждане которого в силу закона совместно обладали политическими и юридическими правами. Следовательно, принцип законности стал центральным для данного типа социальной организации. Индивидуализм, свобода, закон да плюс незыблемый институт частной собственности – именно поэтому мы рассматриваем естественное право в такой версии идейной основой европейского конституционализма.

Учение, которое привыкли называть «естественным правом», является важным идейным течением как для античности, так и в наше время. Но этот период охватывает более двух тысячелетий! Не мудрено, что понятие естественного права включает в себя явления, в корне отличные друг от друга, на что обращает внимание Г. Радбрух: «Основной проблемой античного естественного права было противоречие между природой и моральным долгом подчиняться законам общества, в Средневековье – противоречие между божественным и светским правом, а естественное право нового времени характеризуется противоречием между правовым принуждением и разумом индивида» [210, с. 26]. Черты естественного права по-разному проявляются в различные периоды времени, т.к. оно основано на ценностных суждениях. Однако много ли общего у источников естественного права – природы, божественного откровения, разума? Отсюда пёстрое многообразие естественно-правовых воззрений различных эпох и народов.

Доктрина естественного права представляет собой нечто большее, чем просто теорию права и концепцию его возникновения, «она является философией, которая объясняет и определяет положение человека в универсуме («мир как целое») и в обществе. Затем уже из такой философии выводятся принципы и методы создания права» [76, с. 217]. Трудность в освоении естественного права усугубляется и тем, что сам термин способен ввести в заблуждение, на что обращает внимание Ф.А. фон Хайек [49, с. 23]. С основными его рассуждениями нельзя не согласиться, о чём пойдёт речь в следующих абзацах.

Слово «естественное» – источник многочисленных разногласий и заблуждений. Корни латинского слова «естественный» (*nascor*) и синонимического ему греческого «физический» (*phuo*) восходят к глаголам, обозначающим процессы роста, и, стало быть, правомерно было бы обозначать словом «естественное» всё, что вырастает спонтанно, а не создаётся в соответствии с чьим-либо сознательным замыслом. В этом смысле традиционные, спонтанно сложившиеся нормы морали совершенно естественны, и их вполне уместно именовать «естественным правом». Однако обычное употребление этого слова сводится для обозначения врождённых склонностей или инстинктов, как раз-таки вступающих в столкновение со сложившимися правилами поведения.

Обратимся к прямому цитированию: «Если же употреблять слово “естественное” для обозначения врождённого, или инстинктивного, а слово “искусственное” для обозначения продуктов сознательного творчества, то совершенно очевидно, что плоды культурной эволюции (например, традиционные правила поведения) нельзя будет отнести ни к тому, ни к другому. Таким образом, они лежат не только “между инстинктом и разумом”, но и, конечно же, между “естественным” (т.е. инстинктивным) и “искусственным” (т.е. сознательными творениями разума)» [49, с. 244]. Такая жёсткая дихотомия «страсти» и «разума» не оставляет никакого зазора между данными понятиями, из-за чего игнорируется и не понимается сам процесс культурной эволюции, который и породил традиции, определившие развитие нашей цивилизации.

Первыми, кто в эпоху Просвещения занялся указанной проблемой, были шотландские философы-моралисты (Дэвид Юм и Дугалд Стюарт) и философы-экономисты (Адам Смит и Адам Фергюсон). Их твёрдое убеждение и историческое обоснование того, что традиции и правила морали (они-то и составляют сердцевину гуманистического «естественного права») не являются заключениями человеческого разума, конечно же, противоречили процветающим тогда в Европе трактовкам в духе картезианского рационализма (не избежал этого и английский утилитарист, философ-конституционалист Джереми Бентам [196, с. 60–66]). Осмысление языка, морали, права замыкалось в жёстких рамках рассмотренной выше дихотомии.

Но если выйти за них, то обнаруживается, что истинной противоположностью страсти является не разум, а традиционные нормы морали. Эволюция традиционных

правил поведения, занимающая промежуточное положение между развитием инстинктов и развитием разума, – это самостоятельный процесс, и его было бы ошибочно считать творением разума. В действительности традиционные правила сформировались естественным путём в ходе эволюции. Именно эволюционная теория (Б. Мандевиль, К. Менгер, И.Г. Гердер, Ф. Шиллер, К. Виланд, У. Джонс, Ф. Бонн, В. фон Гумбольдт) даёт нам ключ к пониманию принципов формирования естественного права в жизни, в сознании и в межличностных отношениях.

Такой подход противоречит утилитаристской теории этики, согласно которой человек сознательно выбирает себе мораль из-за её всеми признаваемой полезности. Это привело к искажению традиции «естественного права». Как пишет Ф.А. фон Хайек, обычно «термин естественный использовался как технический термин, обозначающий то, что не было “изобретено” или обдуманно сконструировано, но возникло в ответ на требования ситуации. Но эта традиция утратила влияние, когда в XVII в. “естественное право” стало пониматься как замысел “естественного разума”» [66, с. 103]. Наступала «картезианская» эпоха.

Возрождение концепции естественного права невозможно понять без хотя бы краткого исследования значения естественно-правовой идеи в прошлом и выявления основных её форм в новейшую эпоху. К самым ранним теориям естественного права Сурия Пракаш Синха [209, с. 70] относит те концепции, которые рассматривают естественное право как закон добродетели. Если брать во внимание закон добродетели (которому должен следовать правитель и его подданные), то существует три теории подобного рода в интерпретации дхармы (Индия, ведический период: 1500–50 гг. до н.э.), у Лао Цзы (Китай, р. 604 г. до н.э.) и Конфуция (Китай, 550 или 551–478 гг. до н.э.). Вслушаемся в изречения последнего, не утратившие актуальности и поныне: «Каждый может ошибаться в зависимости от своей пристрастности, но бездействие в момент, когда возможно поступить по справедливости, означает трусость. [...] страна должна управляться справедливостью. Когда в стране много запретительных законов, народ становится бедным, а когда растут законы и приказы, увеличивается число воров и разбойников» [63, с. 56]. Все они полагали истинным правом не действующее право, а нечто другое, чему придавался высший смысл.

Истоки европейского естественного права – в учениях Аристотеля, стоиков и Цицерона. В основе античной философии лежат две различные системы идей [76, с. 217]. С одной стороны, признавалось, что универсум, общество и люди, поскольку они были созданы божественными силами, управляются посредством установленного законом порядка. Отсюда вытекало, что человек мог через разум прийти к познанию норм права человеческого общежития, действенных для всех людей. С другой стороны, полагалось, что совместная жизнь людей, поскольку она регулировалась правопорядком, должна быть справедливой, чтобы соответствовать естественному порядку вещей.

Греческая мысль, как известно, в своём развитии прошла через четыре стадии: героическое сознание, визионерское сознание, теоретическое сознание и рациональное сознание. Именно последнее обратилось к концепциям рационального порядка, как, например, у Платона и Аристотеля. Для выражения своего мировоззрения оно использовало понятия «логос», «арете», «метрон» [209, с. 13]. «Логос», что в переводе значит «слово», концептуализировал для греков инструмент поиска истины и справедливости путём обдумывания и обсуждения соответствующих проблем. Понятие «арете», что означает «добродетель», концептуализировало специфическое достоинство человека как мыслящего существа. Понятие «метрон», означающее «измерение», концептуализировало меру и пропорцию, с тем, чтобы избежать «убрис», т.е. «излишества». Используя разум, греки отвергли богов как правящую силу универсума. Вместо этого начали использовать для объяснения различных явлений естественные законы.

Таким образом, в философских терминах той эпохи выражались представления о справедливости, которые заключались в общечеловеческих принципах равенства. Естественное право (*jus naturale humanogum*), основанное на извечно установленном законом порядке и на требовании справедливости, являлось самостоятельным источником права наравне с позитивным правом (*jus positivum*), т.е. фактически действующим правом.

Существенным недостатком такого подхода В.С. Нерсесянц [206, с. 25] видит неверную трактовку ключевой проблемы философии права – различия и соотношения сущности и явления в праве. Предложенное различие и соотношение естественного и позитивного права – это не взаимосвязи правовой сущности (в виде естественного права) и правового явления (в виде позитивного права), а противопоставление и противостояние (зачастую – антагонизм) естественного и позитивного права. «Говорят, – писал И. Гёте (между прочим, доктор права), – что между двумя противоположными мнениями лежит истина. никоим образом! Между ними лежит проблема» (из комментариев к «*Метаморфозе растений*» 1798 г., где отдаётся предпочтение гармоническому взгляду на запутанное многообразие мира перед взглядом на его противоречия [211, с. 39]). Таким образом, продолжает В.С. Нерсесянц, вместо поиска необходимых взаимосвязей между сущностью и явлением в праве здесь часто имеет место умозрительное конструирование подлинного права (естественного права как сущности и одновременно как реально действующего правового явления) и игнорирование официально действующего общеобязательного позитивного права. Отсюда правовой дуализм – представление о двух одновременно действующих системах права.

В теоретическом отношении такое различие (а по сути – противопоставление) представляет собой весьма условную и внутренне противоречивую концепцию, поскольку позитивное право чаще всего рассматривается как отклонение (игнорирование, искажение, отрицание) от естественного права, как искусственное, ошибочное или произвольное установление официальных властей. Такая установка может иметь множество объяснений, одно из которых даёт О.Э. Лейст [212, с. 146]. Говоря о возникновении правообразующей способности у физического или юридического лица, учёный отмечает, что с точки зрения естественного права необходимо, условно говоря, «соизволение» общества, проявляющееся в виде сложившихся обычаев, традиций, «этических императивов» и проч., а с точки зрения позитивного права – предварительная или последующая санкция государства.

Отсюда – смешение права с неправовыми явлениями, а это неизбежно приводит к тому, что авторы естественноправовых концепций по-разному представляют себе конкретное содержание естественного права. Но в этом подходе просматривается очевидное достоинство: критика произвольного законодательства, признание естественной свободы и равенства людей, неотчуждаемых прав и свобод человека. Помимо светских, большое влияние имели религиозные версии естественного права.

Во времена Средневековья античное учение о естественном праве приобретает метафизический характер. Право Божественной воли становится доминирующим, по нему человек должен был подчиняться непостижимой Божественной воле. Не вдаваясь в теологические тонкости (о них – «*О Граде Божьем*» Св. Августина), отметим главное. Теперь провозглашённое Богом естественное право разъяснялось главой Католической церкви, Папой Римским, который наделялся властью давать толкования, обязательные для правителей и подданных, «отсюда берёт своё начало идея о том, что естественное право выше человеческого и даже отменяет последнее в случае конфликта между ними» [200, с. 90]. Важнейшим элементом развития теории естественного права стало учение Ф. Аквинского. Он отверг существовавшую до него концепцию о несовершенстве права и государственной власти как порождение греховной сути человека. По мнению Аквинского, следует различать Божественное право, познаваемое лишь че-

рез духовное прозрение, и естественное право, которое настолько рационально, что любой разумный человек способен его понять. Это достаточно рационалистический подход, который основывается всё же не на умозаключениях учёного, свободного в своём творчестве, а на догмах христианской веры.

Вопреки мнению отцов церкви (Амброузу, Августину, Грегори) общество и государство начали рассматриваться как воплощение моральной цели и инструмент осуществления справедливости и добродетели, а не как греховные институты. Человеческие законы берут начало в естественном праве, но последнее, ввиду божественного присутствия, не всегда доступно человеческому разумению.

Здесь необходимо сделать важное отступление. В рассматриваемый период существовала и реализовывалась на практике совершенно светская трактовка естественного права, положившая начало формированию цельного и прогрессивного во всех отношениях правопорядка. Речь, конечно, идёт об Англии и её идейных основах неписаной конституции, а конкретно – о великом судье, юристе, учёном Генри Браконе (точная дата рождения неизвестна – умер в 1268 г.).

Феноменальный для своей эпохи трактат «О законах и обычаях Англии» («DE LEGIBUS ET CONSVETUDINIBUS ANGLIAE»), написанный в тесной связи юридической теории и практики, содержит чёткую формулировку естественного права: «(Гермин) естественное право употребляется в нескольких значениях. Первое значение, когда говорится о каком-то установившемся порядке поведения, проистекающем из природы одушевлённого существа, в силу которого каждое животное побуждается к какому-то действию, и в этом случае оно определяется следующим образом: естественное право – это такое право, которое внушено всем животным (самой) природой, то есть природным инстинктом; и когда так говорят (подразумевают), что наши первые импульсы не в нашей власти, вторичные же находятся под нашим контролем; и поэтому, если дело не идёт дальше увеселения и удовольствия, то совершается лишь грех, заслуживающий прощения; но если дело дойдёт до того, что кто-либо затеет осуществить нечто постыдное, замышленное им (заранее), то можно считать, что возникнет импульс третьей степени и может быть совершён смертный грех. Следует также заметить, что по той же причине, по которой справедливость может рассматриваться как воля в отношении разумных существ, естественное право может считаться импульсом в отношении всякого создания, разумного или неразумного» [213, с. 396].

Главным представляется то, что положения юридической теории Брактона точно воспроизводят реальную правовую практику Англии того времени, как бы обобщая её и облекая в новые теоретические формулы. Многие из сформулированных юридических принципов постоянно применялись в практике королевских судов в качестве аргументов в пользу того или иного судебного решения наряду со ссылками на статуты, прецедент или обычай. В период, когда в Англии господствовало неупорядоченное прецедентное право, трактат Брактона являлся единственной систематизированной сводкой основных положений «общего права», своего рода неофициальным кодексом, которым широко пользовался судебный аппарат короны.

Как свидетельствует современный компаративист Р. Леже [109, с. 16], именно в работах Брактона впервые зазвучала формулировка «Король не подчиняется никому, кроме Бога и Права» (она впоследствии была воспроизведена лордом Деннингом в «*What new in the law?*»). Именно Брактон в 1250 г. «последовательно описал (на латыни) предписания, посредством которых можно было обратиться в Вестминстерские суды» [127, с. 215]. Вне всякого сомнения, Брактон – основоположник доктринальных основ «неписаной» английской конституции. Он очень поспособствовал тому, чтобы в английском праве утвердилось представление о справедливости как о «приложении

велений совести или принципов естественной справедливости к урегулированию противоречий» [96, с. 578].

В XIX веке другой выдающийся английский юрист А.В. Дайси доказывал, что естественное право выступает одним из серьёзнейших юридических ограничений верховенства законодательной власти британского Парламента [22, с. 70]. При этом он ссылается на авторитет Блэкстона, который говорил: «Естественному праву, столь же древнему, как и род человеческий, и данному самим Богом, конечно, следует повиноваться больше, чем всякому другому. Оно обязательно на всём земном шаре, во всех странах и во все времена; никакие человеческие законы недействительны, если не согласны с ними, а те из них, которые действительны, получают прямо или косвенно всю свою силу и власть от своего первообраза» [цит. по: 22, с. 72]. Сам же А.В. Дайси был настроен не столь категорично при выяснении вопроса о недействительности закона Парламента.

Эпоха Гуманизма и Реформации порывает с теоретической основой схоластического естественного права позднего Средневековья, ему на смену приходит рационалистическая трактовка. Она также основывалась на идеологическом наследии античности, более того, юристы-рационалисты естественного права (Гроций, Пуфендорф, Лейбниц, Суарес, Витторио) были примерными христианами, веровавшими в факт откровения. Однако гуманистическая идея высвобождения личности человека и расширение его творческого потенциала порождает новый научный подход, который в значительной степени игнорировал или отклонял притязания теологов и был основан на обобщениях наблюдений и опыта, достигаемых с помощью человеческого разума.

Более того, «именно в Новое время была развита и обогащена заложенная античными мыслителями традиция различения юридического и естественного (божественного) закона» [214, с. 16]. Её основы сформулированы Ф. Аквинским в «Сумме теологии» [215] ещё в XIII веке, где он даёт следующую классификацию законов: 1) вечный закон (*lex aeterna*); 2) естественный закон (*lex naturalis*); 3) человеческий закон (*lex humana*); 4) божественный закон (*lex divina*). Его философско-правовые взгляды получили дальнейшее развитие в томистских и неотомистских концепциях естественного права. Немаловажной частью творческого наследия Ф. Аквинского современные юристы считают его вклад в разработку теории договорного права: «Он рассматривал наиболее важные моменты договорных отношений посредством логического толкования целей человеческой деятельности и выведения из этих целей необходимых атрибутов определяемого института» [331, с. 26]. Взгляды Ф. Аквинского нашли воплощение в учении испанской школы поздней схоластики XVI века, договорной теории Гуго Гроция, правоведов Нового времени.

Реформация, в свою очередь, с её упором на национальные церкви под контролем государства, привела к антиватиканским революциям, в результате которых начал преобладать новый научный подход. Правда, в странах с сильным влиянием кальвинизма (Швейцария) религиозные реформаторы усматривали возможность воссоздания теократии в духе Ветхого Завета, когда только священники могли непосредственно толковать волю Божию с целью править паствой, но в итоге возобладала иная религиозная традиция. Идея личной ответственности перед Богом за своё поведение очень созвучна, по мнению О.Н. Омельчука [70, с. 107], гуманистическим истокам Возрождения, которое отстаивало самостоятельность, исключительность и ценность человека. Провозглашение неотчуждаемости прав и свобод человека явилось логическим следствием сложившейся политической и социокультурной ситуации.

Освобождение от христианской теологической догматики, которая определяла как основу, так и рамки теоретического научно-правового анализа, означало теперь, что поле исследований было открыто для совершенно новых направлений развития мысли. Рационалистическое естественно-правовое мышление противопоставляло *jus naturale*

фактически действующему праву и могло, таким образом, теоретически способствовать новаторству реформаторов. В основе этого учения «лежит элементарно простая, но в то же время научно чрезвычайно неясная мысль: всему произвольно установленному противостоит непроизвольное, неустановленное, само по себе и необходимо существующее; образцом таких свойств является природа; следовательно, неустановленное право есть право природное или естественное» [216, с. 30]. Радикальный разрыв с мировоззрением Средневековья означал, что европейское общественное развитие подошло к тому рубежу, когда потребовались глубокие реформы государственного и правового порядка.

Вот что писал по этому поводу П.И. Новгородцев: «В то время, как английская политическая литература вырабатывала идеал правового государства, континентальной философии права выпала не менее важная задача – отстаивать самостоятельность светской науки и утвердить понятие права на новых независимых от богословия основаниях. Эту задачу приняла на себя школа естественного права, существенным признаком которой является стремление к отысканию высших нравственных критериев позитивных установлений» [217, с. 158]. Во многом это объясняется тем, уверен А.Н. Верещагин [218, с. 34], что континентальная юриспруденция не выработала столь изоциренных теорий судейской функции и судебного толкования, которые обнаруживаются в странах общего права.

Эту новую эпоху, пишет Д. Ллойд, «далёкую от того, чтобы сбрасывать со счетов законы природы, можно назвать Золотым веком естественного права, длившимся до конца XVIII века. Основное значение придавалось теперь рациональному характеру естественного права» [200, с. 93]. Во многом благодаря Гуго Гроцию (1583–1645) [219, с. 102–105], одному из наиболее последовательных сторонников естественного права, разум стал восприниматься как уникальное свойство человека и данная способность к мыслительной деятельности рассматривалась присущей всему человечеству. Отсюда следует, что порядок в человеческом обществе диктуется разумом, объясняется с точки зрения разумных доводов и, по крайней мере, может действовать повсюду.

Гроция считают основоположником международного права. Он утверждал идею о том, что независимые государства находятся в естественном состоянии по отношению друг к другу и поэтому должны придерживаться принципов естественного права. Гроций в этой области пошёл ещё дальше, став родоначальником международного гуманитарного права. В трактате «*О праве войны и мира*» (1625 г.) он настаивает на том, что войны должны вестись с соблюдением определённых правил, от них не должно страдать мирное население, даже с военнопленными следует обращаться гуманно. Эти требования – отклик на варварскую практику Тридцатилетней войны (1618–1648 гг.), принёсшую неисчислимы бедствия народам Европы. Но, пожалуй, главный посыл Гроция в том, что право основывается не на воле Бога, а на природе человека (идея божественного присутствия в праве не отрицалась), государство – совершенный союз свободных людей, заключённый ради соблюдения права и общей пользы, т.е. результат сознательной деятельности человека, и возникает оно как следствие общественного договора.

Эти идеи оказали решающее влияние на формирование политического фундамента Просвещения и проведение конституционных преобразований. У Гроция ещё нет речи о народном суверенитете или о правах человека в буржуазном понимании, он «оставался сыном своей эпохи со всеми её противоречиями и зигзагами общественной мысли, [...] но зёрна, посеянные Гроцием, попали в хорошо удобренную почву и дали обильные всходы в произведениях блестящей плеяды мыслителей, надолго определивших основное направление развития общественной мысли» [220, с. 26]. Живя в абсолютистской Франции, голландский мудрец не порывал с теологией и очень осторожно критиковал феодальные порядки.

Освобождение от схоластики и моральной теологии происходило постепенно. Гроций лишь сделал шаг вперёд, оставаясь при этом связанным авторитетом религиозных писаний. Решающий шаг по отделению моральной теологии от естественного права предпринял немецкий философ права Христиан Томмазий (1655–1728) [131, с. 319]. Его целью было «отсортировать всё схоластическое наследие и создать “секуляризованное” естественное право» [76, с. 226]. В этой связи он порвал с Гуго Гроцием, который придерживался средневековой методологии, состоявшей в том, что божественное и естественное право составляли нераздельное целое. Томмазий – автор хорошо известного изречения: «Человек является разумным существом», он полагал, что фундаментальные принципы естественного права вытекают из разума человека. Влияние немецкой школы привело к тому, что естественное право начали преподавать для юристов в университетах Германии.

Последователем Томмазия выступил Христиан Вольф (1679–1754) [185, с. 82]. Подражая Спинозе и Декарту, он хотел с геометрической точностью развить всеохватывающую систему норм естественного права, чем поспособствовал созданию формально-логического метода правовой науки. Если ранее методом юриспруденции была схоластика, отданная на усмотрение церкви, то теперь естественное право было общественной философией, чей важнейший результат заключался в создании нового метода правовой науки, испытавшего на себе сильное влияние идей Просвещения, которые вытекали из нового взгляда на человека, его жизнь и общество. Тесная связь между естественным правом и Просвещением подчёркивается их гуманитарным характером и необходимостью проведения реформ во всех сферах общественной жизни.

В учении Иммануила Канта (1724–1804) обосновывается понятие естественного закона и его соотношение с законом юридическим. В отличие от своих предшественников [138, с. 39], сторонников естественной школы права, немецкий философ рассматривает естественное не как прирожденные свойства (права) людей, присущие им изначально, а как проявление, форму бытия существующего *a priori* категорического императива, то есть переносит его из сферы сущего в сферу должного. По мнению Н.В. Сильченко, «некоторая искусственность и замысловатость учения Канта о естественном праве объясняется [...] необходимостью “органично” вмонтировать в концепцию правопонимания сложившийся до него в политико-правовой мысли понятий аппарат с традиционными терминами естественного и положительного (статуарного) закона» [138, с. 40]. Проблема соотношения юридических законов с законами нравственности решается Кантом не в плоскости эмпирической действительности, но сфере трансцендентального чистого разума.

С этого момента европейские просветители стали употреблять понятие «естественное» в значении *абсолютной нормативной истины* (максимальной справедливости) [221, с. 219], то есть, если человек поступает справедливо не только по отношению к себе (минимальная справедливость), но и по отношению к другому. (Именно здесь лежат основы кантовского морального императива и его учения о правомерном государстве.) Эта справедливость отражает то, как должен действовать человек в обществе, как он должен относиться к обществу, а общество – к нему и как должно действовать государство по отношению к индивиду, и к обществу в целом, т.е. любые действия должны быть подведены под общий знаменатель справедливого и несправедливого. С этих позиций естественное право должно быть критерием оценки позитивного права.

Право нового типа, освобождаясь от пережитков архаики, религиозных догм и установок феодализма, признаётся творением рук человека, но его назначение – служить инструментом осуществления естественного права. Однако, как и следовало ожидать, позиции не были чётко определены и оставались достаточно расплывчатыми, о чём говорилось выше. Каковы же должны быть принципы естественного права на самом деле,

не знал никто (например, выдающийся Верховный судья Королевской скамьи сэра Эдвард Коук рассматривал «английское общее право как воплощение человеческого разума, а потому равнозначное естественному праву, ... основанному на здравом смысле» [200, с. 94], но эта доктрина так никогда и не была реализована даже в Англии).

Всё более популярным становится подход, рассматривающий право в качестве научно разработанной с позиций рационализма системы норм, направленных на достижение справедливости в существующих социально-экономических условиях. В этом отношении новое, не связанное со старыми порядками и установками светское право обладало определённым реформаторским, а по сути – революционным потенциалом, который реализовался на практике во Франции и США.

Естественное право породило теорию естественных прав. Благодаря Дж. Локку в европейском сознании постепенно стала укореняться идея, что человек в первобытном естественном состоянии обладал определёнными основными правами и что после возникновения гражданского общества он сохранил эти права в качестве своего нового гражданского статуса. Причём они гарантировались и защищались естественным правом. Например, по условиям общественного договора власть в государстве основывается исключительно на доверии народа по отношению к своим правителям, поэтому нарушение последними основных естественных прав человека уничтожает это доверие и даёт народу право взять власть в свои руки и свергнуть правителей. Будучи представителем самой передовой капиталистической страны, Дж. Локк первым среди европейцев доказал неразрывную связь свободы человеческой личности с частной собственностью.

Подобный взгляд на естественные права очевидно зависел от веры в существование естественного права, поскольку только благодаря ему такие права и могли осуществляться. Тем не менее произошла заметная смена акцентов: «Если в прошлом естественное право рассматривалось в основном как налагающее обязанности и запреты (первым поколебал эту установку не только в государстве, но и в самой католической церкви М. Падуанский. – *А.П.*), то теперь его стали считать источником основных демократических прав, ограничивающих свободу действий правителей, власть которых до сих пор признавалась абсолютной» [200, с. 95].

Как показал ход истории, эти взгляды оказали сильнейшее влияние на американскую революцию и Конституцию США. Вот что пишет С. Хантингтон: «Унаследованные от Англии идеи естественного и общего права, представления об ограниченности власти правителей и о правах англичан, восходящих к английской Великой Хартии вольностей» [222, с. 122] занимают центральное место в англо-протестантской культуре Америки. Ни в каких других христианских обществах «идея естественных прав человека не получила такого обоснования и не была доведена до степени догмата» [68, с. 210].

Лоуренс Харрисон в своём блистательном исследовании *«Евреи, конфуцианцы и протестанты: культурный капитал и конец мультикультурализма»* [101] убедительно доказывает глубинную связь индивидуализма как краеугольного камня апологии естественных прав и ведущих протестантских воззрений. Характерно, что в тексты восьми первых [208, с. 34] конституций отдельных американских штатов (до 1789 г. было одобрено 15 конституций) были включены так называемые «билли о правах», отражавшие доктрину естественных и неотчуждаемых прав. В качестве образца служили конституции штатов Вирджиния, Вермонт, Массачусетс.

На континенте решающим фактором, предопределившим революционное развитие естественного права, были взгляды Ж.-Ж. Руссо, отличные от воззрений Локка. В соответствии с доктриной Руссо [192], естественное право, далёкое от того, чтобы создавать неотъемлемые естественные права для отдельных индивидов, наделяло абсолютной неотчуждаемой властью весь народ, который рассматривался как некое довольно расплывчатое и мистическое единое целое. «Общая воля» не предполагалась

простой совокупностью индивидуальных волеизъявлений граждан, она и была единственной и неограниченной законной властью в государстве. Правитель мог быть лишён власти лишь в том случае, когда переставал удовлетворять общую волю. Руссо со всей очевидностью ставил под сомнение права человека, предполагал полное отчуждение каждым всех своих прав образуемому политическому сообществу.

Именно под влиянием «руссоизма» французская революция покончила с ненавистным «старым режимом» и попыталась поставить на его место естественный закон разума. Но на практике это привело к власти демагогов, представляющих «общую волю», и породило тиранию большинства. Оставшихся в меньшинстве недовольных, в соответствии с достаточно зловещим высказыванием Руссо, необходимо «заставить быть свободными». Поэтому нельзя согласиться с авторами, которые дословно утверждают следующее: «Естественно-правовая концепция, или теория общественного договора...» [208, с. 48]. Ни в коем случае их нельзя рассматривать с позиций взаимной адекватности и тождественности.

В этой доктрине не нашлось места для наделения естественными правами отдельных граждан, чтобы защитить их от власти самого государства. «Государственным благом является справедливость, то есть то, что служит общей пользе», – это уже в XX веке Лоренц отчеканил [223, с. 18]. Узнаваемая формула, не правда ли? Философия Руссо во взаимосвязи с эксцессами Французской революции неминуемо зашаталась бы, но здесь своё слово сказал Гегель (1770–1831). Мистический характер «общей воли» как единого целого, неравнозначного понятию граждан, позволил немецкому мыслителю включить эту доктрину в свою идею высшей ценности государства как единой общности [135, с. 279], более реальной и рациональной, чем составляющие его отдельные индивиды. Метафизические абстракции Руссо и Гегеля служили впоследствии для обоснования экстремистских и тоталитарных учений, появлению режимов, не имеющих ничего общего с теорией естественных прав.

Теория естественного права имеет долгую историю, «она едва ли не была исторически первым системным учением о праве, ... пережила ряд взлётов и падений, её сторонниками были [воистину] великие мыслители» [167, с. 25]. Хотя теория естественного права большинством правоведов воспринимается в аспекте естественных прав человека, тем не менее она имеет более сложное строение, включает в себя и иные направления. Как свидетельствует В.А. Мальцев [224, с. 35], современную теорию естественного права представляет христианское и рационалистическое естественное право, деонтологическая и онтологическая модели естественного права, при этом последняя подразделяется на три направления: представители первого направления выводят естественный закон из космоса, во втором направлении за основу естественного права берётся природа как порядок вещей, в третьем направлении естественное право формируется исходя из природы человека.

В работе В.М. Шафировой предпринимается попытка дать системное изложение проблем теории естественного права в историческом разрезе, и его развитие автор подразделяет на три ступени: *естественное право*, *позитивно-естественное право* и *естественно-позитивное право*. Периодизация выглядит следующим образом [225, с. 107–113].

Естественное право как совокупность природных и неотчуждаемых прав человека возникло на догосударственной стадии развития человеческого общества. Представления о естественных правах и сложившихся на их основе правилах носили интуитивный характер, не имели чёткого закрепления и размежевания с обязанностями, надёжного обеспечения и защиты. Понятно, что в этих условиях какой-либо системы естественных прав быть не могло, поскольку свобода усмотрения и относительно автономное поведение – ценности цивилизационного состояния.

Позитивно-естественное право появилось в условиях государственно-организованного общества. Исторически первым источником, признавшим субъективные права человека в качестве неотъемлемых прав гражданина, были законы Афин и Древнего Рима. Таким образом, в процессе становления и развития позитивного права в форме нормативных актов произошло не отделение естественного права от волеустановленного, как это традиционно считается, а, наоборот, их конфликтное взаимопроникновение и взаимодополнение. Однако позитивный фактор надолго исказил истинный источник права, выдвинув на первый план властное, волевое, принудительное начало законодательства. Исходной основой права представил государство, а не саму личность и её права. Протагор со своим «*Человек – мера всех вещей*» был одиноким скептиком и не понятным современниками.

Период *естественно-позитивного права* берёт начало с первых актов буржуазных государств, утверждавших в качестве основных принципов права свободу, равенство, справедливость, стремление к счастью и неизбежность частной собственности. Однако логика, присущая естественно-позитивному праву, начинает действовать в полной мере лишь на стадии развития гражданского общества. Как пишет В.М. Розин, «проектируя государство, работающее на общество и человека, [...] новые европейцы породили внушительную силу – народ и человека, действующих исходя из *естественных природных законов* и к тому же действующих *в своём праве*» [85, с. 224]. В настоящее время стандарты естественного права, как известно, получили международное признание и являются составной частью правовых систем многих современных государств, включая Беларусь.

Главным в рассуждениях В.М. Шафировой видится вывод о том, что право в своём развитии сделало полный круг. Начав с утверждения прирождённых естественных прав, оно вновь возвращается к началу, но уже на более высокой стадии своего развития, когда естественное право становится ценностным фундаментом позитивного права. Изучая исторические закономерности, Л.Н. Гумилёв свои обобщения изложил в книге, которая так и называется: «*Конец и вновь начало*» [106]. Методология, избранная В.М. Шафировой, очень близка гумилёвской.

В мировой истории так было всегда. О.В. Мартышин пишет: «Ценности то гармонично сочетались, то конфликтовали, то периодически сменяли друг друга. Лишь немногие из этих ценностей признавались постоянно» [132, с. 2]. К их числу как раз и относятся и те, которые признаёт, провозглашает и отстаивает естественное право: разумный порядок; справедливость; добродетель; безопасность; соблюдение закона; равенство; свободу; общее благо; интерес личности; демократию; прогресс. Но сделаем необходимую поправку – историю естественного права в европейских странах «нельзя считать всеобщим фактором развития права во всём мире» [209, с. 5]. Все принципы свободы и справедливости, связанные с ним, как и сами доктрины естественного права, весьма условны и изменчивы.

Самым слабым звеном теории является тезис о том, что справедливость позитивного права не может быть установлена из него самого, а определяется некими внешними обстоятельствами – этим самым естественным правом, которое возникает и существует объективно и независимо от политико-правовой деятельности государства. В рамках данной теории не удалось сформулировать чётких критериев отличия позитивного права от естественного. И.Т. Беспалый и В.В. Полянский отмечают в этой связи: «Отрицание правового характера справедливости приводит к тому, что в принцип справедливости начинают возводить какое-нибудь неправовое начало, то есть требования привилегий или уравниловки, те или иные моральные, религиозные, мировоззренческие, эстетические, политические, национальные, социальные и тому подобные представления, требования. Тем самым правовое, то есть всеобщее и равное для всех значение справедливости подменяется некими особенными и частными интересами, произ-

вольным содержанием, партикулярными притязаниями» (перевод наш. – *А.П.*) [277, с. 116]. Сформулировать в сфере политического и юридического знания общий (философский) масштаб справедливости – задача действительно из непосильных.

Каждый мыслитель представлял себе систему естественных прав исходя из собственного понимания данного вопроса. Так, Г. Гроций – неоспоримый адепт естественно-правовой теории, но он признавал естественным рабство. Говоря о форме государственного устройства, наилучшим образом соответствующей принципам естественного права, Т. Гоббс признавал абсолютную монархию, тогда как Дж. Локк – её конституционный вариант. Много ли общего между Вольтером и Руссо, творившими в одной эпохе? Иронизирует современный автор В.М. Сырых: «Людам, жившим в условиях родового строя, не известны, да и не нужны, большинство естественных прав, выведенных буржуазными идеологами. К примеру, им неведомо право частной собственности, право на личную свободу» [167, с. 39].

Русский правовед Н.М. Коркунов отметил, что «извечные начала естественного права по существу были не чем иным, как новыми свободами начала XVIII века, противопоставленными изжившему себя средневековому праву» [228, с. 119]. Скептицизм Н.М. Коркунова разделял его современник Н.Н. Алексеев: «Соблазнительность таких рассуждений настолько велика, что ей поддавались не только донаучное мышление, но и научно-дисциплинированные умы...» [216, с. 30]. Созвучно этому и мнение Л.И. Петражицкого: «...авторы соответствующих положений исходят из наивно-проекционной точки зрения и находятся под влиянием соответствующего заблуждения относительно сферы существования и природы того, с чем они имеют дело, принимают за реальное не подлежащие психические процессы...» [229, с. 408]. И вовсе категоричен П.И. Сорокин: «Эта теория ошибочна. Прежде всего неверно, что есть какое-то вечное естественное право, неизменяемое, имеющееся у всех народов, – во все времена на свете всё меняется. Изменчиво и право. Оно различно у дикаря и у культурного человека. [...] “Естественное право” – утопия, оно не существовало и не существует» [230, с. 682]. Большинство дореволюционных юристов придерживалось таких взглядов.

Это соответствовало духу времени, поскольку «на место философии Нового времени в XIX в. приходит несколько другая [...] науковедческая программа – позитивистская» [231, с. 64], представители которой решили отбросить всякие абстрактные рассуждения, которые не могут быть сведены к опытным данным. Они акцентировали внимание либо на внешних признаках права (Г.Ф. Шершеневич [232]), либо на тексте права (Е.В. Васильковский [233]), либо на правовом поведении (позитивистскую социологию права активно разрабатывал Л.И. Петражицкий [229]). Были и иные ответвления.

Но общая тенденция была очевидна: «В XIX – первой половине XX в. естественно-правовую доктрину и теорию общественного договора (чрезвычайно популярные правовые теории среди просветителей XVII–XVIII вв.) постигла та же участь, что и метафизику. Они были обвинены в отвлечённости и субъективизме их правовых положений и отрыве от практики» [221, с. 217]. Непрояснённости источника естественных прав, ссылку на «природу и данные от рождения права» посчитали затемняющими суть дела, биологической жизни посчитали невозможным приписывать свойства сознательной (социальной) жизни. Без ответа на эти и многие другие вопросы естественно-правовая теория оказалась в подвешенном состоянии. В памяти Европы ещё свежи были воспоминания об эксцессах Французской революции, вдохновлённой идейными естественно-правовыми установками.

Не будет преувеличением сказать, что теория естественного права носит антиисторический характер. Критически оценивая её постулаты, К. Цвайгерт и Х. Кетц резюмируют, что «доктрина естественного права имела чисто спекулятивный характер и была ими (Вольфом и Неттельбладтом. – *А.П.*) выдвинута без привлечения каких-либо

юридических материалов...» [234, с. 79]. Трудно согласиться с тем, что она содержит перечень таких прав, которые якобы изначально были присущи человечеству, неизменно сопровождают его всё время, и ничто не может их отменить или изменить. История человечества доказывает обратное – постоянную изменчивость как условий существования человека, так и необходимой для его существования системы правил поведения.

Поэтому прав современный автор Ю.В. Тихонравов, когда пишет о том, что «главная проблема естественного права состоит в том, возможна ли принципиально такая система действительно общечеловеческих ценностей. [...] Философия, предметом которой является естественное право, должна отвечать на следующие вопросы: Как вообще возможно право? Кто может устанавливать права, а кто нет? Каковы границы права – где право начинается и где кончается?» [235, с. 399]. На эти вопросы однозначных ответов быть не может. Ироничное высказывание И. Канта о том, что «юристы и до сих пор ищут дефиницию для своего понятия права» [236, с. 252], актуально и ныне. Однако главным нам представляется не это.

Парадоксально, но вполне логично, что в настоящее время оказались сведены воедино достоинства теории естественного права с лучшими достижениями юридического позитивизма – традиционно антагонистических подходов на протяжении многих столетий. Всем очевидно, что вопрос о системе норм естественного права в настоящее время фактически сводится к перечислению прав и свобод, закреплённых Всеобщей Декларацией 1948 года. Современные представления о совокупности естественных прав основываются на международно-правовых актах, закрепляющих права человека и личности: «...в течение веков выкристаллизовалось их твёрдое содержание, и с общего согласия они были закреплены в так называемых декларациях основных и гражданских прав человека. [...] большинство из них сомнения уже не вызывает» [210, с. 226].

Наконец, в большинстве конституций мира в соответствующих начальных разделах мы без труда обнаруживаем практически тот же каталог естественных, но формально уже позитивных прав и свобод. «Согласование естественно-правового и позитивистского типов правопонимания в большинстве стран обеспечивается системой конституционного правосудия» [125, с. 179], призванной решать извечную проблему поиска баланса между властью и свободой.

Однако, почему та или иная позитивная норма права закрепляет именно неотъемлемые права человека, где здесь чёткие критерии и основания – вопрос не получает научно аргументированного ответа. А каким образом можно объяснить всё многообразие правовых систем при наличии сравнительно небольшой и достаточно расплывчатой совокупности естественных прав человека? Будучи несомненно прогрессивной и гуманистически ориентированной, теория естественного права в силу своих мировоззренческих (преимущественно – умозрительно-философских) и методологических посылок всё же не способна дать научно обоснованную картину правовой действительности. У неё – другое предназначение.

Вопрос о достоверности здесь не является главным, полагает К.В. Арановский. С его точки зрения, восприятие «неотчуждаемых прав» лежит в мифологической плоскости, поскольку ввиду отсутствия наукообразной сути остаётся лишь вера как основа мировоззрения. Вот что пишет автор: «Значение мифа заметнее, когда аксиоматические правовые построения и принципы становятся предметом критического разбора. Так, конституционные правовые положения о статусе личности принимают за аксиому юридическое равенство, а права человека находят естественными и неотъемлемыми. Если же обратиться к истокам, можно видеть, что они выведены либо из религии, либо из доктрин, научный элемент которых плохо скрывает необсуждаемую веру в то, что люди созданы свободными и равными и наделены естественными и неотъемлемыми правами» [68, с. 38].

Это действительно так, достаточно вспомнить Декларацию независимости США 1776 г., подготовленную Томасом Джефферсоном. Он не доказывал постулаты, положенные в основу американской государственности, а просто счёл достаточным исходить «из той самоочевидной истины, что все люди созданы равными и наделены их творцом определёнными неотчуждаемыми правами...» [198, с. 25]. В воззрениях отцов американской Конституции не было научных объяснений, в их основании лежала непоколебимая вера в достоинство человека и христианские религиозные соображения. Воображаемый идеальный миропорядок был уложен в линии мифа, догмата, веры. Этот миф (называемый иначе «американской мечтой») есть ни что иное, как набор убеждений, чувств, принципов, поведенческих навыков, которые из него родились и продолжают его.

Важным показателем современных реалий нам видится неоспоримый факт того, что преодолён основной недостаток теории естественного права – представление о дуализме права, характеризующегося одновременным действием системы «правильного» (идеального, должного, естественного) права и системы позитивного права, которая зачастую противопоставлялась первой. «Естественное право часто использовали то как инструмент усиления позиций позитивного права, то, наоборот, против него», – говорит Г. Радбрух [210, с. 26]. В конце концов, «естественное право» настолько же искусственно и субъективно, насколько искусственно и субъективно позитивное право. Как для последнего, так и для первого требуется сознательный волевой акт человека – стремление к правовому состоянию. А это – искусство высшего порядка, где два типа права тесно взаимосвязаны и представляют единую логическую конструкцию. Трехдневный комплекс прав – свобода совести, право на жизнь и собственность – представляет ту область прав человека, с которой начинается любая конституция. Сейчас проблема действия права разворачивается в ином ракурсе.

Основные ценности гуманистического «естественного права» нашли воплощение в позитивном законодательстве (особенно после Второй мировой войны), а оно, в свою очередь, взяв за основу теорию естественных прав, возвышается на юридическом абсолюте – конституции. Поэтому актуальным является не вопрос о том, упустили ли в основном законе какую-то ценность из арсенала естественно-правовых воззрений его учредители, а проблема того, насколько эти позитивные установки воплощаются на практике и даёт ли их действие положительный эффект. В этом – суть понимания современного конституционализма, выросшего из естественно-правовой колыбели.

3.4 Система естественных прав в контексте Конституции Республики Беларусь и практики её реализации

На примере белорусской Конституции рассматривается система ценностей естественного права, составляющих основу республиканского строя. Анализируется вопрос о неуниверсальном характере концепции прав человека. Соблюдение прав и свобод личности изучается в рамках теории правового государства. Дается авторское прочтение известного дискурса о «верховенстве права» и «верховенстве закона» в свете формируемого позитивистского нормотворчества нашего государства. Показано, в силу каких причин ограничение власти в Республике Беларусь естественно-правовыми ценностями носит фиктивный характер. Делается вывод о том, что в Беларуси так и не создана либо неэффективно действует система юридических и организационных гарантий обеспечения прав и свобод граждан, вследствие чего естественно-правовая ценность Конституции и политическая практика её реализации всё более дистанцируются друг от друга.

Проиллюстрируем сказанное на примере белорусской Конституции, где принцип связанности законодателя правами человека закреплён в ч. 1 ст. 2: «Человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства» [243]. Такой принцип действует в ряде других стран (Австрия, Германия, Италия, Россия, Франция). Естественно-правовые ценности – свобода, равенство, справедливость – утвердились в качестве основного принципа Конституции, важнейшего определяющего элемента позитивного права. И хотя в Основном Законе Беларуси нет нормативных формулировок о естественном характере прав индивида, такое качество за правами человека признаётся, о чём, например, пишет Г.А. Василевич [238, с. 103].

Юридическое прочтение ситуации не оставляет места двусмысленностям: согласно Всеобщей Декларации и международно-правовым актам, система естественных прав человека и гражданина состоит из личных, политических, экономических, социальных, культурных прав и свобод, нашедших полное и детальное отражение в Разделе II «Личность, общество, государство» Конституции Республики Беларусь. По выражению М.В. Баглая, это – «суперпринцип всего конституционного строя, [...] все последующие главы Конституции [...] подчинены этому суперпринципу» [239, с. 100].

В белорусской юридической науке эта точка зрения разделяется не всеми. По мнению С.А. Калинина, «многие, ранее казавшиеся устойчивыми и универсальными, социальные концепции, сформировавшиеся в Западной цивилизации и зачастую насильственно навязанные иным государствам (либерализм, права человека и т.д.), в силу выхода на глобальный уровень начинают утрачивать собственную адекватность в прогнозе развития государства и права, отражая интересы небольшой группы ведущих государств» (курсив наш. – А.П.) [240, с. 129]. Но по классической модели, представленной с гуманистических позиций, соблюдение прав и свобод личности – ключевая черта правового государства, поэтому рассматриваемая статья *имеет непосредственное отношение и к правовой характеристике государства – принципу верховенства права*. Этот тезис И.И. Пляхимовича [241, с. 66] предполагает внимательное прочтение ст. 7 Конституции Беларуси.

Изначально в Конституции Беларуси 1994 г. в ст. 7 было записано: «Государство, все его органы и должностные лица связаны правом, действуют в пределах Конституции и принятых в соответствии с ней законов» [349]. После политической и конституционной реформы 1996 г. ст. 7 звучит иначе: «В Республике Беларусь устанавливается принцип верховенства права. Государство, все его органы и должностные лица действуют в пределах Конституции и принятых в соответствии с ней актов законодательства» [243]. По мнению С.А. Калинина, «во время конституционной реформы данный принцип [верховенства закона] был заменён принципом верховенства права, то есть основной принцип позитивизма о примате формы права заменили принципом примата содержания, определяемого народом как источником власти в Республике Беларусь» [242, с. 60]. Наша позиция выглядит иначе.

Дело не в том, что «примат формы права» вовсе не является основным принципом позитивизма (согласно основоположнику юридического позитивизма Дж. Остину [244] право характеризуется как «агрегат правил, установленных политическим руководителем или сувереном», оно «есть команда, приказ»). Несогласие вызывает предположение о том, что содержание права «определяется народом как источником власти». Принцип народовластия не состоит в прямых причинно-следственных связях (лишь отчасти – в функциональных) с принципом верховенства права.

В нацистской Германии легальная власть фюрера, подпитываемая всенародными референдумами, породила античеловеческие законы, не имеющие к праву никакого отношения. Как пишет Е.Г. Лукьянова, «волюнтаристская трактовка закона лишает его разумной определённости и устойчивости, уникальности. Понятием закона могут охва-

тываться по существу совершенно разные, и даже противоположные явления от *Nabeas Corpus Act* до Нюрнбергских расовых законов» [202, с. 225]. Примером могут быть законы, принятые по инициативе А. Гитлера: «*Закон о гражданстве Рейха*» и «*Закон об охране германской крови и германской чести*». Здесь «утрачены всякие критерии, позволяющие отличать правовые нормы от голого произвола государства» [245, с. 569], пусть и выступающего от имени народа.

Более того, официальная трактовка права в ст. 1 Закона Республики Беларусь «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» не имеет никакого отношения к принципу верховенства права. Дефиниция: «Право – это система общеобязательных правил поведения, устанавливаемых (санкционируемых) и обеспечиваемых государством в целях регулирования общественных отношений» [357] – позитивизм в чистом виде. Но что в таком случае является содержательным наполнением права, его сущностной основой?

Ответ может быть только один – это нормы о естественных (обусловленных природой индивида) неотчуждаемых правах человека на жизнь, личную неприкосновенность, свободу, собственность, семью, свободу совести. Все они закреплены в Разделах I и II Конституции Беларуси, т.е. естественное право признаётся и защищается государством. Соответственно, любые законодательные акты не могут покушаться на эти базовые ценности, в противном случае они должны считаться неправовыми и не могут порождать юридических обязанностей для граждан. Отсюда и проистекает право народа на восстание, как то предусмотрено конституционным законодательством США, Франции, Германии, о чём в своё время убедительно писал Дж. Локк [187].

Таким образом, «источник права, то есть формирующая его сила, заключён в человеке. Источником же власти выступает народ, делегирующий свою власть государству. Правовым является государство, властные акты (законы) которого согласованы с естественным правом и создают гарантии его соблюдения. Соответственно, право и власть отделены друг от друга; власть необходима для того, чтобы защитить естественные права людей в условиях их совместной жизнедеятельности в государстве» [241, с. 161].

Если же трактовать правовое государство через позитивистскую формулу, предложенную белорусским законодателем, то принцип ст. 1 Конституции утрачивает всякий смысл. Более того, не наполнив смыслом ст. 7 Конституции о «верховенстве права», реформаторы 1996 г. опрометчиво и вопреки европейской традиции отвергли работающую и единственно возможную конструкцию «верховенства закона», что привело к двум серьёзным последствиям. *Во-первых*, упала роль Парламента – высшего органа народного представительства; *во-вторых*, в системе законодательства не обнаруживается столь необходимой для неё иерархии и соподчинённости нормативных правовых актов. Однако вернёмся к интересующей нас теме.

Итак, в Основном Законе Беларуси закреплены все необходимые элементы естественно-правовой теории, хотя трактовка самого права имеет сугубо позитивистское значение (вряд ли имело смысл формулировать его через законодательную дефиницию). Тем не менее это подразумевает текущее нормативное регулирование только сквозь призму ценностей естественного права, недопустимость произвола, неограниченного усмотрения либо каких бы то ни было соображений целесообразности для решения государственных задач любыми субъектами нормотворчества.

Однако практика белорусского правотворчества говорит об обратном – оно с момента обретения Президентом фактически неограниченных полномочий развивается исключительно в позитивном, а не естественно-правовом ключе. Примат доминирования политической воли харизматического Главы государства над всеми элементами правовой системы очевиден, примеров можно привести великое множество. Нередко издаваемые декреты и указы входят в противоречие с положениями Конституции.

С каждым годом текущее нормотворчество всё дальше отстоит от Основного Закона, эпицентр юридической активности – Президент, но не Конституция. Это важный момент для анализа специфики построения правового государства в белорусских условиях. Возможность произвольно устанавливать и применять юридические нормы – приоритет силы, а не права.

Неотчуждаемые права и свободы должны ограничивать власть, быть первичными по отношению к ней, что возможно лишь при неуклонной реализации принципа разделения властей, также разработанного представителями естественно-правовой теории – Дж. Локком [187] и Ш.Л. Монтескье [18]. Но в условиях «суперпрезидентской» республики это невозможно, персонифицировано-патерналистский тип политического режима не имеет ничего общего с «общественным консенсусом» и «гражданской свободой». Статья 6 Конституции Беларуси о разделении властей на основе «сдержек и противовесов» носит номинально-декларативный характер, поскольку не получает практического воплощения.

Последнее из существенных замечаний касается юридических гарантий обеспечения прав и свобод белорусских граждан, т.к. их охрана и защита подразумевает оснащение «системой процедур, механизмов, институтов, гарантирующих субъективные права на основе объективного, основанного на праве порядка государственной деятельности» [202, с. 74]. Без них не может функционировать правовое государство. Институт конституционной жалобы; омбудсмен; местное самоуправление; суд присяжных; административные суды; эффективная конституционная юстиция; возможность обращения в Европейский Суд по правам человека; соблюдение особой процедуры, связанной с изменением или ограничением прав граждан, которая носит сложный, специально оговорённый в конституции порядок – всё это в Беларуси не предусмотрено или не работает.

Естественно-правовая концепция Основного Закона прочитывается со всей очевидностью, её никто формально не отвергал, но в качестве государственных и общественных ориентиров развития устанавливаются и последовательно реализуются иные ценности. Так быть не должно. Как подчёркивает А.С. Автономов, «эпоха прав и свобод человека в современном их понимании начинается примерно в то же время, что и эпоха конституций, т.е. в конце XVIII в., поэтому судьбы конституций и правового обеспечения статуса человека оказались тесно связаны» [246, с. 11]. Девальвирование прав и свобод неизбежно влечёт за собой крах всей системы конституционных ценностей, и это – социальная закономерность, действующая объективно и не знающая исключений.

Действительно, естественно-правовая доктрина и теория общественного договора не имеют никакого отношения к истине фактов, их научность в принципе недоказуема. Эти концепции, как честно сформулировал И.И. Царьков [221, с. 228], говорят о нормативной истине посредством конструирования определённого рода «иллюзий», но таких, без которых невозможно помыслить конституционный правопорядок.

ГЛАВА 4

ОПЫТ ПЕРВЫХ КОНСТИТУЦИЙ: ЧТО ТОМУ ПРЕДШЕСТВОВАЛО И ЧТО ЗАТЕМ ПОСЛЕДОВАЛО

4.1 Период буржуазных революций и формирование концепции основного закона

Рассматриваются причины, факторы и предпосылки буржуазных революций XVIII века. Особое внимание уделяется анализу предреволюционной ситуации: политической, экономической, культурной, религиозной, международной. Во французских событиях процесс глубинных преобразований рассматривается параллельно проводимым конституционным реформам. Делается попытка понять механизм якобинского террора, перерождения конституционных идеалов и наступления диктатуры. Объясняется, почему историческая ситуация на североамериканском континенте кардинально отличалась от французской. Показано, каким образом английская политическая традиция повлияла на развитие событий в США и Франции. Выявляются совершенно разные основания американского и французского конституционализма. Особый акцент делается на личностном факторе, характеризующем заглавные фигуры изучаемой эпохи.

Грандиозные события во Франции 1789–1799 годов привели к обрушению абсолютной монархии и установлению Республики вследствие непреодолимого конфликта между усложнившимся внутренним миром людей и отсталыми, традиционнопатриархальными связями между ними. Введение гражданства означало закрепление принципа формального правового равенства, отмену сословных и покровительствующих законов. Естественным правам человека придаётся абсолютное значение. Народ Франции преобразуется в единую политическую нацию. Всё это так.

Мы не идеализируем Французскую революцию и не преувеличиваем значение принятой Конституции. Оказалось, казнить аристократов и клерикалов во имя конституционных идей – вовсе недостаточно для торжества нового строя. Начался революционный террор, в результате которого бóльшая часть феодально-церковной знати была истреблена, а остальные оказались в изгнании. Как это чаще всего происходило, начав с требования свобод и прав, революция быстро скатилась к диктатуре с попранием ранее провозглашённых идеалов. Причин этому множество, и углубляться в них не входит в наш замысел. Фрагментарно отметим наиболее важное. Но прежде – о самой предреволюционной ситуации.

Достаточно кратко и убедительно канун революции описан у З.М. Черниловского [141, с. 282–283], что позволяет понять причины системного кризиса, предрешённость мятежно-революционных настроений, решимость угнетённых сословий пойти на самые радикальные преобразования, обусловленность буржуазного характера революции. Для всех очевидно было лишь одно: страна стремительно шла навстречу неведомым ранее потрясениям. Добром такое никогда не заканчивается.

Как это часто бывает в истории, социальным проблемам сопутствуют и природные катаклизмы: «Два неурожайных года подряд – 1787 и 1788, беспримерно суровая зима 1788/89 года, когда замёрзла Сена и другие реки на севере Франции, катастрофически ухудшили положение крестьянства, бедноты и мелкого люда в городах. Народ не мог и не хотел мириться с лишениями и страданиями» [191, с. 398]. В августе 1788 г. просочилась информация о государственном дефиците Франции на 140 миллионов

ливров [191, с. 408] – всё это привело к тому, что монархии ничего не оставалось, как объявить о созыве Генеральных штатов на май 1789 года. Король надеялся, что этот манёвр даст ему возможность отсрочить нарастание революционного кризиса, однако он не понимал всей масштабности проблемы.

На 26 млн французов к началу революции приходилось (помимо королевской династии) 270 тыс. привилегированных – 140 тыс. дворян и 130 тыс. священников (вместе с монахами). Им принадлежало $\frac{3}{5}$ французской земли – в три раза больше, чем 23-м млн крестьян, её возделывавшим. Ни духовенство, ни дворянство не платило налогов, а если и платили, то ничтожную сумму. Например, в Шампани из полутора миллиона ливров подушной подати дворяне вносили 14 тыс. Основная масса налогов и сборов – а их насчитывали до 7 тыс. (!) – падала на крестьян. Из 10 французов 9 голодали или были на грани голода. Вот почему, когда грянула революция, крестьянство приняло ее как избавительницу, помещичья собственность насильственным путём стала переходить в их руки. Крестьяне сжигали дворянские замки, врывались в податные учреждения, уничтожали налоговые документы. Против восставших была брошена армия, вначале королевская, затем – якобинская. Пленных вешали без суда, но успокоения не было.

Поэтому в сложившейся ситуации Учредительное собрание занялось «отменой феодализма», и в ночь на 5 августа 1789 года все те повинности крестьян, которые носили название «личных», были отменены навсегда (пешая и конная барщина, пошлина с убоя скота, дорожные пошлины, сбор с ярмарок и т.д.), однако дворянство сохранило главное – землю и поземельные подати. Был, правда, предусмотрен выкуп земли крестьянами, но на условиях единовременной уплаты 30-кратного ежегодного взноса. Эти условия были доступны такому малому числу деревенских богачей, что никакого серьёзного перераспределения земельной собственности создать не могли. Не следует забывать, что как раз-таки буржуазная часть Собрания охотно голосовала за кровавые меры подавления крестьянских выступлений против «порядка». Была введена круговая порука при уплате платежей помещикам.

Не лучшим было положение рабочих. Проводя по 14–15 часов у станков на мануфактурах, они едва зарабатывали по 25–30 су в день. На эти деньги можно было купить 10 фунтов хлеба, считая по 3 су за фунт. Когда цена на хлеб подскакивала до 5 су, наступал настоящий голод. Рабочие ничего не получили от революции. Более того, падение заказов на предметы роскоши повлекло за собой кризис парижской промышленности и новые толпы безработных. Для них были открыты так называемые Национальные мастерские, где за тяжёлые земельные работы платили по 20 су в день. Для сравнения укажем, что килограмм хлеба стоил в то время 13 су, а фунт (400 г) говядины – от 7 до 16 су.

По имеющимся данным [60, с. 72, 77], Франция этого периода была единственной страной в Европе, где среди «простонародья» калорийный баланс оказывался менее 2000 калорий, а потребление мяса не превышало 20 кг в год (для сравнения, в Германии этот показатель превышал 100 кг в год). Зашкаливала детская смертность: из каждой 1000 рождённых до года доживало в среднем 273 ребёнка. Всё это – катастрофические для страны демографические показатели.

Неудивительно, что рабочие стали открыто выражать своё недовольство. Учредительное собрание пригрозило им наказанием: кто будет собираться на «скопища» для обсуждения постановлений о зарплате, будет отдан под суд. Полиция имела приказ следить за рабочими: «Подлежат регистрации их жилища, имена и приметы». Буржуазная печать начала систематическую травлю рабочих. «Это поистине дикая орда, – писала газета “Французский патриот”, – перед воротами цивилизованного города». Впервые заявил о себе Робеспьер, бывший на тот момент (август 1789 г.) депутатом Собрания: «Париж требует хлеба, но хлеба нет. Поэтому надо учинить кровавую расправу». А слова у него не расходились с делом.

В июле 1791 года Национальные мастерские были разогнаны, а против рабочих выступила Национальная гвардия. Специальное постановление гласило: всякий раз, когда собирается более 15 рабочих, их надлежит разогнать вооружённой рукой. Зачинщики наказываются смертью или тюремным заключением. Солдаты, если они «замешаются в толпу», подлежат расстрелу. Но и те, кому удалось сохранить заработок, получали не более 30 су в день. Первыми поднялись подмастерья-портные, они начали одну из первых забастовок в истории буржуазной Франции. Требования их были умеренными – 40 су в день. Следом потребовали повышения зарплаты остальные, а для обсуждения своих планов рабочие стали собираться на тайные собрания, где и был создан первый профсоюз – «Братский союз рабочих плотничьего ремесла». Обеспокоенные всем этим мастера обратились в коммунальный совет Парижа, а тот в свою очередь – в Учредительное собрание.

Тогда-то и появился на свет печально знаменитый закон Ле-Шапелье (1791 г.). Он воспрещал все формы организации рабочих, в том числе профсоюзы. Тюремное заключение грозило всякому участнику забастовки, а особенно – их организаторам. В то же время закон брал под особую защиту штрейкбрехеров (нем. *streik* – забастовка + *brechen* – ломать [3, с. 739]). Были закрыты все кассы взаимопомощи при полном отсутствии социального страхования. Впоследствии якобинцы не отменили закона Ле-Шапелье. Они даже установили не минимум, а максимум зарплаты для рабочего. Будем помнить и о том, что вплоть до середины XIX века рабочие не выступали как самостоятельная политическая сила, а в рассматриваемый период они ещё не выделялись среди остальной массы городского бедного люда – плебса.

Так кто же выиграл от падения монархии и установления нового режима? Ответ однозначен – буржуазия как зарождающаяся мощная социально-политическая группа. Следует, однако, учитывать психологию французского общества. Оно достаточно враждебно и презрительно относилось к буржуа. Безусловное предпочтение отдавалось обеспеченному и уважаемому положению чиновника. Как пишет В. Зомбарт [62, с. 166], кто только мог, удалялся от деловой жизни и употреблял все свои связи и имущество, чтобы купить себе должность. Иными словами, так называемый «предпринимательский дух» имел невысокую социальную ценность. Перед буржуа стояла вполне определённая задача – сделать профессию коммерсанта, финансиста, биржевика не только выгодной, но и уважаемо-престижной! Мотивация была запредельной, поэтому объяснимо, что руководство революцией оказалось в её руках – своим выдвижением она обязана богатству, образованию, организации. И не только.

Влияние её на установившийся порядок вещей становится настолько очевидным, что в поисках положенных дворянам налоговых и прочих привилегий разбогатевшие мещане всё чаще сочетались мезальянсным браком с дочерьми обнищавших дворян. «В ту пору деньги уже проложили путь в замкнутый мир привилегированных сословий незнатным выходцам из рядов третьего сословия» [191, с. 75]. Некоторые из «мещан во дворянстве», открывшие с помощью толстого кошелька доступ в благородные сословия, спешили усвоить манеры, повадки, стиль, одежду и речь аристократической знати, но большинству становится тесно, психологически дискомфортно и невыгодно материально при архаичных социальных институтах. Их роль в развитии общества давно переросла их ничтожные юридические права.

Но главным представляется следующее. Интересы, которые буржуазия преследовала в революции, затрагивали и другие угнетённые сословия. Например, расширение внутреннего рынка упиралось в натуральное крестьянское хозяйство: надо было ликвидировать феодальные отношения в стране. А в этом были заинтересованы как крестьяне, так и буржуазия. Легко понять, отчего крестьянские сыновья с такой готовностью вливались в ряды революционной армии: им было что защищать! Но когда при яко-

бинцах в деревню были посланы продовольственные отряды для изъятия «излишков», крестьянская Франция запылала вооружённым сопротивлением.

Совершенствование производства, свобода предпринимательской деятельности и торговли тормозились мелочной регламентацией, унаследованной от средних веков, цехами и гильдиями, за которые держалась свора чиновников, наживавшаяся на взятках, том единственном средстве, с помощью которого стало возможным обходить нелепые, искусственно придуманные стеснения. В ликвидации закостенелого цехового строя буржуазия видела свою важнейшую цель. Но в этом были заинтересованы и рабочие!

Становясь всё более влиятельной силой во французском обществе, буржуазия нуждалась в отмене внутренних таможенных сборов, увеличивавших продажную цену товара, в едином и свободном рынке, единой системе мер, весов, банковского кредита, что предполагает *единую правовую систему*. К тому же буржуазия добивалась контроля за расходованием налогов, участия в законотворчестве. Она требовала гласного суда взамен произвола, местного самоуправления взамен экзекуций. Но в осуществлении этих мер были заинтересованы все угнетённые сословия! Своим политическим требованиям буржуазия сумела придать общенациональное значение. Просвещённые, активные, опирающиеся на наказы своих избирателей, депутаты из третьего сословия (туда переметнулись даже некоторые дворяне и священники, например, Мирабо и Сийес) смогли захватить руководство революцией и добиться желаемых результатов. Именно поэтому Французскую революцию и называют буржуазной.

Во многом благодаря знаменитой брошюре Эммануэля-Жозефа Сийеса «*Что такое третье сословие?*» [247], появившейся в январе 1789 года и произведшей колоссальное впечатление на страну. В ней сжато и ясно было сформулировано то, что было, так сказать, разлито во всей Франции и составляло характерную черту предреволюционной эпохи: желание «третьего сословия» выйти из того унижительного положения, в котором находилось оно при старом режиме, и осознание этим сословием – буржуазией – своего значения в государственной и общественной жизни Франции. «В самом деле, – писал В. Богучарский, – разве первые два сословия – духовенство и дворянство – не были в конце XVIII века абсолютными паразитами на народном организме. Разве могло быть сомнение в глазах буржуазии, что именно она является, так сказать, творцом жизни, что в процессе производства материальных и духовных благ ей принадлежит всё и вся, что без её капитала, знаний, талантов, энергии Франция никогда не могла бы играть той роли, которую так бесцеремонно приписывали мудрости своего управления её короли, своим заслугам перед Богом – духовенство и уж совершенно непонятно перед кем – дворянство» [247].

Едва, однако, осуществилось в полной мере стремление буржуазии стать на место первых двух сословий, едва исчезли сословные перегородки, заменившись юридическим равенством всех граждан, как пали иллюзии благостности для всех знаменитой формулы «*laissez faire*», обнаружили новые перегородки, но уже не вертикальные, а горизонтальные, вскрылась явственно классовая структура нового общества, новые социальные группы (рабочие, городская интеллигенция, зажиточные крестьяне) стали предъявлять буржуазии к уплате те самые исторические векселя, которые она предъявила в своё время сословиям «благородным». Как известно из истории, во время революции буржуа проявили себя отвратительным образом.

Весь смысл реальных событий (Декларация прав человека и гражданина – замечательный документ, только кто ж её соблюдал), оказывается, состоял в перераспределении капиталов от дворян и духовенства к новой «элите», всевозможным оборотистым дельцам. Коррупция среди депутатов Учредительного собрания достигла невиданного размаха. Вот что пишет Ла Платьер, занимавший в 1791 году кресло министра внутренних дел: «Париж – это всего лишь продавцы денег или те, кто деньгами ворочает, –

банкиры, спекулирующие на ценных бумагах, на государственных займах, на общественном несчастье» [61, с. 276]. Жирондисты, партия оголтелых буржуа, исповедовали вариацию английского либерализма, разработанную в ведомстве Дж. Бенстама специально для Франции. Даже казнь лидеров жиронды ничего не решила, пути финансовых воротил и находящихся у власти якобинцев разошлись окончательно.

По одной из версий, роковой для неподкупного Максимилиана стала затея с национализацией французской Ост-Индской компании, около четверти акций которой принадлежали британским пайщикам. Чаша терпения в Лондоне переполнилась, стараниями британской разведки лидера якобинцев арестовали на заседании Конвента. Не помог и Культ Верховного Существа – очищенный от многовековых наслоений лжи, цивилизованный и одновременно суровый вариант Христианства с самим Робеспьером в качестве верховного жреца, проводника идей «Гражданственности и республиканской морали». Термидор, Директория, Бонапарт – бедствия Франции только начинались. Никто уже не вспоминал, ради чего всё затевалось в 1789 году, воистину – «благими намерениями вымощена дорога в ад».

Остаётся напомнить, что утверждение новых принципов и форм организации политической власти для французской буржуазии происходило в период, когда это уже имело место на Американском континенте. Разница, безусловно, присутствует. История колоний начиналась при наличии сложившихся в XVII веке элементов капиталистического порядка, феодализма как такового они не знали. Авторитет отцов-основателей для французов был непререкаем. Решительность произведённого государственного переворота вдохновляла реформаторов во Франции. Как пишет В.И. Лафитский, «в этом заключалась особая историческая роль американской революции, прозвучавшей, по словам К. Маркса, “набатным колоколом” для европейской буржуазии» [20, с. 7]. Но события стали развиваться совершенно по иному сценарию.

И Революция, и Конституция была призвана кардинально изменить все важнейшие сферы жизни общества. Произошёл полный разрыв со старым порядком, широкие массы населения впервые были вовлечены в вооружённые столкновения с легитимной властью, проекты преобразований носили чрезвычайно абстрактный характер (один только политический девиз Революции «Свобода, Равенство, Братство», противоречивый по своей сути, чего стоит). Бесконтрольный доступ к ресурсам моментально разложил новую элиту, городские революционеры развязали настоящую войну в сельских регионах страны. Особое внимание обратим на тот факт, что во Франции XVIII века ещё не созрела экономическая основа для столь масштабных преобразований (лишь после июльской революции 1830 года буржуазия навсегда берёт власть в свои руки), поскольку развитие капитализма является обязательным условием для реальных конституционных преобразований.

Большинство исследователей тех событий склоняются во мнении, что Французская революция с её конституционными идеалами была обречена на поражение. Так писал О. Шпенглер о «спроектированных, а не произросших органичным образом конституциях» [96, с. 439], противопоставляя тем самым французский и английский пути развития. Современный автор И.И. Царьков убеждён, что «Французская буржуазная революция, в отличие от английской, высветила иные акценты преобразования общества революционным путём. Подготовленная идеями естественного права, революция неожиданно столкнулась с массой экономических и политических проблем, и самая популярная правовая теория того времени – естественно-правовая – оказалась не вполне приспособленной для решения поставленных революционерами задач, опыт реализации её абстрактных положений подорвал к ней доверие. [...] Стремление строителей нового общества сознательно изменить основы общественной жизни столкнулись с “силой обстоятельств”, с социальной реальностью, которая оказалась не столь пластич-

ной, чтобы в короткий срок её изменить. Обстоятельства оказались настолько сильными, что цели революции не просто изменились, а превратились в свою противоположность» [249, с. 12].

Американцами революция понимается как естественная борьба за независимость, республиканские идеалы и ценности конституции были слиты воедино, всё рассматривалось с точки зрения исторической необходимости и чётких политических прогнозов относительно будущего устройства. Французы, если можно так сказать, просто зациклились на самом революционном правлении: «Революция – это война между свободой и её врагами; конституция – это режим уже достигшей победы и мира свободы. Цель конституционного правления – в сохранении республики, цель революционного правления – создание республики. Террор есть не что иное, как быстрая, строгая и непреклонная справедливость; тем самым он является проявлением добродетели» [191, с. 561], – заклинал выпускник юридического факультета Сорбонны М. Робеспьер. Мыслимо ли такое в рядах отцов-основателей? Их риторика и образ мыслей были совершенно иными.

Можно согласиться с тем, что «во французском конституционализме больше блестящих идей, революционных порывов при сравнительно скромных достижениях в конституционном устройстве государственности и общества» [68, с. 224]. О самомнении и честолюбии французов и говорить нечего. Даже умнейший аббат Сийес отрицает возможность заимствования английской политической традиции, когда в 1789 году пишет о том, что «идеал общественного благородства у нас теперь более правильный, чем был у англичан в 1688 году. Если же мы владеем истинным образцом хорошего, то зачем нам заниматься подражанием копии? Возвысимся сразу до самолюбивого желания стать самым образцом для других народов. [...] политическое искусство в конце XVIII века не должно стоять ниже конца XVII века. Англичане XVII столетия были на высоте эпохи, не отстанем же и мы от своего времени» [247, с. 26].

Но призывы к борьбе за свободу и защиту прав личности обернулись повсеместной борьбой против личности, масштаб которой оказался несравним с теми нарушениями прав человека, которые были инкриминированы якобинцами Людовику XVI во время суда над ним. Практическая реализация доктрины Ж.-Ж. Руссо о народном суверенитете, помноженная на «революционную целесообразность», закономерно привела к диктатуре и наполеоновской империи в итоге. «Идеальные ценности существуют не для того, чтобы господствовать в реальной жизни (что и невозможно). Они существуют для того, чтобы “уравновешивать” ценности реальные, в какой-то степени ориентировать их в сторону идеала, видоизменять и совершенствовать. (...) одержимый манией идеала “здесь и сейчас!” деятель изобретает и пускает в ход прокрустово ложе. [И даже] если самый энергичный оказывается морально безупречен, как условный Робеспьер, то он в бескомпромиссной борьбе за всеобщее счастье так стрижёт головы множющимся врагам, что потом сто лет от крови не отмыться», – умозаключил мудрый М. Веллер [250, с. 309].

История донесла до нас множество документов той эпохи. Двух лет не прошло со дня бесславной кончины Учредительного собрания, год с небольшим миновал после провозглашения лозунга «Отечество в опасности!», а страна уже не похожа на самое себя. Ужасы французского революционного террора описаны в многочисленных исторических исследованиях (скрупулёзные учёные подсчитали более 200 000 книг!). Интереснее всего читать письма, дневники и мемуары очевидцев происходившего, цифры говорят красноречивее всего. Вот некоторые из них.

К началу террора было создано 178 революционных трибуналов, из них 40 разъездных – переезжавших из одного населённого пункта в другой, везя с собой сборные гильотины. Суд длился не более пяти минут, после чего все осуждённые приговаривались к смерти. В одном из селений 63 женщины были казнены только за то, что участвовали в христианском богослужении. На основе многочисленных законов и декретов

(от 2 ноября 1789 г., 13 февраля 1790 г., 24 июня 1790 г., 18 августа 1792 г., 20 сентября 1792 г., 7 мая 1794 г.) [251, с. 3–9] новая революционная власть боролась против религии – в связи с этим в Соборе Парижской Богоматери в один день были казнены 200 специально приведённых туда священников. В другом местечке передвижные трибуналы приговорили к смерти и казнили около 400 детей в возрасте от 6 до 11 лет за то, что это были дети богатых или просто зажиточных людей.

По всей Франции, как грибы, растут тюрьмы. Оказывается, лучше всего под тюрьмы подходят бывшие дворцы – большие помещения, высокие потолки. В стране уже 44 000 тюрем, и их всё равно не хватает. В Париже 12 забитых под завязку тюрем. На фабрике в Медоне из волос гильотинированных женщин делают парики, а кожевенная мастерская в том же городе специализируется на пошиве брюк из человеческой кожи. В Нанте расстреливают до 500 человек в день, а когда закончился порох, комиссары находят выход. Например, 90 священников погружают на баржу, вывозят на середину реки и там затапливают. Связывают попарно мужчину с женщиной и бросают за борт – это называется «республиканская свадьба». В Аррасе депутат Лебон (из интеллигенции) заставляет матерей присутствовать при казне их детей. Вблизи гильотины поставлен оркестр, который после падения каждой головы начинает играть бравурную мелодию. В селении Бур-Бедуен кто-то ночью срубил местную революционную реликвию – дерево свободы. Узнав об этом, карательный отряд депутата Менье сжигает селение, убивает всех жителей и вырезает всех домашних животных, вплоть до собак. По каналам мятежного Лиона течёт кровь, как вода, а река Рона каждый день несёт десятки обезглавленных трупов – хоронить некогда.

Революционная пресса неистовствует: «Марат требует 170 000 голов; Колло – от 12 до 15 миллионов; Гюфруа считает, что во Франции было достаточно 5 миллионов жителей и т.д., – это, честно говоря, шутки газетчиков; но государственные деятели тоже требовательны: Менье оценивает число арестованных провансальцев в 9–15 тысяч, его секретарь Лавинь число тех, кому надо отрубить голову, – в 9–10 тысяч, и оба они представляют в Комитет общественного спасения одно и то же основание для введения революционного трибунала на местах: ведь чтобы привести в Париж 15 000 пленников, понадобится целая армия, масса продовольствия, придётся организовать этапы, а это большая и ненужная трата людских и финансовых ресурсов.

Комитет соглашается с этими доводами и назначает комиссию Оранжа. Но вот беда: ей удаётся казнить лишь по 40 человек в день самое большее, всего же получилось 332, за 44 сеанса. Даже в Париже Фукие преуспел не больше: он рад, что достиг цифры в 450 голов за декаду.

Судей и присяжных уже не хватает. Среди них есть такие, которых гильотинируют как умеренных; другие сходят с ума; третьи перед судебным заседанием напиваются; даже Фукие нервничает, ему кажется, что воды Сены стали красного цвета; и, однако, крайне необходимо поддерживать тяжёлый труд защиты» [120, с. 200–201] – такие данные приводит О. Кошен.

Принимается знаменитый Декрет «О подозрительных». Ими считаются все те, кто своими действиями, сношениями, речами, сочинениями и чем бы то ни было ещё навлекли на себя подозрение. В бумагах, найденных после ареста Робеспьера, был обнаружен план, составленный ещё Маратом, который предусматривал уничтожение полутора миллионов «врагов народа». А пока отменялся предварительный допрос обвиняемых, институт защитников подлежал упразднению, но зато на каждом углу выискивали тех, кто скрывался под зловещим обликом «врагов народа» (именно из Французской революции извлёк впоследствии Сталин это убийственное клеймо). Как написал Л. Канфора, революция, утвердившая – сбросив феодальные и клерикальные цепи и оковы – права на свободу, очень скоро принялась эту свободу ожесточённо истреблять,

куда ожесточённее, чем прошлый режим. [...] её вершители, придя к власти, проводили совсем не ту политику, во имя которой захватили власть» [31, с. 357].

Лишь российские большевики сподобились впоследствии на такие жестокости. Наконец, «крещендо нарастает предпоследний аккорд кровавой пьесы – Революция начинает пожирать главных своих палачей» [193, с. 143]. Казнят всё больше и больше, а заговоры против республики отчего-то не убывают, а только множатся. Наконец, наступает последний акт большинства революций – диктатура. На политическом небосклоне появляется подающий большие надежды сублимый лейтенант по имени Наполеон...

Не на правах доказательства, а в качестве замечания обратим внимание на тот факт, что неудавшийся конституционализм французской революции имел место в католической, а не в протестантской стране. Возвышенные и абстрактно-теоретические идеалы французских революционеров не имели ничего общего с приземлённым и практичным протестантским вероучением. Значит, имевшие место события подтверждают правильность формулы «капитализм–протестантство–конституционализм»? Но прежде чем перейти к американскому конституционализму, сделаем необходимый промежуточный вывод.

События во Франции изменили ход европейской истории, а наполеоновские войны смели старые феодальные порядки на всём континенте. XIX и начало XX века стали эпохой повсеместного крушения феодальных монархий и абсолютистских империй. Их уничтожили перемены в общественных отношениях, новые способы производства и перераспределения товаров и услуг. Но капитализм, как состоявшийся общественный строй, требует стабильности, предсказуемости и порядка, и это веление эпохи возвратило к жизни идею конституции, что и привело в XIX веке к появлению многочисленных конституционных государств. Одновременно набирает силу концепция правового государства, основывающаяся на верховенстве основного закона.

Разумеется, на содержание конституционных идей и их формальное воплощение накладывала отпечаток конкретная социально-политическая обстановка в этих странах, «будь то революционный порыв новых общественных сил во Франции или союз английской буржуазии с дворянством, или борьба английских колоний в Америке против метрополии» [19, с. 32]. Прежде чем выявить идейную направленность американского конституционализма, обратим внимание на ряд важных обстоятельств.

В качестве «затравки» – интереснейшее наблюдение З.М. Черниловского: «На разных этапах английской буржуазной революции XVII века то одна, то другая из борющихся партий искала выход в эмиграции. При этом дворяне поселялись на юг от реки Потомак, крестьяне и ремесленники – на север от неё. Соответственно с этим на юге возникали крупные плантационные хозяйства, обслуживаемые руками ирландцев и негров-рабов; на Севере преобладает фермер, ремесленник, торговец, предприниматель. На республиканском (по духу) Севере получают важное развитие органы самоуправления, чаще всего сосредоточенные в церковном приходе. Уполномоченные от городов и посёлков составляют нечто вроде парламента колонии. Он избирал губернатора. На юге (например, в старейшей из колоний – Виргинии) господствовали монархические убеждения; губернатор назначался королём и господствовала англиканская церковь» [141, с. 269]. Это объясняет многое, и вот почему.

Определённый стандарт личной свободы оказался адекватен капиталистическому строю: такая система общественных отношений не может развиваться без лично свободного товаровладельца (будь то владелец рабочей силы или средств производства). Но при этом сама личность и её собственность должны быть обеспечены защитой государства. «Правила игры» должны быть сформулированы на договорной (то есть взаимовыгодной) основе и зафиксированы в документе особого юридического значения. Его и называли конституцией. Конституции, как правило, появляются на пике революционных преобразований, а их буржуазный характер обуславливает необходимость

решения важнейшей задачи – легитимации идеи прав человека, в основе которой лежит индивидуализм и персонификация личности. И вот здесь проявляется одно из принципиальных отличий между французами и американцами.

Верное замечание делает В.В. Иванов: «Если во Франции накануне революции не было почти никаких политических свобод, то в североамериканских колониях ещё долго до начала войны за независимость были сильные демократические традиции и начали складываться демократические институты» [252, с. 82]. В отличие от американской Конституции с её «биллем о правах» Французская Декларация и Конституции 1791 и 1793 гг. в тот период на практике показали своё бессилие. Вот почему горделиво заявил Верховный Суд США: «США – самая давняя конституционная демократия в новейшей истории мира» [123, с. 15].

Считается, что французская ситуация развивалась в условиях абсолютной монархии. Это не совсем так, в чём соглашаемся с Э.-Ж. Сийесом: «Мнение, будто во Франции господствует монархический режим, совершенно ложно. Исключите из нашей истории несколько лет царствования Людовика XI, деятельность Ришелье и некоторые моменты из жизни Людовика XIV, когда господствовал чистейший деспотизм, – и вам будет казаться, что вы читаете историю придворной аристократии. Царствовал двор, а не монарх. Двор отдаёт приказания и отменяет их, назначает и сменяет министров, создаёт и распределяет посты и т.д. и что такое двор, как не голова огромного аристократического чудовища, опутывающего всю Францию, щупальца которого простираются всюду, захватывая всё, и распоряжаются всем существенным в общественном деле? Народ даже отделяет в своих робких жалобах монарха от властей предержавших. Он всегда смотрел на короля как на человека, кругом обманутого и настолько беспомощного среди всемогущей придворной партии, что никто никогда не думал винить его за всё то зло, которое учиняется его именем» [247, с. 9].

Как бы то ни было, в силу причин тысячелетней давности здесь всегда было государство и основные проблемы социально-политического характера решались в силу устойчивой политической традиции. Большинство людей работало на чужой земле под властью феодалов и клерикалов, а король выступал своеобразным гарантом сложившихся отношений (не случайно по проекту конституции 1791 года Франция – конституционная монархия). Поэтому подданный мог мыслить о свободе только через государство, с его помощью. Так возникает модель общественного договора, подразумевающая, что подданные будут признавать власть монарха, а тот должен гарантировать их права и свободы. Предполагалось, что такой договор составит основу писаной конституции.

Но стремительная радикализация процесса преобразований под влиянием идей Ж.-Ж. Руссо отвергла всякую мысль о возможности внешних ограничений «прав народа», в том числе и при помощи прав человека. Согласно этой доктрине общественный договор обязывает полное отчуждение каждым всех своих прав образуемому в результате такого соглашения сообществу. На место отдельной личности водружается всеохватное сообщество (точнее, государство), отныне являющееся полновластным сувереном. Как пишет Б.С. Эбзеев, этот новообразованный суверен, «объединяя отдельных людей, не имеет и не может иметь интересов, которые не соответствовали бы интересам составляющих его индивидов, следовательно, против этого государства граждане не нуждаются в гарантиях в виде прав» [19, с. 30].

Взгляды Ж.-Ж. Руссо составили основательную базу для различных тоталитарных учений. «Руссо на практике» во многом и предопределил кровавость и безысходность развития революционных событий во Франции, а про высокие конституционные идеалы всякого рода якобинцы, жирондисты и санкюлоты предпочитали не вспоминать. Как верно подмечено, «общепризнанная огромная соблазнительность и привлекательность взглядов Руссо [...] едва ли имеет какое-либо отношение к разуму и доказатель-

ствам (особенно такая химера, как воля народа, благодаря которой социум выступает как обычное существо, как индивидуум. – А.Л.). Но при всех своих противоречиях, призывы Руссо, несомненно, были восприняты, и на протяжении последних двух веков сотрясали нашу цивилизацию» [49, с. 89]. Об этом говорится в исследовании Клэйса Г. Рина «Дэмакратыя і этычнае жыццё» [122, с. 93].

В действительности опыт Французской революции реализовал на практике интеллектуальную модель «естественного состояния» Т. Гоббса, объясняющую причины «войны каждого против каждого». Поэтому вряд ли можно согласиться с тем, что эта революция показала, как «сторонники прогрессивной идеологии могут превратиться в реакционеров, в противников своих же собственных идей» [249, с. 14].

В чём же доктрина Ж.-Ж. Руссо является прогрессивной идеологией? В соответствии с философией Руссо, указывает английский правовед Д. Ллойд, «любой демагог, захвативший власть, мог провозгласить, что представляет “общую волю” и таким образом утвердить своё правление. Более того, даже при должным образом организованном демократическом правлении философия Руссо на самом деле означает всего лишь тиранию большинства: остающихся в меньшинстве недовольных, в соответствии с достаточно зловещим высказыванием Руссо, необходимо “заставить быть свободными”. Кроме того, в его доктрине не нашлось места для наделения естественными правами отдельных граждан с тем, чтобы защитить их от власти самого государства» [200, с. 97]. Ни при каких обстоятельствах тоталитарное в своей основе учение не может быть реализовано в конституционной практике государства, что наглядно продемонстрировала европейская история.

Обратим внимание на тот факт, что любые тоталитарные по своей сути доктрины имеют в своей основе социалистические идеи, пагубные для нормального общества. Помимо их экономической несостоятельности и политического прожектёрства важно выделить психологические и моральные аспекты, блестящий анализ которых осуществлён Ф.А. фон Хайеком: «Люди, предъявляющие претензии по поводу своего “отчуждения” от того, о чём они, по всей видимости, так и не получили правильного представления, люди, предпочитающие жить как тунеядствующие изгой и питаться плодами процесса, ими никак не поддерживаемого, – вот истинные сторонники призыва Руссо о возврате к природе. Главным источником зла они провозглашают те институты, которые сделали возможным формирование порядка человеческого взаимодействия» [49, с. 260].

«Люди, зарабатывающие себе на жизнь созданием идей и символов, – уверен М. Новак, – просто очарованы ложью и абсурдом и чувствуют себя так, будто их миссия состоит в том, чтобы навязывать их несчастным согражданам» [64, с. 26]. Увы, проповеди «руссоизма» самым кровавым образом отозвались в XX веке. Очевидные пороки социалистических учений упорно не замечают. Целые нации, словно безумное стадо, бросались в эту пропасть. Миллионы людей забыли, что здравый смысл и ясное мышление – первейшая моральная обязанность.

Всё происходило иначе на Североамериканском континенте, где историческая ситуация в конце XVIII века кардинально отличалась от французской. Очень образно, но в то же время точно её описал известный польский общественный деятель и правозащитник М. Новицкий: «Само слово “Свобода” по-разному воспринимается в Европе и в Америке. В Америке были огромные прерии, реки, где можно было намывать золото, и достаточно было поставить два камня и сказать: “Это моя земля, здесь я ищу золото”. И так со всем остальным. Перед людьми были невиданные перспективы. Для лучшей организованности они создали государство, но с минимальными функциями (армия, шерифы, судьи). На большее оно не нужно. Каждое его вмешательство ограничивало бы свободу человека и его возможности, то есть американцы в то время думали про *свободу от государства*: “Пусть государство защищает меня от преступника и дальше не суеться”. [...]

Если выясняется, что власть плохо нам служит, мы выбираем новую» (перевод наш. – А.П.) [253, с. 13, 14]. Многие исследователи американского конституционализма подчёркивали значимость географического, климатического, экономического факторов. Добавим сюда предпосылки идеологического, религиозного и психологического характера. В целом вырисовывается следующая картина.

Основание первых колоний на атлантическом побережье Северной Америки относится к началу XVII века. Огромные пространства Нового Света, неразвитость транспорта и отсутствие сколь-нибудь цельного плана освоения новых земель обусловили появление не одной, а нескольких колоний. К середине XVIII века английские колонизаторы вытеснили из этого региона основных конкурентов – Голландию и Францию, и стали полновластными хозяевами обширных неосвоенных территорий. Местное индейское население вообще не считалось людьми и поэтому безжалостно изгонялось со своих мест либо уничтожалось. Государственность зарождалась, по сути, на пустом месте. Устанавливался новый порядок, основанный на идеях, которые никогда ранее в человеческой истории не были реализованы.

Этот инновационный путь развития означал прежде всего подъём предпринимательского духа, интерес к делу, охоту к работе, увлечение техническими новшествами. Несколько наивное, но по сути справедливое замечание принадлежит В. Зомбарту: «Элементы капиталистического духа были свойственны американской народной душе с тех пор, как основаны колонии, и тогда ещё, когда этому духу не соответствовало никакого “тела”, то есть никакого капиталистического хозяйственного устройства» [62, с. 177]. Нелишне напомнить, что все без исключения выдающиеся организаторы американского общества в первую очередь занимались экономическими, а не сугубо политическими проблемами.

«Исключительно благоприятный для ведения сельского хозяйства климат, обилие плодородных земель и полезных ископаемых, высокая активность поселенцев, которую не сдерживали путы феодальных отношений, – всё это привело к тому, – пишет В.Н. Левченко, – что экономика колоний непрерывно развивалась» [132, с. 215]. Немаловажен фактор, отмеченный И.Л. Солоневичем: «...безопасность САСШ [...] была гарантирована океанами и проливами. [...] Американская свобода, как и американское богатство, определяется американской географией...» [254, с. 45]. Действительно, в период борьбы за независимость Американской конфедерации реально могла противостоять только Англия, а переправка войск в Северную Америку была чрезвычайно затруднена. Причём в Европе не вызывало сомнений, что Лондон рассматривал колонии исключительно как источник доходов, то есть как объект эксплуатации. Поэтому по своему характеру война за независимость со стороны колонистов была справедливой и освободительной и не могла не дать мощный толчок развитию демократического процесса.

Во Франции всё происходило в другом русле. После радикализации событий и массового террора вся Европа настороженно следила за ситуацией на родине конституции. По мнению И.И. Царькова, Европу «несомненно волновало отношение революции к религии, к нормам международного публичного права и особенно – отношение к Людовику Капету. Судебный процесс над Людвигом продемонстрировал, что многочисленные защитники короля оказались более последовательными приверженцами естественно-правовых идей, нежели революционеры-радикалы» [249, с. 14]. Не следует забывать и о том, что Конвент принял декрет, в соответствии с которым революция обязуется поддерживать любую нацию, которая желала бы сбросить с себя старые оковы, то есть открыто провозгласила принцип вмешательства во внутренние дела суверенных государств. Фактически революционная Франция заложила мину замедленного действия под основы европейской политики, настроив против себя все ведущие державы.

По сути, такая Франция с её «прогрессивными» конституциями была обречена на войну со всей европейской коалицией, что впоследствии и произошло. Не случайно, отмечает Ж.-Б. Дюрасель [255, с. 99], при заключении в 1815 году «Священного союза» Россия, Англия, Австрия и Пруссия полагали, что потенциальная угроза в Европе может исходить прежде всего от Франции, и именно против неё создавалась эта организация (не стоило сбрасывать со счетов и реваншиста Наполеона Бонапарта). Политический и экономический изоляционизм долго сказывался на развитии страны, Франция также понесла территориальные потери, претерпела новые революционные потрясения в 1830, 1848 и 1870 годах. Лишь угроза германского милитаризма второй половины XIX века реанимирует Францию как одну из ведущих европейских держав.

Однако эпоха Французской революции стала для Европы (да и для всего мира) переломной. Больше не было возврата к сословным, феодальным, абсолютистским порядкам. Был изобретён новый тип политического дискурса и практики. В формирующихся буржуазных государствах торжество принципов равенства, свободы и братства на основе общего политического волеизъявления стало пониматься как базис единства всего общества. «Нация – народ» как новая политическая реальность вытеснила на второй план прежние общественно-нравственные авторитеты: монархию и церковь. Феномен национальной идеи представляется для В.В. Акудовича наиважнейшим: «Во время Французской революции добровольно объединённые граждане действовали во имя нации, а не династии. Это было впервые» (перевод наш. – *А.П.*) [295, с. 23]. «В самом деле, что такое нация? Общество людей, живущих под общим законом и представленных одним законодательным учреждением», – чётко сформулировал Э.-Ж. Сийес [247, с. 6]. Светский и национальный характер государства предопределяет основы его развития.

Содержание французских конституционных актов изучается в других странах по сей день: «Конституционное право Французской революции должно быть для всех изучающих публичное право тем, чем римское право является для изучающих гражданское право. Любая цивилизация опирается на римское право, любой политический каркас современных народов проистекает из документов, мысли, духа Французской революции» [256, с. 21]. Это выражение принадлежит Миркину-Гецевичу, юристу и учёному, эмигрировавшему во Францию после большевистского переворота. Он верно заметил, что конституционное право Французской революции наиболее точно отражает «политические судороги» тех лет.

Интеллектуальные последствия Французской революции для европейского мышления О. Забужко сформулировала следующим образом: а) она утвердила суверенитет личности в обществе (правовая и рациональная идея гражданства была самой глубокой идеей революции); б) поставила на повестку дня вопрос внедрения мировоззрения нового типа – национального мировоззрения; в) дала толчок для создания наций на остальных частях Европы [цит. по: 257, с. 65]. Можно сказать, что для европейской цивилизации начался новый отсчёт, где революциям и конституциям несть числа. Как пишет Э. Смит [258, с. 12], хоть Французская революция была не первым проявлением новой «национальной» эпохи, она была первым историческим событием, когда объединённые граждане действовали сообща. Впервые граждане стремились распространить единую культуру и язык на все регионы своей страны, сломать между ними барьеры, состояться единой нацией, преданной единой идее. Можно сказать, что впервые ясное формулирование национальной идеи произошло именно во Франции в период революционных и конституционных преобразований.

Правовую оценку в блестящем стиле дал Раймон Леже [109, с. 34]. Он пишет о том, что объединение права во Франции восходит к революции и империи, оба режима неразрывно способствовали этому единению: революция, принимая новые принципы, Наполеон Бонапарт, осуществляя выдающуюся кодификацию. Учёный не соглашается

с тем, что законотворческую деятельность периода революции часто обозначают словосочетанием «промежуточное право», так как в действительности революция дала долговременный импульс праву. Кроме того, в это время был совершён окончательный разрыв с прежней системой.

В революционных действиях подчёркивается разрушительный аспект. Институты прошлого, символизирующие произвол, привилегии и жестокость, были аннулированы в масштабе страны: прежняя система правосудия была разрушена, феодальные сборы отменены, цеховые организации расформированы и запрещены. В то же время новые идеологические основания, почерпнутые у философов, стали принципами законодательства: только закон может ограничить свободу граждан, равенство должно быть освящено всеми гражданскими институтами, включая как правовое положение лиц, так и имущественные права. Таким образом, право обрело новое политическое и философское содержание, оно стало пониматься как способ защиты свободы и равенства граждан, стремящийся урегулировать их отношения с точки зрения справедливости, примиряя интересы государства и частных лиц.

Возвращаясь к истокам американского конституционализма (что очень важно, зарождался он с основами новой государственности), необходимо обратить внимание на идеологические и религиозные факторы, во Франции места не имевшие. Однако установить их возможно только через связь с метрополией и пониманием «рецепции» английского права, невольно состоявшейся в бывшей колонии.

Повсеместно в литературе подчёркивается, что перестройка государственных и общественных институтов в конце XVIII века происходила на основе политического течения, сформировавшегося под влиянием идеалов Просвещения и естественного права. Эти направления человеческой мысли тесно связаны друг с другом, но тем не менее между ними не поставишь знак тождества (хотя бы потому, что зародились они в разные исторические периоды). Дело в том, что в своей политической аргументации одни представители Просвещения чаще прибегали к аргументам гуманитарного плана (Ш.Л. Монтескьё, Х. Вольф, Ч. Беккариа), а другие (Ж.-Ж. Руссо, К. Гельвеций, Г. Бабёф) предпочтение отдавали эмоциям. В результате сформировались сильно отличающиеся друг от друга идейные течения.

В части рассмотрения проблем политики и юриспруденции их можно охарактеризовать следующим образом. В первом, умеренном варианте, обнаруживаются сторонники компромисса и постепенных общественных преобразований. Например, Ш.Л. Монтескьё призывал правящий класс лишь потесниться и дать возможность третьему сословию занять достойное положение в государственной системе на основе принципа разделения властей. Во втором же случае радикалы типа Ж.-Ж. Руссо, сторонники народного суверенитета, остро ставили проблему социального неравенства и превозносили идею абсолютизации общей воли. В знаменитом «*Общественном договоре*» [192] Руссо даёт обоснование ситуации, когда станет необходимым отступление от обычных законодательных норм. В главе VI трактата, так и озаглавленной: «*О диктатуре*», Руссо писал: «Негибкость законов, препятствующая им применяться к событиям, может в некоторых случаях сделать их вредными и привести через них к гибели Государство, когда оно переживает кризис... не нужно поэтому стремиться к укреплению политических установлений до такой степени, чтобы отнять у себя возможность приостановить их действие...». Учение Руссо для того же Робеспьера – своего рода политическое завещание Учителя, откуда он чётко вынес простую истину – о легальности следует забыть, а ниспровержение всех прежних законов и замена формальной законности высшим для народа законом – революционной необходимостью – приведут к осуществлению народом всех своих суверенных прав.

Они являлись сторонниками революционных преобразований. Одни предлагали относиться с уважением к привилегиям и традициям, допуская рассредоточение власти между различными органами и социальными слоями. Вторые настаивали на безраздельном суверенитете народа, господстве общества (не обязательно состоящего из юридически равноправных граждан) над правами человека, конкретной личностью.

Различия этим не исчерпываются, мы лишь подчёркиваем наиболее важные положения. Если рассматривать не только теоретические разночтения, но и практическое влияние идей на развитие событий, можно констатировать следующее. Во Франции, например, якобинцы именно Ж.-Ж. Руссо считали своим учителем и идейным вдохновителем, оправдывая диктатуру учением о народном суверенитете и общей воле. Призывы к революции, к массовым действиям, к свержению тирании посредством народного восстания упали на благодатную почву. Массовый террор вызвал ужас у всей Европы, и со стороны ситуация получила заслуженный диагноз – всеобщее сумасшествие.

По мере того как революционный террор нарастал, пожирая всё большее количество врагов революции, а с ними и тех, кто просто стоял рядом или вообще проходил мимо, французское общество охватила самая настоящая кровавая вакханалия. Безумие, по-иному и не скажешь: «Как ещё назвать то обстоятельство, что станок для казни вошёл в моду. Как вам заколки или броши в виде изысканной золотой гильотинки, за производство которых взялись парижские ювелиры? Как вам аналогичные пирожные, выпекавшиеся кулинарами? Вам бы, друзья, такое полезло бы в рот? А ведь французам конца XVIII столетия лезло...» [61, с. 289]. Именно тогда перепуганные насмерть современники, то есть кому посчастливилось избежать смерти и не утратить здравого смысла, заговорили о некоей «тёмной могущественной силе», стоявшей за спинами якобинских палачей. Всё может быть. История Французской революции насквозь пронизана мистикой и самой откровенной дьявольщиной. Сен-Жермен, Филипп Эгалите, маркиз Лафайет, барон де Батц, Марат, Робеспьер – загадочные и зловещие фигуры. В научных исследованиях чего только не сказано, любителям тайн и драматических сюжетов лучше обратиться к конспирологии.

«Произошёл взрыв, сообщивший лозунгам Просвещения живой образ, связавший доблесть со страхом, а свободу с деспотией» – блестящая оценка О. Шпенглера [96, с. 437]. Писатель Фр. Шатобриан, современник революции и её консервативный критик, явился автором заключения, которое разошлось на века: «Патриции начали революцию, плебеи довели её до конца». Известное высказывание М. Робеспьера «Революционное правительство – это деспотизм свободы против тирании» не имело ничего общего с конституционными лозунгами. Директория и бонапартизм поставили точку в развитии событий. Французская революция, писал Ян Башкевич [185, с. 112], начатая во имя свободы, сферу этой свободы сначала необычайно расширила, а потом brutally сократила.

Эта метаморфоза наиболее заметна во взглядах одного из вождей Революции – М. Робеспьера. Первоначально он возлагал большие надежды на Учредительное собрание: «М. Булуазо подсчитал: в 1789 году газеты отметили шестьдесят девять выступлений Робеспьера в Учредительном собрании, в 1790 году – сто двадцать пять, в 1791 году – триста двадцать восемь выступлений за девять месяцев его деятельности. [Однако он] так и не привлек его на свою сторону, не завоевал его симпатий; оно в своём большинстве оставалось к нему враждебным» [191, с. 583]. К тому же Робеспьер ещё сохранял иллюзии в отношении Короля и монархии, допускал общественный прогресс в легальных формах. Но с 1791 г. он твёрдо уверовал, что основная сила революции – во внепарламентских действиях народа, в мятежной активности масс. Юрист, вооружённый знанием всех тонкостей закона, безоговорочно принимает революционное насилие как справедливое и необходимое средство борьбы народа.

Идея Конституции становится для него чуждой: «Она будет лишь бесполезной книгой, и что толку в её создании, если у нас похитят нашу свободу в колыбели» [191, с. 588]. Революционная свобода выше формальной конституции – вот замечательный образец революционного мышления, а ведь совсем недавно – 23 июня 1789 года – Робеспьер был инициатором предложения принять клятву – не расходиться, пока не будет выработана Конституция, – на знаменитом собрании в Зале для игры в мяч. Однако в 1792 году, ратуя за немедленное уничтожение монархии и провозглашение республики, он стал издавать еженедельный журнал «*Защитник Конституции*», где призывает к немедленной ломке всего государственно-политического организма: «Надо спасти государство любым образом; антиконституционно лишь то, что ведёт к его гибели» [191, с. 616]. Даже написав проект Конституции 1793 года, он установил жуткий террористический режим в стране, сам был казнён на гильотине без суда и следствия, конечно же – именем Народа, Республики и Революции.

Не оспаривая значения конституционных лозунгов Революции, французский опыт грандиозных общественных преобразований следует признать неудавшимся. Разрыв между теорией и практикой оказался колоссальным, обнаружилось явное противоречие между реальной политикой и мечтаниями на почве абстрактных истин. Почему так произошло? Выдвигаются самые разные версии (Э. Бёрк [260], Т. Карлейль [261], А. Матьез [262]), предлагается принимать во внимание те или иные факторы (на многих мы сделали акценты), но попытаемся дать объяснение в сугубо конституционном ракурсе.

Революционные идеи Франция переняла от Англии, точно так же как она восприняла от Испании стиль абсолютной королевской власти. И тому и другому было придано блестящее и соблазнительное оформление, ставшее образцовым далеко за пределами континента. Для представителей Просвещения, находящихся в непримиримой оппозиции к власти, «государственный строй Англии рассматривался в качестве образца для подражания, и поэтому [они] считали себя обязанными съездить в Англию, чтобы своими глазами увидеть и изучить строй страны, которая с точки зрения господства права являлась образцом для других стран», – пишет Э. Аннерс [76, с. 264]. Начиная с Ш.Л. Монтескье [18, с. 138], английские политические институты почитались как наиболее совершенные, однако попытка их «копирования» на континенте завершалась полным провалом. По этому поводу необходимо разъяснить следующее.

В Англии, в отличие от Франции, не было абсолютной монархии, там много столетий утверждалась сословная политика. Зародившийся в XIII веке парламентский стиль следует признать элитарным, а не демократическим. По сути, всю свою историю Англия придерживалась эталона кабинетной дипломатии, аристократической и «благородной» по определению. А это значит, что к руководству страной не могли прийти случайные люди. Высшая знать самым жестоким образом пресекала все попытки «третьего сословия» претендовать на политическое влияние. Очень быстро Англия становится заглавной фигурой мировой политики. Дипломатическое искусство и мощная шпионская сеть становятся её визиткой на все времена. Проницательный Вальтер Ратенау был точен в оценках: «Только 300 человек, каждый из которых знает всех остальных, управляет судьбами Европы. Они выбирают своих наследников из собственной свиты и держат в руках средства, достаточные, чтобы покончить с любым государством, которое они сочтут «неразумным» [61, с. 135]. Класс олигархов и политическая власть быстро поняли друг друга.

Монарх с момента подписания Великой Хартии вольностей никогда не являлся средоточием государства (вспомним Людовика XIV с его общеизвестным «Государство – это Я»). То, что в Англии называли оппозицией, представляло собой лишь позицию одной из партий знати, когда правительством руководила другая. Иными словами, политическую ситуацию в Англии можно охарактеризовать как сословное господство ста-

ринно-аристократической элиты под покровительством династии. На деле это приводит к тому, что «в её среде накапливается и передаётся по наследству драгоценный управленческий, полководческий и дипломатический опыт, а руководство государством рассматривается как единственное соответствующее сословию призвание и преемственное преимущественное право» [96, с. 434]. Точное наблюдение О. Шпенглера было сделано в отношении Республиканского Рима IV века до н.э., но как идеально оно подходит для характеристики политической традиции средневековой Англии!

Может возникнуть закономерный вопрос: какое место в общественной структуре Англии играла буржуазия, ведь дух предпринимательства, торговли, свободных форм экономики этой стране был свойствен, как никакой другой? Дело в том, что буржуазия на Европейском континенте концентрировала свои усилия на борьбе с абсолютным государством, но в Англии эффективно функционировало сословное государство, то есть разрушать его было незачем. Необходимо было лишь занять свою нишу. Экономика, как известно, не заинтересована в социальных потрясениях. Поэтому представители капитала имели все возможности встроиться в органичный уклад государства, а парламентаризм этому только способствовал.

В лучших традициях Древнего Рима и Венецианской Республики образуется взаимовыгодная «спайка» светской знати и торгово-промышленных воротил, «капиталистическая экономика слилась с традиционным укладом, изменив его содержание, но не формы» [31, с. 157]. Понятиям, лозунгам и идеалам не придаётся практического значения, во всём сквозит рационалистический дух (если присмотреться, во всех войнах Британии – явный экономический смысл). Духовная свобода и свобода предпринимательства позволяют реализовать себя в общественной жизни и в экономике. Но не всем. Сложившаяся новая элита отстранила плебс от участия в принятии политических решений банальным, но действенным способом: имущественным цензом на выборах. Ведь только в 1872 году голосование сделалось тайным, а в 1885 году Англия «добралась до почти всеобщего избирательного права, [...] однако само слово демократия на Британских островах сохранило негативный смысл до конца XIX века» [31, с. 155, 157].

Продуманный и апробированный политический курс вкупе с финансовой подпиткой торгово-промышленной элиты (ей законным путём были созданы все условия для экономического процветания) во многом предопределил последующее мировое господство Британии. Имели место и иные факторы, о которых – в общих чертах во избежание погружения в интереснейшую тему.

Британия – величайшая колониальная империя на свете, Лондон – сердце международной капиталистической системы. Королевский флот не имел себе равных, фунт стерлингов – мировая валюта. Ост-Индская компания служила колониальной империи чем-то вроде станового хребта. Аккумуляция банковского и финансового капитала (еврейского по происхождению – Бэринги, Ротшильды и пр.) предполагала всячески искать новые рынки сбыта для британских товаров в рамках объявленной Туманным Альбионом политики свободной торговли. Продолжался открытый грабёж богатейших колоний. Чтобы всё так и оставалось в дальнейшем, днём и ночью приглядывали две могущественные структуры – британская разведка и британская дипломатия. К чему людские потери, траты на снаряды и пули, если гораздо разумнее подорвать государство изнутри? Во всех серьёзных смутах и революциях Нового времени – английский след так называемой стратегии «непрямых действий», загребания жара чужими руками. Британия, хотя и называлась монархией, была, по сути, олигархической республикой, основу которой всегда составляют власть денег, конспирология, реальная политика. Это потрясающе эффективный проект! В XX веке он в основных чертах был воспроизведён в США.

Теперь понятно, почему Англия столь успешно пребывает всю свою историю без какой бы то ни было писаной конституции. Во всяком здоровом государстве буква пи-

саной конституции имеет меньшее значение в сравнении с собственно конституционной традицией. Практические дела, устойчивые политические традиции и опыт стоят куда больше, чем лозунги и фразы, проекты и идеалы. Глубоко по существу проблемы отозвался Ф.А. фон Хайек: «Предварительное формирование некоего порядка или схемы в человеческом уме, или сознании, отнюдь не является лучшим, а напротив, это худший способ установления порядка. Ведь ум – это всегда лишь малая часть общей системы, и он в состоянии отразить только некоторые черты последней. Насколько маловероятно, что человеческий ум способен вообще когда-либо полностью объяснить себя, настолько же маловероятно, что он способен объяснить или предсказывать результаты взаимодействия огромного количества умов» [49, с. 138].

Блестяще сказано! Очевидно, что конституционная традиция Англии выигрывает во всех отношениях против многочисленных доктринарских конституций Франции. Не случайно история Английской революции складывалась иным образом, нежели Французской, она не дошла и близко до тех крайностей, которые пережило французское общество сто лет спустя. Вывод о необходимости политического компромисса как базового условия развития общества ещё более укрепил позиции «неписаной» английской конституции. Именно сопоставление французского и английского опыта позволяет понять истоки и смысл американского конституционализма.

Пристальное внимание обратим на упомянутый религиозный фактор. Дело в том, что изначально в Северную Америку эмигрировал наиболее активный элемент европейского общества, предпочитавший тяжёлую, но свободную жизнь в Новом Свете безысходному прозябанию в феодальной Европе. Основной поток первых переселенцев шёл из Англии, Шотландии, Ирландии (редкое католическое исключение, но среди них большинство – шотландские переселенцы), а также из Голландии и западных провинций Франции, населённых гугенотами. (Только в 1685–1690 гг. эмиграция гугенотов после отмены Нантского эдикта составила порядка 140–160 тыс. чел. [60, с. 172]). Несколько позже начался отток из германских и скандинавских государств, с конца XVII века – активный приток иммигрантов-евреев. Но религиозного единства среди колонистов не было. Скорее, можно говорить о том, что Европу покидали люди мятежные, со слишком ярко выраженной индивидуальностью, несогласные жить по существующим порядкам.

Это убедительно показывает Л.Н. Гумилёв на одном лишь английском примере: «В начале XVII в., ещё до революции, туда на корабле “Мэйфлауэр” переправилась группа гонимых в Англии пуритан и основала колонию Новая Англия. После этого все неудачники стали переезжать в Америку и основывать там колонии. Католики основали там колонию Мэриленд, названную в честь Марии Кровавой; сторонники Елизаветы основали Виргинию (*virgo* – значит “девственница”, девственная королева); сторонники Стюартов – Каролину; сторонники Ганноверской династии основали Джорджию (короля звали Георг); баптисты – Массачусетс; квакеры – Пенсильванию; все группы населения, которые оказывались гонимыми в Англии, уезжали туда» [30, с. 227].

Только в США евреи избавились от дискриминации, став полноценными гражданами единого сообщества. Там находили пристанище и гонимые на Руси старообрядцы. Вспомним, что весь гонорар за «Воскресение» Л.Н. Толстой пожертвовал на переселение значительной части староверов в Америку. Всего же к концу XVIII века в Северной Америке проживало около 4,5 млн жителей европейского происхождения [60, с. 173]. В Европе, к слову, в это время насчитывалось 195 млн человек [89, с. 178].

Основная масса колонистов исповедовала протестантизм с его культом труда и предприимчивости, хотя в некоторых штатах были сильны позиции и официальной английской церкви. Не случайно одним из источников напряжённости стал идейный и политико-организационный конфликт между англиканской церковью и протестантски-

ми общинами. Протестанты-пуритане обвиняли англиканскую церковь в том, что она всё ещё не избавилась от многих пороков римско-католической церкви, отрицательно относились к показной роскоши в быту и церковных обрядах, в то время как сами практиковали скрупулёзное соблюдение заповедей бережливости и воздержанности.

Изучая историю вопроса, П.И. Новгородцев точно подметил: «Новая англиканская церковь не так уж была далека от католической [...]. Это был скорее католицизм без папы, чем настоящий протестантизм» [217, с. 103]. Протестанты-пуритане (от латинского – «чистый», «истинный») рассматривали Америку «землёй обетованной», где можно было бы жить в полном согласии с заповедями первых христиан, что было невозможно на оставленной родине. Не соглашались они и с кальвинистскими принципами церковной организации (синоды, пресвитеры), поскольку те не основывались на Священном Писании.

Сами пуритане полагали, что общность веры некоторого числа людей, живущих по соседству, – достаточное условие для объединения в церковную общину, где единственным духовным авторитетом может быть только Христос. Вступить в такую общину (конгрегацию) возможно лишь на добровольных началах – достаточно заявить о желании стать её членами и признать взаимное соглашение о вере (ковенант). Все должности (пастор, староста) были избираемыми. Радикальные пуритане исходили из того, что сама принадлежность к церкви является своего рода предопределением к спасению, ступенью к «очищению». К слову, понятие пуританизма мы используем в том значении, которое оно обрело в повседневном языке XVII века. Охватывались им, по мнению М. Вебера [79, с. 208], все аскетические по своей направленности религиозные движения Голландии и Англии независимо от их догматических положений и программы церковного устройства, то есть «индепенденты», конгрегационалисты, баптисты, меннониты и квакеры.

Понять происходящее невозможно без уяснения идеологии протестантов. Она очень неоднозначна и действительно радикальна, о чём убедительно пишет И.Р. Шафаревич [197, с. 332–333]. Вот её основные постулаты. Например, учение Кальвина утверждало, что ещё до сотворения мира Бог предопределил одних людей к спасению, других – к вечной гибели. Никакими своими делами человек не может повлиять на это уже принятое решение. Избраны лишь немногие: крошечная группа «святых» в греховном, страждущем и обречённом на вечные муки человечестве. Но и «святым» недоступна никакая связь с Богом, «ибо конечное никогда не может соприкоснуться с бесконечным». Их избранность проявляется лишь в том, что они становятся орудием Бога, и тем вернее их избранничество, чем эффективнее они действуют в сфере их мирской активности, откинув попытки понимания смысла этой деятельности.

Это поразительное учение, собственно, новая религия, создавало у «святых» ощущение полной изолированности, противопоставленности остальному человечеству. Центральным их переживанием было чувство избранности, они даже в молитве благодарили Бога, что они не такие, как «остальная масса». В их мировоззрении колоссальную роль играла идея эмиграции. Отчасти из-за того, что начало движению пуритан положила группа протестантов, бежавших от преследований в период католической реакции Марии Тюдор: в состоянии полной изоляции, оторванности от родины, они под влиянием учения Кальвина заложили основы теологии и психологии пуританизма. Но отчасти и потому, что даже вернувшись в Англию они по своим взглядам оставались эмигрантами, чужаками. Излюбленным образом их литературы был странник, беглец, пилигрим.

Узкие общины «святых» постоянно подвергались очищениям, отлучениям от общения, охватывавшим иногда большинство общин. И «обречённые», согласно взглядам пуритан, должны были быть подвергнуты дисциплине их церкви, причём здесь вполне было допустимо принуждение. Пропасть между «святыми» и «обречёнными» не оставляла места для милосердия или помощи грешнику – оставалась только ненависть к гре-

ху и его носителю. Особым предметом обличений и ненависти пуританской литературы были крестьяне, потерявшие землю и толпами отправляющиеся в город в поисках работы, а часто превращавшиеся в бродяг. Пуритане требовали всё более и более строгих законов: перевозносили порку, клеймение раскалённым железом. А главное – требовали защиты «праведных» от соприкосновения с нищими бродягами. Именно из духа пуританизма в XVIII веке возникла страшная система «работных домов», в которых бедняки находились почти на положении каторжников.

Литература пуритан стремилась оторвать «святых» от исторических традиций (которые были традициями «людей мира»), для «святых» не имели силы все установленные обычаи, законы, национальные, династические или сословные привязанности.

Как утверждал Макс Вебер [79], реальная роль кальвинизма в экономической жизни разрушала традиционную систему хозяйства. В английской революции его решающая роль состояла в том, что, опираясь на пуритан и ещё более крайние секты, новому слою богачей удалось опрокинуть традиционную аристократию и монархию, пользовавшуюся до того поддержкой большинства народа. С.А. Валянский пишет: «Это были длинные семейные цепочки, медленно накапливавшие состояние и престиж, находясь при высших дворянских семьях. Буржуазия в течение веков паразитировала на этом привилегированном классе, жила при нём, обращая себе на пользу его ошибки, его роскошь, его праздность, его непредусмотрительность, стремясь – часто с помощью ростовщичества – присвоить себе его богатства, проникая, в конце концов, в его ряды и сливаясь с ним. Это длилось очень долго, буржуазия неотступно разрушала господствующий класс, пожирая его» [263, с. 355]. Столь длительное вынашивание семейных состояний характерно для Англии, но это требует не только определённой стабильности общественного устройства, но и слабости, потворства со стороны государства. В отличие от Франции английская светская и духовная знать вовсе не спешила уступить место новообразованным структурам.

Поэтому не случайно пуритане подвергались гонениям со стороны королевской власти и англиканской церкви, многие общины были вынуждены скрывать свои взгляды и обычаи. Именно они под именем «отцов-пилигримов» составили Ковенант (соглашение), который впоследствии в годы войны США за независимость был издан большим тиражом, а после принятия Конституции американские политики рассматривали Ковенант как первоисточник конституционной истории, первый опыт и образ составления общественного договора об образовании государства, его организации и деятельности.

На любопытный факт обращает внимание Патрик Дж. Бьюкенен: «Первые поселения в Америке основали протестанты. Евреи и католики составляли тогда крохотные меньшинства. Когда автор этих строк ходил в 1940-х годах в приходскую школу, монахини с гордостью рассказывали о том, что один (!) из пятидесяти семи человек, подписавших Декларацию независимости, был католиком – Чарльз Кэрролл из Кэрроллтона, штат Мэриленд» [207, с. 249]. То же можно сказать и о «религиозном составе» отцов-основателей американской Конституции. И ещё. Если в континентальной Европе антиклерикализм и враждебность по отношению к традиционной религии были всеобщими (особенно ярко это проявилось во Франции), то в странах, населённых англосаксами, критиковали не религию как таковую, а религиозный истеблишмент.

Яркое описание характерного умонастроения дал Юлиан Семёнов, сравнивая американские и французские события с русской революцией: «Но почему же американская революция сражалась против англо-французских колонизаторов вместе с церковью? Священники там были подвижниками идеи “свободы и равенства”, а французы, громя Бастилию, гонялись за аббатами с верёвками, распевая песни Беранже про то, что последнего короля надо повесить вместе с последним попом... Отчего в семнадцатом [наши люди] восстали против церкви так же яростно, как и против самодержавия? От-

того может, что наша церковь, её пастыри всегда шли с властью рука об руку? И звали к повиновению даже тогда, когда здравый смысл подсказывал: зовите паству к противостоянию государевой неправде, которая влечёт страну в пропасть. [...] Если бы не малограмотные фанатики “великорусской идеи”, а мудрые и независимые священники повели за собой паству, кто знает, как бы повернулась история?!» [264, с. 143]. Всем известно, что произошло дальше, и тут самое время вернуться к событиям XVIII века. Но согласитесь, постановка вопроса точна и оправдана.

Конечно, подобное истолкование корней американского конституционализма не лишено известных натяжек и противоречий, что отмечает В.Г. Графский [131, с. 371]. Дело в том, что переселенцы совсем не помышляли отвергать власть английского короля или объявлять о своей независимости по отношению к метрополии или лондонским купцам, с помощью которых они смогли покинуть Европу. В самом соглашении цель прибытия связывалась с основанием колонии в северной части Виргинии «во имя Бога, распространения христианской веры, ради чести нашего короля...» [19, с. 93]. Но дух свободного континента разительно отличался от консервативных устоев острова-метрополии.

Либеральная демократия, имевшая место в Англии и США, сформировалась и установилась совершенно разными путями. В Англии демократический режим развивался постепенно, король шаг за шагом утрачивал свои прерогативы, но к XVIII веку стали очевидными такие ценности, как парламентское представительство, разделение властей, независимые суды, свобода слова и печати, рыночная экономика. Всё это признаки либерального устройства. Постепенное превращение в демократический режим давалось очень медленно, благодаря расширению избирательного права (последние цензы были ликвидированы только в 1948 г.) и развитию конституционной практики.

Американский же опыт совсем иной: «власть уже принадлежала народу, когда в 1787 году законодатели собрались в Филадельфии. Перед американцами стояла задача не ослабить королевскую власть, как это было в Англии, но организовать власть народную. Американский режим родился современным. Таковым он был замыслен и установлен», – отмечает А.А. Арутюнян [266, с. 8]. Пожалуй, только в данном случае можно усмотреть в американской революции элементы «французского» рационалистического подхода, органичным образом наложившегося на «английское» эмпирическое мировоззрение. Как бы то ни было, спустя два века после своего рождения основанное на совмещении этих двух традиций американское государственное устройство выглядит прочным и эффективным. Отцы-основатели, размышляя над фундаментальными проблемами политической философии, отчётливо осознавали, что делали.

Блестящая трактовка событий Л.Н. Гумилёва [106, с. 228], переданная в форме заочного диалога колонии и метрополии, такова: «...колонисты вовсе не хотели отделяться от Англии, которая их выгнала, которая их преследовала; которая привязала их учителей к позорному столбу, и тех забрасывало грязью простонародье; где их сажали на галёры, или в тюрьмы, или ссылали на каторгу. Тем не менее они совершенно не хотели отделяться от Англии. Они только требовали себе равных прав с англичанами, то есть представительства в парламенте, и соглашались платить все налоги, которые платят англичане. А отчего им было не платить – денег у них было много.

Но англичане из-за своего традиционализма сказали: “Нет, у нас есть определённое количество графств, которые присылают определённое количество депутатов в парламент, и менять это незачем. Раз вы уехали, так там и живите”.

“Да, – говорят колонисты, – но, согласно вашим же английским законам, платить англичанин может только те налоги, за которые проголосовал его представитель, а у нас нет представителя; значит, вы с нас не можете брать никаких налогов”.

Англичане говорят: “Да! Но мы же вас защищаем от французов, от испанцев, от индейцев”.

Колонисты отвечают: “Ну и что! Вы обязаны нас защищать, мы ваша страна, а платить мы можем только то, за что проголосуют наши депутаты, дайте место в парламенте!”.

Англичане думали, думали и сказали: “Ладно, не платите, только мы введём маленький налог на содержание флота – один пенс пошлины на фунт чая”.

И чай, который должен был стоить два пенса за фунт, стал стоить три. Эта фраза “Чай стоит три пенса за фунт” и стала паролем для повстанцев в день знаменитого “Бостонского чаепития”. То, что чай стал стоить три пенса за фунт, значило: “Бей англичан!”

Вот таким образом ради сохранения своего этнического стереотипа поведения американские колонисты пошли на политическое отделение, и англичане вынуждены были примириться с потерей богатейшей колонии только потому, что они не могли переступить своего обычая, своих привычек, своих традиций. Ибо ни один член этноса не мыслит, как можно поступать иначе, чем он привык с самого детства».

Лишь через полтора века стали очевидны те истины, на основе которых вершилась Американская революция: ликвидация колониальной зависимости, устранение феодальных пережитков, утверждение новых принципов и форм организации политической власти. Последнее имело решающее значение. Как заявил в 1792 году Томас Пейн: «Независимость Америки, рассматриваемая только как отделение от Англии, была бы делом небольшого значения, если бы она не сопровождалась революцией в принципах и практике управления» [248, с. 7]. Следует признать, что «разогревающими» факторами преобразований в Америке были не только политические и идеологические, а религиозные (притеснения со стороны англиканской церкви), социальные (очевидная статусная «второсортность» по отношению к жителям метрополии) и экономические (запреты на свободное владение землёй, ограничения на торговлю и занятия ремёслами, высокие таможенные пошлины и налоги). Указанные предпосылки имеют мало чего общего с французской ситуацией. Впрочем, как и все остальные.

Отмеченные различия послужили причиной переосмысления европоцентристской традиции. Это касается в данном случае не выявления различий между Западом и Востоком, а нового прочтения связей между Европой и Америкой. Реальные социально-исторические особенности судьбы американской нации позволяли говорить о своеобразии США. Суть проблемы, по мнению П.С. Гуревича [181, с. 223], заключается в следующем: действительно ли эти специфические черты истории континента привели к рождению особой культуры, противостоящей европейской, как думали многие мыслители, или здесь складывались лишь модификации последней?

Постановка вопроса логична. Некоторые философы Старого Света (Местр, Бёрк, Токвиль), приглядываясь к переменам, которые происходили на американском континенте, усматривали в этих нововведениях прообраз принципиально иной цивилизации, не только решительно опережающей европейскую, но и ценностно несоизмеримой с ней. В свою очередь, реформаторы Нового Света (политики-практики, а не философы), подхватывая эту установку, развивали всевозможные мессианские идеи, согласно которым США выступали в роли «спасительницы» древней Европы, «поводыря человечества», цитадели самых передовых общественно-политических институтов. В такой системе рассуждений Европа оказалась воплощением исчерпавшей себя цивилизации.

Однако культурные узы Европы и США порождали и противоположный ход мысли, когда энтузиазм по поводу социальных и экономических преобразований на новых землях сменялся недоумением и разочарованием в американском мессионерстве, особенно – в культурно-духовном развитии. Взоры обращались вновь к «просвещённой и традиционалистской Европе». Тогда и стали различать «собственно европейские» и «собственно американские» проблемы. Америка более не рассматривается как форпост

Европы, её культурно-историческое своеобразие наводило многих на мысль о том, что именно в Новом Свете разыгрывается какая-то новая драма истории, выявляется специфический потенциал человеческого духа.

По мере развёртывания истории западного мира всё чаще стали возникать сомнения по поводу принципиальной самобытности США. Может ли страна претендовать на целостность и оригинальность, если сама сложена из разнородных элементов? Способен ли «плавильный тигель» из множества своеобразных этносов, культур, религий, языков создать нечто единое и самобытное? Опираясь на факты, можно сказать, что со второй половины XIX века жизнь Нового Света мало чем отличается от европейской. Свидетельство тому – расширяющаяся торговля и привязка на мировые валюты, активное участие США в двух мировых войнах, создание с европейцами общих экономических, политических и военных союзов, признание английского как языка межнационального общения и многое другое.

Попытки раскрыть неповторимость Америки, доказать её своеобразие, принципиальное отличие от Европы то и дело приводили к противоположным результатам. Свообразие Штатов усматривали прежде всего в том, что они дальше, чем Европа, продвинулись по пути технического прогресса, динамизма, преобразований. Иными словами, восприняв эту европейскую по своему происхождению идею, американцы оказались более последовательными в её реализации. Американоцентризм стал рассматриваться как последовательно проведённый европоцентризм, судьба Штатов – как бы второе дыхание Европы, в которой реализация любых современных установок вызывает мучительные кризисные процессы, столкнувшись с многовековым грузом духовных традиций.

4.2 Общественное мнение, массовые коммуникации и народное законоотворчество в эпоху конституционных преобразований

Выясняются причины формирования «общественного мнения» в период Просвещения. Показаны нарастающее значение средств массовой информации и конституционного утверждения свободы слова, эволюция и прогресс книгопечатания. Решается извечная проблема соотношения и противостояния власти и печатного слова. Рассмотрен характерный эпизод с американским «Федералистом», решительным образом повлиявшим на конституционное развитие США. Из выдающейся плеяды отцов-основателей особо подчеркнута роль Томаса Джефферсона – политика, просветителя, государственного деятеля. Объясняется значение свободы прессы для проведения прогрессивных реформ. Как противоположность американской ситуации изучен французский опыт времени революции. Выявляются причины активного воздействия новых средств массовой коммуникации на ход законодательных работ. Определяются контуры нового информационного пространства европейско-американской политики.

Идея «писаного закона», получившая окончательное оформление в виде первых европейских конституций, вызревала со всей очевидностью всю эпоху Нового времени. Усложнившиеся общественные отношения предполагали совершенно иной порог грамотности населения, ведь интенсивные политические и научные дискуссии (особенно в период Просвещения) велись в книгах, журналах, брошюрах, газетах. Формируется такой феномен, как «общественное мнение».

Его следует понимать как «антоним ритуализированной публичной сферы светской и церковной власти в Средневековье и как антоним сферы власти, которая принадлежала

только монарху либо тайной кабинетной политике» (перевод наш. – А.П.) [188, с. 610]. Вольтер, обращаясь к третьему сословию, стал в XVIII веке создателем современного общественного мнения. Используя средства массовой информации, он апеллирует к воображаемому гражданскому обществу, предлагая себя в качестве ведущего защитника прав человека и самого изобретательного поборника реформ. В Англии 80-х годов XVIII века кампания против рабовладения и работорговли оказалась успешной, с точки зрения Ниала Фергюсона [152, с. 174], исключительно благодаря общественному мнению, формируемому методистской протестантской конфессией, газетами, внепарламентскими движениями. И всё это – дань свободе слова, провозглашённой на конституционном уровне и защищаемой независимыми судами.

В результате прогресса книгопечатания и родилась пресса в её современном понимании. Эта «техническая революция» сыграла важнейшую роль в революциях социально-политических. Во Франции в 1986 году праздновалось 400 лет со дня рождения Теофраста Ренадо (Theophraste Renavdot), который создал в 1631 г. первую французскую газету «La Gazette» (с 1762 г. – «La Gazette de France»). В Германии первая газета появилась в 1609 г., в Англии – в 1621 г. («Weekly News»), а первая ежедневная газета «Daily Courant» увидела свет в 1702 году [108, с. 93]. В Америке «25 сентября 1690 г. Джеймс Хэррис, владелец книжного магазина и кофейни в Бостоне, выпустил первую североамериканскую газету, которая представляла собой четырёхполосное издание малого формата и называлась *“Публичные происшествия, как иностранные, так и местные”*. Первый её номер оказался также и последним: указом губернатора Массачусетса от 29 сентября 1690 года она была запрещена со всеми “нелицензированными публикациями”» [80, с. 547]. Кстати, французское слово *gaz* было введено в оборот в XVII веке голландским учёным Ван Гельмонтом, предположительно [3, с. 135] – от греческого слова «хаос». Понимать сие можно по-разному.

Образовательный уровень европейцев стремительно повышается, увеличивается количество университетов, появляется слой интеллектуально подготовленных светских людей (да и простым бюргерам, не интересовавшимся ходом идеологических преобразований, по понятным экономическим причинам необходимо было уметь читать и писать). Почему так произошло?

С точки зрения современного шведского автора Э. Аннерса [76, с. 228], занимающегося историей европейского права, технической предпосылкой для распространения образования и науки, политических дискуссий XVIII века явились изобретение и бурное развитие книгопечатания. От тягостного, долгого и дорогостоящего размножения рукописей через их переписку люди перешли к техническому методу, создав первые в мировой истории средства массовой информации (мы знаем, что книгопечатание и газеты были и в Китае, но там они создавались и культивировались для совершенно других целей). Чтобы использовать возможности новых средств коммуникации между людьми, которые предоставляло книгопечатание, предполагалось, что индивиды, в свою очередь, должны уметь читать и писать.

Со времён Гуттенберга «печатное слово становится средством распространения мыслей и воздействия на них» [108, с. 293], а люди, которые умели читать и писать, выделились в отдельную категорию – образованных людей. Это изменило их отношение к власти. Книгопечатание и массовые тиражи позволили вести между собой письменные дебаты Босюэ и Жюрье, Вольтеру и Руссо, Джефферсону и Гамильтону, С. Джонсону и Босуэллу, Морелли и Беккариа, Факинеи и Дидро, Гриму и Л'Аверди. Эта мода перекинулась и на Североамериканский континент.

В истории конституционализма нет более яркого и показательного примера того, как общественно-политическая мысль, выраженная печатным словом, повлияла на ход

истории, чем эпизод с американским «Федералистом» – периодическим изданием США 1787–1788 годов. Всё началось с объявления о созыве Учредительного собрания (Конституционного конвента) для усовершенствования «Статей конфедерации». В ходе заседаний Конвента была изготовлена новая Конституция для единого государства, а основные споры развернулись по вопросу о роли центральной власти. Они были настолько ожесточёнными, что часть делегатов покинула Конвент в знак несогласия с предметом обсуждения. Тем самым возникла большая неуверенность в том, что проект соберёт необходимое большинство голосов – 9 из 13 штатов. Отсюда развернулись интересные нас события.

Сторонники проекта (или «федералисты») решительно и очень умело повели кампанию за принятие Конституции с сильной центральной властью, но при условии признания разделения властей: «С осени 1787 г. по март 1788 г. в ряде нью-йоркских газет появляется серия очерков под псевдонимом “Публиус”. Затем они выходят в виде двух книг под названием “Записки федералиста”. Их авторами были А. Гамильтон, Дж. Джей и Дж. Мэдисон. Сила аргументации, точность и глубина анализа “Федералиста” в немалой степени способствовали успешному прохождению проекта Конституции через конвенты штатов. По сути “антифедералисты” так ничего и не смогли противопоставить проекту новой Конституции» [248, с. 22].

В полугодовом промежутке три активных участника составления проекта выступили в массовой печати в защиту Конституции, однако скрыли свои подлинные имена под псевдонимами. Как пишет В.Г. Графский [14, с. 439], они назвали себя именем древнеримского защитника республиканского строя, действовавшего в переломный момент римской истории, который наступил после изгнания царя Тарквиния Гордого. А имя его – Публиус Валерий Попликола (о нём можно прочесть в «Сравнительных жизнеописаниях» Плутарха [267]). В итоге защитники проекта – А. Гамильтон (интимный друг Дж. Вашингтона), Дж. Мэдисон (будущий «архитектор американской конституции» [132, с. 224] и автор Билля о правах 1791 г.), Дж. Джей – написали за восемь месяцев 85 статей. Впоследствии эти статьи были изданы отдельным сборником под названием «Федералист» и стали настольной книгой для многих поколений американских и европейских государствоведов.

В соответствии с духом эпохи в юридическом сборнике «новые принципы и подходы к государственному правлению были тут же прокомментированы ведущими правоведами страны» [268, с. 40]. И не только. Судя по публикациям, «отцы-основатели» исполняли свой мессианский долг перед человечеством: «...кризисный период, который мы переживаем, можно считать временным, когда нужно принять решение и неверный выбор нашей роли вполне можно считать бедой для всего человечества» [269, с. 568]. Если принять во внимание, что Конституцию США копировали затем во всём мире и во все времена (нечто очень похожее воспроизвелось в Беларуси 1994 года), то эти реформаторы-учредители не ошибались.

Отдадим должное «разработчикам действующей Конституции США, критически переосмыслившим организацию государственной власти и систему сдержек и противовесов, на протяжении многих веков действовавшую в Англии. Не менее детально были проанализированы постулаты французских энциклопедистов...» [208, с. 43]. И всё это – на обозрение политической общественности через тиражные печатные издания! Роль «Федералиста» трудно переоценить. В начале XIX века А. де Токвиль убедился, что этот сборник представлял собой «законченный трактат о конституции. [...] Это прекрасное сочинение, которое, несмотря на то, что имеет отношение лишь к Америке, должно быть хорошо знакомо государственным деятелям всех стран мира» [80, с. 103].

Политическим оппонентом «Федералисту» выступал Томас Джефферсон – автор Декларации независимости США 1776 года и будущий президент (1800–1809 гг.) этого

государства, сделавший для свободы слова столько, как никто другой. (Что интересно, в 1809 году ещё не была введена конституционная норма, ограничивающая период пребывания Президента США у власти двумя сроками подряд, Джефферсон имел право баллотироваться в третий раз. Он, однако, предпочёл последовать примеру Дж. Вашингтона, заранее объявив в официальном бюллетене об отставке по окончании второго срока.)

В 1787 году Томас Джефферсон писал из Парижа Медисону: «И скажи, наконец, как лучше сохранить мир: отдать ли всю свою энергию правительству или информированию населения. Последнее является самым надёжным и самым законным орудием правительства. Дать целой массе людей образование и знания. Внушить им, что сохранить мир и порядок – в их интересах, и они будут их сохранять» [65, с. 411]. Для него непреложной нормой выступала свобода слова, дополняемая в век возникновения массовых газет свободной печати. Правда, акцент Джефферсон делал не на самой свободе печати, а на том, что в современном словоупотреблении принято называть «гласностью», т.е. гарантированной возможности для народа получать правдивую информацию по затрагивающим его вопросам.

При этом он подчёркивал прямую связь гласности с характером политического управления: «держат двери для правды открытыми» [270, с. 273] и укреплять обычай всё подвергать испытанию разумом – значит поставить надёжный заслон на пути движения к тирании. В письме к Эдуарду Каррингтону от 16 янв. 1787 года Джефферсон обронил фразу, ставшую впоследствии крылатой: «Если бы мне пришлось выбирать между правительством без газет и газетами без правительства, я бы без колебаний выбрал второе» [186, с. 156]. Ему приятно было бы узнать, что на сегодняшний день [108, с. 298] независимая американская пресса насчитывает 1660 ежедневных газет (общим тиражом в 63 млн экземпляров) и 7600 еженедельников, более 1200 журналов.

Еще с XVIII века американская пресса принципиально отличалась от континентальной, что сразу же увидел французский исследователь демократии в США А. де Токвиль: «В Америке нет централизации прессы [...]; американцы ни одно место в своей стране не сделали центром всеобщего руководства человеческой мыслью [...]. В Соединённых Штатах нет патентов для печатников, марок или регистраций для газет; наконец, отсутствует правило поручительства. Из всего этого следует, что издание газеты является там делом простым и лёгким; достаточно небольшого числа подписчиков, чтобы газетчик мог покрыть свои расходы; вследствие этого количество периодических или серийных изданий в Соединённых Штатах превосходит все ожидания, [...] практически нет местечка, даже совсем маленького, где не выпускали бы свою газету» [80, с. 152].

Наряду со свободой прессы «развитие образования как для всего народа, так и для будущих политических лидеров Джефферсон рассматривает как жизненно необходимое дело, вопрос выживания республиканского строя» [271, с. 165]. Кстати, Джефферсон одним из первых разглядел угрозу в том, что в «свободном обществе» человек далеко не всегда действует по собственному свободному усмотрению, поскольку те, кто обладает не предусмотренной в системе разделения властей «информационной властью», располагают всеми возможностями внушить гражданину какие-то идеи, определённым образом настроить его, направить его мысли, да и действия, в нужную для себя сторону. Так получилось, что Томас Джефферсон имел самое прямое отношение как к американским, так и французским событиям.

Этот выдающийся деятель эпохи конституционных преобразований категорически не воспринимал цензуру. Напомним, что всю раннюю прессу, которая развивалась прежде всего силами буржуазии в XVII–XVIII века, абсолютистская политика рассматривала как подчинённую государственно-церковной монополии. Как свидетельствуют Герхард В. Виткемпер и Юрген Белерс [1, с. 619], уже в рамках императорско-католической контрреформации была введена предварительная цензура (1529), индекс-

сы запрещённых изданий (1540), возможность запрета журналистской профессии и физические наказания, тюремное заключение и изгнание из страны. Есть и иная информация: «список запрещённых книг впервые издал в 1543 году Папа Павел III, первый официальный индекс был издан при Павле IV в 1559 году, а публикация прекращена только в 1948 году» [96, с. 577].

С кончиной феодализма и провозглашением идеи народовластия всё переменялось: «В стране, где открыто признаётся суверенитет народа, цензура не только опасна, она абсурдна. Когда каждому предоставляется право управлять обществом, нужно, следовательно, и признавать за ним способность делать правильный выбор в ряду различных мнений, волнующих его соотечественников, и давать правильную оценку происходящим событиям, знание которых может послужить руководством в его деятельности. Суверенность народа и свобода печати полностью соотносимы; цензура и всеобщее голосование, напротив, противоречат друг другу и не могут долго сосуществовать в политических институтах одного народа» [80, с. 150].

Так что начало газетного дела есть и начало борьбы за свободу прессы, которое было важным требованием всех буржуазных революций в XVIII и XIX столетиях: «Именно пресса своим бдительным оком выслеживает, а потом извлекает на свет божий тайные двигатели политики и вынуждает общественных деятелей поочерёдно представлять перед судом общественности. Именно она объединяет интересы вокруг некоторых доктрин и формирует кредо партий; именно благодаря прессе партии ведут диалог между собой, не встречаясь при этом; приходят к согласию, не вступая в контакт» [80, с. 153]. Свобода печати оказывает влияние не только на общественное мнение, но и на мнение каждого человека. Она способствует не только изменению законов, но и меняет нравы.

Как это чаще всего звучит из уст власти, свобода слова используется для недопустимого подстрекательства, манипулирования настроениями масс, вредного влияния на молодёжь, шокирования порядочных людей безнравственным поведением, подрыва авторитета правительства и сеяния раздора, одностороннего освещения только негативных явлений и т.п. «Эти точки зрения, – пишет А. Шайо, – покажутся, возможно, менее достойными внимания, если задуматься, что в случае ограничения в известной степени свободы выражения мнения каждый из нас оказывается под давлением, ибо никогда нельзя знать, какое мнение будет запрещено в следующий раз. Если мы не можем высказать то, что думаем, мы тем самым лишаем себя возможности самовыражения и самоутверждения» [272, с. 284]. Существует абсолютная истина или нет, факт остаётся фактом: ни одна эпоха, ни один учёный ею не владеет; мы можем лишь приблизиться к истине в ходе свободной дискуссии.

То, что без свободной дискуссии нет демократии (и наоборот), а без свободного формирования и выражения мнения разрушится вся конституционная система – хорошо знал Томас Джефферсон. После принятия Конституции в США был принят Закон об иностранцах и подрывной деятельности (1798), который запретил недобросовестную, скандальную или недоброжелательную критику в адрес правительства, которая может служить подстрекательством к неповиновению власти. Что важно отметить, будучи Президентом США, Т. Джефферсон не возобновил закон в конце срока его действия и распорядился о возмещении убытков осуждённым!

С той поры американские политики могут рассчитывать лишь на минимальную защиту в отношении политических дискуссий в печати. Наблюдательный А. де Токвиль по этому поводу заметил: «нельзя не признать, что политическое воздействие свободы печати имеет немалое значение непосредственно для поддержания общественного порядка. Вследствие этого те, кто уже занимает высокое положение в глазах своих соотечественников, не осмеливаются писать в газеты и, таким образом, теряют самое устра-

шающее оружие, которым они могли бы пользоваться с целью расшевелить себе на пользу народные страсти. Только в редких случаях они прибегают к помощи газет, когда хотят обратиться к народу и говорить от своего собственного имени: это случается, например, если о них распространяют клеветнические обвинения и они хотят установить истинное положение вещей» [80, с. 152]. Джефферсон многое сделал для того, чтобы пресса в Америке обладала огромным влиянием и оживила политическую жизнь во всех уголках обширной страны, он прекрасно осознавал, что «в Соединённых Штатах каждая отдельно взятая газета не имеет большой власти, но периодическая печать как таковая до сих пор является первой после народа силой» [80, с. 153]. Стоит добавить, что этот незаурядный человек прослыл самым рьяным поборником народного просвещения.

Исторические факты говорят о том, что все американские политики, в том числе и такие почитаемые, как отцы-основатели, а затем и президенты – Джордж Вашингтон и Томас Джефферсон, испытали на себе жало печати. Изначально в конституционной системе США печать занимала особое место, призывая правительственных чиновников отчитываться за свои действия и афишируя их просчёты, чтобы избиратели могли лучше оценить их деятельность. Свободная пресса, защищённая Первой поправкой, играет роль стража интересов демократического общества: она снабжает граждан информацией, необходимой им для того, чтобы самостоятельно составить мнение и выбрать государственных чиновников по своему усмотрению.

Приверженность американцев свободе самовыражения берёт начало из колониальных времён, до того, как была завоёвана независимость и написана Конституция. Роберт С. Пек отсчёт берёт с 1735 года, когда состоялся суд над нью-йоркским издателем Джоном Питером Зенгером, обвинённым в «опубликовании ложной, скандальной и подстрекательской клеветы, которая резко и несправедливо оскорбляет прямого королевского представителя» [311, с. 13]. В своём издании Зенгер обвинял губернатора в коррупции и некомпетентности. По закону о клевете того времени Зенгер был признан виновным, но его адвокат подал апелляцию в суд присяжных с просьбой проверить справедливость обвинений, выдвинутых Зенгером, и выступить в защиту тех, кто говорит или пишет правду. Успешная защита в суде стала первым актом на стороне свободной печати, и эту приверженность Америка сохраняет по сей день.

Но важно вот что. Пресса в США изначально взяла на себя роль информировать публику о деятельности правительства и тем самым положила начало её открытому обсуждению. Да, журналисты находят источники информации в правительстве, чиновников, которым они доверяют и которые доверяют им, и тех, кто готов поведать «неофициально» о происходящем в действительности. Они используют «утечки», информацию, переданную им тайно недовольными правительственными служащими, которые хотели бы привлечь внимание общественности к недозволенной деятельности властей. Можно предположить, что основатели Соединённых Штатов предвидели вероятность сползания на определённом этапе правительства, пусть даже правительства с наилучшими намерениями, к авторитаризму. Как пишет Роберт Х. Истабрук, «правительства состоят из людей, а люди могут совершать зло. По этой причине авторы Первой поправки рассматривали прессу, несмотря на все присущие ей негативные стороны, в качестве элемента критики отводя ей роль, противоположную и отличную от функции правительства» [311, с. 33]. Иными словами, пресса и правительство не должны становиться институциональными партнёрами, они являются естественными противниками, обладающими различными функциями, и каждый из них должен уважать роль другого.

Бывают моменты, когда независимая пресса может стать сильнейшим раздражителем и препятствием для деятельности правительства, однако, это составляющий элемент цены свободы. Свободная пресса ответственна перед своими читателями и только

перед ними. Из этого проистекает, что независимая пресса должна противостоять любого рода давлению со стороны государственной власти, политиков, бизнесменов. Это понимали первые американские президенты, чего не скажешь о новоявленном 45-м Президенте США – Дональде Трампе.

Впервые в американской истории по его распоряжению представители некоторых СМИ не были допущены на пресс-конференцию в Белом Доме, а 24 февраля 2017 года во всеуслышание Трамп заявил, что «Нью-Йорк Таймс», «Лос-Анджелес Таймс», «Вашингтон Пост», каналы NBC, CNN, CBS и некоторые другие являются «врагами американского народа», поскольку распространяют о Президенте и его команде лживую информацию. Ему следовало бы знать, что ещё в 1966 году Конгресс США принял Закон о свободе информации (FOIA), а Верховный Суд с 1964 года принял ряд решений по обвинению в клевете, где встал на защиту свободных журналистов, а не государственных чиновников. Этот случай беспрецедентный. Исход противостояния обиженного Президента и четвёртой власти предсказуем, но необходимо возвращаться в век XVIII.

Отчётливо проявляет себя закономерность и в части того, что возникшие средства массовой информации стимулировали в значительной степени как научные дебаты, происходившие в европейском обществе, так и процесс образования. «С политической прессы, – уверен О. Шпенглер, – связана потребность во всеобщем школьном образовании. В ней наличествует совершенно бессознательное стремление подвести массы как объект политики к средству власти – газете» [96, с. 492]. (Теперь понятна программа вождя большевиков В.И. Ленина о поголовной грамотности крестьянства. Как же они будут читать коммунистические газеты и ленинские декреты?) Таким образом, *кампания в прессе* возникает как продолжение (или расширение) войны иными средствами. Успех в этих областях стимулировал, в свою очередь, дальнейшее развитие коммуникации.

Например, в эпоху Французской революции именно благодаря отлаженной системе журнально-газетного дела все важнейшие документы («Декларация прав человека и гражданина», «Декрет Учредительного собрания», «Конституция Французской Республики») моментально расходились по стране огромными тиражами. Общество тем самым реально было вовлечено в политические события, и любые перемены курса сразу же становились известны гражданам Франции. На постоянном «разогреве» было и общественное мнение. К моменту, когда «Национальное собрание объявило себя Учредительным, то есть таким, которое пишет и принимает законы, обстановка в Париже потихоньку накалялась» [61, с. 273]. По городу распространялись тысячи брошюр, высмеивавших королевскую власть, листовками и прокламациями были заклеены все дома.

Но здесь нюанс. Значительная часть подрывной литературы печаталась в Англии, а ведомством заправлял, кстати, Джереми Бентам. Мало кто вспоминает о том, что помимо научной деятельности этот разработчик стратегии «непрямых действий» служил в британском министерстве иностранных дел, которому подчинялась и служба внешней разведки. К тому же Бентам был одним из руководителей крупнейшей мировой корпорации – Ост-Индской компании. Не случайно после свержения французской монархии его в 1792 году произвели в почётные граждане страны. И впоследствии британская стратегия себя оправдала: «Производимое в массовом порядке и распространяемое по бесконечным пространствам печатное слово становится чудовищным оружием в руках того, кто с ним умеет обращаться» [96, с. 490]. Война против Наполеона, которая велась на французской почве из Лондона с помощью статей, листовок, подложных мемуаров, лишь повторила события десятилетней давности, когда свергли Людовика XVI, а по сути – устраняли самого могущественного конкурента в Европе. Но вернёмся к юриспруденции, которая была вброшена в массы.

Это был показательный эпизод для всей Европы. С точки зрения истории права такое развитие событий явилось значительным шагом вперёд, так как это выразилось

в прогрессе законодательной техники, а посредством публикации важнейших документов законодательство превратилось в более эффективное средство управления. Через напечатанные массовым тиражом тексты законов государственная власть могла общаться с социумом гораздо быстрее и шире, чем было раньше. Доходило до того, что законопроекты Французской революции выставлялись на обсуждение (!), причём в других странах (Италии, Германии, Австрии) последовали этому примеру. Идея состояла в том, что просвещённые сограждане смогли бы оказать помощь государственной власти в предоставлении информации о недостатках общества и о том, каким образом они могут быть устранены. Так впервые в истории Европы личность получила возможность влиять на условия законодательной работы.

Чезаре Беккариа в своём трактате «*О преступлениях и наказаниях*» (это название у него потом ловко «подобрал» Ф.М. Достоевский) так отозвался о сути происходящего: «Чем больше будет число понимающих и читающих священную книгу законов, тем меньше будет преступлений, поскольку совершенно очевидно: невежество и отсутствие ясного представления о наказаниях способствуют необузданности страстей. [...] Понятно поэтому, какую пользу принесло книгопечатание. Оно сделало широкую общественность хранителем священных законов, вырвав их из рук узкого круга лиц посвящённых, поскольку способствовало расцвету просвещения и наук. Их свет рассеял мрак, который бежит от этого лучезарного света в паническом страхе, хотя и с презрительной миной на лице. Книгопечатание способствовало тому, что в Европе стало меньше жестоких преступлений, заставлявших содрогаться от ужаса наших предков, которые бесконечно то тиранили других, то сами превращались в их рабов» [273, с. 81]. Но после оглушительной славы (связанной во многом с переводом работы на французский язык) по приезду в Париж у Беккариа отношения с французскими просветителями не сложились. Ну а потом, во времена якобинской диктатуры, когда смертная казнь, против которой так решительно боролся Чезаре Беккариа, достигла апогея, миланский философ увидел ту бездну, которая разверзлась между гуманистической утопией и практической её реализацией на французский манер.

Феномен «тиражного законодательства» не стоит идеализировать. Например, бурный рост законодательных работ времён Французской Республики и кардинальные перемены в политическом руководстве привели к тому, что произошла очевидная «девальвация» столь масштабной законопроектной деятельности и выразилось это в неисполнении и неверном понимании многочисленных революционных актов. Постепенно люди становились осторожными и всё более недоверчивыми. Обнаружилось, «что закон действует только тогда, когда он соответствует фактической социальной и экономической ситуации, на которую хотели бы воздействовать правом» [76, с. 229]. Согласитесь, пафосный и эмоциональный идеализм французских революционеров, «подогретый» взглядами Просвещения и естественного права, имел немного точек соприкосновения с реальным состоянием дел. Но следует признать и тот факт, что сложившаяся новая система коммуникаций создала все предпосылки для кодификационных работ в Европе XIX века и появления многочисленных конституций.

Функции и воздействия, характерные для нового информационного пространства, можно определить типологически: 1) функция установления гласности; 2) функция политической социализации; 3) функция контроля в отношении существующей политической системы; 4) общая образовательная и воспитательная функции. Взаимодействие политики, массмедиа и общественного мнения выходит на качественно иной уровень — со всеми достоинствами и недостатками. Как пишет О. Шпенглер, «европейско-американская политика с помощью прессы создала простирающееся на всю Землю силовое поле духовных и денежных напряжений, включённым в которое, да так, что он это не осознаёт, оказывается всякий отдельный человек, обязанный отныне думать, же-

лать и действовать так, как полагает целесообразным некая личность, господствующая где-то в дальней дали. [...] Всякое “я” делается чистой функцией колоссального духовного “нечто”» [96, с. 490]. На континенте события достигли апогея в беспокойной Франции.

Революционные преобразования во Франции и принятие актов конституционного значения можно и нужно рассматривать в качестве результата взаимодействия трёх факторов – политического требования реформ эпохи Просвещения, метода рационалистического естественного права в трактовке Ж.-Ж. Руссо и *влияния новых способов общения между людьми, выразившихся в изобретении книгопечатания и появлении массовых тиражей книг, газет, журналов*. Наверное, события того времени и подвигли многих заговорить о средствах массовой информации как четвертой «ветви власти». Режимы, претендующие на роль демократических, вынуждены поддерживать свободу прессы.

Во Франции статья 11 Декларации прав человека и гражданина от 26 августа 1789 года устанавливает: «Свободное сообщение другим мыслей и мнений есть одно из драгоценнейших прав человека; поэтому всякий гражданин может свободно высказываться, писать, печатать, неся ответственность за злоупотребления этой свободой в случаях, установленных законом» [274, с. 136]. Первая поправка к Конституции США есть подтверждение свободы слова и печати: «Конгресс не должен издавать ни одного закона, [...] ограничивающего свободу слова и печати...» [198, с. 40]. Но не зря в Декларации прозвучала оговорка о злоупотреблениях свободой слова.

Во времена французских событий пресса явила и обратную, отвратительно-неприглядную свою сторону. Апогея это достигло в революционной практике якобинцев, запустивших чудовищную машину самой грубой лжи и агрессивной пропаганды благодаря умелому манипулированию через СМИ. Философ С. Кьеркегор (1813–1855) здесь уместен и точен: «После изобретения печатного станка дьявол поселился в печатной краске...» [275, с. 234]. Верно сказано [80, с. 150], что пресса является той необыкновенной силой, где странным образом перемешано хорошее и плохое, без которой свобода не сумела бы выжить и из-за которой порядок с трудом удерживается.

Обратимся в этой связи к исследованиям О. Кошена: «Циркуляры якобинцев – это всего лишь серия сигналов тревоги: именно по степени беспокойства они оценивают силу общественного мнения. Вот несколько строк из отчёта Сен-Жюста, которые дадут представление о чудесах, совершённых в том же роде: “В 1788 г. Людовик XVI велел умертвить 8 000 человек всех возрастов и обоих полов в Париже, на улице Меле и на Новом Мосту. Суд повторил это на Марсовом поле; суд вешал в тюрьмах; утопленники, которых вытаскивали из Сены, были его жертвами; было 4 000 заключённых; в год вешали 15 000 контрабандистов; колесовали 3 000 человек”, “в Париже было больше узников, чем теперь” (26 февраля 1794 г.). Это сказано с трибуны Конвента, одобрено, отпечатано и разослано в меньшие коммуны; а общества истолковывают и приукрашивают; а братья всему верят; и никто с сомнением не пожмёт плечами: это значило бы рисковать головой» [120, с. 196]. Эффект был достигнут. Сомневающиеся замолчали навсегда, а надлежащим образом возбуждённая толпа готова была верить вождям революции во всём и бежать за ними, как того от неё и ждали. Мир стоял на пороге грандиозных перемен.

Можно утверждать, что «общественное мнение» и публичная сфера в целом были в XVIII веке той областью жизни социума, в которой ранняя буржуазия и интеллигенция начали стремительно дистанцироваться от церкви и абсолютистско-монархической власти. Право на легитимность признавалось теперь уже не за предписанной монархами и церковью неизменной правдой; руководством к действию выступали жизненные принципы, которые разрабатывались в рациональной публичной дискуссии просвещённых граждан. Вместо постылого насилия и насаждения мыслей предлагался кон-

сенсус свободно дискутирующих образованных людей. Так была создана необходимая духовно-интеллектуальная основа для развития современного конституционализма.

С тех пор «средства массовой информации влияют на политическую жизнь страны, [...] формируя общественное мнение. В то же время и традиционные виды власти контролируют и критикуют массмедиа через посредство тех же массмедиа, в противоположном случае вмешательство властей является санкцией, исполнительной, законодательной или судебной; а это может происходить, только когда массмедиа нарушают правопорядок или расшатывают политическую или государственную стабильность» [116, с. 82]. Но поскольку любые СМИ не должны пребывать вне критики, неоспоримое условие демократии – чтобы печать периодически ставила под вопрос самое себя, оставаясь несвязанной и непредвзятой. Только тогда свободу печати можно рассматривать как естественное следствие, вытекающее из суверенитета народа.

4.3 Последствия и оценки революционных событий в Америке и Франции

Революционные преобразования и опыт первых конституций показаны в сравнительном анализе французских и американских событий. Основное внимание уделяется здоровым оценкам европейских консерваторов изучаемой эпохи Э. Бёрка, Л. де Бональда, А. де Токвиля, Ж. де Местра и представителей исторической школы права. В противоположность им – взгляды Р. Прайса, Т. Пейна, И. Форстера, К. Шубарта. Учено мнение современных мыслителей: Р. Нисбетта, Дж. Сола, П. Бьюкенена, М. Новака, И. Солоневича, И. Шафаревича. Акцентируются личностные факторы вождей французской и американской революций. Показаны особенности становления конституционных систем по «эволюционному» и «революционному» путям развития. Изучается феномен Конституции США. Показан масштаб выдающейся личности той эпохи – Т. Джефферсона. Устанавливается, каким образом развитие революционной ситуации и первые конституционные преобразования повлияли на политическую жизнь Речи Посполитой и Российской империи, дальнейшее развитие мировой истории.

Сравнительный анализ французского и американского опыта революционных преобразований и первых конституций показал, что эти события ярко высветили проблему соотношения разума и социальной действительности, разума и предрассудков, разума и традиции. Идеиные предшественники и деятели Французской революции активизировали радикальные и прежде всего буржуазно-демократические силы, стремившиеся покончить с сословным неравноправием и деспотизмом во многих странах Европы. В этот период возникает целая плеяда политических мыслителей и публицистов, находившихся под впечатлением от происходящих событий.

Но не все восторженно восприняли радикальные преобразования. В Англии это вызвало воинствующую реакцию правящих кругов, получившую наиболее яркое литературное воплощение в творчестве Э. Бёрка. Во Франции доктрину консерватизма отстаивали Ж. де Местр и А. де Токвиль. В Германии, где сохранялся феодальный строй, идеи и практика революции встретили ожесточённое отторжение. Политические и научные оценки «выставляла» историческая школа права в лице Г. Гуго, Ф.К. Савиньи, Г. Пухты. Уже тогда большинство мыслителей поневоле сравнивало французский и американский опыт, а споры о той эпохе не утихают и сегодня. История имеет свойство повторяться, и не всегда в виде фарса.

Два исторических документа были приняты летом и осенью 1789 года в разных странах с перерывом всего в один месяц: Французская Декларация прав человека и

гражданина – 26 августа, американский Билль о правах – 25 сентября. Оба основывались на доктрине естественного права и других философских источниках Просвещения в то время, когда французский и американский подходы были близки и совместимы. Конституция США была принята в 1787 году, а французская – в 1791, но всего лишь четырёхлетний «зазор» выявил всю разницу в развитии событий. Совсем скоро пути двух революций разойдутся окончательно, но их предыстория и взаимопереплетения представляют исключительный интерес для констатации вынесенного в заголовок «POSTFACTUM».

Ранний период франко-американских отношений был сложен и даже в чём-то парадоксален, отмечает Х. Синкотта [276, с. 20]. В 1776 году, в момент американской революции, Франция была как центром просветительской мысли, так и домом наиболее могущественной монархии Европы Бурбонов и их блистательного версальского двора. Тем не менее Франция заключила военный союз с взбунтовавшимися американскими колониями, чтобы одолеть общего врага – Великобританию. Для французских подданных «старого режима» Америка стала воплощением, пусть не абсолютным, их просветительского идеала свободы от цензуры, естественного права и рациональной реформы правительства. Вернувшиеся из Северной Америки добровольцы, сражавшиеся на стороне колонистов (среди них был и Тадеуш Костюшко – национальный герой Америки, Франции и Речи Посполитой), своими рассказами смущали умы чрезвычайно. Оказывается, люди могут жить и без короля, церковников и дворян – в растревоженной Франции начинается закономерное революционное брожение. Процесс пошёл.

Что удивительно, идеологи Французской революции «игнорировали» уже имевшийся позитивный американский опыт. Например, самая популярная брошюра предреволюционной Франции «*Что такое третье сословие?*» аббата Сийеса [247] ни словом не упоминает американские прогрессивные нововведения (Декларацию прав, Конституцию, Учредительное собрание), которые точь-в-точь предлагает создать во Франции её автор – один из самых влиятельных политических лидеров. Тому есть свои объяснения, но сейчас не о них.

Отметим важный момент. «Существует расхожее представление, – пишет Дж.Р. Сол, – что революция во Франции вызвала гораздо более сильные изменения в обществе по сравнению с американской. Последующая нестабильность положения во Франции, как полагают, стала результатом этих резких изменений. Но если мы говорим о глубоких социальных изменениях, то анализ ошибочен. *Во Франции реальная революция уже происходила постепенно, в течение предыдущих двадцати лет*» (курсив наш. – А.П.) [65, с. 91]. Автор убедительно доказывает, что новый интеллектуальный и административный класс во Франции задолго до революции формировался в духе рационализма, свидетельством чему явились военные и финансовые реформы.

Что касается божественного происхождения королевской власти, против чего официально и выступила Революция, то в эту сказку уже давно никто не верил (слабохарактерный и глупый пьяница Людовик XVI – помазанник Божий?). Да и как в это можно было верить, когда большинство представителей правящей элиты едва верило в Бога. Вполне понятно, что они не верили в активного, практикующего Бога. В политическом отношении Франция была абсолютно «дремучим» государством: Генеральные штаты бездействовали, да и не собирались со времён Людовика XIV. Был ли вообще какой-либо реальный просвет в такой ситуации?

Спустя десятилетие американцы (ревностные христиане-протестанты) восторженно приветствовали начальную фазу Французской революции – созыв Генеральных штатов, штурм Бастилии и создание Национального собрания. Однако возгласы радости быстро смолкли с казнью Людовика XVI и наступлением царства террора. Консервативное федералистское правительство в Вашингтоне было потрясено насилием:

«Во Франции были посеяны зубы дракона, и они взошли монстрами», – приблизительно так воскликнул второй Президент США Джон Адамс. А мы напомним, что революционеры являлись лишь продолжателями процесса, а не его инициаторами.

В то же время зарождающаяся политическая оппозиция в Соединённых Штатах, руководимая Томасом Джефферсоном, продолжала ещё какое-то время поддерживать французский республиканизм. Идеализация Америки французскими реформаторами сменилась идеализацией Франции американскими республиканцами. Но якобинский кошмар отрезвил всех. В письме к Джефферсону деятельница французского Просвещения мадам д'Идето писала: «Характерное различие между вашей и нашей революциями состоит в том, что вам нечего было разрушать, и потому вы не принесли никакого ущерба» [276, с. 20]. Конечно, французская и американская революции разительно отличаются друг от друга, но Билль о правах и Декларация прав человека и гражданина провозгласили права и свободы личности, сохранившие своё значение и сегодня, когда во многих странах конституционный процесс ещё ждёт своего продолжения.

Французский политолог и государственный деятель Алексис де Токвиль, размышляя над тем, почему в Новом Свете демократические политические институты развиваются столь стремительно и успешно (с этой целью он совершил многолетнюю поездку в США), а в Европе этот процесс медленный и мучительный, пришёл к выводу, что эмигранты из Старого Света начинали отстраивать свою жизнь, не обременённые старыми предрассудками, поэтому «...обосновавшись в Америке в начале XVII века, они каким-то образом смогли отделить демократические принципы от всего того, против чего они боролись в недрах старого общества Европы, и сумели перевезти эти принципы на берега Нового Света. Там, произрастая свободно, в гармоническом соответствии с нравами, эти принципы мирно развивались под сенью законов», а в Европе было уничтожено всё ценное от прошлых времён, кроме пороков старых предрассудков, в результате чего «честные и просвещённые граждане стали врагами всякого прогресса ... а люди, лишённые нравственности и чувства патриотизма, объявляют себя апостолами цивилизации и просвещения» [80, с. 34, 33]. События в Америке он называл великой демократической революцией.

Токвиль отмечал уникальность Французской революции, но отрицал наличие какой бы то ни было связи между нею и Американской революцией. Аналог первой он видел в религиозных бунтах прошлого, разрушениях и массовых убийствах, а второй он всегда приписывал политически прогрессивный характер. Он отмечал, что Французская революция, без сомнения, самая оригинальная по своему языку и символике. Своими декларациями, манифестами, преамбулами к законам, красноречием строф и яркими образами, которые должны были дойти до каждой городской площади, она продемонстрировала совершенно новый тип революции. Токвиль обвинял французских революционеров в отсутствии практического политического опыта, интереса к истории, увлечении прожектёрством.

Будучи консерватором, он был последователен в своих взглядах всю жизнь. Напомним, что «для консерваторов не бывает прав естественных, данных от природы, все права индивидуума на деле производны от законов, из чего и вытекает необходимость принимать такие законы, которые были бы идентичны для всех и адекватно воспринимались всеми индивидуумами. Как только применение закона попадает в зависимость от тех или иных обстоятельств или категорий, он перестаёт заслуживать имя закона» [114, с. 40].

К моменту написания своих трудов (середина XIX века) Токвиль располагал обширной библиографией, описывающей события в Европе конца XVIII века. Без труда можно определить первого автора, давшего анализ предпосылок и основных событий Французской революции. Уже в 1790 году в Англии Эдмундом Бёрком написана работа «Рассуждения о французской революции». Современный автор Р. Нисбетт заметил, что

«в истории философии тяжело найти систему идей, которая бы настолько сильно зависела от одного человека и одного события, как современный консерватизм зависит от деятельности Э. Бёрка и его горячей реакции на Французскую революцию» (перевод наш. – А.П.) [277, с. 9].

Применительно к нашему предмету исследования взгляды Бёрка представляют ценность и потому, что он постоянно сравнивает французский и американский опыт, соотнося его с английской политической традицией. Искренним последователем Бёрка был А. де Токвиль, но многие идеи были им творчески переработаны. В своей книге *«Размышления о революции во Франции и заседаниях некоторых обществ в Лондоне, относящихся к этому событию»* [260] Бёрк сразу же недвусмысленно высказывает негативное отношение к Французскому Просвещению и самому Руссо, чей талант Бёрк признавал, но моральные и политические взгляды которого считал в высшей степени недопустимыми. Вышедший в печати трактат многие нарекли «политическим евангелием всех врагов революционного движения во Франции и теоретиков реставрации» [278, с. 160]. Наиболее отчётливо это проявилось в полемике Э. Бёрка с И. Форстером (1754–1794) – одним из выдающихся литературных и культурных деятелей Германии XVIII века. Как и многие в Европе, И. Форстер с недалёковидным энтузиазмом воспринял революцию.

Например, в письмах к Гейне (другому, поэт ещё не родился) июля 1789 года он пишет: «Радостно видеть то, что философия взрастила в умах, а затем осуществила в государстве; да и не было ещё примера, чтобы столь полная перемена стоила так мало крови и опустошения. Стало быть, это всё же вернейший способ разъяснить людям их подлинную выгоду и права; остальное тогда произойдёт как бы само собой...» [278, с. 419]. Поразительно, что и после якобинского террора И. Форстер так ничего и не понял. В письмах к жене от 24 октября и 6 ноября 1793 года этот «просвещённый», но не прозревший мыслитель убежден: «...Теперь мы уничтожили Вандею и так будем истреблять всё, что станет нам сопротивляться. [...] Лава революции льётся величественно и ничего более не щадит. Кто может остановить её? [...] Если ты поймёшь, что революция является поводом и подготовкой к лучшему будущему, то тебя не смутит то, что в ней есть ужасного» [278, с. 457]. Многие незаурядные умы Европы находились в стадии помешательства, но Э. Бёрк был последователен и пребывал в общественно-интеллектуальной оппозиции. Его непреклонность поспособствовала тому, что «в либеральной Англии весь XIX век парижская Революция оставалась под ударом. [...] Её так и не приняли; она неизменно оставалась по преимуществу отрицательной величиной» [31, с. 31].

Когда Бёрк выступил с призывом воевать «единым фронтом» против Французской революции, его обвинили в беспринципности. Дело в том, что ранее он горячо поддерживал колонистов Америки и других борцов против тирании, а сейчас недоумевали, почему им отрицается право французов освободиться от монархического деспотизма. Бёрк же доказывал, что Американская революция отвоёвывала свободу для реальных людей, которые живут по своим традициям и обычаям, от «деспотической власти» британского правительства (то же самое он говорил в отношении ирландцев и индийцев).

Якобинцев он считал агрессорами для истории и традиций Франции. Действуя как «завоеватели», они учиняли насилие над французским народом как «оккупационное войско», создавая прототип «Революционного Человека» (напомним, что работа была написана в 1790 году, то есть до периода массового террора). В это время даже в Англии (Р. Прайс, Т. Пейн) имело место мнение о том, что Французская революция по существу повторяет революцию Американскую, поскольку обе их характеризует борьба за свободу против угнетения. Однако Бёрк был непреклонен. Он доказывал, что Французскую революцию определяла скорее борьба за абсолютную власть, чем за свободу; её вели политические доктринёры, которых, в отличие от американских реформаторов,

общество вообще не интересовало. Через 100 лет позицию Бёрка поддержал О. Кошен, развеявший миф о якобинском патриотизме: «У этого политического энтузиазма два вида: самопожертвование ради идеи, которую пламенно принимаешь, – это вера; и принесение в жертву этой идее других людей – это фанатизм. Якобинский патриотизм – второго вида. Никогда и никакое политическое рвение не ценило так мало человеческие жизни – и в то же время веры не становилось больше: напротив, её нет. [...] Якобинский патриотизм – лишь ветвь философской морали, [...] основанной на великом принципе самолюбия» [120, с. 230–232]. Как и английский философ, Кошен особое внимание уделяет источникам и методам изучения актов революционного правительства.

По мнению Бёрка, тотальный и глобальный характер Революции наиболее полно проявился в законах, направленных на разрушение либо значительную трансформацию традиционного общественного строя и одновременно на заполнение того вакуума, который может возникнуть в результате изменений в государственной политике. Но ещё более опасным является неприкрытое желание якобинских лидеров распространить «пламя революции» на всю Европу, а затем и на весь мир. Он подчёркивал, что война должна вестись не с Францией, а с якобинством, от которого не отгородишься стеной. Как же всё это напоминает 1917 год, только якобинство сменилось большевизмом, а в остальном – то же самое: «Многие жестокие ухватки Французской революции были ученически повторены на теле России коммунистами-ленинцами, интернационал-социалистами – только их организованность и системность были много выше якобинских» [279, с. 460].

Многих европейских интеллектуалов развитие событий во Франции заставило изменить своё мировоззрение. Например, Кристиан Шубарт (1739–1791), поэт, мыслитель, журналист, в 1789 году восторженно приветствовал начало революции во Франции, последовательно отмечая в своей хронике её успехи. Но уже в 1790 году в статье «Всеобщий заговор» от эйфории ничего не осталось, только – горечь и отчаяние: «Говорят, что план такого заговора состряпан в аду Адрамелехом и Молохом, передан клубу пропаганды в Париже и теперь будет распространён по всей Европе.

Свобода и равенство – главные колёса этой адской машины. Обманщикам народа нужны эти приманки, чтобы подстёгивать обезумевших глупцов, которые должны разрушить всякий порядок и в своём ослеплении стать политическими самоубийцами. Обманщиков легко узнать по тому, что они высмеивают религию и законы и, как немецкие крестьяне в эпоху злополучных крестьянских войн, проповедуют общность имущества. Итак: долой финансы! долой религию! долой законы! Мудрый, благочестивый и честный станут добычей проходимцев, богохульников и плутов! Этот адский замысел имеет целью смутить всю Европу, пошатнуть все троны, сломать все скипетры, опрокинуть все права, а самими исполнителям поможет избежать осуждения и смерти во всеобщем пожаре.

Сотни раз писали мне об этом из Германии и из Франции, и я не верил. Я читал это напечатанным чёрным по белому и не верил: таким одержимым я не мог представить себе человечество. Но теперь я убеждён, что такая чёрная банда действительно существует, что они, подобно дьяволам Мильтона, собираются в пандемониуме и похваляются друзьями во всех европейских странах. И теперь на мне лежит долг предостеречь многочисленных читателей моей хроники от этих дьяволов, которых узнают по серному запаху, и снова призвать немцев, моих дорогих братьев, чтобы они превыше всего ставили религию и общественный порядок и, под сенью мягких законов, жили тихо и спокойно, блюдя благочестие и пристойность» [278, с. 137–138]. Как видим, для умственно-духовного перерождения К. Шубарта – от наивного социалиста к законченному консерватору – хватило одного года.

Во время революции многие представители французской элиты эмигрировали в Германию, одним из них был Луи Габриэль Амбруаз де Бональд (1754–1840), последовательно отстаивавший традиционалистскую концепцию государства и права [132,

с. 270]. Его главное сочинение «*Теория политической и религиозной власти в гражданском обществе*» (1796) было написано в немецком Гейдельберге. Характерный эпизод. Избранный пэром Франции в 1820 году, он отказался от этого звания в 1830 году, чтобы не приносить присяги власти, «рождённой на баррикадах», и сохранил за собой титул члена Французской академии. Он очень много писал, редактировал с Шатобрианом ряд консервативных газет. В его трудах консервативная мысль стала системой, где религиозные, социальные, политические, правовые аспекты рассмотрены в неразрывной взаимосвязи.

Революцию Бональд осудил сразу, видел её лишённой всякого смысла. Он был уверен, что старый порядок имел солидную институционную и традиционную базу для широкого политического обновления французского общества без жертв и крови. Идеализируя королевскую власть, Бональд всё больше впадает в крайности, предпочитая не видеть и не понимать того, что старым порядкам приходит конец не только в горячо любимой им Франции, но и во всей Европе. Его последователи обнаружили лишь в Российской империи, столетием позже пережившей трагедию, сродни французской конца XVIII века. От де Местра взгляды Бональда отличались тем [185, с. 122], что последний рассматривал общество как функциональную целостность, тогда как теократ де Местра в отношениях между людьми видел склонность к хаосу, который может прекратить лишь абсолютный правитель – страж всего общественного порядка.

Оценки консерваторов по существу проблемы не претерпели изменений и в наше время. Патрик Дж. Бьюкенен неумолим: «Франция вняла призыву бумагомарателей. Монархия рухнула. Людовик XVI, Мария-Антуанетта и французские аристократы отправились на гильотину. Церковь лишили имущества и разграбили. Разум восторжествовал над верой и привёл к сентябрьской бойне, террору, Робеспьеру и диктатуре, Бонапарту и империи, а также к затянувшейся на четверть столетия паневропейской войне, из которой Франция вышла обессиленной и раздробленной» [207, с. 361]. Современный, но уже либеральный мыслитель А.П. Никонов [280, с. 15] напоминает о том, что великая польза революций состоит в том, что они провозглашают многое из того, что придумывают великие гуманисты и просветители. Они открывают миру новые горизонты, ставят красивые идеи и создают социальные лифты, возгоняющие молодые таланты. А великий ужас революций состоит в том, что ростки благих деяний поливаются морем крови.

Очень точен в своих оценках Джон Р. Сол, когда выясняет, почему результаты революции во Франции были более негативные, чем в Соединенных Штатах: «Во-первых, Америке повезло с революционными лидерами. Во-вторых, в отличие от Франции, Америка не стремилась воплотить до конца республиканские идеалы. Оценка Вашингтона как руководителя почти полностью соответствует вольтеровскому определению доброжелательного монарха, за исключением названия титула» [65, с. 93]. Акцент на личностном факторе нам представляется очень важным. И об этом – подробнее.

Справедливости ради надо сказать, что, если бы во главе Соединённых Штатов не стояли Вашингтон и Джефферсон, развитие страны пошло бы по другому пути. Трудно предположить, «по какому руслу направилось бы революционное возбуждение, и стала ли бы страна развиваться в направлении разума, если бы её не возглавили спокойный по характеру первый президент, обладавший безукоризненной честью и ограниченными амбициями, и третий президент, который, вдобавок ко всему, был наделён гениальным воображением и спроектировал республику разума» [65, с. 93]. Несомненно, что этим людям удалось сдержать в республике накал революционных страстей. Опыт Франции показывал, что могло бы произойти. Джефферсону не понаслышке было известно о событиях во Франции, так как он в 1785–1789 годах занимал там пост американского посла и имел безусловный авторитет как единственный в Париже человек, имевший положительный опыт Революции. Само собой, к нему обращались за советами, но одним из первых Джефферсон стал говорить, что ситуация выходит из-под кон-

троля не только короля, но и реформаторов-революционеров. Этот незаурядный человек и здесь оказался прав.

Как известно из истории, деятели Французской революции не могли реально оценивать ошибки, которых совершалось всё больше (об этом великолепно сказано у В. Гюго в романе «Девяносто третий год» [281]). Лидеры вели между собой бесконечные споры, делая всё для разобщения демократических сил. Опять же, не упустим из внимания их личностные качества, широко известные в те времена. Мирабо, Дантон, Демулен были увлечены не только высокими идеями, но и коррупционными делами. Робеспьер, Марат, Кутон, Сен-Жюст рядились в одежды революционных ангелов мести, заливая страну кровью, – «слепая ярость реформаторов может убивать. Люди, провозглашающие лозунги просвещённой добродетели, нередко скрывают в своём сердце необъяснимую злобу» [64, с. 365]. Но всех их постигла жестокая расправа, а не слава великих сынов Франции.

Ян Замойски был прав: «Планы не могут быть более благородными, гуманными и свободолобивыми, чем их инициаторы». Можно только предположить, что революция во Франции развивалась бы иначе, если бы её возглавил Вашингтон или Джефферсон. Во главе людей, пишет Дж.Р. Сол [65, с. 99], непосредственно вовлечённых в революционные события, потерявших ориентиры в океане сверхчеловеческих идей и иллюзий, восстали блестящие, но незрелые эгоисты, которые вскоре занялись самоуничтожением. На смену им явилась группа продажных и посредственных политиканов, в результате чего люди испытывали сильнейшее разочарование, а общество охватила всеобщая депрессия.

Не оставим без внимания и тот факт, что Французскую революцию творили молодые люди. Будучи ожесточёнными, непримиримыми, беспощадными, они были полны презрения к смерти – как чужой, так и своей. Давно известно, что максимализм молодых в экстренных ситуациях приводит к обесценению, своего рода девальвации человеческой жизни. Вот некоторые данные из исследования А. Манфреда [191]: Робеспьеру было 35 лет, Дантону – столько же, Сен-Жюсту было 25 лет, Марку Антуану Жюльену 19 лет, младшему Робеспьеру-Огюстену – 29 лет, а Демулену – 33 года. Лишь «кровавого пса» Марата зарезали в 49 лет. Для сравнения, по возрасту американские «отцы-основатели» были много старше и с куда большим жизненным и политическим опытом. Многие революционные лидеры якобинской диктатуры – Кутон, Марат, Тальен, Баррас, Фуше – одержимые убийцы-психопаты.

Некоторые знаковые фигуры крайне противоречивы и загадочны. Взять того же Робеспьера, гораздо больше похожего на священника или подвижника, чем на прожженного политикана. Он очень напоминает Джироламо Савонаролу (1452–1498), итальянского католического проповедника, получившего абсолютную власть во Флоренции вместе с уверенностью, что все его действия – исключительно во благо народа. Оба презирали деньги, не брали взяток, имели безупречную моральную репутацию, законодательно ограничивали стяжательство и имущественное неравенство, объявили себя наместниками Бога, но для претворения своих чистых и светлых идей начали массовый террор, без всякой жалости и угрызений совести.

Чем всё закончилось – известно. Когда одного волокли на костёр, а другого – на эшафот, люди осыпали их проклятиями. Но оба до конца были уверены, что их попытки оказались обречены на провал вследствие несовершенства человеческого материала, оказавшегося под рукой. Вообразив себя избранными, мессиями, они даже у современников вызвали дикую ненависть (кроме «Неподкупного» у Робеспьера, например, была кличка «Бешеной гиены»), по крайней мере, казались нелепыми и даже юродивыми. (Савонарола был чудовищно уродлив. Робеспьер со своими яркими зелёными глазами и щедушным сложением обладал слабым невыразительным голосом, хотя и произнёс в Конвенте более 900 речей. Однако очевидцы свидетельствуют, что голос диктатора

проникал как бы прямо в мозг, минуя ушные раковины с барабанными перепонками.) Здесь, пожалуй, мы имеем дело с психическими и физическими вырожденцами (дегенератами), у которых ненормально развита жажда власти. И никакой мистики.

Теперь на повестке дня – культ Героя. Так к власти приходят бонапарты. Отсюда понятно, почему Наполеон был единственным человеком, которого действительно ненавидел Джефферсон: «... он был негодяем, ответственным за большое количество страданий и несчастий во всём мире, чем любой другой из живших на свете до него. После уничтожения свобод в своей стране он истощил все её ресурсы, физические и моральные, чтобы потворствовать своим маниакальным амбициям, своему тираническому и властному духу... Чем можно искупить те страдания, которые он уже причинил своим современникам и грядущим поколениям, которые он сковал цепями деспотизма!» [65, с. 103]. Следует понимать, что Джефферсона возмущал не только тот непоправимый ущерб, который Бонапарт нанёс делу разума. Его раздражало и то, что этот ущерб был нанесён в первые десятилетия существования системы, когда она ещё была полна жизненной силы.

Провидцем показал себя не только Джефферсон, но и человек, обладавший удивительным историческим чутьём и здравым смыслом, один из лидеров партии вигов, осторожный и любознательный мыслитель, сторонник Паоли, независимости Ирландии и американских колоний. При жизни его зачислили в ряды реакционеров, а за критику картезианской логики он навлёк на себя интеллектуальное осуждение таких авторитетов, как Дж. Бенгам и Дж. Милль. Речь идёт, как можно догадаться, всё о том же Э. Бёрке, который был способен видеть события такими, какими они были на самом деле, и понимал, в чём состоит моральная правда и ценность здравого смысла.

Наблюдения Э. Бёрка ценны, но многие серьёзные вещи им оставлены без внимания. Очевидно, что во время смуты на континенте Англия применила против Франции стратегию «непрямых действий» (в древности её разработал гениальный полководец Сунь Цзы, а в XX веке довёл до совершенства военный теоретик сэр Лиддел Гарт, удостоенный за свои достижения рыцарского звания, несмотря на еврейское происхождение). Британские спецслужбы и дипломаты расшатывали Францию изнутри. Одну из важнейших ролей здесь играл Дж. Бенгам – один из руководителей Форин офиса (кстати, одним из любимых учеников Бенгама был Дэвид Эркарт, впоследствии курировавший самого Карла Маркса [61, с. 239]), владевший информацией о степени алчности французских революционеров.

Ещё накануне революции многие депутаты Генеральных штатов (Дантон, Мирабо – самые известные) щедро снабжались английским золотом. Ставленник банкирских кланов, выходец из Швейцарии, могущественный олигарх и министр финансов Франции при позднем Людовике XVI и ранней стадии революции Жак Неккер погрузил Францию в полный хаос. Например, заключённый при нём англо-французский торговый договор снизил пошлины на экспортировавшиеся во Францию британские промышленные товары, похоронив местные мануфактуры и спровоцировав таким образом тяжелейший кризис, а за ним и безработицу, и нищету, и грандиозный государственный долг, превысивший годовые доходы страны.

Кому это выгодно? Вопреки расшатанной экономике Франция оставалась самой могущественной и населённой страной Европы и, следовательно, единственным естественным конкурентом Британии. Как было не поспособствовать организации во Франции кровавой Смуты? Королевская династия была сплошь в должниках у финансово-банковских воротил. К тому времени в парижских салонах (самый известный – у мадам де Сталь, дочери упомянутого Ж. Неккера) успешно ретранслировались и тиражировались идеи, генерировавшиеся в Лондоне.

Особенно рьяно воспевалась «свобода торговли». Кто бы сомневался, что британцы, обладая самой развитой промышленностью, самым могущественным капиталом,

доступом к копеечному колониальному сырью, выйдут из противоборства с французами победителями, если только оно состоится в условиях свободного рынка. «Свобода» сама по себе неплоха, конечно, но понятие очень растяжимое. Проникновение либеральных идей из страны, уже сумевшей их переварить, в страну сословную и аграрную, к тому же ещё и выведенную из равновесия войнами, инфляцией и финансовыми спекуляциями, чревато на деле большой бедой. Всё это решалось в рамках стратегии «непрямых действий» и вряд ли такой умище, как Бёрк, этого не понимал. Однако предпочёл говорить о другом.

Эдмунд Бёрк высказывал суждение о неприменимости французского революционного опыта для Англии, и связал это с особенностями национального духа англичан. Он глубоко утвердился в том, что настоящая конституция жизни людей основывается на истории общественных институтов, а не на листке бумаги. Последователь Бёрка, француз Жозеф де Местр (1753–1821), очень точно развил эту мысль, о чём пишет Р. Нисбетт [277, с. 34]. Де Местр без каких-либо противоречий возносил американскую конституцию и считал её очень удачной, однако подчёркивал, и в этом суть вопроса, что *настоящая* американская конституция была и остаётся не документом, не бумажкой, а комплексом обычаев и традиций, сформированных на протяжении двухсотлетней жизни американцев в Новом Свете. Эта идея о «настоящей» конституции стала одной из самых влиятельных в XIX веке. Отсюда, надо полагать, проистекает концепция «живой» Американской Конституции, противостоящая идеалистическим прожектам рациональных оптимистов. О них, своих соотечественниках, французский историк Ипполит Тэн сказал – «самое незатруднительное – усовершенствование воображаемого».

Но если внимательнее посмотреть на два символических голоса консервативной реакции – Местра и Бёрка – мы найдём несколько удивительных и часто не замечаемых элементов. Как подметил Кори Робин, это прежде всего «антипатия, граничащая с презрением, как раз к старому порядку, делу их жизни» [282, с. 88]. Действительно, первые главы *«Рассуждений о Франции»* Местра [283] представляют собой безжалостную атаку на три столпа старого режима: аристократию, церковь и монархию. Дворянство он разделяет на две категории: изменников и невеж, а духовенство считает корумпированным и ослабленным из-за своего богатства и распущенности. Монархия обмякла и утратила свою карающую волю. Задолго до революции, как он утверждает, лидерство старого порядка зашло в тупик. Бессилие, физическое и интеллектуальное, было – и остаётся – величайшим грехом старого порядка. Монархия раз за разом выказывала нехватку воли «качать» [283, с. 15], которая является отличительной чертой настоящего правителя. Обвиняя защитников старого порядка в трусости перед революционным либо реформаторским вызовом, де Местр в перевороте видит безжалостное, но необходимое стечение обстоятельств.

В случае с Бёрком критика тоньше и глубже. Дело в том, что его известным *«Размышлениям о революции во Франции»* [260] предшествовала работа по эстетике *«Философское исследование о происхождении наших идей возвышенного и прекрасного»* [284]. Бёрк преподносил красоту как символ очарования старого режима, но красота для него вовсе не показатель жизненной силы власти, но всегда признак упадка. Она порождает удовольствие, которое вызывает равнодушие или ведёт к полному растворению личности: «Красота действует тем, что расслабляет твёрдые части всего организма» [284, с. 172]. Он часто иронично замечал, что «наши наиболее почётные и прекрасные учреждения не производят ничего, кроме пыли и копоти» [282, с. 89]. Итак, по Бёрку, старый порядок прекрасен, но поэтому он ещё застоен, инертен и робок. Он не способен защитить себя от «вторжения способных», поскольку способности отошли новым людям власти, которых порождает революция. Финансовые круги, вступившие в союз с революцией, сильнее, чем круги землевладельческие, поскольку они «более открыты для любой авантюры» и «более расположены к новым, каким бы то ни было предприятиям»

[260], то есть Старый порядок прекрасен, статичен, слаб; Революция – уродлива, динамична, сильна.

Бёрк в одном из своих писем признавался, что в способности, ловкости и ясности своих взглядов якобинцы превосходят остальных. Получается, для Бёрка и Местра величайшим врагом старого порядка является не революционер и не реформатор, а сам старый режим и его защитники. Поэтому не удивительно, что консерваторы обратили восхищённый взор на Североамериканский континент, где события вершились с необходимой энергией, ясностью и целеустремлённостью.

Государственность и семья, право и воспитание, мораль и быт, труд и настойчивость – все эти ценности, культивируемые в Новом Свете, «отцы-основатели» Американской Конституции положили в основу законодательства. Не забудем, что буржуазная Америка возводилась на основе десяти христианских заповедей: «культуру протестантизма всегда отличал акцент, который она делает на дисциплине ума, освобождении его от власти чувств и эмоций» [64, с. 235]. Добавим сюда устойчивые традиции плюс здравый смысл – и получим понимание американского «настоящего» конституционализма, оказавшегося очень удачным проектом. Майкл Новак весьма точен, когда причину экономической мощи северных протестантских стран (англосаксонских, скандинавских, германских) видит в их культуре.

Бывший католический богослов пишет: «Даже если романские страны, где господствует католицизм, точно воспроизведут у себя некоторые из институтов протестантских стран – конституционное правление и экономический рост – здесь они будут функционировать иначе, чем на их родине. Формы «самоконтроля» личности в этих культурах, несомненно, различны. Отличаются и способы, которыми представители данных культур сдерживают эмоции, отличаются и их идеалы, а также содержание таких понятий, как «власть» и «свобода». В романском обществе происходят бесконечные колебания от «анархии к иерархии», здесь намного меньше умеренности и порядка, чем в типичной стране Северной Европы» [64, с. 319]. Рассуждения М. Новака двумя столетиями ранее предвосхитили взгляды представителей исторической школы права, которая возникла в Германии в конце XVIII века, когда там сохранялся феодальный строй, а в экономическом, социальном и политическом отношении это был отсталый регион Европы (страны как таковой ещё не существовало).

События во Франции оказали решающее влияние на развитие политико-правовой мысли Германии. Густав Гуго (1764–1844) ставит вопрос о длительном историческом процессе формирования права и отвергает мнение, что правовое регулирование может осуществляться сверху. Уподобляя право языку, он утверждает, что самый правильный путь развития права – через обычаи и традиции. Революционный опыт, само собой, категорически неприменим. Фридрих Карл Савиньи (1779–1861), будучи цивилистом, так и не понял динамики капитализма, отрицал любые новаторства в правотворческом процессе. Иначе как наивными не назовёшь его рассуждения об идеальном законодательстве, пригодном для всех стран, которое достаточно открыть, чтобы на вечные времена завершить создание положительного права. Георг Пухта (1789–1846) так же, как и его предшественники, полагал, что право есть результат-продукт народного духа. Будучи сторонником монархического правления, горячо приветствовал реставрацию Бурбонов во Франции. К тому же Пухта всю жизнь оставался «мягким» клерикалом, что делало его принципиальным противником любых социальных революций, направленных против церкви и религии.

В целом представители исторической школы права отбрасывали идеи свободы, равенства, республиканизма и конституционализма. В противостоянии назревшим буржуазным преобразованиям многие их выводы и положения выглядят откровенно реакционными. К числу достижений (не политического, но научного плана) можно отнести их внимание к исторической обусловленности и эволюции политико-правовых институтов,

их национальной специфике. Но мистика и религиозное мировоззрение снижают научные заслуги этой школы.

На Американском континенте реформаторы были озабочены совсем другими вопросами. Новый всплеск политической борьбы между федералистами (А. Гамильтоном, Дж. Мэдисоном, Дж. Вашингтоном) и республиканцами (Т. Джефферсоном, Б. Франклином, Т. Пейном) не мог привести к коренному пересмотру итогов революции и факту принятия Конституции. Идея естественных неотчуждаемых прав человека была для политико-правовой мысли США незыблема. Главное – она последовательно воплощалась на практике. Для миллионов американцев, для всех людей демократических убеждений опыт конституционных преобразований в США является поистине неоценимым.

Подчеркнём сугубо юридический аспект. Все современные исследователи (см., например, Д. Ллойд [200, с. 96]) сходятся во мнении, что Конституция США представляет собой документ, в значительной степени основанный на естественном праве, в соответствии с которым устанавливается власть народа и гарантируются естественные права граждан. Действительно, эта конституция воплотила в себе большую часть наследия естественного права, причём в то время, когда его идеи начали терять свою популярность. Она неразрывно связала закон с понятием прав и свобод, а также закрепила чрезвычайно важную идею, столь влиятельную в наше время, что естественные права могут гарантироваться законом и быть предметом судебной защиты, точно так же, как и любые другие права и обязанности, предоставляемые или налагаемые светским правом.

Более того, поскольку эти права были записаны в Конституции, они получили особое преимущество, что позволило судьям рассматривать их в качестве имеющих высшую силу и приоритет над любыми другими правовыми актами в случае конфликта с ними. Таким образом, впервые в истории был создан действующий механизм, посредством которого естественные права могли быть включены в правовую систему и получить признание в качестве законных и подлежащих соблюдению прав. Отсюда и истоки конституционной юстиции, укоренившейся в США.

Революционная Франция возводилась на основе самого современного, научного и популярного учения Руссо – всё провалилось в кровавую пропасть. Французский конституционализм такого пошиба навёл ужас на всю Европу, этот проект завершился полным провалом, что мы и пытались показать. Присоединимся к мнению «народного монархиста» И.Л. Солоневича: «О французской революции написано, говорят, двести тысяч томов. Прочсть их все не может никто. Если бы вы смогли прочсть только двадцать тысяч, то и это было бы ни к чему: вы обогатили бы ваш ум двадцатью тысячами разных точек зрения. Но если вы отбросите все эти двадцать тысяч и возьмётесь за самые очевидные факты, то вы увидите, что в результате революции Франция, занимавшая раньше первое место в мире по богатству, культуре, политической мощи и прочему, скатываясь с одной революционной ступеньки на другую, докатилась сейчас до положения страны третьего сорта, и её население с 20% всего населения Европы сошло до 8%. Страна вырождается экономически, политически и даже физически...» [254, с. 131].

Важную деталь подмечает Ги Сорман, анализируя провалы социальных революций: «...любое нарушение культурной преемственности пагубно. Революционеры оспаривают нравственные законы не потому, что хотят добиться, чтобы наше общество стало лучше, а только оттого, что они лично несчастны в том обществе, которое есть. Именно поэтому они столь многословны в разоблачении нашего мира и столь стерильны в своих проектах! Англичане, не совершавшие революций с XVII века, лучше, чем другие народы, поняли это» [114, с. 40]. Поняли это и американцы, «чуждые к общим идеям и не стремящиеся к теоретическим открытиям», – заключил А. де Токвиль [80, с. 229].

К слову, в декабре 1815 года в Париже появилось документальное двухтомное сочинение под названием *«Европа, жертва революции во Франции»*, где предлагалось, в конце второго тома, нечто вроде «Чёрной книги», или «Картины перечня ужасных деяний Революции». Она разделена на периоды (Конвент, Директория, Консульство, Империя) и на рубрики (гильотина, внешние войны, войны Бонапарта и т.д.), а в конце приведён итог, «неизвестно как подсчитанный» [31, с. 368], – 8 526 476 «жертв революции». Автором сочинения явился бывший ультрареволюционер Луи-Мари Прюдом (1752–1830). Есть повод задуматься, почему те же самые люди, которые впоследствии вернулись к обычному поведению и привычной ментальности, способны – в момент революционного взрыва – на время превзойти себя и принять образ действия, достойный того «нового человека», создать которого обещает каждая революция. У Гюстава Лебона [285] и Элиаса Канетти [286] убедительно описаны наивысшие моменты коллективной психологии.

Рассматриваемые вопросы, завязанные в единую систему, могут быть понятны лишь при условии, что в основе их лежит целая философия истории – особый взгляд на характер исторического процесса. Речь идёт о том, является ли история органическим процессом, сходным с ростом живого организма или биологической эволюцией, или же она сознательно конструируется людьми, подобно некоторому организму. Иначе говоря, вопрос о том, чем считать общество – организмом или механизмом, живым или мёртвым. Удивительным образом препарирует проблему И.С. Шафаревич [197, с. 328–329], на основных рассуждениях которого сосредоточим наше внимание.

Согласно первой точке зрения, человеческое общество сложилось в результате эволюции «норм поведения» (в самом широком смысле: технологических, социальных, культурных, моральных, религиозных). Эти «нормы поведения», как правило, никем сознательно не изобретались, но возникли как следствие очень сложного процесса, в котором каждый новый шаг совершался на основе всей предшествующей истории. Будущее рождается прошлым, Историей совсем не по нашим замыслам. Так же, как новый орган животного, возникал не потому, что животное предварительно поняло его полезность, так и новый социальный институт чаще всего не создавался сознательно, для достижения определённой цели.

Вторая точка зрения утверждает, что общество строится людьми логически, из соображений целесообразности, на основании заранее принятого решения. Здесь вполне можно, а часто и нужно игнорировать исторические традиции, народный характер, выработанную веками систему ценностей. (Типично высказывание Вольтера: «Хотите иметь хорошие законы? Сожгите старые и напишите новые».) Зато решающую роль играют те, кто обладает нужными познаниями и навыками: это истинные творцы Истории. Они и должны сначала выработать планы, а потом подгонять неподатливую жизнь под эти планы. Весь народ оказывается лишь материалом в руках. Как плотник из дерева или инженер из железобетона, возводят они из этого материала новую конструкцию, схему которой предварительно разрабатывают. Очевидно, что при таком взгляде между «материалом» и «творцами» лежит пропасть, «творцы» не могут воспринимать «материал» как таких же людей (это помешало бы его обработке), но вполне способны испытывать к нему антипатию или раздражение, если он отказывается правильно понимать свою роль.

Выбор той или другой из этих концепций формирует людей двух разных психологических типов. Приняв первую точку зрения, человек чувствует себя помощником и сотрудником далеко превосходящих его сил. Приняв вторую – независимым творцом истории, демиургом, маленьким богом, а в конце концов – насильником. Вот на этом-то пути и возникает общество, лишённое свободы, какими бы демократическими атрибутами такая идеология ни обставлялась.

Здравомыслие американского консерватизма наглядно иллюстрирует тот факт, что в США за всю их историю Основной Закон не изменялся ни разу (!), а постоянно революционная Франция явила миру не один десяток конституций. («Франция – кладбище конституций».) Причём нельзя сказать, что содержание американской Конституции удовлетворяло всех её лидеров. Одобренная Конституция, как заметил судья Верховного Суда Торгуд Маршалл, была «с самого начала ущербна» [65, с. 91]. Но лидеры нации, подобно Джефферсону и Вашингтону, отметили абстрактные социальные модели, ориентировались на средний путь, искали его среди окружающего беспорядка, руководствуясь здравым смыслом. Разум, воплощённый в высшем юридическом акте, – ещё не ВСЁ, чем управляется общество, и даже не самая его важная часть. История о том свидетельствует.

Милтон Фридман, один из столпов капиталистического общества, пишет о том, что «было бы огромной ошибкой считать, что правовые нормы являются доминирующей силой в деле формирования индивидуального характера; вероятно всего, семья, школа и церковь обладают гораздо большим влиянием. Люди, управляющие данными институтами, используют своё влияние для продвижения собственных представлений о благе, *независимо от состояния права*» (курсив наш. – А.П.) [67, с. 37]. (О более ранних высказываниях см. также Людвиг фон Мизес [287, с. 67–75]) Может показаться, что подобные взгляды удивительно далеки от либертарианской защиты свободного рынка, с его прославлением атомистичного и автономного индивида, что традиционно ассоциируют с американским строем. Но это не так. Когда либертарианец смотрит на общество, замечает К. Робин [282, с. 52], он не видит изолированных индивидов; он видит отдельные, часто иерархические группы, в которых отец управляет своей семьей, а собственник предприятия – своими работниками. Но американский капиталистический уклад невозможно понять без христианско-доктринальной составляющей.

Один из самых трудных уроков жизни состоит в том, что человеку нелегко научиться быть смиренным, думать и поступать реалистично, смотреть в лицо фактам, отличать надежду от утопии. Образ надежды – реалистичен, он учитывает неведение и жестокость, присутствие неразумных и греховных сил, и поэтому отсутствие иллюзий можно относить к высшим формам человеческого сознания. В христианстве – это образ Воплощения, то есть уважение к миру, такому, какой он есть; признание его условностей, слабостей, иррационализма, злых сил и неверие в любые обещания, что мир теперь или когда-нибудь будет преображён в Град Божий. Мир не идёт к тому, чтобы стать царством справедливости и любви, но это не означает отказ от надежды. Поэтому мы можем надеяться на революции, если они основаны на реализме, а не на утопии. Надежды без иллюзий всегда консервативны в сравнении с любой формой утопии, но они прогрессивны в сравнении с любой формой эгоистического цинизма.

Эти размышления во многом навеяны трудами замечательного мыслителя М. Новака, который дал образную характеристику американским событиям конца XVIII века. Надеемся, небольшой пересказ [64, с. 363–367] фрагментов его текста поможет глубже понять проблему.

«Несмотря на то, что отцы-основатели также были склонны к перфекционизму, они старались спроектировать институты, которые бы подходили грешным людям, а не ангелам или святым. Они пытались сдерживать и ограничивать пороки, среди них – в первую очередь тиранию, даже тиранию во имя морали и религии. В качестве образа гражданина, для которого задумывалась эта система, они избрали не святого или проповедника, не военного героя или аристократа, не поэта или философа, не короля или крестьянина, – а свободного человека, владеющего собственностью и занятого коммерческой деятельностью. Они поступили так, поскольку полагали, что именно этот тип человека более других подходит этой системе: его достоинства и недостатки очевидны, следовательно, он вполне предсказуем в своих грехах и возможных поступках. [...]

В спланированной таким образом системе достаточно возможностей для всякого рода проявлений героизма и высокой доблести, благородного образа мыслей и выдающихся поступков. Но система как таковая была рассчитана главным образом на обычного человека. Довольно легко сделать её объектом насмешек или презрения. По замыслу её авторов она предназначалась не для того, чтобы вызвать восторг, а чтобы быть простой и практичной.

Они называли это “революцией”, однако в истории мировых революций она была намного ближе практическим устремлениям большинства людей – непретенциозна и не обещала избавления от всех пороков. Они планировали её так, чтобы она не была кораблём благодати и спасения, а была всего лишь REMOVENS PROHIBENS, где люди сами могли выбирать свою судьбу. Они создавали её не так, как поэты рожают свои образы, но так, как плотники очищают ствол от коры и кладут балки на предназначенное им место. Они задумывали её, как Ной, так, чтобы она смогла противостоять любым наводнениям и опасностям, которым её может подвергнуть история.

Вопрос о том, куда она поплывёт, они оставили на усмотрение команды и капитана в каждом поколении. Они понимали, что их роль заключена не в том, чтобы, как священники и философы, определять звёзды, по которым должен ориентироваться корабль в своём плавании, а в том, чтобы система в целом подходила для плавания. Они не обещали рая и спасения, мира и справедливости. Задача ... состояла не в управлении кораблём, а в том, чтобы сделать само путешествие возможным. Не все мечты заслуживают одинакового доверия. В условиях ограниченных возможностей приходится выбирать что-то одно. Более того, прежде чем отказаться от плавания на этом корабле, следует обратить внимание на то обстоятельство, что других кораблей не так уж и много...».

Эта своеобразная притча позволяет лучше понять один из наиболее обсуждаемых фрагментов Декларации независимости 1776 года о том, что «все люди созданы равными и наделены Творцом определёнными неотчуждаемыми правами, к числу которых относятся жизнь, свобода и *стремление к счастью*» [198, с. 25]. Счастье не в понимании юродивого, но в твёрдом взгляде человека, которому удалось совместить здравый смысл с моралью, разумом и пониманием истории. Речь идёт о Т. Джефферсоне, который вошёл в историю как революционер и как справедливый, честный президент. Он был очень успешен как в разработке идей, так и в их осуществлении на практике. Несомненно, и он совершал ошибки, но это был, пожалуй, крупнейший общественный деятель той эпохи. Джефферсон жил по принципу, чтобы слова не расходились с делом: «Никакой эксперимент не может быть более интересен, чем тот, который мы осуществляем. И мы верим, что он закончится подтверждением того факта, что человеком могут управлять разум и правда. Поэтому наша важнейшая цель должна состоять в том, чтобы открыть человеку все дороги к правде» [65, с. 98], – пишет он судье Джону Тайлеру в 1804 году.

Подлинный энциклопедист, он впитал в себя всё богатство античной и европейской мысли. Но исторический подход, которому следовал Джефферсон, подразумевает наличие надёжной памяти о том, как развивались события в прошлом, что в свою очередь затрудняет процесс принятия чисто абстрактных рациональных решений. Как бы ни нравились ему теоретические построения мыслителей Старого Света, он рассматривал их применительно к конкретным нуждам американского общества. «Нет и не может быть, разумеется, одной лучшей формы политического устройства. Как нет лучшего лекарства от всех болезней. Но каждому народу, в каждой ситуации, на каждой стадии развития цивилизации наиболее подходит конкретный строй. От которого минимум вреда и максимум пользы» – высказывание М. Веллера [223, с. 443] не про США, но очень в тему.

При подготовке проекта Декларации 1776 года (справедливости ради отметим, что ей предшествовала Декларация прав Вирджинии от 12 июня 1776 года, написанная Джорджем Мейсоном и отредактированная Джеймсом Мэдисоном, где говорилось

о стремлении к достижению счастья) Джефферсон как автор (при участии Б. Франклина и Дж. Адамса) пояснял, что она была задумана «как выражение американского разума и должна была придать ему тот тон и дух, которых требовала обстановка» [132, с. 218]. Эта задача была блестяще решена и по форме, и по содержанию. Он и его товарищи, подписавшие этот документ, поклялись отдать «жизнь, состояние и священную честь». А кто способен на это в наше время? Психология примитивных амбиций и банального меркантилизма задушила творчество и изобретательность, а нравственный здравый смысл последовательно третируется тщательно дозированным цинизмом.

Не так видели общественные ценности Джефферсон и его соратники: «Анализ считался средством для выискивания фальши и суеверий. А здравая и практическая оценка прошлого опыта ... была основанием, на котором строились все теоретические обоснования» [65, с. 199]. Этот незаурядный человек всегда думал о том, каким в реальности будет будущее. Снова и снова, опираясь на разумный оптимизм, он возвращался к аналитическим и научным прогнозам на основе всесторонней и разумной оценки прошлого. Лучшим способом добиваться изменений он полагал применимость комплекса методов научного прогнозирования будущего и анализа исторических событий. Но в основе всего – нравственность, совесть и гуманное отношение к человеку. Что касается появления новых политических систем, то и американская, и французская рассматривались лишь как эксперимент, но в какой разительной степени отличалась джефферсоновская философия от французской идеи создания нового человека и справедливого общества «по рецептам» Гельвеция и Робеспьера! О практических последствиях обоих экспериментов сказано достаточно. Очень символично, что умер Томас Джефферсон в день 50-летия Декларации независимости, автором которой он являлся.

Однако на континенте внимание всех было приковано не к американским, а французским событиям. Парадоксальнее всего это коснулось Российской империи. «Просвещённая» царица Екатерина II, которая сама не чуралась новомодных взглядов, переписывалась с Вольтером, приглашала Д'Аламбера и Дидро приехать в Россию [2, с. 272], которая разрешила в стране оборот французских газет ... эта самая Екатерина очень напряглась, увидев, куда вырывается французское просвещение. А ведь ещё недавно она была на диво добра к вольнолюбиво! Вся империя зачитывалась якобинскими газетками. Один из современников писал: «...цитаты из Священного Писания, коими прежние подьячие любили приправлять свои разговоры, заменились в их устах изречениями философов XVIII века и революционных ораторов» [280, с. 17].

На волне революционной эйфории А.Н. Радищев издаёт своё *«Путешествие из Петербурга в Москву»*, вызывая гнев императрицы: «Бунтовщик хуже Пугачёва!» и указ о заточении начинающего литератора в Алексеевский равелин. Затем – приговорение к смертной казни, заменённой ссылкой в Сибирь. О книге Радищева [288] у историков разное мнение. Многие из них считают приведённые им факты преувеличениями, а дух книги избыточно критическим. Возможно, так оно и есть, соглашается А.М. Буровский, «но странно всё же на словах руководствоваться гуманными идеями и духом Просвещения и казнить смертью за написанную и изданную книгу. Что бы ни было в ней написано» [289, с. 383]. А до этих событий переписка с Вольтером и неустанные заботы о просвещении всего народа несколько не помешали Екатерине издать Указ 1765 года о праве помещиков ссылать своих крестьян на каторгу, не прибегая к суду или другим глупостям. Через два года появляется совершенно дикий указ, каравший каторгой крестьян, жаловавшихся на помещиков. Ясно, что популярность идей Просвещения и самих просветителей императрица использовала лишь для популяризации своего собственного имени, причём постоянно подчёркивая, что в России её не готовы были понять.

После 1789 г. Екатерина II окончательно утвердилась в мысли, что просвещённый абсолютизм всё-таки лучше, чем оголтелая власть толпы. И начала потихоньку закру-

чивать гайки – выступила одним из инициаторов антифранцузской коалиции, отказалась от всех заключённых с Францией договоров, выслала французского посла, приказала выгнать из России всех подозреваемых в симпатиях к Французской революции, а в 1790 году даже выпустила указ о возвращении из Франции всех русских. Прибывший по этому указу в Россию революционный граф и член Якобинского клуба Строганов был немедленно сослан в своё имение – внимательно задуматься о жизни. Однако революционные семена были уже посеяны и позже проросли тайными сообществами, масонскими ложами, вольнодумными салонами. Посленаполеоновская оккупационная миссия в Западной Европе изменила сознание офицеров-дворян, что привело к революционному брожению, «Конституции» Муравьёва и «Русской Правде» Пестеля, и в конечном счете – к восстанию декабристов.

Первоначально поддавшись искушению, затем его категорически преодолел самый выдающийся ум России той эпохи – А.С. Пушкин. Во многих письмах и произведениях («Вольность», «Изыде сеятель...», «Борис Годунов», «Недвижимый страж», «Зачем ты послан был...») он даёт нравственную, политическую и правовую оценку произошедшего. «Десакрализируя» французскую революцию и образ Наполеона, поэт и философ на этом не останавливается. Немыслимой для того времени критике подвергся и император Александр I – отцеубийца и подавитель освободительных народных движений в Европе под знаменем Священного союза. Первый путь его воззрений – в государстве должен главенствовать закон, нарушать который не в праве ни государь, ни его подданные. Другие важнейшие составляющие идеального государства – свобода и вольность.

Свободы Пушкин полагал священным и неотъемлемым правом человека. Но свобода только тогда истинная, вольность только тогда «святая», когда она осуществляется в рамках закона [290, с. 182]:

Лишь там над царскою главой
Народов не легло страданье,
Где крепко с Вольностью святой
Законов мощных сочетанье...

Ода «Вольность» II, 46

Французская революция, в ходе которой были казнены король и королева, якобинский террор и цезаризм Наполеона, последующий реакционный период в жизни Европы были ему неприемлемы. Пушкин считал крепостное право злом и рабством, видел будущее России в движении от самодержавия к конституционной монархии. Он всё более последовательно различает свободу и вольность, что отмечает исследователь его творчества Л.М. Аринштейн [291, с. 535]. Вольность, которую пытаются добыть силой и кровью, – это «мятежная», «кровавая вольность».

Мятежной вольности наследник и убийца.

Сей хладный кровопийца... так называет Пушкин Наполеона, а о французской революции пишет:

Молчит Закон – народ молчит,
Падёт преступная секира...
И се – злодейская порфира
На галлах скованных лежит.

Мятежную, кровавую вольность Пушкин отвергал, убеждённый, что добытая таким путём свобода лишена твёрдой основы, она недолговечна, и потому неминуемо приведёт к ещё худшему деспотизму, как это не раз случалось в истории. Будущее России для него смутно и трагично:

И над землёй сошлись новы тучи,
И ураган их...

Пушкин открыто протестовал против попрания священного права народов Европы жить свободно. При этом и французская революция, и её могильщик Наполеон, и победители Наполеона европейские монархи – порождение одного и того же процесса – распада нравственных устоев христианской цивилизации («И горд и наг пришёл разврат, И перед ним сердца застыли, За власть отечество забыли, За злато продал брата брат...»).

Вот, собственно, главный итог эпохи, начавшийся казнью французского короля и наполеоновскими войсками, плавно перешедшими в «тихую неволю» под эгидой Священного союза. Произошло смещение понятий добра и зла, то есть уравнивание нравственных оценок, при котором уже невозможно различить, «добра иль зла, ты верный был свершитель». Подступало то, что мы так явственно видим сейчас – нравственные апатия и безволие человечества. Но первым это нашёл Пушкин, на то он и гений.

И безразлично, в их речах,
Добро и зло, всё стало тенью –
Всё было предано презрению,
Как ветру предан дольный прах...

Очевидно, что без литературно-философского наследия А.С. Пушкина едва ли можно понять развитие общественно-политических воззрений в России, восприятие судьбоносных событий в Европе конца XVIII – первой трети XIX столетия, его отношение к ключевым фигурам той эпохи. Поражает пространственное и временное измерение, к которому прибегает гений: Французская революция – низвержение Наполеона – революции на юге Европы – интервенции Священного союза в Италии, Испании и Португалии... Сложнейшая картина современной Пушкину политической жизни Европы предстаёт и получает истолкование сквозь призму библейской мудрости. Можно сказать, что он первый верно описал и предсказал контуры новой Европы.

Французская Конституция не была первой на континенте. 3 мая 1791 года Конституцией «обзавелась» Речь Посполитая (справедливости ради отметим, что называлась она *Ustawa Rządowa* [292, с. 250], то есть «Закон о правлении», хотя в самом тексте латинский термин употребляется неоднократно). Но никакого влияния на ход европейских событий она не оказала, да и для самого государства этот документ не стал действующим актом. Причин тому множество, и писать о них приходится в трагических и безысходных тонах.

Весь XVIII век страна пребывала в жесточайшем кризисе. Её политическая культура представляла «экзотический анахронизм» [257, с. 57], принцип «*либерум вето*» при голосованиях в Сейме блокировал принятие любых государственных решений (как писал Ш.Л. Монтескьё, «цель законов Польши – независимость каждого отдельного лица и вытекающее отсюда угнетение всех» [18, с. 138]); отсутствовала нормальная постоянная армия, налоги и бюрократия; экономика в полном упадке; в сельской местности сохранялась жёсткая крепостная система, а в городах продолжали существовать гильдии; внутренние распри между политическими группировками (как правило, проплаченными из-за границы) приводили к открытым вооружённым столкновениям; «католицизация» и полонизация приняли невиданный характер; на юге вспыхивали регулярные крестьянские и казацкие восстания; на территории государства пребывали иностранные войска, постоянно готовые к вмешательству во внутренние дела Речи Посполитой; западные политические идеи шляхту и магнатию не интересовали вовсе ... и так далее. Средневековая идея «золотой шляхетской вольности» в эпоху развивающегося капитализма и формирования европейских наций символизировала глубокий провинциализм и отсталость реликта феодальной эпохи. Страна при любых раскладах была обречена, но появился шанс для выживания белорусов как этноса (это отдельная история, она блестяще изложена у В. Булгакова «*История белорусского национализма*» [257]).

Да, можно говорить о прогрессивном характере Конституции 3 мая 1791 года; о влиянии на её содержание идей Американской и Французской революций [293, с. 51–61]; о «пальме первенства» на Европейском континенте; об отчаянной и героической

борьбе патриотов исчезающей Родины против внешних агрессоров; о восприятии идеи нации как единого политического сообщества и т.д. Всё это было, но предотвратить распад государства было уже невозможно, слишком глубоким оказалось падение в бездну. Этот документ так и остался конституцией на бумаге, а поляки, белорусы, литовцы, украинцы надолго распрощались со своей свободой, обретя государственность лишь в XX веке. Этот «акт о намерениях», скорее, можно назвать «квазиконституцией», а поскольку она писалась для «польской нации», правы те исследователи, которые не рассматривают её вехой в истории белорусского конституционализма. Реальная конституционная традиция начинает формироваться лишь в 90-е годы XX века, и эта история ещё не написана.

Революционные события и конституционные преобразования рассмотренного периода, подобно зеркалу, отразили основные вехи французской и американской истории, реальное общественное бытие, идейные ценности и традиции, чаяния и разочарования людей той эпохи. Особенно ярко это проявилось в принимаемых юридических актах, которые по сей день являют настольную книгу для юристов-конституционалистов, историков и политиков. Вторая половина XVIII века очень значима для развития европейской цивилизации, от неё начался новый временной отсчёт, поскольку борьба и реформы были посвящены коренным вопросам общественно-политического устройства: о форме государства и пределах государственной власти; о характере отношений между государством и народом; о демократических правах и свободах личности.

Важно понимать, что ценности меняются с течением времени, отсюда – особая важность исторического подхода, умения рассматривать события в контексте соответствующей эпохи. Однако многое из того, что привнесли Франция и США в мировой опыт, носит универсальный характер, отражает общие тенденции европейского цивилизационного развития. А оценки той или иной эпохи могут быть самые разные, это лишь обогащает политико-правовую мысль, даёт возможность избежать трагических ошибок прошлого.

Лучано Канфора преподносит образец исторической учтивости и деликатности: «Следовательно, несмотря на слишком даже неприкрытый возврат к прошлому (имеется в виду “Реставрация” монархии. – А.П.), революция – пусть уничтоженная, пусть по-смертно оскорбляемая и осмеиваемая – изменила лицо и сущность как Франции, так и Европы. История, вершившаяся после, была другой, поскольку перед нею имело место это великое трагическое событие, которое уже из-за одного этого нельзя сводить к “поражению”. Революция, начиная от выборов в Конвент, следовала по правильному пути, а потом ... выродилась в свою противоположность» [31, с. 358]. История – очень демократичный учитель, многому может научить, но никого не заставляет учиться.

4.4 Античная традиция и её влияние на идеологию конституционных реформаторов XVIII века

Показано влияние античной (греко-римской) традиции в ходе революционных преобразований и появления первых конституций. Обращается внимание на неразработанность тематики в современной историко-правовой науке. В сравнительном анализе представлен опыт США и Франции конца XVIII века. Проводится различие между американским либерализмом и классическим республиканизмом, испытанными воздействием политико-философской мысли античности. Доказывается, что античная традиция времён революционной Франции имела принципиально иную направленность, нежели на Американском континенте. Отмечены некоторые общие черты опыта американских и французских преобразований, осуществлявшихся под ощутимым влиянием античной идеологии.

Значение естественного права для общественных преобразований в XVIII в. в качестве решающего духовного фактора несомненно. Его идеи и система аргументации стали орудием в руках политического идейного течения, названного Просвещением. Однако это не даёт полной картины. При характеристике эпохи современными авторами практически не рассматривается очень важный компонент культурно-идеологического свойства – влияние античности, хотя в работах некоторых зарубежных правоведов ему уделяется большое внимание (например, у шведского учёного Э. Аннерса [76]). В целом, можно отметить следующие тенденции.

Если переход от античности к европейскому Средневековью был результатом долгого процесса эволюции, в целом – позитивного, хотя он и отмечен чередой жестокостей, то обращение людей эпохи позднего Просвещения к античным идеалам и реалиям не представляется какой-то исторической закономерностью. Однако повсеместное распространение классического образования не могло подвинуть революционеров-конституционалистов по обе стороны Атлантики к изучению политической философии античности, где ими угадывались черты классического республиканизма и демократии.

Современные авторы [330, с. 78] указывают по крайней мере на три великие политические идеи, оказавшие влияние на развитие государственно-правовых и гражданских институтов передовых демократических сообществ. Это, *во-первых*, идея народо-властия, базирующаяся на причастности каждого гражданина к управлению, его участию в решении публичных дел. *Во-вторых*, гражданская идея, которая, претерпевая на протяжении веков немаловажные изменения и модификации, была передана античным полисом – независимой гражданской общиной – последующим поколениям. *В-третьих*, речь идёт об идее республиканизма, находящей своё выражение в принципе выборности, коллегиальности, краткосрочности легислатур. Это в меньшей степени касалось Древней Греции с её элементами непосредственного участия демоса в управлении делами государства, в большей – Республиканского Рима. Идея парламентского строя пока лишь вызревала через политико-юридические идеи и проекты.

Но если сохранять хронологическую последовательность и соблюсти историческую справедливость, то можно признать следующее: «Именно в сохранении античного наследия Средневековье наилучшим образом проявило себя в качестве передатчика ценностей и достижений от прошлого мира будущей Европе» [97, с. 21]. Автор приведённой цитаты Жак Ле Гофф считает также, что переданное Европе наследие двойного свойства: это, *во-первых*, противопоставление её Востоку, Азии, а *во-вторых*, демократическая модель управления.

Противопоставление Запада Востоку было всегда – в античности (войны с персами, эллинизация Азии), в Средневековье (крестовые походы), с началом Нового времени (Великие географические открытия, создание европейских империй, колонизация континентов). Неприятие к Востоку (даже к греческому, византийскому миру) никогда не ослабевало, а только усиливалось. Походы арабов, монголов и турок в Европу способствовали западному единству и формированию различных теорий об азиатском деспотизме и агрессии, что прекрасно отражено в книге Франко Кардини «Европа и ислам: история непонимания» [296]. Именно через взаимоотношения с миром ислама Европа впервые начала осознавать себя как единую общность.

Описываемое им противоборство с исламским Востоком – то затухающее, то вспыхивающее вновь – не рассматривается, однако, исключительно с евроцентристских позиций. Между двумя цивилизациями непрерывным шло культурное взаимодействие. Особенно хорошо это можно проследить на примере того, как через арабских мудрецов и письменность европейцы открыли для себя античных авторов и богатейшую культуру Востока в целом. Параллельно противостоянию шёл оживлённый торговый и культур-

ный обмен: мусульманские и христианские правители, учёные-дипломаты наводили мосты между двумя цивилизациями.

С демократической моделью управления всё намного сложнее – за редчайшим исключением (города-государства, Швейцарская конфедерация) Средневековье её не восприняло. Более того, уже в XVIII веке европейские философы эпохи Просвещения создали теорию просвещённого абсолютизма, согласно которой через образованных советников «монарх получал знание о беспорядках в обществе, и устранять которые входило в его обязанности как первого слуги государства» [76, с. 216]. Сильнейшее влияние на это идеологическое течение оказали Монтескьё, Вольтер, Дидро, Д'Аламбер. Просвещённый абсолютизм в трудах этих мыслителей и самых знаковых выразителей общественного мнения противопоставлялся непросвещённому азиатскому деспотизму, варварству и дикарству. Демократическая модель управления вернётся в Европу в усовершенствованном виде только во времена Французской революции, но уже – с элементами античного республиканизма.

Таким образом, Средневековье и очевидно не приемлемый для европейцев Восток послужили своеобразным перекидным мостом от античности к Новому времени. В том наследии, которое досталось людям Средневековья от античности и во многих аспектах было основательно обновлено в XVIII веке, Ж. Ле Гофф выделяет четыре основные составляющие [97, с. 21]: 1) наследие Греции; 2) Римское наследие; 3) трёхфункциональную схему общественных сословий; 4) Библейское наследие. Попробуем на основе предложенного подхода выделить интересующие нас черты преемственности, и это не будет «в поисках утраченного».

От греков европейцы получили образ героя, дорожащего свободой и готового сражаться за неё. Но это было возможно только в условиях демократии, о чём всегда помнили французские и американские революционеры. Практически вся политическая лексика пришла из Древней Греции: *демократия, политика, олигархия, аристократия, анархия, охлократия, экономика, папа, монархия, амнистия, автаркия, тирания, деспотия, изоляция, теория, идеология, плутократия, академия, героизм, технократия* и, само собой, название «Европа». Идеи гуманизма естественных прав – из Греции, уже с XII века стали говорить о христианском понимании сократовского учения. В Европе были очень устойчивы мифы о троянском происхождении древних родов, что свидетельствует о желании европейцев установить связь с греческой античностью и с её помощью героизировать свою родословную. Во Франции времён революции некоторые из её вождей брали себе имена великих греков – так Кутон стал Аристидом. Однако между Грецией и ранней Европой не было в преемственности прямой связи, поскольку первая ещё в античный период была поглощена Римом.

Однако будем помнить и о том, что римляне, завоевав Элладу, стали наследниками и хранителями её культуры, сохранив свои этнические черты как местные особенности. И они же передали эллинскую культуру всем своим провинциям, а после падения политической мощи Рима – европейским, романским и отчасти германским этносам. В данном случае «мы видим непрерывную линию традиции, постоянно перехлестывающую этнические границы» [105, с. 208]. Опасность потери культуры и цивилизованной жизни ощутили даже германцы, занявшие на Апеннинах политический Олимп вместо исконных латинян. Великие эллинская и римская культуры пережили создавшие её этносы, пришедшие варвары под впечатлением от их величия обратились к античным идеалам и стремительно христианизировались, тем самым заложив основы для рождения Европы.

Римское наследие куда богаче греческого, ведь из Империи Европа выросла, так сказать, непосредственно. Первая и главная его часть – язык, основа культуры. Вот лишь немногие из знакомых нам слов: *популярность, коллегия, факультет, стипендия,*

республика, магистр, ректор, диктатор, империя, цензор, сенат, пролетарий, авторитет, центр, принцип, президент, гуманизм, нотариус, арбитр, трибунал, провокация, клиент, номенклатура, юрист, дисциплина, экзамен, аура, цивилизация, федерация, унитарный. Вся образованная Европа писала и говорила на латыни, он был рабочим языком церкви, университетов, медицины. Когда же её вытеснят «вульгарные» (народные) языки: французский, испанский, итальянский и португальский, то их будут считать языками романской группы.

От римлян в наследство осталось военное искусство, архитектура, юриспруденция, противостояние между городом и деревней, методики преподавания, политическая культура, христианство как государственная религия, градостроительство (с канализацией, водопроводом, банями), система финансов с мировой валютой и многое другое. В духовной сфере наблюдалась определённая двусмысленность, отношение к произведениям античных авторов было неоднозначным: «С одной стороны, эти произведения являлись бесценным кладом мудрости; с другой – их не озарял свет христианской веры» [296, с. 118].

Парадоксальную, на первый взгляд, мысль высказал доктор экономических наук Владислав Иноземцев. С его точки зрения, падению Рима нужно не огорчаться, а радоваться: «Это было положительным явлением, потому что те экономические и культурные механизмы, которые наработала Римская империя, попали в дикую Европу, как дрожжи в тесто. Да, действительно, после падения Рима в Европе наступила “тёмная” эпоха Средневековья. Но её тёмное спокойствие было подобно спокойствию теста, в котором растворили ложку закваски [...]. Через какое-то “мёртвое” время тесто взойдёт и начнёт переть из кастрюли со страшной силой. Так вперла во все стороны из Европы европейская цивилизация, захватив своим “тестом” почти всю планету» [298, с. 21]. История как будто сделала непонятный зигзаг, чтобы где-то к XVIII веку европейская цивилизация вновь достигла римского уровня. Примером может служить классический республиканизм в американской и французской революциях.

Очень важная часть наследия, полученного Европой, – это библейская составляющая. Как верно отметил Ж. Ле Гофф [97, с. 28], её передали европейцам не евреи, от которых христиане всё больше и больше отдалялись, а первохристиане, и ветхозаветная традиция, несмотря на усиление антиеврейских настроений, остаётся до конца Средних веков одним из ключевых и самых ярких мотивов не только в религии, но и во всей западной культуре. Антично-христианское наследие долгое время перерабатывалось в процессе трансформации римской культуры, что способствовало постепенному складыванию европейского самосознания. «Античная культура, – пишет П.С. Гуревич, – вошла в христианскую церковь, которая была хранительницей преданий культуры в эпоху варварства и тьмы. [...] Античная культура была спасена для вечности христианством» [181, с. 110, 112]. Библия выступала не только источником религиозного познания. Она долгое время воспринималась и использовалась как энциклопедия, включающая в себя то необходимое знание, которое Бог передал человеку.

Кроме того, это «фундаментальный учебник истории, в котором на примере патриархов и пророков разворачивается смысл истории с момента возникновения царской власти [...] и до миропомазания, которое знаменует возвращение к нормальному ходу истории, предначертанному Богом. Не следует забывать, что историческая память, которая стала ключевым элементом европейского сознания, имеет двойной источник: это не только труды “отца истории” Геродота, но и Библия» [97, с. 29]. События во Франции и Америке конца XVIII века относительно христианской составляющей отличаются коренным образом, о причинах и последствиях которых будет сказано в следующем разделе «От античности и рабства к революциям и правам человека».

Менее явно и порой неосознанно из античности перешла традиция, описывающая общество по трёхфункциональной схеме, широкое рассмотрение которой имело место ещё во времена Платона. В *«Государстве»* он проводит мысль о том, что «трём началам или частям человеческой души – разумному, яростному и вожделеющему – аналогичны в государстве три схожих начала – совещательное, защитное и деловое, а этим последним соответствуют три сословия – правителей, воинов и производителей (ремесленников, земледельцев)» [131, с. 52]. Эту классификацию восприняли многие средневековые клирики, не утратила она значение и в Новое время в связи с появлением теории о разделении труда. В средневековой Европе трёхфункциональная схема, описывающая правильно организованное общество, включала священников, воинов и тружеников. Считалось, что труженики (работающие, производящие) находятся уровнем ниже, чем две первые категории, и должны выполнять их распоряжения.

В эпоху революций отношение к ней кардинально отличалось во Франции и США. Французы, превознося «третье сословие», осуществляли революционные преобразования под эгалитарными лозунгами о социальном равенстве и общем благе. Американцы же упорно держались английской аристократической традиции, элитарной по своей сути. «Мы, народ Соединённых Штатов...» из преамбулы Конституции 1787 г. – не более чем фикция. В решение государственных и общественных задач было вовлечено около 5% населения страны, обладавших всем набором политических и гражданских прав. Классовая структура управления была очень жёсткой, целые категории населения – индейцы, негры – вообще не подлежали социальной стратификации.

Кастово-сословные предрассудки накрепко сидели в сознании самых передовых людей Европы. Так, у И.В. Гёте в *«Орфических первоглаголах»* стихотворения *«Демон»* есть строки: «Три жизни создал Бог: крестьянин, рыцарь, поп» [299], причём «ряса и меч» в отличие от плуга противостоят всему прочему «как сословия в наиболее претенциозном смысле, а именно как сословия – несословиям, т.е. чему-то также фактически существенному, однако без глубокого смысла. Внутреннее, ощущаемое отстояние столь фатально и интенсивно, что не возникает никакого мостика взаимопонимания. Вверх от деревень потоком струится ненависть, замки в ответ излучают презрение» [98, с. 348].

Несмотря на революционные преобразования основных общественных идеологий и фундаментальных институтов во второй половине XVIII в., давало о себе знать многое из времён античности. Это и естественно. Античность неизменно присутствовала в сознании людей XVIII в., поскольку широкое распространение классического образования превращало античную историю в неиссякаемый и почти общедоступный источник иллюстраций, аргументов, моделей. Этот мир идей, терминология и институты зачастую служили идеалами при проведении реформ. Прежде всего, это касалось сферы государственной жизни и публичного права. Мода на античность была в одинаковой степени характерна как для «абсолютистов», так и «республиканцев». Например, Екатерина II приняла титул «Мать отечества» в соответствии с похожим титулом Августа «Отец отечества», а Иосиф II Габсбургский приказал запечатлеть себя в статуе римского цезаря.

Но действительно серьёзное отношение к античным идеалам встречается среди приверженцев республиканской формы правления. Так, группа молодых дворян и офицеров, которая сражалась во время американской войны за независимость в освободительной армии, образовала так называемый орден Цинцинната и называла себя цинциннатистами. Джордж Вашингтон был первым президентом ордена, причём во Франции находилась ложа ордена, в которой председательствовал Лафайет (всё это были ведущие масонские ложи).

Другим примером использования классических идеалов является партия жирондистов времён Французской революции, которая на ранней её стадии сыграла ведущую роль. Цель – восстановить во Франции институты и гражданские идеалы Римской республики. Поэтому партия почитала героев Брута и Кассия (вождей заговора и убийцу Гая Юлия Цезаря) и была непримиримым противником королевской власти. Французская революция на самом деле явилась смесью реформ по античным образцам в различных областях. Даже в самом Риме была восстановлена Римская республика с соответствующими консулами. Известен пример установления десятидневной недели, в основу которой была положена афинская декада. М.А. Филимонова [294, с. 49] обращает внимание на масштабные символические заимствования из жизни античных республик (фригийские колпаки, фасции, изображение Геркулеса, душащего змея, и т.п.). Ещё примеры. Французский революционер-утопист Бабёф поменял своё прозаическое имя «Франсуа-Ноэль» на звучное «Гракх», а соратник Робеспьера Жорж Кутон охотно отказался от своего Святого Георгия ради имени Аристиды. Бредил античностью и Наполеон. Он стал императором посредством закона, который, по римскому образцу, назвали «Senatus consultum», а коронационный гимн начался со слов: «Живи всегда и вечно, Август».

В отношении США можно прямо указать, что их политический уклад имел свои предпосылки не только в идеях Просвещения, но и в символах античной истории. США – это государство граждан по образцу республиканского Древнего Рима, но по существу с течением времени историческим примером для этой страны является Римская империя времён её расцвета (теория «плавильного котла»). Прав был Дмитрий Менделеев, когда после посещения Америки заявил, что в Новом Свете повторяют на новый лад всё ту же латинскую историю, на которой воспитывалась западная мысль.

Учреждения Рима были хорошо известны всем образованным людям западного мира того времени. Перед глазами политической элиты, которая вела войну за независимость и создала Конституцию США, стояли Цинциннат и Катон, Цезарь и Август, Цицерон и Сенека. Авторы статей в «Федералисте» [269] (Мэдисон, Гамильтон, Джей) публиковались под древнеримскими псевдонимами. Их признанный лидер А. Гамильтон избрал себе псевдоним патриота республики Публиуса Валерия. Усилиями Б. Франклина [131, с. 381] идейное наследие греко-римской мысли было привлечено к защите американского республиканства, который нуждался не только в учреждениях и правилах деятельности, но и в особой политической философии. Не случайно «отцы-основатели» назвали резиденцию своего государственного собрания Капитолием, а важнейшее с точки зрения государственного права место собрания – Сенатом. В архитектуре чётко следовали древнеримскому стилю. Признание идеологии Просвещения вкупе с античной историей было в XVIII веке настолько сильным, что её практические политические последствия стали решающими для развития как Европы, так и Америки вплоть до настоящего времени.

Конечно, не стоит упрощать проблему. Например, в эпоху становления американского конституционализма политико-философская мысль являла собой достаточно причудливый симбиоз ценностей либерализма и классического республиканства, а ведь эти направления обычно считаются полярными друг другу.

Классический республиканизм полагает целью общества достижение всеобщего блага, и ради этой цели считается допустимым и даже справедливым пожертвовать интересами и правами отдельной личности. Равнодушие, эгоизм и роскошь губительны для республик. Тот же Т. Джефферсон отдавал предпочтение аграрной автаркичной экономике, близкой к натуральному хозяйству, а коммерцию и промышленность изначально отвергал, т.к. они порождают расслоение общества, страсть к роскоши и нестабильность. Недопустимость социального расслоения объясняет и его неприемлемость многопартийности, стремление к сглаживанию или даже полному уничтожению имущественного неравенства.

В то же время среди «отцов-основателей» были сильны и либеральные настроения. Следует учесть, что большинство федералистов, за исключением Вашингтона и Мэдисона, были жителями больших городов, типичными представителями урбанистической культуры: Дж. Адамс, А. Гамильтон, Дж. Джей, Г. Моррис. Но их либерализм был очень своеобразен. Здесь важно различать экономическую и политическую составляющие.

Либералами их можно считать в том смысле, что они выступали сторонниками модернизации страны и понимали важность капиталистического пути развития, значение торговли и создания индустриальной базы. Но хотя федералистская программа действительно была программой модернизации США, связывать её с либерализмом не вполне корректно. Известно, что они всячески отстаивали концепцию активной роли государства в экономике, а в политических вопросах приоритет прав индивида имел для федералистов второстепенное значение по сравнению с проблемой обеспечения интересов государства. Важнейший принцип либерализма – свобода индивида от угнетения со стороны государства – отходит для них на второй план (Мэдисон, например, скептически относился к самой идее Билля о правах, но уступил в этом вопросе республиканцам лишь по соображениям политического такта).

Многие постулаты классического античного республиканизма были для федералистов главным препятствием на пути к укреплению центральной власти, проведению реалистической политики. Это касается, в частности, требования республиканцев считаться при определении политического курса с принципами гражданской добродетели, а не с реальными интересами государства. Получается, что в рассматриваемый период в США не было носителей «чистого» либерализма, хотя в литературе зачастую пишется о безраздельном господстве либеральной идеологии на всём протяжении истории США, что не соответствует действительности. Как отмечает Р. Пайпс, «миф о полной свободе предпринимательства в американском прошлом давно уже развеян» [47, с. 156].

Скорее, наоборот, представители первой конституционной «волны» в большей или меньшей степени выражали классические республиканские ценности, и это касалось всех без исключения партий и группировок. Те же федералисты, обычно относимые к либеральному (модернизаторскому) лагерю, создали собственную модификацию античного республиканизма. Особенно это касается Дж. Адамса (Президента США в 1797–1801 гг.), который разделял классическое республиканское представление о гражданской общине как о высшей инстанции, оценивающей и вознаграждающей за услуги отдельных граждан. В то же время его социально-политический идеал, хотя и основанный на классических республиканских принципах, резко отличался от идеала антифедералистов и тем более якобинцев. В основе его элитистской модели лежала идея о «смешанном правлении». Именно этот вид устройства, а не демократию античные философы считали идеальной формой правления, достаточно ознакомиться с трудами Платона, Аристотеля, Цицерона, Полибия.

Из неизбежного неравенства, по Адамсу, следует «необходимость организации “смешанного правления” с характерными монархическими, аристократическими и демократическими элементами. В условиях Америки им соответствуют Президент, Сенат и Палата представителей. Основная функция Сената в политической теории Адамса – быть особым представительством элиты и уравновешивать своим влиянием народ, представленный в нижней палате Конгресса. [...] Самые выдающиеся из таких людей должны быть отделены от общей массы и помещены отдельно в Сенат. Это разновидность остракизма, почётной и полезной ссылки» [294, с. 53]. Античной идеи «смешанного правления» придерживались А. Гамильтон и Дж. Мэдисон, разработавшие свои проекты конституции.

Но если классические республиканские элементы в идеологии федералистов сравнительно редко привлекают внимание историков, то с их оппонентами ситуация

обратная. Античный республиканизм антифедералистов и джефферсоновских республиканцев воспринимается знатоками тех событий как едва ли не самое полное и чистое выражение этой идеологии. Т. Джефферсон, Дж. Мэйсон, Э. Джерри отвергали «смешанное правление» и считали идеальной формой правления «хорошо организованную демократию», их настораживал «монархизм» (пост Президента) и «аристократизм» (малочисленность Сената) по предлагаемой Конституции. Они противились усилению центральной федеральной власти и, ориентируясь на условия античных полисов, ради сохранения республиканского строя отстаивали конфедеративный принцип, рассматривая будущее США как союз полунезависимых государств.

Здесь наблюдается очень тонкий переход. Республиканцы полагали, что центральное правительство изначально стремится к аккумуляции властных полномочий, и поэтому его следует максимально ослабить. За счёт чего? За счёт признания естественных прав индивида! Отсюда и право граждан на вооружённое сопротивление угнетению, свободное ношение оружия. Настаивая на принятии Билля о правах, антифедералисты тем самым используют аргументацию с явными элементами либерализма, однако это уже идёт вразрез с античной традицией, которая не признавала противопоставления «права сообщества» «правам индивида». Получился, как видим, очень необычный симбиоз – сочетание античной республиканской традиции с либерализмом констановского толка. Это говорит к тому, насколько сложно однозначно оценить модификации античного (классического) республиканизма в преломлении на историю американского конституционализма.

Но впоследствии были расставлены иные акценты. В XX в. об античном республиканизме в США предпочитают забыть, и на первый план выходит культ Римской империи. Здесь тоже имеет место античная традиция, но – имперского характера. Если политика Римской империи базировалась на принципах благополучия жизни простых граждан и процветания страны за счёт различных экспансий, это же следует сказать и о современных США. Всё считается оправданным, поскольку обеспечивается благополучная жизнь американца как в своей стране, так и за рубежом, и не важно, какими методами достигнуто это благополучие. Нынешняя ситуация не имеет ничего общего со 2-й половиной XVIII века, хотя всюду можно найти обоснование античной традицией – главное, понять какой. Важно лишь каждый раз напоминать о первой в мире Конституции, её стабильности и незыблемости, как то любят делать американцы.

Античная традиция была свойственна и Франции. Для понимания конституционных преобразований интерес представляет её модификация классического республиканизма: «Магистральным направлением развития этой идеологии стал руссоизм, а в период французской революции – якобинизм» [294, с. 57]. Здесь важно понять разницу между французским и американским опытом, чему в литературе не придаётся должного внимания.

В основе якобинской концепции лежит идея добродетели, что является общим для всех классических республиканцев. Смысл её в теоретическом самоотречении, требовании пожертвования всем во имя общего блага. Как и американцы, якобинцы отвергали прямое участие женщин в политике, что целиком проистекало из опыта античных республик. В этих двух компонентах воззрения якобинцев и их заокеанских современников совпадали. Принципиальным же отличием французской концепции гражданской добродетели от американской был отчётливо выраженный классовый смысл, которого не было в США. Французы постоянно подчёркивали, что добродетель присуща представителям всего народа, а не только элиты. Американцы и здесь чётко следовали английской аристократической традиции (о ней исключительно точно пишет О. Шпенглер [96, с. 440]).

Из античного наследия якобинцы восприняли два элемента: прямую демократию и гомогенность (однородность) общества. Как известно, античность не знала идеи представительства, а непосредственное участие гражданина в управлении государством

считалось важнейшей гарантией свободы античных республик. Здесь античный опыт удачно «наложился» на взгляды Ж.-Ж. Руссо [192], противника представительной демократии. Но в отличие от своего духовного отца, французские революционеры признавали существование неотъемлемых прав человека, однако считали, что чрезвычайная ситуация оправдывает отступление от либеральных принципов. Ещё одним следствием выдвижения в качестве идеала именно демократии, а не «смешанного правления» (как в США) явилось то, что французы не придавали никакого значения системе «сдержек и противовесов». Они всячески подчёркивали, что важнейшей гарантией свободы следует считать не взаимное сдерживание разных ветвей власти, а контроль народа над властями.

Античный идеал республики был возведён в абсолют, и вместо либерального недоверия к правительству якобинцы проповедовали чувство органического единства индивида и общества. Народное революционное правительство, выступая от имени народа, неустанно твердило о централизации и единстве власти вместо её рассредоточения между различными ветвями. Предпринимались и попытки адаптировать некоторые элементы прямой демократии к складывающимся условиям. Так, в Конституции 1793 г. речь шла о передаче существенного объёма законодательных полномочий непосредственно народу, то есть об утверждении законов на референдуме, что, впрочем, на практике реализовано не было. Радея о единстве нации, якобинцы откровенно враждебно относились к многопартийности, что было характерно и для американцев-республиканцев.

В социально-экономическом плане якобинцы выдвигали куда более радикальные программы, чем их современники на североамериканском континенте. Широкую поддержку получила идея Сен-Жюста о провозглашении верховного права государства распоряжаться земельной собственностью, устанавливать её максимальный и минимальный размер, перераспределять тем или иным образом. В своей неприемлемости социального неравенства идеология якобинцев вырождалась в крайние формы эгалитаризма, т.е. уравнивания собственности на основе индивидуального хозяйства. Принцип такого фактического равенства пронизывал весь уклад жизни реформируемой Франции, и не случайно наибольшей популярностью пользовались аграрные утопические проекты. Пожалуй, это объясняется культивировавшимися тогда настроениями об особой склонности земледельцев к республиканской добродетели. Правда, события в крестьянской Вандее быстро закрыли эту тему, переключив якобинцев на карательные экспедиции в сельские районы страны. Именно здесь общинный патриархальный уклад оказал ожесточённое сопротивление урбанизированным парижским революционерам.

Первоначально греческие и римские идеалы республиканизма имели для французов абсолютное значение, но после тщательного изучения античного наследия Фортиа, Гэль, Вольней вдруг выявили такие «неприглядные» черты античных демократий, как «тирания народа», «рабство», «элитарность правления». Для революционеров, людей достаточно просвещённых, открылся лубочный классицизм их мифологизированных представлений, что способствовало рождению реалистичного, правдоподобного и свободного от риторики образа этих республик. Якобинцы осознали неловкость и несвоевременность такого открытия, что убедительно описывает Лучано Канфора [31, с. 75] в связи с выступлением Кондорсе в Законодательном собрании. Этот математик и честный до наивности политик безжалостно изобличал «растленность», какую древние с тех самых времён внедрили в умственный склад европейцев.

Были приняты практические меры на основании новых трезвых оценок упомянутых французских историков, вплоть до подправления извлечённых из античных источников цифр, касающихся огромной численности рабского и иного бесправного населения. Они, якобинцы, ввели единую систему народного Просвещения, ориентированную на центральные школы, где доля классических языков была существенно урезана. За те месяцы, пока у власти находился Комитет общественного спасения, изучение греческо-

го и латинского языков сократилось до самого элементарного уровня: депутаты голосуют за то, чтобы классиков читали в переводах и пересказах.

Греческий опыт предшествовал христианству, был прожит задолго до него и утверждал ценности, не нуждавшиеся в религиозной опоре и не принадлежащие какому-то одному народу. Абстрактность, метафизичность, фантомность как нельзя лучше подходили для всемирного признания прав, утверждённых как таковые. «Разумеется, – диагностирует Л. Канфора, – речь шла о метаисторическом использовании [античного] опыта, восприятие которого на протяжении тысячелетий и возведение которого в ранг модели как раз и способствовали такому метаисторическому употреблению. И чем более смутным и приблизительным было представление об Античности, тем более возможным становилось такое идеологическое использование, и с тем большим пылом оспаривали его те, кто призывал обратиться к достоверным источникам и точным данным» [31, с. 76]. В том-то и состоит «парадокс» якобинцев, которые внесли свой вклад в формирование современной Европы, что их несомненное происхождение от просветителей-энциклопедистов и приверженность к античной «идеологии» не могли не прийти в противоречие, что особенно видно на примере соотношения свободы и рабства.

Заканчивая изучение влияния античной традиции на опыт американских и французских преобразований, следует отметить, что все рассмотренные течения имеют некоторые общие черты: предпочтение общего блага частному, коммунитаризм, требование гражданской добродетели. Все реформаторы, как можно убедиться, независимо от целей, которых они хотели добиться, стремились имитировать те или иные элементы жизни античных республик. Но эта «квазиантичная» идеология со всем её внешним традиционализмом ни в коем случае не должна рассматриваться в ряду консервативных течений. Никто из преобразователей не желал вернуться в прошлое, античные формы и риторика зачастую скрывали вполне современное содержание. Влияние же античной традиции заметно угасает в XIX в., и связано это было с модернизацией рассмотренных здесь стран.

4.5 От античности и рабства – к революциям и правам человека

Опыт американской и французской революций фокусируется на одном из ключевых институтов античности – рабстве. Выясняется, почему успешная во всех отношениях американская революция сохранила рабство, а скандальная и в целом неудавшаяся французская признала невозможность равенства и свободы без его отмены. Показаны история рабства во временном периоде от античности до XIX века, причины его восстановления в христианском мире, терпимость восприятия в интеллектуальной среде европейского Просвещения. Изучаются документы революционной эпохи республиканизма США и Франции, разновекторность развития этих государств последующего периода. На примере Томаса Джефферсона иллюстрируется парадоксальность и противоречивость взглядов конституционных реформаторов. Особое внимание уделяется библейскому фактору в восприятии рабства и свободы.

Несмотря на то, что античные демократии были теми великими образцами, к которым возвращались республиканцы по обе стороны Атлантики, очень скоро высветился непреодолимый водораздел в их взглядах на человеческую природу – речь идёт об институте рабства. Причём как американцы, так и французы прославляли античную демократию и без устали твердили о ней как о непосредственной предшественнице демократии конца XVIII века, а великие персонажи той монументальной истории воспри-

нимались как носители нормативных моделей. Они виделись чётко и ясно, представление об Античности к тому времени не было смутным и приблизительным, классические языки – греческий и латинский – знали все просвещённые люди.

Однако факт остаётся фактом: американцы безмятежно сосуществовали с рабством и всячески способствовали его поддержанию (чтобы покончить с ним, США пришлось перенести самую долгую и кровопролитную войну в истории); французы же прямым путём пришли к признанию никчемности «Прав человека», если они на практике зависят от цвета кожи, «если с ними сочетается – за пределами европейского пространства – культивирование дешёвой рабочей силы, принуждаемой к рабскому труду, который превращает человека в животное» [31, с. 77]. Для французов взгляд на рабство как на помеху в развитии общества не был нов, на подобной мысли останавливался Руссо в конце XV главы III книги «*Общественного договора*» [129]. Ленге и несколько ранее шотландец Юм также широко исследовали данный вопрос. Так кто же – американцы или французы – были последовательными проводниками политики античных демократий?

Сколь характерными для «отцов-основателей» были во многом пафосные обращения к библейской истории, в то время как французские просветители и революционеры всячески демонстрировали свою светскость и неприятие христианской религии. Выразилось это, по мнению Ги Эрме [204, с. 74], в тщетной попытке распространения светской (гражданской) веры, которую они называли «Культот Разума». Но такое понимание секуляризации – сектантское, тираническое и иллюзорное – явно недооценило способность сопротивления индивидуальных сознаний и коллективной солидарности. Если вспомнить античный Рим дохристианских времён в периоды правления некоторых извергов-императоров – Калигулы, Клавдия, Нерона, Каракаллы – имели место сходные эксцессы. Уровень исторического проникновения в античную и христианскую реальность позволяет сделать важные для раскрытия темы трезвые оценки.

Во всех аспектах античной жизни присутствовало рабство – равно как и свобода. Это «чудовищное сочетание» (по выражению Фортиа, бывшего дворянина, но в 1794 г. – республиканца) иллюстрирует тот факт, что истинная природа Афинской либо Спартанской демократии носила элитарный характер – конечно, многочисленной, но по сравнению с массами бесправного населения довольно тонкой прослойки «свободных и равных» граждан. В 1795 г. на открытой лекции в Париже Константин-Франсуа Вольней, уже немолодой историк и антрополог, в корне переворачивал «звучащий к свободе» образ античной демократии. Его яростные выпады [31, с. 71] звучали так: «В Спарте аристократия числом в 30 000 человек самым ужасным образом угнетала 600 000 рабов»; «В Афинах, этом святилище всех свобод, на одного человека свободного состояния приходилось четыре раба»; «Из порядка пяти миллионов человек, населявших Грецию, более трёх с половиной миллионов были рабами».

Живший в эту эпоху Аристотель не склонен был соглашаться с теми, кто считал рабство чем-то противоестественным. По его убеждению, как и любая собственность, входящая в состав домовладения, раб является одушевлённым орудием для нужд собственника. В оправдание рабства Аристотель приводил два довода [332, с. 236]. *Во-первых*, указывая на современное ему состояние производительных сил, он выводит из него необходимость рабского труда. *Во-вторых*, таково естественное положение вещей, согласно которому одни люди рождаются свободными, другие – рабами. Последние могут быть наделены прекрасной физической силой, но обделены разумом и красотой души. А поскольку в природе всё неразумное подчиняется разумному (тело – душе, животные – людям), то и рабы обречены находиться под властью разумных хозяев – свободных граждан. Пленение варваров для их порабощения также не вызывало у Аристотеля сомнений с позиции правомерности, но ему претило долговое рабство соплеменников.

Как пишет В.Г. Графский, «после завоевания Лаконики и Мессении в Спарте стали проживать 200 тыс. илотов, 32 тыс. перизков (неполноправных окрестных жителей) и 10 тыс. спартиатов-мужчин-воинов» [14, с. 150], а В.М. Струнников уточняет, что «численность рабов значительно возросла и примерно в четыре раза превышала число свободных афинян после того, как отходят в прошлое патриархальное рабство, а на смену ему идёт классическое, античное рабовладение» [12, с. 146]. В Римской республике только «во II–I вв. до н.э. более полумиллиона было обращено в рабство, в то время как число римских граждан, имевших имущественный ценз, в это время достигало 400 000» [12, с. 166]. Когда раб стал мыслиться в качестве денег («рабы суть вещи»), возник спрос на него, что послужило, по мнению О. Шпенглера [96, с. 520], началом охоты на рабов и появлению работорговли.

С точки зрения К. Маркса, рабство существовало уже в Эдеме; «оно подспудно предполагалось структурой самой семьи» [306, с. 125]. В «Немецкой идеологии» [307] он утверждает, что полного развития рабство достигает только с ростом населения, когда общества становятся более сложными и возрастают межплеменные контакты в форме торговли и войны. Как и Энгельс в своих исторических эссе, Маркс внимательно изучал жизнь античных полюсов.

Можно спорить о цифрах и периодах (правление Перикла не имело ничего общего с жестокостью и беспринципностью Крития), однако несомненно одно: в природе античной политической системы обладателей гражданских прав было очень немного. Например, в эпоху Перикла сюда относили лишь совершеннолетних мужчин в возрасте воинов (от 20 до 50 лет), происходящих от афинских отца и матери и свободных по рождению. Это очень существенные ограничения. Помимо рабов и «неполноценных» афинян, понятие «гражданина» не распространялось на женщин, батраков, неимущих. Поэтому гражданство в Греции и Риме рассматривалось как великое благо, которым не разбрасываются: оно предоставляется при довольно жёстких условиях, практически без исключений, чтобы максимально ограничить число тех, кто им пользуется. Лишь «чистокровные» афиняне, спартиаты, римляне пользовались «свободой и равенством». О «братстве» поговорим чуть позже при выяснении религиозной составляющей демократии.

Во время расцвета древнегреческой философской и политико-правовой мысли в учениях Демокрита, софистов, Сократа, Платона и Аристотеля, вопрос о рабстве был одним из ключевых – поскольку помогал оформить и развивать идеологию свободы. Политика и связанные с нею практические и духовные занятия находятся в сфере усилий свободных людей, а физический труд – удел рабов, поэтому «вся производственно-трудовая сфера, как и сфера семьи, находилась вне сферы свободы и, следовательно, вне политики как сферы свободы» [131, с. 35]. Отношение Сократа, Платона и Аристотеля к рабству описано в исследовании К. Поппера [308], особое внимание им уделяется платоновской реконструкции наилучшего (идеального) государства, рабовладельческого по своей сути и с жёстким разделением труда. «Голпе, – как поучал Платон, – истинное познание и философия не присущи» [206, с. 504]. В работе «*Политик*» он говорит о законодателе, «дающем наказ своему стаду относительно справедливости и взаимных обязательств» [195, с. 485]. Что уж тут говорить о рабах, если граждане для Платона – стадо.

Как считает французский историк Жак Ле Гофф [97, с. 27], именно из платоновского учения родилась известная *трёхфункциональная индоевропейская схема* (клирики-воины-труженики), которая менее явным образом и порой неосознанно передалась в Средние века. Лишь в эпоху эллинизма, когда древнегреческие полисы утрачивали свою независимость, произошла переоценка прежних ценностей с позиций индивидуалистической этики и духовной свободы отдельного человека. С этих позиций эпикурейцы и стоики критикуют и в принципе отвергают деление людей на свободных и рабов. Взгляды Зенона, Хрисиппа, Диогена Лаэртского оказали заметное влияние на по-

следующее развитие естественноправовых представлений Сенеки, Эпиктета, Марка Аврелия, Цицерона, римских юристов, раннехристианских авторов. Во многом фаталистические теории указанных авторов ожили в европейском Просвещении XVIII века, с его идеей естественных прав человека.

Французская революция в высшей точке своего развития сумела радикально превратить традицию расистских и многих других предрассудков. За тысячелетнюю историю существования национального государства Франция не знала постыдного рабства как массового явления, лишь во времена Римской империи на галльских землях легионерам позволялось обращать в рабов местных жителей. Его отголоски встречаются при ранних Каролингах, но очень быстро на место рабов приходят сервы [97, с. 62]. Окончательно вопрос был решён в 1315 году при Людовике X. До этого во многих странах Европы рабство было отменено в любых проявлениях: «В Лондоне работорговля, рабство и крепостное право запрещены в 1102 году. В Исландии рабов нет с 1117 года. В Норвегии – с 1274 года. В Швеции с 1335 года» [303, с. 83]. Во Франции до конца XVIII века существовала огромная масса закрепощённых крестьян, но это уже не рабское состояние. Во времена Революции произошло утверждение равенства за пределами Европы, тогда провозгласилось равенство рас, освобождение негров и эмансипация евреев, полвека оставалось до всеобщего избирательного права.

На заседании Национального конвента 4 февраля 1794 года был рассмотрен и принят декрет в защиту «наших братьев, живущих в колониях». Речь одного из депутатов шла о том, чтобы обеспечить «цветным» людям те же привилегии, которые обозначены во французской Конституции 1793 года. Верный последователь Робеспьера Рене Левассер заявил: «Я требую, чтобы Конвент не из сиюминутного восторженного порыва, но во имя принципов справедливости, следуя Декларации прав человека, немедленно принял декрет об отмене рабства на всей территории Республики. Санто-Доминго входит в эти пределы, а у нас в Санто-Доминго до сих пор есть рабы. Я требую, чтобы все люди были свободными, невзирая на цвет их кожи» [31, с. 61]. В поддержку Левассера выступил Жан-Франсуа Делакура о необходимости предоставления свободы цветным, а также аббат Грегуар и Марк Вадье, наиболее авторитетные из «монтаньяров». В этот день Конвент торжественно провозглашает отмену рабства во всех французских колониях.

В то же время в самой Франции набирает обороты революционный террор. Ненавистник рабства М. Робеспьер разжигает братоубийственную войну: «О процветании государства судят не столько по его внешним успехам, сколько по его счастливому внутреннему положению. Если клики наглы, невинность трепещет, это значит, что республика не установлена на прочных основах» [191, с. 750]. Парадокс: думать о «республике общего счастья» где-то на Мартинике или Гваделупе, но свой народ видеть главным противником революции. Его легко разрешил Наполеон Бонапарт: остановив гражданскую войну, но восстановив в 1802 году рабство в колониях. Для новой буржуазии принципы 1789 года представлялись досадным недоразумением, нуворишам и продажным чиновникам, многочисленной родне Наполеона не нужно всеобщее избирательное право, но очень желателен возврат к рабству в колониях по английской модели. Очевидно, что «гигантские греко-римские “куклы” из ораторского и эмоционального арсенала якобинских политиков не могли долее существовать» [31, с. 83]. Однако нельзя не признать, что Французская республика явилась новой точкой отсчёта для европейской истории, по крайней мере в плане признания и санкционирования в конституционных актах того, что понимается под правами человека.

«Почему же в декларациях “прав”, выдвинутых английскими революциями и революцией американской, не обнаружилось ни достаточно широкого теоретического взгляда, ни практических мер, которые поставили бы под сомнение институт рабства? Почему эти люди, утверждавшие “права” и “свободы”, считали моральными по-

прежнему сосуществовать с рабством в своих колониях (и в чужих, когда их захватывали), или даже у себя дома, как в случае Соединённых Штатов?» – вопрошает Лучано Канфора [31, с. 64]. Как представляется, на такой сложный и вовсе не риторический вопрос не может быть какого-то одного ответа, поскольку причин – множество. Попробуем с ними разобраться.

Для каждой страны характерны определённые черты, по которым просвещённый человек может идентифицировать то или иное общественное состояние. Все мы находимся во власти стереотипных представлений, но ничего другого социальные науки не предложили. Принято считать, что идея свободы является главной чертой англичан, отличающей их от других народов (В 1740 году впервые прозвучала песня на стихи Джеймса Томсона «*Правь, Британия!*», в которой есть выразительные слова: «Бритты никогда не будут рабами».) Лишь в давние времена, «когда Цезарь отправился в Британию, Рим, разочаровавшийся было в связи со скудными золотыми ресурсами у тамошнего народа, скоро утешился надеждой на богатую добычу в виде рабов. [Так] телесные предметы превращались в деньги» [96, с. 520]. После заката Римской империи и до 1066 г. был, как полагают англичане, век «золотой свободы». Но наряду со «свободой» следует учитывать ещё одну составляющую британского менталитета: обращение к фактору «*исконности*», что служило основой для отстаивания народного суверенитета.

До Вильгельма Завоевателя – «этот тезис выдвинул Генри Айртон, зять Кромвеля, во второй день дебатов в Путни (т.е. в октябре 1647 года. – *А.П.*) – у англосаксов существовала очень древняя конституция, основанная на принципах свободы и равенства: от этой “конституции” и происходят исконные права англичан, которые попирались всеми нормандскими королями вплоть до Карла I» [31, с. 58]. Сам представитель левеллеров, излагая таким образом взгляд на древнюю и новую историю Англии, произносит весьма двусмысленную фразу: «Мы считаем, что все жители страны, *не утратившие своё исконное право*, должны во время выборов голосовать на равных основаниях», а полковник парламентской армии Томас Рейнсборо с твёрдостью отвечает грандам-индепендентам: «Я не нахожу ни одного места в Законе Божьем, где бы утверждалось, что лорд должен избирать двадцать депутатов, джентльмен – двоих, а бедняк – ни одного» [31, с. 58]. Это говорят республиканцы, а не сторонники королевской партии.

Выражение «исконное право», по мнению Л. Канфора [31, с. 58], в сочетании с теорией о древней свободе англосаксов подводит базу под утверждение о том, что всё-таки в обществе не обязательно все имеют равное право голоса; и что это право связано с «этническим» происхождением. Ни слова о «других». Политические свободы и наивысшая степень равенства, каких требуют эти революционеры, располагаются между двумя полюсами: с одной стороны, идеологический фундамент, каковой представляет собой Библия; с другой – «нация», «исконность», «род». Случайно либо нет, но такой подтекст хронологически наложился на события, имевшие огромное значение для Англии.

В этот период наряду с первоначальным накоплением капитала усиливается колонизация заморских территорий: при Тюдорах была основана первая английская колония в Северной Америке – Вирджиния, а в начале XVII в. – учреждена колониальная Ост-Индская компания. Всё это происходило на столетие позже захвата Испанией и Португалией огромных территорий Центральной и Южной Америки, однако отсюда берёт начало рабство в английских колониях. Американское колониальное общество с момента своего возникновения никогда не было однородным, эгалитарным. В него входили плантаторы и буржуа, свободные мелкие фермеры и пауперы, купцы, кораблевладельцы и сервенты. О религиозной «палитре» явившихся в Новый Свет и говорить не приходится. В литературе отмечается, что «в 1619 г. появляются первые рабы-негры» [309, с. 25]. Но это не так. Как пишет в своей блестящей работе «*Этническая*

Америка» (1981) чернокожий экономист и обозреватель Томас Сауэлл, «не надо сваливать всех чёрных в одну кучу». Что имеется в виду?

Он подразделяет всех чёрных Северной Америки на три группы: (1) «свободные цветные»; (2) рабы, освобождённые Прокламацией об освобождении, изданной Линкольном, и (3) иммигранты из Вест-Индии. Действительно, первые чернокожие прибыли в Вирджинию в 1619 году. Но они были не рабами, а подобно многим белым – контрактными работниками (*indentured servants*), которые в установленное время получали свободу. Поскольку рабство в английских колониях было введено лишь во второй половине XVII в., к тому времени там жило достаточно большое количество «свободных цветных».

Их численность постоянно росла, и «к началу Гражданской войны достигала 500 тыс. человек, что в то время составляло более 10% всего чернокожего населения» [101, с. 230]. Многие жили на Севере, в отличие от чёрных рабов были грамотными и сами зарабатывали себе на жизнь, а кто жил на юге – даже владели рабами. Приехавшие в Америку из Вест-Индии (Ямайка, Барбадос, Тринидад, Багамы) становились успешными людьми и в сравнении с потомками рабов были «более бережливы, склонны к упорному труду и предпринимательству, учёбе и образованию» [101, с. 233]. Барак Обама, 44-й Президент США – и вовсе уникальный случай. Сын кенийского дипломата и потомок ирландцев-иммигрантов по матери к чёрным рабам не имеет никакого отношения, но именно о них пойдёт дальнейшее повествование.

Британская колонизация сопровождалась массовым перемещением людей, не похожим ни на что. Здесь возникает одно из трудноразрешимых противоречий между английской концепцией свободы и официальной политикой в области рабства и работорговли. Всё началось с английской колонизации Ирландии, которую санкционировали Мария I и Елизавета I из династии Тюдоров. Преемник Елизаветы – шотландский король Яков VI, который стал английским королём Яковом I, проводил самые настоящие этнические чистки. Земли ирландцев конфисковывались и передавались «достойным людям из Англии и Шотландии». Сам король ясно дал понять, что местное население «сведут» везде, где только возможно. И это ему почти удалось: «Ирландия была экспериментальной лабораторией британской колонизации [...] и теперь проблема состояла в том, чтобы экспортировать эту модель через Атлантику» [152, с. 105].

Первое поселение в Роаноке (1585 г.) просуществовало всего год и было покинуто из-за напряжённых отношений с индейцами, но экономическая привлекательность территорий и их неосвоенность, наплыв гонимых протестантов и евреев из Европы потребовали огромного количества рабочих рук. Они нашлись через Атлантику (90% коренного населения Новой Англии погибло или умерло от болезней [54, с. 179]), но здесь обнаружили пределы свободы. Первоначально обратимся к цифрам.

Чистая эмиграция из одной только Англии в 1601–1701 годах превысила 700 тыс. человек (здесь и далее – статистические данные из исследования Н. Фергюсона [152]). Вначале нехватка рабочей силы восполнялась сервентами, преступниками, должниками. Большинство – около 69% – британских эмигрантов в XVII веке отправлялось не в Америку, а в Вест-Индию – там водились большие деньги (сахар, табак, ром). Но к 1700 году во многом из-за ужасающей смертности сервенты «закончились» и нужно было найти альтернативу их труду. И она была найдена в лице рабов из чёрной Африки.

Число жертв работорговли было огромным – только в 1662–1807 годах в Новый Свет на британских судах попали 3 500 000 африканских невольников – но лишь треть всех африканцев, которые когда-либо пересекли Атлантику в оковах (каждый четвёртый погибал в пути). Однако это более чем втрое превышало число белых мигрантов в тот же самый период. Но, например, в Британской Гвинее соотношение между чёрными и белыми было 20:1. Межрасовые браки запрещались, дети-мулаты рабынь ста-

новились рабами. Лишь мароны-повстанцы как часть чёрного населения оставались вне британского контроля.

Активизация работорговли объяснялась и тем фактом, что чёрные рабы работали намного лучше белых сервентов и каторжников. Они имели тысячелетний опыт работы на полях, прекрасно переносили лихорадку и малярию, а главное, они дешевле обходились в сравнении с трудом англичан, как в приобретении, так и в содержании. Поначалу британцев в Вест-Индии обеспечивали рабами португальцы, которым было хорошо знакомо побережье Западной Африки, но скоро на этот рынок вышли и английские суда. После восстановления в Англии монархии Карл II, «в духе времени, основал монопольную компанию, легкомысленно названную *“Королевские предприниматели в Африке”*», чтобы включиться в американскую торговлю. Она развалилась в 1672 году и на её место пришла значительная монопольная организация – *“Королевская африканская компания”*» [54, с. 321].

В число акционеров вошла большая часть королевского семейства, а также могущественный лорд Эшли, который, по тонкой иронии истории, был главным покровителем знаменитого философа Джона Локка. Вероятно, с подачи своего патрона и его рассказов о выгоде работорговли Локк вскоре и сам стал миноритарным акционером... Подождите, будет ещё история и о Томасе Джефферсоне – рабовладельце и хозяине изысканного негритянского гарема.

Создание торговых компаний и огромных плантационных хозяйств придали расцвету работорговли невиданный масштаб. Дельцы из Англии и Голландии торговали по «золотому треугольнику»: вывоз рабов из Африки, их продажа в Южной и Центральной Америке, покупка на вырученные деньги сахара и других сырьевых товаров, с целью их обмена на ром и другие товары, производимые в североамериканских колониях, и затем окончательная перевозка экспортных товаров из Северной Америки в Европу [303, с. 55]. Такой масштаб мировых коммерческих операций и привёл к тому, что вся Западная Африка на протяжении трёх столетий превратилась в поле охоты на рабов.

Но обвинять в работорговле только белых – значит упрощать проблему: «Специфический путь глобального экономического развития привёл африканцев к бизнес-модели, заключающейся в поимке и продаже друг друга белым и арабским работорговцам» [152, с. 176]. В своём исследовании Уильям Бернстайн [54, с. 322–324] всё доходчиво объяснил, и лучше просто изложить его главные наблюдения.

Даже если не считать религиозных и культурных ограничений, осуждавших рабство, охотиться на людей и перевозить их было трудно и дорого. Большинство чёрных рабов изначально попадали в плен к соседнему, враждебному племени, а не к торговцам. Опасения европейцев перед тропическими болезнями объясняет минимальное присутствие белых на африканском побережье. На берег сходили лишь специальные отряды да несколько постоянных агентов, в обязанности которых входили подношения подарков местным правителям и покупка всех необходимых разрешений.

Перевезено было 11–12 миллионов африканцев, примерно $\frac{1}{6}$ от этого числа не пережила дорогу. Работорговцы не думали о том, как и где приобретался их живой товар, часто представления не имели о его географическом происхождении. Европейцы, даже если бы и хотели сами ловить рабов, выживали в Африке недостаточно долго. Из документов «Королевской африканской компании» видно, что 60% её сотрудников умерли, не прослужив и года, а 80% – не прослужив и семи лет, и что живым срок службы заканчивал только один из десяти. За рабов расплачивались в основном одеждой и тканями, железными изделиями и огнестрельным оружием, ракушками каори. Обменяв товары на пленников, европейцы становились работорговцами.

До недавнего времени были очень приблизительные расчёты о масштабах, национальном составе рабов и смертности среди них. Только после 1950 года этот предмет стал

объектом серьёзного научного исследования, когда такие учёные, как Филипп Кэртин и Дэвид Элтис, попытались получить ясные и точные данные об этой торговле. Невольная миграция 12 миллионов была такой масштабной, что в 1580 году больше половины из тех, кто плыл в Новый Свет, были рабами. К 1700 году – две трети, к 1820 году – 90%. В самом деле, заселение Америк казалось невысказанным без чёрных рабов, которые составили 77% пересекших Атлантический океан до 1820 года. И только во второй половине XIX века, после отмены рабства и работорговли, большинство иммигрантов оказалось белыми.

Как ни странно, только 4,5% (около 400 000 человек) привезли в британские колонии в Северной Америке, но теперь в США и Канаде живёт около трети всех рабов. В отличие от Южной Америки и Вест-Индии довольно высокая рождаемость и низкая смертность среди рабов позволили владельцам плантаций больше не «импортировать» африканцев. К 1808 году почти все рабы Северной Америки были местными уроженцами, а ко времени Гражданской войны культурная память об Африке почти исчезла (сравните с Гаити, где в ужасающей нищете, голоде и болезнях до сих пор культивируется древнеафриканский культ вуду). Последним бастионом Нового Света, где очень сильно сказывалось африканское влияние и даже язык племени йоруба бытовал как повседневный, была Куба. Не случайно она так легко «повелась» на бессмысленные революционные эксперименты. Чёрные рабы, местные индейцы и потомки испанских работорговцев – воистину гремучая смесь.

Работорговля на века отравила межрасовые отношения, «после уничтожения рабства люди с чёрной кожей оказались в самом низу социальной и экономической лестницы» [310, с. 43], конец рабства породил расизм и сегрегацию как научные теории, в XX веке многие десятилетия существовала ЮАР – государство апартеида, и т.д. и т.п. Но не белые изобрели рабство и работорговлю – однако именно европейцы закрыли эту постыдную страницу человеческой истории.

Первый шаг сделали сами англичане. Уже в 1775 году британский губернатор Вирджинии лорд Данмор предложил рабам, выступившим на стороне англичан, свободу. Это, подчёркивает Н. Фергюсон, не было авантюрой: «Решение, вынесенное лордом Уильямом Мэнсфилдом по делу Сомерсета тремя годами ранее, сделало рабовладение в Англии противозаконным» [152, с. 155]. Более того, внезапно англичане начали освобождать рабов и отправлять их в Западную Африку. Так и появилась на карте мира «страна свободы» – Сьерра-Леоне, переименованная в Либерию (проект, правда, провалился).

В самой Англии под влиянием Просвещения и методистской церкви развернулись мощная компания по отмене работорговли – аболиционисты через подписание петиций добились того, что к 1833 году рабовладение на британской территории было объявлено вне закона. Несмотря на то, что рабство по-прежнему приносило прибыль, под влиянием глубокого изменения морали оно было отвергнуто. И то сказать: после принятия в 1679 г. *Акта о лучшем обеспечении Свободы подданного и о предупреждении заточений за морями* и *Билля о правах* 1689 г. Британия почти 150 лет мучительно преодолевала позорное явление рабства.

Утрехтским договором, подписанным 11 апреля 1713 г., завершилась война за Испанское наследство, в которой участвовали почти все европейские государства. Согласно заключённому «асъенто» (букв.: *мирный договор*), Испания предоставила Англии монопольное право (сроком на 30 лет) на ввоз негров-рабов в её американские владения; в 1748 г. Англия добилась продления асъенто ещё на четыре года, в 1750 г. отказалась от него за компенсацию в 100 тыс. фунтов стерлингов [62, с. 560]. Взамен Англия выговорила себе право ежегодно отправлять в испанскую Америку корабли с английскими товарами для свободной конкуренции. Свободная торговля взяла верх над торговлей рабами.

Иное дело – рабство и работорговля в США, где британский идеал свободы после войны за независимость обернулся другой стороной. Здесь вызов могущественной империи бросили не отчаявшиеся рабы, а преуспевающие и образованные белые колонисты. Однако ирония состоит в том, что, приобретя независимость, чтобы самим быть свободными, американские колонисты сохранили рабство в южных штатах. «Америка – вначале сочетание табачной плантации и пуританской утопии, порождение экономической и религиозной свободы» [152, с. 159] – предстала мятежной республикой, где свобода была смыслом, идеалом и образом действий. Но как же так получилось, что всё это исходило от людей, которые сами владели рабами, подвергали индейцев геноциду и не мыслили ни о каком всеобщем и равном избирательном праве? Этот вопрос действительно смущал многих американских революционеров. Но вначале – о фактах и документах.

В своём первоначальном варианте (1787 г.) американская Конституция утверждала институт рабства и даже включала в свои статьи положения против беглых рабов. Из числа полноправных людей исключались женщины и индейцы, последних вообще считали «дикими зверями». В окончательной редакции Конституции США, как мы знаем, институт рабства зафиксирован не был, всё-таки из 55 депутатов Учредительного конвента «лишь» 15 было рабовладельцами [141, с. 271].

В 1787 г. спор шёл о форме правления, способной обеспечить социальную и политическую демократию в новообразованном государстве, и главное – сохранить единство Союза. На каком варианте республиканизма остановить свой выбор – вопрос не столь принципиальный, как вопрос сохранения либо отмены рабства, постоянно угрожавший расколом общества (на что обращали внимание тонкие сторонние наблюдатели – Токвиль и Шатобриан). Поэтому, полагает А.Н. Медушевский [193, с. 78], составители Конституции сознательно обошли эту проблему, полагая, что она может быть разрешена с течением времени. Очень немногие отцы-основатели затрагивали проблему чернокожих, но были и такие.

Например, А. Гамильтон подчёркивал необходимость максимальной демократизации нижней палаты как палаты «народной», которая отражает волю самых широких слоёв населения и чьей основной функцией является охрана свободы народа (эти взгляды он излагал как один из авторов «Федералиста» [269]). Разделялось мнение Дж. Адамса о том, что «вследствие неистребимого эгоизма людей их нужно заставлять сотрудничать во имя общего блага, невзирая на их неуёмную жадность и честолюбие» [131, с. 386]. Пожалуй, именно для этого «Гамильтон предполагал ввести прямые выборы нижней палаты на основе всеобщего избирательного права для мужчин, включая свободных негров» [294, с. 54]. Но этот радикальный план не был принят Филадельфийским Конвентом. В итоге против рабовладения нельзя было высказываться конституционно (в юридически исполнимом смысле), когда же это случилось, вспыхнула гражданская война [272, с. 32]. Её масштабы поражают. Тогда впервые был значительно превышен порядок величин наполеоновской эпохи по численности войск. Например, на едва 20 млн населения северных штатов приходилось 1,5 миллиона человек, задействованных в вооружённых формированиях [96, с. 448].

Первые конституции штатов (1776–1787 гг.) лояльно относились к сохранению рабства, они просто игнорировали эту проблему. Всего до принятия федеральной Конституции 1787 г. в штатах действовало 16 конституций, а тексты восьми из них включили декларации или билли о правах, которые послужили формой юридического закрепления «естественных и неотчуждаемых» прав, но лишь Декларация прав Вермонта запретила рабство в штате. Самый радикальный вариант предложила Пенсильвания, там на уровне закона в 1780 году было отменено рабство, и этому примеру скоро последовали многие другие северные штаты. Стоит упоминания «летописец революции» Джон Диккенсон, который ещё в 1777 году освободил всех своих рабов. В штате Дела-

вер, который он представлял при обсуждении федеральной Конституции, накануне Гражданской войны в 1860 году 92% негров были свободными людьми.

Будучи губернатором Вирджинии, Томас Джефферсон провёл закон, запрещающий дальнейший ввоз рабов в этот штат; однако, «будучи владельцем образцового имения Монтчелло, он сам имел невольников, хотя и обращался с ними в высшей степени гуманно» [31, с. 60]. Как плантатор, Джефферсон владел «примерно двумястами рабами, из которых освободил всего семерых» [152, с. 155]. Кстати сказать, он в 1779 году ввёл за гомосексуализм такое же наказание, как за насилие [207, с. 270]. Этот великий (без всякой иронии) человек был набожным христианином и жил по Библии, которая, как известно, признаёт рабство, но гомосексуализм относит к смертному греху.

К библейской теме ещё предстоит вернуться, а пока констатируем: до Гражданской войны рабство существовало и процветало на территории США, в то время как в «поработительнице» Британии рабовладение и работорговля оказались под запретом. Если в 1790 году, во время первой переписи населения, в молодой республике насчитывалось около 700 000 рабов [54, с. 310], то в старой монархии усилиями методистской церкви, внепарламентских движений, деятелей Просвещения, некоторых авторитетных лордов был положен конец трансатлантической торговле невольниками, и в конечном счёте – рабству в целом.

Многие фамилии достойны упоминания: Захария Маколей, Генри Торнтон, Уильям Мэнсфилд, Гренвил Шарп, Томас Кларксон, Питт-младший, бывший работорговцем Джон Ньютон, Эдмунд Бёрк, поэт Сэмюэль Т. Кольридж, Джозайя Веджвуд, Дэвид Левингстон, Сэмюэль Марсден. Мотивы у этих людей были разными. Кто-то высказывался против рабства по религиозным соображениям, кто-то – под влиянием передовых конституционных идей, кто-то – по экономическим соображениям. Например, квакеры утверждали, что оно нарушает библейское предписание: «Во всём, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними» (Мф. 7:12). В то же время Адам Смит и Адам Фергюсон были противниками работорговли по той причине, что труд свободных людей обходится в конечном счёте дешевле труда рабов. Результат превзошёл все ожидания: несмотря на экономическую прибыльность рабства, это проклятие было снято с Англии и всех британских владений.

Моральный импульс оказался сильнее всех политических и экономических расчётов, он перекинулся на большинство общественных и политических институтов и привёл к неожиданным последствиям. *Во-первых*, англичане оказали воздействие на другие страны (например, по этой причине испанское и португальское правительства запретили торговлю невольниками); *во-вторых*, сами активно преследовали работорговцев (эскадры ВМФ патрулировали моря и океаны, учредили международные арбитражи по преследованию работорговцев, и лишь суда под флагом Соединённых Штатов игнорировали эти мероприятия); *в-третьих*, основали многочисленные миссионерские миссии в колониях по освобождению рабов и обращению их в христианство, т.е. взяли на себя цивилизаторскую миссию – «бремя белого человека» по Р. Кипплингу: «Несите бремя белых – и пусть никто не ждёт // Ни лавров, ни награды, но знайте, день придёт – // От равных вам дождётся Вы мудрого суда, // И равнодушно взвесит Он подвиг ваш тогда» [302]. Как заметил Ниал Фергюсон [152, с. 29], в истории Британской империи поразительно вот что: почти всякий раз, когда британцы вели себя как деспоты, изнутри английского общества звучала самая либеральная критика. До сих пор нет ясного ответа на вопрос, почему Империя, подчинившая себе чужие земли, вернулась к идеалам свободы, в то время как Республика, победившая в антиколониальной войне, сохранила рабство и равнодушно взирала на работорговлю.

Принятие американской Конституции 1787 года было вызовом само по себе – то был конец XVIII века! Вместе с Биллем о правах 1789 года она являлась в известном

смысле документом огромного демократического значения. Но буржуазная в своей основе Конституция заключала в себе одновременно и реакционные черты, среди которых – категорическое непризнание всеобщего избирательного права (оно с очевидностью вытекало из Декларации независимости, но в реальности политическими правами обладали 120 тыс. граждан, что составляло около 4% населения) и узаконение рабства негров – как уступка полufeодальному землевладению южных штатов с целью сохранения федерации. Последнее никак не сочеталось с принципом «равенства людей» и их «естественных прав».

Свою роль сыграло и то обстоятельство, что Верховный Суд США до 1865 года занимал последовательную антиаболиционистскую позицию. Накануне войны Севера с Югом Верховный Суд США в 1857 году даёт выразительное толкование Конституции в деле негра Дредда Скотта: «В настоящее время право собственности на рабов ясно и определёнno утверждено Конституцией. Права торговли рабами, как обычным товаром и имуществом, были гарантированы гражданам в каждом штате. Единственное полномочие, какое дано Конгрессу, является полномочием, сопряжённым с обязанностью охраны прав собственника» [141, с. 275]. Так были интерпретированы *четвёртая* и *пятая* поправки Конституции США, касающиеся института собственности. Это решение резко обострило ситуацию и по существу спровоцировало неизбежное столкновение рабовладельческой системы на Юге и буржуазно-промышленного Севера.

По делу Дредда Скотта Верховный Суд второй раз признал неконституционным акт Конгресса, а первое такого рода решение было вынесено в 1803 г. в связи с известным делом Мэрбери против Мэдисона, когда фактически был введён судебный контроль за конституционностью в США. Тогда и началась практика уточнений и изменений Конституции с помощью судебных решений и толкований, что получило название теории «живой конституции» [356]. Подверженная политической конъюнктуре деятельность Верховного Суда имела огромное значение при решении вопросов о рабстве, к чему мы ещё вернёмся.

Не меньшим конъюнктурщиком показал себя и Президент США Авраам Линкольн. Этому освободителю негров принадлежат следующие слова: «Я никогда не выступал и не буду выступать за социальное и политическое равенство двух рас – чёрной и белой, я никогда не поддерживал точку зрения, чтобы негры получили право голоса, заседали в жюри или занимали какую-нибудь должность или женились на белых; добавлю, что между белой и чёрной расой есть физическая разница; и, как любой человек, я за то, чтобы белая раса занимала главенствующее положение. Я не могу представить никакого большего бедствия, чем ассимиляция негра в нашу социальную и политическую жизнь на равных с нами условиях... Ассимиляция с низшей расой не является ни возможной, ни желательной» [303, с. 74]. Вот и отношение этой «культовой прогрессивной фигуры» к расизму. Но как понимать принятые и инициированные А. Линкольном прокламации и поправки, о которых пойдёт речь?

Дело в том, что как раз-таки Север нарушал законы государства, настаивая на отмене рабства, ведь вопрос о его сохранении оставался по Конституции на усмотрение каждого штата. Аболиционистов и обвиняли в том, что их деятельность ставит под угрозу союз Севера и Юга. Даже Англия с Францией собирались официально признать Конфедерацию независимой. Но когда Линкольн провозгласил смыслом развязанной войны освобождение рабов, он тем самым изменил к Северянам отношение «прогрессивной» Европы. Этот «трюк» прошёл, единство Союза было сохранено, а рабство отменено. Что стоят собственные убеждения, когда на кону большая политическая игра! Кстати сказать, сразу после отмены рабства погибло больше 600 000 негров – им просто стало нечего есть. И это при населении США в 28 миллионов. Пришлось массово ввозить кули – китайских рабочих, около 6 миллионов. Никакие потрясения не проходят

бесследно, даже закрытие самого прибыльного рынка рабов в мире – коим до 1865 г. являлись США. Тому предшествовали следующие события.

В 1861 г. новообразованные Конфедеративные штаты Америки (в составе США их было 13 – большинство) начали гражданскую войну, которая продолжалась четыре года и закончилась 26 мая 1865 г. Описывать её перипетии не входит в наши задачи, лишь отметим главное – коренной перелом в ходе войны, который первоначально был более благоприятен для южан, наступил после решения принципиального вопроса о рабстве. Оно на территориях взбунтовавшихся штатов было отменено Прокламацией Президента А. Линкольна от 1 января 1863 г.

Вначале речь шла только об освобождении рабов на территории взбунтовавшихся штатов, и лишь после окончания войны специальной XIII поправкой (ратифицирована 6 декабря 1865 г.) рабство было отменено во всех штатах. В разделе 1 говорилось о том, что «ни рабство, ни подневольная работа, если только они не являются наказанием за преступление, за которое лицо надлежащим образом было осуждено, не должны существовать в Соединённых Штатах или в каком-либо ином месте, подчинённом их юрисдикции» [198, с. 43]. Таким образом, победа Севера привела к формальной ликвидации рабства, но южане в лице бывших плантаторов-землевладельцев и не думали сдаваться. Их усилия были направлены на то, чтобы фактическое положение негров не изменилось.

Как пишет З.М. Черниловский, они «превратились в арендаторов-издольщиков, полурабов, полусвободных» [141, с. 277]. На этот статус-кво были нацелены так называемые *Чёрные кодексы*, принятые законодательными собраниями южных штатов. Согласно им негры, не имевшие работы, признавались «бродягами» и могли быть отданы на принудительные работы; для чернокожих был закрыт доступ к ремесленным и торговым профессиям; не достигшие 18 лет насильственно отдавались в «ученичество» белым хозяевам. В конечном счёте радикальное крыло республиканской партии (демократы противились отмене рабства) проводит серию мер, названную «реконструкцией Юга», что включало в себя контроль армии над разделёнными на военные округа южными штатами и учреждение трибуналов вместо общих судов. Конгрессмены и сенаторы от всех южных штатов лишились своих мест в Конгрессе США. Более того, новые конституционные конвенты в южных штатах были избраны как белыми (исключая мятежников), так и чёрными гражданами. В 1865 году Конгресс США принимает Билль о гражданских правах негров, объявив вне закона всякие «чёрные кодексы».

В том же 1865 году высший законодательный орган страны – в отсутствие южан – принимает знаменательную XVI поправку к Конституции США, которая была ратифицирована 9 июля 1868 года. Она содержала запрет для штатов лишать гражданина жизни, свободы и собственности без соблюдения надлежащей правовой процедуры (здесь усматривается сходство со ст. 39 *Великой Хартии вольностей* [205]) и запрет на отказ в равной защите законов в пределах своей юрисдикции. Полностью Раздел 1 XIV поправки звучит так: «Все лица, родившиеся или натурализованные в Соединённых Штатах и подчинённые их юрисдикции, являются гражданами США и того штата, где они проживают. Ни один из штатов не должен издавать или применять законы, которые ограничивают привилегии и льготы граждан Соединённых Штатов; не может какой-либо штат лишать какое-либо лицо жизни, свободы или собственности без надлежащей правовой процедуры; не может отказывать какому-либо лицу в пределах своей юрисдикции в равной защите на основе законов» [198, с. 43].

В 1870 году была ратифицирована XV поправка, где говорилось о том, «что право голоса граждан Соединённых Штатов не должно оспариваться или ограничиваться Соединёнными Штатами или каким-либо штатом по признаку расы, цвета кожи либо выполнения ранее подневольной работы» [198, с. 44]. Она касалась чёрных мужчин, но не женщин, так как последние получили избирательное право вместе с белыми женщина-

ми лишь в 1920 году благодаря XIX поправке к Конституции США. Казалось бы, эти три поправки – XIII, XIV, XV – создали юридические условия не только для освобождения негров, но и уравнили их в правах с белыми гражданами. Но не тут-то было. До фактического равенства в общественной и политической жизни США было ещё далеко.

Прогрессивные предписания рассмотренных нами поправок были, по выражению А.А. Мишина [309, с. 44], «горпедированы» решениями Верховного Суда 1883, 1893 и 1896 гг., признававшими неконституционными Закон о гражданских правах 1875 г. и конституционные законы штатов, установившие «раздельные, но равные возможности» для белых и чёрных, что привело к расовой сегрегации, длившейся в США до конца 60-х гг. XX века. Вопреки ранее принятым поправкам в 1898 г. Верховный Суд признал конституционными ограничения избирательных прав негров. Дело в том, что политические круги южных штатов блокировали участие негров в выборах должностных лиц не только в своих штатах, но в Федеральном Конгрессе, а сделано это было введением ценза грамотности и разного рода обязательными унижительными экзаменами для чёрных.

В 1896 году по скандальному делу негра Гомера Плесси, проехавшего в вагоне для белых, Верховный Суд отказался признать ничтожным расовый закон Луизианы: «Не право, а сама биология создала различия между расами, и потому легистратуры штатов не могут не считаться с расовыми инстинктами» [141, с. 278]. Так и родилась формула «раздельное, но равное», послужившая оправданием «мягкого» апартеида.

Стадия перемен началась с решением Верховного Суда в поддержку десегрегации по делу «*Браун против Совета по образованию*» (1954 г.) и закончилась появлением законодательства в пользу гражданских прав [209, с. 274]. В 1968 г. Верховный Суд США в одном из своих решений признал, что «содержащееся в XIII поправке обещание нация не смогла сдержать» [14, с. 450]. Он же активно обозначил курс по обеспечению гражданских прав и свобод и отмене любого дискриминационного законодательства штатов, в чём большая заслуга Э. Уоррена – Председателя Верховного Суда США.

Помимо расовой сегрегации («молчаливого» апартеида) чёрные претерпевали в отношении себя террор агрессивных настроенных расовых организаций белых. Особенно это касалось тех, кто желал участвовать в политической и общественной жизни страны, имел контакты с белыми женщинами. Наибольшую известность получили «*Ку-клукс-клан*» и спонтанные группировки по саморасправе – «*суды Линча*». Первая здравствует и поныне, она достаточно активно проявила себя на выборах 2016 года в США, поддержав будущего президента Дональда Трампа, но после того, как тот назначил в свою команду на некоторые высокие должности чернокожих и евреев, поклялась более не иметь никаких дел с ренегатом. Но сейчас это явный реликт общественной и политической истории США (наподобие ряженных казаков и погромщиков-черносотенцев в России), да и ранее напускная мишура и маскарадность выходили на первый план. А вот «суды Линча» – тяжёлая и трагичная страница истории США, о которой скажем отдельно.

Это был широко распространённый среди граждан обычай самим вершить суд в форме организованного внеправового правосудия так называемых «*бдительных*» [76, с. 370], которые организовали *линчевания*, в том числе и казни, приводимые в исполнение возбуждённой толпой. Они получили своё название по фамилии полковника Чарльза Линча, который в 1779–1780 гг. ввёл подобные казни в порядке общего террора в революционной Вирджинии (там, между прочим, находились табачные плантации двух рабовладельцев – отцов-основателей американской Конституции Дж. Вашингтона и Т. Джефферсона). Почему это стало возможным?

Как полагает Э. Аннерс [76, с. 370], основания подобной традиции произвола лежат как в правовой идеологии, так и в правовой политике. С идеологической точки зрения корни насилия находились в представлениях XVIII в. о народном суверенитете. «Бдительные» считали и говорили открыто, что они только вернули и исполняют пра-

во, которое принадлежало им как гражданам и которое они передали государственным чиновникам. Мнение Э. Аннерса полностью совпадает с воззрениями А. Токвиля, которые он изложил в книге *«Демократия в Америке»* (1835 г.). «Что мне больше всего не нравится в Америке, так это отнюдь не крайняя степень царящей там свободы, – приходит к выводу А. де Токвиль, – а отсутствие гарантий против произвола» [80, с. 198]. Как доказывает автор, общественное мнение, законодательный корпус, исполнительная власть, вооружённая милиция, суд присяжных – это всегда большинство, перед которым бессильна жертва несправедливости, что и есть прямой путь к произволу, в том числе и со стороны государственных служащих.

Следует учитывать и тот факт, что продвижение переселенцев в глубь континента не всегда сопровождалось организацией полиции или судов, что способствовало активности самих граждан по пресечению преступлений и наказанию злоумышленников. Еще одним фактором был технически чрезмерно усложнённый уголовный процесс, что затягивало на неопределённое время вынесение приговора или приведение его в исполнение. Обострённая тяга граждан к восстановлению справедливости, идеологически экстремальная «народная» среда и дефекты уголовного процесса иногда вели к тому, что сами судьи, адвокаты, обвинители и шерифы принимали участие в экспедициях «бдительных» и линчеваниях, или, по крайней мере, не выполняли своего долга останавливать их.

После гражданской войны в южных штатах негры оказались жертвами самосуда. Согласно безусловно неполной статистике [76, с. 370], за период 1767–1909 гг. были казнены 737 человек «бдительными» и за период 1889–1951 гг. 4730 человек подверглись линчеванию, большинство же – чёрные из южных штатов. Но не только. Немецкий поэт и мыслитель Г. Гейне рассказывает о случае, который имел место задолго до войны Севера с Югом: «Протестантский проповедник, наперекор жестокому предрасудку, выдал дочь за негра. Толпа ворвалась в его дом и разрушила его. Проповеднику удалось бежать, но его дочь подверглась линчеванию. Её раздели донага, вымазали смолой, вывалили в пуху и так волокли через весь Нью-Йорк, где всё это и произошло» [цит. по: 141, с. 279]. За что назначались внеправовые наказания, детально описано в своеобразном кодексе [76, с. 371], который составил известный адвокат из Луизианы в форме ставших классическими 10 заповедей. Эти положения создают картину, которая весьма напоминает германское обычное право Раннего Средневековья, основанное на личной мести в условиях относительно примитивных обществ.

Ещё в первой половине XX в. внеправовые наказания были настолько обычным и глубоко укоренившимся явлением в США, что государству и обществу в целом пришлось принимать решительные меры по искоренению этого противозаконного обычного «права», исполняемого в традиционно грубых и жестоких формах. Задачи решались за счёт совершенствования законодательства, бурной общественной критики и не в последнюю очередь благодаря улучшению образования юристов в США. На таком фоне легче понять то, что именуется американской традицией насилия, а также те большие трудности, которые характерны в обуздании жестокости полиции США. Множество инцидентов 2014–2017 гг., связанных с неоправданной жестокостью (вплоть до убийства на месте задержания) полицейских, прежде всего, против черных – из этого рода. То, что происходило в США, – естественное следствие рабства, гипертрофированных форм народной демократии и извращения природного порядка вещей, выражающегося в лицемерии политиков и двойных стандартах. С огромным трудом Америка преодолевала моральные, эмоциональные, политические, религиозные стереотипы и предрассудки. В их плену оказывались не только «простые» свободолюбивые граждане, но и самые просвещённые умы того времени. «Закольцовывая» сюжет, сделаем необходимый экскурс в историю.

«Мы исходим из той самоочевидной истины, что все люди созданы равными и наделены их Творцом определёнными неотчуждаемыми правами, к числу которых от-

носятся жизнь, свобода и стремление к счастью» [198, с. 25]. Хорошо известно имя автора этой фразы: Томас Джефферсон. Но его, как и некоторых других американских революционеров, сильно смущал один вопрос – относятся ли слова Декларации независимости о том, что все люди «созданы равными», к $\frac{1}{5}$ населения бывших колоний? В конце концов, этот выдающийся человек был преуспевающим табачным виргинским плантатором, владел сотнями рабов, фактически содержал гарем из чёрных невольниц (их совместные дети также были рабами). Проблема состояла и в том, что Вирджиния – южный штат, там хозяева в большинстве случаев лишены были возможности освободить своих рабов, но если это происходило, то требовало невероятных усилий и выполнения множества формальностей (всё-таки за всё время Джефферсон освободил семерых негров-мужчин).

Но фактическая сторона дела не столь важна. На примере Томаса Джефферсона, одного из самых просвещённых людей своего времени, хорошо видно, какая огромная пропасть разделяла тогда людей, сколь неуловимыми и значительно более прочными, чем само рабство, были ментальные предрассудки. Будучи человеком своей эпохи, Джефферсон так и не покончил как минимум с четырьмя из них. Речь идёт о превосходстве хозяина над рабом, белого человека над всеми другими людьми, аристократа перед чернью, мужчины над женщиной. Верно замечено, что «наиболее известные защитники свободы – отцы-основатели США, например, – тщательно отмеряли её только для принадлежащих к их собственной расе и полу» [306, с. 109]. В конце XVIII века расовый вопрос о чёрных «недочеловеках» встал остро, как никогда. К этому времени рабовладение в самой Англии было противозаконным, а революционная Франция и вовсе отменила рабство на всех заморских территориях.

Институт рабства, как апофеоз юридического и социального неравенства людей, снова и снова становился «каменным гостем» всех велеречивых североамериканских деклараций и конституций. Почему так? Вновь, как и в Англии, политическая мысль устремлена между двумя «полюсами» – библейской основой и опорой на род, поэтому «Джефферсон в Париже (он был там послом США накануне революции. – *А.П.*) мог сколько угодно провозглашать свою приверженность к энциклопедистам – это не избавляло его от неловкости, когда французские друзья, из бесед с которыми он и черпал своё вдохновение, напоминали ему, что в его стране, при свободном республиканском строе, всё ещё существует рабство» [31, с. 60]. Была, конечно, очень важной и экономическая причина рабства, ведь рабовладельческий способ производства был эффективен в США и составлял основу материального благополучия очень многих американцев.

Кстати сказать, «хотя на Севере было меньше рабов, выгода рабского труда там так же, как и на Юге, никогда не ставилась под сомнение. В 1740 году законодательное собрание штата Нью-Йорк заявило, что следует всячески поощрять прямой ввоз рабов и в то же время строго наказывать контрабандистов, поскольку они могут помешать деятельности честных торговцев» [80, с. 255]. Как показало дальнейшее развитие событий, как это не выглядит парадоксально, в отмене рабства в США были заинтересованы не чернокожие, а белые. В условиях построения индустриального общества труд свободных рабочих является более продуктивным и экономным, что доказано экономическими расчётами. Но здесь хочется сказать об ином влиянии рабства: оно оставляет неизгладимый след в душах хозяев, придавая определённую направленность их мыслям и склонностям.

Как представляется, естественные права человека, которые по настоянию Джефферсона оказались в преамбуле американской Конституции, посягнули на самые что ни есть ценности иерархического христианского общества. Хотел того Джефферсон либо нет – значения сейчас не имеет. Смятение в умах тогда было у многих, достаточно вспомнить времена войны за независимость, когда в революционную армию вербовали негров, обещая им свободу, и одновременно обещали белым, за их переход в армию

Вашингтона, чернокожих рабов! Обратим внимание на сильнейший библейско-протестантский отпечаток, неизменно присутствующий в сознании, языке и политической риторике американских переселенцев-колонистов.

Раннее христианство времён Римской империи соглашалось с рабством в полном соответствии с Ветхим и Новым Заветом, но духовно готовило почву для его отмены. Важнейшее выражение взглядов христианской церкви этого периода представлено в труде Св. Августина (354–430 гг.) *«О Граде Божьем»* [312]. Право частной собственности и рабство, по его представлению, суть явления, которые до грехопадения человека не существовали в естественном праве. Они введены Богом, с одной стороны, как наказание, а с другой – как стремление к оказанию человеку помощи во время его земного существования. Конкретный смысл теологии Св. Августина заключался в том, что создаваемые человеком законы должны строиться на этических идеалах человеческой любви, сердечности и служении благу, что не предполагало рабства в условиях идеальной справедливости. Во времена Св. Августина христианство уже было объявлено государственной религией, что изменило культурные условия: уже нет ни римлян, ни варваров, но есть объединённые христиане и братья во Христе.

В раннем европейском Средневековье христианство в лице своих иерархов и институций покончило с рабством, но в XV веке христиане же и возродили его. Правда, с оговоркой: «Они допустили его в свою собственную систему только как исключение и позаботились о том, чтобы рабами могли быть люди лишь одной расы. Таким образом, рана, нанесённая человечеству, не была обширной, но это лишь усугубило трудности её лечения» [80, с. 253]. Экспессы работорговли в Европе имели место с XI века, связано это было с формированием средиземноморского, в первую очередь мусульманского, пространства с его крупными городами (Каир, Кордова, Палермо), где был высокий спрос на товары, потребление и сырьё, «побуждая европейский Запад поставлять в этот район те товары, которыми он располагал или которые в изобилии производил: древесину, железо, олово, медь, оружие, *а также – обходя церковные запреты – рабов»* [296, с. 71]. Но это направлялось внешними силами и обстоятельствами, через четыре века европейцы сами начнут проявлять активность в этом прибыльном деле.

Уже при Энрике Мореплавателе в Португалию стали ввозить партии чернокожих невольников. В 1452 году Папа Римский Николай V специальной буллой санкционировал захват португальцами африканских земель и обращение их жителей в рабство. К началу XVI века в Португалии появились целые районы, где негритянских рабов было больше, чем местных жителей. В Лиссабоне 25% населения были чернокожие [303, с. 55]. Но это – вывоз африканцев в Европу, а в Америку их начали вывозить испанцы. В 1510 году первые 250 африканцев с побережья Гвинейского залива были доставлены на золотые рудники острова Эспаньола (Гаити). Но работорговля стала индустрией «благодаря» англичанам и голландцам, создавшим громадные плантационные хозяйства.

В мировоззренческом плане «реабилитация» института рабства связана, как ни удивительно, с именем Фомы Аквинского, доминиканского монаха (1225–1274 гг.), который через сочинения арабского комментатора Аверроэса (1126–1198 гг.) «открыл» Аристотеля для католической церкви, так как сумел убедить её верных служителей в том, что философские трактаты Аристотеля хорошо согласуются с христианской теорией. Для нашей темы Аквинский интересен своими набросками общих контуров естественно-правовой системы.

Как и Аристотель, Фома Аквинский считал, что, согласно естественному праву, рабство вполне допустимо. Как полагает Э. Аннерс [76, с. 153], такая точка зрения роковым образом сказалась на будущих поколениях. Дело в том, что, когда португальцы и испанцы в XV и XVI вв. завоевали Америку, они получили от папы разрешение на введение рабства на новом континенте. Папа, в свою очередь, ссылаясь на Аквинского,

который, как известно, после своей смерти был канонизирован и возвеличен до высших авторитетов церкви.

Когда же оказалось, что американские индейцы были не в силах выдержать тяжёлый рабский труд, другой доминиканский монах Лас Касас (1474–1566 гг.) в 1517 г. посоветовал императору Карлу V (в 1519–1556 гг. тот был испанским королём Карлосом I) в качестве рабов использовать негров, заменив ими аборигенов-индейцев. Однако католическая церковь в лице папы Лео XIII осудило работорговлю. Справедливости ради отметим, что ещё ранее это сделал Филипп де Коммин, знаменитый историк Средневековья. Он первым публично заявил, что у Африки, помимо войны и разобщённости, «есть и ещё одна беда: одни её жители продают другим христианам, а португальцы сделали торговлю чёрными рабами обыденным занятием» [97, с. 286]. В своём исследовании Жак Эрс [51, с. 24] фиксирует 1444 г. как начало захвата рабов в Африке во время португальских морских экспедиций в поисках пряностей и золота.

Это противоречие и разрыв между церковью и светской властью становились всё более и более ощутимыми, что усугубилось состоявшейся в XVI веке протестантской Реформацией, отвергнувшей каноническое право церкви. С конца XVI ст. начинается колонизация Северной Америки, где переселенцы представляли «некатолический» мир Старой Европы. Торговли и завоеваний для успеха белой расы было уже недостаточно. Но освоить огромные территории без подневольного труда было невозможно, очень быстро белых сервентов и каторжников сменили негры, завозимые из Африки. Королева Елизавета I всецело поддержала экспансию на Североамериканский континент, выписывая патенты на владение землёй и равнодушно взирая на отток неуживчивых пуритан. С середины XVII в. могущественная королевская Африканская компания исправно поставляла чёрных невольников. Рабство спокойно уживалось с принципами религиозной и экономической свободы как пуритан, так и представителей англиканской церкви.

В католическом сообществе имели место обратные тенденции. Как пишет Л. Канфора, «хорошо знакомые с действительным положением вещей в колониальных владениях, последовательные в своих выступлениях иезуиты – во имя Евангелия, рискуя отлучением от церкви и обвинением в ереси, – проникли в самую суть социального неравенства и прежде всего рабства. [...] Но такой христианский радикализм, наличествовавший в мире, который английские мятежники клеймили “папистским”, и не присутствовал, и не особенно ценился в мире реформаторов, или диссидентов от Реформации, интеллигенции, направившей революцию в англосаксонском мире» [31, с. 66–67]. Английская концепция империи была прямо противоположной концепциям, которым следовали конкуренты – испанцы, португальцы, французы. Империя первых основывалась на протестантизме, вторых – опиралась на католицизм.

Трудно представить, но многие набожные священнослужители-протестанты не испытывали никаких угрызений совести относительно рабства, более того – сами занимались работорговлей. Один из самых известных – Джон Ньютон – на евангелической основе разработал свою апологию работорговли [152, с. 130]. Суть её можно изложить так: как можно было считать, что лишаешь африканцев свободы, когда у них не было никакого понятия о ней, кроме как о свободе «не быть проданным»? К слову, убеждёнными сторонниками рабства либо законченными расистами в разные времена были очень многие «просвещённые» личности: Дж. Бруно, Парацельс, Вольтер, Гёте, К. Фохт, Л. Бюхнер, Э. Геккель, К. Линней, Ж. Бюффон, Э. Лонг, Ламарк, Гегель, Ф. Энгельс, Л. Окен, Топинар, Ж. Гобино и многие другие. Что уж тут говорить о XVI–XVII веках.

Африканцы – просто низший вид, у них нет никаких способностей, системы этики и чувства морали. Под эти взгляды была подведена научная основа. В 1684 г. один из первых создателей расовой классификации французский учёный Франсуа Бернье опубликовал работу, в которой употребил и обосновал термин «раса» [300, с. 55]. Такие

взгляды не были уникальными. Даже Джеймс Босуэлл, в других случаях спешивший поднять свой голос в защиту свободы (как, например, в отношении белых американских колонистов), категорически отрицал, что «негров угнетают», поскольку «сыны Африки всегда были рабами». Поначалу, при освоении Америки, англичане сделали вид, что отвергают рабство, но постепенно всё перевесили огромные прибыли и дальнейшие перспективы. И слово Божье отнюдь не было помехой.

Отправившиеся в 1620 г. в Америку отцы-пилигримы составили *Plantation Covenant* (колониальный договор), начинавшийся словами: «Во имя Бога, аминь! Мы, нижеподписавшиеся, подданные Его Величества, нашего суверенного государя Якова, Божьей милостью [...] предприняли во имя Бога, распространения христианской веры...» [19, с. 19]. Историк Натаниел Мортон следующим образом описывает отплытие первых эмигрантов из старой Англии: «...мы должны увековечить знаки Господни, ...обязаны передать нашим детям, чтобы поколения, идущие нам на смену, научились славить Господа...» [80, с. 47]. Законодатели Коннектикута при освоении территории прежде всего занялись уголовным законодательством; при составлении законов у них появилась весьма странная идея почерпнуть их из Ветхого Завета: «Кто будет поклоняться иному Богу, кроме Господа нашего, – будет предан смерти» [80, с. 50]. Далее следует десяток подобных положений, целиком взятых из книг Второзакония, Исхода и Левита. Читая все эти посвящения, невольно проникаешься настроением религиозным и одновременно торжественным, от них словно веет духом древности, каким-то библейским благовоением.

Эта тональность американского права, развивающегося как бы в рамках общего права, показательна характеризует серьёзные особенности его развития в рассматриваемый период. Верно отмечено Н.А. Петровским [313, с. 45], что первые английские колонии на территории Америки в начале XVII в., принеся с собой и принципы общего права, с трудом их приняли на новой исторической почве. Не было классических юристов и судов, к тому же поселенцы жили под влиянием идей свободы личности, о которой не говорилось в общем праве. Именно поэтому такое значение имели религиозные нормы, акты местных властей и примитивные кодексы, воспроизводящие на основе аналогии правовые нормы Старого Света.

Стиль этих документов, составленных в первой половине XVII века, эхом отдаётся через полтора столетия в Декларации независимости, окончательный текст которой сохранил многое от чернового варианта, набросанного в июле 1776 г. Томасом Джефферсоном. Библейский пафос сохранён, приверженность христианской религии несомненна (в отличие от французов), но как всё это сочетать с духом свободы и равенством людей, т.е. правами человека? Дело в том, что «основатели новой Англии были ревностными сектантами и одновременно восторженными новаторами. С одной стороны, их сдерживали оковы определённых религиозных верований, а с другой – они были совершенно свободны от каких-либо политических предрассудков» [80, с. 53].

Отсюда и появились две различные, зачастую противоречащие друг другу тенденции, которые отразились как в законах государства, так и в нравах общества. Связь между религиозными убеждениями и отстаиванием народного суверенитета пуританами осознавалась намного проще («Народ по воле Божией есть источник всякой справедливой власти»). Всё дело в том, что Священное Писание содержит в себе недвусмысленное оправдание для фактического поддержания рабства.

Даже с точки зрения современной науки о возникновении общества это не должно выглядеть необычным – «человек развился не в условиях свободы». Свой тезис Ф.А. фон Хайек объясняет так: «Член маленькой группы, принадлежность к которой равносильна для него выживанию, может быть кем угодно – только не свободным существом» [66, с. 485]. Иными словами, свобода не врождённое, а приобретённое состояние,

она – артефакт цивилизации, избавивший человека от оков малой группы, а затем – и государства. Чем более человек стремится жить в условиях открытого и свободного общества, тем больше ему приходится прилагать усилий по своему внутреннему освобождению и освобождению других. Сейчас как никогда понятны слова А.П. Чехова о том, что «всю свою жизнь мне пришлось по капле выдавливать из себя раба...».

О Ветхом Завете и говорить нечего, рабовладение находится среди тех общественных институций, которые существовали не только среди народов, окружающих израильтян, но и внутри израильского социума. Однако, как верно замечает Р.А. Папаян [30, с. 62], относительно рабов и рабства в Библии можно видеть совершенно уникальный подход, который заключается в том, что раб *не противопоставляется* свободному ни в своём достоинстве, ни в правовом отношении.

Этим библейское право кардинально отличается от, скажем, римского права, построенного на принципе, согласно которому «главное разделение в праве лиц состоит в том, что все люди – или свободны или рабы» [314, с. 18]. Это положение институции Гая почти буквально повторяется и в Дигестах Юстиниана [314, с. 169], оно не имело аналогов в греческой античной традиции. Не случайно зарождавшаяся политическая модель США была основана преимущественно на римском, а не на греческом наследии. Ментальное сходство Рима и США конца XVIII в. более чем очевидно, и через институт рабства это можно чётко проследить. Для чего нужно тщательно различать две вещи: рабство как таковое и его последствия.

В античном греческом мире, например, хозяин и раб принадлежали, как правило, к одной расе, часто раб стоял выше хозяина по своему воспитанию и знаниям (баснописец Эзоп был рабом). Их разделяла только свобода одного и несвобода другого, и получив свободу, рабы быстро смешивались с хозяевами. Отпущенные на волю рабы внешне были похожи на граждан полиса и вскоре было невозможно их различить. Превращение Рима в империю обозначило расовый вопрос, ведь среди жителей завоёванных территорий кого только не было – от варваров Северной Европы до чёрных нубийцев. Но все они были рабами: непохожими на латинян, грубыми, невежественными. Германцы и негры не прибывали в Рим по своей воле, их даже можно освободить, но от этого они не переставали быть совершенно чуждыми для граждан Империи. Происхождение и внешние признаки, полученные от предков, не давали никакой возможности преодолеть низкое положение в обществе.

Институт работорговли Л.Н. Гумилёв называет «элементом частичного этнопаразитизма» [105, с. 382], поскольку обращение в неволю другого человека имеет своей необходимой предпосылкой убеждённость в том, что он иной, нежели рабовладелец. Для египтян и англосаксонских плантаторов это – негр, для римлян – варвар, для иудеев – необрезанный, для мусульман – кафир, т.е. «неверный», и т.д. Но и своих обращали в рабство, хотя институт долгового рабства всегда считался аморальным и встречал сопротивление многих законодателей: в Афинах – Солона, в древнем Израиле – автора Второзакония, тогда как обращение в рабство иноплеменников считалось естественным у всех народов. Вспомним, что мессенские илоты возмущались не тем, что их грабили и убивали, а тем, что это делали такие же спартиаты, тоже потомки Гераклидов. Это шокировало даже эллинов, хотя все они были заядлые рабовладельцы и работорговцы. Например, в классической стране рабовладельческой формации – древней Греции победители в межплеменных войнах не лишали побеждённых личной свободы, а облагали их налогом. Но позже нравы ужесточились, в противниках стали видеть врагов, и появилось рабство.

Необходимо уточнить, что «римляне обычно проявляли уважение к местным правам и институтам в провинциях с древней цивилизацией (Египет, Малая Азия), тогда как их влияние было гораздо сильнее в тех провинциях, в которых до их покорения городская (т.е. культурно развитая. – А.П.) жизнь была слабо выражена или вовсе отсут-

ствовала (Африка, дунайские провинции)» [315, с. 16]. В античности не было нарочитого расизма и ксенофобии, но в этом обществе перегородка между Цивилизацией и Варварством была поставлена очень твёрдо из-за его этноцентричности: достойными признавались только греческие и римские ценности и институты. Освобождённый раб или варвар вполне мог вступить в лоно цивилизации, если отказывался от собственных ценностей в пользу ценностей цивилизаторов. В новообразованных США принять тот или иной закон, изменявший отношение к чёрным, не было большой проблемой, главная трудность заключалась в изменении нравов и преодолении предрассудков, опорой которых были род и Библия.

Существование рабства в Библии попросту фиксируется как установившаяся в мире реальность, но фиксация эта дополняется и запретом на превращение сограждан в рабов: «Покупайте себе раба и рабыню из народов, которые вокруг вас; [...] над братьями вашими, сынами Израилевыми, друг над другом, не господствуйте» (Лев. 25. 44, 46). Одно из важнейших требований – человеческое отношение к рабу: «Не господствуй над ним с жестокостью и бойся Бога твоего» (Лев. 25.43); «Не обижай раба» (Сир. 7.22); «Разумного раба да любит душа твоя, не откажи ему в свободе» (Сир. 7.23); «Если есть у тебя раб, то поступай с ним, как с братом» (Сир. 33.32). Это требование переходит и в Новый Завет: «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти [...] в простоте сердца вашего, как Христу, [...] как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не как человекам» (Еф. 6.5–6). И сразу же за этим следует обращение к хозяевам: «И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость» (Еф. 6.9). Эти воззрения – из Послания апостола Павла Ефесянам. Но что на деле?

Когда раб Онисим, принадлежавший хозяину Филимону, который тоже был христианином, убежал и добрался до Рима, где связался с Павлом, тот оправил его обратно к Филимону, в далёкий фригийский город Колоссе с сопроводительной запиской, которая – что крайне знаменательно – включена в собрание писем апостола. Это – своего рода шедевр, призванный смягчить хозяина перед лицом преступления против собственности, считавшегося одним из самых серьёзных: «...Я возвращаю его; ты же прими его, как моё сердце. Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование; но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твоё было не вынужденно, а добровольно. Ибо, может быть, он оттого на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда, не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного...» (послание к Филимону, 12–16). Обращаясь к Галатам, Павел твердит, что «нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужского пола, ни женского» (Гал. 3.28), но в Первом послании к Коринфянам предупреждает: «Каждый оставайся в том звании, в котором призван» (Кор. 7.20).

Раннехристианская мысль понятна – пусть все остаются на своих местах, беглые рабы пусть возвращаются к хозяевам, которые, однако, должны к ним относиться чело-вечно, – имея в виду тот факт, что *в мире ином* эти различия теряют силу. Теперь понятно, почему учредители штата Вирджиния в первую очередь думали о том, чтобы разработать закон против беглых рабов. Главный среди них – губернатор Т. Джефферсон, идеолог всех американских деклараций и конституций. Фрагмент его автобиографии [...] процитирован на стене мраморного мемориала в Вашингтоне, округ Колумбия: «Ничто не записано в книге жизни определённое, чем то, что эти люди [рабы] должны быть освобождены» [цит. по: 152, с. 154]. Но в тексте автобиографии далее следует – и строители мемориала необъяснимым образом пропустили эти слова, – что «в то же время, когда обе расы будут свободными, они не смогут жить в одном государстве, так как природа, привычки и убеждения воздвигли между ними непреодолимые преграды». [...] Джефферсон полагал, что иерархии необходимы и потому они существуют в природе, в том числе и среди белых людей.

Он писал в 1813 году Джону Адамсу: «Я согласен с Вами, что среди людей встречаются аристократы от природы. Такие люди прежде всего добродетельны и талантливы» [цит. по: 207, с. 93]. Но если опираться на эти принципы, следует сказать, что на свете нет двух равных людей. Поскольку все люди в разной степени наделены талантом, способностями и добродетелями, единственный способ достичь полного равенства – это тирания, однако Джефферсон был её заклятым врагом во всех возможных проявлениях. Не случайно, первоначально приветствуя Французскую революцию с её «свободой, равенством, братством», он резко осудил затем якобинский режим и особенно – правление Наполеона Бонапарта. Так какое же равенство влекло Томаса Джефферсона?

Будучи поборником античных идеалов, он прекрасно отдавал себе отчёт в том, что свобода и равенство в классической древности были и «элитарными», преимущественно «эгоистическими», предназначенными для немногих – «добродетельных и талантливых». Но таких всегда меньшинство, они предположительно и должны составлять элиту, и поэтому неудивительно, что во всех аспектах античной жизни всегда присутствовало рабство – наряду со свободой. Как мы убедились, «картина мира» на библейской христианской основе также не предполагала утверждения свободы для всех, здесь и сейчас, в зримом воочию, конкретном обществе. Джефферсон не лицемерил – он был ревностным христианином (и поэтому не протестовал против рабства) и последователем своего «рода», «этнуса» (и поэтому давал себе отчёт в том, что нет и никогда не было абсолютно равных народов, культур и цивилизаций). Он говорил о равенстве перед законом, о свободе в сообществе равных людей, но никогда не признавал идеи об одинаковости и равноценности людей, мультикультурализм был ему неведом.

С институтом рабства Джефферсон смирялся, но видел в его существовании большую проблему: «При мысли о том, что Господь воздаёт по заслугам, я поистине трепещу за свою страну» [298, с. 249]. Это его слова по поводу рабства в южных штатах, но на тот момент не было никакой возможности отклониться от англосаксонской направляющей революции – если речь идёт не о фантомных идеях, а о её практической составляющей. Мировоззрение людей такого масштаба, как Томас Джефферсон, не могло не быть внутренне непротиворечивым. Очень удачной в данном случае полагаем формулировку, данную Гарольдом Дж. Берманом: «Вера в естественную добродетель человека, в чистоту и силу разума, в перспективы науки и неотвратимость прогресса опровергала древнюю веру в Священное Писание и традиции, в греховность человека, в провиденциальный характер человеческой истории и в силу благодати и откровения» [28, с. 168]. Каждая из великих революций новой истории Запада – американская и французская – представляет собой одновременно и разрыв со старой традицией, и её обновление.

На тот момент было что сравнивать, тем более в историографии то и дело поднимается вопрос: «Не следует ли говорить о единственной *атлантической* революции, которую начали английские колонии в Америке, получившие значительную помощь от Франции; революции, которая затем продолжилась в Париже в 1789 году» [31, с. 34]. Нельзя сказать, что европейский вариант революции проходил в соответствии с североамериканской моделью, либо в событиях в США можно увидеть результат длительного влияния Французской революции. Обнаруживается слишком много различий, придающих каждой стране её специфику, и одно из них очевидно – американская «демократия» включала в себя такое чудовищное явление, как рабство. Следовательно, Джордж Корнуолл Льюис (1806–1863 гг.), видный британский политик и государственный деятель, был прав, когда через два десятилетия после выхода в свет знаменитой книги А. де Токвиля «*Демократия в Америке*» заметил, что «по сути американская демократия – столь же отсталая, как и демократии античные, в которых отсутствовала основная предпосылка данной формы правления: чтобы весь народ пользовался свободным со-

стоянием!» [31, с. 33]. Но что значит *отсталая* при характеристике явлений, которые имели место более двух тысячелетий назад?

Ценности политической, философской и правовой культуры античной цивилизации являлись интеллектуальным продуктом господствующих классов в определённый момент конкретной исторической реальности, характеризующейся жёсткой социальной структурой – глубоко антиэгалитарной. В античной среде разворачивались серьёзные конфликты, в которых выражались яростные столкновения интересов *тех* социальных слоёв, принадлежавших *тому* времени; с другой стороны, вырабатывались модели и понятия – в чём и состоит особенность этого великого расцвета политической культуры – которые в конце концов по праву обрели *общечеловеческую ценность*, выйдя за рамки конкретного значения, какое они имели для своего времени.

Якобинцы попались на своеобразную удочку – будучи приверженными античной демократической «идеологии», к образцам политических доблестей, каковыми являлись античные республики – они не могли не понимать, что свобода и равенство с позиций европейского Просвещения и древней античности – вещи разные и отнюдь не сопоставимые. Институт рабства никак не увязывался в их сознании с идеалами афинской республики. Отменив его, они впали в заблуждение относительно античной свободы, и закономерным результатом этой иллюзии стало то, что свобода современников оказалась в опасности.

Вот почему, уверяет Л. Канфора [31, с. 76], помимо прочих факторов, результаты, каких достигли англосаксонские революции, с одной стороны, и французская революция – с другой, оказались столь несхожими. Обычно упор делается на такие отличия, как автономия и права личности в одних, централизм и якобинский дирижизм в другой. Но очень мало обращают внимание на основное расхождение: первые сосуществовали и способствовали рабству, вторая прямым путём поставила «Права человека» вне расовых и этнических соображений. Но в действительности якобинцы думали не о горестях рабов (в самой Франции, в отличие от США, их и в глаза не видели), а об удержании власти и отслеживании состояний, приобретённых подозрительным путём (апофеоз – деятельность санкюлота Эбера, представлявшего экстремистское крыло якобинского блока [191, с. 719]).

Французские революционеры оказались заложниками своих утопических замыслов и политических проектов ускоренных преобразований, последователями тактики террора против врагов свободы и отечества. Не удивительно, что вслед за отменой рабства принимается новый Закон в поддержку террора от 10 июля 1794 г. и создаётся Комитет общественной безопасности, возглавляемый радикально настроенным Луи Антуаном Сен-Жюстом. Это название навеяно опытом американских колонистов, создавших «комитеты безопасности» в самом начале Войны за независимость. Но на этом, пожалуй, всё сходство и заканчивается. Не стоит забывать и о цене, заплаченной за революционные эксперименты, – цифры говорят сами за себя.

Только за якобинский период [14, с. 476] примерно 17 тыс. человек погибло на гильотине как «контрреволюционеры», ещё 25 тыс. умерщвлены по этому же основанию другими способами. Около 500 тыс. оказались репрессированными по разным поводам – по доносам и наветам, чаще всего необоснованным (обличение «врагов народа» и «подозрительных», «спекулянтов» и «саботажников» – в 1917 г. ничего не придумали нового). Больше всего людей погибло в ходе гражданской войны, особенно при подавлении крестьянского восстания в Вандее – потери с обеих сторон составили около 600 тыс. человек. Количество репрессированных крестьян в период «продразвёрстки», когда в провинции посылались карательные отряды санкюлотов, до сих пор не выяснено – счёт идёт на сотни тысяч.

А последствия от наступившего затем бонапартизма? С 1800 по 1815 г. на службу было призвано 3 153 тыс., а погибло больше половины – около 1 750 тыс. человек [14, с. 482]. В итоге – миллионные потери, оккупация страны союзными войсками, контрибуции и национальное унижение. Победа французской революции обошлась непомерно высокой ценой, для самой страны череда мятежей, переворотов, войн и революций только начиналась. Истощённая Франция так и не восстановилась, чего не скажешь о США. По разным подсчётам вырисовывается средняя цифра потерь американских повстанцев и войск британской монархии (где было очень много немцев-наёмников) – около 4 тыс. человек с каждой стороны убитыми и ранеными, умершими от ран и болезней. Почувствуйте разницу.

Ключевой для нас вопрос о рабстве никак не повлиял на развитие событий и масштабы потерь. Французы посчитали, что рабство негров в колониях противоречит естественному праву – и отменили его, развязав в самой метрополии террор против собственного народа. Американцы, живя по Евангелию, рабство сохранили и приступили к масштабной модернизации страны, приведшей впоследствии к мировому доминированию. Расплата за «отложенный на время вопрос» была тяжёлой – кровопролитная война между Севером и Югом и фактически сохранившаяся расовая сегрегация. Однако последствия американской и французской революций эволюционировали по-разному.

В США укреплялись институты демократии, провозгласили свободу совести, развивалась система сдержек и противовесов, в северных штатах повсеместно отменили рабство, наладили прочный союз с Британией, нарастили экономическую и военную мощь, способствовали развалу Испанской и Португальской империй под лозунгом поддержки национально-освободительных движений – всё это происходило в контексте мировой истории. Во Франции демократию быстро свернули с воцарением Бонапарта, создали бюрократическое государство милитаристского толка, реставрировали католицизм в качестве государственной религии, с 1802 года восстановили рабство в колониях, настроили против себя всю Европу, проиграли все военные кампании, пережили позор оккупаций и порочные формы режима Луи Бонапарта – превратившись из законодательницы мод на континенте во второразрядную европейскую страну.

Но факт остаётся фактом – Французская революция явила новую точку отсчёта для европейской истории, а разорвав кольцо расистских предрассудков – придала идее «прав человека» очертания конкретной реальности. Впервые чернокожие юридически перестали восприниматься низшими людьми, «недочеловеками», недвусмысленно была отменена личная зависимость цветного населения.

Обращаясь к опыту античных демократий, французы достаточно быстро осознали, сколь наивны их представления о *той* действительности, где – вот что их завораживало больше всего – свобода и равенство вроде бы могли сосуществовать, но внимательное изучение античности всячески опровергало эту гипотезу. Почему к столь далёкой по времени матрице обратилась якобинская политическая элита, а до неё – «философская секта» её учителей, Мабли и Руссо? Иных вариантов попросту не имелось – «это была единственная известная им цивилизация, накопившая идеологический, эмоциональный, анекдотический багаж, который помог ей преодолеть временные пределы и вновь возникнуть на горизонте, суля непосредственную пользу, выражая общечеловеческие ценности (особенно равенство и свободу), которым она придавала форму, которые она превратила в понятия» [31, с. 74]. В представлениях о свободе и равенстве французы стремились увидеть общечеловеческий масштаб, выйдя за рамки конкретного значения, какое они имели для своего времени.

Не упустим и тот факт, что Французская революция была не просто антирелигиозной, но агрессивно-богоборческой направленности. В условиях отмены христианского Бога свобода, становясь абсолютной, перешла в хаос. Нет ничего удивительного

в том, что такой вариант «интеллектуального» безбожия во всём проигрывал североамериканским реформаторам с их опорой на Библию и этнос. Провозгласив и утвердив универсальные принципы, Революция на стадии их воплощения забуксовала и была разгромлена, однако выдвинутый комплекс согласованных идей о социальной справедливости, основанной на равенстве и свободе суверенных граждан, подразумевал и невозможность угнетения иных рас и народов, смирение с несвободой других.

Впервые в истории слово *рабство* прозвучало, чтобы законодательно оказался под запретом этот институт, что послужило идеологической точкой опоры для практического распространения *равенства* и *свободы* по всему миру. Однако это уже не имело к античной традиции никакого отношения. Для справки: Британия была первой метрополией, которая в 1833 году объявила рабовладение на всех своих территориях вне закона, а независимая Мавритания, бывшая французская колония, только в 1980 году официально отменила рабство.

Есть и ещё одна важная деталь, подмеченная А.П. Никоновым [298, с. 288]. Дело в том, что люди, создавшие США, никогда не были иммигрантами – они были колонизаторами. Если иммигранты прибывают в чужую страну и начинают встраиваться в нее, меняя свою ментальность под местную, то колонисты прибывают на пустые земли (местных дикарей за людей не считали) и привозят с собой ментальность. Их система ценностей и идентификация становятся заглавными, поэтому в Северной Америке стержневой культурой стало англосаксонское протестантство, вокруг которого и разрастается цивилизация. Сейчас по статистике [300, с. 162] в США протестантами идентифицируют себя 56% населения, католиками – 28%, иудаистами – 2%, прочие – 4%, а к неопределёвшимся и нерелигиозным относят 10%.

Конечно, консорции англичан, создававшие первые колонии в Америке, не были исключительно протестантскими. Эти группы людей, объединённых одной исторической судьбой, кем только не были: «Новую Англию основали пуритане, Массачусетс – баптисты, Пенсильванию – квакеры, Мериленд – католики, Виргинию – роялисты, Джорджию – сторонники Ганноверского дома» [105, с. 139]. Вот и получалось, что из Англии уезжали «секты», не мирившиеся либо с Кромвелем, либо со Стюартами, а на новой почве, где бывшие споры были неактуальны, они противопоставляли себя новым соседям – индейцам, французам и испанцам. Следует отметить, что заселявшие Америку землепроходцы и старообрядцы так и оставались в составе своего этноса, не пожелав раствориться в «плавильном тигле», чего не скажешь, например, о переселенцах – евреях. Им история отвела роль «этнических реликтов», и постепенно они потеряли способность к сопротивлению «враждебного» окружения. Новый суперэтнос диктовал свои правила.

Те программы поведения и миропонимания, которые первые колонисты привезли с собой из Европы, утвердились и стали основой зарождающейся нации. Причём, как это всегда бывает с оторванными от родины людьми, их ментальность, этика, привычки законсервировались, а к старому возврата не было. Получается, что родина американских колонистов – Европа – в ментальном плане давно ушла вперёд от времен, когда от неё отпочковались первые пилигримы. Скажем, в конце XVIII века передовая Европа практически отказалась от ортодоксальной религии, в то время как Америка в массе своей была так же сильна своей библейской религиозностью и протестантским трудолюбием, как и её первооселенцы двести лет назад. Французских действовпросветителей, бездельников-аристократов, заевшихся церковников, обнищавших крестьян (коих в Америке не было никогда) либо праздный городской сброд совершенно невозможно представить в условиях североамериканской жизни.

У основателей США была одна характерная черта – их национальная гордость и мессианское предчувствие носили идеологический, а не племенной, этнический, религиозный либо культурный характер. В этом отношении, безусловно, Америка очень по-

хожа на Рим с его мечтой о мировом порядке. Английские колонисты, которые принесли в Новый Свет все свои ценности – законы, библейские истины, способы возделывания земли и многое другое, – ревниво охраняли свою аутентичность и, в первую очередь, язык от посягательств.

Когда в конце XVIII века немецкие переселенцы в Висконсине и Пенсильвании попробовали было придать своему языку статус второго государственного, то сразу получили жёсткий отпор: приехали сюда – вот и ассимилируйтесь под здешние законы, нравы и условия, и не было тогда никакого мультикультурализма при абсолютно лояльном отношении англосаксов ко всем религиям и этносам. Так и современные США наполовину состоят из потомков первопоселенцев и наполовину – из потомков иммигрантов, переработанных обществом, которое создали колонисты. Соблюдай законы и плати налоги – вот и будешь американцем, никто и не вспомнит, кем ты был раньше, сейчас и принадлежность к чёрной расе не помеха в занятии самой высокой должности, а былые заслуги либо родословная не имеют никакого значения.

Вот и последние события в США тому подтверждение – имеется в виду президентская гонка кандидатов между Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом. Клан Клинтонов (по мужу Хиллари – бывшего президента США) из колонистов, уже в XVIII веке Девитт Клинтон (1769–1828) был известным политическим деятелем, сенатором, мэром города Нью-Йорк и губернатором штата Нью-Йорк [80, с. 529]. Клинтоны – протестанты английского происхождения. Дональд Трамп – внук немецкого иммигранта-католика, бежавшего из Баварии под страхом преследования за уклонение от воинской обязанности, по матери – из шотландских иммигрантов, бежавших в Америку от голода. Жена Дональда – недавняя иммигрантка из Словении, попавшая в США по любопытным обстоятельствам. Если чета Клинтонов из самой что ни на есть политической элиты, то Трамп к ней никогда не имел никакого отношения, что не помешало ему триумфально выиграть президентские выборы 2016 г. Самые влиятельные политические фигуры по вопросам американской внешней политики: Генри Киссинджер, который происходит из семьи иммигрантов-иудеев, бежавших от нацистов, и Збигнев Бжезинский – поляк-католик, эмигрировавший из «коммунистического рая». Что объединяет этих людей? Они свято верят, что их государственный строй – наилучший из всех возможных, поэтому они или их предки и выбрали эту страну. Так думали и отцы-основатели американской Конституции, которая и через двести лет не утратила своей актуальности.

ГЛАВА 5 О ПРИЧИНАХ ПОЯВЛЕНИЯ КОНСТИТУЦИЙ

5.1 Почему появляются конституции: постановка проблемы

Устанавливаются и объясняются причины появления новых конституций с учётом возможных социально-политических факторов. Доказываются связь между конституцией и общественной практикой, их взаимообусловленность. Способы принятия конституций рассматриваются как производные от событий предконституционной стадии. Действительные причины появления конституций можно рассматривать как предпосылки конституционализма. Обращается внимание, что поиск соответствующих факторов и обстоятельств лежит зачастую за пределами юридического научного знания. Показаны основные исторические этапы мирового конституционного развития. Факт принятия конституции видится значимой радикальной политической и идеологической акцией, первоосновой дальнейших социальных реформ.

Долгое время пребывая в цивилизованном состоянии, социум не нуждался в общеобязательной юридической конституции, светская и духовная власть не связывали себя правом. Многие века и даже тысячелетия это было нормальным, естественным жизненным укладом, обоснованность и целесообразность которого не подвергалась сомнению.

Бесспорным местом в современной науке является признание того факта, что появление конституции как основополагающего документа явилось закономерным историческим результатом общественной практики. «На определённом её этапе начинает ощущаться необходимость обоснования общеобязательным актом высшей юридической силы как фактически существующей и имеющей большую общественную пользу практики, так и отношений, которые не могут утвердиться без конституционного обоснования, но желательны или даже необходимы для развития общества», – пишет А.В. Мазуров [316, с. 51]. Первые конституции появляются и легитимируются тогда, когда имевшие место нормативные системы более неспособны гармонизировать с общественной практикой. Принятие новой конституции не всегда производится в соответствии с уже существующей – её может не быть вовсе; она может быть сметена революцией; отменена оккупационными властями; быть настолько никчемной и архаичной, что не играет никакой роли. Почему и в силу каких причин так происходит – одно из направлений нашего исследования.

Политическая предыстория происхождения конституции, конкретный процесс её создания накладывает свой отпечаток на созданное: «Если ты появился на свет при помощи акушерских щипцов, их следы останутся. Если мать страдает алкоголизмом или больна сифилисом, новорождённый нуждается в длительном лечении» [272, с. 26]. Следуя этому стилю А. Шайо, можно добавить, что некоторые конституции рождены «незаконно» либо в результате насилия извне.

В юридической литературе появление новых конституций традиционно связывают со способами их принятия: октроированием, в договорном порядке, представительными учреждениями, референдумом. Однако, с нашей точки зрения, принятие конституции являет собой последнюю стадию конституционного процесса. Важно исследовать действительные причины появления конституций, выявить сопутствующие исторические, политические, идеологические, международные, экономические факторы. Например, И.А. Кравец [317, с. 34] полагает, что предпосылками конституционализма являются экономические преобразования при переходе к Новому времени; социальные

и идейные течения эпохи Возрождения, Реформации, Великих географических открытий; секуляризация мышления, распространение рационалистических философских доктрин и смена религиозных догматов этикой индивидуализма; первые буржуазно-демократические революции. О том, что изменения нового порядка *необходимо понимать*, пишет Ф.А. фон Хайек [66, с. 87], и ошибки преобразователей он усматривает в непонимании развития событий, происходящих *за пределами юриспруденции*. Действительно, исследования на «стыке» разных наук с использованием междисциплинарного подхода – самые продуктивные.

Учитывая многообразие такого рода обстоятельств, имеют практический смысл и научное значение целенаправленное обобщение причин появления новых конституций, выработка определённых классификационных подходов, что способствует систематизации нашего знания о государстве и праве. Главным же, несколько перефразируя слова Г.Дж. Бермана [28, с. 14], нам видится следующее: право в виде конституции помогает обществу создать структуру, в которой оно нуждается для сохранения внутреннего единства.

При всей разработанности истории и теории конституционализма комплексное изучение причин появления новых конституций не нашло своего места в научной литературе. Во многом это объясняется тем, что такого рода исследования находятся на «стыке» междисциплинарных знаний, выходят за традиционные направления научного поиска, обязывают к изучению закономерностей в неправовых сферах. Предметное и системное обобщение причин появления новых конституций позволяет обратить внимание на факторы, играющие роль классификационных признаков.

Понимание закономерностей формирования конституционализма предполагает и целенаправленное обобщение причин появления новых основных законов, так как политические, экономические и юридические преобразования в обществе проходят с различной степенью интенсивности и имеют разный характер в зависимости от страноведческой специфики. Этот процесс обусловлен ситуацией в конкретной стране на соответствующем этапе её развития, так как история конституции всегда неотъемлема от истории общества и государства.

В этой связи напрашивается вопрос относительно того, что понимать под *старыми* и *новыми* конституциями, к какому именно историческому этапу их следует «привязать». В.Е. Чиркин последовательно и небезуспешно схему появления конституций связывает с понятием конституционной модели как историческим и социально-политическим типом основного закона [13, с. 16]. Одним из первых этапы конституционного развития обозначил Ю.А. Юдин [318, с. 43], а в белорусской науке детально разбирал конституционный процесс М.Ф. Чудаков [25, с. 33], с позицией которого ознакомимся подробнее.

Автор полагает, что следует различать *«старые»* конституции, послужившие основой для принятия затем более совершенных документов (акты США, Норвегии, Люксембурга). Ко второй группе относятся конституции, принятые в период между Первой и Второй мировыми войнами (из числа сохранившихся – Латвии, Ирландии, Лихтенштейна). Третья разновидность конституций – *«новейшие»*, принятые в промежутке после 1945 года до середины 70-х (Франции, Италии, Японии, ФРГ, а также бывших колоний). Четвёртая разновидность – *«сверхновейшие»* конституции. Сюда относятся те из них, которые принимались после свержения авторитарных режимов в Западной Европе (Греция, Португалия, Испания), развала «социалистического лагеря» (Болгария, Чехия, Хорватия, Словения) и крушения СССР (все бывшие советские республики за исключением Латвии, восстановившей Конституцию 1922 года). Здесь рассматриваются только ныне действующие и писанные (кодифицированные) конституции.

Обычно появление новой конституции сопровождается существенными изменениями в жизни общества, подводит итог предшествующему развитию, знаменует качественно новый этап в истории государства, отражает утверждение новых идеологических концепций или совершенствование существующих. (Объективные и субъективные факторы правообразования представлены у Ю.А. Тихомирова [319, с. 26], А.А. Соколовой [320], Л.О. Мурашко [321, с. 129], С.А. Жевнеровича [322, с. 154]). Вряд ли возможно дать исчерпывающий перечень причин такого рода, да и трактовка их затруднительна с каких-то единых позиций, что подтверждается изучением соответствующей литературы. Однако общий ракурс проблемы уловим (отметим подход С.А. Авакьяна [323, с. 144–147]), и это позволяет обратить внимание на следующие обстоятельства.

При всём многообразии причин появления новых конституций в качестве основных определим следующие: 1) *необходимость принятия конституции возникает при образовании нового государства;* 2) *конституция может появиться как результат оформления нового политического и социально-экономического строя;* 3) *появление конституций может быть обусловлено изменением формы правления, территориального устройства, политического режима;* 4) *факторы эволюционного свойства;* 5) *принятие нового основного закона может быть обусловлено окончанием периода действия конституции;* 6) *давление на государства после военных поражений;* 7) *диктат извне при формальном сохранении суверенитета.*

Указанные причины появления новых конституций могут взаимодействовать и переплетаться; проявляться в принятии не новой конституции, а изменений и дополнений, вносимых в действующий основной закон, – или это делается как первые шаги, а затем уже принимается новая конституция, по сути вбирающая в себя многие из прежних положений. Тем не менее [323, с. 147] принятие новой конституции – отнюдь не формальный шаг, даже если она и повторяет положения ранее проведённых конституционных реформ. *Принятие новой конституции является радикальной политической и идеологической акцией тех, кто её готовил, и имеет целью укрепить существующий общественный строй, государство, веру граждан в новый порядок, закреплённый конституцией, его стабильность и незыблемость.*

В своём исследовании А. Шайо пишет: «Бессмертное произведение Лорена Стерна “Жизнь и мнения Тристана Шенди, джентльмена” начинается с зачатия главного героя и едва преодолевает этот момент – хотя мы знаем, что наш герой существует и что с ним многое произойдёт. Точно так же и конституция – она становится тем, во что её превращают в течение жизни, однако если мы захотим дать ей определение, ориентиром здесь, пожалуй, будет её возникновение, а самым интересным – то, что ей предшествовало» [272, с. 24]. Но как бы ни говорили о том, что основное содержание новой конституции подготовлено предшествующими реформами, в сознании людей они будут связываться именно с этой – новой конституцией.

5.2 Принятие конституций при образовании нового государства

Показано, почему необходимость принятия конституций возникает при образовании нового государства. В этом случае основной закон рассматривается как учредительный правовой акт – первопричина государственности. В качестве успешного примера изучен опыт США. События XX века представлены опытом бывших колониальных территорий, как правило – неудачным и бесперспективным. В европейских процессах 90-х гг. Беларусь по объяснимым причинам не причисляется к этому ряду.

Конституция может рассматриваться как учредительный правовой акт – перво-причина государственности. США в этом отношении – характерный пример, поскольку на месте колониальных штатов «отцы-основатели» стремились закрепить установленный ими внутренний порядок, пошли на решительный разрыв с метрополией с намерением создания собственного государства на принципиально иных основах. Создание государственности шло параллельным курсом с учреждением основного закона, всё начиналось с «чистого листа» и первым написал об этом А. де Токвиль [80, с. 51]. В этом усматривается очевидное преимущество американского пути развития.

В современной научной литературе [188, с. 407] принято обращать внимание на тот факт, что борьба за независимость английских колоний в Америке рассматривается учёными как «американская революция», хотя лидеры её опирались на традиционные английские принципы права («*No taxation without representation*») и первоначально требовали только ограниченного самоуправления. Как пишет Ниал Фергюсон [152, с. 144], известный лозунг Сэмюэля Адамса «Нет налогов без представительства» знаменовал не отказ от британского духа, скорее – его решительное утверждение.

Образование республики в виде США стало революцией тогда, когда английские переселенцы окончательно порвали связь с британской короной (и с британским парламентом), одновременно доказывая, что и государства с большой территорией могут жить по республиканской конституции. Ранее, как известно, почти все теоретики демократии (тогда республикой называли то, что мы сегодня – демократией) были убеждены, что демократическое устройство возможно только в небольших сообществах, наподобие античных полисов.

Следуя чёткой исторической хронологии зафиксируем, что образование независимого государства в США состоялось всё же раньше принятия федеральной конституции, поэтому утверждения типа «каждое государство берёт своё начало именно с конституции» [333, с. 162], мягко говоря, не соответствуют действительности. Но если вести отсчёт от Декларации независимости 1776 года, то американскую «конституционную революцию» можно во временном отношении значительно «растянуть».

Особенность этой «конституционной революции» А.Н. Медушевский [324, с. 151] усматривает в том, что во время неё не происходило радикального внеправового изменения социальной системы, а речь шла скорее об изменении политических и правовых параметров. Но не следует забывать и о том, пишет К.В. Арановский, что «до принятия Конституции США народы штатов уже имели конституционный опыт (так, действующая Конституция Массачусетса датируется семью годами раньше федеральной американской Конституции), как и предысторию союзнических отношений. Конституцию США поэтому приняли не без возражений, но всё же с готовностью...» [68, с. 207]. Первым ратифицировал Конституцию самый маленький штат – Делавэр.

Интересное наблюдение предлагает М.Ф. Чудаков. Он пишет о том [325, с. 145], что Британия не приняла писаную конституцию в виде отдельного акта в числе прочего и потому, что такая конституция впервые появилась на территории бывших североамериканских британских колоний, которые образовали Соединённые Штаты. Можно предположить, что английские правоведа и политики посчитали обидным для себя, что на территории колоний, где проживали, как они полагали, необразованные, примитивные колонисты, и к тому же «бунтовщики», вдруг приняли конституцию, тогда как Британия этого не сделала. Поэтому, возможно, они и не стали ничего менять в своей системе. Бывший доминион Великобритании – Новая Зеландия – возможно, не приняла и не принимает конституцию в порядке солидарности со своей «матерью-родиной», ибо абсолютное большинство жителей Новой Зеландии (коренных племён маори очень мало) – потомки английских колонистов.

В XX веке принятие многих конституций также означало учреждение совершенно новых по своей природе государств. Верно отмечено [13, с. 35], что во всех странах Азии, Африки, Латинской Америки, Океании, освобождавшихся в 50–80-е годы XX века от колониальной зависимости, принятие конституций (иногда дарованных метрополией) означало юридическое признание первоначального образования государства в прежнем колониальном обществе. «Конституции и создаются для того, – подчёркивает А. Шайо, – чтобы организовавшиеся в новое государство нации могли заявить всему миру: вот, мы существуем. Если новорождённый кричит, значит он жив» [272, с. 25]. Всего таким путём возникло более 130 новых государств.

Ситуация с Африкой наиболее симптоматичная. «Вот уже чего всегда хватало при деколонизации, – пишет П. Джонсон, – так это конституций на бумаге. По иронии судьбы, Британия, которая никогда не имела собственной конституции, в 1920–1975 годах подготовила более 500 конституций для своих колониальных территорий. Большинство из них просуществовало несколько лет, некоторые – несколько месяцев, другие вообще не вступили в действие и ни одна не уцелела до 80-х годов. Европейские империи начали с патернализма и отрицания политического духа, а закончили диаметрально противоположным образом – чрезмерной демократизацией и политическим гигантизмом. Серебряный век империи был полон конференций и составлений конституций» [121, с. 92]. Появление новоиспечённых государств-членов ООН резко подорвало её эффективность, нивелировало европейские стандарты.

В большинстве появившихся «конституционных» государств уничтожение господства закона происходило параллельно с моральным падением вождей-президентов, ростом коррупции и экономической разрухой. «Племена с флагами» [43, с. 270] – лучше и не скажешь. Исключения, конечно же, были. В основном речь идёт о бывших английских колониях (Индия, Гонконг, Сингапур, Ямайка). Джон Кампфнер, изучая самую «густонаселённую демократию мира», приходит к выводу: «Конституционализация достижений Индии за 60 лет независимости впечатляет. Эта страна с населением, превышающим 1 миллиард человек, с 2 тысячами этнических групп и 200 языками неуклонно, за исключением короткого периода (правления Индиры Ганди), следовала путём многопартийной демократии, разделения властей, независимого правосудия и защиты свободы выражения» [124, с. 201]. Между тем, «английские власти дважды принимали конституции для Индии (в 1919 и 1935 гг.), однако индийцы считают своей первой конституцией Основной Закон 1950 года, который был принят через 3 года после обретения независимости в 1947 году» [25, с. 107]. О том, почему в английских колониях утвердился конституционализм, убедительно пишет Ниал Фергюсон [152].

В Европе в 90-е годы XX века происходили иные процессы, и связано это с распадом существовавших стран и образованием на их территории новых государств (это касается бывших СССР, Чехословакии, Югославии). Беларусь, по нашему мнению, не может быть причислена к этому ряду. Если брать в расчёт первую Конституцию БССР 1919 года, то она не предусматривала суверенности новообразования и ни о какой реальной государственности речи не было. Принятие в 1994 году Конституции суверенного государства произошло уже в условиях состоявшейся независимости, берущей начало с 1991 года – момента распада СССР, где наша республика была на правах субъекта федерации.

5.3 Конституция как результат оформления нового политического и социально-экономического строя

Основной закон рассматривается как итог нового политического и социально-экономического строя. В отличие от реформаторского пути внимание уделяется многочисленным радикальным преобразованиям, приведшим к кардинальной смене правовых и политических устоев общества. В контексте проблемы акцент делается на феномене конституционного кризиса. Особое место занимает революция, вбирающая в себя отражение должного и сущего в политическом развитии. Показаны типичные причины конституционных кризисов на примере Франции и России. В рамках анализа изучается опыт Беларуси наравне с бывшими постсоциалистическими и советскими республиками. Отмечаются особенности принятия Основного Закона нашей страны в 1994 году.

Речь идёт о том, что формально возникает новое политическое сообщество со своей конституцией и приходит оно на смену ранее существовавшему на данной территории государству. В отличие от реформаторского пути новый конституционный порядок может создаваться как «результат кардинальной смены правовых и политических устоев общества, когда старая конституция отменяется, а новая вводится в действие в условиях существования старой правовой системы» [317, с. 129]. Механизмы и причины происходящих потрясений убедительно изложены у К. Поппера [308, с. 164–166] в виде выявленных закономерностей, а Р. Нисбетт [277, с. 9] описывает природу извечного антагонизма по линии «консерватор» – «революционер».

Например, разрыв с прежней государственностью был провозглашён французской Декларацией 1789 года и Конституцией 1791 года: «Именно в это время получает распространение идея писаного конституционного закона, призванного сыграть роль оружия для эффективной борьбы против абсолютной монархии» [326, с. 25]. Принятие конституции не означало первоначального учреждения государства, так как в отличие от колониальной Америки французское государство существовало сотни лет.

Ещё раньше, в Англии 1653 г., своим *Instrument of Government* Оливер Кромвель «проектировал поставить некоторые основные законы вне власти Парламента. Следует заметить также, что Конституция 1653 г. ставила исполнительную власть вне контроля законодательной» [22, с. 80]. Принятие конституционных актов означало коренное изменение характера государственной власти, рождение нового по своей социальной сущности государства, «и в этом случае конституция выступает как учредительный акт создания нового государства, но взамен ранее существовавшего» [13, с. 35], и поэтому рождение революционных конституций со всей очевидностью «незаконно» [272, с. 27]. Здесь конституция является не отражением действительности, а образом для неё, она призвана минимизировать т.н. «правовую неопределённость» [347, с. 5].

Обычно такого рода события называют конституционным кризисом, т.к. «основной закон теряет легитимность (возникает разрыв легитимности и законности), либо различные конституционные нормы не могут быть согласованы противоборствующими социальными силами на базе действующего основного закона, либо конституция или часть её норм вступают в радикальное противоречие с политической реальностью» [193, с. 465]. Чёткая классификация разных типов кризисов представлена немецким политологом Ирингом Фетчером [188, с. 425–427]. Относительно изменений конституционно-правового порядка он проводит сравнительный анализ реформ, переворотов, путчей, восстаний и революций. В российской науке обосновывается [327, с. 66] необходимость

«теоретического исследования конституционно-правового феномена протестных отношений», помимо известных направлений в философии, социологии, политологии.

Наиболее явно механизм конституционного кризиса предстаёт в ходе радикальных социально-политических революций (французской, мексиканской, русской, китайской, иранской). В его основе – перманентный конфликт старого и нового права, определяющий специфику модели изменения конституций. По образному выражению Н.А. Бобровой, если «деспотия – монолог власти, то революция – монолог народа» [328, с. 39]. Профессор А.Н. Медушевский в данном случае предлагает использовать термины «конституционная революция» и «конституционный переворот» [193, с. 467], под которыми понимаются такие радикальные изменения основного закона, которые не вытекают из его собственных положений и, следовательно, ведут к созданию совершенно новой конституции. В качестве примера [324, с. 151] он приводит Францию, Мексику, Россию, Китай, Иран.

Во всех перечисленных случаях налицо главный признак любой революции – её насильственный характер, «это всегда хаос, социальная дезорганизация, гибель порядка и торжество неуправляемой энергии масс» [334, с. 158]. Автор цитаты Б. Пастухов обосновывает тезис о том, что революция и конституция – близнецы, рождённые Новым временем, они неотделимы друг от друга и неотделимы от идеи, философии и верований настоящего. «Революция – это переход идей из теории в практику» [66, с. 517]. О революционных способах трансформации социальных институтов и появлении новых конституций пишет И.И. Царьков [249], доказывая в своих работах, что мятежи, заговоры, перевороты мало что меняют в обществе, тогда как революция в конечном итоге совершает далеко идущие изменения во всех важнейших институциональных сферах.

Конституционный кризис как причина «революций» и «переворотов» отражает не столько внутреннее состояние самого основного закона, сколько проявления системного кризиса в обществе, когда действительность очевидно дистанцируется от конституции. Как доказывает Н.С. Бондарь [125, с. 33], конституция, закрепляющая идеальную (желаемую для господствующих политических сил) модель политической организации общества и государства, практически всегда сопряжена с конфликтом должного и сущего, в основе чего, как правило, лежат завышенные социальные ожидания и политические иллюзии по поводу её реального значения для осуществления политических и социально-экономических преобразований. В контексте коллизионного права Ю.А. Тихомиров [335, с. 249] рассматривает типичные проблемы принятия новых конституций в государствах СНГ, причины возникающих конституционных кризисов.

По определению В.О. Лучина, «конституционный кризис [...] затрагивает все основные сферы общественной жизни, проявляющийся в девальвации конституции, резком расхождении её с общественной практикой; функционировании социально-экономических, политических, государственно-правовых институтов с существенными отступлениями от требований конституции; разрушении единого конституционно-правового пространства, длительном бездействии или ненадлежащем действии конституционных и иных правовых норм, массовом безнаказанном их нарушении, достигающем критических величин» [21, с. 407]. Под конституционным кризисом подразумевается процесс неконституционной смены основ общественного и государственного строя, не обусловленный деструктивным влиянием какого-либо одного фактора. Американские юристы, несмотря на формальную незыблемость своей конституции в течение 250-летней истории, отнюдь не отрицают того факта, что «нация может просто написать новую конституцию, если время призывает к изменениям. Франция, в которой за 200 лет было пять республик, имела 17 конституций» [189, с. 64]. Однако сами американцы предпочитают видоизменять свой Основной Закон путём поправок и судебных толкований, избегая бунтов и революций, сродни французским.

Для Новейшей истории характерен пример с Конституцией РСФСР 1918 года [323, с. 145], которая в формальном плане была Основным Законом нового государства, возникшего на части территории бывшей Российской империи, где конституции, как известно, не было. «Да, России не везло с конституциями, их не было. И революция в России “родила”, по сути дела, впервые Конституцию» [336, с. 183]. Это была Конституция государства, провозгласившего новый социально-экономический и политический строй – социализм, который связывался с властью рабочих и крестьян, отстранением от власти капиталистов и помещиков, с приверженностью общественной и отменной частной собственности, реализацией идеи мировой революции.

Коренная перемена политического и экономического курса государства является одной из самых серьёзных и распространённых причин появления новых конституций и принципиально нового законодательства (см., например, В.М. Сырых [245, с. 177]). Так складывается ситуация, что при определённых условиях политические силы, стоящие у власти, по тем или иным причинам теряют её. К руководству приходят радикал-реформаторы, которые имеют свою идеологию, то есть систему взглядов на то, какой быть государственной власти и как должно управляться общество, каким ценностям и идеалам необходимо следовать. Проводя свою политическую и правовую идеологию в жизнь, силы, пришедшие к власти, отменяют ранее действовавшее законодательство и принимают новые акты. В 1917 году большевики полностью отказались от юридического наследия Российской империи, взамен принимая революционные декреты.

Рассматриваемая причина имеет отношение к Конституции Беларуси 1994 года, когда на уровне Основного Закона оформился переход от социалистической системы (предусмотренной Конституцией БССР 1978 года) к несоциалистическому общественному строю, в котором провозглашена демократическая организация общества и государства, признано многообразие форм собственности (частной, коллективной, государственной), декларировался политический и идеологический плюрализм, как высшая ценность признавались достоинство, права и свободы личности.

Профессор М.И. Пастухов выделил несколько групп причин [329, с. 49], определивших необходимость принятия первой суверенной Конституции Беларуси 1994 г. К ним он отнёс факторы исторического, политического, социально-экономического и идейно-теоретического характера. В результате делается вывод о том, «что Конституция Республики Беларусь 1994 г. представляет собой синтез всего лучшего, что накоплено многовековой историей белорусской государственности [...], закрепление передовых идей и взглядов» (перевод наш. – А.П.) [329, с. 52].

Многие прогрессивные элементы Конституции 1994 года были лишь подтверждены на высшем конституционном уровне, поскольку несколькими годами ранее уже были легализованы (суверенитет, частная собственность, предпринимательство, многопартийность). «Изучение белорусского конституционного процесса актуально тем, – пишет А.В. Курьянович, – что разработка и принятие Конституции 15 марта 1994 г. стало, по сути, главным элементом процесса *оформления независимости республики*» (курсив наш. – А.П.) [337, с. 15]. Проводимая несколько лет правовая реформа являлась своеобразным способом конституционной модернизации.

Такая ситуация была характерна для большинства бывших советских республик, и в изменившихся условиях «конституция как основной закон государства была призвана отражать на правовом уровне соответствующие противоречия и, по мере возможности, способствовать их разрешению с помощью специфического, юридико-правового конституционного инструментария, воздействующего на различные сферы общественных отношений» [125, с. 45]. Н.С. Бондарь, автор приведённой цитаты, не считает в этом плане исключением Конституцию России 1993 года, рассматривая её как *юридизированную форму отражения социальных противоречий*.

С его точки зрения, в этом качестве она имела триединое значение: 1) устранить несоответствие новым общественным отношениям сохранявшейся советской конституционно-правовой системы, преодолеть противоречия между старой юридической формой – многократно «латанной» Конституцией РСФСР 1978 года и реальным (материально-политическим) вектором конституционного развития новой России; 2) с помощью обновлённых конституционных средств преодолеть сопротивление экономическим и политическим преобразованиям в обществе; 3) создать устойчивую систему конституционных противовесов неизбежным негативным тенденциям и противоречиям в новых условиях рыночной экономики и демократической правовой государственности.

Для бывшего СССР исключение из правил составляла Латвия, не принявшая новой конституции. В 1990 году, заявив о восстановлении своей независимости, Латвия начала самую радикальную ломку советской правовой системы. Но из всех республик Союза Латвия стала единственной, которая пошла по пути «реставрации досоветской правовой системы» [338, с. 375]. В 1992 году были восстановлены в силе два главных акта – Конституция 1922 года и Гражданский закон 1937 года. Оба документа с позиции современных правовых реалий и юридической техники выглядят несколько архаичными, однако для латвийского руководства важно их символическое значение как свидетельство непрерывности и преемственности латвийской государственности. В акты вносились только самые необходимые изменения. Например, Конституция 1922 года была дополнена отсутствовавшим ранее разделом о правах человека и нормами о Конституционном Суде. Восстановление же других досоветских законов часто имело временный характер и они действовали до принятия нового законодательства.

Изменение политического курса государства, приход к власти новых элит как результат прогрессивных демократических реформ характерны для второй половины XX века, и связано это чаще всего с переходом от военного диктаторского режима к гражданскому правлению (так было принято множество конституций в Латинской Америке, а также в Греции, Испании, Португалии). В такой политической ситуации конституционными актами нового гражданского правительства отменяется законодательство военной диктатуры, устанавливаются условия и процедуры выработки нового основного закона.

С бывшими постсоциалистическими республиками и новообразованными постсоветскими государствами несколько иная ситуация. Их конституции отрицали коммунистическое государственное устройство, но не осмелились стать радикально контрреволюционными [272, с. 26]. Они воздерживались от возвращения к докоммунистическим структурам и кроме дел, связанных с гражданством (Прибалтика) или с деятельностью тайных агентов коммунистической полиции (Польша, Чехия), не принимали серьёзных мер против вчерашних оппонентов. Ностальгия по прошлому была достаточно сильна у значительной части общества, и не случайно в тех же Польше и Албании новые конституции появились только в 1997 и 1998 гг. соответственно. Ничего удивительного нет в том, что конституционный правопорядок формировался по-разному после крушения коммунистических режимов.

Это тоталитарные государства сделаны как под копирку, демократиям всегда свойственно разнообразие во всех проявлениях. Как сказал Юрг Штайнер, «бывшие социалистические страны в поисках демократических образцов смотрели на Западную Европу, но их выбор был очень неоднозначен» [115, с. 207]. Одним из них удалось вписаться в ряды европейских демократий, другим – нет, а третьи выбрали свой особенный путь, предпочитая следовать народной присказке о «граблях перехоженных». История ведь очень демократичный учитель – всему может научить, но никого не заставляет учиться.

В этой связи А. Шайо верно заметил, что «великие конституции, сыгравшие значительную роль в истории человечества, по большей части создавались, чтобы увенчать, завершить социальную революцию и запретить все последующие общественно-

политические переустройства, выделяя при этом положения, особенно важные для победителей. Другие же конституции создавались для того, чтобы предотвратить революцию и восстановить дореволюционное состояние» [272, с. 25]. Может быть совмещение обеих целей. Американская Конституция 1787 г. завершила революцию, но и запретила такие «крайние республиканско-демократические» институты [248, с. 14], которые учредила Пенсильвания в революционном порыве в том же 1787 году. Во многом по примеру этого штата развивались события два года спустя во Франции, но опыт Парижа в обратном порядке посчитали в США неприемлемым.

5.4 Обусловленность появления конституции изменением формы правления, территориального устройства, политического режима

Изучаются ситуации, при которых появление новых конституций обусловлено изменением формы правления, территориального устройства и политического режима. В контексте опыта V Республики во Франции анализируются события 1996 года в Беларуси. Рассматривается влияние изменений политического режима на принятие новой конституции. Приведены многочисленные примеры того, как политический режим автоматически не связан с конкретной формой правления в контексте изучения конституционализма. Внимание уделено событиям 1993 года в Российской Федерации и принятой на референдуме конституции.

Государство было монархией, стало республикой – и это основа для принятия новой конституции; может иметь место и обратное – превращение республики в монархию либо «реставрация» монархии (такие события имели место в конституционной истории Испании XX века). Или, парламентская республика стала президентской; и наоборот – на смену президентской республике пришла парламентская. Многие авторитарные режимы переходят к смешанной («суперпрезидентской») республиканской модели, что особенно характерно для постсоветского пространства.

В первом случае показателен опыт Словакии. После того как в 1992 году было принято решение об окончательном разделе Чехословакии на два независимых государства – Чешскую Республику и Словацкую Республику, последняя в этом же году принимает Конституцию, но в 1999 году в неё были внесены поправки, в соответствии с которыми Президент республики избирается путём прямых и всеобщих выборов (а не Парламентом, как раньше).

Второй вариант является нетипичным для современной конституционной истории, но прецеденты имеются. Так, действующая Конституция Республики Молдова 1994 года была в 2000 году существенно изменена в связи с государственным переустройством. Вместо республики смешанного типа (полупрезидентской) в Молдове была учреждена парламентская республика. Однако в 2016 г. началась обратная конституционная реформа. В 2017 году в Армении по инициативе действующего президента проводится конституционная реформа, смысл которой – переход от президентской к парламентской форме правления. Её цель – сохранение власти нынешним политическим лидером, поскольку истёк срок его президентских полномочий.

Серьёзные преобразования, затрагивающие конституцию, имеют место при переходе к смешанной форме правления. Во всех случаях речь идёт о принятии конституций, определяющих новые принципы управления. Характерные примеры – Франция и Беларусь. В 1958 году во Франции по настоянию генерала де Голля на референдуме была принята Конституция V Республики (её часто называют суперпрезидентской), которая положила

конец парламентской форме правления, учреждённой по Конституции 1946 года. В апреле 2017 года в Турции действующий президент Э.-Т. Эрдоган с целью укрепления личной власти инициировал и успешно провёл референдум по созданию суперпрезидентской республики с явными элементами авторитарного режима.

В Беларуси в 1996 году президентская форма правления сменилась «суперпрезидентской», и официальное название Конституции – «Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями)» – не должно сбивать с толку. Почему же официальное название документа не соответствует сути произошедшего в 1996 году? Дело в том, что по Конституции 1994 года в соответствии со статьей 83, пунктом 2 только Верховный Совет был правомочен принимать Конституцию, а Президент – лишь инициировать вопрос о внесении изменений и дополнений в Основной Закон (статья 147 Конституции Беларуси 1994 года). Поэтому, несмотря на кардинальные государственно-правовые реформы в 1996 году, действующая Конституция формально не получила статуса «новой» или хотя бы изложенной в «новой редакции».

Во всех рассмотренных случаях (Словакия, Молдова, Армения, Франция, Турция, Беларусь) экономические и социальные основы системы принципиально не менялись, не оформлялся новый политический и социально-экономический строй, не было слома предыдущего общественного порядка. Несколько иначе следует рассматривать влияние изменения политического режима на принятие новой конституции. Как пишет С.А. Авакьян, это «может быть связано одновременно со сменой форм государства, правления, с новым “раскладом” взаимоотношений властей. Однако в принципе политический режим автоматически отнюдь не связан с этими категориями» [323, с. 146]. Автоматически – нет, но причинные связи прослеживаются.

В такой ситуации речь идёт не о смене формы правления, а о реформировании политической системы. Можно ли события в Беларуси 1996 года рассматривать в таком ракурсе? Конечно, характеристика политических реалий – субъективная во всех отношениях оценка. С нашей точки зрения, принятие в 1996 году по сути новой Конституции сопровождалось серьёзными изменениями как формы правления, так и политического режима. Построение очень своеобразной модели «суперпрезидентской» республики, право президента издавать декреты и указы, превосходящие по юридической силе законы Парламента, явно свидетельствуют о намерении (и вся последующая практика это подтвердила) следовать традиции патерналистского государства с элементами автократии. События 2004 года (референдум о снятии ограничений по количеству избраний для избрания на пост Главы государства) логично укладываются в такой курс развития. Можно сказать, что перемена в 1996 году формы правления в наибольшей степени благоприятствовала смене политического режима, и причинно-следственная связь вырисовывается со всей очевидностью.

Замечание С.А. Авакьяна о том, что политический режим автоматически не связан с конкретной формой правления, конечно же, следует брать в расчёт. Характерных примеров – множество. Скажем, республиканская смешанная форма правления в Литве и Казахстане реализуется, соответственно, в условиях демократического и авторитарного режимов. Демократия в Великобритании и тоталитарно-теократическое устройство Саудовской Аравии существуют при монархической форме правления. Нахождение у власти одной партии («Единая Россия» в Российской Федерации) может иметь место в условиях формальной многопартийности. Однако в Беларуси, имеющей ту же («суперпрезидентскую») форму правления, политические партии любого направления принципиально отстранены от государственного строительства. В Корейской «Народной Демократической Республике» уже несколько десятилетий власть узурпирована династией деспотов. «Народная» Ливийская Джамахирия («государство масс») при

М. Каддафи выродилась в самые уродливые диктаторские формы под революционными и исламистскими лозунгами. И таких примеров множество.

В ряду указанных причин может быть рассмотрен случай, который М.Ф. Чудаков полагает заслуживающим особого внимания. Автор считает [25, с. 59], что сюда относится ситуация, когда лидер страны в кризисную эпоху инициирует принятие новой конституции, чтобы установить новые правила политических и правовых действий, новые государственно-правовые институты, включая новую структуру власти вообще. Приводится ставший уже хрестоматийным пример генерала де Голля и «его» Конституции 1958 года, которая появилась в разгар «Алжирского» кризиса. В это время вся Французская Империя разваливалась на глазах.

Как известно, де Голль согласился возглавить страну только при условии принятия новой конституции, по которой он получает весомые полномочия (де Голль вовсе не обижался, когда о нём говорили как о «диктаторе»). Он настаивал на «суперпрезидентских» полномочиях не из-за утоления политических амбиций, поскольку и так заслуженно обладал статусом «народного героя» сообразно вкладу в борьбу с нацизмом и восстановление послевоенной Франции. Тем более им не ставились под сомнение демократические ценности. По сути, генерал предотвратил назревавшую гражданскую войну и очень своевременно решил проблему с североафриканскими колониями. Как выяснилось, де Голль верно рассчитал, что посредством новой конституции будет укреплена французская государственность. В его пользу говорит и тот факт, что им никогда не рассматривались варианты «пожизненного» президентства. «По счастью, оказалось, – замечает Ю. Штайнер, – что де Голль имел больше демократических устремлений, чем это казалось» [115, с. 230].

Несомненно, перед нами ситуация конституционного кризиса, затрагивающего политический режим и форму правления. Но в отличие от конституционной революции (переворота), во Франции под угрозу не были поставлены принципы демократического устройства, здесь не «свершалась» социальная и политическая революция. Порядок и процедуры реформирования Конституции IV Республики были чётко оговорены, что позволило избежать неконтролируемого процесса конституционных изменений, «ведущего к авторитарному перерождению демократических норм без их формально-юридического пересмотра» [193, с. 467]. Трудно определить, что же всё-таки имело место – жёсткая конституционная реформа либо мягкая конституционная революция.

Если учесть, что за принятием Конституции V Республики не последовало радикальных изменений правовой, политической и общественной системы, то, вероятнее всего, следует остановиться на первом варианте. Некоторые французские авторы [193, с. 482] предпочитают говорить о «юридическом перевороте», и по сей день «природа режима, введённого V Республикой, вызывает много вопросов у юристов и политических деятелей» [256, с. 42]. Немецкая политическая традиция иная, поскольку переворот либо путч – «всегда насильственное изменение состава высшего руководства» [188, с. 426], но до этого во Французской Республике дело не дошло.

Можно ли в соответствии с предложенной причиной (кризисная ситуация) рассматривать в данном контексте события в Российской Федерации 1993 года? Следует дать положительный ответ. После кровавых событий 3–4 октября в Москве (расстрел Верховного Совета Российской Федерации) страна управлялась указами и распоряжениями Б.Н. Ельцина, который, по сути, насильно «продавил» в декабре 1993 года на сомнительном референдуме инициированную им Конституцию, спроектированную по «суперпрезидентской» модели. Именно первый президент России задал моду на эту форму правления для постсоветских республик.

Многочисленные нарушения закона, сомнения в требуемой явке избирателей, непонятный порядок подсчёта голосов и объявления итогов этого референдума оставили

много вопросов. Но Конституция была принята и действует по сей день. Как пишет Председатель Конституционного Суда России В.Д. Зорькин (активный участник тех событий не на стороне Б.Н. Ельцина), «наша Конституция является необходимой и достаточной основой для развития законодательства и всей правовой системы России. Лучшей конституции в обозримой перспективе не предвидится. Надо дорожить существующей Конституцией и развивать правовой вектор этого документа» [339, с. 61]. Такая точка зрения не разделяется многими российскими политиками, юристами, общественными деятелями, однако никто не оспаривает того факта, что события 1993 года в России носили радикальный политический характер.

5.5 Новые конституции и факторы эволюционного свойства

В качестве характерной причины возникновения новых конституций изучаются факторы эволюционного свойства. Описывается ситуация, связанная с принятием Конституции СССР 1977 года и Конституции БССР 1978 года. Делается вывод о том, что имела место консервация устоявшейся системы под новой вывеской без каких-либо намерений серьёзных преобразований. Показаны позитивные примеры эволюционных конституционных модернизаций Албании, Бельгии, Польши, Швейцарии, Эстонии. В качестве «негативной» эволюции рассмотрен опыт Веймарской Конституции. Учитывается авторская позиция относительно французских преобразований 1789 года.

Распространённой причиной появления новых конституций принято считать факторы эволюционного свойства, когда «действующая конституция не может быть приведена в соответствие путём её частичного изменения с учётом тех существенных перемен, которые произошли в политической, социальной и экономической жизни общества» [318, с. 76]. С.А. Авакьян резонно замечает, что «у каждой Конституции есть задачи конституционного характера. Если они выполнены, а Конституция не изменена или не заменена новой, она может быть малополезной для общественного развития, а то и превратиться в тормоз» [323, с. 146]. В данном случае новая конституция может знаменовать новый этап в развитии общества и государства, тем более, если это происходит естественным, так называемым эволюционным (т.е. в целом мирным и спокойным) путём.

В качестве примера С.А. Авакьян описывает ситуацию, связанную с принятием Конституции СССР 1977 года, когда происходило «дальнейшее укрепление экономической базы социализма, перерастание государства диктатуры пролетариата в общенародное, укрепление политической системы общества, единства социальных слоёв общества и т.д.» [323, с. 146], то есть принятие новой конституции учёный полагает отнюдь не формальным шагом.

Эта оценка не может быть воспринята однозначно. Конечно, в сравнении со «сталинской» Конституцией 1936 года и её опорными постулатами (полная победа социализма в стране, отсутствие эксплуататорских элементов, господство общественной собственности), а также учитывая пережитую эпоху продолжительностью более 40 лет очень много чего поменялось в общественной и государственной жизни страны. Но явилась ли «брежневская» Конституция 1977 года фактом эволюционного свойства? Что принципиально отличного в жизни СССР начала и конца 70-х годов XX века? Ровным счётом ничего не изменилось с принятием нового Основного Закона, и не зря этот период, растянувшийся на десятки лет, именуют «застоем». Развитие страны не уско-

рилось, а затормозилось. СССР не развивался, плавно входя в фазу консервации и стагнации, постепенно превращаясь из научно-индустриальной державы в сырьевую базу для западных стран. Социалистическое государство жило по партийным директивам, а не по Конституции, которая оставалась фиктивным и малозначащим документом скорее идеологического, а не юридического характера.

По мнению М.Ф. Чудакова, такого рода случай рассматривается «субъективной» причиной принятия конституции, выявляя прежде всего идеолого-пропагандистские цели: «...в политико-правовом документе (конституции) закрепляются формальные и косметические перемены, но выдаётся это за огромный шаг вперёд. Это, к примеру, Конституция 1977 года» [25, с. 60]. Подобное суждение может быть отнесено к большинству советских конституций, и Конституция БССР 1978 года служит характерным примером примитивного «слепок» с общесоюзной Конституции 1977 года в плане своей заданной фиктивности и декоративности. Даже написана она была в Москве без какого-либо участия белорусских учёных.

По поводу сказанного уточним собственную позицию. Нельзя отрицать, что по своему содержанию Конституция СССР 1977 года явилась более прогрессивным документом, чем её предшественница 1936 года. Об этом свидетельствуют новеллы про «общенародный» характер государства; закрепление за Советами ведущего положения в осуществлении государственной власти; признание некоторых демократических форм непосредственной демократии и изменения в избирательной системе; усиление роли трудовых коллективов, профсоюзов и других общественных организаций; достаточно лояльное решение вопросов, связанных со статусом граждан, иностранцев и лиц без гражданства в СССР; определённое следование международным стандартам в области прав человека; декларирование новых приоритетов мирного сосуществования с другими государствами.

Всё это так, но действительно ли является несомненным, что «Конституция СССР 1977 года и республиканские конституции 1978 года сыграли определённую роль в постепенном движении страны в направлении народовластия и формирования гарантий экономических, социальных и культурных, а также гражданских прав, интеграции демократических идей и принципов в общественное сознание», – как пишет С.А. Авакьян [340, с. 73]. Что же всё-таки имело место в связи с принятием Конституции СССР 1977 года: попытка построения гуманного и демократического социализма либо консервация устоявшейся системы под новой вывеской? С нашей точки зрения, утвердительно следует ответить на вторую часть вопроса.

Но так было и раньше. Вот что пишет А. Шайо: «Однако конституции пишутся и исключительно в целях мистификации публики: “великая” сталинская Конституция 1936 г., очевидно, служила тому, чтобы ввести в заблуждение весь мир. Мир хочет быть обманутым – его и обманывают. С тех пор во многих странах провозглашены конституции, возможно, с самыми благими намерениями, упоминающие всяческие права, не осуществлённые, однако, после их провозглашения. В обещаниях недостатка нет, особенно если они способствуют международному признанию» [272, с. 25].

Чтобы не быть голословным, достаточно вспомнить практику реализации формально новых конституционных положений 1977 года. Повсеместно Советы народных депутатов в плане принятия решений подменялись партийными органами; о выявлении действительной воли избирателей не могло быть и речи, так как персональный состав депутатского корпуса определялся коммунистическими структурами, а выборы проводились на безальтернативной основе; хвалёная национальная политика союзного государства уже в 1978 году обернулась кровавыми разгонами народных манифестаций в Тбилиси и Ереване; материальный достаток большинства советских граждан был совершенно мизерным (особенно в колхозах и совхозах), а частная собственность и ком-

мерческая деятельность находились под запретом; советский гражданин не имел права свободно передвигаться и выбирать себе место жительства в пределах страны и уж тем более покидать её и свободно возвращаться; увещевания о мирном пути развития СССР сопровождались развязыванием войны в соседнем Афганистане...

Для нас очевидно, что декоративные и популистские союзные и республиканские конституции не были порождены объективными потребностями социальной практики. Разрыв между конституционно провозглашёнными принципами народовластия и реальной действительностью не становился меньше. Дальнейшее развитие событий показало, что постоянно возобновляющаяся партийно-бюрократическая система организации власти лишала общество и образующие его структуры необходимого самоуправленческого потенциала. Тотальная уравниловка в системе экономических отношений отбивала стремление к труду, творчеству и профессиональному совершенствованию. Поэтому не случайно, когда в конце 80-х годов СССР оказался перед лицом серьёзных политических, национальных, социальных, экономических и международных проблем, он так и не смог их решить, а действовавшая Конституция и вовсе оказалась непригодной и неприспособленной к новым общественным вызовам внутри страны и за рубежом. Заложенный в конституции потенциал эволюционного развития мало что значит, если основному закону уготована роль фиктивного и декларативного документа. В Конституции СССР 1977 года «в полной мере проявилась несостоятельность концепции совершенствования так называемого развитого социализма» [19, с. 73], указал Б.С. Эбзеев в своём фундаментальном исследовании.

Но есть ли в конституционной истории примеры «эволюционного свойства»? С нашей точки зрения, сюда можно отнести принятие следующих конституций: Алжира (1989 г.), Эстонии (1992 г.), Грузии (1995 г.), Польши (1997 г.), Албании (1998 г.), Швейцарии (1999 г.). Такого рода конституции не столько учреждают принципиально новые основы общественного и государственного строя, сколько юридически легализуют уже сформировавшиеся институты и закрепляют социальную практику. Для западных демократий это – типичный вариант развития событий, обеспечивающий «мирный характер перемен» [66, с. 585].

В качестве хрестоматийного примера приводят Бельгию, где в 1994 году была принята фактически новая, «консолидированная» Конституция. Однако конституционные изменения там вносились почти 25 лет (1970, 1980, 1988 и 1993 гг.), в результате чего унитарное государство официально превратилось в федерацию (всего из двух субъектов – Фландрии и Валлонии). Таким образом, здесь «сработали» факторы эволюционного свойства, изменилась форма государственно-территориального устройства и планомерно, через реформы, появилась новая конституция.

История знает примеры и «негативных» эволюций. Немецкий учёный Христиан фон Кроков считает [188, с. 446], что Веймарская Конституция как раз этому соответствует. Законодатель мог в любой момент изменить её в части организационных устройств и основных прав. Поэтому уместен вопрос, не был ли захват власти национал-социалистами в марте 1933 года при помощи закона о наделении правительства чрезвычайными полномочиями в полном соответствии с Веймарской Конституцией? Два ведущих юриста страны Ганс Кельзен и Карл Шмитт публично заявили, что стремительные реформы в законодательной сфере соответствуют праву. В итоге новый вариант Веймарской Конституции окончательно развязал руки и развеял сомнения относительно «фюрера», провозглашённого «защитником права и всех законов». Впоследствии отцы Боннского Основного Закона 1949 г. учли этот трагичный опыт, предусмотрев в государственно-правовой системе Конституционный Суд.

Если конституция несвоевременно закрепляет и регулирует новые прогрессивные общественные отношения, она препятствует полноценному развитию социума, тормо-

зит распространение конституционной практики. В проигрыше всегда конституция, ведь при продолжительном её несоответствии социальной реальности и потребностям общественного развития она попросту перестаёт соблюдаться. (Вспомним, как в 1848 г. Адольф Тьер назвал «грязным клочком бумаги» Конституцию Французской Республики.) Чтобы сохранять регулятивное воздействие на значительно изменяющуюся общественную практику, конституция должна быть адаптивной, а это может решаться через поправки к ней либо через принятие нового основного закона.

Верно отметил А.В. Мазуров [316, с. 53], что общественная практика является причиной принятия конституции и следствием её действия, а конституция – следствием общественной практики и причиной её изменения. Не всегда можно твёрдо судить о том, факторы эволюционного либо революционного характера имеют место. Российский автор И.А. Кравец и вовсе полагает [317, с. 129], что принятие любой новой конституции означает *конституционную революцию*, так как конституция содержит свод новых принципов организации государства и общества, в соответствии с которыми ещё предстоит преобразовать политическую и правовую систему. Но очевидно, что в данном случае термин «революция» используется в нехарактерном для него значении, по крайней мере – для западных учёных.

Например, Гарольд Дж. Берман [28, с. 158] убеждён, что французские мыслители XVIII века, за редким исключением, вовсе не призывали к такой революции, какая разразилась в 1789 году. Они не ратовали за свержение монархии, не проповедовали революции. Да, они критиковали существующий режим и предлагали произвести в нём определённые перемены, но – не устранять его в целом. Их следует признать реформаторами, а не революционерами, однако критика и философия, составлявшие их мировоззрение, стали частью системы веры тех, кто впоследствии опрокинул режим и установил новый. В этом, как нам представляется, принципиальное отличие французских идеологов Просвещения от российских большевистских теоретиков, даже не помышлявших о каких-либо реформах, а только – о революционном свержении «старого режима»: «Мы наш, мы новый мир построим...».

5.6 Основной закон и категория «переходного периода»

Актуализируется дискуссия о «постоянных» и «временных» конституциях, критически осмысливается категория «переходного периода», обуславливающего момент принятия нового основного закона. Страноведческая специфика представлена в контексте сравнительно-правовых исследований. Выясняются причины принятия временных конституций, особенности перехода в стадию устойчивого (постоянного) развития. Показаны позитивный и негативный опыт соответствующих трансформаций. Особое внимание уделено ситуации с Основным Законом Германии. Дается критический анализ теории «преобразования» конституции без формального изменения её основ. Объясняется связь между конституциями «переходного периода» и авторитарными режимами. Соответствующий этап (1990–1994 гг.) конституционного развития Беларуси характеризуется в положительном ключе.

Принятие нового основного закона может быть обусловлено окончанием периода действия конституции. Здесь следует видеть два подхода [323, с. 146]. Один является, строго говоря, формально-юридическим, то есть в самой конституции устанавливается срок её действия, что и приведёт к разработке нового основного закона. Во втором случае применяется категория «переходного периода». Рассмотрим оба варианта. Однако

оговоримся, что они не имеют в данном контексте отношения к дуалистической конструкции, описанной И.И. Царьковым [221, с. 216]: она доказывает мысль о том, что конституция, как и любой закон, – это временный документ; но может и возноситься актом вечным и неизменным (если конституционный порядок мыслится не как производный от неких условий жизни, а как безусловный – значит, определяемый метафизическими основаниями).

Временная конституция с заранее оговорённым «календарным» сроком действия – явление исключительно редкое в мировой практике. Но такие случаи имели место (Конго, Мадагаскар, ЮАР). Например, на первом после упразднения в Непале монархии созыве Конституционного собрания в 2008 году народные избранники установили себе крайний срок написания основного закона страны – 28 мая 2010 года, но из-за непрекращающихся политических неурядиц конституция так и не была написана. Лишь за считанные часы до истечения этого срока стране удалось избежать конституционного кризиса – срок написания конституции продлили ещё на год – до 28 мая 2011 года. Однако основной закон так и не появился. К тому же полномочия Конституционного собрания должны были закончиться с наступлением этой даты, и страна могла остаться без легитимного парламента, правительства и какой-либо, даже временной, конституции. Поэтому непальские законодатели в последний день действия временной конституции страны продлили срок её легитимности, а также полномочий Конституционного собрания (парламента) и правительства ещё на три месяца.

Всё это говорит о том, что при принятии решения о действии временной конституции его инициаторам не стоит «загонять» себя под заранее установленные сроки, целесообразнее оговаривать период действия такой конституции наступлением определённого события. Это более распространённая практика. Например, Конституция Таиланда 1959 года, включавшая всего 20 статей, действовала до выработки проекта постоянной Конституции Учредительным собранием. О «постоянной» Конституции этой страны можно говорить умозрительно, так как с 1959 года в Таиланде произошли десятки государственных переворотов со сменой множества конституций.

Временные конституции принимаются, замечает М.Ф. Чудаков [325, с. 149], как правило, в особых ситуациях – во времена потрясений, революций, военных переворотов, связанных с изменением государственного устройства. Временный характер конституции подчёркивается либо в названии конституции, либо в законах о введении её в действие. Временная конституция может называться, например, «Временный конституционный акт», «Временная конституция страны», «Конституционная декларация». Несмотря на то, что временные конституции устанавливают срок своего действия, он приурочен не к конкретной дате (случай с Непалом здесь исключение), а к какому-либо событию: созыву учредительного собрания, конституционного конвента или к проведению референдума по принятию постоянной конституции. Такая практика имела место во многих постсоветских республиках бывшего СССР, а также после крушения социалистической системы. Принимались эти конституции, как правило, в упрощённом порядке, чаще всего – парламентами.

Достаточно распространённой в практике конституционализма является категория «переходного периода», обуславливающего момент принятия нового основного закона. По мнению С.А. Авакьяна [323, с. 147], под таким периодом понимается время, в течение которого будут решены генеральные задачи, заложенные в основном законе, и реализован так называемый потенциал конституции. А после этого, следуя логике самих слов о «переходном периоде», казалось бы, надо принимать новую и уже постоянно действующую конституцию.

Классическим примером такой ситуации является принятие Конституции Республики Польша в 1997 году, и вот почему. Нынешняя конституционная система Польши

сложилась в результате реформ, начатых в конце 1980-х годов. В апреле 1989 года была восстановлена двухпалатная структура польского парламента, а Государственный Совет, высший коллегиальный орган государственной власти, был ликвидирован и одновременно учреждён институт единоличного главы государства – Президента, избираемого Национальным Собранием Польши. Поправки к Конституции, принятые в декабре 1989 года, фактически изменили характер основ общественного устройства страны, признали и предоставили равную защиту различным формам собственности, ввели принцип политического плюрализма. Осенью 1990 года в Конституцию были внесены изменения, касающиеся выборов Президента. Глава государства стал избираться непосредственно гражданами страны (первым всенародно избранным Президентом Польши стал Лех Валенса, лидер общенационального движения «Солидарность», лауреат Нобелевской премии мира). Значительным этапом явилось принятие 17 октября 1992 года Конституционного закона, получившего название *Малой Конституции*, о взаимных отношениях между законодательной и исполнительной властью, а также о территориальном самоуправлении.

Действующая Конституция Польши была принята Национальным Собранием только 2 апреля 1997 года и одобрена на референдуме 25 мая 1997 года. Таким образом, продолжительность «переходного периода» составила 8 лет, что оказалось достаточным для мирного «демонтажа» социалистической системы с 1989 года. Как верно отмечается, последующие и «нынешние реформы польской правовой системы также проводятся очень осторожно, без спешки, сопровождаются длительными дискуссиями и подготовительными работами» [338, с. 520]. Более подробно о теории и практике польского конституционализма можно прочитать у А.Е. Вашкевича [341], понимание которого, с точки зрения учёного, актуально для белорусской юридической науки уже хотя бы в силу 400-летней общности государственно-исторического, экономического и социокультурного развития наших народов.

По сходному с польским сценарию развивались события в Албании. Как известно, с 1944 по 1991 год в стране существовал однопартийный коммунистический режим, но с 1989 года начался процесс коренных преобразований, который привёл к разрушению существовавшей тоталитарной системы. Демократизация общественно-политической жизни сопровождалась обновлением государственно-правовых структур.

До 1990-х годов в Албании действовала социалистическая Конституция 1976 года, однако с началом демократических преобразований 24 апреля 1991 года была принята «временная» Конституция страны – Закон об основных конституционных положениях [338, с. 23]. В 1993 году он был дополнен Хартией основных прав и свобод человека. 21 октября 1998 года Парламентом принята новая, демократическая Конституция Республики Албания, одобренная на референдуме 22 ноября 1998 года. Особо отметим, что в указанный «переходный период» почти всё законодательство в стране было пересмотрено в соответствии с принципами западной демократии, прав человека и свободной рыночной экономики, а в результате масштабных правовых реформ Албания к середине 1990-х годов перешла из социалистической правовой семьи в романо-германскую (континентальную). Албанский пример наглядно иллюстрирует, каким образом можно эффективно распорядиться временем, отпущенным под «переходный период». К началу преобразований страна была самой нищей и отсталой в Европе, а ныне являет собой сплошную строительную площадку – регион, притягательный для иностранных инвесторов.

Необычна ситуация с «переходным периодом», имевшая место в Германии. Принятый в 1949 году Основной Закон ФРГ, действующий и поныне, рассматривался временным документом не только в период раздела Германии на ФРГ и ГДР, но и после Договора об объединении Германии 1990 года. Вот что гласит статья 146 этого верхов-

ного акта: «Настоящий Основной Закон, который в результате обретения Германией полного единства и свободы распространяется на весь немецкий народ, прекратит своё действие в день, когда вступит в силу Конституция, принятая свободным решением немецкого народа» [342, с. 104]. Следствием объединения стали многочисленные поправки к Основному Закону, которые, однако, не поколебали его духа и принципов. Но факт остаётся фактом – на 2017 год в этой стране так и не принята общегерманская Конституция. В ней просто нет надобности.

На это обстоятельство обращают внимание многие учёные, предлагая разные трактовки такому «временному» основному закону. М.Ф. Чудаков пишет: «Иногда временная конституция, если не возникает необходимости её изменять, становится постоянной. Классический пример – Конституция ФРГ 1949 года. Она была принята как временная и охватывала не всю Германию, а так называемую англо-американо-французскую зону оккупации. ФРГ принимала эту Конституцию даже неполным составом парламента: предполагалось, что вскоре остальная часть Германии присоединится к ФРГ и будет принята другая конституция. Однако другая часть Германии превратилась в ГДР, и в итоге временная Конституция ФРГ служит в качестве основной и по сей день, правда, с определёнными дополнениями» [325, с. 149].

Немецкие политики, государствоведы, юристы обычно не проводят терминологической разницы между Основным Законом и Конституцией, когда говорят о верховном акте страны. В 1994 году Федеральный Президент Р. Херцог указал, что после «завершения процесса, обеспечивающего государственное единство Германии, на основе свободного и сознательного решения граждан Основной Закон стал общегерманской Конституцией» [342, с. 3], а профессор В. Бергманн уточняет, что уже с 1955 года (момента подписания союзнического «Договора о Германии») «Основной Закон в правовом отношении стал полноценной конституцией» [342, с. 7]. Как показывает современное развитие событий, «переходный период» в Германии не закончится никогда, да и зачем что-либо кардинально менять, если действующий Основной Закон полностью справляется с возложенными на него задачами? Можно вспомнить и о том, что в ФРГ в наше время в системе законодательства находятся нормативные акты, принятые во времена Веймарской Республики и Нацистского Третьего Рейха (!), что наглядно иллюстрирует немецкий консерватизм и традиционализм, непринятие радикальных методов государственно-правовых преобразований.

Случай с германским опытом наглядно демонстрирует неопределённость и условность категории «переходный период». Но это, надо признать, скорее исключение из правил, тем более – с положительным результатом. Практика знает немало примеров обратного толка. Суть вопроса достаточно чётко изложена у С.А. Авакьяна [323, с. 147], и смысл его рассуждений состоит в следующем.

Сторонники сохранения принятой конституции могут растянуть «переходный период» на длительное время, утверждая, что всё ещё происходит формирование новых общественных отношений. Появилась даже теория так называемого «преобразования» действующей конституции, когда её нормы сами по себе остаются нетронутыми, но через текущие акты и политическую практику приспособляются к новым реалиям. В этом как раз и состоит опасность: ведь на протяжении всего «переходного периода» общество живёт в состоянии неустроенности. Можно ждать стабилизации политических и экономических отношений несколько лет. Но если всё затягивается на десятилетия, налицо не «переходный период», а элементарная попытка «под маркой» такого периода сохранить в чём-то нежизненные общественные отношения или же формальное действие ставшей уже в сильной степени фиктивной конституции. Сюда можно отнести Конституцию Танзании 1965 года, которая действовала в течение 12 лет; в Объединённых Арабских Эмиратах – 25 лет (1971–1996 гг.); Конституция Ирака 1970 года

действовала до 2004 года, момента свержения режима С. Хуссейна (в 2005 году на референдуме была принята «постоянная» конституция страны).

Категория «переходного периода» оказалась востребованной различного рода диктаторами, хунтами и прочими узурпаторами в XX веке. Особенно это затронуло страны Латинской Америки, Азии, Африки. Как правило, в результате военного переворота пришедшие к власти новые лидеры (генерал Стресснер правил 42 года [344, с. 7]) устанавливают «переходный период», объясняя это чрезвычайной ситуацией и общей политической нестабильностью, а затем уже объясняют, что позже будет принята новая конституция в условиях неминуемой стабилизации после преодоления трудностей. Но поскольку у любых авторитарных режимов всегда находятся внутренние и внешние враги, «переходный период» очень соблазнительно продлевать до бесконечности (в этом диктаторы очень уверены), однако на деле всё заканчивается очередным переворотом либо революцией. Абсолютно права Н.А. Боброва: «Любой *переходный период*, на мой взгляд, это всего лишь благообразный псевдоним чрезвычайщины» [328, с. 130].

Но даже если в таких условиях принимаются «постоянные» конституции, «факт установления неограниченного срока их действия отнюдь не гарантирует их вечности, а лишь указывает на намерения законодателя в момент принятия» [343, с. 70]. Для многих государств XX века «конституционная чехарда» представляла собой обычное явление. Десятки «временных» и «постоянных» конституций насчитывает современная история Боливии, Венесуэлы, Гаити, Доминиканской Республики, Йемена, Таиланда и ряда других стран. Иметь основной закон в государстве и практиковать конституционализм – вещи совершенно разные.

Стратегия конституционной революции, основанная на принятии новой конституции вне правовых рамок прежней и исключительно на основе новой легитимности, идеально подходит, как показал исторический опыт, к модели «временной конституции». Постоянное обращение к временным конституциям, отмечает А.Н. Медушевский [193, с. 468], – это своего рода стиль революции, стремившейся остановить неизбежное приближение контрреволюции, сохранить ситуацию «переходного периода» и конституционной неопределённости, не допустить преобразования философских принципов в правовые нормы. Стремление перенести решающий момент принятия конституции «на потом», когда все революционные изменения будут завершены и станут необратимыми, отражает условность подхода революционеров к конституционализму. Но есть и обратные примеры. Американцы не форсировали принятие конституции, и для её появления потребовался немалый период (с 1776 по 1791 г.). Здесь сказалось влияние англосаксонской правовой традиции, чрезвычайно высокий уровень образованности и рассудительности истеблишмента.

Беларусь удачно воспользовалась «переходным периодом» 1990–1994 гг., когда в этот промежуток времени плодотворно работала Конституционная комиссия, созданная при Верховном Совете XII созыва. Несмотря на объективно возникавшие проблемы и политические разногласия, в 1994 году наша страна обрела свою первую Конституцию как независимое государство. Здесь события развивались в русле, характерном для большинства бывших республик Союза ССР (более подробно см. монографии Г.А. Василевича [345], В.А. Круталевича [346], А.В. Курьяновича [337] и М.Ф. Чудакова [25]). Особняком стояла Латвия, реанимировавшая Конституцию 1922 года. Как оказалось, и это также может быть жизнеспособным проектом.

5.7 Феномен «оккупационных» конституций: о значимости политических форм государства-реципиента

Рассматривается феномен «оккупационных» конституций, принимаемых потерпевшими поражение в войне государствами под прямым воздействием извне. Изучаются опыт Германии и Японии, сходство и различие исторических обстоятельств, последствия принятых конституций. Объясняется, почему в обоих случаях имели место имплантации конституций насильственным путём с успешным результатом. Показано значение актов оккупационного права, предшествующих принятию постоянных конституций на контролируемых территориях. Отмечается важность политических форм самого государства-реципиента для оккупированных государств, где разрабатывается и принимается конституция.

Самостоятельной причиной принятия новых конституций А.Н. Медушевский [193, с. 151] видит *давление на государства извне после военных поражений*. Например, принятие Основного Закона ФРГ 1949 г., содержание которого определялось и жёстко контролировалось союзниками, а сам документ задумывался его создателями как временный конституционный акт, хотя и ставший впоследствии реальной конституцией страны. Другой случай – Конституция Японии 1946 г., написанная американцами в период оккупации страны, радикально изменившая её правовые традиции и принятая под прямым давлением США, но при этом внешне показывавшая определённую преемственность. Различия обнаруживаются и в иных аспектах.

По условиям Потсдамского соглашения, выработанного конференцией глав правительств СССР, США и Великобритании, союзники установили в побеждённой Германии временный оккупационный режим, для чего её территорию разделили на четыре зоны: советскую на востоке, американскую, английскую и французскую на западе. Было решено распустить германские вооружённые силы и ликвидировать генеральный штаб армии; арестовать и предать суду военных преступников на трибунале в Нюрнберге; уничтожить монополистические концерны и картели; провести «чистку» государственного аппарата от нацистов; ликвидировать военно-промышленный комплекс Германии. Советский Союз в буквальном смысле вывез все материальные ценности из подконтрольной ему зоны, вплоть до полотна дорог и канализационных труб, о чём захватывающе пишет участник тех событий Г. Климов [348, с. 149]. Был введён и поныне сохраняющий силу запрет для Германии разрабатывать и иметь ядерные вооружения.

Вместо этого восстанавливалось действие демократических институтов: местного самоуправления, свободы союзов, слова, печати, собраний. Управление Германией сосредоточилось в Союзном контрольном совете, составленном из представителей всех оккупирующих держав. Но так продолжалось недолго. В декабре 1946 г. создаётся сепаратное управление двумя западными зонами – американской и английской, а затем – всеми тремя. Логическим следствием всё больших разногласий с Советским Союзом стало намерение образовать отдельное западногерманское государство, что привело к расколу Германии на две части и появлению так называемой «Бизонии». В ФРГ под давлением и при огромной финансовой поддержке США сразу же начались масштабные политические и экономические реформы. В итоге уже к 1952 г. экономика ФРГ по темпам роста и объёму валового национального продукта вышла на первое место в Европе. Но ещё ранее под всё была подведена основательная конституционная база, построенная на принципах демократии и федерализма.

К 1947 г. союзники чётко осознали, что «разделённая Германия – свершившийся факт, и необходимо срочно заняться созданием западногерманского государства.

Её конституция была написана в феврале 1948 г., принята в мае и вошла в силу осенью» [121, с. 18]. Само рождение Федеративной Республики было обусловлено «холодной войной» [31, с. 298]. Ускоренные темпы нужны были для того, чтобы как можно скорее включить Западную Германию в официальную оборонную организацию, созданную в 1949 г., – НАТО.

Дело в том, пишет Дж. Фридман, что «американцы выбрали стратегию противостояния советской угрозе через создание системы альянсов, в которых американским союзникам отводилась роль поддерживаемых США форпостов на пути экспансии Советов. Советская стратегия предусматривала главным образом опору на собственные силы с созданием существенного превосходства в наземных войсках, острие которых было направлено на Германию» [44, с. 151]. СССР сделал ставку на сохранение своего массированного военного присутствия в Германии с двойной целью: подавить возможное сопротивление на местах и отразить на дальних подступах предполагаемое нападение со стороны американцев.

На тот момент Советский Союз ещё не располагал ядерным оружием, и поэтому ему нужен был противовес американской атомной бомбе. И если бы в те годы случилась уже не «холодная», а «горячая» война между СССР и США, – то она опять велась бы в Европе. Объективный военно-стратегический расклад сил диктовал бы в этой войне единственную тактику для СССР: лучшая оборона заключалась в быстром массированном наступлении с целью захвата Западной Германии, Франции, ряда малых стран, которое должно было бы поставить американцев перед свершившимся фактом, против которого ядерное оружие малоэффективно. США не могли индифферентно относиться к советской угрозе, в перспективе грозившей вылиться в оккупацию Советским Союзом огромных евроазиатских пространств, что означало бы коренное изменение глобального баланса сил. Поэтому и была выбрана стратегия сдерживания СССР с упором на скорейшее возрождение Германии.

Берлинский кризис показал правильность выбранной американцами стратегии. Чем больше СССР укреплял железный занавес, тем быстрее союзники склонялись к созданию западногерманского государства в условиях неизбежного разделения на тот момент немецкой нации. В этой связи П. Джонсон пишет: «Настоящими создателями Германии Аденауэра были русские с их политикой разделения Германии, а последовательность их ходов в 1947–1948 годах, направленных на эскалацию холодной войны, ускорило формирование западногерманского государства» [121, с. 176]. Для американцев было очень важным отдельное экономическое развитие Западной Германии по пресловутому плану Маршалла.

Не ошиблись они и в том, когда сделали ставку на Конрада Аденауэра и Людвига Экхарда. А.Н. Медушевский [193, с. 152] верно заметил, как многое роднит этих создателей Основного Закона Германии с федералистами, отцами-основателями США. Поскольку Гитлер пришёл к власти при поддержке масс и на основании самой демократической в то время конституции, Аденауэр сотоварищи в Основном Законе настороженно отнеслись к институтам непосредственной демократии и малое внимание уделили социальным правам. Зато огромное значение придавалось независимости судебной власти и учреждению Конституционного Суда, ставшего в Европе эталоном судебного конституционного контроля. В 1953 и 1956 гг. Конституционный Суд ФРГ запретил деятельность на территории государства коммунистической и национал-социалистической партий. Такая вот реакция на нацизм и коммунизм.

Немаловажно, что Основной Закон разрабатывался (хотя и под жёстким внешним контролем) представителями самой нации. Цель его принятия – не столько смотреть в будущее, сколько избежать ошибок прошлого. Хотя, как верно отмечено А. Шайо, «иногда в конституции перемешиваются различные политические цели: германский

Основной Закон был заказан оккупировавшими страну державами, потому что они нуждались в будущем союзнике, у которого есть собственная государственность и независимость. И немцы писали конституцию, с одной стороны, контрреволюционную, ибо она отвергала результаты гитлеровской революции, т.е. бесчеловечность, с другой стороны – прагматичную, ибо исправляла ошибки Веймарской Конституции» [272, с. 26]. Им это удалось, что показала последующая практика.

Случай с Германией не был единичным, он укладывался в общую американскую стратегию распространения влияния в Западной Европе. Когда к 1947 году для США стало со всей очевидностью ясно, что СССР навязывает свою идеологию странам Восточной Европы и одновременно старается распространить собственное влияние и дальше на Запад (например, поддерживая французских и итальянских коммунистов), то США начали разрабатывать планы противодействия тому, что они воспринимали как стратегию СССР.

«Состояние экономики Западной Европы было уже делом не простой благотворительности, а вопросом национальной безопасности Соединённых Штатов. Экономически слабая Европа могла стать зоной серьёзных социальных потрясений, потенциально открытой для прихода к власти коммунистических партий. Западу нужно было наглядно продемонстрировать всем, что капитализм обеспечивает лучшее качество жизни для граждан, чем это мог сделать коммунизм. США отнюдь не хотели сдерживать СССР в одиночку и только за свой счёт. В их интересы входило перевооружение Европы, что можно было сделать лишь на основе сильной экономики европейских стран» [44, с. 162]. (Ничего не изменилось и в наши дни. Став Президентом США, Дональд Трамп в 2017 году категорически потребовал, чтобы страны-члены НАТО предусматривали на военные расходы не менее 2% своего ВВП). Но для серьёзных экономических и социальных преобразований должна была быть основательная юридическая база, поэтому параллельно внедрению плана Маршалла шла разработка Основного Закона ФРГ и планов дальнейшей европейской интеграции. Так почти одновременно зародился Европейский Экономический Союз.

В Японии американцы также сделали ставку на новую конституцию, поскольку довоенная была слаба, а вся правовая система – примитивна и нестабильна. В отличие от Германии при оккупации Японии США были «единственной силой и практически отдали власть в руки автократа-генерала Макартура, который получил возможность играть роль просвещённого “деспота” и провёл в Японии революцию “сверху”, после которой страна превратилась в современное государство» [121, с. 347]. Не случайно сами японские учёные «крайне неохотно обсуждают историческую подоплёку принятия Конституции Японии» [237, с. 81]. В отличие от Германии, где первостепенной была проблема воссоединения, в Японии в Основном Законе главным определили отношения к войне и милитаризму (вероятно сказался и тот факт, что документ был принят до начала «холодной войны»). Наконец, американцы были вынуждены учитывать японскую незападную традиционную идентичность, поэтому получился специфический вариант – «синтез местной традиции и импортированных правовых концепций» [193, с. 151]. Но если германская модель более реальна и эффективна, то японская продолжает находиться на стадии экспериментирования.

Конституция 1947 г., составленная в штаб-квартире Макартура, была однородной концепцией, включавшей в себя наилучшие элементы британской и американской конституций; она умело балансировала между исполнительной и законодательной, центральной и местной властью. Взятая вместе с другими оккупационными законами, создавшими свободные профсоюзы, независимую прессу и местный контроль над полицией (вооружённые силы как таковые были ликвидированы), конституция «смогла разрушить гипнотическую хватку, в которой до этого момента государство удерживало

японский народ» [121, с. 347]. Американская оккупация Японии, вероятно, была самым конструктивным достижением американской внешней политики в течение всего послевоенного периода, и она была осуществлена практически без посторонней помощи. США взрастили себе могучего конкурента и важнейшего стратегического партнёра в лице третьей экономики мира.

Самое существенное, чего добились конституционные реформы, было убеждение японцев, что государство существует для своих граждан, а не наоборот. В отличие от предыдущего дикого во всех отношениях милитаристского периода были заложены основы здорового индивидуализма, стимулируя возникновение альтернативного по отношению к государству центра лояльности в виде сети множества японских институтов, представляющих собой аналог семейного клана. Кто не знает, замкнутые группы в Японии основаны не на горизонтальных, а на вертикальных связях, что порождает «семейственность и групповщину, ведёт к созданию независимых однородных групп в каждой области деятельности» [352, с. 132]. Несмотря на модернизацию, индустриализацию, американизацию и европеизацию Япония всё же не допустила подмены прочной и неизменной сердцевины своей традиции. Их политическая элита охотно и легко заимствовала конституционную культуру западного общества, но в области культуры духовной ей присуща уже не подражательность, а консерватизм, не восприимчивость, а замкнутость.

Сходство двух конституций в том, что они принимались в странах, потерпевших поражение в войне, в условиях союзной оккупации и под давлением США. Обе конституции поспособствовали тому, чтобы Германия и Япония вошли в число самых мощных экономик, обеспечили реальный правопорядок и более не искушались играть в опасные милитаризированные игры. Данная модель [193, с. 120] представляет собой, безусловно, разрыв правовой преемственности, поскольку одной из основных задач стран-победителей является недопущение (или радикальное изменение) тех институтов, принципов и ценностей, которые существовали до оккупации. Но это – примеры имплантации конституций насильственным путём, причём – с успешным результатом.

С Германией история продолжилась и вовсе удивительным образом. У западных юристов постепенно сформировалось убеждение, что вклад ФРГ в правовую интеграцию Европы, по сравнению с другими государствами, особый. Это связано с тем, что «немецкие правоведы оказали и продолжают оказывать на развитие правовых институтов Евросоюза большее воздействие, чем другие государства сообщества, что многие правовые нормы, институты и принципы проложили себе дорогу в наднациональное право именно благодаря *германской правовой машине*. В числе их: каталог основных прав, принцип пропорциональности, принцип верности интеграционному единству, принцип субсидиарности, правило судебной преюдиции. Прообразом Европейского центрального банка стал немецкий Бундесбанк» [355, с. 22].

Германия в юридическом, политическом, экономическом смысле стала самым настоящим «локомотивом» Европы. Именно под давлением Германии повсеместно принимаются меры жёсткой экономии. Никакие переговоры о смягчении чьего-то долгового бремени без Германии не имеют никакого смысла, как это было с кризисной Грецией в 2015 году. Германия имеет наибольший контроль над европейской валютой, а общенемецкий экспорт приближается к отметке в 40% её ВВП [44, с. 248] – самый большой в Европе.

Но, по иронии судьбы, чем больше Германия использует такие инструменты Евросоюза, как свободная торговля, экономическое законодательство, курс евро, общая банковская система, «тем в большей степени внутри ЕС выстраивается система, которая по большей части обслуживает потребности только Германии» [44, с. 316]. Так, по мнению большинства европейцев, бывшая «оккупированная» страна постепенно осуществила через агрессивные насаждающиеся экономические порядки зависимость от неё всей остальной Европы. Поэтому у ФРГ нет особой необходимости становиться значи-

тельной военной силой, в послевоенные годы она никогда и не пыталась стать таковой. Во многом успехам Германии и Японии сопутствовало своевременное принятие рассмотренных конституций.

Им предшествовало действие актов *оккупационного права*, которые содержали не только международно-правовые, но и государственно-правовые нормы, что отмечает К.В. Арановский [17, с. 41]. Органы, осуществляющие оккупационное правление, заняты не только делами государства-оккупанта, но и организацией управления на оккупированной территории. Они обеспечивают создание местных административных учреждений, контролируют их, используя приёмы государственно-правового регулирования, а побеждённое государство действует в соответствии с требованиями оккупанта. После снятия оккупации нормы «оккупационного» права могут сохранять своё действие, их включают в национальное законодательство. Например, в послевоенных конституциях Австрии, Германии, Японии инкорпорированными оказались положения, закрепляющие принципы демократического правления, основы демонополизации, отказа от войны, статуса личности.

5.8 Принятие конституций под диктатом извне при формальном сохранении суверенитета

Рассматриваются особенности принятия конституций в тех странах, которые при формальном сохранении суверенитета вынуждены проводить политические и социальные реформы под диктатом извне. В качестве примера приводится конституционная история стран «народной демократии», образовавших после Второй мировой войны так называемый «социалистический лагерь». Показано решающее воздействие СССР как внешнего фактора на проведение имевших место политических и конституционных реформ. Выясняется, какие иные факторы способствовали столь массовому принятию в этом регионе Европы конституций социалистического толка. Делается вывод о том, что только реально суверенные страны могут рассчитывать на принятие «собственной» конституции для решения возникающих проблем, не порождённых откровенным вмешательством извне других государств.

Особого внимания заслуживает вопрос о конституционной истории стран «народной демократии» Восточной и Центральной Европы после Второй мировой войны. Восемь государств стали под разными названиями социалистическими республиками: Албания, Болгария, ГДР, Венгрия, Польша, Румыния, Чехословакия, Югославия. В годы войны эти страны оказались в разном политическом положении. Польша, Чехия, часть Югославии и Албания были оккупированы немецкими и итальянскими войсками, а Болгария, Венгрия, Румыния, Словакия и Хорватия входили в гитлеровскую коалицию и благодаря этому формально сохраняли независимый статус и имели свои конституции.

Поэтому в ходе освободительной борьбы в этих странах решались разные задачи – восстановление независимости либо смена политико-правового режима. В итоге решающим оказался фактор влияния Советского Союза, «который не пытался установить своё прямое управление оккупированными странами, позволяя последним формально сохранять свой суверенитет» [44, с. 150]. Как пишет Раймон Леже, «эфемерное федеративное государство, каковым являлся СССР, предоставило своим республикам право, которое стало использоваться в качестве модели другими государствами, привязанными к Советскому Союзу» [109, с. 100]. Если с конституциями союзных республик всё ясно – они писались и принимались под прямым контролем Москвы, то с новыми конституциями стран

«социалистического лагеря» не всё однозначно. Ввиду формальной независимости указанных стран и разности исторических судеб Советскому Союзу в отношении своих сателлитов приходилось прибегать к различным политическим маневрам.

У Советского Союза, по выражению Дж. Фридмана [44, с. 150], было много планов на дальнейшее развитие подконтрольных территорий, но также мало надежд, что эти планы найдут понимание у местного населения. Выборы в этих странах имели место, но когда они давали на выходе не то, что требовалось, как в случае с Венгрией и Польшей, в ход шли манипуляции и запугивание. Далее проводились новые выборы с заранее известным результатом. Для советского руководства было аксиомой то, что народы оккупированных территорий должны встраиваться в системы, соответствующие стратегическим интересам СССР. Он претендовал занять место единственной европейской супердержавы, но Соединённые Штаты никак не могли этого допустить.

Контекст был таков. В большинстве этих стран освобождение проходило при поддержке либо с прямым участием Советского Союза, а борьбой руководили компартии (Албания, Югославия), ставшие самой влиятельной политической силой. Профессор Сорбонны Жан-Батист Дюрасель также считает, что «самоотверженность и победы Советской Армии в 1945 году объясняют тот факт, что в определённый период создалось впечатление, что коммунизм победить невозможно, а капиталистический уклад обречён на поражение [...]». Многие же страны подтвердили свою преданность «старшему брату» просто потому, чтобы создать диктатуры на местах» [255, с. 220]. Общей чертой «строительства социализма» под партийным руководством Советского Союза в конце 40-х гг. был неольшевистский переворот по сталинской модели, хотя сразу после освобождения от гитлеризма форсирования событий не было – Советский Союз имел различные соглашения с союзниками по антифашистской борьбе, которые обязывали его уважать волю народов, не чинить препятствий организации свободных выборов, деятельности демократически избранных властей в странах, находящихся в сфере его влияния.

Причиной тому была так называемая Атлантическая хартия, подписанная 14 августа 1941 года, по которой США и Великобритания брали на себя обязательство, что по окончании войны с Германией обе названные державы «не будут стремиться ни к каким территориальным изменениям», не согласятся и на всякие другие территориальные перемены, не находящиеся в согласии с желаниями народов, и что, наконец, обе эти державы «будут уважать права всех народов выбирать себе форму правления» [141, с. 557]. Советский Союз как равноправный член антигитлеровской коалиции 25 сентября 1944 года присоединился к Атлантической хартии, не возразив против названных выше принципов. Но сценарий создания государств «народной демократии» никак не соответствовал подписанной Хартии. По оценке Дж. Фридмана, европейский полуостров был оккупирован Соединёнными Штатами и Советским Союзом, суверенитет носил символический характер» [44, с. 138]. Обратим внимание на территории, которые «перешли» к Советскому Союзу.

Так как компартия либо прокоммунистические партии вошли в состав всех послевоенных правительств, они при прямой поддержке СССР довольно быстро установили свою монополию на формулирование и осуществление программ «строительства социализма». Все без исключения лидеры социалистических государств исходили из того, что возглавляемые ими партии всегда были только инструментом необходимости. Например, уже в 1990 году бывший руководитель и диктатор Польши (с 1980 года) генерал В. Ярузельский всё равно твёрдо убеждён в том, что «после войны партия была вынуждена овладеть монополией на власть, чтобы мобилизовать поляков на восстановление страны; такой способ руководства был хорошим, других не было. Нужно было принимать непопулярные решения, что могла делать только авторитарная партия. Нужно было ввести чрезвычайное положение, чтобы спасти Польшу от анархии... [353,

с. 92]. СССР и выступал гарантом такой политики. Здесь не вся правда. Согласно Потсдамскому договору Польша получила огромные германские территории и выселила миллионы немцев, и, по мнению Т. Снайдера [163, с. 318], именно страх перед немецким реваншизмом обеспечил поддержку польского коммунистического режима и его альянса с Советским Союзом. Даже в 1989 году, вернув себе суверенитет, Польша испытывала больший страх перед объединением Германии, чем перед советской реакцией.

Главным образцом для копирования стал государственный и нормотворческий опыт СССР, и он был настолько существенным, что ведущий компаративист современности Рене Давид последовательно отстаивал тезис о самостоятельной семье «социалистического права» [127, с. 112]. Юристы из социалистических стран, исходя из своих политических и идеологических установок, делили все правовые системы, существующие в этом мире, на две противостоящие друг другу правовые семьи: социалистическую и буржуазную. [...] Это означало, исходя из марксистской идеологической амбициозности, что социалистическое право по своей сущности и содержанию является высшим типом права, не сравнимым ни с каким бы то ни было иным...» [354, с. 447]. Оно сложилось не сразу после Второй мировой войны, поскольку в странах Восточной Европы в 1944–1945 гг. прошли народно-демократические революции (кроме Германии). В ходе победы над фашизмом первоначально складывались своеобразные общественные коалиции, выражавшие конструктивный компромисс между представителями различных политических сил: рабочих, крестьян, интеллигенции, мелкой буржуазии.

Утверждалась «антифашистская, народно-демократическая власть, имеющая широкую социальную базу, которая в известной мере выступала в качестве альтернативы тоталитарной советской власти» [309, с. 388]. В правительствах освобождённых стран некоторое время были представлены все социально-политические силы, которые не скомпрометировали себя сотрудничеством с нацистами. Но в послевоенном СССР началось очевидное «закручивание гаек», ни о какой либерализации Сталин и не думал, а здесь ещё стремительно раскручивался маховик «холодной войны». Политика СССР в отношении государств Центральной и Восточной Европы была радикально пересмотрена. По мнению Л. Канфора [31, с. 309], в последние годы правления Сталина и были заложены предпосылки краха системы «народных демократий», именно тогда, когда И. Тито был объявлен врагом, «подкупленным реакцией». Венгерская революция, которая завершилась 4 ноября 1956 года советским вторжением в Будапешт, в корне изменила международную обстановку, показав эфемерность единства социалистического блока. Это ещё более усилило диктат извне.

Понятие «антифашизм» было сужено до уровня признания и оправдания строительства социализма, установления власти одного класса – диктатуры пролетариата. Все, кто выступал против этого пути развития, исключались из рядов антифашистов, на безраздельное руководство претендовали только коммунистические (социалистические) рабочие партии, лояльные Москве. Эти антидемократические тенденции проявили себя по всем направлениям.

Развитие событий коренным образом отличалось от политики, проводимой США на «своих» оккупированных европейских территориях. Дело в том, что видение своего будущего народами стран, находившихся под американской оккупацией, по большей части соответствовало и интересам США – в противоположность конфликту интересов населения Восточной Европы и оккупационной советской власти. Западно-европейские страны совсем не хотели ни оказаться завоёванными Советами, ни получить навязанные извне коммунистические правительства. Хотя европейцы (тот же де Голль) и чётко сознавали, что если США и будут помогать разрушенным странам восстанавливать свои экономики, то только с целью укрепить свои собственные стратегические позиции. Но в американской оккупационной зоне имелось гораздо большее сов-

падение устремлений местных европейских обществ с геополитическими интересами оккупировавшей их державы, чем в советской.

Военное и политическое доминирование в этом регионе СССР, внёсшего главный вклад в победу над Германией, предопределило скатывание стран Восточной Европы в тоталитарную пропасть. Во многих странах (Албания, Венгрия, Румыния, Югославия) была упразднена многопартийная система, в других (Польша, Чехословакия, ГДР, Болгария) – партии становились частью руководимых и направляемых коммунистической партией коалиций, которые сформировались ещё в период освобождения от оккупации. Повсеместно по образцу СССР партийная власть сочетается с государственной в лице генерального секретаря компартии. В области экономики и финансов была проведена масштабная национализация, в сельском хозяйстве – принудительное кооперирование, во внешней торговле – полная монополизация, в сфере идеологии – массивная просоветская и антизападная пропаганда.

Насажение советского типа тоталитаризма имело свои особенности. *Во-первых*, он не являлся локализованной системой, а охватывал огромный блок государств. По этому его провал в одном месте (Венгрия 1956 г., Чехословакия 1968 г.) немедленно исправлялся за счёт вмешательства «извне». *Во-вторых*, его не назовешь неустойчивым, поскольку циничный характер режимов был весьма ловко замаскирован теоретическими фальсификациями. Поэтому протест против того же коммунизма – это одновременно и осквернение памяти жертв и героев антифашистской войны... *В-третьих*, долговечность и жизненная сила социалистических диктатур объясняются и тем, что провозглашаемые в их конституциях цели понятны и привлекательны самым широким массам. Действительно, право на труд, отдых, бесплатное образование, бесплатную медицину, дешёвое жильё, социальную помощь при первой жизненной неурядице... Все эти блага, – разъясняли жрецы тоталитарной системы, – каждый может получить сполна и немедленно, если примет и подчинится её идеологии, т.е. делегирует свой разум и совесть в распоряжение всемогущего Центра. Разве не заманчиво освободиться от всех мирских забот, сомнений, одиночества, взвалив этот тяжёлый и неприятный груз на какую-то сверхсилу? Но за это призрачное «убежище» большинство граждан социалистических стран заплатили дорогой ценой. Из этого духовного порабощения многие не вышли и поныне. Такова расплата за утрату личной свободы и способности принимать самостоятельные и ответственные решения.

Не стоит сбрасывать со счетов и тот факт, что в межвоенный период конца 20-х – 30-х гг. некоторые из стран новообразованного «социалистического лагеря» (этот термин использовался в документах компартий и в прессе) прошли через авторитарные режимы и диктатуры – Венгрия, Польша, Хорватия, Болгария. Москва позаботилась и о том, чтобы партийные и государственные руководители стран – сателлитов прошли ту или иную форму политической учёбы в Советском Союзе. Таким образом, были созданы все предпосылки для установления новых экономических и политических порядков, и здесь, после выяснения необходимого контекста, впору говорить о следующем.

Нарастающие темпы создания тоталитарного общества и государственной власти находили непосредственное отражение в конституционном законодательстве восточно-европейских стран. Первые конституции государств Центральной и Восточной Европы были приняты во второй половине 40-х – первой половине 50-х гг.: в Югославии и Албании – в 1945 г., в Болгарии – в 1947 г., в Чехословакии и Румынии – в 1948 г., в Венгрии и ГДР – в 1949 г., в Польше – в 1952 г. В Румынии в 1952 г. была принята вторая Конституция.

С начала 60-х гг. вместе с утверждением «основ развитого социалистического общества» в этих странах начался процесс замены старых конституций новыми или внесения в старые конституции существенных изменений и дополнений. Как и в случае

с принятием в СССР Конституции 1977 г., принципиально ничего не изменилось. Это не удивительно. В рассматриваемый период утверждается *Доктрина Брежнева* (или Доктрина ограниченного суверенитета) – сформулированное западными политиками и общественными деятелями описание внешней политики СССР 1960–1980-х годов [31, с. 486]. Она заключалась в том, что Советский Союз считает себя вправе вмешиваться во внутренние дела стран социалистического блока для обеспечения стабильности их политического курса и их тесного сотрудничества с Москвой, где под диктовку и писались конституции для «братьев» по социалистическому лагерю. (Но ведь хорошее дело «лагерем» не назовут?)

Для пущей страховки и «защиты завоеваний социализма» на территории некоторых «народных демократий» (Польша, Венгрия, ГДР) СССР разместил мощные военные контингенты советских войск – конституционный процесс даже в «братских» странах должен быть управляемым. К тому времени давно функционировали военная организация Варшавского Договора (1955 г.) и Совет Экономической Взаимопомощи (1949 г.), призванные объединить усилия и противостоять угрозе, исходящей от Запада. Все они были созданы под прямым диктатом извне со стороны СССР. Здесь поневоле согласишься с тем, что «право как выражение силы выступает в наиболее неприкрытой форме в правовом межгосударственном регулировании, в “мирных” договорах и в том праве народов, о котором ещё Мирабо отозвался, что это есть право сильного, соблюдение которого возлагается на бессильного» [96, с. 388]. В права такого рода отливается весьма значительная часть судьбоносных исторических решений.

Главным образцом при принятии конституций по-прежнему оставался государственный и законодательный опыт СССР, хотя его внедрение во многих странах столкнулось со многими трудностями и массовыми недовольствами (ГДР 1953 г., Венгрия 1956 г., Чехословакия 1968 г., Польша 1980 г.). Вацлав Гавел объясняет это тем, что «тоталитарность системы находится в противоречии с самой сущностью жизни, которая всегда неудержимо и изначально тяготеет к разнообразию, многоликости, неповторимости, своеобразности, то есть к плюрализму. Поэтому жизнь неизбежно сопротивляется тоталитарной системе. Самыми разными способами: то кровавым восстанием, то ненасильственным созданием параллельных структур, то давлением на власти путём инфильтрации своих естественных требований в руководящие мозги и органы, то демонстративным неповиновением власти и её идеологии. Но во всех случаях имеет место противостояние одних и тех же сил: жизни и тоталитаризма» [360, с. 108]. Действительно, судьбы стран «народной демократии» сложились по-разному.

Румыния, Албания и отчасти Югославия к этому времени явно обособились и обрели значительную автономию, их руководители Н. Чаушеску, Э. Хаджи и И.Б. Тито проводили во многом самостоятельную политику. Но если Югославия эволюционировала к достаточно либеральной конституционной модели, то в Румынии и Албании были установлены жёсткие авторитарные режимы деспотического типа. Закономерным итогом существования всех этих тупиковых неререформируемых состояний были демократические революции 1989–1990 гг., которые привели к краху тоталитарных режимов и моментальному распаду «социалистического лагеря». Рухнул СССР – рухнул и социалистический строй в странах с подконтрольными режимами. Пришёл черёд принимать новые конституции, но уже без диктата извне.

Именно это обстоятельство, после некоторых размышлений, подвигло выделить как самостоятельную причину появления новых конституций постоянное вмешательство одного государства в дела других внешне суверенных государств. Не вдаваясь в общемировые подробности, мы ограничились рассмотрением региона Центральной и Восточной Европы, поскольку предпосылки противодействия и вызревания конституционализма имеют определённое сходство с белорусской моделью.

Но хронологически, как оказалось, эти события значительно опередили белорусские, поэтому столь важно учесть опыт постсоциалистических государств при проведении конституционных реформ в Беларуси. Главное – народы этих стран с принятием новых демократических конституций обрели реальную государственную независимость и строят свою жизнь на основе общеевропейских ценностей и своих национальных традиций, пошли своим собственным, хотя не столь лёгким путём, как могло показаться вначале.

Эта модель посткоммунистического конституционализма, по словам А.Н. Медушевского [193, с. 220], отражала переходную ситуацию от номинального конституционализма советского типа к реальному. Его принципиальной особенностью является то, что быстрое и радикальное изменение конституционного строя, изменение политических и правовых институтов существенно опережают трансформацию социальных и экономических отношений. Это неизбежно приводит к объективным противоречиям самого процесса демократизации и его конституционно-правового выражения. Этот переход не имеет прямых аналогов в мировой истории.

И ещё одно наблюдение. Насильственное навязывание какому-либо обществу элементов права другого государства нельзя ставить в один ряд с рецепцией – феноменом добровольного восприятия чужих правовых форм, которое диктуется не принуждением со стороны реципиента, а потребностями общества, воспринимающего право. Поэтому правильной представляется позиция тех учёных, которые считают рецепцией права лишь добровольное восприятие чужого права, противопоставляя его «навязыванию» права со стороны других государств. В рассмотренном случае не было прямой оккупации либо колониальных захватов, но диктат извне более чем очевиден, поэтому распространение социалистического права на значительную часть Европы представляет собой явление особого рода.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

На этом повествование прерывается, историческую часть можно считать завершённой. Поскольку в ходе исследования повсеместно делались выводы по разделам и главам, формулировать их в укрупнённом формате не представляется необходимым. Более важным видится доведение следующей информации.

Автором подготовлено продолжение работы – монография, посвящённая проблемам всё того же основного закона, но уже в разрезе современного конституционализма. Главное внимание уделяется белорусским реалиям сквозь призму сравнительно-правовых исследований и деятельности органов конституционной юстиции. Охват проблематики классический: законодательство; доктрина; практика.

В книге рассматриваются следующие «блоки» проблемных вопросов: понятие, сущность и содержание конституции; формы и структура конституций; юридические свойства основного закона и его место в системе источников национального права; предмет и метод конституционного регулирования; их объём, язык и стиль; функции и принципы основного закона; проблема пределов конституционного регулирования; особенности конституционно-правовой модели; проблемы реализации белорусской Конституции.

В сравнении с «Истоками и первопричинами европейского конституционализма» по данному направлению имеется обширнейшая библиографическая база, издано множество монографий и защищено изрядное количество диссертаций, выходят специализированные журналы и сборники научных трудов. Однако в Беларуси обнаруживается явный дефицит научно-правовых исследований, несущих в себе зерно критического анализа и предлагающих меры по конституционной модернизации. Этот пробел в чём-то и попытался восполнить автор, а насколько это удалось, можно будет судить после выхода книги уже в 2017 году. Одно несомненно – такая важнейшая тема нуждается в дальнейшей разработке и притоке новых научных сил и ресурсов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Ивакина, Н.Н. Профессиональная речь юриста: учеб. пособие / Н.Н. Ивакина. – М.: Изд-во БЕК, 1997. – 348 с.
2. Биллингтон, Дж. Икона и топор: Опыт истолкования русской истории / Дж. Биллингтон (James H. Billington); пер. с англ.: С. Ильин [и др.]; под общ. ред.: В. Скороденко. – М.: Рудомино, 2001. – 880 с.
3. Словарь иностранных слов. – М.: Гос. изд-во иностр. нац. словарей, 1949. – 808 с.
4. Бибило, В.Н. Политические и правовые аспекты Статута Великого Княжества Литовского 1529 г. / В.Н. Бибило // Право и демократия: сб. науч. тр. / редкол.: В.Н. Бибило (гл. ред.) [и др.]. – Минск: Изд-во БГУ, 2015. – 323 с.
5. Камінскі, А.С. Рэспубліка супраць аўтакратыі: Рэч Паспалітая і Расія ў 1686–1697 гадах / А.С. Камінскі; пер. з англ. А. Мартынаў. – Мінск: Логвінаў, 2009. – 350 с.
6. Козлова, Е.И. Конституционное право России: учебник / Е.И. Козлова, О.Е. Кутафин. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – 608 с.
7. Дзёрбіна, Г.В. Традыцыі айчыннага канстытуцыйналізму / Г.В. Дзёрбіна // Веснік Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь. – 2014. – № 1. – С. 109–118.
8. Розин, В.М. Генезис права: методологический и культурологический анализ / В.М. Розин. – М.: Nota Bene, 2003. – 336 с.
9. Берман, Г.Дж. Западная традиция права: эпоха формирования: пер. с англ. / Г.Дж. Берман. – 2-е изд. – М.: Изд-во МГУ: Изд. группа ИНФРА-М – НОРМА, 1998. – 624 с.
10. Римское частное право: учебник / под ред. И.Б. Новицкого и И.С. Перетерского. – М.: Новый Юрист, 1998. – 512 с.
11. Дождев, Д.В. Римское частное право: учебник / Д.В. Дождев. – М.: НОРМА, 1997. – 704 с.
12. История государства и права зарубежных стран: учебник для вузов: в 2 ч. / О.А. Жидков, Н.А. Крашенинникова. – 2-е изд., стер. – М.: Изд-во НОРМА, 2003. – Ч. 1. – 624 с.
13. Хабриева, Т.Я. Теория современной конституции / Т.Я. Хабриева, В.Е. Чиркин. – М.: Норма, 2005. – 320 с.
14. Графский, В.Г. Всеобщая история права и государства: учебник для вузов / В.Г. Графский. – М.: Изд-во НОРМА, 2000. – 744 с.
15. Конституция в XXI веке: сравнительно-правовое исследование: монография / отв. ред. В.Е. Чиркин. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2014. – 656 с.
16. Чиркин, В.Е. Конституционная терминология: монография / В.Е. Чиркин; Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2013. – 272 с.
17. Арановский, К.В. Государственное право зарубежных стран: учеб. пособие / К.В. Арановский. – М.: ИНФРА-М; ИД «ФОРУМ», 2000. – 488 с.
18. Монтескьё, Ш.Л. О духе законов / Ш.Л. Монтескьё. – М.: Мысль, 1999. – 672 с.
19. Эбзеев, Б.С. Человек, народ, государство в конституционном строе Российской Федерации / Б.С. Эбзеев. – М.: Юридическая литература, 2005. – 576 с.
20. Лафитский, В.И. Основы конституционного строя США / В.И. Лафитский. – М.: Изд-во НОРМА, 1998. – 272 с.
21. Лучин, В.О. Конституция Российской Федерации. Проблемы реализации / В.О. Лучин. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 687 с.

22. Дайси, А.В. Основы государственного права Англии. Введение в изучение английской Конституции / А.В. Дайси; пер. с англ. О.В. Полторацкой / под ред. П.Г. Виноградова. – М.: Типогр. товарищества И.Д. Сытина, 1905. – 660 с.
23. Энсон, В. Английский Парламент, его конституционные законы и обычаи / В. Энсон; пер. с англ. с прим. Н.А. Захарова. – СПб.: Издание Юридического Книжного Магазина Н.К. Мартынова, 1908. – 355 с.
24. Бромхед, П. Эволюция британской конституции / П. Бромхед. – М., 1978. – 333 с.
25. Чудаков, М.Ф. Конституционный процесс в Беларуси (1447–1996 гг.): монография / М.Ф. Чудаков. – Минск: Акад. управления при Президенте Респ. Беларусь, 2004. – 327 с.
26. Массонские конституции // Массонство в России [Электронный ресурс]. – 2017. – Режим доступа: http://ru-masons.chat.ru/mas_cons.html. – Дата доступа: 12.03.2017.
27. Франклин, Б. Моя автобиография. Совет молодому торговцу / Б. Франклин. – М.: АСТ, 2016. – 320 с.
28. Берман, Гарольд Дж. Вера и закон: примирение права и религии / Гарольд Дж. Берман; пер. с англ. Д. Шабельникова и М. Тименчика / под ред. Н. Малыхиной. – М.: Б-ка Моск. школы полит. исследований, 1999. – 432 с.
29. Забейворота, А.И. Конституция Орлика: мифы и реальность / А.И. Забейворота // Государственная власть и местное самоуправление. – 2011. – № 1. – С. 45–48.
30. Папаян, Р.А. Христианские корни современного права / Р.А. Папаян. – М.: Изд-во НОРМА, 2002. – 416 с.
31. Канфора, Л. Демократия. История одной идеологии / Л. Канфора; пер. с итал. и прим. А. Миролубовой. – СПб.: Александрия, 2012. – 505 с. – (Серия «Становление Европы»).
32. Эко, У. Сказать почти то же самое. Опыты о переводе / У. Эко; пер. с итал. А.Н. Ковалю. – СПб.: Симпозиум, 2006. – 574 с.
33. Марченко, М.Н. Методологические аспекты познания Российских Конституций 1978 и 1993 гг.: сравнительный анализ / М.Н. Марченко // Государство и право. – 2008. – № 12. – С. 15–23.
34. Еллинек, Г. Общее учение о государстве. Право современного государства / Г. Еллинек; под ред. С.И. Гессена. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб.: Н.К. Мартынов, 1908. – Т. 1. – 626 с. – репринтная копия.
35. Шеппели, Ким Лейн. Российская Конституция в конституционной истории Европы / Ким Лейн Шеппели // Сравнительное конституционное обозрение. – 2003. – № 4(45). – С. 7–17.
36. Солоневич, И.Л. Диктатура сволочи / И.Л. Солоневич. – М.: Русская Правда, 2013. – 96 с.
37. Франкл, Дж. Цивилизация: утопия и трагедия / Дж. Франкл; пер. с англ. А.Г. Вронской. – М.: АСТ: Астрель, 2007. – 254 с.
38. Ле Гофф, Ж. Цивилизация средневекового Запада / Ж. Ле Гофф; пер. с фр. В.А. Бабинцева. – Екатеринбург: У-Фактория, 2005. – 560 с.
39. Ницше, Ф. Сочинения: в 2 т.: пер. с нем. / Ф. Ницше; сост., ред. изд., вступ. ст. и примеч. К.А. Свасьяна. – М.: Мысль, 1997. – Т. 1. – 829 с.
40. Вебер, Г. Всеобщая история / Г. Вебер; Издание К.Т. Солдатенкова. – М.: Типография В.В. Исленьева, Большая Кисловка, домъ Архипова, 1888. – 629 с.
41. Ястребицкая, А.Л. Западная Европа XI–XIII веков. Эпоха. Быт. Костюм / А.Л. Ястребицкая. – М.: Искусство, 1978. – 176 с.
42. Эко, У. Искусство и красота в средневековой эстетике / У. Эко; пер. с итал. А. Шурбелева. – М.: АСТ: CORPUS, 2015. – 352 с.

43. Хантингтон, С. Столкновение цивилизаций / С. Хантингтон; пер. с англ. Т. Велимеева. – М.: АСТ, 2014. – 571 с.
44. Фридман, Дж. «Горячие» точки. Геополитика, кризис и будущее мира / Дж. Фридман. – СПб.: Питер, 2016. – 400 с.
45. Верещагин, С.Г. Налоговые восстания и бунты в Германии в Средние века / С.Г. Верещагин // Право и политика. – 2010. – № 4. – С. 789–800.
46. Джонсон, П. Современность. Мир с двадцатых по девяностые годы: в 2 т. / П. Джонсон; пер. с англ. В. Атанасов, Д. Матев. – М.: Аноубис, 1995. – Т. I. – 528 с.
47. Пайпс, Р. Собственность и свобода: рассказ о том, как из века в век частная собственность способствовала внедрению в общественную жизнь свободы и власти закона / Р. Пайпс; [пер. с англ. Демида Васильева]. – М.: Моск. школа полит. исследований, 2000. – 415 с.
48. Тоффлер, Э. Метаморфозы власти: пер. с англ. / Э. Тоффлер. – М.: Изд-во АСТ, 2003. – 669 с.
49. Хайек, Ф.А. фон. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма: пер. с англ. / Ф.А. фон Хайек. – М.: Изд-во «Новости» при участии изд-ва «Catallaxu», 1992. – 304 с.
50. Данте, А. Божественная комедия / А. Данте. – М.: Художественная литература, 1986. – 305 с.
51. Эрс, Ж. Рождение капитализма в средние века: менялы, ростовщики и крупные финансисты / Ж. Эрс; пер. с фр. М.Ю. Некрасов. – СПб.: ЕВРАЗИЯ, 2014. – 320 с.
52. Фергюсон, Н. Восхождение денег / Н. Фергюсон; пер. с англ. А. Коляндра, И. Файбисовича. – М.: АСТ: CORPUS, 2013. – 431 с.
53. Бэкон, Ф. Сочинения: в 2 т. / Ф. Бэкон; сост., общ. ред. и вступит. ст. А.Л. Субботина. – 2-е испр. и доп. изд. – М.: Мысль, 1977. – Т. 1. – 568 с.
54. Бернстайн, У.Дж. Великолепный обмен: история мировой торговли / У.Дж. Бернстайн; пер. с англ. И. Летберга. – М.: АСТ, 2014. – 508 с.
55. Смит, А. О богатстве народов / А. Смит; пер. с англ. Л. Кисляковой. – М.: Изд-во АСТ, 2010. – 255 с.
56. Пайпс, Р. Два пути России: пер. с англ. / Р. Пайпс. – М.: Алгоритм, 2015. – 224 с.
57. Голубчиков, Ю.Н. Исламизация России. Тревожные сценарии будущего / Ю.Н. Голубчиков, Р.А. Мнацаканян. – М.: Вече, 2005. – 416 с.
58. Никонов, А.П. Кризисы в истории цивилизации. Вчера, сегодня и всегда / А.П. Никонов. – М.: ЭНАС; СПб.: Питер, 2011. – 416 с.
59. Кагарлицкий, Б.Ю. Периферийная империя: циклы русской истории / Б.Ю. Кагарлицкий. – М.: Алгоритм, Эксмо, 2009. – 576 с.
60. Баччи, М. Демографическая история Европы / М. Баччи; пер. с итал. А. Миролобовой. – СПб.: Александрия, 2010. – 304 с. – (Серия «Становление Европы»).
61. Зуев, Я. Большой план апокалипсиса / Я. Зуев. – М.: Эксмо, 2012. – 512 с.
62. Зомбарт, В. Буржуа: этюды по истории духовного развития современного экономического человека: [пер. с нем.] / В. Зомбарт. – М.: ТЕРРА-Книжный клуб, 2009. – 576 с. – (Серия «Социо-Логос»).
63. Власов, В.И. Философия правосудия в диалогах / В.И. Власов. – М.: Изд-во РАГС, 2010. – 336 с.
64. Новак, М. Дух демократического капитализма / М. Новак; пер. с англ. В.Г. Маргунтика. – Минск: Лучи Софии, 1997. – 544 с.
65. Сол, Дж.Р. Ублюдки Вольтера. Диктатура разума на Западе / Дж.Р. Сол; пер. с англ. А.Н. Сайдашева. – М.: АСТ: Астрель, 2007. – 895 с.
66. Хайек, Ф.А. фон. Право, законодательство и свобода: Современное понимание либеральных принципов справедливости и политики / Ф.А. фон Хайек; пер.

- с англ. Б. Пинскера и А. Кустарева / под ред. А. Куряева. – М.: ИРИСЭН, 2006. – 644 с.
67. Фридман, М. Капитализм и свобода / М. Фридман. – М.: Новое изд-во, 2006. – 236 с.
 68. Арановский, К.В. Конституционная традиция в российской среде / К.В. Арановский. – СПб.: Изд-во «Юрид. центр Пресс», 2003. – 658 с.
 69. Эко, У. Полный назад! «Горячие войны» и популизм в СМИ / У. Эко; [пер. с итал. Е. Костюкович]. – М.: Эксмо, 2007. – 592 с.
 70. Омельчук, О.Н. Развитие представлений о поведении человека в философии права эпохи Реформации / О.Н. Омельчук // Вестн. Полоц. гос. ун-та. Сер. Д. Экономические и юридические науки. – 2012. – № 13. – С. 102–108.
 71. Лютер, М. О свободе христианина / М. Лютер // Антология мировой правовой мысли: в 5 т. / Нац. обществ.-науч. фонд; рук. науч. проекта Г.Ю. Семигин. – М.: Мысль, 1999. – Т. II: Европа: V–XVII вв. – 829 с.
 72. Уайт, Е. Великая борьба [Электронный ресурс] / Е. Уайт. – Режим доступа: <http://www.otkrovenie.de/beta/xml/gc.xml/10>. – Дата доступа: 26.01.2016.
 73. Мюнцер, Т. Вынужденная важными причинами Защитительная Речь и Отповедь бездуховной, сладкоживущей плоти виттенбергской, которая обманым путем, уворовав Священное Писание, нанесла достойный скорби ущерб несчастному христианству (1524 г.) / Т. Мюнцер // Антология мировой правовой мысли: в 5 т. / Нац. обществ.-науч. фонд; рук. науч. проекта Г.Ю. Семигин. – М.: Мысль, 1999. – Т. II: Европа: V–XVII вв. – 829 с.
 74. Митрохин, Л.Н. Меланхтон Филипп / Л.Н. Митрохин // Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т философии РАН, Нац. обществ.-науч. фонд; науч.-ред. совет: предс. В.С. Степин, зам. А.А. Гусейнов, Г.Ю. Семигин. – М.: Мысль, 2010. – Т. 2. – 634 с.
 75. Кальвин, Ж. Наставление в христианской вере / Ж. Кальвин // Антология мировой правовой мысли: в 5 т. / Нац. обществ.-науч. фонд; рук. науч. проекта Г.Ю. Семигин. – М.: Мысль, 1999. – Т. II: Европа: V–XVII вв. – 829 с.
 76. Аннерс, Э. История европейского права: пер. со швед. / Э. Аннерс. – М.: Наука, 1996. – 395 с.
 77. Кропоткин, П.А. Взаимопомощь среди животных и людей / П.А. Кропоткин. – Минск: БелЭн, 2006. – 320 с.
 78. Гуревич, А. Индивид и социум на средневековом Западе: пер. с нем. / А. Гуревич. – СПб.: Александрия, 2009. – 496 с. – (Серия «Становление Европы»).
 79. Вебер, М. Протестантская этика и дух капитализма / М. Вебер // Избранные произведения: пер. с нем. / сост., общ. ред. и послесл. Ю.Н. Давыдова; предисл. П.П. Гайденко. – М.: Прогресс, 1990. – 808 с. – (Социол. мысль Запада).
 80. Токвиль, А. де. Демократия в Америке / А. де Токвиль; пер. с фр. Гарольда Дж. Ласки. – М.: Прогресс, 1992. – 554 с.
 81. Калашников, М. Будущее человечество / М. Калашников, И. Бощенко. – М.: АСТ: Астрель: Хранитель, 2007. – 319 с.
 82. Пугачёв, А.Н. Античная традиция и её влияние на идеологию конституционных реформаторов XVIII века / А.Н. Пугачёв // Вестн. Полоц. гос. ун-та. Сер. Д. Экономические и юридические науки. – 2013. – № 6. – С. 123–126.
 83. Пугачёв, А.Н. Период буржуазных революций и формирование концепции современной конституции / А.Н. Пугачёв // Вестн. Полоц. гос. ун-та. Сер. Д. Экономические и юридические науки. – 2014. – № 6. – С. 87–100.
 84. Пугачёв, А.Н. Последствия и оценки революционных событий и конституционных преобразований конца XVIII века / А.Н. Пугачёв // Вестн. Полоц. гос. ун-та. Сер. Д. Экономические и юридические науки. – 2014. – № 6. – С. 101–112.

85. Розин, В.М. Развитие права в России как условие становления гражданского общества и эффективной власти / В.М. Розин. – М.: Моск. психолого-социальный ин-т, 2005. – 352 с.
86. Поппер, Карл Раймунд. Открытое общество и его враги: в 2 т. / Карл Раймунд Поппер. – М.: Феникс, Междунар. фонд «Культурная инициатива», 1992. – Т. 2: Время лжепророков: Гегель, Маркс и другие оракулы / пер. с англ. под ред. В.Н. Садовского. – 528 с.
87. Буровский, А.М. Несбывшаяся Россия / А.М. Буровский. – М.: Яуза, Эксмо, 2007. – 512 с.
88. Бродель, Ф. Динамика капитализма / Ф. Бродель. – Смоленск: Полиграмма, 1993. – 125 с.
89. Монтанари, М. Голод и изобилие; История питания в Европе: пер. с итал. / М. Монтанари. – СПб.: Александрия, 2009. – 257 с. – (Серия «Становление Европы»).
90. Никонов, А.П. За фасадом империи. Краткий курс отечественной мифологии / А.П. Никонов. – М.: ЭНАС; СПб.: Питер, 2012. – 512 с.
91. Никонов, А.П. Управление выбором. Искусство стрижки народных масс / А.П. Никонов. – М.: ЭНАС; СПб.: Питер, 2011. – 304 с.
92. Бэкон, Ф. Сочинения: в 2 т. / Ф. Бэкон; сост., общ. ред. и вступ. ст. А.Л. Субботина. – 2-е испр. и доп. изд. – М.: Мысль, 1978. – Т. 2. – 576 с.
93. Нисбетт, Р. Мозгоускорители: Как научиться эффективно мыслить, используя приемы из разных наук: пер. с англ. / Р. Нисбетт. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 320 с.
94. Нейсбит, Р. География мысли: пер. с англ. / Р. Нейсбит. – М.: Изд-во «АСТ», 2012. – 285 с.
95. Пайпс, Р. Россия при старом режиме / Р. Пайпс. – М.: Независ. газ., 1993. – 421 с.
96. Шпенглер, О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Всемирно-исторические перспективы / О. Шпенглер; пер. с нем. и примеч. И.И. Маханькова. – М.: Мысль, 1998. – 606 с.
97. Ле Гофф, Жак Рождение Европы / Жак Ле Гофф; пер. с фр. А.И. Поповой, предисл. А.О. Чубарьяна. – СПб.: Александрия, 2014. – 398 с. – (Серия «Становление Европы»).
98. Місарэвіч, Н.В. Магдэбургскае права на Беларусі / Н.В. Місарэвіч. – Гродна: ГрДУ, 2003. – 107 с.
99. Эко, У. Поиски совершенного языка в европейской культуре / У. Эко; пер. с итал. и примеч. А. Миролюбовой. – СПб.: Александрия, 2009. – 423 с.
100. Джонсон, П. Популярная история евреев / П. Джонсон; пер. с англ. И.Л. Зотов. – М.: Вече, 2001. – 672 с.
101. Харрисон, Л. Евреи, конфуцианцы и протестанты: культурный капитал и конец мультикультурализма / Л. Харрисон; пер. с англ. Ю. Кузнецова. – М.: Мысль, 2014. – 286 с.
102. Вебер, М. Город: пер. с нем. / М. Вебер; сост., общ. ред. и послесл. Ю.Н. Давыдова; предисл. П.П. Гайдено. – М.: Прогресс, 2000. – 102 с.
103. Эко, У. О литературе: эссе / У. Эко; пер. с итал. С. Сидневой. – М.: Изд-во АСТ: CORPUS, 2016. – 416 с.
104. Пико делла Мирандола, Дж. Речь о достоинстве человека: в 2 т. / Дж. Пико делла Мирандола // Эстетика Ренессанса: Антология / сост. и науч. ред. В.П. Шестаков. – М.: Искусство, 1981. – Т. 1. – 495 с.

105. Гумилев, Л.Н. Этногенез и биосфера Земли / Л.Н. Гумилев // Свод № 3. Международный альманах / сост. Н.В. Гумилева; предисл., коммент., общ. ред., карты А.И. Куркчи. – М.: Танаис ДИ-ДИК, 1994. – 544 с.
106. Гумилев, Л.Н. Конец и вновь начало: популярные лекции по народоведению / Л.Н. Гумилев. – М.: Айрис-пресс, 2007. – 384 с.
107. Эко, У. Имя розы / У. Эко. – СПб.: Симпозиум, 2004. – 252 с.
108. Дэбаш, Ш. Уводзіны ў палітыку / Ш. Дэбаш, Ж.-М. Пант'е; пер. з фр. А. Істоміна, С. Барысевіча, Ю. Жалезкі; пад рэд. І. Бабкова [і інш.]. – Мінск: ЭўроФорум, Беларусь. Фонд Сораса, 1996. – 624 с.
109. Леже, Р. Великие правовые системы современности: сравнительный подход / Р. Леже. – 2-е изд. перераб.; пер. с фр. А.В. Грядова. – М.: Волтерс Клувер, 2010. – 592 с.
110. Сільчанка, М.У. Ад князя і веча да вялікага князя, сейма і магдэбургскага права / М.У. Сільчанка // Проблемы законности и правопорядка в Республике Беларусь: материалы респ. науч.-практ. конф. – Новополоцк: ПГУ, 2000. – С. 3–5.
111. Мойзес, Н. Конец власти / Н. Мойзес; пер. с англ. Н. Мезина, Ю. Полещук, А. Сагана. – М.: АСТ, Corpus, 2016. – 512 с.
112. Средние века: история, культура, право: учеб.-метод. материалы / сост.: И.Л. Григорьева, Н.В. Салоников, А.Л. Рогачевский; НовГУ им. Ярослава Мудрого. – Великий Новгород, 2003. – 72 с.
113. Хрестоматия памятников феодального государства и права стран Европы / под ред. акад. В.М. Корецкого. – М.: Гос. изд-во юрид. лит-ры, 1961. – 951 с.
114. Сорман, Ги. Либеральное решение: пер. с фр. / Ги Сорман. – М.: Изд-во «Новости», 1992. – 272 с.
115. Штайнер, Ю. Еўрапейскія дэмакратыі / Ю. Штайнер. – Мінск: ТАА «Лекцыя», 1996. – 343 с.
116. Эко, У. Пять эссе на темы этики / У. Эко; пер. с итал. Е.А. Костюкович. – СПб.: Симпозиум, 2005. – 158 с.
117. Грицанов, А.А. Научный антикоммунизм и антифашизм: популярный компендиум / А.А. Грицанов, А.Е. Тарас. – Минск: ФУАинформ, 2010. – 528 с.
118. Хайек, Ф.А. Дорога к рабству / Ф.А. Хайек. – М.: Экономика, 1992. – 176 с.
119. Теория государства и права: хрестоматия: в 2 т. / авт.-сост.: В.В. Лазарев, С.В. Липень. – М.: Юристъ, 2001. – Т. 1. – 620 с.
120. Кошен, О. Малый народ и революция / О. Кошен; пер. с фр. О.Е. Тимошенко, предисл. И.Р. Шафаревича. – М.: Айрис-пресс, 2004. – 288 с.
121. Джонсон, П. Современность. Мир с двадцатых по девяностые годы: в 2 т. / П. Джонсон; пер. с англ. В. Атанасов, Д. Матев. – М.: Аноубис, 1995. – Т. II. – 480 с.
122. Рын, К.Г. Дэмакратыя і этычнае жыццё / К.Г. Рын; пер. з англ. А. Саламахі. – Мінск: Беларус. гуманітар. адукац.-культ. цэнтр, 1996. – 256 с.
123. Гольдман, Р. Верховный суд США. Права и свободы граждан / Р. Гольдман, Э. Ленговски, С. Франковски; пер. с англ. И. Крашельска. – [Варшава]: Вега, [1997]. – 254 с.
124. Кампфнер, Дж. Свобода на продажу: как мы разбогатели – и лишились независимости / Дж. Кампфнер; пер. с англ. С. Львовского. – М.: Астрель: CORPUS, 2012. – 414 с.
125. Бондарь, Н.С. Судебный конституционализм в России в свете конституционного правосудия / Н.С. Бондарь. – М.: Норма; ИНФРА-М, 2011. – 544 с.
126. Общая теория государства и права: академический курс: в 3 т. / под ред. М.Н. Марченко. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Зерцало-М, 2002. – Т. 2. – 528 с.
127. Давид, Р. Основные правовые системы современности / Р. Давид, К. Жоффре-Спинози. – М.: Междунар. отношения, 1996. – 400 с.

128. История государства и права зарубежных стран: в 2 ч. / под ред. О.А. Жидкова, Н.А. Крашенинниковой. – М., 1998. – Ч. 1. – 480 с.
129. Космач, В.А. История государства и права зарубежных стран: учеб. пособие [в 2 ч.] / В.А. Космач. – Кишинев: Парагон, 2005. – Ч. 2: Цивилизации средневековья и раннего Нового времени (V – середина XVII вв.). – 552 с.
130. Тараторин, Д.Б. Русский бунт навеки. 500 лет гражданской войны / Д.Б. Тараторин. – М.: Яуза, Эксмо, 2008. – 320 с.
131. История политических и правовых учений: учебник для вузов / под общ. ред. члена-корреспондента РАН В.С. Нерсесянца. – М.: Изд. группа ИНФРА-М – КОДЕКС, 1995. – 736 с.
132. История политических и правовых учений: учебник для вузов / под общ. ред. проф. О.В. Мартышина. – М.: Норма, 2004. – 912 с.
133. Русское православие: вехи истории / науч. ред. А.И. Клибанов. – М.: Политиздат, 1989. – 719 с.
134. Калашников, М. Третий проект. Погружение: книга-расследование / М. Калашников, С. Кугушев. – М.: АСТ: Астрель, 2005. – 766 с.
135. Гегель, Г.В.Ф. Философия права / Г.В.Ф. Гегель; пер. с нем.: ред. и сост. Д.А. Керимов и В.С. Нерсесянц; авт. вступ. ст. и примеч. В.С. Нерсесянц. – М.: Мысль, 1990. – 524 с.
136. Егоров, А.В. Введение в теорию сравнительного правоведения / А.В. Егоров. – Новополюцк: ПГУ, 2007. – 192 с.
137. Джероза, Л. Каноническое право в католической церкви / Л. Джероза. – М.: Христианская Россия, 1996. – 379 с.
138. Сильченко, Н.В. Теория верховенства закона / Н.В. Сильченко. – Минск: Беларус. навука, 2015. – 288 с.
139. Нерсесянц, В.С. Юриспруденция / В.С. Нерсесянц. – М.: НОРМА-ИНФРА, 1998. – 288 с.
140. Томсинов, В.А. О сущности явления, называемого рецепцией римского права / В.А. Томсинов // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, Право. – 1998. – № 4. – С. 3–17.
141. Черниловский, З.М. Всеобщая история государства и права / З.М. Черниловский. – М.: Юристъ, 1995. – 576 с.
142. Томсинов, В.А. Юриспруденция в духовной культуре Древнего Рима (древнейший период) / В.А. Томсинов // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, Право. – 1995. – № 1. – С. 33–41.
143. Аквинский, Ф. О правлении государей / Ф. Аквинский // Политические структуры эпохи феодализма в Западной Европе VI–XVII вв. – Л.: Наука, 1990. – 257 с.
144. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. – Изд. Московской Патриархии. – М., 1988. – 1376 с.
145. Локк, Дж. Два трактата о правлении / Дж. Локк // Сочинения: в 3 т. – М.: Мысль, 1988. – Т. 3. – С. 137–405.
146. Заиченко, Г.А. Джон Локк / Г.А. Заиченко. – 2-е изд., дораб. – М.: Мысль, 1988. – 199 с.
147. Губерман, И. Штрихи к портрету / И. Губерман. – М.: У-Фактория, 1999. – 592 с.
148. Никонов, А.П. Свобода от равенства и братства. Моральный кодекс строителя капитализма / А.П. Никонов. – 2-е изд., доп. – М.: ЭНАС; СПб.: Питер, 2011. – 536 с.
149. Жданов, Н.В. Исламская концепция миропорядка / Н.В. Жданов. – М.: Международ. отношения, 2003. – 568 с.
150. Карьер, Ж.-К. Не надейтесь избавиться от книг! / Ж.-К. Карьер, У. Эко; интервью и предисл. Ж.-Ф. де Тоннака; пер. с фр. и примеч. О. Акимовой. – СПб.: Симпозиум, 2010. – 336 с.

151. Ницше, Ф. Сочинения: в 2 т.: пер. с нем. / сост., ред. и авт. примеч. К.А. Свасьян. – М.: Мысль, 1997. – Т. 2. – 829. [1] с., 1 л. портр. – (Филос. наследие).
152. Фергюсон, Н. Империя: чем современный мир обязан Британии / Н. Фергюсон; пер. с англ. К. Бандуровского. – М.: Астрель: CORPUS, 2013. – 560 с.
153. Медведко, Л.И. Именем Аллаха... Политизация ислама и исламизация политики / Л.И. Медведко, А.В. Германович. – М.: Политиздат, 1988. – 255 с.
154. Флори, Ж. Идеология меча. Предыстория рыцарства / Ж. Флори. – СПб.: Евразия, 1999. – 320 с.
155. Мишо, Ж.-Ф. История крестовых походов / Ж.-Ф. Мишо; пер. с фр. С.Л. Клячко. – М.: Новый Акрополь, 2014. – 470 с.
156. Дрюон, М. Когда король губит Францию: роман / М. Дрюон; пер. с фр. Н. Жарковой. – М.: Прогресс, 1979. – 590 с. – (Серия «Проклятые короли-7»).
157. Кестлер, А. Иуда на перепутье / А. Кестлер // Время и мы: международный журнал литературы и общественных проблем. – Тель-Авив, 1978. – № 33. – С. 99.
158. Эко, У. Пражское кладбище / У. Эко; пер. с итал. Е. Костюкович. – М.: Corpus, 2013. – 560 с.
159. Буровский, А.М. «Еврейское засилье» – вымысел или реальность? Самая запретная тема! / А.М. Буровский. – М.: Яуза-пресс, 2010. – 352 с.
160. Солженицын, А.И. Двести лет вместе: в 2 ч. / А.И. Солженицын. – М.: Русский путь, 2001. – Ч. 1. – 512 с.
161. Доўнар, Т.І. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі: падручнік / Т.І. Доўнар. – Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2014. – 416 с.
162. Гоголь, Н.В. Избранные сочинения / Н.В. Гоголь; редкол.: Г. Беленький [и др.]; сост., вступ. ст. П. Николаева; предисл. А. Щербакова. – М.: Худож. лит., 1987. – 703 с.
163. Снайдер, Т. Рэканструкцыя нацый: Польшча, Украіна, Літва і Беларусь, 1569–1999 гг. / Т. Снайдер. – Мінск: Медысонт, 2010. – 424 с.
164. Марченко, М.Н. Источники права: учеб. пособие / М.Н. Марченко. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. – 760 с.
165. Статут Вялікага Княства Літоўскага 1588 / пер. на бел. мову А.С. Шагун. – Мінск: Беларусь, 2002. – 207 с.
166. Беларусізацыя. 1920-я гады: дакументы і матэрыялы / пад агул. рэд. Р.П. Платонава і У.К. Коршука. – Мінск: БДУ, 2001. – 270 с.
167. Сырых, В.М. Логические основания общей теории права: в 3 т. / В.М. Сырых. – М.: РАП, 2007. – Т. 3: Современное правопонимание. – 512 с.
168. Климов, Г. Божий народ / Г. Климов; под общ. ред. В.Л. Миронова. – Краснодар: Советская Кубань, Пересвет, 2007. – 576 с.
169. Солженицын, А.И. Двести лет вместе: в 2 ч. / А.И. Солженицын. – М.: Русский путь, 2002. – Ч. 2. – 552 с.
170. Монтень, М. Опыты: избранные главы: [пер. с фр.] / М. Монтень; сост., вступ. ст. Г.К. Косикова; примеч. Н. Малевич. – М.: Правда, 1991. – 656 с.
171. Эстетика Ренессанса: Антология: в 2 т. / сост. и науч. ред. В.П. Шестаков. – М.: Искусство, 1981. – Т. 1. – 495 с.
172. Козел, А.А. Философская мысль Беларуси: учеб. пособие / А.А. Козел. – Минск: Амалфея, 2004. – 352 с.
173. Данте, А. Монархия / А. Данте; пер. с итал. В.П. Зубова; коммент. И.Н. Голенищева-Кутузова. – М.: «КАНОН-пресс-Ц»–«Кучково поле», 1999. – 192 с.
174. Фортунатов, В. Всемирная история в лицах / В. Фортунатов. – СПб.: Питер, 2013. – 560 с.

175. Дюломо, Ж. Цивилизация Возрождения / Ж. Дюломо. – Екатеринбург: У-Фактория, 2006. – 720 с.
176. Зелинский, Ф.Ф. Соперники христианства: Лекции, читанные ученикам выпускных классов с.-петербургских гимназий и реальных училищ / Ф.Ф. Зелинский. – М.: Школа-Пресс, 1996. – 416 с.
177. Быков, Д.Л. Календарь. Разговоры о главном: [Эссе] / Д.Л. Быков. – М.: АСТ: Астрель, 2012. – 637 с.
178. Пайпс, Р. Русская революция [Электронный ресурс]: в 3 кн. / Р. Пайпс. – М.: Захаров, 2005. – Кн. 1: Агония старого режима. 1905–1917. – 212 с. – Режим доступа: http://RoyalLib.com.pauprs_richard/russkaya_revolyutsiya. – Дата доступа 15.03.2017.
179. Бэкон, Р. Избранное / Р. Бэкон; под ред. И.В. Лупандина. – М.: Изд-во Францисканцев, 2005. – 480 с.
180. Макиавелли, Н. Государь / Н. Макиавелли. – М.: Эксмо, 2013. – 672 с. – (Золотая библиотека мудрости).
181. Гуревич, П.С. Философия культуры: пособие для студентов гуманитар. вузов / П.С. Гуревич. – М.: АО «Аспект Пресс», 1994. – 317 с.
182. Декарт, Р. Рассуждение о методе / Р. Декарт // Сочинения: в 2 т. / Р. Декарт. – М.: Мысль, 1989. – Т. 1. – С. 250–296.
183. Хайдеггер, М. Ницше и пустота / М. Хайдеггер; [сост. О.В. Селин]. – М.: Алгоритм; Эксмо, 2006. – 304 с.
184. Локк, Дж. Опыт о человеческом разумении / Дж. Локк // Сочинения: в 3 т. / Дж. Локк. – М.: Мысль, 1985. – Т. 1. – С. 78–582.
185. Хайніцка, К. Гісторыя палітычных і праўных тэорый / К. Хайніцка, Г. Альшэўскі; пер. з пол. У. Маруціка; навук. рэд. У. Маруцік. – Мінск: Медисонт, 2007. – 312 с.
186. Душенко, К.В. Всемирная история в изречениях и цитатах / К.В. Душенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Эксмо, ИНИОН РАН, 2008. – 768 с.
187. Локк, Дж. Письма о толерантности / Дж. Локк // Сочинения: в 3 т. / Дж. Локк. – М.: Мысль, 1988. – Т. 3. – С. 91–134.
188. Паліталёгія. Асноўны курс. – Мінск: Выд-ва “Энцыклапедыкс”, 2002. – 680 с.
189. Верховенство права: сб. ст.: пер. с англ. / под общ. ред. А. Куликова. – М.: Прогресс, 1992. – 216 с.
190. Крамер, Г. Молот ведьм / Г. Крамер, Я. Шпренгер; пер. с лат. Н. Цветков; предисл. С.Г. Лозинского. – М., 1932. – 203 с.
191. Манфред, А.З. Три портрета эпохи Великой Французской Революции / А.З. Манфред. – М.: Мысль, 1989. – 432 с.
192. Руссо, Ж.-Ж. Трактаты / Ж.-Ж. Руссо. – М., 1969. – 287 с.
193. Медушевский, А.Н. Теория конституционных циклов / А.Н. Медушевский; Гос. ун-т – Высш. шк. экономики. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005. – 574 с.
194. Гинзбург, В.Л. Разум и вера. Замечания в связи с энцикликой папы Павла II «Вера и разум» / В.Л. Гинзбург // Вестн. Рос. акад. наук. – 1999. – Т. 69, № 6. – С. 546–552.
195. Лазарев, В.В. Теория государства и права: хрестоматия: в 2 т. / В.В. Лазарев, С.В. Липень. – М.: Юристъ, 2001. – Т. 2. – 604 с.
196. Пугачёв, А.Н. Конституционное право: учеб.-метод. комплекс для студентов юрид. спец.: в 2 кн. / А.Н. Пугачёв, И.В. Вегера. – Новополюцк: ПГУ, 2009. – Кн. 1: Теоретические основы. – 364 с.
197. Шафаревич, И. Русофобия / И. Шафаревич // Русь многоликая: сборник. Публицистика. – М.: Совет. писатель, 1990. – С. 311–356.
198. Соединенные Штаты Америки. Конституция и законодательные акты: пер. с англ. / сост.: В.И. Лафитский; под ред. и со вступ. ст. О.А. Жидкова. – М.: Прогресс-Универс, 1993. – 768 с.

199. Клэпгэм, Э. Правы чалавека: вельмі кароткія ўводзіны / Э. Клэпгэм; пер. з англ. мовы С. Богдана. – Мінск: Тэхналогія, 2013. – VI, 193 с.
200. Ллойд, Д. Идея права: пер. с англ. / Д. Ллойд. – М.: Югона, 2002. – 416 с.
201. Смит, Рона К.М. Международная защита прав человека: [пер. с англ.] / Рона К.М. Смит. – Минск: Юнипак, 2013. – 424 с.
202. Общая теория прав человека: науч. исследование / В.А. Карташкин [и др.]; под ред. Е.А. Лукашевой. – М.: НОРМА, 1996. – 520 с.
203. История государства и права зарубежных стран: учеб. пособие: в 2 ч. / сост. Н.А. Крашенинникова. – М.: Изд-во «Юрид. колледж МГУ», 1994. – Ч. II, кн. 1. – 180 с.
204. Гі, Эрме. Культура і дэмакратыя / Гі Эрме. – Мінск: Беларусь / ЮНЕСКО, 1995. – 144 с.
205. Хрестоматия памятников феодального государства и права стран Европы / под ред. акад. В.М. Корецкого. – М.: Гос. изд-во юрид. лит-ры, 1961. – 951 с.
206. Нерсисянц, В.С. Философия права: учебник для вузов / В.С. Нерсисянц. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА, 2006. – 848 с.
207. Бьюкенен, П.Дж. Смерть Запада / П.Дж. Бьюкенен; пер. с англ. А. Башкирова. – М.: ООО Изд-во АСТ; СПб.: Terra Fantastica, 2003. – 444 с.
208. Клишас, А.А. Конституционный контроль и конституционное правосудие зарубежных стран. Сравнительно-правовое исследование / под ред. профессора В.В. Еремяна / А.А. Клишас. – М.: Междунар. отношения, 2007. – 496 с.
209. Сурия Пракаш Синха. Юриспруденция. Философия права: [пер. с англ.] / Сурия Пракаш Синха. – М.: Академия, 1996. – 347 с.
210. Радбрух, Г. Философия права: пер. с нем. / Г. Радбрух. – М.: Междунар. отношения, 2004. – 240 с.
211. История немецкой литературы: пер. с нем.: в 3 т. / общ. ред. А. Дмитриева. – М.: Радуга, 1986. – Т. 2. – 344 с.
212. Лейст, О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права / О.Э. Лейст; под ред. д-ра юрид. наук, профессора В.А. Томсинова. – М.: Зерцало, 2008. – 452 с.
213. Космач, В.А. История государства и права зарубежных стран: [в 2 ч.] / В.А. Космач. – Кишинев: Парагон, 2007. – Ч. 2. Цивилизации средневековья и раннего Нового времени (V – середина XVII вв.): справочный том. – 608 с.
214. Сильченко, Н.В. Закон: проблемы этимологии, социологии, логики / Н.В. Сильченко. – Минск: Навука і тэхніка, 1993. – 119 с.
215. Аквинский, Ф. Сумма теологии [Электронный ресурс] / Ф. Аквинский. – [М.]: Эльга [и др.], 2002. – Ч. 1: Вопросы 1–43. – Режим доступа: <http://mexalib.com/view/27883.pdf>. [– Дата доступа: 12.03.2017.]
216. Алексеев, Н.Н. Основы философии права / Н.Н. Алексеев. – СПб.: Изд-во «ЛАНЬ», 1999. – 256 с.
217. Новгородцев, П.И. Лекции по истории философии права: учения нового времени. XVI–XIX вв. / П.И. Новгородцев. – Изд. 3-е, испр. – М.: КРАСАНД, 2011. – 352 с.
218. Верещагин, А.Н. Судебное правотворчество в России. Сравнительно-правовые аспекты / А.Н. Верещагин. – М.: Междунар. отношения, 2004. – 344 с.
219. Бураков, И.Ф. История политических и правовых учений: учеб.-метод. комплекс для студентов спец. 1-24 01 02 «Правоведение» / И.Ф. Бураков, А.Н. Пугачёв. – Новополоцк: ПГУ, 2007. – 440 с.
220. Эбзеев, Б.С. Введение в Конституцию России: монография / Б.С. Эбзеев. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2013. – 560 с.
221. Царьков, И.И. Метафизика конституционности / И.И. Царьков // Правоведение. – 2006. – № 5. – С. 216–228.

222. Хантингтон, С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности / С. Хантингтон; пер. с англ. А. Башкирова. – М.: ООО «Изд-во АСТ»: ООО «Транзиткнига», 2004. – 640 с.
223. Веллер, М. Человек в системе / М. Веллер. – М.: Изд-во «Астрель», 2010. – 575 с.
224. Мальцев, В.А. Понимание права. Подходы и проблемы / В.А. Мальцев. – М., 1999. – 419 с.
225. Шафиров, В.М. Естественно-позитивное право. Введение в теорию / В.М. Шафиров. – Красноярск, 2004. – 260 с.
226. Доўнар, Т.І. Развіццё асноўных інстытутаў грамадзянскага і крымінальнага права Беларусі ў XV–XVI стагоддзях / Т.І. Доўнар. – Мінск: «Пропілеі», 2000. – 224 с.
227. Беспалый, И.Т. Государственное право Российской Федерации: учеб. пособие / И.Т. Беспалый, В.В. Полянский; Федеральное агентство по образованию. – Изд. 3-е, перераб. – Самара: Изд-во «Самар. ун-т», 2008. – 539 с.
228. Коркунов, Н.М. Лекции по общей теории права / Н.М. Коркунов; предисл. д-ра юрид. наук, проф. И.Ю. Козлихина. – 2-е изд. – СПб.: Изд-во «Юрид. центр Пресс», 2004. – 430 с.
229. Петражицкий, Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности / Л.И. Петражицкий. – СПб.: Изд-во «ЛАНЬ», 2000. – 608 с. – (Серия «Мир культуры, истории и философии»).
230. Радько, Т.Н. Хрестоматия по теории государства и права / Т.Н. Радько; под общ. ред. И.И. Лизиковой. – 2-е изд. – М.: Проспект, 2009. – 720 с.
231. Честнов, И.Л. Методология и методика юридического исследования: учеб. пособие / И.Л. Честнов. – СПб., 2004. – 128 с.
232. Шершеневич, Г.Ф. Общая теория права / Г.Ф. Шершеневич. – М.: Изд-во Бр. Башмаковых, 1911. – 698 с.
233. Васьковский, Е.В. Руководство к толкованию и применению законов. Для начинающих юристов / Е.В. Васьковский. – М.: Юрид. бюро «Городец», 1997. – 128 с.
234. Цвайгерт, К. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права: в 2 т.: пер. с нем. / К. Цвайгерт, Х. Кетц. – М.: Междунар. отношения, 2000. – Т. 1: Основы. – 480 с.
235. Тихонравов, Ю.В. Основы философии права: учеб. пособие / Ю.В. Тихонравов. – М.: Вестник, 1997. – 608 с.
236. Кант, И. Метафизика нравов. Сочинения: в 8 т. / И. Кант. – М.: Чоро, 1994. – Т. 6. – С. 224–543.
237. Кресин, А.В. Политическое и правовое измерения Конституции Филиппа Орлика: к 300-летию выдающегося памятника / А.В. Кресин // Гісторыя і сучаснасць: беларуская дзяржаўнасць ва ўсходнеўрапейскім цывілізацыйным кантэксце: зб. навук. прац, прысвечаных 90-годдзю з дня нараджэння прафесара І.А. Юхо / рэдкал.: С.А. Балашэнка (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Бизнесофсет, 2012. – С. 197–203.
238. Василевич, Г.А. Конституционное право Республики Беларусь: учебник для юридических вузов / Г.А. Василевич. – Минск: Книжный Дом: Интерпрессервис, 2003. – 832 с.
239. Баглай, М.В. Конституционное право Российской Федерации: учебник для юридических вузов и факультетов / М.В. Баглай. – М.: НОРМА, 2000. – 776 с.
240. Калинин, С.А. Цивилизационный контекст в изучении государства и права / С.А. Калинин // Актуальные вопросы совершенствования правовой системы на современном этапе: материалы междунар. науч.-практ. конф., Минск, 11–12 окт. 2012 г. / редкол.: С.А. Балашенко (гл. ред.) [и др.]. – Минск: Бизнесофсет, 2012. – 280 с.

241. Пляхимович, И.И. Комментарий к Конституции Республики Беларусь: в 2 т. / И.И. Пляхимович. – Минск: Амалфея, 2015. – Т. 1. – 1224 с.
242. Калинин, С.А. Проблемы реформы системы права в Республике Беларусь: дис. ... канд. юрид. наук 12.00.01 / С.А. Калинин. – Минск, 2001. – 138 с.
243. Конституция Республики Беларусь 1994 года: с изм. и доп., принятыми на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г.). – Минск: Амалфея, 2010. – 48 с.
244. Austin, J. Lectures on jurisprudence or the philosophy of positive law Austin, John. – Glashütten (im Taunus): Auvermann, 5. ed., Unveränd. Neudr. d. Ausg. London 1885. –
245. Сырых, В.М. Теория государства и права: Учебник для вузов / В.М. Сырых. – 5-е изд. – М.: ЗАО Юстицинформ, 2006. – 704 с.
246. Автономов, А.С. Ценность Конституции / А.С. Автономов // Государство и право. – 2009. – № 3. – С. 5–11.
247. Сийес, Э.-Ж. Что такое третье сословие? / Э.-Ж. Сийес // Аббат Сийес: От Бурбонов к Бонапарту / сост., пер., вступ. ст. М.Б. Певзнера. – СПб.: Алетейя, 2003. – 224 с.
248. Коран / пер. И.Ю. Крачковского. – Изд. 16-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 537 с.
249. Царьков, И.И. «Право» революции / И.И. Царьков // Право и политика. – 2007. – № 1. – С. 10–18.
250. Веллер, М. Всё о жизни / М. Веллер. – СПб., 2003. – 752 с.
251. Великая французская революция и церковь (Из декретов революционного правительства) // Атеистические чтения. – М.: Политиздат, 1989. – Вып. 18. – 111 с.
252. Иванов, В.В. Принцип разделения властей в Конституции США 1787 г. и Конституции Франции 1791 г.: сравнительный анализ // Государство и право. – М.: Наука, 2000. – № 12. – С. 80–84.
253. Навіцкі, М. Што такое правы чалавека? / М. Навіцкі // Хэльсінкская фундацыя правоў чалавека. – Варшава, 1999. – 46 с.
254. Солоневич, И.Л. Народная монархия / И.Л. Солоневич. – М.: Институт русской цивилизации, 2010. – 624 с.
255. Дзюрасэль, Ж.-Б. Еўропа з 1815 года да нашых дзён: Палітычнае жыццё і міжнародныя адносіны / Ж.-Б. Дзюрасэль. – Мінск: Беларус. Фонд Сораса, 1996. – 384 с.
256. Исполнительная власть, судебная власть и учредительная власть во Франции: Информационные и учебные материалы / Ж.-Б. Оби, О. Бо, Ж.-М. Бесе и др.; под ред. М. Верпо. – М.: Издается Французской Организацией Технического Сотрудничества Посольства Франции в Москве, 1993. – № 8. – 118 с.
257. Булгаков, В. История белорусского национализма / В. Булгаков. – Вильнюс: Ин-т белорусистики, 2006. – 331 с.
258. Сміт, Э. Нацыяналізм у дваццатым стагоддзі / Э. Сміт; пер. з англ. С. Нагорнага; пад рэд. І. Бабкова, У. Рагойшы. – Мінск: Беларус. Фонд Сораса, 1995. – 272 с.
259. Гісторыя філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі: у 6 т. – Мінск: Беларус. навука, 2010. – Т. 2. Протарэнсанс і Адраджэнне / С.І. Санько [і інш.]; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т філасофіі. – 840 с.
260. Бёрк, Э. Размышления о революции во Франции и заседаниях некоторых обществ в Лондоне, относящихся к этому событию, в письме, предназначенном для парижского дворянина, написанном достопочтенным Эдмундом Бёрком. Текст публикуется по изданию: Эдмунд Бёрк. Размышления о революции во Франции и заседаниях некоторых обществ в Лондоне, относящихся к этому событию. – М.: Рудомино, 1993. – 144 с.
261. Карлейль, Т. Французская революция. История / Т. Карлейль. – М.: Мысль, 1991. – 575 с.

262. Матъез, А. Французская революция / А. Матъез. – Ростов н/Д: Феникс, 1995. – 576 с.
263. Валянский, С. Русские горки: Возвращение в начало / С. Валянский, Д. Калужный. – М.: ООО «Изд-во АСТ»: ООО «Изд-во Астрель»: ООО «Транзиткнига», 2004. – 570 с.
264. Семенов, Ю. Самоубийство (версия); Отчаяние / Ю. Семенов. – М.: Дэм, 1990. – 256 с.
265. Шульце, Х. Государства, нации и национализм в европейской истории: пер. с нем. / Х. Шульце. – СПб.: Александрия, 2017 – 420 с. – (Серия «Становление Европы»).
266. Арутюнян, А.А. Конституционализм: проблемы постсоветской реальности: монография / А.А. Арутюнян. – М.: Норма, 2013. – 160 с.
267. Плутарх. Сравнительные жизнеописания: в 2 т. – Изд. второе, испр. и доп.; пер. П. Маркиша. – М.: Изд-во «Наука», 1994 // Античная литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ancientrome.ru/antlitr/plutarch/index-sgo.htm>. – Дата доступа: 12.07.2014.
268. Дусаев, Р.Н. Основные правовые системы современности / Р.Н. Дусаев. – Петрозаводск: Изд-во Петрозавод. ун-та, 1996. – 26 с.
269. Федералист: Политические эссе А. Гамильтона, Дж. Мэдисона и Дж. Джея; пер. с англ. / под общ. ред., с предисл. Н.Н. Яковлева. – М.: Прогресс, 1994. – 568 с.
270. Томас Джефферсон о демократии / сост. С. Падовер. – СПб.: Рес Гуманна, Лениздат, 1992. – 335 с.
271. Сытин, А.Г. Политическая философия демократии: вклад Томаса Джефферсона [Электронный ресурс] / А.Г. Сытин. – Режим доступа: http://www.civisbook.ru/files/File/Sytin_2008_1.pdf. – Дата доступа: 12.09.2014.
272. Шайо, А. Самоограничение власти (краткий курс конституционализма) / А. Шайо. – М.: Юристъ, 1999. – 292 с.
273. Беккариа, Ч. О преступлениях и наказаниях / Ч. Беккариа. – М.: Стелс, 1995. – 304 с.
274. Конституции зарубежных государств / сост. проф. В.В. Маклаков. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: БЕК, 1999. – 584 с.
275. Климов, Г.П. Протоколы советских мудрецов / Г.П. Климов. – 8-е изд. – Краснодар: ООО «Пересвет», 2005. – 448 с.
276. Синкотта, Х. Что такое демократия / Х. Синкотта. – Вашингтон, округ Колумбия: Информационное агентство Соединенных Штатов Америки, октябрь 1991. – 32 с.
277. Нісбэт, Р. Кансэрватызм / Р. Нісбэт; пер. з англ. Аляксандры Андрыеўскай і Андрэя Дынько; пад рэд. Андрэя Дынько. – Менск-Вільня, Фрагмэнты, Віленскі клуб, 2000. – 131 с.
278. Немецкие демократы XVIII века. Шубарт. Форстер. Зейме: [пер. с нем.] / ред., вступ. ст. и прим. В.М. Жирмунского. – М.: Гослитиздат., 1956. – 663 с.
279. Солженицын, А.И. На возврате дыхания. Избранная публицистика / А.И. Солженицын. – М.: Изд-во «Вагриус», 2004. – 719 с.
280. Никонов, А.П. Наполеон: Попытка № 2 / А.П. Никонов. – М.: ЭНАС; СПб.: Питер, 2010. – 376 с.
281. Гюго, В. Девяносто третий год / В. Гюго; пер. с фр. Н. Жарковой. – Минск: Беларусь, 1977. – 352 с.
282. Робин, К. Реакционный дух. Консерватизм от Эдмунда Бёрка до Сары Пэйлин / К. Робин; пер. с англ. М. Рудакова, И. Кушнарева, К. Бандуровского. – М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 2013. – 312 с.
283. Местр, Ж. де. Рассуждения о Франции / Ж. де Местр. – М.: РОССПЭН, 1997. – 216 с.
284. Бёрк, Э. Философское исследование о происхождении наших идей возвышенного и прекрасного / Э. Бёрк. – М.: Искусство, 1976. – 237 с.

285. Лебон, Г. Психология масс / Г. Лебон. – Минск: Харвест; М.: АСТ, 2000. – 320 с.
286. Канетти, Э. Масса и власть / Э. Канетти; пер. с нем. Л.Г. Ионина. – М.: АСТ, 2014. – 574, [2] с. – (Новая философия).
287. Мизес, Л. фон. Социализм. Экономический и социологический анализ / Л. фон Мизес. – М.: Gatallaxy, 1994. – 151 с.
288. Радищев, А.Н. Путешествие из Петербурга в Москву / А.Н. Радищев. – М.: Изд-во «Наука», 1992. – 674 с.
289. Буровский, А.М. Чертова Екатерина. Вся правда о «золотом веке» коронованной блудницы / А.М. Буровский. – М.: Яуза-пресс, 2013. – 480 с.
290. Пушкин, А.С. Сочинения: в 3 т. / А.С. Пушкин. – Минск: Маст. літ., 1986. – Т. 1: Стихотворения; Сказки; Руслан и Людмила: поэма. – 735 с.
291. Аринштейн, Л.М. Александровская тема в поэзии Пушкина / Л.М. Аринштейн // Вестн. Рос. акад. наук. – 1999. – Т. 69, № 6. – С. 533–545.
292. Чудаков, М.Ф. Конституционный процесс в Беларуси (историография вопроса, периодизация) / М.Ф. Чудаков // Гісторыя і сучаснасць: беларуская дзяржаўнасць ва ўсходнееўрапейскім цывілізацыйным кантэксце: зб. навук. прац, прысвечаных 90-годдзю з дня нараджэння прафесара І.А. Юхо / рэдкал.: С.А. Балашэнка (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Бизнесофсет, 2012. – С. 239–252.
293. Юхо, І.А. Гісторыка-прававы аналіз вытокаў Канстытуцыі Рэчы Паспалітай 3 мая 1791 г. і Канстытуцыі Францыі 3 верасня 1791 г. / І.А. Юхо, В.У. Сажына // Гісторыя і сучаснасць: беларуская дзяржаўнасць ва ўсходнееўрапейскім цывілізацыйным кантэксце: зб. навук. прац, прысвечаных 90-годдзю з дня нараджэння прафесара І.А. Юхо / рэдкал.: С.А. Балашэнка (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Бизнесофсет, 2012. – С. 51–61.
294. Филимонова, М.А. Классический республиканизм в Американской и Французской революциях конца XVIII века / М.А. Филимонова // Новая и новейшая история. – 2004. – № 1. – С. 47–64.
295. Акудовіч, В.В. Код адсутнасці. Асновы беларускай ментальнасці / В.В. Акудовіч. – Мінск: Логвінаў, 2007. – 216 с.
296. Кардини, Ф. Европа и ислам: история непонимания: пер. с итал. / Ф. Кардини. – СПб.: Александрия, 2007. – 332 с. – (Серия «Становление Европы»).
297. Душенко, К.В. Большой словарь цитат и крылатых выражений / К.В. Душенко. – М.: Эксмо: ИНИОН РАН. Центр гуманитар. науч.-информ. исслед., 2011. – 1216 с.
298. Никонов, А.П. Судьба цивилизатора. Теория и практика гибели империй / А.П. Никонов. – М.: ЭНАС; СПб.: Питер, 2010. – 360 с.
299. Гёте, И.В. Демон / И.В. Гёте // Mexalib [Электронный ресурс]. – 2017. – Режим доступа: <http://mexalib.com/search/?q>. – Дата доступа: 12.03.2017.
300. Лобжанидзе, А.А. Этнография и география религий: учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / А.А. Лобжанидзе, С.А. Горохов, Д.В. Заяц. – М.: Изд. центр «Академия», 2005. – 176 с.
301. Пейн, Т. Права человека / Т. Пейн // Избранные сочинения. – М., 1959. – С. 176–245.
302. Киплинг, Р. Стихи: сборник / Р. Киплинг; сост. К. Атаровой. – М.: ОАО Изд-во «Радуга», 2004. – На английском языке с параллельным русским текстом. – 416 с.
303. Буровский, А.М. Бремя белых. Необыкновенный расизм / А.М. Буровский. – М.: Яуза-пресс, 2011. – 448 с.
304. Егоров, А.В. Основы сравнительного правоведения: учеб. пособие / А.В. Егоров. – Новополюцк: ПГУ, 1999. – 276 с.
305. Жалинский, А. Введение в немецкое право / А. Жалинский, А. Рёрихт. – М.: Спарк, 2001. – 767 с.

306. Тейчман, Дж. Философия. Руководство для начинающих: пер. с англ. / Дж. Тейчман, К. Эванс. – М.: ИНФРА-М, Изд-во «Весь Мир», 1998. – 248 с.
307. Маркс, К. Немецкая идеология. Критика новейшей немецкой философии в лице ее представителей Фейербаха, Б. Бауэра и Шпенглера и немецкого социализма в лице его различных пророков / К. Маркс, Ф. Энгельс // Сочинения. – Изд. 2-е. – М.: Госполитиздат, 1955 // ВикиЧтение [Электронный ресурс]. – 2017. – Режим доступа: <https://fil.wikireading.ru/37939>. – Дата доступа: 12.03.2017.
308. Поппер, К.Р. Открытое общество и его враги / К.Р. Поппер; пер. с англ. под ред. В.Н. Садовского. – М.: Феникс, Междунар. фонд «Культурная инициатива», 1992. – Т. 1: Чары Платона. – 448 с.
309. История государства и права зарубежных стран: учебник для вузов: в 2 ч. / О.А. Жидков, Н.А. Крашенинникова. – 2-е изд., стер. – М.: Изд-во НОРМА, 2001. – Ч. 2. – 712 с.
310. Левін, Л. Правы чалавека / Л. Левін. – Мінск: Беларусь / Юнеско, 1995. – 88 с.
311. Раскрепощенная пресса: Информационное агентство Соединенных Штатов / гл. ред. Хедли Баррелл. – Produced by USIA Regional Program Office. – Vienna, 2000. – 96 с.
312. Августин. О Граде Божьем [Электронный ресурс] // Читать книги онлайн. – 2017. – Режим доступа: http://www.bookol.ru/religiya_i_duhovnost/hristianstvo/257026/fulltext.htm. – Дата доступа: 12.03.2017.
313. Петровский, Н.А. Метод аналогии в теоретической юриспруденции / Н.А. Петровский. – Брест: Академия, 2004. – 144 с.
314. Кофанов, Л.Л. Источники по римскому праву: хрестоматия / Л.Л. Кофанов. – М.: ГОУ ВПО РАП, 2011. – 489 с.
315. Рулан, Н. Юридическая антропология: учебник для вузов / Н. Рулан; пер. с фр. отв. ред. – академик РАН, д-р юрид. наук, проф. В.С. Нерсисянц. – М.: НОРМА, 2000. – 310 с.
316. Мазуров, А.В. Конституция и общественная практика / А.В. Мазуров. – М.: Частное право, 2004. – 364 с.
317. Кравец, И.А. Российский конституционализм: Проблемы становления, развития и осуществления / И.А. Кравец. – СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юрид. центр Пресс», 2004. – 675 с.
318. Сравнительное конституционное право: учеб. пособие / отв. ред. В.Е. Чиркин. – М.: Междунар. отношения, 2002. – 448 с.
319. Тихомиров, Ю.А. Правовое регулирование: теория и практика / Ю.А. Тихомиров. – М.: Формула права, 2008. – 400 с.
320. Соколова, А.А. Социальные аспекты правообразования / А.А. Соколова. – Минск: ЕГУ, 2003. – 160 с.
321. Мурашко, Л.О. Правообразование в аксиологическом контексте / Л.О. Мурашко. – Минск: Право и экономика, 2012. – 280 с.
322. Жаўняровіч, С.А. Тэарэтычныя асновы заканадаўчага працэсу ў Рэспубліцы Беларусь: дыс. ... канд. юрид. навук: 12.00.01 / С.А. Жаўняровіч. – Гродна, 2001. – 121 с.
323. Авакьян, С.А. Конституционное право России: учеб. курс: в 2 т. / С.А. Авакьян. – М.: Юристъ, 2005. – Т. 1. – 719 с.
324. Медушевский, А.Н. Российская модель конституционных преобразований в сравнительной перспективе / А.Н. Медушевский // Конституционное право: Восточноевропейское обозрение. – 2003. – № 2(43). – С. 148–166.
325. Чудаков, М.Ф. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: учеб. пособие / М.Ф. Чудаков. – Минск: ООО «Новое знание», 2001. – 576 с.

326. Конституционный контроль в зарубежных странах: учеб. пособие / отв. ред. В.В. Маклаков. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Норма: Инфра-М, 2010. – 672 с.
327. Салихов, Д.Р. Протестные отношения в конституционном праве: вопросы теории / Д.Р. Салихов // Конституционное и муниципальное право. – 2014. – № 1. – С. 66–73.
328. Боброва, Н.А. Конституционный строй и конституционализм в России: монография / Н.А. Боброва. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2003. – 264 с.
329. Пастухоў, М.І. Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь: пытанні і адказы / М.І. Пастухоў. – Мінск: Беларусь, 1995. – 96 с.
330. Фадеев, В.И. У истоков народного представительства: политические идеи и практика античной демократии / В.И. Фадеев // Конституционное и муниципальное право. – 2013. – № 11. – С. 77–83.
331. Полдников, Д.Ю. Фома Аквинский как теоретик договорного права / Д.Ю. Полдников // История государства и права. – 2011. – № 11. – С. 24–27.
332. Кравцов, Н.А. Учение Аристотеля о политике и праве / Н.А. Кравцов // Правоведение. – 2001. – № 5. – С. 234–250.
333. Попов, Е.А. Конституции мира – ценности цивилизации / Е.А. Попов // Право и политика. – 2013. – № 2. – С. 162–168.
334. Пастухов, Б. Революция и конституция / Б. Пастухов // Сравнительное конституционное обозрение. – 2011. – № 1(80). – С. 157–167.
335. Тихомиров, Ю.А. Коллизионное право: учеб. и науч.-практ. пособие / Ю.А. Тихомиров. – М.: Изд-е г-на М.Ю. Тихомирова, 2005. – 394 с.
336. Тихомиров, Ю.А. Курс сравнительного правоведения / Ю.А. Тихомиров. – М.: НОРМА, 1996. – 432 с.
337. Курьянович, А.В. Конституция независимой Беларуси: разработка, проекты, принятие: монография / А.В. Курьянович. – Минск: Тесей, 2010. – 176 с.
338. Правовые системы стран мира. Энциклопедический справочник / отв. ред. – д.ю.н., проф. А.Я. Сухарев. – 2-е изд., изм. и доп. – М.: НОРМА, 2001. – 840 с.
339. Зорькин, В.Д. Современный мир, право и конституция / В.Д. Зорькин. – М.: Норма, 2010. – 544 с.
340. Авакьян, С.А. Конституция России: природа, эволюция, современность / С.А. Авакьян. – 2-е изд. – М.: Сашко, 2000. – 400 с.
341. Вашкевич, А. Основы конституционного права Республики Польша: пособие для студентов вузов / А. Вашкевич. – Минск: Тесей, 2007. – 488 с.
342. Основной Закон Федеративной Республики Германия. Введение и научное консультирование: проф. В. Бергманн. – Бонн: Клаусен & Боссе, Лек, 1998. – 136 с.
343. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: учебник для юрид. вузов / Г.Н. Андреева [и др.]; под ред. Б.А. Страшуна. – М.: БЕК, 1996. – Т. 1–2. – 778 с.
344. Лардэйрэ, Г. Канстытуцыі і сістэмы выбараў: што кажа гістарычны вопыт / Г. Лардэйрэ; пер. з фр. Ю. Барысевіча. – Мінск: Беларус. Фонд Сораса, 1994. – 40 с.
345. Василевич, Г.А. 1991 год: хроника пикирующей страны / Г.А. Василевич. – Минск: Право и экономика, 2012. – 171 с.
346. Круталевич, В.А. На путях национального самоопределения БНР – БССР – РБ / В.А. Круталевич; под ред. В.Г. Гавриленко. – Минск: Право и экономика, 1995. – 138 с. – (Серия «Общественно-политические науки»).
347. Власенко, Н.А. Неопределенность в праве: понятие и формы / Н.А. Власенко, Т.Н. Назаренко // Государство и право. – 2007. – № 6. – С. 5–12.
348. Климов, Г. Песнь победителя / Г. Климов; под общ. ред. В.Л. Миронова. – 6-е изд. – Краснодар: ООО «Пересвет», 2007. – 688 с.

349. Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь ад 15 сакавіка 1994 г. – Мінск: Полымя, 1994. – 30 с.
350. Буровский, А.М. Евреи, которых не было: Курс неизвестной истории: в 2 кн. / А.М. Буровский. – М.: ООО «Изд-во АСТ»; Красноярск: ООО КИ «Издательские проекты», 2004. – Кн. I. – 414 с.
351. Хасебе, Я. Конституционные заимствования и политическая теория / Я. Хасебе; пер. с англ. Б. Туголукова // Сравнительное конституционное обозрение. – 2005. – № 4(53). – С. 81–91.
352. Овчинников, В.В. Сакура и дуб / В.В. Овчинников. – М.: АСТ, Астрель, 2012. – 605 с.
353. Сорман, Г. Выйти из социализма: пер. с фр. / Г. Сорман. – М.: Изд-во «Новости», 1991. – 272 с.
354. Марченко, М.Н. Сравнительное правоведение: учебник для вузов / М.Н. Марченко. – М.: Зерцало, 2000. – 560 с.
355. Клёмин, А.В. Европейское право и Германия: баланс национального и наднационального. Европейское Сообщество, Германия, право: национальный консерватизм, коллизии и единство / А.В. Клёмин. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2004. – 588 с.
356. Берлявский, Л.Г. Концепция «живой конституции» в Соединенных Штатах Америки / Л.Г. Берлявский // Конституционное и муниципальное право. – 2014. – № 2. – С. 14–18.
357. О нормативных правовых актах Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 10 янв. 2000 г., № 361-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 02 июля 2009 г., № 31-З [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. Беларусь. Технология Проф. / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.
358. Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі XVI–XVIII стст.: хрэстаматыя / аўт.-склад.: Т.І. Доўнар, Ю.П. Доўнар, Л.Л. Голубева; пад рэд. Т.І. Доўнар. – Мінск: БДУ, 2004. – 206 с.
359. Лец, С.Е. Почти всё / С.Е. Лец. – Екатеринбург: У-Фактория; М.: АСТ МОСКВА, 2008. – 928 с.
360. Гавел, В. Сила бессильных / В. Гавел; пер. с чеш. И. Шабловской, Л. Вихревой. – Минск: «Полифакт», 1991. – 128 с.
361. Роттердамский, Э. Похвала глупости / Э. Роттердамский. – М.: Гос. изд-во худож. лит-ры, 1960. – 68 с.

Благодарность

Выражаю свою признательность очень многим людям. Во-первых, рецензентам Таисии Ивановне Довнар и Вениамину Аркадьевичу Космачу за их ценные комментарии и рекомендации. Во-вторых, Алексею Владимировичу Егорову, ректору Витебского государственного университета имени П.М. Машерова, в стенах которого он и его коллеги создали необходимые условия для завершения работы над этой книгой и начала работы над новой.

Я благодарен Николаю Владимировичу Сильченко, который более двадцати лет назад проторил мне дорогу в мир науки как первый научный руководитель. Всегда помню о той поддержке, которая исходила от Григория Алексеевича Василевича в непростые периоды профессионального роста. Большое спасибо Валентине Николаевне Бибило и Ивану Ивановичу Пляхимовичу за научную и человеческую солидарность.

Мне повезло работать с Викторией Валерьевной Дориной, чья помощь в технической обработке и подготовке многих фрагментов текста всегда сопровождалась дружеской поддержкой и тонким чувством юмора.

Но прежде всего я должен поблагодарить мою жену Виолетту Козловскую, которая оказывала всяческую помощь от обсуждения первоначальной идеи до окончательной её реализации. Без её участия эта и другие книги неизвестно когда увидели бы свет. Кроме того, благодаря ей вся моя жизнь становится лучше. Также хотел бы упомянуть любимую доченьку Ариану, которая никогда не мешала писательству отца и ни разу не покусилась на мои ручки и бумаги для своих рисований.

ОБ АВТОРЕ

Пугачёв Александр Николаевич, кандидат юридических наук, доцент. В настоящее время работает в учреждении образования «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова». В 1999 году им была защищена диссертация по проблемам судебного конституционного контроля под руководством профессора Н.В. Сильченко. Автор более 360 публикаций научного и учебно-методического характера. Член многих редколлежий (Беларусь, Украина, Россия) и обладатель сертификата ООН в области муниципального менеджмента. Издавался и выступал с научными докладами в Швеции, Германии, Польше, Чехии, Литве, России, Украине. Специалист в области публичного права и методологии научных исследований.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|-----|
| От автора | 3 |
| Прелюдия: этимология и значение термина «конституция» | 5 |
| Глава 1 От цивилизации Средневековья к Новому времени: что предшествовало конституционному правопорядку | 14 |
| 1.1 Как были потрясены основы феодально-клерикального уклада | 14 |
| 1.2 Город – оплот средневековой демократии | 38 |
| 1.3 Корпоративизм в европейской истории: сочетание интересов отдельной личности и ассоциаций людей | 57 |
| 1.4 Идея собственности, возрождение римского права и значение ограничения власти монарха | 71 |
| 1.5 Об отсутствии практической юриспруденции в концепции возрождённого римского права | 81 |
| 1.6 Двусмысленность в реанимации функции труда и активизации финансовой деятельности | 85 |
| 1.7 Инновации, наука, образование как факторы необратимых изменений | 90 |
| Глава 2 О тех, кто разрушал старую и создавал новую Европу | 98 |
| 2.1 Ганзейский союз – крупнейшая торговая организация, или Почему право возможно без государства | 98 |
| 2.2 Орден тамплиеров как банковско-финансовый картель | 102 |
| 2.3 Евреи: взгляд назад и взгляд в будущее | 108 |
| Глава 3 Философское, политическое и юридическое обоснование конституционной доктрины | 133 |
| 3.1 Эпоха Возрождения и Век Разума накануне великих событий | 133 |
| 3.2 Просвещение права человека, конституционализм | 148 |
| 3.3 Метаморфозы естественного права как идейной основы конституционализма | 168 |
| 3.4 Система естественных прав в контексте Конституции Республики Беларусь и практики её реализации | 181 |
| Глава 4 Опыт первых конституций: что тому предшествовало и что затем последовало | 185 |
| 4.1 Период буржуазных революций и формирование концепции основного закона | 185 |
| 4.2 Общественное мнение, массовые коммуникации и народное законотворчество в эпоху конституционных преобразований | 206 |
| 4.3 Последствия и оценки революционных событий в Америке и Франции ... | 215 |
| 4.4 Античная традиция и её влияние на идеологию конституционных реформаторов XVIII века | 232 |
| 4.5 От античности и рабства – к революциям и правам человека | 241 |
| Глава 5 О причинах появления конституций | 266 |
| 5.1 Почему появляются конституции: постановка проблемы | 266 |
| 5.2 Принятие конституций при образовании нового государства | 268 |
| 5.3 Конституция как результат оформления нового политического и социально-экономического строя | 271 |

| | |
|---|-----|
| 5.4 Обусловленность появления конституции изменением формы правления, территориального устройства, политического режима | 275 |
| 5.5 Новые конституции и факторы эволюционного свойства | 278 |
| 5.6 Основной закон и категория «переходного периода» | 281 |
| 5.7 Феномен «оккупационных» конституций: о значимости политических форм государства-реципиента | 286 |
| 5.8 Принятие конституций под диктатом извне при формальном сохранении суверенитета | 290 |
| Послесловие | 296 |
| Список использованных источников | 297 |
| Благодарность | 314 |
| Об авторе | 315 |

Научное издание

ПУГАЧЁВ Александр Николаевич

**ИСТОКИ И ПЕРВОПРИЧИНЫ
ЕВРОПЕЙСКОГО КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА**

Монография

Технический редактор

Г.В. Разбоева

Корректор

Л.В. Моложавая

Компьютерный дизайн

Л.Р. Жигунова

Подписано в печать 10.07.2017. Формат 60x84¹/₁₆. Бумага офсетная.

Усл. печ. л. 18,48. Уч.-изд. л. 29,05. Тираж 120 экз. Заказ 101.

Издатель и полиграфическое исполнение – учреждение образования
«Витебский государственный университет имени П.М. Машерова».

Свидетельство о государственной регистрации в качестве издателя,
изготовителя, распространителя печатных изданий

№ 1/255 от 31.03.2014 г.

Отпечатано на ризографе учреждения образования
«Витебский государственный университет имени П.М. Машерова».

210038, г. Витебск, Московский проспект, 33.